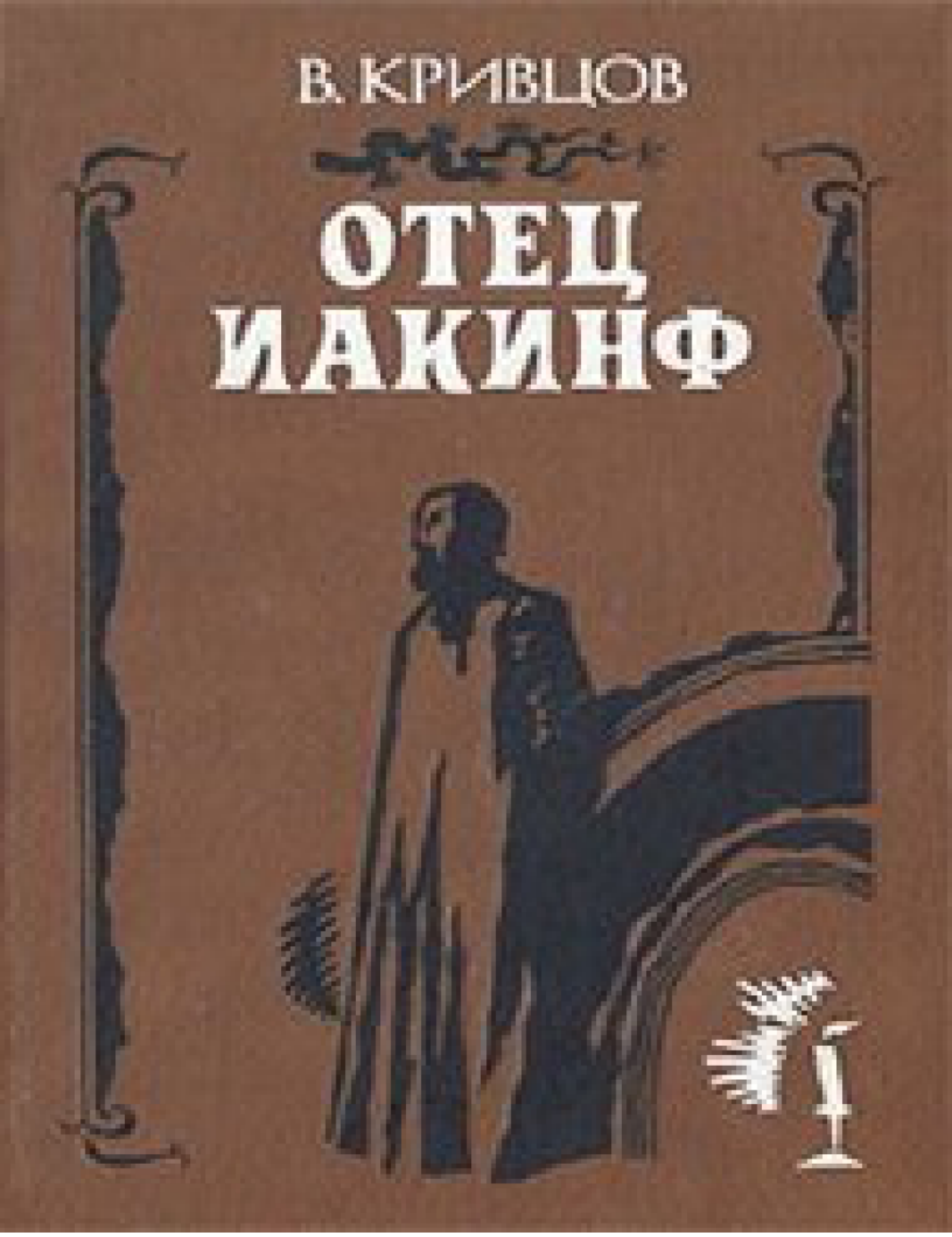
В. КРИВЦОВ

ОТЕЦ ИАКИНФ



SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Введите сюда краткую аннотацию

- Кривцов В. Н. Отец Иакинф
  - От автора
  - КНИГА ПЕРВАЯ
    - Часть первая
      - ГЛАВА ПЕРВАЯ
      - ГЛАВА ВТОРАЯ
      - ГЛАВА ТРЕТЬЯ
      - ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
      - ГЛАВА ПЯТАЯ
      - ГЛАВА ШЕСТАЯ
    - Часть вторая
      - ГЛАВА ПЕРВАЯ
      - ГЛАВА ВТОРАЯ
      - ГЛАВА ТРЕТЬЯ
      - ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
      - ГЛАВА ПЯТАЯ
    - Часть третья
      - ГЛАВА ПЕРВАЯ
      - ГЛАВА ВТОРАЯ
      - ГЛАВА ТРЕТЬЯ
      - ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
      - ГЛАВА ПЯТАЯ
      - ГЛАВА ШЕСТАЯ
      - ГЛАВА СЕДЬМАЯ
      - ГЛАВА ВОСЬМАЯ
      - ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
  - КНИГА ВТОРАЯ
    - Часть первая
      - ГЛАВА ПЕРВАЯ
      - ГЛАВА ВТОРАЯ
      - ГЛАВА ТРЕТЬЯ
      - ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
      - ГЛАВА ПЯТАЯ
      - ГЛАВА ШЕСТАЯ
      - ГЛАВА СЕДЬМАЯ
    - Часть вторая
      - ГЛАВА ПЕРВАЯ
      - ГЛАВА ВТОРАЯ
      - ГЛАВА ТРЕТЬЯ

- ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
- ГЛАВА ПЯТАЯ
- ГЛАВА ШЕСТАЯ
- ГЛАВА СЕДЬМАЯ
- ГЛАВА ВОСЬМАЯ
- ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

- Часть третья
  - ГЛАВА ПЕРВАЯ
  - ГЛАВА ВТОРАЯ
  - ГЛАВА ТРЕТЬЯ
  - ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
  - ГЛАВА ПЯТАЯ
  - ГЛАВА ШЕСТАЯ
  - ГЛАВА СЕДЬМАЯ
  - ГЛАВА ВОСЬМАЯ
  - ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
- ВМЕСТО ЭПИЛОГА

○ СУДЬБА ВОЛЬНОДУМНОГО МОНАХА

Кривцов В. Н. Отец Иакинф

От автора

Стоит в некрополе Александро-Невской лавры в Ленинграде невысокий черный обелиск. На посеревшем от времени и непогод камне выбито: ИАКИНФ БИЧУРИН А пониже столбик китайских иероглифов и даты — 1777–1853. Редкий прохожий не остановится тут и не задастся вопросом: чей прах покоится под этим камнем, откуда на русской могиле, лишенной привычного православного креста, загадочное иероглифическое надгробие, что оно означает? Еще до войны, в студенческие годы, прочел я эту таинственную эпитафию: "У ши цинь лао чуй гуан ши цэ" — "Труженик ревностный и неудачник, свет он пролил на анналы истории". А потом долгие часы проводил я в архивах и книгохранилищах Москвы и Ленинграда, Казани и Кяхты и, чем дальше листал пожелтевшие страницы редких изданий, перевертывал запыленные листы толстых архивных дел, тем больший интерес вызывал во мне этот долго живший и давно умерший человек. То был знаменитый в свое время отец Иакинф, в миру — Никита Яковлевич Бичурин. Сын безвестного приходского священника из приволжского чувашского села, четырнадцать лет возглавлял он в Пекине русскую духовную миссию — единственное тогда представительство Российской империи в Китае. Но свое пребывание там он использует не для проповеди христианства, к чему обязывал его пост начальника духовной миссии, а для глубокого и всестороннего изучения этой загадочной в то время восточной страны. Преодолевая неимоверные трудности, при полном отсутствии какой-нибудь преемственности, учебных пособий, словарей, грамматик, Иакинф

в короткий срок овладевает сложнейшим языком и письменностью. В этом он видел единственный способ ознакомления с богатейшими китайскими источниками по истории, географии, социальному устройству и культуре не только Китая, но и других стран Центральной и Восточной Азии. В Пекине им были подготовлены материалы для многочисленных переводов и исследований, которые увидели свет уже на родине и принесли отцу Иакинфу европейскую славу. В библиотеках Ленинграда хранится свыше семидесяти трудов Иакинфа, в том числе два десятка книг и множество статей и переводов, которые в тридцатые и сороковые годы прошлого века регулярно появлялись на страницах почти всех издававшихся тогда в Петербурге и Москве журналов. Еще больше ученых трудов Иакинфа не увидело света и осталось в рукописях, и среди них многотомные фундаментальные исследования, словари и переводы. В трудах Бичурина, не утративших значения и до сих пор, содержатся подлинные россыпи ценнейших сведений об истории, быте, материальной и духовной культуре монголов, китайцев, тибетцев и других народов Азиатского Востока. Под влиянием Иакинфа и его трудов, основанных на глубоком изучении китайских источников и проникнутых искренней симпатией к китайскому народу, сложилась школа выдающихся русских синологов и монголистов, которая, по общему признанию, опередила европейскую ориенталистику XIX столетия и получила отличное от нее направление. В сознании многих поколений русских людей отец Иакинф был как бы олицетворением исконно дружеского отношения нашего народа к своему великому восточному соседу, его своеобычной культуре, художественным и научным достижениям. Убежденный атеист и вольнодумец, по печальной иронии судьбы всю жизнь связанный с церковью и самой мрачной ее ветвью — монашеством, Иакинф был не только оригинальным ученым, но и примечательной личностью, без которой характеристика его эпохи была бы неполной. След, оставленный Бичуриным не только в отечественном востоковедении, но и в истории нашей культуры, так значителен, что давно пора воскресить из мертвых этого большого ученого и интереснейшего человека, попытаться воссоздать не только внешние события, но и внутренний мир его жизни, увлекательной и трагической. Мне захотелось внести посильный вклад в решение этой задачи. Я поехал на родину Иакинфа, в Чувашию — в Чебоксары и село Бичурино, где прошли его детские годы; перерыл библиотеку и архив Казанской духовной академии, где он четырнадцать лет учился; побывал и в Иркутске, где он служил ректором духовной семинарии и

настоятелем монастыря, и в пограничной Кяхте, где он подолгу жил во время своих поездок в Забайкалье; поколесил я и по степям Монголии, которые за полтораста лет до того пересек на пути в Китай Иакинф; посетил я и древний Пекин и суровый Валаам; читал многочисленные труды Иакинфа, разбирал его рукописи, вчитывался в торопливые записи, которые он делал в дошедшей до нас "памятной книжке"; собирал разрозненные свидетельства современников, размышлял над его трудами и поступками Результатом этого и явилась книга "Отец Иакинф".

КНИГА ПЕРВАЯ
ПУТЬ К ВЕЛИКОЙ СТЕНЕ

Часть первая
ВО ВЛАСТИ СЕРДЦА

ГЛАВА ПЕРВАЯ

I

Лето 1800 года выдалось в Казани на редкость знойное. Никогда почти не пересыхающие на правом берегу болотца исчезли, да и сама Волга пообмелела и сузилась. Недвижные листья на липах в монастырском саду покрылись пылью. Немало их, до срока пожелтевших, устилало дорожки, хотя стояла лишь середина июля.

Никита, без кафтана, в рубахе с распахнутым воротом, проскользнул через знакомый лаз в монастырской ограде и широкой луговой поймой зашагал к Волге.

С реки доносился плеск и гомон купающихся.

Он обошел их стороной и выбрал местечко поукромней. Скинул одежду, бросился в воду, перевернулся на спину и, широко загребая руками, поплыл на середину реки. Сегодня она была какая-то на удивление тихая — ни волны, ни ряби.

Долго, прищурясь, смотрел он в прозрачную высь. Ему всегда доставляло удовольствие вот так бездумно плыть на спине, отдаваясь течению. Но сейчас он не ощутил привычной радости. И опрокинутое над ним небо, и проступавшие вдали сквозь знойную дымку очертания города, и буровато-зеленые холмы высокого левого берега — все полнило душу сознанием одиночества, безысходного, непоправимого…

Через несколько часов лязгнут над головой ножницы и отсекут не только волосы, но и само имя его… Исчезнет из мира Никита Бичурин, и встанет на его место новопостриженный… Он даже не знает своего нового имени, — инок услышит его лишь в час пострижения, вместе со всеми. В эту минуту он должен будет проститься не только со своим прошлым, но и с будущим, со всем, что значимо и ценно для него в этом мире.

А может, и не стоит дожидаться этой минуты? Нырнуть поглубже и обрести разом то последнее, немое одиночество, которое и так ждет каждого в конце пути?..

Да и довольно уже пожил он на белом свете. Двадцать два года, в сентябре будет двадцать три…

Никита закрыл глаза, раскинул руки и несколько минут лежал недвижно, стараясь ни о чем не думать. Двадцать два

года… По триста шестьдесят пять дней на круг — это… восемь тысяч тридцать дней… Да еще десять месяцев — восемь тысяч триста тридцать… Так много? А он отчетливо помнит, сколько вмещал в детстве один-единственный летний день, как долго он длился!.. Никита приоткрыл глаза и увидел над собою небо, прозрачное, безмерно глубокое. Вдали чуть белелись на горе кремлевские стены и горели на солнце маковки церквей… Он поспешно зажмурился, чтобы ничего этого не видеть, набрал полную грудь воздуха, перевернулся резким движением и нырнул. Нырнул и поплыл ко дну, головою вниз.

Плыл он долго, преодолевая сопротивление воды, которая норовила вытолкнуть его обратно. Сильными движениями рук разгребал тяжелую, неподатливую воду, погружаясь все глубже. Тут было приметно холодней. Гудела голова, немели ноги, но он плыл и плыл, пока не коснулся руками дна. Тогда он выдохнул остатки воздуха и судорожно глотнул.

Вода хлынула в горло.

Он стал задыхаться… Слабели силы. Раскалывалась голова, тяжелая, как колокол.

Вот и все.

Сердце сжалось и подкатило к горлу. Не отдавая себе отчета в том, что он делает, Никита изо всех сил оттолкнулся ото дна и заработал руками, плечами… Жадно вглядывался он в тусклое пятно света над головой и отталкивался, отталкивался еще и еще раз слабеющими руками…

А сил больше не было. Судорогой сводило ноги. Но он тянулся и тянулся вверх, заставляя себя двигать руками усилием, уже почти нечеловеческим.

Наконец блеснуло небо.

С трудом выдохнул набравшуюся в легкие воду. Она хлынула горлом, носом.

Несколько раз глубоко вздохнул, превозмогая острую боль в груди. Едва добрался до берега и повалился наземь.

Он лежал ничком, распластавшись на горячем песке. Кружилась голова, во рту был привкус меди. Стук вальков с того берега доносился приглушенно, как сквозь сон. Откуда-то сверху долетели крики и повизгивание мальчишек. Ему почудилось вдруг, что они несутся к нему с берега родной Копиры. Даже сквозь смеженные веки он видит, как поблескивает под крутояром ее изгиб. А вот и непролазные заросли смородины у ветхого плеши. Старая, почерневшая ива и бревенчатая изба над Поповским оврагом. Отчий дом! Скрип половиц, запах хмеля…

Еще минута, и ничего этого никогда бы он больше не увидел и не услышал. Не оттого ли с такой пронзительной ясностью

проносятся перед глазами полузабытые воспоминания?..

Он лежал на песке, чувствуя, как солнце пригревает спину, а перед глазами вставало детство, родина… Дым костра, крупнозвездное небо, скачка вперегонки на неоседланных лошадях…

Где-то вдали ударил колокол.

Никита приподнял голову и увидел прямо перед глазами не звезды, а солнце, отраженное в гранях песчинок. Чуть маячил сквозь дымку ступенчатый шпиль Сююмбекиной башни. И не с колокольни отцовской церкви над Поповским оврагом, а, должно быть, со звонницы Петропавловского собора доносились приглушенные расстоянием удары колокола.

Никита с трудом поднялся, разыскал на берегу одежду и зашагал к городу.

II

Высокий сумрачный храм стал заполняться народом. На паперти выстраивались вдоль прохода нищие.

Карсунские приехали одними из первых, — только что проследовало духовенство.

Они прошли в полупустой еще храм. Шаги звенели по каменным плитам, отдавались под высокими сводами и замирали в углах.

По трое — пятеро входили монахи, истово крестились, кланялись во все стороны. На клиросе, покашливая и пробуя голоса, становились певчие.

Пахло воском и ладаном. Длинные косые лучи от окон купола, дымная полумгла высоких сводов, мерцание свеч и лампад, густой голос иеродиакона, читавшего Евангелие, — все настраивало на печально-торжественный лад.

Говорили, что обряд пострижения будет совершать сам преосвященный. Всенощную он стоял в алтаре, но перед торжественным славословием появился в царских вратах в мантии и омофоре и возгласил: "Слава тебе, показавшему нам свет!" И тотчас раздалось величавое согласное пение.

Сердце у Тани сжалось.

Когда отзвучало и замерло "Боже правый, помилуй нас", распахнулись западные двери и показалась процессия, вводившая постригаемого. Взгляды всех обратились к нему. Таня повернулась вместе с другими.

Впереди шли два послушника в стихарях, неся высокие подсвечники с горящими свечами, за ними следовали иеромонахи, прикрывая своими мантиями постригаемого. Он шел

босой, в одной срачице {Срачица — сорочка, исподняя рубаха. — Здесь и далее примечания автора.}. Только что отпущенная бородка преобразила его лицо. Было в нем что-то суровое, мученическое, напоминавшее лик Спасителя.

Таня подняла руку, словно для крестного знамения, и подала едва заметный знак. Никита скользнул взглядом отчужденно, должно быть ничего не видя, и прошел, не оборачиваясь, неслышно касаясь босыми ступнями холодных каменных плит.

Таня невольно ухватилась за рукав мужа. Слезы обожгли ей глаза.

Процессия приблизилась к архиепископу. С посохом в руке, он стоял в царских вратах, и постригаемый простерся ниц у ног владыки.

— Боже милосердый, — раздался в ту же минуту торжественный голос певчих, — яко отец чадолюбивый, глубокое зря смирение и истинное покаяние, яко блудного сына, прими его кающегося, к стопам твоим вторицею припадающего-о-о…

Едва замерли слова невидимого хора, владыка коснулся посохом спины простертого ниц.

— Почто пришел еси, брате, ко святому жертвеннику? — спросил он.

— Жития ищу совершенного, постнического, святый владыко, — раздался из-под монашеских мантий глухой голос.

Таня вслушивалась в этот, будто чужой, голос — он звучал отрешенно, бесстрастно.

А вопросы следовали один за другим:

— Вольным ли своим разумом приступавши ко господу?

— Ей, святый владыко.

— Не от некия ли беды или нужды?

— Ни, святый владыко.

— Отрицаеши ли ся вторицею мира и всех якоже в мире, по заповеди господней?

— Ей, святый владыко, — слышала Таня бесстрастный ответ.

Слезы текли у нее по щекам. Она не вытирала их. Никита! Бедный Никита! Что же ты делаешь? Хотелось крикнуть, остановить этот чудовищный обряд. Сколько она пытала свое сердце: кого же она любит? Ей казалось — обоих… Саню она любила радостно и безгрешно. Он сразу привлек ее ласковой мягкостью, какой-то прозрачной честностью. Она питала к нему доверчивую нежность, ровную и глубокую. Ей было с ним легко и просто… А последнее время ее вдруг потянуло к Никите. Кружилась голова и темнело в глазах, стоило его увидеть… Это неосознанное и властное влечение пугало и возмущало ее. Она стыдилась и бежала от него. Давно мечтая о любви, она привыкла

считать, что любит Саню. Да и родители относились к нему, как к сыну.

Но что она знала о любви?.. И разве редкость, когда женщина отдает свое сердце именно тому, кто, как она убеждена, не в состоянии и дня прожить без ее самоотверженных забот? Таким в ее глазах был Саня. Никита сильный, он легко обойдется без нее. А Саня, как он останется один? Ей казалось, что это и есть настоящее счастье — принести себя в дар тому, кому ты больше всего нужна…

— Обещавши ли вторицею сохранити себя в девстве и целомудрии, и благоговении даже до смерти? — донесся вдруг голос архиерея.

— Ей, богу споспешествующу, святый владыко…

Острое предчувствие беды сжало сердце. Сознание ошибки, страшной, непоправимой, вдруг охватило ее. За несколько мгновений она, казалось, все поняла. Нельзя было только ничего изменить, ничего исправить. Она покачнулась и упала бы, не поддержи ее Саня.

Очнулась она, когда под сводами храма звучала молитва: "Ему же и слава, и держава, и царство, и сила, со Отцом и Святым Духом, ныне и присно и во веки веков…"

— Аминь, — донеслось откуда-то сверху.

Сквозь слезы она видела, что Никита все так же стоял коленопреклоненный перед владыкой. Два иеромонаха в мантиях принесли Евангелие в тяжелом золотом окладе с лежащими на нем ножницами.

— Возьми ножицы и подаждь ми, — услыхал Никита у себя над головой слова архиепископа.

Он показался себе вдруг Исааком, несущим к горе Мориаг хворост на свое всесожжение. Он взял ножницы и протянул владыке. Тот отвел его руку, как бы призывая еще раз подумать. Когда архиепископ и во второй и в третий раз отвел его руку с протянутыми ножницами, Никите захотелось вскочить и выбежать из церкви. Но вот ножницы уже в руках преосвященного. Никита слышит зловещее лязгание их у себя над головой и слова архипастыря:

— Брат наш Иакинф…

Вот оно, это имя, которое станет отныне его именем…

— Брат наш Иакинф постризает власы главы своея в знамение конечного отрицания мира, и всех якоже в мире и в конечное отвержение своея воли и всех светских похотей, во имя отца и сына и святаго духа, рецем вси о нем: господи помилуй!

Гулко ударясь о своды, пронеслось по храму троекратное: "Господи помилуй, господи помилуй, господи помилу-у-уй…"

И всякий раз, когда преосвященный вручал ему власяницу ("сей хитон правды"), пояс ("дабы препоясал чресла свои во умерщвление тела и обновление духа"), кукуль ("сей шлем спасительного упования и молчаливого в духовном размышлении пребывания"), мантию ("ризу спасения и броню правды"), вервицу ("сей меч духовный ко всегдашней молитве Иисусовой"), крест Христов ("щит веры, в нем же возможеши все стрелы лукавого разжзнные угасити"), горящую свечу, — под сводами раздавалось торжественно и величаво: "Господи помилуй, господи помилуй, господи помилу-у-уй…"

Сквозь громкую эту молитву Никита слышал сдерживаемые рыдания. Не слова преосвященного, а эти скорбные всхлипывания, едва различимые, ловил он, стоя коленопреклоненный у ног владыки.

— Миром господу помолимся, — возвестил между тем иеродиакон.

— О брате нашем Иакинфе, и якоже от бога поспешении ему, господу помолимся.

— Господи помилуй, господи помилуй, господи по-милу-у-уй… — подхватил невидимый хор.

Никита словно окаменел. Он смотрел на все происходящее как бы со стороны и больше уже не слушал. Только рука его машинально клала большой широкий крест, когда до его слуха доносилось троекратное "господи помилуй".

Но вот преосвященный коснулся его плеча и велел встать.

— Приветствую тебя, возлюбленный брат наш Иакинф, приветствием святым мира и любви с принятием великого чина иноческого, — обратился к нему владыка.

Никита поднялся и все с тем же отчужденным, окаменелым лицом стоял перед архипастырем, слыша и не слыша его слова.

Архиерей говорил долго. Круглые фразы вылетали из его спрятанного в седой бороде рта и скользили, не задевая сознания.

Наконец опять загудели басы монахов, зазвенели пронзительные дисканты семинаристов, и под звуки торжественных песнопений вновь постриженного ввели в алтарь для преклонения святому престолу, а затем архипастырь, все в том же парадном облачении, ввел нового инока в его келью.

ГЛАВА ВТОРАЯ

I

Солнце померкло. Мир опустел. Пустой и ненужной

показалась ему жизнь, когда он остался один в длинной и узкой, как гроб, келье Иоанновского монастыря. В углу перед темным образом Иоанна Крестителя чуть теплилась лампада.

Иакинф шагал вдоль стены — шесть шагов к окну, маленькому, решетчатому, похожему на окошко темницы, шесть шагов от окна.

За переплетом подслеповатого оконца сгущались тучи.

Иакинф шагал, время от времени останавливаясь перед образом Крестителя, чем-то напоминавшим ему Саню. Шагал, а перед глазами проходила вся его жизнь — такая, ему казалось, длинная, а в сущности такая еще короткая. Теперь, когда он смотрел на нее как бы со стороны, все прояснялось.

Своенравную роль в человеческих судьбах играет случай. Круто может изменить он все намерения, стремления, самую жизнь.

Виной всему был Саня.

Он доводился Никите двоюродным братом: матери их были родными сестрами. Но узнал об этом Никита, когда они с Саней уже кончали академию. Фамилия же "Карсунский" ему ничего не говорила: Саня получил ее лишь при поступлении в семинарию.

Иакннф невольно усмехнулся, вспомнив обряд наречения. Было их с полсотни новичков, зачисленных в первый информаторический класс. Согнали всех в пустую мрачную залу. То были все больше сыновья сельских священников, дьяконов, дьячков и псаломщиков. Доставленные в Казань из дальних приходов, мальчишки испуганно жались к стене. Вошли ректор, префект и наставник информатории {Информатория — название первого (низшего) класса в духовных семинариях XVIII века, где семинаристы обучались русскому чтению к письму. Последующие классы назывались: фара, инфима, грамматика, спитаксима, поэзия, или пиитика, риторика, философия и богословие.} с классным журналом под мышкой.

Тучный архимандрит тыкал посохом в грудь выстроившихся перед ким новичков и спрашивал:

— Фамилие?.. Фамилие?

Те в замешательстве молчали. Ни у одного не оказалось нужного для семинарских ведомостей фамильного прозвания.

Ректор шел вдоль строя и, почти не задумываясь, нарекал бесфамильных поповичей и пономарят Знаменскими и Рождественскими, Спасопреображенскими и Богоявленскими, Полимпсестовыми и Касандровыми…

Когда дошел черед до Никиты, тот бойко отрапортовал:

— Никита, села Бичурина, церкви Воскресенской, священника Иакова сын…

Но один Воскресенский в классе только что появился, запас фамилий у ректора, видно, поиссяк, и Никиту записали по отцовскому селу — Бичуринским (уже в последних классах он отсек от фамилии окончание и стал просто Бичуриным).

Так же был наречен при зачислении в семинарию и Саня — по имени Карсунской округи, где служил благочинным его отец.

Он был моложе Никиты года на полтора, в семинарию поступил много позже, и, когда Никита был уже студентом философии, Саня учился еще в риторическом классе. Но чем-то сразу привлек Никиту новый семинарист. Скромный, чисто и ладно одетый, еще со следами домашней ухоженности, он как-то резко выделялся на фоне лохматой и неопрятливой бурсы. Тут царило кулачное право. Саня же, мягкий и застенчивый, сторонился бурсацких сшибок.

Но раз Никита стал свидетелем того, как новичок вступился за маленького грамматика, над которым издевалось несколько верзил риторов. Буйный град "картечи", плюх, затрещин, заушин обрушился на голову самоотверженного, но не искушенного в бурсацких стычках защитника справедливости. Его сбили с ног.

Увидав эту сцену в окошко, Никита выскочил во двор, раскидал великовозрастных обидчиков и пригрозил:

— Кто хоть пальцем тронет его, шею тому сворочу и кости переломаю!

Что слов на ветер он не бросает, бурсаки знали, да и увесистость Никитиных кулаков была им ведома, и Саню оставили в покое.

Так состоялось их знакомство.

Но сблизились они после одного памятного торжества в семинарии. Было то незадолго до ее преобразования в академию. Предстоял отъезд в Петербург архиепископа казанского Амвросия, назначенного первоприсутствующим в Синоде, и в городе пышно отмечалось его тезоименитство. Преосвященный был для Никиты не просто грозным владыкой, перед которым все трепетали, а будто вторым отцом, ближайшим наставником. Повелось это еще с грамматического класса. Приглянувшийся владыке смышленый грамматик держал перед ним книгу во время священнодействия, подавал ему пастырский посох, имел доступ в его библиотеку и пропадал там долгими часами. На торжествах в семинарии Никита прочел посвященные Амвросию стихи на греческом языке и поэму на русском.

А на следующее утро прибежал Карсунский и попросил дозволения переписать поэму к себе в альбом. Тут же без запинки он прочитал ее начальные строфы:

Уже за холм высокой скрылось
Светило дневное в водах.
И поле тьмой ночной покрылось,
Луна сияла в небесах.

Уже слетел с древ желтый лист,
Умолкнул в роще птичий свист.
Покрыл долины белый снег,
И льдом окован речный брег…

То, что Карсунский с одного-единственного раза, на слух, запомнил его стихи, Никите польстило, и он дал поэму переписать.

У Сани был большой альбом, украшенный собственноручными рисунками. Никита принялся их разглядывать. Он сам любил рисовать акварелью и отметил про себя, что Карсунский — отменный каллиграф и рисовальщик.

Они разговорились. Оказалось, что оба они много читали, знают наизусть уйму стихов. Вкусы их, правда, разнились. Никите нравилась торжественная величавость Державина, Сане больше по душе была нежная чувствительность Карамзина и Дмитриева, которых Никита не знал вовсе. Они заспорили. Этот первый горячий спор и положил начало их дружбе, а скоро они были уже такими закадычными друзьями, какими люди становятся только в годы самой ранней молодости.

Способностей Саня был редкостных, схватывал все на лету, памятью своей изумлял и профессоров и однокашников. Особливо давалась ему математика. Подружившись с Никитой он поставил целью непременно догнать друга. Никита загорелся этой мыслью не меньше и стал помогать ему чем мог…

Как-то раз Саня пригласил его к своим знакомым.

Приглашение было заманчивым. Но как пойти к людям, которых совсем не знаешь? Еще поднимут на смех, чего доброго. Семинаристов в казанском обществе не очень-то жаловали, презрительно обзывали кутейниками. А Саблуковы, к которым звал Саня, — дворяне, из образованных. Сане-то хорошо, он там свой человек. Да и отец у него как-никак благочинный, не чета бедному священнику из далекого чувашского села.

— Пойдем, не робей, — уговаривал Саня. — Люди они любезные. А какая библиотека у Лаврентия Павловича, ты бы знал! Пойдем, Никита, право, пойдем! Они велели, чтоб вдругорядь непременно с тобой приводил.

И вот перед отъездом на вакации летним субботним вечером они отправились к Саблуковым. Жили те в собственном доме у

Черного озера. Небольшой, с четырьмя деревянными колоннами, он скрывался в глубине сада. На воротах накладными деревянными буквами было выведено: "Л. Д. милости просим". Это можно было прочесть как сокращение от "люди добрые" и просто, как читались самые буквы: "Люди. Добро". Никита невольно улыбнулся.

У крыльца он сдернул с головы колпак и, не зная, куда его деть, уже собирался запихнуть в карман кафтана, как вдруг навстречу им выбежал мальчик лет тринадцати в зеленом гимназическом мундирчике с красным воротником и взял колпак у него из рук.

У порога гостиной Никита запнулся ногой о ковер и покраснел от этой неловкости. Он и теперь помнит, как растерянно остановился тогда посреди комнаты. Большой и угловатый, он чувствовал себя в просторной гостиной как-то неловко, боялся сдвинуться с места, чтобы не опрокинуть столик с часами, не смахнуть какой-нибудь безделушки.

— Располагайтесь, пожалуйста, — пригласил гимназист. — Папа скоро вернется, а мама с Таней варят в саду варенье.

— Никита, побудь-ка тут, — бросил Саня и исчез вместе с хозяйским сыном.

Никита остался один.

Он с облегчением вздохнул и обвел комнату внимательным взглядом. На стене большая картина, писанная маслом, — берег Волги, освещенный закатным солнцем. У другой стены фортепьяно. В углу стол и несколько кресел. Он увидел книги, и широко расставленные глаза его загорелись. Никита шагнул к столу и стал перебирать изящные томики — Капнист, Лабрюйер, Гесперовы "Идиллии". А рядом альманах "Аглая". Никита не то что не читал, даже не слыхивал о таком. Он раскрыл книгу и стал перелистывать.

Самый слог поразил его. Воспитанный на духовных текстах, привыкший к торжественной величавости — полуславянской, полулатинской, он с изумлением читал статью, отвергавшую привычное ломоносовское деление языка на "три штиля". Сочинитель призывал создать новый слог и для книг и для общества, чтобы писать, как говорят, и говорить, как пишут. Напечатанные в альманахе статьи и отрывки из "Писем русского путешественника" пестрели новыми словами, которых Никита до того не встречал: "будущность", "человечность", "влюбленность".

А как любопытны были самые письма из Европы! Сочинитель описывал разные страны, рассказывал о встречах с писателями, о театральных представлениях, о литературных салонах Парижа…

Никита так зачитался, что забыл, где находится, и не

заметил, как отворилась дверь. К действительности его вернул голос Сани:

— Таня, вот мой приятель — Никита. Никита Яковлевич, студент философии.

Никита быстро обернулся и захлопнул книгу.

Прямо на него шла девушка. Он стоял большой и нескладный. Руки, вылезавшие из коротких рукавов кафтана не по росту, беспомощно повисли. А девушка подошла и сказала непринужденно, словно они давно уже были знакомы:

— Здравствуйте, Никита. Саня много про вас рассказывал, даже стихи ваши читал. — И улыбнулась.

Он схватил своей огромной ручищей узенькую ее руку, теплую и живую, и, не зная, что с нею делать, смотрел сверху в поднятые на него глаза.

— Что же вы стоите? Садитесь, пожалуйста, — сказала она, потихоньку высвобождая руку из его ладони.

Он что-то пробормотал в ответ.

Никита и по сю пору помнит мельчайшие подробности этого вечера. Вернулся из города Лаврентий Павлович, оживленный, словоохотливый, пришла из сада мать — от нее так и пахнуло дымком костра. Оба они показались Никите приветливыми и любезными. Пригласили к столу. Пили чай с вареньем. Говорили, помнится, о недавнем приезде в Казань императора, о Карамзине и об "Аглае".

Саня держался уверенно, должно быть, чувствовал себя здесь как дома. А Никита обливался потом. Особенно ему досаждали руки. Он просто не знал, куда их деть, они ему явно мешали. Наконец, потянувшись за сахаром, он задел чашку, опрокинул ее и залил скатерть. Таня едва приметно улыбнулась, а Никита готов был провалиться сквозь землю.

Чтобы дать ему возможность оправиться от смущения, Лаврентий Павлович принялся пересказывать городские новости, а потом исподволь стал расспрашивать о занятиях в семинарии, о предстоящем ее преобразовании в академию. Так, незаметно для себя, Никита оказался втянутым в беседу.

Он пожаловался на прекращение занятий французским языком.

— Как, разве французскому вы тоже обучались? — спросил Лаврентий Павлович с интересом. — Я полагал, у вас учат только латынь и греческий.

— Новые языки при архиепископе Амвросии преподавались у нас сверх программы, на доброхотных началах. А с прошлого года французский учить перестали.

— Отчего же?

— Указ на то от митрополита последовал. Прописывалось — указ тот я сам читал у преосвященного, — будто неблагонамеренные из нас знанием языка оного злоупотребляют, а зловредным последствием сего является распространение французской вольномысленной философии.

— Вот как? — улыбнулся Лаврентий Павлович. — Ну это, должно быть, вызвано общей переменой в политике нового государя. И то сказать, вулкан французской революции хоть и поутих, а молодые сердца всё рвутся к пленительном вольности. Да, а что, ежели приходить вам с Саней упражняться французскому языку к нам? — И пояснил: — Гувернантка у нас — природная француженка, из эмигранток. В прошлом году я привез ее из Петербурга. — Как вы на это смотрите, мадемуазель Марме? — обратился он по-французски к сидевшей на другом конце стола немолодой чопорной женщине с седыми волосами, забранными в высокую прическу.

Француженка согласилась. Весь вечер она сидела молча, не принимая участия в общей беседе, а тут вскинула на Никиту глаза и заговорила с ним по-французски. Он отвечал довольно бойко, но французские слова произносил непривычно твердо, по-волжски окая, вызывая улыбки хозяев и растерянность мадемуазель Марме…

II

И вот с осени каждую субботу и воскресенье бежали они с Саней к знакомому домику над Черным озером. Уже в понедельник Никита просыпался с радостной мыслью, что в субботу будет у Саблуковых. Это ожидание помогало переносить смрадный холод набитой бурсаками спальни, сквозняки в нетопленных классах, пустые щи, приправленные конопляным маслом, казуистические тонкости богословских дефиниций, которые преподносил им в своих лекциях по полемическому богословию новый ректор академии архимандрит Сильвестр. Студент должен был выложить их в любую минуту, даже если бы его разбудили вдруг среди ночи.

Временем студентов академическое начальство распоряжалось с расчетливостью самой скаредной. Учебные классы начинались затемно — с семи часов утра — и тянулись до шести пополудни, с двухчасовым перерывом на обед и на отдых. Студенты едва успевали заучивать заданные уроки, и все же Никита выкраивал часок-другой для чтения светских книг, которые после отъезда Амвросия доставал у Саблуковых и у знакомых гимназистов.

А тут еще преподавание. В 1798 году, после посещения Казани императором Павлом, семинарию преобразовали в академию. Число студентов и учеников возросло до пятисот. Учителей не хватало. В числе лучших студентов богословского класса Никите было поручено преподавание сперва в информатории, а потом и в грамматике.

Отбор студентов для преподавания производился весьма тщательно. Пятеро отобранных, в их числе Никита и Саня, были вызваны для наставления к самому ректору.

Архимандрит Сильвестр ознакомил будущих учителей с высочайшим повелением. Указом его императорского величества, государя и самодержца всероссийского, императора Павла об улучшении русского языка изымались из употребления некоторые слова и заменялись другими. Отменялось, к примеру, слово "обозрение", взамен поведено было употреблять о_с_м_о_т_р_е_н_и_е. Вместо слова "врач" надлежало употреблять только л_е_к_а_р_ь. "Стража" менялась на к_а_р_а_у_л, "отряд" на д_е_т_а_ш_е_м_е_н_т. Вместо "граждане" поведено было употреблять ж_и_т_е_л_и или о_б_ы_в_а_т_е_л_и. Вместо "отечество" — г_о_с_у_д_а_р_с_т_в_о. И уж совсем безо всякой замены изымалось из употребления слово о_б_щ_е_с_т_в_о. "Этого слова совсем не писать", — говорилось в высочайшем указе.

Указом этим учителям надлежало отныне руководствоваться наистрожайшим образом.

Теперь, когда ом начал преподавание, у Никиты и минуты свободной не было. Дни были заполнены до отказа.

Но в субботу, в половине шестого, начиналась иная жизнь. С каким нетерпением дожидался Никита этого часа! Он и теперь еще помнит, как весело светил ему сквозь голые сучья облетевшего сада приветливый огонек в окошках саблуковского дома.

Ни одной науке не отдавался Никита с таким рвением, как занятиям французским у Саблуковых.

Языки ему давались легко. Он свободно читал по-французски и говорил, как ему казалось, довольно бегло. Но скоро он понял, что его французский язык производит впечатление весьма комическое. Первым учителем французского был у них профессор философии Яковлев-Орлин. Человек исполинского роста и громоподобного голоса, которым он мог бы потягаться с любым протодиаконом, Орлин выучился по-французски в Московской академии. Читал он с ними Корнеля и Расина, Ларошфуко и Лабрюйера. На произношение большого внимания не обращал, да и сам, как теперь становилось ясно Никите, особым изяществом выговора не отличался, так что у мадемуазель Марме им

приходилось переучиваться заново.

Учительницей та была строгой и придирчивой. В отличие от Орлина, ее особенно заботили произношение и интонация. Любая фальшь, малейшая ошибка причиняли ей боль.

Упражнялись они не только с мадемуазель, но и с Таней, которая говорила по-французски, как природная парижанка, — так во всяком случае Никите казалось.

Занятия с Таней были ему и в радость, и в муку. Он не мог спокойно сидеть, когда она склонялась над лежащей перед ним книгой, чтобы объяснить произношение какого-нибудь не дававшегося Никите слова, или ненароком касалась его руки, переворачивая страницу; негромкий голос ее продолжал звучать в ушах даже когда и не было ее рядом.

Они упражнялись во французском, читали по очереди вслух, устраивали на святках любительские спектакли — сколько тут было веселой возни и суматохи! Особенно он любил, когда Таня садилась к фортепьяно.

Но вечер не оканчивался, когда за ними захлопывалась калитка саблуковского дома. Часто ночью, лежа без сна, стараясь не замечать могучего храпа богословов и философов, Никита переживал сызнова подробности прошедшего вечера. Все в этих воспоминаниях вдруг обретало для него значение: украдкой брошенный взгляд, оттенок голоса, которым она произносила свое обычное "До свидания, Никита", живое тепло тоненьких ее пальцев при прощальном пожатии руки.

Таня встречала их всякий раз дружески, никому не отдавая предпочтения. Ей было весело с обоими.

А он, человек совсем не робкого десятка, страшился остаться с нею наедине, не смел прикоснуться к ней.

Мучительным напряжением воли всечасно следил за собой, чтобы никто не догадался, что у него на сердце. Он понимал: стоит только родителям Тани заподозрить неладное, и двери их дома будут навсегда закрыты для несчастного кутейника.

Оттого-то Никита тщательно таил свое чувство, не решаясь открыться даже Сане.

III

Наступило лето. Однако ехать на вакации не хотелось. Жаль было покидать Казань даже на несколько недель.

Но как-то вечером пришло письмо из дому, длинное — на трех листах.

Никита знал, что в грамоте отец не силен, учился в семинарии всего до грамматики (да и было то лет тридцать тому

назад), и столь пространное письмо его удивило.

"Родимый сынок наш, Никитушка, низко тебе с матерью кланяемся и долгом поставляем отписать, какая с нами беда приключилась, — читал Никита. — Назад три дня бывши я из чуваш у новокрещена Архипа Алексеева, ты должон его помнить, по зову ево на помочи и испивши пива, зделался несколько в подгуле. Воротился домой и, не входя в ызбу, прошел прямо в сад, лег в поставленный в том саду для караула яблоков шалаш, в котором ты любил почивать, когда летом домой на ваканцыи приезжал, и заснул весьма крепко. И в то время неведомо кто имеющимся в оном шалаше собственным моим топором у левой руки близ самой ладони отрубил четыре пальца, из коих кроме болшого три протчие отпали, а мизинец остался на одной жиле.

И как я по отрублении тех палцов згоряча выскочил с постели и выбежал из шалаша, то углядел перелезающего чрез забор неведомо какого человека, но в подлинность его не приметил. Потом взошед я в ызбу и от истекшей от той моей руки немалого числа крови зделался в беспамятстве и почти полумертвой. О котором приключившемся мне нещастии известясь диакон наш, дьячек, пономарь, а еще воровского смотрения сотник Алексей с товарищи пришед ко мне в дом так чрез час, истекшую из моей руки кровь осматривали, но отрубленных трех палцов не сыскали почему и может стать, что оные отрубленные палцы растасканы птицами…

А как от того злодейства нахожусь я в крайней болезни, а за тем и должности своей исправлять не могу, то и просил я Чебоксарское духовное правление, чтоб место мое за излечением и пропитанием меня с семейством предоставить за тобой.

Вот какое, сынок, нещастие у нас приключилось, так что ждем мы тебя не дождемся, приезжай домой, как можно скорее, не мешкая…"

Никита не на шутку встревожился.

Но ехать домой без указа о предоставлении священнического места на время болезни отца было бессмысленно.

Если бы не уехал Амвросий, все было бы просто: преосвященный относился к Никите по-отечески. А как без него добиться этого указа? Хочешь не хочешь, а надобно идти в консисторию.

Помещалась она в кремле, рядом с архиерейским домом. От академии — три шага. На другой день чуть свет Никита побежал на "подачу". Несмотря на ранний час, в приемной уже понабилось народу. В длинной угрюмой комнате стояли, притулясь к темным, закопченным стенам с облупившейся штукатуркой, или сидели на лавках и на подоконниках просители. Были тут и запыленные, в

лаптях, сельские дьячки и псаломщики из дальних приходов, и священники из самой Казани, и вдовые попадьи да дьяконицы, и просто странники.

Никита сел с краю.

Время тянулось томительно. Не слышно было не то что веселой шутки, но и говорили-то вполголоса — так, перешептывались друг с дружкой, не рискуя нарушить гнетущей тишины. Порой, правда, кто-нибудь забывался и повышал голос, но тотчас раздавалось предостерегающее "тсс!" или из-за стены доносилось сердитое: "Эй вы, чего расшумелись там!" — и снова все затихало. Время от времени через приемную проходили заспанные конситорские чиновники, ни на кого не глядя, будто и вовсе не замечая просителей.

— Сам-то нынче злой, видать с похмелья, — сказал сидевший рядом дьяком, имея в виду консисторского секретаря. — Я вот презент припас, — показал он на полуштоф под полой рясы. — Да боюсь — не мало ли?

— Не угадаешь! — пожал плечами седенький священник. — А что припас — правильно. Не без того. Я тебе так скажу, отец диакон, он и для полуштофа водки, и для фунта чая доступен, и для целкового, и для полтинника, да и от двугривенного не откажется. Все по тому судя, что у тебя за дело. Однако же и для наипервейшего в епархии иерея будет он недоступен, ежели тот возымеет дерзость явиться к нему с пустыми руками.

С каждой минутой Никита все больше терял надежду. Но тут дверь из канцелярии отворилась и на пороге показалась высокая нескладная фигура в порыжевшем сюртуке со следами чернил и табака на лацканах.

"Да никак это Петруха Алексеев? — удивился Никита. — Ну конечно, Петруха! У кого еще сыщешь такую долговязую фигуру?" В семинарии его иначе и не звали, как Непомерным. Он учился с Никитой до синтаксимы и был исключен за великовозрастие и малоуспешие. Рассказывали, что он подался в консисторию. Как же он об этом забыл?

Никита поднялся навстречу.

— Бичурин? Какими судьбами? — обрадовался тот, заметив Никиту. — А ну-ка выйдем. — И он направился к двери.

С Алексеевым Никита был не то что дружен — два года сидели на одной парте. Случалось, Никита подсказывал ему при ответах, да и в кулачных боях на Кабане они были в одной команде. На науки внешние — светские — Алексеев давно махнул рукой: обучался только закону божию, церковным уставам да нотному пению. Для занятия причетнических мест это было необходимо в первую очередь. Но потом охота идти в дьячки у

него пропала, а что семинарии ему все равно не кончить, становилось ясно, и Непомерный, обладая завидным почерком (это, пожалуй, единственное, что он вынес из бурсы), притулился в консистории и вот уже несколько лет служил тут канцеляристом.

— Зайдем-ка, — предложил он. — Надобен опрокидонтик, хоть самой махонькой, а то голова что-то трещит.

Они зашли в питейную у самых ворот кремля.

Алексеев опрокинул шкалик, закусил соленым огурцом и приметно оживился.

— Так что у тебя за дело? Выкладывай!

Никита рассказал.

— Да-а, друже… — протянул, выслушав его, Непомерный. — Дело щекотливое, поелику, сам разумеешь, не надлежало попу по духовному регламенту ходить к мужику на помочь. Да и видно, много был пьян, коль не заметил, как у него кто-то пальцы отсек. Ну да ничего! Что выпито, то выпито, тому и счетов нет. Да и бог милостив. А по старой дружбе мы все сие обделаем в наипревосходном виде. Ну, само собой, придется выставить секретарю бутылку рому, без того, друже, сам разумеешь, не обойтись. Секретарь — это ты возьми во внимание — лицо в консистории наипервейшее, — продолжал он, понижая голос. — Все дела к преосвященному чрез секретаря поступают. А ведь много от того зависит, как его преосвященству репорт преподнесть. Можно так доложить, что такой пудромантель выйдет — не очухаешься. А можно и этак… Словом, приходи завтра, да про ром не запамятуй, а я все подготовлю в наипревосходном виде.

Через два дня у Никиты уже был на руках указ преосвященного из Казанской консистории в Чебоксарское духовное правление. В указе было прописано: "Место священника Воскресенской церкви села Бичурина Якова Данилова предоставить за сыном и велеть означенного священника сыну, обучающемуся в академии, получать надлежащий доход, а о приключившемся оному священнику таковом нещастном случае учинить на законном основании следствие и оное прислать в Консисторию при репорте немедленно".

До дому Никита добрался быстро: выдался попутчик — знакомый Саблуковым гимназист. Ехал он на вакации в отцовское имение неподалеку от Чебоксар и прихватил Никиту с собой.

Когда они с Саней подошли к квартире гимназиста на Проломной, у подъезда уже стояла ямщицкая тройка. От запаха дегтя, рогожи и лошадиного пота сердце защемило тоской по родному дому.

Ездить на почтовых прежде Никите не доводилось. Все ему было внове. Ямщик попался лихой. Чтобы потешить сидевшего в тарантасе барчука и заслужить на водку, он пустил тройку во весь опор. Никиту охватило еще не испытанное наслаждение стремительного полета. Звенел и прыгал под дугой колокольчик, гремели бубенцы на пристяжных, а мимо мелькали пожелтевшие уже хлеба, овраги, кресты на погостах, русские, татарские, чувашские деревни и сёла. Гудели под колесами мосты, а над головой плыли летние брюхатые облака.

Быстро мелькали версты. Утром миновали скрипучий перевоз через Свиягу, а под вечер, когда тени от лошадей вытягивались все длиннее, поравнялись с перекрестком, откуда начиналась знакомая тропа на Бичурино.

В родное село он добрался уже на закате. Горел на солнце крест над жестяным куполом почерневшей тесовой церкви. Вот по другую сторону Поповского оврага отчий дом, зажатый между обывательских хмельников, садик в два десятка яблонь и изба, мало чем отличающаяся от таких же бревенчатых чувашских изб, — разве что трубой над крышей.

Скрипнула калитка, и на крыльце показалась мать. Увидев сына, она вскрикнула и бросилась к нему. Никита прижал к себе родную, с серебряными нитями в волосах, материнскую голову.

IV

Рано утром его разбудили птицы.

Он не сразу сообразил, где находятся. За долгие годы бурсацкой жизни Никита привык вставать затемно и видеть по утрам одно и то же. В большой комнате с низким сводчатым потолком спало их человек шестьдесят. Спальня едва освещалась двумя сальными огарками, плававшими в воде, налитой в жестяные плошки. На все лады храпели кругом пииты, риторы и философы.

А тут не храп, а пение птиц, не одуряющая вонь переполненной бурсаками спальни, а чистый, как родник, воздух, духовитый запах омытого росой хмеля и теплого парного молока.

Где-то вдали запел пастуший рожок.

Никита вскочил на ноги и вышел из шалаша.

Еще не рассеялись синие ночные тени, но легкие облака над головой уже порозовели, над лесом у самого окоема пробежала узкая яркая полоса. Вот такая же, только пошире, поползла по земле, все ближе, ближе; теплый луч коснулся лица, и Никита невольно зажмурился: взошло солнце.

Дома еще спали, и он спустился к реке.

Поговорить с отцом вчера не удалось. Днем тот крестил сына у богатого мужика на выселках. А что за крестины без пива? Никита знал: пиво тут варят хмельное, пьяное и батюшку вчера на радостях так напотчевали, что вечером привели домой под руки. Даже поднявшаяся с приездом сына кутерьма отца не разбудила.

Да-а, мудрено, видно, сельскому священнику не спиться, подумал Никита. Для этого надобно обладать железной волей или воловьим чревом. В самом деле, пригласят ли священника прочитать молитву роженице, причастить ли больного, помянуть ли покойника — без пива не обойтись. Так уж заведено сысстари, с первых дней крещения отцов и дедов.

Никите и самому не раз доводилось ходить с отцом по приходу — на пасху и на святки. В каждой избе неизменные угостки, как тут говорили. Помнит Никита, обошли они как-то с отцом и дьяконом десятка два дворов, заходят к одному чувашину из новокрещенов, — молебен служить надобно, а дьякон как сквозь землю провалился. Побежал Никита на розыски. А дьякон, пока отец в избе воду святил, к соседской молодухе пристал. Муж, здоровенный, горячий чувашин, вступился за жену. Тот — в драку, вот мужики его орарем {Орарь — часть дьяконского облачения, идущая через левое плечо перевязь с вышитыми на ней крестами.} к столбу и привязали. Окружили незадачливого волокиту мальчишки, смеются, языки показывают, дьякон орет громким, хоть и нетвердым, голосом, порывается на них броситься, да где там: руки за спиной скручены и сам крепко к столбу приторочен.

…До обеда Никита бродил по селу и все примерялся: а что, если б тут, рядом с ним, жила Таня? И отчий сад яблоневый показался ему маленьким, и изба покосившейся, и горница, в которой мать собрала обед, какой-то уж чересчур низенькой, и бревенчатые стены закопченными дочерна.

К обеду был подан не хлеб, а сухари. Их размачивали в деревянной мисе. Только Никите мать отрезала ломоть свежего хлеба, видно полученного вчера за крестины.

— Что же вы щи с сухарями хлебаете? — спросил Никита.

— Сухари еще с пасхальных хлебов остались, — ответила мать.

"Да я мог бы об этом и не спрашивать", — подумал Никита. Он хорошо знал: платили священнику в деревнях натурой. Хлебы, что получают за случайные требы — за крестины, молитву, благословение, конечно, не залеживаются и сразу идут на стол. Ну а с пасхальными караваями выход один — сушить на сухари. Разве он забыл, что хлеб черствый, с плесенью бурсаки называют поповским?

Никита поглядывал кругом, и в глаза бросалось то, чего не замечал прежде, — облезлые деревянные ложки, щербатая столешница, иссеченная глубокими трещинами, двухпалая рука отца.

Разговор шел о разных домашних делах.

— А Ильюшка-то как вымахал, — кивнул Никита на уплетавшего щи младшего брата. — Сколько ему?

— Седьмой годик пошел.

— Скоро в семинарию. Хочешь, Ильюша? — спросил Никита.

— Не. Не хочу в попы, хочу в гусары.

Все, кроме отца, рассмеялись.

— Ишь гусар выискался! — ласково потрепал брата Никита.

— Летось проходил через село эскадрон гусарский, — пояснила мать. — Каски да епанчики, ментиками, что ли, они прозываются, на солнце так и горят. Вот с той поры гусарами и бредит.

— Тоже мне гусар! — нахмурился отец и повернулся к старшему сыну: — А ты бы похлопотал, Никитушка, о казенном-то коште для брата. Содержать его на своем мне не под силу.

Вскоре разговор зашел о первом священнике села отце Петре.

— Тошно служить в одном приходе с ним, ох тошно! — вздохнул отец. — Дня через три или четыре после злодейства, о котором я тебе отписал, в отношении матери твоей изъявлял он весьма странные поползновения.

— Что, что? — встревожился Никита.

— А вот слушай. Случилось мне из дому отлучиться, так отец Петр, уж не знаю, для какого умыслу, — не иначе как про небытность мою проведав, подошел к избе нашей и на мать набросился.

— Как это набросился?

— А вот так. Крепко, видать, в подгуле был, ну пришел, схватил ее за рубаху, яко неистов, и начал драть на ней ту рубаху.

— Он и больше б причинил мне побойства, да я вырвалась. Вбежала во двор, вороты да сенные двери за собой заперла, а отец Петр схватил полено, на забор взгромоздился и ну давай браниться по-всякому. "Убью, — кричит, — тебя даже до смерти!" Машет поленом и еще приговаривает: "А ежели и убью тебя, стерву, так заплачу за то сто рублев, и делу конец. А что мне сто рублев, — кричит, — тьфу!"

— Вот оттого-то и имеем мы крайнюю опасность, как бы он по тем своим угрозам и заподлинно не причинил ей смертного убивства. — Отец приподнял со стола двухпалую свою руку: — Я ведь и про руку на него думаю. Полегчало мне, так уж как я ни старался разведать, кем точно мне пальцы-то отрублены. Из ума

иступился, а и поныне никакого известия ни от кого получить не могу. Токмо мнится мне, не иначе как отец Петр содеял сие или кто по его наущению, потому как он на всякое злодейство способен.

— Так неужто нельзя от него избавиться? В духовное правление или в консисторию на него пожалобиться.

— И жалились, и жалились! Летось даже в консисторию челобитную на него подали.

Отец поднялся из-за стола, достал из-за божнины аккуратно завернутую в холстинку бумагу и протянул Никите. То была старательно перебеленная дословная с челобитной, подписанной прихожанами. "Мы, нижеподписавшиеся Казанской губернии, Чебоксарского уезда, Цивильской округи, села Бичурина, церкви Воскресенской, — читал Никита, — свидетельствуем по чистой нашей совести, что первый священник нашей церкви Петр Прокофьев чинит нам, имянованным, так и всего нашего села жителям великие притеснения и приметки, всечасно бранит прихожан непотребными матерными бранями и бьет смертными побои, ходит по селу с иконой в пьянственном образе, и многоразличными способами у прихожан разные незаконные даяния вымогает, и женишек наших блудным воровством бесчестит". Слезно просили прихожане освободить их от отца Петра и заместо него дать им в старшие священники отца Якова, "потому как второй священник нашей церкви Яков Данилов есть человек добрый, не пьяница, не клеветник, не сварлив, не любодеец, в воровстве и обмане не изобличен, поведения честного, да и нашему чувашскому языку весьма заобыкновенен и способен привести чувашей к лутчему исправлению христианской веры".

— Ну и что же консистория?

— Не уважили той просьбы челобитчиков в консистории, не уважили. Видно, рука там у отца Петра. А про челобитную он, отец Петр, от кого-то проведал. Незадолго до того ты домой на ваканцыи приезжал. Вот отец Петр и заподозрил, что челобитную мужикам ты сочинил, с той поры и затаил злобу и на тебя, и на меня, и на все семейство наше.

— Никак я в толк не возьму, отчего первым священником в селе он, а не вы, — сказал Никита. — Вы хоть до грамматики доучились, а отец Петр и вовсе в семинарии не бывал. Да я и не знаю, имеет ли он грамоту-то. Поди выучил наизусть чин богослужения да несколько псалмов и акафистов.

— Видишь ли, сынок, прежде-то священствовал тут, в селе, отец евоный, Прокопий. Лютый был поп, сказывают. Когда тут недалече войско Пугача проходило, приходские новокрещены,

поговаривают, не раз били его, отца Прокопия, разным дреколием. А года за два до того, как меня сюда перевесть, выходит, в одна тысяча семьсот, дай бог памяти, кажись, в семьдесят седьмом году два других священника, уж не ведаю как — в подгуле али по злобе — убили того Прокопия…

— Ну конечно, в семьдесят седьмом, в тот год ведь Никитушка родился, — вставила мать.

— Верно, верно. Ну, знамо дело, от должностей их поотрешили, саном обнетили и — в Сибирь. А на место того Прокопия сына евоного, Петра, назначили. А спустя два года вторым священником меня прислали. До того я в селе Акулево диаконствовал в церкви Успения пресвятой богородицы. Священником служил отец Даниил, дед твой, а я диаконом. Ну вышла ваканцыя, вот меня рукоположили в сан священнический и назначили. Так оно и получилось, что отец Петр первым священником служит, а я вторым. Ведь приход-то евоный. А допрежь того он и вовсе был одноклировый. Приход же немалый — сам знаешь. Не одно ведь Бичурино, а и деревни окрестные да выселки — и на Копере, и на Каняре. Целых двести семьдесят дворов набирается. В храм-то прихожане ходить у нас не горазды. Чувашины — они и Христу молятся, и в шуйтаков своих веруют. Да и до бога далеко, а киреметь {Киремети — злые и крайне опасные божества, обитавшие, по языческим поверьям, при каждом чувашском селении.} рядом. Так что ежели не хочешь ноги протянуть, по приходу ходи — то со святой водой, то с крестом, а то и с иконой. А отец Петр, будь он неладен, и Бичурино, и ближние выселки себе забрал, а мне самые дальние выделил. А я уж стар становлюсь, да и ноги худые, плохо слушают. Боюсь, как бы за слабостию здоровия не пришлось и вовсе or прихода отказаться.

— Да что вы, батя, вы еще совсем молодцом! Надобно только как-то от отца Петра избавиться, а с десяток лет вы еще послужите.

— Нет, не протяну столько, сынок. Так что принимай приход, доволи поучился.

— Мне же богословский класс кончать надобно. Это еще полных два года.

— Можно б и на философии кончить. Я вон учился всего до грамматики.

— Нет, отец, прихода я у вас принимать не стану!

— Да ты посуди: как же мы жить да ребят поднимать будем? Мы с матерью и целкового на черный день не скопили. Одни долги. Оно, конечно, есть дом, усадьба, садик. Так ведь на церковной земле. Останешься без места, волей-неволей все

отдашь за бесценок своему восприемнику. То ли дело, как тебя сюда назначат — и место, и все добро тебе передам.

— Нет, отец, не невольте, — сказал Никита решительно. — В село я не вернусь. А не хотите приход в чужие руки отдать — Татьяне жениха подыскивайте. Она уже совсем невеста. — Он с улыбкой посмотрел на сестру. Та смущенно потупилась, а младшая, Матрена, так и фыркнула. — Хочешь, Таня, я тебе в академии кого-нибудь присмотрю?

— Выдумаешь тоже! — Сестра вспыхнула, выскочила из-за стола и убежала.

— Ишь зарделась, будто полымем ее обдало. И то сказать, совсем уже заневестилась, — вздохнула мать. — Семнадцатый годок пошел.

V

Разговор с отцом получился трудный. Они продолжали его и после обеда, и на другой день, и не раз еще возвращались к нему за время вакаций.

Сказать отцу всего Никита, разумеется, не мог. Он по-своему любил отца. Но все больше к любви этой примешивалась жалость. Малограмотный деревенский священник гордился своим ученым сыном, но вряд ли способен был понять и оценить его честолюбивые помыслы. Разве расскажешь отцу, что совсем не о духовной карьере он помышляет.

Когда-то Никита мечтал вернуться в родное село, стать священником. Много лет он веровал в бога искренне и безоговорочно. Отчасти тут сказывалось влияние Амвросия, его проповедей, доверительных бесед с ним долгими зимними вечерами. Амвросий учил, что человек не может жить без веры, что жизнь без веры — это жизнь животного. Никита знал, что священник в чувашском селе чуть ли не единственный грамотный человек во всей округе, и ему не терпелось кончить семинарию, чтобы вернуться в родное село и стать первым наставником своих прихожан. Ведь религия, как говорил Амвросий, величайшая сила сивилизации, и Никите хотелось, чтобы его труд, его слово были нужны людям, помогали им жить, врачевали их раны душевные.

Но с годами бог как-то таял и таял в его душе, да и с каждой новой поездкой на вакации Никита все больше убеждался в том, какую жалкую роль играет на селе приходский священник.

К тому же у отца ведь не обычный русский приход: его прихожане — это все народ, лишь недавно обращенный в христианство, и не по своему желанию, а, в сущности, внешнею силою. Чувашин — он хоть и не скажет этого прямо, но про себя,

конечно, думает, что поп и весь клир навязаны ему, и он принужден кормить духовенство, не испытывая в нем никакой подлинной надобности. Да ведь помимо христианского попа у него есть еще и свой, более привычный, языческий юмзи, или мачаур, которого тоже надобно кормить и задабривать.

Ко всем этим размышлениям все чаще примешивалась мысль о Тане. Рисуя теперь себе будущее, он всегда видел ее рядом с собой. А о том, чтобы она оставила свой привычный уклад, бросила родной город, который после Петербурга и Москвы считался третьим городом в северном краю России, и уехала с ним в глухое чувашское село, не могло быть и речи. Да и родители ее ни за что бы на это не согласились. Таня — попадья! Он усмехнулся этой мысли. Нет, в священники он не пойдет.

Он изберет себе другое поприще, иную стезю. Учился он хорошо. В семинарских, а потом и в академических ведомостях неизменно стояло "понятия отличного", "превосходного" или "препохвального". С детства, когда Амвросий впервые привел в свою библиотеку приглянувшегося ему грамматика, неповторимый запах книжной пыли был для Никиты манящим и сладостным. Книги возбуждали в нем ненасытный волчий аппетит. Он не просто читал их, а глотал, самые разные — исторические хроники, богословские и философские трактаты, а если попадались, так и романы и повести. Из всех дорог его больше всего влекла стезя ученого. Вот он и останется в академии светским учителем, станет профессором красноречия, или словесности, или всеобщей истории. Да, да, лучше истории! Он станет ученым, внесет в отечественную науку свой достойный вклад, тогда и Таня от него не откажется.

Но разве расскажешь обо всем этом отцу? Тому думалось: вот кончит Никитушка семинарию, а можно и не кончать, — бог с ней, с богословией, — и он передаст сыну приход. Но как ни уговаривал отец, Никита твердо стоял на своем.

В первые дни Никита наслаждался покоем, купался в студеной Каняре. Речка была маленькая, извилистая, обросшая лозняком. Несмотря на жаркое лето, вода в ней была холодная, — питалась Каняра ключами.

Никита ловил рыбу, ходил за отца по приходу (рука у того все еще не зажила), крестил новорожденных, соборовал, бывал у крестьян на помочах, а мысли были далеко.

Первые радости от встречи с родными сменились вскоре тоской непереносимой. Он рвался в Казань. Ему не терпелось увидеть знаковый домик над Черным озером, приветливую надпись на воротах, услышать негромкий грудной голос.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

I

Прошло два года. Никита и не заметил, как они промелькнули. Уже перед самым окончанием академии его пригласил к себе ректор — архимандрит Сильвестр. Ласково расспросив о занятиях, он сказал томом самою благожелательного участия:

— А почему бы не принять тебе чина ангельского, сын мой?

— Помилуйте, ваше высокопреподобие, — взмолился Никита, — да как же так можно — прямо из-за парты брать на себя монашеские обеты! Умудренные жизнью старцы и те изнемогают порой под этим бременем. А я еще так молод…

— Аллегория, да и только! Молод! Вот в молодых-то летах и надобно посвящать себя господу, поелику путь спасения — путь иноческий. Ну всеконечно, в твои лета более будет борьбы, а может, и падений поболе, нежели когда состаришься. Но зато колико будет у тебя подвигов, заслуг перед господом богом, — убеждал Никиту архимандрит Сильвестр. Вопреки смыслу своего имени (silvestris означает по-латыни "лесной", "молчаливый") ректор был велеречив.

Никита молчал. Тогда ректор повел наступление с другого конца:

— Полно, сыне. Тебя что, пугает тяжесть монашеских обетов? Да не так уж трудно житие иноческое, как ты мнишь себе по неопытности, вьюношу свойственной. Ну давай рассуждать со спокойствием. В чем состоит наипервейшее отличие монаха от мирянина? В том, во-первых, — загнул он пухлый мизинец левой руки указательным пальцем правой, — что иноку жениться возбранено. Так?

Никита согласно кивнул головой.

— Ну, сие уж не бог весть какая беда! А ведомо ли тебе, сыне, колико светских людей и безо всяких обетов отказываются от семейного счастия — сиречь от дрязг да хлопот — и на всю жизнь остаются неженатыми?

Никита молчал. Ректор приметно оживлялся.

— Во-вторых, иноку возбранено употреблять пищу мясную, — продолжал он, загибая безымянный палец. — А ведаешь ли ты, сын мой, что без мяса человеку даже пользительнее? Да притом и постный стол можно иметь не хуже скоромного. Вот, кстати, время к обеду подошло, и я приглашаю тебя разделить со мною убогую трапезу монашескую.

Ректор хлопнул в ладоши, и тотчас из боковой двери, прикрытой портьерой, появился служка:

— Прикажете подавать, ваше преосвященство?

Ректор был архимандрит и, следственно, высокопреподобие, но он, видно, был отнюдь не против того, что служка, как бы обмолвясь, титуловал его, будто архиерея, преосвященством.

— Да, да, распорядись, чтобы подавали.

Они прошли в столовую. На большом столе, накрытом белоснежной скатертью, стояло три прибора — для хозяина, Никиты и префекта — архимандрита Антония. Тот уже дожидался в столовой. Это был тихословный человек с постным лицом и вкрадчивыми манерами.

После молитвы, заметив смущение студента, ректор кивнул на стул и сам опустился в покойное кресло, заполнив его собой.

На столе и в самом деле не было ничего скоромного. На закуску были поданы соленые и маринованные грибы, вяленая рыба, икра, белужий бок.

Архимандрит привычным движением расстегнул пояс под просторной рясой, подвернул рукава, чтобы они не мешали во время трапезы, и потянулся к запотевшему графину.

— Вино не худое, только крепковато, можешь разбавить его водою, сын мой.

— Но апостол Павел повелел наливать не воду в вино, а вино в воду, — напомнил Никита.

Ректор улыбнулся шутке.

— Мне бесперечь пишет о тебе высокопреосвященненший митрополит Амвросий, — вернулся он к разговору, начатому в гостиной. — Уж не ведаю: чем ты его оволшебил? Но и я долгом своим поставляю направить тебя на путь истинный, — говорил Сильвестр, подливая в рюмки гостям, не забывая при этом и о своей. — На чем, бишь, мы остановились-то? Да, в-третьих, иноку надобно жить в монастыре.

— И притом до последнего своего издыхания — так при постриге говорится, — вставил Никита.

— До последнего издыхания! — подхватил ректор. — Господи боже мой! Да в монастыре-то жить тебе почти что и не придется. Ты же будешь ученый, а не монастырский монах, и обителью тебе станет семинария или академия. И в церковь каждый день ходить не придется. Тебе же надо будет в классе сидеть, к лекциям готовиться, семинарией управлять, ежели назначат префектом. Где уж тут по службам ходить!

Служка разлил по тарелкам ботвинью со льдом и подал блюдо с тонкими ломтиками прозрачного балыка и розовой лососины.

— А какой простор откроется после пострижения для твоих ученых занятий! — старался ректор воздействовать на честолюбие строптивого студента. — Никто не будет им мешать. Изучай богословие, герменевтику или другие какие облюбованные тобою науки, передавай свои познания жаждущему истины юношеству, пастырям будущим. Колико добра людям можешь ты принести, услуг святой церкви и любезному государству своему оказать! Какое возвышенное, поистине христианское назначение!

Они сидели в просторной столовой, служки вносили и выносили кушанья, видно, недостатка в припасах на кухне у ректора не было, а уха из стерляди не уступала доброму борщу. Когда отворялась дверь, над головой чуть позванивала хрустальная люстра, в которой, как и пред образами, теплились восковые свечн.

Никита не пропускал ни одной рюмки, которые старательно наполнял ректор, не оставлял без внимания на одной закуски, ни одного блюда. Отродясь не едал он так вкусно. С каждой выпитой рюмкой настроение его подымалось. В желудке разливалась приятная теплота. С возрастающим расположением поглядывал он на доброхотного и благоречивого ректора.

Не без симпатии поглядывал он и на префекта. Физиономия его больше не казалась Никите такой ханжески постной и бессердечной. Прежде он был убежден, что неизменная молчаливость Антония объяснялась просто-напросто его неумением связать двух слов, а теперь вдруг подумал: "Умница, должно быть, этот архимандрит Антоний. У-ух, умница!" — хоть тот и молчал по-прежнему весь обед.

— И при всем при том, — продолжал между тем ректор, — ты будешь вполне обеспеченный человек, не отвлекаемый ни житейскими бедами, ни семейными неурядицами…

Вдруг, неожиданно для самого себя, оборвав ректора на полуслове и резко отодвинув тарелку, Никита сказал громко и отчетливо:

— Не же-ла-ю!

Оба архимандрита вопросительно на него уставились.

— Не желаю в монахи! Хочу жениться!

— Жениться?! — всплеснул руками ректор. — Вот так аллегория!

Но, к удивлению Никиты, он не стал говорить ни о суете мирских благ, ни о высоком назначении ангельского чина и подвигах святых отшельников, ни о бренности и тщете всего земного.

— Кто же она такая, ежели не секрет? Много приданого дают

за нею родители? — полюбопытствовал ректор.

Никита отрицательно покачал головой.

— А что мне до приданого! — сказал он храбро, рассекая воздух широким взмахом руки.

— Да что ты, сыне! Одумайся, пока не поздно. В твои-то лета брать на себя такую обузу! Да на что ты жить-то собираешься? Пойдешь в приходские священники? Но что у того за жизнь? Впрочем, сие ты не хуже моего знаешь: у самого отец — священник. Вечные хлопоты с семьей, особливо ежели детишки пойдут, неизбывная зависимость от прихотей начальства, от скаредности прихожан. Кому только не придется тебе кланяться, и все из-за куска хлеба!

— И в попы не желаю! Ваше высокопреподобие, оставьте меня учителем в академии.

— Хм, в академии! О том преосвященному надобно докладывать. Ну положим, останешься ты в академии. Дослужишься со временем и до профессора — при твоих дарованиях, может, и довольно скоро, — так все одно будешь с семьей голодать на свое профессорское-то содержание. Ведь чинишка у статских профессоров не завидный, да и оклад три сотни в год. Вот и сам рассуди, что лучше: полторы тыщи в год на одного себя, на всем готовеньком, или всю жизнь на профессорский оклад маяться, да еще с семьей.

— Трудностей я не убоюсь!

— "Не убоюсь"! Ишь какой храбрец нашелся — "не убоюсь"!.. А то ли дело, как поступишь в монашество! Господь бог тебя не обидел: человек ты с дарованиями, глядишь, через год-другой — префект, а там недалеко и до ректорства, и до архимандрии с каким-нибудь богатым монастырем, а таких на Руси немало.

— А там, глядишь, и епархия! — вставил молчавший до сих пор архимандрит Антоний. — Выпьем же во здравие преосвященного будущего.

— Не же-ла-ю! — гаркнул Никита с бурсацкой запальчивостью. — Не нужна мне епархия.

— Экая несмысль! — проворчал ректор и, сердито опрокинув рюмку, принялся за осетрину на вертеле.

— Не сознайся, сын мой, — говорил он через минуту, — куда приятнее с первого шага по службе иметь подчиненных, нежели вечно жить под начальством, а?

— Да еще какое начальство бог дарует, — вздохнул Антоний. — А то ли дело жить вот этак! — И широким жестом он обвел богатое убранство ректорской столовой.

— Но, может, нашему храбрецу больше по душе ютиться в тесной комнатушке, снятой у какого-нибудь татарина, нежели

жить в устроенных на монастырский счет келиях? — насмешливо произнес ректор. — Может, он предпочитает носить истертый сертук, нежели облачаться в покойные шелковые рясы? Может, ему больше нравится грязь месить, нежели ездить в коляске или карете?

Никита молчал.

— А что сказать, когда получишь епархию! — мечтательно произнес архимандрит Сильвестр. Чувствовалось, что архиерейство — сокровенная мечта его самого. — Тогда целый архиерейский дом для жития твоего и обширная услужливая свита ко твоим услугам. Все духовенство, как черное, так и наипаче — белое, почтет за щастие исполнить любое твое повеление. Вся епархия благоговеет пред тобою. Куда ни поедешь — тебя встречают колокольным звоном. Да где же еще найдешь ты подобное житие? А ты человек, господом премудро одаренный, и я убежден: в конце концов беспременно этого достигнешь. Ну, полно упрямиться, сыне. Вот тебе мое благословение: подавай прошение, и дело с концом!

Но как ни красноречив был ректор, какие радужные перспективы ни рисовал он, уговорить Никиту ему не удалось. Тот твердо стоял на своем: "Не же-ла-ю!"

II

Свободен! Свободен!.. Никогда еще не испытывал он такой острой, безудержной радости. Окончена академия. Позади четырнадцать лет бурсацкой муштры. Немногие ее выдерживали!

В новеньких, только что от портного, сюртуках Никита и Саня спускались из ректорских келий после представления по случаю назначения учителями, Никита — грамматического, а Саня — информаторического классов.

Они пересекли Воскресенскую улицу, спустились на Проломную и, не сговариваясь, зашагали к Булаку: идти к Саблуковым так рано было неловко.

Улицы были залиты щедрым весенним солнцем. К Булаку спешили толпы гуляющих. "Лодки пришли, лодки!" — слышались возбужденные голоса, и радостная эта весть мгновенно облетела город.

Волга, выйдя из берегов, затопила всю луговую сторону, слилась с нижним озером Кабан, сорвала с него ледяную коросту и, взбаламутив его обычно недвижные, стоячие воды своей беспокойной вешней водой, устремила их по протоке через всю Нижнюю слободу в Казанку, чтобы опять принять их в себя уже ниже города.

Поддаваясь общему движению, Никита с Саней невольно ускоряли шаги. Уже издали они увидели на Булаке целую флотилию.

На палубах крытых лодок и барок, образовавших плавучий гостиный двор, высились горы посуды — стеклянной, глиняной, муравленой. Вездесущие ребятишки, русские и татарчата, как завороженные стояли перед россыпью заманчивых игрушек.

По обеим сторонам Булака шумела толпа. Крикливые оравы голоногих мальчишек шныряли по грязным его берегам, самозабвенно дули в только что купленные на лодках дудочки, свистульки, пищалки, пускали фонтанчики из глиняных брызгалок, обливая водой не только друг друга, но и гуляющих. То тут, то там раздавались пронзительные взвизгивания невзначай (а может, и не без умысла) обрызганных девиц.

На душе у Никиты было под стать этому яркому солнечному дню, весеннему половодью, шумному гаму счастливой детворы.

Он еще не мог привыкнуть к своему новому положению, не успел насладиться обретенной вдруг независимостью. Никита снял комнату на северной окраине Нижней слободы, неподалеку от Кабана. Это было не близко к академии, но зато вдвое дешевле, чем в Верхнем городе, а деньги надобно беречь. Ах эти злосчастные деньги! Комната была чистенькая, правда, в ней и повернуться-то было негде, но после бурсы она показалась Никите целым миром. Он поставил вдоль стены лавку, покрыл ее пестрой сарпинкой, напротив соорудил книжные полки, приколол несколько своеручных акварелей и наслаждался тишиной. Впервые он засыпал теперь в комнате один, не слыша смеха, шепота, сонного похрапывания, да что там — просто дыхания своих соседей. Впервые за четырнадцать лет он мог утолить такую простую человеческую потребность — остаться наедине с собой.

Воображение живо рисовало ему будущее. Он уже видел себя профессором истории. Вот он входит в аудиторию, и десятки любознательных глаз устремляются к нему с ожиданием и надеждой. В Москве, или нет, в Петербурге выходит его исследование по истории чувашей… А рядом Таня — жена, друг и помощник. Маленькая уютная квартирка на берегу Черного озера или у Арского поля… Музыкальные вечера… По субботам у них собираются друзья: Саня — профессор математики или натуральной истории, знакомые художники, музыканты… Пока, правда, ему нечем заплатить хозяину за полгода вперед, как тот требует. Ну да ничего. Ему обещали репетиторство — он будет учить гимназистов латыни…

Теперь ему незачем таить свои чувства. Он больше не

семинарист, не кутейник, а вольный, независимый человек, учитель. Учитель! Он несколько раз с наслаждением повторяет про себя это слово: учитель!

Никита быстро поворачивается к Сане.

Вот кому, своему самому верному другу, он должен открыться в первую очередь. Уж он-то поймет. Конечно, давно надобно было рассказать ему все. От него не должно быть никаких тайн.

Никита берет Саню под руку, увлекает его в сторону от толпы и все, все рассказывает.

— …Не хочу больше откладывать. Хочу немедля, завтра же, посвататься. Как ты считаешь, Саня, будет принято мое предложение?

Но что это? На Сане лица нет.

— Никита!.. Да ужели ты до сих пор ничего… — Голос его чуть слышен. — Я ведь сам… сам давно уже… Еще до того, как Саблуковым тебя представил…

Признание друга прозвучало для Никиты как гром средь ясного неба. Как? И Саня тоже? Да как же он не замечал этого прежде? А может, просто гнал прочь смутную догадку, которая временами закрадывалась в сердне? Что же делать?

Они присели на камень поодаль от протоки и долго сидели так, не решаясь заговорить.

Случилось непоправимое Как же быть? Никита привык слушаться голоса разума, но что проку сейчас в его советах? Сердцу не прикажешь. Ведь и любовь и дружба в сердце растут, и ни ту, ни другую, как сорную траву, из него не вырвешь.

В тот вечер к Саблуковым они не пошли.

Долго, пока совсем не стемнело, бродили они берегом разлившейся на десяток верст Волги. И говорить они не могли друг с другом, и расстаться им было трудно.

III

Охватившее сердце смятение не оставляло его теперь ни днем ни ночью. Он совсем потерял сои.

Надо было что-то делать, на что-то решаться. Но недоставало сил на такое решение. Он оттягивал его со дня на день.

После того разговора у Саблуковых они не были. Да и Саню он почти не видел. Саня, друг мой любезный! Что же нам делать с тобой? Терзают ли тебя те же муки? Никите казалось, что он хорошо знает Саню. Но что ты знаешь о другом, даже если это твой друг и живет с тобой бок о бок?

Они были очень разные. Саня, высокий, тоненький, белявый,

с синими задумчивыми глазами, был мягок и застенчив. В противоположность Сане Никита был человеком крепкого здоровья и недюжинной, хоть и не бросавшейся в глаза, природной силы. Темноволосый, с широко расставленными, чуть с косинкой, карими глазами, он был резок и вспыльчив. Саня был по натуре своей уступчив, Никита — упрям. Натыкаясь на какую-либо преграду, Саня порой растерянно останавливался, у Никиты она только вызывала ярость, удесятеряла силы. Понимая превосходство друга, Саня относился к нему, как к старшему брату, которого у него никогда не было. Но, несмотря на все несходство характеров, их соединяло какое-то внутреннее сродство, которое оказалось сильнее внешних различий. Да и самые эти различия как бы дополняли и оттеняли достоинства каждого. Когда двое живут обок, каждый невольно изменяет и обогащает другого.

Впрочем, вряд ли они отдавали себе отчет в том, что каждый из них привносил в связавшую их дружбу. Они любили друг друга безо всякой корысти, без эгоистического расчета.

Бывали у них за семь лет дружества и размолвки, взаимные обиды, — какая дружба обходится без них! Но мелкие эти размолвки, а случалось, и яростные споры ни разу не приводили к ссоре сколько-нибудь длительной и серьезной…

На третий день вечером пришел Саня. Он был бледен. Две глубокие складки, которых прежде Никита не замечал, залегли у него между бровей.

— Нам надобно с тобой поговорить, — сказал он и опустился на лавку. — Послушай, Никита, ты знаешь татарскую пословицу: "Сила птицы в крыльях, сила человека — в дружбе"? Понимаешь — в дружбе? — Поднялся и отошел к окну. — Женись. Я на твоем пути не стану, — сказал он глухо, не поворачиваясь.

Первым движением было подбежать к Сане, схватить его за плечи. Вот он, настоящий друг! Но Никита сдержался.

— Ужели ты думаешь, я могу принять от тебя такую жертву? — сказал он тихо. — Да и не так это все просто…

Он усадил Саню за стол, достал припасенную на новоселье бутылку рома и наполнил стаканы.

— А за предложение — спасибо. Верь, этого я в жизнь не забуду. Давай же выпьем за наше дружество!

Они сдвинули стаканы, переплескивая вино из одного в другой.

Никита улыбнулся.

— А ты знаешь, откуда идет сей обычай? — спросил он.

Саня отрицательно покачал головой.

— В старину это делалось затем, что ежели к вину

подмешано яду, так чтобы и хозяина он не миновал.

Они выпили.

— Да и ты такую жертву от меня вряд ли принял бы?

Саня кивнул.

— Так что же нам делать?

Они выпили по другой, и мало-помалу положение перестало казаться им таким трагическим.

— А знаешь, давай посватаемся вместе: кого выберет — тот женится, а кого отвергнет — тот пусть в монахи идет, а?

— Правильно!

Они выпили за блестящий выход из положения, который прежде почему-то не приходил им в голову.

Пили за дружбу. И за верность. Но и половины здравиц не было произнесено, когда в бутылке показалось дно. Они вошли в трактир на Проломной. И там продолжали возглашать здравицы. Они казались себе такими благородными, такими умными… Обнимали друг друга, клялись в вечном дружестве. И не было больше никаких сложностей, никакой неизбывной кручины. Все было просто и ясно…

Потом он пошел провожать Саню, а Саня его.

Они провожали друг друга. И стояли на берегу Булака. А потом… Что было потом, он никак не мог вспомнить.

Проснулись они утром в Никитиной комнате. Они лежали на одной подушке. Новенькие их сюртуки, мокрые и мятые, свисали со стульев.

И не было вчерашней ясности.

Было сознание нелепости принятого решения.

Но об этом они не обмолвились больше ни словом.

Вычистили и выутюжили сюртуки и отправились к Саблуковым.

Таня выбежала им навстречу. Она поздравляла обоих, жала им руки, кружилась по комнате.

И столько было в ней радости, беззаботной ребячливой веселости, что они отводили глаза. Слова застревали в горле. И все же их надо было произнести… В огромных, сразу потемневших ее глазах мелькнул испуг.

— Ой, что же вы надумали!

Она спрятала лицо в ладони и выбежала из комнаты…

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

I

Седенький священник надел им обручальные кольца. Тоненький слабый голос его разрастался, ударялся о стены, наполнял сумрачный, несмотря на множество огней, храм. На самом верху пышного иконостаса темнел суровый лик Спасителя с Саниными страдальческими глазами.

Они схватились за руки и выбежали из церкви.

Меж колонн просвечивало небо.

В прорезанной звездами зелено-синей полумгле чернела одинокая фигура монаха, похожего на Саню… Вот он приближается, растет, поднимает огромную руку… Она достигает неба…

И сразу обрушилась кромешная тьма. Рассекая невесть откуда взявшиеся тучи, заметались ломаные, добела раскаленные молнии. Вот даже не белая, а какая-то лиловая молния ударила прямо перед глазами, и в тот же миг с чудовищным грохотом и сухим оглушающим треском над самой головой разверзлось небо. Он подхватил ее на руки и побежал среди этого призрачного света и то меркнущего, то вдруг с новой яростной силой разливающегося по поднебесью нестерпимо яркого пламени. Мчался, не разбирая дороги, прикрывая свою ношу от секшего наотмашь свирепого ливня.

Сердце неистово колотилось. Порывы ветра выхватывали из рук прижавшееся к нему слабое, беззащитное тело.

Выбиваясь из сил, Никита добежал до дому и захлопнул дверь. Но и сюда доносились оглушающие раскаты и яростный гул обломного ливня.

Пронзительные вспышки молний наконец погасли. Прижавшись друг к другу, они полетели в бездну… Ни света, ни звука…

Вдруг раздирающей душу жалобой зазвенел колокол.

Никита приподнялся на локтях. Он лежал ничком на узкой и жесткой постели, одетый, в подряснике. От чуть теплившейся в углу лампады сочился желтый свет, слабый и немощный.

По ком же звонит колокол?

Да по нем же. По нем! По прошлой жизни его. Она канула в Лету. Умер, исчез из мира Никита Бичурин, смешной и жалкий в своих сумасбродных, мечтаниях. На смену ему пришел отец Иакинф.

Иакинф! Никогда прежде не приходило в голову, что его могут так называть. А впрочем, что ему до того, как его звали теперь? Иакинф так Иакинф, не все ли равно! Никите шел двадцать третий год. А отцу Иакинфу? Пятидесятый? Семидесятый? Девяностый?

Рассвет позолотил мокрые от ночного ливня стекла в узком

решетчатом оконце. Но и рассвет показался ему хмурым и сумрачным. Куда исчезла недавняя радость, с которой он просыпался каждое утро? Но то было в другой жизни, а она кончилась. Кончилась! Отлетела в небытие.

Из-за окна неслись мерные удары монастырского колокола. Благовестили к заутрене.

Иакинф поднялся и вместе со всеми пошел в церковь, потом, не выходя из нее, стоял раннюю обедню. Ему хотелось вызвать в душе то просветление, которое он испытывал некогда во время церковной молитвы, но ощущение это не приходило. Молился ли он? Во всяком случае, он не произносил слов молитвы, а лишь машинально перебирал четки и отбивал поклоны. Да и без слов, пожалуй, не обращался он к богу: на душе не было и следа того умиления, которое охватывало прежде при входе в храм, была какая-то страшная, ничем не заполнимая пустота.

Он словно окаменел.

Потянулась тягучая череда нескончаемых дней, безрадостных и унылых.

Стиснув зубы, ходил он каждый день в свои классы, спрашивал уроки, терпеливо выслушивал учеников, глядя на них пристальным, а на самом деле ничего не видящим взглядом. Шумливые грамматики, в изодранных и испачканных чернилами полукафтанах, с синяками и ссадинами — следами яростных бурсацких баталий, вели себя на его уроках смирно, словно догадываясь, что под сумрачным спокойствием отца Иакинфа таится неизбывное горе.

Когда кончались классы, он шел в монастырь, расположенный у стен кремля. Прохожие вызывали у него теперь неприязнь, лица их казались какими-то невзглядными и недобрыми. Они шагали мимо торопливо или неспешно, улыбающиеся или озабоченные, равнодушно скользили по нему глазами, и никакого дела не было им до той непоправимой беды, которая с ним приключилась.

Еще большую неприязнь вызывала у него монастырская братия. Прежде он видел монахов лишь издали, но теперь, когда он жил с ними под одним кровом, встречался каждое утро за ранней обедней и вечером за братскою трапезой, он не мог больше спокойно видеть их постные лица, размеренные жесты, слышать их ханжеские разговоры.

Но что ему за дело до них! У Иакинфа не было ни охоты, ни потребности сблизиться с кем-нибудь из новых своих собратий. Он как бы отрезал себя от мира людей, встречался лишь с теми, кого миновать было просто немыслимо, — с ректором, префектом, настоятелем.

Несколько раз заходил Саня. Однако с первой минуты они

ощутили неловкость, которая не проходила. Саня сообщил, что академическое начальство дозволило ему прослушать в гимназии, где естественные и точные науки преподавались шире, нежели в академии, полные курсы математики и опытной физики. Со следующего года он рассчитывал занять в академии место учителя математики, которая его всегда привлекала.

Как ни внимателен был Саня, как деликатно он ни держался, переполнявшее его счастье нет-нет да и прорывалось наружу. Иакинфу было тяжело на него смотреть. Он не узнавал старого друга. Впрочем, он понимал, что это неизбежно. Прежняя дружба кончилась. Да и он сам уже не прежний Никита, а отец Иакинф, монах, отвергший при пострижении земную любовь и содружество другов. Василий Великий, которого он читал сегодня, запрещает монаху иметь особливую к кому-либо привязанность, ибо любящий одного предпочтительно перед другими обличает себя в том, что не имеет совершенной любви к этим другим, сиречь вообще к ближнему.

Саня рассказывал, что отец выделил ему тысячу рублей на обзаведение, они сняли домик у Черного озера, неподалеку от Саблуковых, и он усиленно звал Иакинфа на новоселье.

— Нет, не уговаривай, Саня, не могу. Разве ты не знаешь, что монашествующим предписывается не выходить из монастыря без нужды?

— Так ты же ученый, а не монастырский монах. В академии-то каждый день бываешь, а от академии до нас рукой подать.

— Так то академия. Преподавание входит в круг моего послушания. А в домы мирян, даже в свой собственный, монахам входить возбраняется.

— Фу ты, господи боже мой! Так неужто уж и на новоселье к старому другу прийти нельзя?

— Ну вот, а еще духовную академию кончил! — невесело усмехнулся Иакинф. — Разве ты не знаешь, что по девяносто второму правилу Номоканона даже простое сидение на пиру с мирскими считается преступлением противу седьмой заповеди? "Монах, аще сидит на пиру с мирскими, соблудил есть".

— Так уж все и блюдут эти заповеди!

Саня вскакивал с места, подходил к Иакинфу, тряс его за плечи, возмущался дикостью монашеских заповедей, но убедить друга не мог и уходил ни с чем.

II

Отрезав себя от мира, лишенный предписаниями монастырского устава естественного общения с людьми и в то же

время избавленный как учитель академии от непременного посещения церковных служб, кроме ранней обедни, Иакинф был предоставлен самому себе. Готовиться к урокам ему много не приходилось. В этих классах он преподавал, еще будучи студентом богословия.

Одиночества он не боялся. Ум его был достаточно силен, чтобы заполнить окружившую его вдруг пустоту. Но мысли его невольно обращались к прошлому, к тому, что осталось позади. А это он себе запрещал. Ему не хотелось оглядываться, переживать отошедшее, разбираться в сделанном. Чтобы отогнать эти неотвязные мысли, заглушить помимо воли просачивающуюся в душу тоску, оставалось одно — чтение. Но и это сызмальства любимое занятие давалось ему с трудом. Мысли бежали от раскрытой книги, и надобно было постоянное усилие, чтобы возвращаться к ней.

Вновь и вновь обращался он к Библии. Но он читал ее теперь другими глазами. Когда-то, еще совсем недавно, не задумываясь, он принимал на веру все, что в ней написано. Теперь он забывал, что — это С_в_я_щ_е_н_н_о_е п_и_с_а_н_и_е. Перед ним была древняя книга, мудрая и печальная.

Он любил читать ее, раскрыв наугад.

"Истинно, истинно говорю вам: вы восплачете и возрыдаете, а мир возрадуется, — читал он первую попавшуюся страницу. — Вы печальны будете, но печаль ваша за радость будет. Женщина, когда рождает, терпит скорбь; потому что пришел час ея. Но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости, потому что родился человек в мир".

Иакинф захлопывает книгу.

Страдание! Теперь оно было ему особенно понятно. Видно, надобно как следует выстрадаться самому, чтобы понять страдания других. Он видел их всюду. Чаше всего почему-то вставали перед ним скорбные глаза матери, умершей незадолго до его пострижения. Маленький холмик на погосте — вот и все, что осталось от нее. Не только мать сошла в могилу, но и его детство, его молодость, собственная его жизнь. Приезжавшая в Казань сестра рассказывала, что, похоронив мать, отец совсем опустился, все чаще приходит домой во хмелю, нередко в подпитии показывается и в церкви. Надо будет непременно забрать его из Бичурина. Там ему, конечно, тяжело оставаться. Устроить в какой-нибудь монастырь? А сестре подыскать жениха. Вот еще одна страдалица. Чтобы сохранить отцовский приход, ей придется выйти замуж без влечения, без любви за совершенно незнакомого человека, которому и место, и дом отца она принесет в приданое.

Он вспоминал хозяина, у которого снимал комнату перед пострижением, — больного, озлобленного чиновника, потерявшего незадолго перед тем жену, его сироток детей, старуху Степановну, чудом спасшуюся от пожара, в котором погибла вся ее семья…

В душу невольно кралось сомнение — ему вдруг пришло в голову, что господь и созданная им природа безразличны к добру и злу, а мысль, что всемогущий бог может терпеть зло и несправедливость, безучастно смотреть на людское горе, казалась ему чудовищной.

Он открывал Евангелие. Но и там видел зло, страдания, несправедливость, убийства, жестокость, терновый венец Христа. Все пришлось вынести сыну божию: и крест, и смерть, и оставление своими, что горше самой смерти. Но ради чего? Ради спасения людей? Для освобождения их от бремени заблуждений и зла? Но почему нужно спасать их такой ценой? Ведь господь всемогущ, вездесущ, всевидящ. Значит, он предвидел все, что произойдет, да ведь ничего и не делается без его промысла…

В поисках разрешения своих сомнений Иакинф набрасывался на писания отцов церкви, но они или уклонялись от ответа на его вопросы, или еще больше бередили душу.

"Ежели бы кто взглянул на весь мир, — подумай: сколько увидел бы безрассудств, сколько пролил бы слез, каким посмеялся бы смехом, сколько почувствовал бы ненависти!.. — читал он у Иоанна Златоуста. — Истинно поступаем так, что наши дела и смешны, и глупы, и жалки, и ненавистны…"

Часто он обрывал чтение на полуслове, откладывал книгу и ходил по келье из угла в угол или задувал свечу, спускался вниз и бродил по пустынным дорожкам монастырского сада…

Чем больше он читал и размышлял над прочитанным, перебирал в памяти пережитое, тем больше ранилась душа его страданиями людей. Он вспоминал бурлаков, тянущих бечеву по-над Волгой, убогую нищую братию, выстраивающуюся каждый день на паперти Петропавловского собора. Всюду он видел резкие и нелепые отлики — горсть удачников, избалованных, пресыщенных излишествами, себялюбивых, и голодные, измученные толпы лишенных всего необходимого… Болезни, нищета и, что еще ужасней, взаимная глухая вражда, безжалостная жестокость людей друг к другу. И все это по воле божией?!

Иакинф изнемог от одиночества. Ему хотелось поделиться с кем-нибудь своими сомнениями и тревогами, допытаться истины.

Может быть, он отнесся поначалу к монастырской братии с предубеждением? Он вновь стал присматриваться к братьям-

монахам, прислушиваться к их разговорам, осторожно вступать в беседы, старался узнать, что привело их в монастырь, на чем зиждется их вера.

Но скоро Иакинф убедился, что благочестивые монастырские затворники не так-то уж тверды в своей вере. Да и меньше всего их разговоры касались предметов божественных. Отгороженные от мира высокой монастырской стеной, они всеми своими помыслами были по ту сторону ограды.

Иакинф слышал у себя за спиной шушуканье, приглушенные смешки, ловил на себе любопытные взгляды, до него долетали обрывки разговоров. Что им до слов Спасителя: "Не судите, да не судимы будете!" Собираясь по углам, они судили и пересуживали: видно, в гнетущей монастырской атмосфере, обволакивающей все паутиной скуки, любой слушок — благо, всякая новость — клад. И конечно же, новый инок был для братии сущей находкой.

Но дни шли за днями, и, как ни высока монастырская стена, иные просачивались через нее новости, другие интересы занимали мысли и воображение досужей скучающей братии. Молчаливый, неразговорчивый отец Иакинф примелькался, к нему привыкли, успели разобрать его по косточкам, обсудить его историю во всех подробностях. Теперь он мог обращаться к ним, как равный к равным.

Но попытки его поделиться своими тревогами монахи встречали с недоумением, упрекали его в гордыне и любомудрии.

— Праведники да угодники — не нам чета! — веровали и нам заповедали, — говорил ему казначей отец Иосаф, гневно поджав губы. — Вот и нам надобно не предаваться праздномыслию, не рассуждать всуе, а хранить в уединении иноческом образ Христов благолепно и неискаженно. Не мудрствовать лукаво, а бить поклоны да читать акафисты.

Жаль, не было рядом Амвросия. Вот к кому можно было бы обратиться со своими сомнениями, у кого попросить совета и помощи. Но тот был далече.

Самыми верными его друзьями оставались книги.

Каждый вечер, вернувшись из академии, он садился к столу, придвигал свечу и читал древних и новых, совершенствовался в латыни и греческом, листал старые хроники. С яростным ожесточением казнил он себя за легкомыслие, за мальчишескую самонадеянность, за дерзкие, несбыточные мечты. Нет, любовь и счастье не для него. Ему не нужны пустые мечтания. Не нужно ему и сочувствие друга. Иная жизнь его ждет. Служение науке — вот его стезя, его призвание.

Сильвестр прав: семья, дети — это только лишняя обуза. Она мешала бы его ученым занятиям. Может, и к лучшему, что он не

взвалил ее себе на плечи? И теперь, в этом каменном мешке, под этими низкими сводами, он убеждал себя, что он не узник, а вольный, независимый человек. Вольность эта была, по правде сказать, довольно призрачной. Но он отталкивал от себя прошлое, не замечал настоящего и устремлялся мыслью в будущее.

В келье так тихо, что слышно, как теплится в углу лампада и тает в шандале восковая свеча. Иакинф поднимается из-за стола и ходит, ходит по узкой своей келье, уносясь вослед прочитанному. Тем-то и дороги были для него эти верные молчаливые друзья, что отрывали его от неотвязных мыслей о себе, о боге, от сожалений о прошлом, от тоски по несбывшемуся.

Он понимал, что лучшее средство вырваться из цепкого плена памяти — труд, и все чаще размышлял о своих ученых занятиях. Архимандрит Сильвестр уговаривал его заняться герменевтикой. Но не толкование Священного писания влекло его, а история. И не церковная, а всеобщая, больше всего — древняя. То, что для других составляло в академии тягостную и обременительную обязанность, для него было наслаждением. С радостью первооткрывателя читал он отдаленных от него тысячелетиями римских и греческих авторов. Они как бы распахивали перед ним окно в неведомый мир, чужой и волнующий.

Как много вокруг загадочного и неведомого! Он читал сегодня у Геродота сказание о скифах, что кочевали в Приднепровье, подходили чуть не к берегам Волги. А что о них известно ученому миру? О широкой публике уж и говорить нечего. А татары, мордва, черемисы? И наконец, чуваши, от которых, должно быть, ведет он род свой. Откуда они появились тут, на берегах Волги? А их обычаи, предания, верования? Как хочется раскрыть эти тайны и поведать о них всему просвещенному миру!

III

Отчаяние так же обманчиво, как и надежда. Достигнув, казалось, предела, оно начинает утихать, медленно и неотвратимо. От горя умирают редко. К нему привыкают, с ним сживаются, находят в себе достатрчно сил, чтобы отбросить его в прошлое. А когда печаль, рожденная несчастной любовью, уходит в прошлое, она становится — в воспоминаниях — даже источником своеобразного наслаждения, щемящего и сладостного.

К тому же отцу Иакинфу шел всего двадцать четвертый год.

Правда, при пострижении ему записали в монастырскую ведомость вместо двадцати двух лет — тридцать. Сделано это

было затем, чтобы слишком юные лета инока не стали препоной его продвижению по службе: по духовному регламенту даже иеромонахом постриженный мог стать, лишь достигнув совершенных лет, то есть тридцатилетнего возраста. На Иакинфа же духовное начальство имело виды. Уже с первых лет царствования покойной императрицы для замещения должностей ректоров и префектов в семинариях, настоятелей крупных монастырей, не говоря уже об архиерейских кафедрах, непременно требовалось высшее духовное образование, а до высших академических классов добирались весьма немногие…

Но от этой приписки, которая поначалу очень Илкинфа смутила, он не стал, разумеется, старше. У него были крепкие мышцы, молодое сердце по-прежнему могучими толчками гнало по жилам кровь, легкие набирали полную грудь воздуха. Как-то неприметно для него самого боль понемногу отступала.

Есть люди, как бы созданные для счастья. Иакинф принадлежал к их числу. Его радовал свежий ветер с Волги, скрип снега под ногами, гул скакавших под гору весенних потоков, редкая книга, отысканная в академической библиотеке.

Дела по службе между тем шли своим чередом. Сразу по пострижении, оставаясь в Казани, он был зачислен в соборные монахи столичной Александро-Невской лавры и двадцать второго июля произведен в иеродиаконы. Через год, двадцать пятого августа 1801 года, его посвятили в сан иеромонаха, а в ноябре того же года совершенно неожиданно для него препоручили управление Иоанновским монастырем, в котором было определено ему жительство по пострижении.

В двадцать четыре года у него оказалось под началом свыше сотни монахов. Благодаря незримому покровительству митрополита Амвросия весь долгий и тернистый путь от простого чернеца до настоятеля он проделал весьма скоро. Перед ним открылась блестящая духовная карьера.

Но оставаться в Казани Иакинф не хотел.

Очень уж многое напоминало тут день вчерашний, который он все еще не в силах был забыть.

ГЛАВА ПЯТАЯ

I

Как ни медленно текло монастырское время, день сменялся днем, месяц — месяцем.

Казалось, они были похожи один на другой, и все же каждый

приносил что-то свое. Одни мысли сменялись другими, да и сам Иакинф чувствовал, что становится иным. Порой ему приходило в голову, что человеку дано прожить не одну жизнь, а несколько. Ту он изжил до конца, теперь у него другая. И впрямь, если бы Иакинфа встретил на улице кто-нибудь из прежних знакомых, вряд ли он узнал бы в неторопливом сумрачном монахе прежнего Никиту — неуемного и стремительного. С усмешкой вспоминал Иакинф, как тот, другой, — не Иакинф, а Никита — бежал наперегонки с Саней к Саблуковым, несся сломя голову занимать места на галерке Есиповского театра, бился на кулачках на льду Кабана…

Уже почти два года не разговаривал он ни с одной женщиной. Да только одна и существовала для него на свете. И та была где-то в другой жизни. Но от мыслей, от воспоминаний о ней он не мог отделаться. По ночам он ворочался с боку на бок без сна, срывал с себя одевальницу и метался по келье. Ему и в голову не приходило, что, может быть, тоска по ней — это просто боль неутоленного чувства, неодолимая потребность в любви, терзающая его дух и плоть.

Как-то раз — это было на масленой — он подъезжал к Арскому полю, возвращаясь с загородной дачи от архиерея. Лошади бежали дружно. Вылетавшие из-под копыт комки снега гулко ударялись о передок саней. Вдруг справа от дороги Иакикф услыхал слабый, едва различимый стон. Он велел остановиться, вышел из саней и пошел назад.

На обочине, прямо на снегу, лежала женщина, в шубе и платке, и тихо стонала.

— Что с тобой, дочь моя?

— Нога, нога… — прошептала она сквозь слезы.

Оказалось, что это молоденькая девушка. Ступить на ногу она не могла. Иакинф отнес ее в сани.

Куда ее нужно везти, он никак не мог добиться. На все его расспросы она отвечала слезами. Но высадить ее, беспомощную, с поврежденной ногой, на улице, где слонялись толпы подвыпивших по случаю масленицы мастеровых и проносились шумные тройки, Иакинф не мог. Он решил отвезти ее в дом своего прежнего хозяина, у которого снимал некогда комнату. Жившая у того старуха Степановна могла за ней присмотреть, оказать на первых порах хоть какую-то помощь.

Комната его пустовала, девушку уложили в постель, затопили печку, вправили вывихнутую ногу.

Когда на другой день, как бы невзначай, Иакинф заехал, девушка была без сознания. Вся в жару, она металась по постели и бредила: кричала, звала на помощь, молила о пощаде. Старуха

прикладывала ей ко лбу мокрые полотенца, поила малиновым отваром. Она не знала, что и делать.

Иакинф послал за лекарем.

У девушки оказалось воспаление легких. Подхватить его было не мудрено. Кто знает, сколько времени пролежала она на снегу, хоть и в шубе, но в легком кисейном платье. Оно было без рукавов и только ленточками подхвачено на плечах.

Откуда она взялась на дороге, вдали от города, в таком наряде? Иакинф рассчитывал, что женщине она легче откроется. Но и Степановне девушка сказала только, что зовут ее Натальей, умоляла приютить ее, пока не пройдет нога, и обещалась все потом объяснить. А теперь она вся горела и не приходила в сознание. Нога распухла.

Уезжая, Иакинф уплатил хозяину за комнату, оставил денег на лекарства и еду.

Болезнь протекала бурно. Десять дней девушка была между жизнью и смертью. Она металась в бреду, пробуждалась ненадолго и вновь погружалась в тяжелое забытье. Старуха привязалась к ней и не отходила ни на шаг.

Иакинф оказывался в домике над Кабаном как бы случайно. Мысль о такой поездке днем ему и в голову не приходила. Но когда сгущались сумерки и он оставался один в своей келье, Иакинф не мог подавить в себе желания взглянуть на девушку, лицо которой казалось ему почему-то знакомым. Он приезжал, садился у изголовья, прикасался ладонью к воспаленному лбу, смотрел на раскиданные по подушке светлые волосы, на припухшие, потрескавшиеся губы.

Иногда девушка открывала глаза и глядела на него — первый раз с недоумением и испугом, а потом — с благодарной доверчивостью.

Когда через неделю Иакинф заехал навестить больную, он застал там лекаря Вильгельма Людвиговича Баумгардта.

— Ну, фаше препотопие, могу вас апратовать, — сказал он, довольно потирая руки, — крисис миновал. Теперь больная быстро пойдет — как это? Гм… на поправку. Органисм у нее сильный, она еще такая молодая есть. Два-три дня, и я польше фашей протеже не нушен.

Иакинф прошел в комнату больной. Она спала. Щеки были покрыты легким румянцем, дышала она спокойно и ровно…

Степановна поправила подушки и на цыпочках вместе с Иакинфом вышла из комнаты.

— Пусть поспит, бедняжечка. Теперь, бог даст, скоро и поправится.

Она налила чаю из затихающего уже самовара и принялась

рассказывать:

— Ох, ваше преподобие. Вот уж беда так беда! Наталья-то крепостная оказывается… Актерка из Есиповского театра.

— Да что ты говоришь, Прасковья Степановна? Как же она на дороге-то очутилась?

— А вот слушай. Танцевала она на театре у господина Есипова в операх и в танцах, и вот, как назло, самому приглянулась. А что за нрав у Петра Васильевича, господина Есипова, небось сам, ваше преподобие, наслышан…

Ну конечно, кто в Казани не знал Есипова! Это был один из тех старых русских бар, ушибленных Талией и Терпсихорой, которые ими же потом и лечились. Он содержал в Казани известный на всю Россию театр. Пока Иакинф был студентом академии, они не пропускали с Саней ни одной премьеры. Конечно, ходить в партер было не по карману: место там стоило рубль, а кресло — два с полтиной ассигнациями, но от премьеры до премьеры можно было скопить четвертак медью, чтобы пробраться на раек.

Он видел у Есипова трагедии "Бот" и "Дмитрий Самозванец", комедии "Приданое обманом" и "Недоросль", оперы "Песнолюбие" и "Нина, или Сумасшедшая от любви". Наемных актеров в театре было всего три-четыре: Волков — режиссер и театральный утилите на всякие роли, Грузинов — на роли благородных отцов да еще кто-то, остальные и все актрисы, по рассказам, были из крепостных. Но играли иные очень натурально, с неподдельным чувством. Лучших своих актеров и актрис Есипов возил даже в Петербург — шлифовать их дарование на столичной сцене. Вот оттого-то лицо девушки и показалось Иакинфу смутно знакомым. Должно быть, видел ее в каком-нибудь спектакле.

— Ну вот. Приглянулась она господину Есипову, — продолжала между тем старуха, — приказал он нарядить ее в наряд Флоры и доставить к себе в загородный дом. А что сие означает девушкам на театре, рассказывать не надобно. Обрядили ее, бедняжечку, в платье кисейное и повезли. Едет она, а сама все глаза выслезила. Только слышит, кучер на козлах песню завел, а сопроводитель — был он дюже навеселе, когда выезжали, и то сказать, масленая — захрапел. Вот она на повороте из санок-то и выпрыгнула. Да вишь, как неловко, ногу подвернула, даже ступить на нее не можно. Поползла к городу. Да где там — уж больно далеко отъехали. А тут и ты подоспел. Вот и вся история. Однако же на театр ни за что воротиться не хочет. Девка-то, по всему видать, из души гордая. Лучше, говорит, головой в прорубь. Как же теперь с ней быть-то — вот в чем закавыка.

Иакинф поднялся из-за стола и прошелся по комнате.

Да-а, вот уж воистину закавыка! С Есиповым он был немного знаком. Встречался на святках у преосвященного. Да что толку в таком шапочном знакомстве? Жил Петр Васильевич, по всем рассказам, широко. Владея десятками крепостных актрис, среди которых было немало хорошеньких, он наслаждениям своим ни меры, ни границ не ставил. К каждой новой красавице относился с неостывавшей, несмотря на годы, жадностью.

— Так что же мы с ней делать-то будем? — прервала его размышления старуха.

— "Что делать, что делать"! Сам голову ломаю.

— Вернется из бегов — под кнут да на скотный двор. Ох, беда, беда! А то, неровен час, и впрямь руки на себя наложит. — Она поднесла к глазам уголок платка. — Надобно что-то придумать, как-то изворотиться. Нельзя же ее, бедняжечку, на произвол судьбы бросить.

Иакинф и сам понимал, что нельзя.

Но что делать, что делать?

Он прошел в комнату девушки.

Та безмятежно спала, подложив руки под голову.

II

Иакинф решил съездить к Есипову.

На поездку эту он отважился, правда, не сразу и не без колебаний. В самом деле, как было нагрянуть к совсем, можно сказать, незнакомому человеку и по такому щекотливому делу? Да еще в его сане!

Но в городе Есипова не оказалось. Шел великий пост, и представлений на театре не давали.

Усадьба же его была верстах в сорока от города. Иакинф выехал во втором часу и добрался до места, когда стало уже смеркаться. Обшитый тесом большой двухэтажный дом во вкусе старых барских палат времен Елисаветы Петровны, с полуоблупившимися пилястрами и фестонами на карнизах, был залит огнями. Иакинф поднялся по ступеням широкого полукруглого крыльца, прошел в ярко освещенные плошками сени. Сверху доносились звуки роговой музыки.

Иакинф велел доложить о себе.

Через минуту лакей вернулся, принял шубу и сказал, что его высокопреподобие велено проводить наверх.

Когда они поднялись по широкой лестнице, навстречу вышел полный, щеголевато одетый, не молодой уже человек. Ни малейшего удивления не отразилось на беззаботно улыбающемся лице казанского покровителя муз при виде монашеской рясы. Он

шел, быстро переступая ножками, протянув вперед короткие руки, словно для дружеских объятий, но, когда до Иакинфа оставалось шага три-четыре, с поспешностью свел их и подошел под благословение, изобразив на лице смирение, не лишенное, впрочем, некоторого лукавства.

— Почту за честь, ваше высокопреподобие, почту за честь, — проговорил он с привычным радушием.

Иакинф заговорил было о неотложности дела, которое сюда его привело, но Есипов и слушать не стал:

— Никаких дел, никаких дел, отец Иакинф. Прошу к столу. Делу время, а обеду час.

Как Иакинф ни отказывался, как ни ссылался на то, что сыт, что отобедал в монастыре, — на Петра Васильевича все его доводы никакого впечатления не произвели.

— Отобедали? В монастыре? Так вы же часа три небось тряслись на наших ухабах и давно успели проголодаться.

Он взял Иакинфа под руку и провел в столовую.

За большим столом, уставленным блюдами и бутылками, собралось человек двадцать, в том числе с десяток молодых нарядных женщин. Иакинф удивился было, зная, что дамы к Есипову не ездят, но потом сообразил, что все это, должно быть, крепостные актрисы есиповской труппы. В противность принятому обычаю, принаряженные Фени, Ариши, Матреши сидели не по одну сторону стола, а вперемежку с мужчинами, и сам Иакинф оказался между двух красавиц.

Среди собравшихся за столом он увидел немало знакомых лиц, и в их числе вице-губернатора. Дамы не ездили, а вот губернаторы от визитов к Петру Васильевичу, оказывается, не уклонялись. Никто, однако, тут не чинился, и обед, судя по всему, уже давно начавшийся, проходил в самой что ни на есть непринужденной атмосфере. Лица у всех были разгоряченные, голоса возбуждены. Хозяйки за столом, разумеется, не было, но зато целая дюжина веселых дам потчевала гостей с самым сердечным радушием, и не столько закусками, сколько напитками, сопровождая настойчивые приглашения игривыми припевами: "Наливай сосед соседке…" Монашеская ряса вовсе не спасала Иакинфа от заигрывания крепостных прелестниц.

Подававшиеся блюда, возможно, и не отличались отменным вкусом, а напитки особой изысканностью, но и то и другое восполнялось их обилием. Обед напоминал скорее дружескую пирушку. Собравшиеся за столом почтенные люди, казалось, сбрасывали с себя груз — увы! — немалых лет, тщились хоть на время возродить отлетевшую молодость, освободиться от обременительных пут рассудка, от чопорной скованности

надоевшего этикета.

А Иакинф чувствовал себя неловко. Да и надобность срочно решить дело, которое столь нечаемо его сюда привело, мешала насладиться обедом…

Наконец дамы вспорхнули из-за стола и побежали наряжаться к спектаклю, — после обеда хозяин собирался потешить гостей новой оперой. Пока шли приготовления, мужчины принялись в соседней гостиной за карты или расселись с длинными, свисающими до полу чубуками по креслам и диванам, а хозяин взял Иакинфа под руку и повел к себе в кабинет.

— Вот теперь мы можем и поговорить, — сказал он, усаживая необычного гостя в кресло и подвигая ему ящик с сигарами. — Чем могу служить, отец Иакинф?

— Не правда ли, мой приезд показался вам весьма неожиданным? — спросил Иакинф.

— Нет, отчего же? Au contraire {Напротив (франц.).}.

— Я отважился на него ввиду неотклонимой надобности.

— Чем могу служить, ваше высокопреподобие?

— Он связан с судьбой вашей актрисы Натальи…

— Вам что-нибудь известно о ней? — оживился Есипов.

— Видите ли, недели две назад, возвращаясь от его преосвященства, я подобрал на дороге девушку с поврежденной ногой и в лихорадке. Не ведая, откуда она и кто, я поместил ее в одной знакомой семье. И только вчера узнал, что она из вашей труппы.

— Где же она теперь?

Иакинф пропустил вопрос мимо ушей.

— На театр она ни за что возвратиться не хочет, — продолжал он. — Да из-за поврежденной ноги это вряд ли и возможно теперь. Вот я и приехал, дабы порешить дело сие миром, не предавая огласке.

— Да вам-то, ваше высокопреподобие, вам-то какое дело до нее, позвольте узнать?

— Я желал бы ее выкупить.

— Выкупить? Вы? Монах? Ха-ха-ха!..

— Да, да! Выкупить, дабы она могла получить отпускную и поселиться в Казани. Как вольный человек, с видом на жительство. Надобно ли мне говорить, милостивый государь, что руководит мною простое человеколюбие? Свидетельством тому — мой сан.

— О да! Je trouve cola fort naturel {Я нахожу это вполне естественным (франц.).}, - не без лукавства улыбнулся Есннов. — Но просьба, с коей вы изволите обращаться, как это сказать?.. Très embarassant {Весьма затруднительна (франц.).}.

— Я готов уплатить сумму, которую вы соблаговолите назвать.

— О! C'est chevaleresque {Это по-рыцарски (франц.).}. Но известно ли вам, отец Иакинф, что девка сия мне не принадлежит?

Иакинф удивленно взглянул на Есипова.

— Изволите ли видеть, ваше высокопреподобие, владелец ее — вятский помещик, отставной прапорщик Дмитрий Харламов.

Это было для Иакинфа совершенно неожиданным. Он продолжал выжидательно смотреть на Есипова.

— Прослышал он о моем театре и решил такой же у себя завести. Вот и определил Наталью в числе прочих девиц в мою труппу — на обучение.

После приятного и обильного обеда Петр Васильевич был в превосходном настроении. Развалясь в покойном кресле, расстегнув нижние пуговицы камзола, он не без расположения поглядывал сквозь дымок сигары на странного монаха, явившегося к нему с предложением столь необычным и неожиданным. Избалованный угодливым своим гаремом, он поначалу был просто взбешен строптивостью новой актерки. Но с тех пор минуло уже две недели, а он не был злопамятен. Да и понимал, что насилие над ней к добру не приведет. Сам же он ничего, кроме радостей, от жизни не требовал. Трагедии были ему не по душе. И на сцене-то он предпочитал водевили и волшебные оперы.

Выслушав Иакинфа, он даже рад был без шума и огласки покончить с этой "нелепой гисторией". Петр Васильевич обладал счастливым даром вовремя уклоняться от того, что сулило лишь хлопоты да огорчения. К тому же, настроенный благодушно, он не прочь был помочь этому молодому и симпатичному монаху, который, конечно же, не без причины решился на такой рискованный шаг. Обеты монашеские обетами, а молодость — молодостью.

Отвечая на расспросы Иакинфа, Есипов сообщил, в каком уезде живет Харламов, и прибавил, что сам он, со своей стороны, не будет иметь каких-либо претензий, ежели ему будет уплачено четыреста рублей ассигнациями за ее содержание и обучение.

На другой же день, придумав какое-то дело в тамошнем монастыре, Иакинф, испросив разрешение преосвященного, поскакал в Вятку и, спустя несколько дней, вернулся с отпускной Наташе и ее матери Пелагее Филатовой. Отпускная на всякий случай была помечена задним числом.

III

Когда вечером, еще забрызганный дорожной грязью, с отпускной в руке, Иакинф явился в домик над Кабаном и протянул Наташе гербовую бумагу, даровавшую ей свободу, та закружилась по комнате, а потом, совсем уже неожиданно, с простодушной благодарностью бросилась ему на шею.

Иакинф подхватил ее на руки и ощутил у себя на губах ее губы. Горячие, чуть потрескавшиеся, они задрожали. На мгновение он увидел перед собой ее испуганные глаза и не смог совладать с собой. Он забыл обо всем на свете — о монастыре, о дикости человеческого вымысла, обрекающего его на обет целомудрия и безбрачия, о старухе за перегородкой…

Когда Иакинф проснулся, ирозорчатый светлеющий сумрак наполнял комнату. На переплете окна загорелись отсветы зари. Он приподнялся на локте и поглядел на ту, что лежала рядом. Рассыпанные по подушке волосы цвета ярого меда, чуть вздернутый нос, плотно смеженные веки, покрытые синей тенью…

Что это за женщина?.. Две недели назад он и не подозревал о ее существовании и, если бы не этот случай на дороге, наверно, никогда бы и не узнал. И вот она лежит рядом, и он чувствует тепло ее тела, а в сердце боль от мысли, что это ведь не та, которую он любил все эти годы и потерял так безвозвратно. Сколько часов, дней, лет провел он рядом с Таней и не смел открыться, взглянуть ей прямо в глаза, коснуться рукой ее волос. А тут, будто многоопытный искуситель, пользуясь порывом доверчивой благодарности, овладел этой чужой, попавшей в беду актеркой. А на что она ему? Да и что он будет делать с ней — он, ушедший из мира инок?

Зло и отчужденно смотрел он на это безмятежно спящее существо, которому не было никакого дела до его терзаний. Должно быть почувствовав его взгляд, она зашевелилась, с трудом подняла тяжелые от сна веки, обхватила рукой его шею:

— Спи, милый.

И уснула, уткнувшись носом в его щеку.

Невольная улыбка тронула губы, разгладила складку между бровей. Все недоброе к девушке как-то сразу рассеялось. Нахлынуло безотчетное чувство благодарности и не испытанной доселе глубокой нежности.

Он лежал, боясь шевельнуться, чтобы не разбудить ее снова. Лежал, чувствуя ровное дыхание ее у себя на щеке.

Уже совсем рассвело.

Он осторожно высвободился из-под ее руки и долго смотрел на нее, провел пальцами по ее вискам, уголкам губ, поцеловал в

глаза. Она не проснулась. Только улыбалась во сне.

IV

Поздним вечером к Иакинфу прибежал архиерейский служка и сообщил, что преосвященный требует его к себе.

"Ужели старик обо всем проведал?" — терзался Иакинф, идя к архиерею. Но, поднявшись в его покои, взял себя в руки и подошел под благословение владыки с хорошо разыгранным смирением. Он понял вдруг: важно не то, что у тебя на душе, а то, что на лице; не то, что ты есть, а то, чем кажешься.

На суровом челе Серапиона ничего нельзя было прочесть. Едва взглянув на Иакинфа усталыми глазами из-под нависших мохнатых бровей, он взял со стола плотную голубую бумагу, исписанную четким писарским почерком, и протянул Иакинфу.

"16 майя 1802 года Святейший Правительствующий Синод при рассмотрении доношения Вениамина, Епископа Иркутского и Нерчинского и Кавалера о произведении в Воскресенский монастырь во архимандриты на имеющуюся там вакансию Киренского монастыря игумена Лаврентия…" — читал Иакииф, ничего не понимая, и вопросительно посмотрел на архиепископа.

Тот кивнул на бумагу, и Иакинф снова углубился в строки синодального указа:

"…приказали: как для столь отдаленной семинарии, как Иркутская, наиболее потребен человек, могущий с пользою для оной и особливо для церкви проходить служение свое с соединением при том качеств примерной жизни и поведения, то Святейший Синод по признаваемой способности и сведению в учении и назначает быть как Архимандритом в Иркутском Вознесенском монастыре, так и Ректором в Иркутской семинарии Казанской академии грамматики учителю Иеромонаху Иакинфу".

Иакинф облегченно вздохнул и поднял глаза на преосвященного.

— Скорбен и уязвлен, сыне, — сказал Серапион, заметив его взгляд. — Просто в толк не возьму, чем не мила тебе наша епархия, что тебя в этакую даль потянуло? Мне поведено посвятить тебя во архимандриты и немедля направить в Иркутск с надлежащим паспортом. А сан архимандричий и тут бы тебя не миновал. Да и монастырь мы препоручили тебе не из последних. И вот на тебе благодарность! Ну что ж, видно, вольному воля, а ходящему путь… -

— Помилуйте, ваше преосвященство! Как можно заподозрить меня в толикой неблагодарности! Мне ли, преданнейшему послушнику вашему, не знать, что неблагодарность сердце точит.

Да где бы ни оказался я по воле божией, всюду с признательностью буду вспоминать службу под вашим высокопреосвященным руководительством…

Суровое лицо владыки смягчилось.

— Ну читай, читай!

Иакинф снова погрузился в чтение бумаги. В конце указа стояло: "В прочем же Святейший Синод надеется, что он, Иакинф, трудами своими и поведением оправдает сей выбор, и по мере того Святейший Синод не оставит в свое время учинить ему воздаяние…" — и знакомая подпись Амвросия, митрополита Новгородского и Санкт-Петербургского…

Любезный Амвросий! Как и возблагодарить его за столь неизменное расположение!

Эго как раз то, чего он давно добивался. Прощай, Казань! Начинается новая жизнь!

Служка внес самовар. Сладко потянуло дымком березовых углей. Шумно клокотала и билась в самоваре вода, с задорным посвистом вырывался из-под крышки пар.

Владыка приказал подать вина.

— Что ж, сыне, выпьем за новый сан и за путь твой долгой, — сказал Серапион, наливая Иакинфу рома, а себе мадеры. — Ты на меня не гляди. Лета не те. Ты хоть и богат делами, да млад годами, и ром тебе даже пользителен. А я уже не дерзну: утроба не принимает. За компанию мадеры выпью — так, для блезиру.

Никогда еще не видал Иакинф грозного владыку таким ласковым и обходительным. Ему не раз доводилось бывать на архиерейских службах, праздничных приемах, на экзаменах в академии. И всякий раз прибытие преосвященного возвещалось колокольным звоном. Подъезжала карета, запряженная четверкой цугом, распахивались дверцы, ректор и префект бросались поддержать владыку и при выходе из кареты, и на ступенях устланной алым сукном лестницы. Раздавши благословения, поддерживаемый под руки, архиерей с величавой осанкою неторопливо шествовал по коридорам, наконец, распахивались перед ним двери в актовую залу, все разом подымались, и академический хор дрожащими в трепете голосами исполнял "Царю небесный" или "Днесь благодать святаго духа нас собрала". И все, включая и спесивое академическое начальство, сгибались и простирались ниц перед суровым архипастырем.

А сейчас владыка сидел перед ним запросто, облаченный не в пышные архиерейские одежды, а в легонькую домашнюю ряску, и, потягивая мадеру, доверительно рассказывал про Вениамина Иркутского. Они были знакомы, оказывается, весьма коротко — оба учились в свое время в Санкт-Петербургской академии. Потом

Вениамин, еще под светской фамилией Багрянского, был послан для окончания наук в Геттинген и Иену, а по возвращении состоял проповедником при дворе теперь уже в бозе почивающей императрицы.

— Да-а, давненько не видались, — говорил Серапион. — В семьсот восемьдесят девятом году в соборе Александро-Невской лавры, в присутствии государыни, в сан епископский нас посвятили. А вскорости я был возведен на кафедру в Курск, а Вениамин — в Иркутск. Вот с той поры и не сподобил господь свидеться. Как теперь — не ведаю, а в те годы здоровье у преосвященного было цветущее, а нрав строгий и вспыльчивый.

Рассказ Серапиона даже приободрил Иакинфа. Ну нрав нравом, а то, что Вениамин учился в университетах Иены и Геттингена, Иакинфу польстило. По всему видно — человек просвещенный. Под началом у такого и служить будет, надо думать, приятно.

Возвращался от владыки Иакинф в настроении превосходном. Им овладела охота немедля пуститься в путь — тотчас, как только посвятят в сан архимандричий. И прощай, Казань!

А как же быть с Наташей?

Но приятная теплота от выпитого рома разливалась в желудке, город, кремлевские башни, очертания монастыря подернулись легкой зыбучей дымкой, все расплылось слегка, и то, что час назад пугало неодолимостью, смешило теперь своей нелепицей. Все препоны казались теперь ничтожными, все затруднения и преграды вызывали лишь усмешку.

Он миновал монастырь и повернул к Кабану.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

I

Двадцать первого марта 1803 года министр внутренних дел действительный тайный советник граф Виктор Павлович Кочубей был на докладе у государя.

Александр I сидел за столом, на котором, кроме массивного письменного прибора с большой хрустальной чернильницей и десятком свежеочиненных по его руке перьев, ничего не было. Затянувшийся доклад утомил императора, и он поглядывал на часы. Стрелка приближалась к половине девятого, а в девять его величество отправлялся на Дворцовую площадь, где ежедневно присутствовал на разводе.

Оставалось одно, но щекотливое дело, и граф не знал, с чего

и начать. Донесение губернатора было уклончивым. К нему, правда, были приложены рапорты городничего, начальника воинской команды, а также показания многих лиц разных званий, но все они противоречили друг другу.

— Ваше величество, принужден доложить о весьма прискорбном событии.

— Что там еще?

— Иркутский губернатор всеподданнейше доносит, что минувшего февраля… в десятом часу пополудни… на Московском шлагбауме в Иркутске… гм… был услышан шум и крики "Караул!" в ограде, расположенной поблизости семинарии…

— И что же?

— На шум прибыл находящийся при сем карауле унтер-офицер при одном ефрейторе и четырех рядовых, — докладывал Кочубей, отдаляя существо дела все новыми подробностями. — Пройдя в ограду, он увидел довольное число семинаристов. Приметно было, что семинаристы, а было их человек двадцать, все пьяные. Размахивая разными орудиями, они окружили ректора архимандрита Иакинфа. Когда же унтер-офицер попытался освободить ректора, семинаристы набросились и на него, а один даже ударил унтер-офицера в грудь топором. Должно быть, только толстая овчинная шуба спасла беднягу. Топор солдаты отняли. По просьбе архимандрита унтер-офицер выделил ефрейтора, дабы препроводить его, архимандрита, к преосвященному. На подмогу прискакал казачий объезд в шесть человек. Но те семинаристы по пьяному удальству своему заперлись в классе, прихватив и четырех казаков.

— Но это же бунт!

— Так точно, ваше величество. Пришлось докладывать на главную гауптвахту. Незамедлительно прибыл отряд солдат под командой офицера. Стали стучаться. Но, когда дверь отперли, в классе оказалось только восемь семинаристов, остальные успели попрятаться, а в углу, на кровати, прикрытая тулупом, стонала женщина.

— Это в закрытом-то духовном заведении!

— Но вот тут-то, ваше величество, и начинаются противуречия и нелепицы. Допрошенные семинаристы, все великовозрастные ученики старших классов, от риторики до богословия, в один голос показывают, будто женщина сия купно с отцом архимандритом из окошка ректорской кельи выпрыгнула, когда они пытались в ту келью проникнуть.

— Что, что? Женщина в покоях архимандрита?

— Так точно, ваше величество. Будто жила с ним за келейника. Архимандрит, однако же, обвинение сие почитает для

себя оскорбительным и решительно отвергает.

— А сама женщина?

— Женщина показывает, будто была затащена в ограду семинаристами, когда ненароком проходила мимо. Да и окошко-то высотою до трех сажен.

— М-да! Что же вы полагаете, граф? — На красивом лице Александра проступило выражение любопытства и растерянности.

— Дело, разумеется, надобно тщательно расследовать. Но как бы то ни было, речь идет о бунте противу такой духовной особы, как архимандрит и ректор, о сопротивлении военным властям, и я полагаю, ваше величество, виновных надлежало бы наказать розгами и, изъяв из духовного звания, отдать в солдаты.

— Да, да, расследовать. Непременно расследовать! — Государь поморщился. — Но розгами?.. В солдаты?.. Это уж пусть решают на месте!

— Возникает, однако ж, вопрос, ваше величество: как быть с отцом архимандритом, навлекшим на себя столь близкое подозрение в содержании девки под видом келейника?..

— А как полагают поступить духовные власти?

— Местная консистория, по необыкновенности в тамошней епархии такого дела, приступить к оному остается в нерешимости.

— Что же вы предлагаете, граф? — опять растерянно спросил государь.

— Полагаю, ваше величество, поелику дело сие не совсем обычное и более к духовному суждению подходящее, препоручить сие Синоду. Пусть проведет на законном основании подробное расследование для надлежащего замечания и взыскания.

— Да, да, конечно, Синоду, — обрадовался Александр. — Пишите, граф: Святейшему Правительствующему Синоду — не оставлять соблазна сего… гм… без должного замечания и взыскания…

Кочубей протянул государю резолюцию. Тот взял из золотого стакана перо, начертал: "Александр" — и отбросил его в корзину. Каждое перо употреблялось им только единожды, хотя бы то было лишь для подписи имени.

— И пусть об определении своем доложат.

— Не замедлят исполнить, ваше величество.

Государь поднялся и быстрым шагом, так что граф едва за ним поспевал, вышел из кабинета. На площади уже выстроились для развода войска.

II

Вениамин, епископ Иркутский и Нерчинский, кормил ворон на берегу Ангары. Со всей округи слетались зловещие эти птицы на архиерейскую заимку. Ее сразу можно было узнать по вороньему граю, по бесчисленным птичьим гнездам на верхушках берез и сосен. Привыкнув к причуде владыки, ручные, точно голуби, вороны садились на плечи архипастыря и ели у него из рук.

Заслышав звон колокольца и скрип гравия под колесами легкой пролетки, Вениамин поднял голову. Прибыл консисторский секретарь и, не желая мешать владыке, нарушать его каждодневного по утрам занятия, остановился в отдалении.

О странном пристрастии архиерея знала вся епархия. Улучив момент, секретарь спросил:

— Дозвольте узнать, ваше преосвященство, отчего этим птицам вы так благоволить изволите?

Владыка ответствовал кратко:

— Плачу тем дань за Илию-пророка.

Что сие означает, секретарю было неведомо, но чтобы не прослыть невеждою, от дальнейших расспросов воздержался. Однако преосвященный и сам не поскупился на пояснения:

— Ворона — родная сестра ворона. А ворон — птица божия. Тебе ведь ведомо, сыне, — когда Илия-пророк укрылся от мести царя Ахава в пустынных горах за Иорданом, глада он не испытывал. Два раза на день приносили ему вороны и хлеб и мясо. — Наконец епископ стряхнул с рук крошки и в сопровождении крикливых своих любимцев, с карканьем кружившихся над головой, проследовал в свои покои.

На владычной подаче Вениамин появлялся редко. Все дела поступали к архиерею через секретаря. Через него сообщал он членам консистории и свое архипастырское по делам определение. Исполненный властолюбивой гордыни, епископ был малодоступен для духовенства — и черного и белого, даже для присутствующих в консистории протоиереев и ректора. По правде сказать, нового ректора, архимандрита Иакинфа, особенно он не жаловал. Не лежала душа к этому дерзкому и непочтительному академисту. Слишком уж мнил о себе, чересчур был самонадеян! И молод почти неприлично. Видит бог, не хотелось брать его к себе в епархию. Намеревался возвести в архимандриты игумена Лаврентия, добивался назначения его и ректором семинарии, и настоятелем Вознесенского монастыря вкупе. Книжник из Лаврентия был, правда, не ахти какой, но зато в послушании, в неизменной преданности к себе игумена Вениамин не сомневался. Так нет ведь, прислали своего, выкопали где-то в

Казани! А вот теперь изволь с ним возиться: почти все дела, что докладывал секретарь, были так или иначе связаны с особой беспокойного архимандрита.

Да, видно, у молодого ректора рука в Синоде. Из ученых, академию кончил! А на что его ум да ученость-то надобны? Учености у него, Вениамина, у самого вдосталь — и в Иене, и в Геттингене, слава богу, побывал, и столько лет лейб-проповедником при дворе матушки Екатерины провел! А что до разных идей новомодных, так в них и нужды нет! От идей сих, вьюношам свойственных, одни заботы да недосуги. Да вот прискакал из России новый ректор, и зачалась крутоверть. Нет, чтоб с ним, владыкой, посоветоваться, испросить наставления архипастырского — сам принялся порядки в семинарии наводить, будто и не бурса тут, а академия заподлинная.

Как учение поставлено, пришлось ему, видите ли, не по нраву! С прожектами разными стал являться. Беспокой с ним, да и только. Всем-то он недоволен. Это, говорит, какое-то попугайское училище, а не учебное заведение духовное! Учителя, мол, невежественны, семинаристы зубрят лишь тексты Священного писания да требников, а до всего прочего, до наук внешних им, мол, и дела нет. И познаниями воспитанников недоволен. Ведомости семинарские пестрят пометами: "понятия препохвального", "изрядного" или "нехудого понятия", самые скромные — "не бездельник", а ректора послушать, так ничего-то мальчики не знают, профессоров, видно, сделать из них замыслил! Удумал завесть преподавание французского языка, опытной физики и бог знает чего еще! И что же? Только восстановил противу себя и учителей, и воспитанников. Слышал Вениамин, прозвали те нового ректора лютым.

А сам? Свел известную всему городу дружбу с полковником Лебедевым и артиллерийским начальником Греном, к самому губернатору в доверие втерся, в гости к ним стал езживать, и, наконец, на тебе — уж и вовсе неслыханное — девку, оказывается, при себе содержал! А вот теперь изволь за сего плотоугодника и сластолюбца эту кашу расхлебывать. И как нагло себя повел! Вместо того чтобы прибечь к своему архипастырю, в ноги броситься, во всем чистосердечно покаяться, — ну с кем в молодые лета греха не бывает? — пожурил бы по-отечески, наказал бы своею властию, дабы не повадно было впредь эдакие чудеса выкамаривать, да и простил… Несть на земле такого греха, какого не простил бы господь воистину кающемуся! Да и кому охота сор из избы выносить? Так нет, гордыня, видите ли, его обуяла! Запираться во всем надумал!

Секретарь почтительно, обеими руками, положил перед

владыкой тщательно перебеленное всеподданнейшее прошение.

Вениамин водрузил на нос стариковские очки, подвернул рукав рясы и взял протянутое секретарем перо.

Дело семинаристов, полтора года тянувшееся в Палате уголовного суда, было наконец завершено производством. Суд определил наказать их лозами и отослать в военную службу. Жаль было, однако, отдавать мальчиков в солдаты. Ведь столько учились, и все дети достойных родителей. А те извели епископа неотступными своими докуками. Вот оттого-то и решился он обратиться к государю императору со всеподданнейшим испрашиванием великодушного снисхождения к несчастным, дабы не отдавать их в солдаты, а обратить в приказных.

Подписав прошение, Вениамин откинулся на спинку кресла:

— Ну что там еще, сыне?

— Поступил, ваше преосвященство, указ из Святейшего Правительствующего Синода за нумером две тысячи шестьсот двадцать от тридцатого июня сего, тысяча восемьсот четвертого, года.

— Что там еще за указ?

— Предписывается, ваше преосвященство, в непродолжительном времени донесть об изъятиях и прибавочных словах в показаниях отца архимандрита Иакинфа.

— Что, что? Подай-ка указ! Да откудова о том Синоду могло стать известно?

Секретарь помедлил, переминаясь с ноги на ногу.

— Долгом почитаю остеречь, ваше преосвященство! Через друзей моих в синодальной канцелярии получил я дословную с донесения, с коим отец архимандрит дерзнул в Святейший Синод обратиться.

— Донесение в Синод? Отца Иакинфа? Через мою голову?

— Так точно, ваше преосвященство. Осмелюсь доложить: пишет отец архимандрит, что хотя подробности предпринятого расследования и не могли ничего к личному его предосуждению заключить…

— Хм! — усмехнулся епископ.

— …однако лицо его тем оскорбляется.

— Оскорбляется! Ишь невинность какая выискалась: оскорбляется!

— "Защиты же, — пишет, — к нещастию моему, в архипастыре со всем моим старанием не имею. И хотя господин гражданский губернатор употреблял все свои силы, чтобы в правосудии склонить ко мне особу его преосвященства, но старания его были тщетны…"

— Ах проныра! Ах ты, бестия ты душевредная! — разразился

бранью преосвященный, называя архимандрита пристойными случаю именами. — С жалобой на своего архипастыря в Синод подался!

— Репортует, ваше преосвященство, об изъятиях и прибавочных словах в его показаниях и вопросных пунктах, в здешней консистории учиненных…

— Ах негодяй! Ну этого я так не оставлю! Отныне все, что в тени пребывало, въяве будет! Светских покровителей себе сыскал, видите ли! И какие рьяные покровители-то у него открылись. Вот про губернатора пишет, а ты знаешь ли, что тот да и другие чиновные особы и впрямь тщились дело сие замять?

— Не могу знать, ваше преосвященство.

— А вот слушай да памятуй. Обо всем этом надобно в Синод отписать. И незамедлительно! Как-то раз после литургии пожаловал его превосходительство ко мне. Ну, испили наливочек, закусили, и, когда все протчие разошлись, губернатор остался у меня один и стал изъясняться в удивлении своем, что толико маловажное происшествие так увеличено. Из комара, говорит, вола сделали. Это девка-то в архимандричьих покоях — комар!

— Да-а-с! — многозначительно протянул секретарь.

— А ты не дакай, а слушай дальше! Спустя несколько времени, уж не помню — на второй или на третий день рождества христова, приглашает меня губернатор к себе. Пообедаем, мол, и между тем посоветуемся, как это дело к концу привести тихим образом и тем бесславье от города отвести. Ну взял я с собой игумена Лаврентия и поехал. Приезжаем к его превосходительству, а там уже бывший уголовной палаты председатель, нынешний вице-губернатор Рязанов и губернский прокурор. А спустя известное время и архимандрит Иакинф пожаловал. Поговорили за столом о том о сем и приступили к делу, для коего собрались.

И что бы ты думал? Заводит губернатор речь о том, чтобы отец архимандрит простил семинаристов, а сих бы склонить — дабы от показаний своих относительно девки отреклись и подали бы в уголовную палату мировую за общим рукоприкладством. А отец архимандрит тут как тут: сие, говорит, согласно с наклонностию моего сердца. В причиненном мне беспокойствии и оскорблении я, мол, простить учеников готов, ежели только может тем облегчиться судьба их. Нет, какова бестия?

— Да-а!

— Но тут, помнится, игумен Лаврентий возразил, что уговаривать семинаристов крайне неудобно и опасно, да и противу закону. А прокурор в ответ — противности закону, дескать, нет. Ибо-де в судах первые допросы яко необстоятельные,

не очень-то уважаются, да, может, иной и то наговорил, чего сам не разумел, будучи в страхе, и что было-де ему внушаемо. А ежели, говорит, допрашивать их пообстоятельнее, да по вашему увещеванию архипастырскому, так запросто могут они и переменить. А тут и ректор опять встрял: семинаристы-де на то не соглашаются, может быть опасаясь гнева его преосвященства. Ишь ведь, бестия, что удумал! Чтобы я, преосвященный, давление на мальчиков оказал!

— И как изворотливо, ваше преосвященство, все-то чужими руками-с!

— Да только не на того напал! Мой ответ был таков: ученики не имеют причины меня, яко архипастыря своего, опасаться. Однако ваше, говорю, дело, отец архимандрит, вам и следует старание иметь. А что до меня, то и я желал бы, чтобы сие тягостное дело покончить сколь возможно легче. На том и расстались.

— Да-с, ловко все было затеяно!

— А спустя несколько времени, в один день, уж не вспомню в какой, приглашает меня отец архимандрит к себе в монастырь и угощает со всею приветливостью. И между тем представляет мне катехизис своего сочинения с тем, чтобы напечатать под моим именем.

— Задобрить вас, ваше преосвященство, надумал. Все как по нотам разыграно-с!

— Только я от чести сей уклонился. А сорвалось, так он, вишь, жалобу в Синод настрочил. Защиты, видите ли, в архипастыре своем не имеет!

Секретарь заметил, как напрягся и задрожал мускул на левой щеке преосвященного. Это было верным признаком назревающего гнева. Старик побагровел и с такой силой швырнул вдруг синодальный указ, что тот отлетел в угол.

— Осмелюсь доложить, ваше преосвященство, это еще не все, — сказал секретарь, поднимая и разглаживая бумагу и вместе с тем не решаясь подойти поближе. — Указ предписывает также донести о взятой под стражу девке.

Вениамин развел руками и с грохотом опустил их на стол:

— Час от часу не легче! Легко сказать: донести! Да я, я и сам дорого б дал, чтобы узнать, куда эта проклятущая девка запропастилась. Вот уж воистину как в воду канула! А без нее все обвинения противу архимандрита будто на песке построены.

— Но, ваше преосвященство, семинаристы в один голос показывают, что якобы прибывший с архимандритом из Казани келейник Андриан Иванов никакой и не келейник, а та самая девка и есть, и зовут его будто не Андриан, а Наталья.

— "Показывают, показывают"! А вот архимандрит объявляет сие злонамеренной и оскорбительной для его сана и достоинства нелепостью и решительно отвергает. Вот тут-то бы и допросить с пристрастием саму девку, яко улику главную! Очную ставку с семинаристами ей учинить.

Мысль об исчезнувшей девке давно не давала Вениамину покоя. Чего только не делал он: и губернатору писал — и военному, и гражданскому. Предписано было о сыске ее во все части города и описание примет сообщено куда следует. Однако сколько с той поры воды в Ангаре утекло, а девка и поныне в нетях!

— В бегах! Вот тебе и весь сказ — в бегах! Вот к чему может привести попустительство светских властей. Ну а где же допросы служителей архимандричьих?

— О препровождении их для допросов в палату уголовного суда отцу архимандриту по вашему повелению из консистории два указа направлено.

— Ну и что же?

— На первый указ, ваше преосвященство, отец архимандрит вовсе не соблаговолил ответить. А на второй отозвался, что не может их препроводить, ибо отправил на монастырские работы за Море {Море — Байкал (сибирск.).}, да и полагает ненужным, поелику он есть особа духовная, не зависящая от светского правительства. Вениамин был взбешен:

— Ах пройдоха! Ах крючкотвор! Ну и хитер же бестия!

— Да и палата тоже хороша, — сказал секретарь, подлаживаясь под настроение архиерея. — На все наши обращения только и получаешь, что ответы о новых и новых задержках и безурядицах. То надворная советница Хлебникова, у коей та девка квартиру имела, сообщает, что явиться на допрос не может по болезни; то другая, Ногина, отзывается, что девка та ушла в лес по ягоды и не воротилась, а в какое точно место, о том не сказывала, и она не знает; то квартальный надзиратель Колычев якобы отлучиться не может и просит прислать ему вопросные пункты. Ежели они и впредь будут так поспешать, им и до второго пришествия дела сего не расследовать.

— Да, да. Похоже, что палата умышленно его маринует. Повелеваю возобновить допросы и провести следствие непосредственно в консистории.

— Не замедлю исполнить, ваше преосвященство. Да, так-то дело куда быстрее подвигаться будет!

— Всех допросить заново, всех без изъятия! Всех послушников и служителей архимандрита — и штатных, и наемных! Не то что из-за Моря, со дна морского достать! И всю

монастырскую братию! А отцу архимандриту учинить в консистории новые вопросные пункты, коими уличить его в противуречьях и лукавстве. Во всех подробностях спросить и об облыжно показываемом келейнике Андриане, и о девке. Все на чистую воду вывесть!

— Не замедлю исполнить, ваше преосвященство, не замедлю исполнить! — повторял секретарь, отодвигаясь подальше от разгневанного владыки.

III

Иакинф вернулся с пирушки у полковника Лебедева под утро. Как всегда, у того было шумно и весело. Играли в карты и пили, пили много, по-сибирски. Теперь можно было наконец забыться тяжелым сном. Да уж лучше пьяный сон, нежели трезвая бессонница. И пусть уж лучше с похмелья трещит голова, чем от тяжелых, неотвязных дум.

Но что это? На столе пакет из консистории.

Иакинф содрал сургучные печати и разорвал конверт.

Должно быть, все те же запросы, которые он получал из консистории уже не раз, но так и не удостоил ответом. Иакинф зажег свечи в шандалах, присел к столу и придвинул к себе пакет. Ну конечно, так и есть — "Вопросные пункты, учиненные в Иркутской Консистории Вознесенского монастыря Настоятелю, оной Консистории Члену и Иркутской Духовной Семинарии Ректору, всечестному отцу Архимандриту Иакинфу…"

Да, видно, не дадут они покоя, эти владычные ревнители благочиния! Ну что ж, придется отвечать, раз уж так им не терпится до всего докопаться.

Пункт первый требовал, чтобы честнейший отец архимандрит подробно изъяснил все о служителе своем Андриане Иванове, которого привез с собой из Казани, — какого он точно состояния, то есть из числа ли дворян, или купцов, или цеховых, или крестьян, или господских каких-либо слуг, или из другого звания.

Иакинф закурил, неторопливо очинил перо и справа от вопроса написал своим ровным и четким почерком: "Помянутый Андриан Иванов человек господской, вольной, а чьего господина, не упомню",

"Мог же я, право, про то запамятовать? — усмехнулся Иакинф. — Посмотрим, однако, что же дальше?"

Следующий, весьма подробный пункт касался паспорта Андриана: где по прибытии в Иркутск был "оный пашпорт явлен и записан"? Ишь чего захотели!

"Входить в это не было мне нужды", — проставил Иакинф

против вопроса.

Так же кратко отвечал он и на последующие вопросы. А они касались все новых и новых подробностей. Как-то на один из запросов об Андриане Иакинф ответил, что еще в 1802 году отправил его из Иркутска. Теперь консистория допытывалась, "какого месяца и числа, с кем именно, а есть ли одного, то на каких подводах, почтовых или с обозом, и куда именно, в какое место".

Лукавая улыбка не сходила с лица Иакинфа.

"Отправлен в 802 году, а входить в прочие подробности не было мне нужды".

"Но как из произведенного в сей Консистории следственного дела открывается, — принялся Иакинф за новый вопросный пункт, — что оный Андриан Иванов, прибывший с Вами, якобы ложно показываемый Андриан Иванов, но в точности же по имени Наталья Иванова, и потому для истинного в том удостоверения благоволите объясниться в следующем…"

Иакинф задумался, погрыз перо и решительно написал:

"Мне еще неизвестно, почему Иркутская Духовная Консистория изволит так полагать. Однако долгом побуждаюсь ответствовать, сколько благопристойность позволяет распространяться о таком предмете…" Он запнулся. Н-да, ответить на следующие вопросные пункты было не так-то просто. Оказывается, о пребывании Наташи в Иркутске им удалось все же собрать немало сведений и не терпится, чтобы все это он подтвердил собственноручно. Нашли простачка!

Он поднялся, подошел к окну и настежь распахнул створки. В комнату ворвался холодный осенний воздух. Не замечая этого, Иакинф долго стоял у окна, потом вернулся к столу и приписал четко и твердо: "Вообще все последующие вопросные пункты почитаю я такою нелепостию, объяснения на которую не можно дать никакого".

И на все остальные вопросы о подробностях пребывания Натальи в Иркутске: была ли она в его покоях во время случившегося в семинарии беспорядка в феврале 1803 года, посылал ли он ей припасы, когда она содержалась в Иркутском больничном дому на излечении и жила по разным квартирам, — Иакинф ставил жирные прочерки.

Любую подробность, которую он мог сообщить или подтвердить, они не преминут обратить ей во вред, хотя ныне она уже за тридевять земель от Иркутска и укрыта в надежном месте.

Ах, Наташа, Наташа! Он отшвырнул перо, подошел к окну, вглядываясь в предутренний сумрак.

Да, как нелепо оборвалось их короткое счастье!

А как чудесно все началось! Тихим июльским вечером, тотчас после обряда посвящения в архимандриты, они уже скакали в далекую Сибирь. Это было похоже на свадебное путешествие. Прогонные ему выдали на шесть лошадей, и они ехали на двух тройках. На одной с припасами — послушник Лев Васильев, малый лет двадцати, которого он захватил с собой из Иоанновского монастыря, на другой — они с Наташей. Ее пришлось обрядить мальчишкой, а косу остричь. Наряд этот был ей очень к лицу. Хорошенький получился келейник. Нарекли его Андрианом, и то, что архимандрит отправлялся в столь далекое путешествие в сопровождении двух служителей, ни у кого не вызывало подозрений.

Да, это было как свадебное путешествие! По лесистым просторам Казанской, Вятской и Пермской губерний, а потом по Уралу и Сибири они не ехали, а летели, все вперед и вперед, будто за счастьем.

Ямщики им попадались лихие — все из татар да башкир. Заложат ухарские свои тройки, подвяжут под дугу коренника не один, а целых два колокольца, вскочат на облучок, затянут песню, в которой слышатся одни гласные, и мчатся во весь опор. Что им рытвины и ухабы — самые горы им нипочем! Лошади у них степные, неистомчивые, привыкли скакать, а не трусить, их надобно придерживать, а не погонять. Из-за нестерпимой летней жары ехали большей частью по ночам, при свете луны, средь таинственной тишины дремучих лесов, и сколько было поэтического очарования в этой стремительной ночной скачке.

Когда умолкал ямщик, тихонько запевала Наташа, — песен она знала бессчетное множество.

А сколько они порассказали друг другу о себе за эту дорогу! О всей своей жизни с самого детства.

В Иркутске они поселились не в монастыре, а в ректорских кельях в семинарии. Это было в самом городе, подальше от всевидящих монашеских глаз. Да и в услужение себе ректор взял большей частью наемных служителей. Наташа сумела быстро создать в этих обширных холодных покоях уют. Теперь у них был дом, свой дом, а его ни у того, ни у другой никогда не было. И отец Иакинф спешил домой, стараясь не задерживаться ни в семинарских классах, ни на монастырских службах. Наташа поджидала его у окошка — он видел это еще со двора.

Иакинф был счастлив. Полгода пролетели незаметно. Да полно, ужели полгода? Нет, это был словно один, озаренный негаданной радостью медовый месяц.

Счастлив… Но боже, какое это трудное и тревожное было счастье! Оно было омрачено страхом не только за будущее, но и

за настоящее. Обоим надобно было таиться. И конечно, особенно трудно приходилось Наташе.

Но никогда не замечал он в ее глазах не то что слез, но просто печали. Плачущей он видел ее лишь раз — тогда, на масленой, когда подобрал ее на снегу. Но зато постоянно звучал в ушах ее смех. Как и песня, смех был у нее потребностью. Она напевала вполголоса, ложась спать, и смеялась от радости, просыпаясь поутру. Смеялась с такой детской непосредственностью, так радостно и так заразительно, что просто невозможно было, глядя на нее, не улыбнуться или даже не захохотать самому.

Он приходил усталый, сердитый из-за какой-нибудь нелепой стычки с преосвященным (столкновения с ним начались сразу по приезде), после целого дня в семинарии, где немало хлопот доставляли ему великовозрастные сынки достаточных сибирских священников. Но стоило услышать ее смех, и на сердце становилось тепло.

Стремительно двигаясь по келье, что-то мурлыча себе под нос, она накрывала на стол и, пока он ел, принималась расспрашивать о проведенном дне. Он любил ей рассказывать. Несмотря на готовность в любую минуту взорваться неудержимым коротким смехом, она вовсе не была глупа. Ему никогда не было с ней скучно. А ей — ей просто было весело, молодая беззаботная радость так и играла в ней. Во всем она умела находить смешную сторону. Она была наблюдательна и подмечала в людях и событиях такое, что нередко проходило как-то мимо Иакинфа, оставалось незамеченным.

Наташе едва исполнилось двадцать лет, но, при всей своей кажущейся беззаботности, она поражала Иакинфа практической сметкой. Она быстро прибрала к рукам все его хозяйство. С какой-то ласковой мягкостью и вместе властностью, не оскорбительной и не унижающей, она распоряжалась обширным штатом его служителей — поваром, кучером, писарем, сторожами, келейниками. Догадывались ли они, что она не мужчина? Во всяком случае, ей приходилось быть настороже. Из келий она без крайней нужды не отлучалась, ходила всегда в мужском кафтане, таком же, какие носили все наемные служители, а не послушники. Только когда он возвращался домой и они отсылали служителей, она сбрасывала мужской наряд и облачалась в пеструю юбку и кофту, а если бывало прохладно, накидывала на плечи подбитый мехом шушунчик…

Иакинф заставил себя оторваться от этих воспоминаний и вернуться к бумаге.

Последний вопрос гласил: "Сего 1804 года Генваря 12 дня во

время ночное секретным образом в мужском одеянии была ли отправлена с приезжим, у вас бывшим куриером?"

Ах, им даже это известно! Ну что ж, и здесь мы проставим прочерк. Иакинф заходил по комнате, потом опять остановился у распахнутого окна.

После происшествия в семинарии пришлось поселить ее на частных квартирах — сначала у артиллерийского юнкера Киреева, потом у заседателя Масленникова, у надворной советницы Хлебниковой, у девицы Ногиной в Набатовке… Квартиры надобно было часто менять — полиция сбилась с ног, рыская в поисках Наташи по всему городу. И Иакинф отважился на дерзость, в которой после происшествия в семинарии никто не мог его и заподозрить, — поселил Наташу… в настоятельских кельях в Вознесенском монастыре. Служителей, кроме Льва Васильева, на которого можно было вполне положиться, пришлось поменять, а на случай, как бы кто негаданно не нагрянул, — устроить хорошо укрытый тайник. Так Наташа прожила с ним еще целый год, и только когда Иакинф проведал, что в консистории стали об этом догадываться, он отправил ее в Казань со случившимся из столицы фельдъегерем…

Вдруг сделалось совсем светло. Луна, которой не видно было всю ночь, вырвалась из-за завесы туч. Стал виден весь двор и крыльцо наискосок от окна. Вот к нему и подкатила тогда лунной февральской ночью тройка фельдъегеря, скакавшего по срочному делу в Петербург. Иакинф вспомнил, как усадил он в сани закутанную в тулуп, присмиревшую Наташу, как вскочил на облучок ямщик, сорвались с места лошади и снежная пыль заклубилась за санями…

Но с тех пор прошло уже почти восемь месяцев. Откуда они могли вдруг об этом проведать? Может быть, Сергеев? Да, вероятней всего Сергеев, — больше некому. Он появился в Иркутске, когда Наташа была в больничном дому. Ее надо было оттуда вызволить. Для этого нужен был надежный и расторопный человек. Друзья и порекомендовали ему Сергеева, как человека, на которого можно было положиться. Прошлое у него было, правда, весьма сомнительным. По его рассказам, лет двадцать назад служил он в Петербурге при Академии наук, потом определен был на военную службу и проходил ее унтер-офицером в Ширванском полку, пока за какой-то новый проступок, о котором он рассказывал сбивчиво и неохотно, не отправили его в Нерчинские заводы в работу. Но завода он как-то избежал и объявился в феврале в Иркутске, должно быть, с фальшивым паспортом. Поколебавшись, Иакинф взял его писарем. Ездил он к Наташе и в больничный дом, и на квартиры. Знал и об ее отъезде.

А недавно вдруг куда-то исчез. Может быть, его схватили и он проболтался? Человек он разбитной и тертый, да, видно, совесть для него — платье устарелого покроя

Заблаговестили к заутрене.

Да, прилечь уже не удастся.

Иакинф спустился в баню, окатился студеной ангарской водой, переменил рясу и пошел к службе.

Часть вторая
НА ПЕРЕПУТЬЕ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

I

Пока в Иркутской консистории тянулось это бесконечное, изнуряющее следствие, на другом конце России происходили важные события.

В Петербурге готовилось посольство в Китай. Официальной целью его было известить соседнего монарха о вступлении на престол нового всероссийского самодержца. Но это было, разумеется, лишь предлогом. У России были давние и широкие интересы на Востоке. Со времен Петра русское правительство проявляло живое внимание к Срединному государству. Не раз на протяжении восемнадцатого столетия возникали планы установления дипломатических и регулярных торговых сношений с далеким и загадочным соседом. Особенно усилилось это внимание к Дальнему Востоку при Екатерине. Однако Павел, не скрывавший своей антипатии к матери, все делал ей назло, и о Китае было забыто.

Но вот после тревожной мартовской ночи 1801 года, окруженный убийцами отца и деда, на престол вступил новый император. В манифесте двенадцатого марта, в этом, по определению современников, счастливом вдохновении минуты, была высказана решимость молодого монарха управлять империей "по законам и по сердцу в Бозе почивающей Августейшей Бабки Нашей… по ее премудрым намерениям шествуя". Первые годы царствования Александра и в самом деле прошли под знаком возвращения к людям и идеям матушки Екатерины. В первоначальных указах и рескриптах нового царя чаще всего мелькали слова "отменить", "восстановить", "простить". Вспомнили и о Китае, совсем было забытом при Павле.

Уже на следующий год министр коммерции, граф Николай Петрович Румянцев — тоже один из "людей Екатерины" — испросил высочайшее соизволение на снаряжение посольства в Китай. В декабре восемьсот третьего года только что созданное министерство иностранных дел отправило сибирскому генерал-губернатору Селифонтову для отсылки в Пекин специальный Лист, извещавший, что русское правительство "из особого уважения к Его Богдыханову Величеству и для вящего

доказательства искренней соседственной дружбы к нему Его Императорского Величества за благо признало отправить в Пекин Чрезвычайного и Полномочного Посла" и просит согласия на то китайского правительства.

Едва царский фельдъегерь на взмыленных конях доставил депешу Селифонтову, как тот без промедления нарядил в Ургу особого курьера, которому по важности случая было придано два казачьих сотника с дородными казаками, "прилично одетыми", а обычные при таких поездках подарки китайским чиновникам значительно увеличены.

Ответный Лист китайского трибунала внешних сношений, против обыкновения, был получен весьма скоро. Не прошло и трех месяцев, как китайские курьеры доставили его в Иркутск. Пекинское правительство в самых любезных выражениях изъявляло свое согласие на прием посольства и просило лишь уведомить своего наместника в Урге, какого звания будет посол, как велика при нем свита и когда посол прибудет на границу.

Но этого сибирский генерал-губернатор не знал. Не знали этого и в Петербурге. Новый император был человеком нерешительным, вечно колеблющимся. Почти два года в Петербурге не могли надумать, кого же послать в Пекин. Наконец в апреле 1805 года в Пекин была направлена депеша, извещавшая, что чрезвычайным и полномочным послом ко двору его богдыханова величества назначается действительный тайный советник, сенатор, государственной коммерц-коллегии президент, двора и всех российских орденов обер-церемониймейстер, действительный камергер и разных орденов кавалер, граф Юрий Александрович Головкин.

Уже одно перечисление титулов посла показывало, что посольству придается особое значение, а вся обстановка, в которой оно готовилось, еще более подтверждала это. Зимой 1805 года в аристократических салонах столицы только и было разговоров, что о Бонапарте да о китайском посольстве.

Путешествие в загадочную восточную страну представлялось заманчивым, и многие влиятельные сановники поспешили пристроить в свиту графа своих сынков или родственников.

Пожалуй, только сам посол, граф Юрий Александрович, отправлялся в это далекое путешествие безо всякой охоты. Куда больше его привлекла бы поездка в Швейцарию, где он родился и вырос. Граф и по рождению и по воспитанию был тем, к чему в то время стремились многие, — иностранцем с русским именем. Едва ли не все потомки прославившегося при Петре Великом начальника Посольского приказа и государственного канцлера Гаврилы Ивановича Головкина поселились за границей, не

отказываясь, однако, ни от российского подданства, ни от русских имений, приносивших немалые доходы. Во всяком случае, отец вновь назначенного посла отродясь в России не бывал, всю жизнь прожил во Франции и Швейцарии, женился на швейцарской аристократке баронессе фон Мосгейм и детей крестил в реформатскую веру.

Когда двадцати лет от роду Юрий Александрович явился ко двору Екатерины, в нем, кроме имени, ничего русского не было. Высокий и статный юноша императрице приглянулся. Она определила его в гвардию, хоть он и слова не разумел по-русски, женила на дочери Нарышкина, одного из своих любимцев, и милостями царскими привязала молодого графа к русскому престолу.

Но, поселившись в России, он остался настоящим французом старого закала — изысканно-любезным, самонадеянно-легкомысленным. Обладая весьма поверхностными познаниями, но зато надменной фигурою и повадками прирожденного барина, он в аристократических салонах столицы, где никогда не углублялись в обсуждаемые предметы, а предпочитали лишь грациозно скользить по ним, почитался человеком весьма образованным и сведущим во всех науках. И потом — что за французский язык, что за величавая важность и представительность!

И все посольство было графу Юрию Александровичу под стать. Чрезвычайного и полномочного посла сопровождали три секретаря во главе с камергером Байковым, одним из любимцев цесаревича Константина. Вторым секретарем был граф де Ламбер, природный француз, у которого, впрочем, гораздо меньше было французского, чем у самого посла. В свиту графа входили также шесть кавалеров и несколько дворян посольства, все молодые люди лучших фамилий — Голицын, Васильчиков, Нарышкин, Бенкендорф, Нелидов, Гурьев; целая ученая экспедиция под председательством тайного советника графа Потоцкого, который, как и сам посол, приходился, по слухам, родственником новому министру иностранных дел и другу государя князю Адаму Чарторыйскому; чиновники, переводчики, художники, воинская команда из казаков и драгун и, наконец, духовная свита, следовавшая вместе с посольством в Пекин для смены старой духовной миссии, окончившей положенный для нее десятилетний срок.

Исключая лиц военных и духовных, для всех остальных чинов посольства граф Юрий Александрович испросил у государя мундир иностранной коллегии. Впрочем, мундир сей показался ему слишком прост, и Юрий Александрович добился высочайшего

дозволения украсить его богатым серебряным шитьем, а вместо полагавшихся обыкновенных статских шпажек выхлопотал всем право носить военные сабли на черной, лакированной, через плечо идущей перевязи с золоченым двуглавым орлом и вензелем императора. Вместо шляп, которые носили столичные дипломаты, чинам посольства были сшиты специальные фуражки, похожие и на кивер и на каску, тоже с добавкою серебряного шитья.

Наконец, после длительных сборов, шумное посольство, двенадцатью отделениями — с промежутками в несколько дней, тронулось на восток. Ехать всем вместе было немыслимо, — для этого на станциях не хватило бы лошадей. Ведь помимо огромного штата — посольская свита состояла из двухсот сорока человек! — с посольством следовал и немалый обоз: богатые дары китайскому императору и его двору, палатки на всякий случай, уйма дорожной складной мебели, — путь лежал через далекую и дикую Сибирь, огромный казенный серебряный сервиз для употребления в торжественных случаях, целый оркестр музыкантов, да мало ли еще чего захватил с собой запасливый посол…

II

В Иркутске посла дожидались давно. Когда в начале сентября посольство остановилось в виду Иркутска, у Вознесенского монастыря, его встретили колокольным звоном. Переливались колокола на монастырских колокольнях. На главах церквей ослепительно горело солнце — погода стояла такая, какая в Петербурге выдается ненароком разве что в начале августа.

Едва завидев на дороге приближающийся кортеж и карету посла впереди, Иакинф вышел навстречу со всем своим клиром.

Граф равнодушно взглянул на настоятеля далекого сибирского монастыря.

Предупрежденный губернатором, Иакинф приветствовал посла по-французски. Равнодушие на лице графа сменилось любопытством. Перед ним стоял высокий темно-русый монах. Из-под архимандричьей митры на посла смотрели пытливые, чуть косо прорезанные глаза.

Проговорив несколько подобающих случаю приветственных фраз, Иакинф пригласил высокого гостя к молебну. Граф, хоть и был реформатской веры, решил на молебне присутствовать. Величаво вскинув красивую голову, в сопровождении всей своей свиты, посол направился к монастырской церкви.

Отслужив молебен, Иакинф наблюдал, как граф, брезгливо сморщившись, сделал вид, что приложился к мощам святителя

Иннокентия, первого Иркутского епископа, и с видимым облегчением вышел из сумрачной церкви.

Настоятель пригласил посла на чашку чая. Со снисходительной любезностью граф принял приглашение и а сопровождении секретарей и кавалеров посольства проследовал за Иакинфом в настоятельские покои.

Высоких гостей своих Иакинф угощал с сибирской щедростью. На столе приветливо гудел начищенный до ослепительного блеска огромный монастырский самовар, стояли кувшинчики и горшочки с вареньем и молодым медом, кедровые орехи, сушеные фрукты, шарки и сахарники — так назывались на особый, иркутский, манер приготовленные пирожные. Но для любителей было кое-что и посущественнее: копченые сиги и омули, расстегаи и кулебяки и целая батарея наливок.

Наливки не остались незамеченными, и разговор скоро принял характер весьма непринужденный.

Посол жаловался на сибирские дороги и проклинал Барабу:

— Бывал я в Риме, но что там понтийские болота в сравнении с этой ужасной Барабой! И еще этот проклятый дождь. Мой лекарь утверждает, что теплый и частый дождик этот служит как бы раствором для всякой нечисти, сокрытой между мхов. Почуя сырость, проклятые насекомые — да они же гиганты по сравнению с нашими, европейскими! — выползали изо всех щелей. Нет, это ужасно! И такое название дали этому краю: степь Барабинская! Степь! Не степь, а зловонное море.

Иакинф сам недавно проделал этот путь, и жалобы посла были ему понятны.

— А вы не приметили, ваше сиятельство, что и растут там почти что одни осины? — спросил он. — Полагаю, что название Каинска дано барабинской столице неспроста, а в честь Каина. Ведь за братоубийство он осужден был трястись, как лист осиновый.

Граф улыбнулся шутке.

Разговор велся больше по-французски. Иакинф скоро убедился, что его гости владеют французским куда лучше, нежели своим, а иные и двух слов не могли связать по-русски. Только один из гостей все время молчал. Это был, как потом выяснилось, третий секретарь посольства Андрей Михайлович Доброславский, который не знал никакого языка, кроме русского, да и на нем говорил с заметной примесью малороссийского.

После чая чины посольства, отдохнувшие и заметно повеселевшие, рассыпались по высокому, обросшему соснами берегу и залюбовались красавицей Ангарой. Могучая река, вырвавшись из Байкала, стремительно катила свои холодные

прозрачные воды.

Распорядясь об устройстве духовной миссии, жительством которой был определен монастырь, Иакинф поехал проводить своих новых знакомцев до города.

Переправа продолжалась долго: надобно было высоко подняться против течения, чтобы оттуда стрелой спуститься к пристани на низком противном берегу, вдоль которого и раскинулся город.

— Удивительно прозрачная вода, — заметил Головкин. — Посмотрите, каждый камешек на дне виден.

— Так ведь тут река имеет чуть не по сажени склонения на версту, — пояснил Иакинф. — Изволите видеть, что тут за быстрина!

На пристани посла встречало все сибирское начальство: дюжий и плотный генерал-губернатор Селифонтов, который, несмотря на свои семьдесят лет, выглядел еще совсем молодцом, военный губернатор генерал-лейтенант Лебедев, гражданский губернатор Корнилов, епископ Вениамин, дамы, чиновники, казачьи офицеры, а со стороны города валом валил народ, чтобы взглянуть на важного посла, прибывшего из самого Санкт-Петербурга.

Селифонтов приветствовал графа вежливо, но сдержанно, да и одет он был не по-парадному и без орденов. Всю дорогу суровый старик молчал. Будучи в одном чине с послом, привыкший повелевать, а не подчиняться, он, видимо, не имел ни малейшего желания расшаркиваться перед напыщенным придворным, который был к тому же чуть не вдвое его моложе. Это, конечно, не могло понравиться Юрию Александровичу.

Но зато все остальные не скупились на выражение верноподданнических чувств — и гражданский губернатор, любезнейший Алексей Михайлович Корнилов, и затянутый в щегольской мундир и при всех орденах генерал-лейтенант Лебедев. Даже на горделивом челе грозного иркутского владыки, епископа Вениамина, не видно было обычной суровости, нет, сегодня он милостиво, а Иакинфу показалось — даже подобострастно, улыбался.

В качестве резиденции Селифонтов предоставил послу свой дом, который громко именовался дворцом. Генерал-губернаторский дворец стоял на самом берегу Ангары, и вид из окон его открывался превосходный: за рекой дыбились горы, заросшие могучими соснами, на севере маячили колокольни Вознесенского монастыря. Но снаружи дом, деревянный и одноэтажный, выглядел весьма неказисто, и гость недовольно поморщился. Куда больше понравилось ему высокое каменное

здание, мимо которого они проезжали по дороге с пристани. Оно и в самом деле было, пожалуй, самым внушительным в городе. Но, как выяснилось, это был Иркутский острог.

Правда, когда через анфиладу просторных комнат гостя провели в устланную огромным ковром гостиную, затянутую зеленоватым китайским атласом и увешанную картинами в золоченых рамах, посол смягчился и лицо его просветлело.

III

В пятницу вечером нежданно явился солдат от губернатора. Иакинф с недоумением вскрыл засургученный пакет и развернул отпечатанный на толстой бумаге, с золоченым обрезом, билет.

"Чрезвычайный и полномочный посол ко двору Дан-Цинского императора, — читал Иакинф (далее следовал длинный перечень всех пышных титулов посла), — движим будучи верноподданническим благоговением ко всерадостнейшему дню коронации всемилостивейшего Государя и желая ознаменовать торжественный для всех сынов России день сей приличным празднеством, покорнейше просит пожаловать сего сентября 15 числа 1805 года по полудни в 7 часов на бал в его резиденцию".

Пятнадцатого сентября, облачась в парадную рясу, Иакинф отправился в генерал-губернаторский дворец над Ангарой.

В восьмом часу стали съезжаться гости. Бал был устроен на широкую ногу. Особенно поразили Иакинфа забившие вдруг перед дворцом фонтаны. Их прежде не было и в помине, но какой же дворец без фонтанов? И вот чей-то услужливый и изобретательный ум нашел блестящий выход из положения. На берегу Иакинф заметил две пожарные машины: трубы спустили в Ангару, а рукава протянули в чахленький сад перед генерал-губернаторским дворцом. Спрятавшиеся в кустах жимолости полицейские солдаты держали в руках брандспойты, из которых били ввысь искрометные струи. "Но каково солдатам-то мокнуть всю ночь под проливным дождем?" — подумал Иакинф.

Он не раз бывал на приемах у губернатора, но такого великолепного бала сибирская столица еще не видывала. Пятьдесят блестящих петербургских кавалеров в шитых серебром мундирах, во главе с величественным послом в ленте и при орденах, кружили головы сибирским дамам столичными комплиментами. Съезжалось чиновничество и именитое купечество; были приглашены даже бурятские тайши — главы родов, кочующих за Байкалом. Залы дворца наполняли чиновницы с дочерьми в бальных платьях, жены и дочери купеческие, разряженные по старинке — в бархатных и парчовых

кофтах, в пышных юбках с бесчисленными оборками, в накинутых на плечи цветастых платках.

Вот где пригодился захваченный из Петербурга оркестр!

Бал открыл посол с губернаторшей Александрой Ефремовной Корниловой, урожденной Ван-дер-Флит. Раскрасневшееся лицо ее сияло счастьем. В следующих парах шли действительные камергеры князья Голицын и Васильчиков с первыми красавицами Иркутска, за ними потянулись и остальные. Танцевали только чиновницы и их дочери. Купчихи же, пунцовые от смущения, сверкая алмазами, каменно сидели вдоль стен, исподтишка поглядывая на танцующих. Среди них Иакинф приметил несколько хорошеньких и пожалел, что на плечах у него не фрак, а ряса.

Граф Юрий Александрович, великий обожатель прекрасного пола, старался сделать веселие всеобщим. Он приказал, чтобы весь вечер обносили купчих не прохладительными, а горячительными напитками. Те не отказывались, пили, краснели и… молчали.

Остановив именитого иркутского купца-миллионщика, коммерции советника Мыльникова, отца пятерых взрослых дочерей, Юрий Александрович говорил ему, стараясь выражаться попростонародней:

— Что же это ваши дочери не дансуют? Посмотрите, батенька, у меня молодцофф, што соколофф.

— Нет, ваше сиятельство, — отвечал тот, пристально взглянув на графа, — мои дочери в невесты вашим соколам не годятся. — И не ясно было — гордость или скромность внушила ему этот ответ.

Пройдясь по ярко освещенной зале и перебросившись несколькими словами со знакомыми, Иакинф прошел в просторную гостиную, где собрались люди постарше, не танцующие. Таких было немало. Здесь он застал и почти всю ученую экспедицию. За круглым столиком у окна сидел ее начальник граф Потоцкий и о чем-то оживленно беседовал с главмедиком посольства Реманом и адъюнктом Петербургской академии наук Клапротом. На столе были расставлены по иркутскому обычаю вазы с сушеными фруктами: винные ягоды, изюм, чернослив. Стараясь не привлекать к себе внимания, Иакинф устроился в уголке и принялся разглядывать беседующих.

Граф Потоцкий имел вид не светского человека, а ученого. Был он сутуловат, длинные, небрежно подстриженные волосы свисали до самых плеч, на худом бледном лице горели лихорадочным блеском светлые глаза одержимого. Собеседник

графа главмедик Реман, казалось, представлял его полную противоположность. Это был дородный, скорее даже тучный, немец, как бы накачанный пивом, с красным лицом и двойным подбородком… Заплывшие жиром, но живые, с лукавинкой, глаза и плотоядные губы свидетельствовали о жизнелюбии и добродушно-веселом нраве. Третий собеседник — Клапрот — принадлежал к той, нередкой, впрочем, породе людей, которые лишены каких бы то ни было характерных черт, — такие лица не запоминаются. Ему, пожалуй, не было и тридцати, но он уже начинал лысеть, и спесью веяло от него за полверсты. Разговор шел о посольстве.

— На другой же день граф отправил список чинов посольства ургинским властям, но ответа все нет и нет, — сказал Потоцкий.

— Только что видел директора кяхтинской таможни. Говорит, что китайцев смущает многолюдность свиты. Более всего пугают их сорок драгун с капитаном и двадцать казаков с сотником, — сказал Реман, закуривая сигару. — А и в самом деле, к чему эта воинская команда?

— Ну знаете, граф скорее откажется от всех нас, чем от драгун и казаков. Для него эта кучка вояк в парадных мундирах и оркестр с медными трубами куда важнее всей ученой экспедиции, — заметил Потоцкий. — По мнению графа, это главный атрибут его достоинства, и на этом пункте он будет стоять твердо.

— Да-а, видно, придется посидеть тут, пока тянутся переговоры с китайцами, — развел руками Реман. — А впрочем, это не так уж худо. В самом деле, что за охота тащиться через эту ужасную Гоби? К тому же зима на носу, а там, говорят, морозы такие, что и замерзнуть не мудрено. То ли дело тут, в Иркутске. Город чудный. Вам не нравится? Напрасно. Какая тут рыба, какие наливки! А дамы местные? Видали, в соседнем зале какая выставка? Экая жалость, что я не танцую. Впрочем, и купчихи тоже не танцуют, сидят вдоль стен и только поглядывают на богоотступные сии забавы. Но не беда! Дождемся ужина. Не знаю, как вы, господа, а у меня идея сия вполне созрела. Вспомнил вдруг наливочки, какими угощал нас в монастыре этот… как его? Отец Гиацинт, что ли?

— Иакинф, — поправил Клапрот. — Да вот он и сам, — показал он глазами на Иакинфа. — Присаживайтесь к нам поближе, отец архимандрит, — радушно пригласил его Реман. — Мы как раз об Иркутске толкуем.

— И доктор Реман без ума от вашего города, — вставил Потоцкий. — Вы ведь человек местный?

— Не совсем. Я с Волги, из Казани. Но уже три года в

здешних местах, так что можете почитать меня старожилом.

На Иакинфа посыпались вопросы о городе.

Он охотно отвечал и в свою очередь расспрашивал о посольстве.

— Видите ли, отец Иакинф, — отвечал Потоцкий, — в случае успеха посольство может иметь весьма важные последствия. Ведь пока ни одна европейская страна не имеет с Китаем официальных дипломатических сношений. Да и у России до сих пор все связи с ним осуществлялись лишь через духовную миссию. А мы ведь ближайшие соседи. Одна из целей нашего посольства в том и состоит, чтобы установить регулярные торговые сношения. Для этого надобно, во-первых, исходатайствовать согласие богдыхана на торг с Россией не в одной только Кяхте, а по всей границе. И вот нам, ученой экспедиции, надобно разведать о степени судоходности реки Амур. Вы представляете, насколько выгоднее было бы установление торговых связей по Амуру? И потом крайне важно, чтобы наши суда свободно ходили по Амуру для снабжения Камчатки и Русской Америки необходимыми припасами. А вы понимаете, что значило бы установление дипломатического представительства в Пекине и торгового, скажем, в Кантоне?..

— Ну на это китайцы ни за что не согласятся, — убежденно сказал Реман.

— Как знать! У посла есть немало благоприятных обстоятельств, кои он может использовать в переговорах с китайцами. И потом, надобно намекнуть им, до какой степени Россия может оказаться полезным посредником между ними и Англией. Ведь должны же они видеть всю опасность того, что Британия распространилась в Индии до пределов самой Китайской империи…

Гостей тревожило и отсутствие вестей о том, что происходит на западе. Когда летом они покидали столицу, там чувствовалась какая-то предгрозовая атмосфера. Война с Францией казалась неизбежной. Уже в Казани их догнало известие, что государь назначил Кутузова командующим Подольской армией, а это было верным признаком того, что война и впрямь не за горами. Уже давно носились слухи, что армия должна была идти в Моравию на помощь австрийцам против Бонапарта. И вот с тех пор они не имели никаких новостей. Почта из Петербурга тащилась так медленно!

— Да! Можно ли тут где-нибудь достать свежие газеты, ведь, наверно, кто-нибудь да получает их? — спрашивали Иакинфа.

— Газеты и журналы в Иркутске довольно редки, — ответил Иакинф. — Как и книги, впрочем. Книжных лавок, как вы,

наверно, изволили приметить, в городе нет вовсе, и газет, конечно, нигде не продают. И библиотек в городе всего две — в гимназии, подаренная городу еще матушкой Екатериной, да у меня в семинарии. У меня, однако, книги все больше духовные. Но я вас познакомлю с человеком, у которого вы можете узнать самые последние новости. Алексей Евсеевич Полевой. Не слыхали?

— Это кто же — почтмейстер, что ли? — осведомился Реман.

— Нет, не почтмейстер, — улыбнулся Иакинф. — Местный купец и управляющий питейным откупом. Но человек он просвещенный и любознательный и европейскою политикой занят куда больше, нежели азиатскою своею торговлей. У него вы найдете все газеты, какие только выходят в обеих столицах, да и не только русские.

— Но я слыхал, сибирские купцы — сквалыги ужасные, — сказал, подмигивая, Реман. — Понастроили палат каменных, а сами с семействами ютятся в чуланах и спят на сундуках, набитых золотом. Придешь к такому — пивом, не то что чем посущественней, не угостит.

— Ну нет, Алексей Евсеевич не таков, — рассмеялся Иакинф. — Он хоть не богат, да тароват. Вот вы увидите, что после вашего французского обеда совсем не худо завернуть к нему на русский ужин. И жена у него красавица.

— Уговорили, уговорили, отец Иакинф, — решительно заявил Реман.

ГЛАВА ВТОРАЯ

I

С бала Иакинф вернулся поздно. Спать не хотелось. Никогда он не чувствовал себя таким одиноким, как возвращаясь в пустую келью после какого-нибудь шумного сборища. Наташа была далеко. Как ее все-таки не хватает. Не хватает ее песен, звонкого смеха, просто дыхания ее рядом. Когда он взял ее с собой из Казани, он и не думал, что так к ней привяжется. Иакинф долго ходил по келье, взволнованный разговором, возбужденный выпитым вином и воспоминаниями.

На следующее утро он встал привычно рано и, захватив простыню, спустился к реке. Настоятель поднимался в монастыре едва ли не первым. Ему нравилось это утреннее купание в обжигающе холодной реке. Не мешкая, он бросился в воду, но, едва проплыв пять-шесть сажен, поворотил к берегу: вода была

ледяной.

После ранней обедни Иакинф решил навестить архимандрита Аполлоса — начальника духовной миссии, следующей в Пекин вместе с посольством.

Отведенная тому келья была неподалеку.

Аполлос — маленький, с добродушным, тронутым веснушками лицом и растерянным взглядом светло-карих глаз, в простенькой коленкоровой ряске — показался Иакинфу как-то уж очень жалок. До сих пор Иакинф не успел познакомиться с ним поближе и решил сегодня позавтракать вместе, а затем показать ему монастырь. Аполлос с охотой принял приглашение.

Оказалось, что они почти одних лет и в одном году кончили курс, только Аполлос не в академии, а в семинарии, в Чернигове. И сам он из-под Чернигова. Отец у него сельский священник и до сих пор имеет там приход, в Мглинском уезде.

От монастыря Аполлос остался в восторге.

— Вы знаете, ваше высокопреподобие, мне бы такой монастырь, — говорил он. — Ни о чем другом я и мечтать бы не стал. Вы и не поверите, до чего мне не хочется в Пекин этот ехать.

— Отчего же? — полюбопытствовал Иакинф.

— Так ведь даль-то какая! Туда чуть не полгода добираться надобно. И через пустыню страшенную. Бог знает, каких только опасностей не встретится на пути — и звери дикие, и разбойники, ведь мунгальцы эти самые народ дикой и воинственной. И потом, срок-то какой! Десять лет прожить средь варваров и язычников. Подумать страшно!

— Но зато как заманчиво! Ведь перед вами откроется новый, неведомый мир восточный, с его своеобычным укладом, поверьями, со всей его жизнью, так непохожей на нашу, — возражал Иакинф.

— Да что там заманчивого — одна дикость азиятская, и больше ничего, — махнул рукой пекинский архимандрит и, доверительно понизив голос, добавил: — И потом, вы знаете, ваше высокопреподобие, просто страх берет: как я останусь один на один со своею свитою? За ними глаз да глаз нужен. Вот тут, к примеру, высокое начальство рядом, кажется, можно б. держать их в страхе и повиновений, а и то уклоняются во всякие непорядки. Изволите ль видеть, отец Иакинф, все забулдыги какие-то, как на подбор, просто сладу нет с ними. Особливо этот иеромонах Аркадий. С самого выезду из Санкт-Петербурга, и в дороге, и тут, в Иркутске, замечен мною во всегдашней лености, пьянстве и других непристойных сану поступках. Ума не приложу, что и делать с ним! В Казани встретил каких-то дружков-приятелей и забражничал. Да как! Три дня мы там

прожили, так я все три дня его и в глаза не видал. Ехать надобно, а его все нет и нет. Где только его не искали! Наконец сам объявился, но в каком виде, боже милостивый! Борода всклокочена, ряса порвана и клобук потерял где-то.

— Нашел чернец клобук — не скачет, потерял — не плачет, — улыбнулся Иакинф.

— Не плачет, не плачет! Я к нему с увещеваниями, а он глядит мне прямо в очи: с родиной, говорит, с Русью-матушкой прощался. Ему бы по нраву евоному в шинкари, а он неведомо с какой стати в монахи подался. А уж норов! Никакие самые наистрожайшие выговоры мои на него не действуют. Так то здесь! А что же будет в Пекине, в государстве чужестранном! Ведь и тут подбивает братию к неповиновению противу меня и к презрению.

— А велика ли братия?

Отец Аполлос растерянно взглянул на Иакинфа и улыбнулся какой-то жалкой улыбкой.

— Да не так велика, ваше высокопреподобие, как беспокойна. Опричь отца Аркадия еще один иеромонах — отец Серафим. Этот хоть в особливой неумеренности к питию мною и не замечен, но ужасти как строптив. Слова ему поперек не скажи. Из монашествующих еще один — иеродиакон, отец Нектарий. Вы его, ваше высокопреподобие, должно, сразу приметили — высокий такой. А еще два причетника — Константин Пальмовский и Василий Яфицкий — да несколько студентов. Эти-то из светского состояния, из семинаристов высших классов. Трое есть, а четвертого надобно тут, средь ваших учеников, приискать — чтоб понятия был нехудого и латыни обучен.

Должно быть вспомнив про Пекин, отец Аполлос опять печально вздохнул:

— Ох, Пекин, Пекин. И климат, говорят, там нездоровый, особливо жары летние. Все тело будто покрывается какими-то язвами.

— Полноте, отец Аполлос, — успокаивал его Иакинф. — А я, напротив, слыхал, что климат там самый что ни на есть благорастворенный, а от летних жаров можно в горах спасаться. Есть там такие горы, Сишаньскими прозываются. Опасности пути? Так монголы, кои толико вас пугают, совсем не то, что во времена Чингиса и Батыя. По всем рассказам, ныне это народ самый смирный и безобидный. Да и едете вы вместе с послом, и до самого Пекина вас казаки с драгунами провожают.

— Да вот и с послом у меня как-то не ладится. Верите ли, ваше высокопреподобие, за четыре месяца граф ни разу не выбрал времечка поговорить со мною. Да и как с ним договоришься? Я, право, не ведаю, умеет ли он по-русски-то. Только и слышишь все

время, что сильвупле да сильвупле. А по-французскому я и сам не разумею. Учился в семинарии латынскому, греческому, еврейскому. А новым языкам у нас не учили. Да и не больно-то они уважают православие и его служителей. Сам граф реформатской веры, Потоцкий — католик, Байков, первый секретарь, по-моему, вовсе ни к какому исповеданию не принадлежит. А что за важность у них, что за насмешливость! Я уж стараюсь держаться от них подальше. Вот иной раз и пошел бы к послу, пожаловался на того же Аркадия. Он ведь и тут вертопрашничает. Но как вспомнишь про графа, про надменность его, так ноги сразу и останавливаются как вкопанные и язык к гортани прилипает. Право, не знаю, что и делать. Может, в Синод репортовать, чтобы освободили меня от сей миссии, пусть хоть тут, в Сибири, оставят.

Иакинф расспрашивал пекинского архимандрита про назначение миссии. Аполлос не таился и рассказывал все, что знал.

Он принес инструкцию, врученную ему перед отъездом в Святейшем Правительствующем Синоде, и протянул Иакинфу.

Тот с интересом в нее углубился.

Инструкция была длинная — из одиннадцати пунктов: ничего-то, кажется, не было в ней забыто. И как вести себя со своим клиром, и с иезуитами, и с китайцами, и в какие дни отправлять всенощные бдения и божественные литургии с молебным пением, и какие одежды носить…

Инструкция не только включала наставления начальнику миссии, но и определяла правила поведения всей свиты. Они были кратки, но выразительны: "Оным иеромонахам и иеродиакону по имеющимся тамо Российского народа людем отнюдь не ходить и от того их воздерживать, а ежели по необходимости какой быть у кого и случится, то б отнюдь никогда пьяни не были, и от оного всячески воздерживались, наглостей же, ссор, драк, бесчинств и кощунств между собою и ни с кем отнюдь не чинили, и тем нарекания и бесславия Российскому двору и народу не наносили. Когда же случится вытти кому в город, то б по улицам шли чинно и порядочно, от сторонних дел уклонялись и без причины нигде не останавливались".

Иакинф невольно рассмеялся, читая этот наказ духовной свите, отправляющейся в Пекин.

— Чего же вы беспокоитесь, отец Аполлос? — спросил он с усмешкой. — За вас же духовное начальство обо всем загодя позаботилось. Смотрите, все возможные прегрешения вашей свиты тут, кажется, предусмотрены. Надо только выписать да

подписку от них отобрать.

— И отобрана, и отобрана! — живо отозвался Аполлос и тут же уныло опустил голову. — А толку что? Да что я там один с ними поделать могу, сами, ваше высокопреподобие, посудите! Да и как их от соблазну удержишь? Для уединенных занятий образованность ума надобна, а ведь почти никто из моего причта даже в семинарии не обучался.

Особенно заинтересовал Иакинфа один из пунктов инструкции. "С начала приезду в Пекин, — читал он, — прилагать старание, чтоб научиться их языком говорить, дабы при удобных случаях возможно было внушить им истины евангельские".

— Отец Аполлос, — не выдержал Иакинф. — А я вам завидую. Поехать в сию далекую и неведомую страну. Да об этом только мечтать можно! Десять лет. Конечно, это не мало. Но и оглянуться не успеете, как они пролетят. Я уже давно примечаю — каждый следующий год что-то короче предыдущего. Кажется, тянется, тянется год, а пройдет и таким коротким вдруг обернется. Десять лет! Да за этот срок можно даже китайской грамотой овладеть. Я уже не говорю о языке маньчжурском или мунгальском. А ведь тогда перед вами весь неведомый мир восточный откроется. Нет, положительно я вам завидую, отец Аполлос!

II

Как и обещал, Иакинф познакомил ученую часть посольства с Алексеем Евсеевичем Полевым, и приписанные к посольству профессора с охотой собирались по вечерам у гостеприимного сибиряка — это было куда приятнее, чем сидеть за бостоном у посла, который относился как к духовной, так и к ученой свите своей свысока. Впрочем, ученые платили ему тем же — плохо скрытым презрением. На этих вечерах у Полевого бывал и сам Потоцкий, и считавшийся после него старшим профессор астрономии, или князь звездочетов, как в шутку его называли, статский советник Шуберт — длинный и тощий старик, по-старомодному учтивый, но легко выходивший из себя, когда речь заходила о Головкине. Частенько заглядывали к Полевому и другие профессора — минералог Редовский, зоолог Адамс, профессор ботаники Панцнер, ориенталист Клапрот, ведавший вместе с Потоцким историческою и словесною частью.

Ближе всех Иакинф сошелся с графом Потоцким, хоть граф и был намного его старше. Ему нравился этот чудаковатый, искрометно остроумный и энциклопедически образованный человек с какими-то непривычно светлыми и острыми глазами.

Польский магнат по происхождению, он был человеком даровитым и увлекающимся. Историк и этнограф, географ и археолог, он написал по-французски несколько повестей и комедий. Языками — и древними и новыми — владел он в совершенстве. А рассказчик был — заслушаешься. Целыми вечерами мог он рассказывать о своих путешествиях. Где он только не побывал — в Марокко и Египте, Турции и Анатолии, не говоря уже о Франции и Италии, Англии и Испании. А на острове Мальте его даже посвятили в рыцари.

Узнав, что Иакинф волжанин, он сказал:

— А вы знаете, я ведь тоже плавал по Волге! Лет шесть тому назад. Захотелось проверить писания Геродота о скифах, вот я и предпринял путешествие по югу России, вплоть до Кавказских гор. И по Волге проплыл до самой Астрахани.

— Да-а, Волга матушка-река! — мечтательно произнес Иакинф. — Мне-то она особенно дорога — родина!

— Чудная река, чудная! — подхватил Потоцкий. — Недаром у русских столько песен и легенд про нее сложено. Особенно, когда она впервые предо мною открылась. Зрелище поистине величественное! Его и описать невозможно. Видел я разлив Нила, но ни в какое сравнение он не идет.

— Неужто? — недоверчиво спросил Иакинф.

— Да, да. У Нила ведь большая часть вод поглощена каналами для поливки рисовых полей. А тут, представьте себе, поднимаюсь на гору, и вдруг расстилается подо мною пространный архипелаг. Острова соединены между собой лесами, которые встают прямо из воды. Рыбы играют около дерев — совсем как в потоке у Овидия. И добавьте еще закатное солнце!

Потоцкого привлекало в Иакинфе жадное любопытство, редкостное умение слушать — чем спутники его особенно не баловали, изумляла неожиданная в монахе далекого сибирского монастыря начитанность.

А Иакинфа все больше влекли в Потоцком несколько беспорядочные, но неистощимые знания. Не замечая язвительных насмешек Клапрота или добродушного подтрунивания Ремана, они пристраивались где-нибудь в уголке и, как бы перенесясь на другой конец земли, колесили по чужим городам и весям. Иакинф не уставал восхищаться необъятной эрудицией Потоцкого, которая всегда была к услугам терпеливого слушателя, жадно вдыхал аромат дальних странствий и глубокой истории.

Сойдясь с Иакинфом поближе, Потоцкий с жаром стал убеждать его присоединиться к посольству.

— История человека и природы так важна, что должно с охотою и страстню жертвовать ей покоем и удовольствиями, —

возбужденно говорил он. — Ну что вам сидеть тут сиднем, в пашен тихой обители? Вы же еще так молоды, отец Иакинф! Я великолепно помню себя в вашем возрасте — кипение чувств, разум хочет обнять все, что создано человечеством! Вы полны сил и энергии, а тут представляется такой случай попасть в эту древнюю страну, о которой у нас, в Европе, почти ничего и не знают.

— Так ведь то, граф, не от меня зависит, — усмехнулся Иакинф.

— Хотите, я поговорю с графом Головкиным? — живо спросил Потоцкий.

— Конечно. Безмерно меня обяжете.

III

Спустя несколько дней после этого разговора с Потоцким Иакинфа пригласили к послу.

Граф принял его утром в светлой, затянутой китайским атласом гостиной. Принял по-домашнему, без церемоний. Он сидел в удобных креслах, облаченный в шелковый китайский халат и мягкие туфли.

— Прошу садиться, отец Иакинф, — пригласил он, широким жестом указывая на стоящий напротив стул.

Иакинф осведомился о здоровье, о впечатлении, какое произвела на графа сибирская столица.

Город Юрию Александровичу не понравился, и он не скупился на саркастические замечания:

— Это скорее какой-то заштатный городишко, нежели столица Сибири, как тут у вас его величают. Во всем городе порядочной мостовой нету. А улицы? Хоть и широки, да косы и кривы. Полноте, существует тут хоть какой-нибудь городской план?

Графу не понравился не только город, но и сибирское начальство.

— А ваш генерал-губернатор? Да это какой-то медведь, а не сановник. Груб невыносимо, и лицо красное, как у шкипера.

Иакинф поспешил увести разговор от этой щекотливой темы:

— А успели вы побывать в местном театре, ваше сиятельство?

— А как же! И признаться, ничего подобного не ждал встретить в Сибири. Как раз позавчера меня свозил в театр губернатор. Подъехали, и я хотел уже повернуть обратно: не театр, а сарай какой-то. Длинное здание совсем вросло в землю. Но Алексей Михайлович с Александрой Ефремовной уговорили. И что же? Оказывается, внутри все как в настоящем театре: и сцена,

и партер, и ложи, кажется даже в три яруса. Правда, для партера вырыта глубокая яма, так что в него приходится спускаться. Да, впрочем, зачем я вам все это рассказываю? Вы ведь, наверно, сами бывали в театре, и не раз.

— Нет, не бывал, ваше сиятельство. Наше дело иноческое. Это вам, мирянам, да еще в пути сущим, все дозволяется, а нам, смиренным инокам, по театрам ходить не подобает, — улыбнулся Иакинф.

— И представьте, недурно играют. Мужчины, правда, ужасны. Я думаю, актеры набраны из гарнизонных солдат, но зато среди актрис есть прехорошенькие, особенно одна, как ее? Фамилия еще у нее такая трудная.

— Джимайлова?

— Да, да, кажется, Джимайлова. А вы откуда знаете, отец архимандрит? — погрозил он пальцем. — Очень мила, очень! Думаю, она может быть ангажирована и на иные сцены.

— Что же давали на театре?

— Не помню, какую-то волшебную оперу.

Разговор велся по-французски. С французской легкостью перескакивал он с одного предмета на другой и не скоро перешел к тому, что больше всего занимало Иакинфа. Наконец Головкин сказал:

— Мне говорил про вас граф Потоцкий. Не скрою, не по душе мне нынешний начальник пекинской миссии. Очень уж он необразован и бесхарактерен. Свиту свою совсем распустил. Прогуливаемся на днях по набережной, и вдруг навстречу какой-то черноризец. Едва на ногах держится. Оказывается, иеромонах из его миссии. Европейских языков Аполлос вовсе не знает. И внешность какая-то невнушительная. Нет, не такой человек нужен на пост начальника российской миссии, да еще в такую столицу, как Пекин. Ведь духовная миссия вот уже сотню лет единственное наше представительство в Китайской империи. Через нее осуществляются все наши отношения. И на посту начальника миссии должен быть тонкий и искусный дипломат, образованный и представительный.

Граф откинулся на спинку кресла и испытующе посмотрел на Иакинфа.

— И вот что еще нужно иметь в виду, — многозначительно добавил он. — Помимо связей с китайцами на миссию ложится нелегкая задача наладить добрые отношения с иезуитами, людьми хитрыми и коварными. А они — это вы не должны упускать из виду — пользуются в китайской столице и при дворе богдыхана большим влиянием. И вот начальнику духовной миссии следует войти в доверие к иезуитам, чтобы получить

нужные сведения о влиятельных лицах при дворе, благосклонность которых так важно приобрести. Вы сами понимаете, отец Иакинф, что все это требует высокого благоразумия, тонкого ума и, я бы сказал, даже изворотливости. Но, помилуйте, как раз этого-то и не хватает отцу Аполлосу.

Головкин поднялся с кресел, прошелся по гостиной и позвонил в колокольчик. Когда бесшумно явился слуга, Юрий Александрович приказал подать чаю. Готовясь пересечь границу, граф приучал себя к китайским обычаям.

Когда на низеньком столике появился зеленый китайский чай, чуть пахнущий жасмином, Юрий Александрович, подвинув гостю хрупкую чашечку и отхлебнув из своей, продолжал:

— Не стану скрывать, отец Иакинф. Мне кажется, у вас есть как раз то, чего так недостает отцу Аполлосу: и представительная внешность, и тонкий ум, и знание языков, и образование. И когда граф Потоцкий заговорил со мною о вас, я просто обрадовался. Но, я слыхал, у вас какие-то неприятности, расскажите о них, пожалуйста, да и вообще о себе.

Иакинф рассказал о Казани, о семинарии и академии, о своем пострижении и о назначении сюда, в Иркутск. Когда речь зашла о возводимых на него обвинениях, Головкин приметно оживился.

Иакинф рассказал о бунте семинаристов, о суде над ними и о навлеченном на него подозрении в том, что содержал при себе женщину под видом келейника.

Граф смеялся.

— И хорошенькая она была, ваша Наташа? — с веселым любопытством спрашивал он.

Иакинф пытался отделаться шуткой. Но не тут-то было. Графа нелегко было оторвать от такого занимательного сюжета.

— Не таитесь от меня, отец Иакинф, — лукаво прищурился он. — Дело прошлое, рассказывайте все, как было. Меня вам опасаться нечего.

И сам не зная почему, Иакинф чуть не все рассказал графу. Видно, после стольких месяцев молчания и утаек просто захотелось выговориться. Юрий Александрович придвинулся к нему поближе и слушал внимательно, в глазах его загорались веселые искорки. Время от времени он ободряюще похлопывал Иакинфа по коленке.

— Вот и превосходно, отец Иакинф, — сказал он под конец. — Ценю вашу откровенность. Будем считать, что мы договорились. Сегодня же напишу князю Александру Николаевичу Голицыну.

— Обер-прокурору Святейшего Синода?!

— Да, да. Пусть это вас, отец Иакинф, не тревожит.

Должность князь занимает ныне самую что ни на есть готическую. Но прежде то был шалун известный. Принято считать, не правда ли, что наиболее понимают в делах амурных — французы и что нет лучших волокит на свете. Распространенное и печальное заблуждение. Думаю, что в сравнении с князем Голицыным, каким я его еще превосходно помню, галльских любезников можно почесть просто жалкими пачкунами. Мы с ним в самых добрых отношениях, да и племянник его в моей свите, и я убежден, князь отнесется к моей просьбе с живым вниманием. Да, да. Он не замедлит доложить государю о вашем назначении начальником пекинской миссии вместо архимандрита Аполлона.

— Аполлоса вы изволите иметь в виду?

— Да, да. Аполлоса, Аполлоса! И надеюсь, моя просьба будет государем уважена.

От Головкина Иакинф ушел окрыленный. Разве не об этом он, в сущности, мечтал?

Прежде его мечты не имели определенной формы. Он хотел стать ученым, снискать известность, быть полезным отечеству. Но, кажется, само провидение указывает ему теперь поприще, на котором он сможет добиться осуществления смутных своих мечтаний, — Восток. "Да, да, Восток и Китай! Кому, как не нам, русским, заняться его изучением? Мы же соседи, мы рядом. И вдруг эта возможность провести целых десять лет в самом сердце Поднебесной империи, в ее столице! Трудно? Да, конечно, трудно. Китайская грамота, сложность которой вошла в пословицу? Но я думаю, не надобно уж какой-то особенной остроты ума, чтобы овладеть ею, — размышлял Иакинф. — Нужно только усердие, воловье упорство и добросовестность. А всего этого у меня довольно".

Вернувшись к себе, он перерыл библиотеку и в семинарии, и в монастыре, выискивая все, что имело хоть какое-то касательство к Китаю. Часами беседовал с Игумновым, приставом прежней миссии, с губернаторскими курьерами, которые бывали в соседней Империи. Слыша расспросы знакомых, подметивших вдруг пробудившийся в нем интерес к Китаю, он только посмеивался.

В самом конце сентября Головкин и вся его свита двинулись за Байкал.

Иакинф забеспокоился. Но граф рассеял его опасения, сказав, что письмо Голицыну отправлено в Петербург с нарочным и что он сможет догнать посольство по дороге или даже в самом Пекине.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

I

После отъезда шумного посольства Иркутск словно опустел. Медленно потянулись дни и недели. Зима в тот год пришла рано. Уже в конце октября намело снегу, и с первого ноября установилась санная дорога.

Иакинф ловил каждую новость о посольстве, а из Кяхты приходили какие-то странные вести. Первоначальная поспешность китайского правительства сменилась непонятной медлительностью. Пока между Кяхтой и Ургой скакали взад-вперед гонцы Головкина и ургинского вана — китайского наместника в Монголии, посольство коротало дни в пограничной Кяхте.

Впрочем, Иакинфа это даже радовало. Любая задержка была ему на руку. Он ждал с минуты на минуту распоряжения из столицы об откомандировании его к духовной миссии. Но проходили дни, недели и месяцы, а желанного указа все не было.

За неделю до Нового года донесся слух, что посольство наконец тронулось из Кяхты. Иакинф был в отчаянии. Ужели все рухнуло?

И вот в самом конце декабря, на святках, вдруг воротились из Кяхты отец Аполлос со своей свитой, профессора Шуберт и Клапрот и еще несколько чинов посольства.

Но от Аполлоса трудно было чего-нибудь добиться. Он знал только, что миссию его отослали обратно в Иркутск и что ему придется ехать в Пекин отдельно от посольства, и это его не на шутку тревожило.

— Когда же?

— Об этом я не известен, — повторял он одно и то же на все расспросы.

Через несколько дней Иакинф встретил у губернатора Шуберта и Клапрота и узнал от них кое-какие подробности. Двадцать первого декабря Головкин наконец пересек границу. Ему пришлось, правда, значительно сократить свиту.

Шуберта переполняло раздражение, которое не могла скрыть даже его старомодная учтивость.

— Подумать только, отослать из посольства ученых профессоров, чтобы взять с собою двух-трех лишних драгун!

Еще более был раздосадован Клапрот. Его особенно возмущало, что посол, стараясь сохранить всю важность своего достоинства, не разрешал чинам посольства иметь сношения с китайцами, не дозволял даже ездить в Маймайчен — китайский

городок, расположенный всего в полуверсте от Кяхты.

— Малейшее проявление любопытства к китайцам ставилось нам в величайшую вину. А я ведь и к посольству-то был прикомандирован со специальною целью изучения их языка и обычаев. "Не выказывайте нетерпения", — без конца твердил нам посол. В церемонности он перещеголял самих китайцев.

— Но отчего же именно вы и духовная свита вернулись обратно? — допытывался Иакинф.

— А кто его знает? Все держалось от нас в глубочайшей тайне, — говорил Шуберт. — У нас ведь любят посекретничать и кстати и некстати. Вот так почти три месяца и прошло в переписке между Кяхтой и Ургой, а о содержании ее мы ничего и не знаем. Но кажется, китайцы вообще не хотят принимать посольство. И установления официальных дипломатических отношений они не желают, и торговых сношений, кроме Кяхты, допускать не хотят. Вот и суют послу палки в колеса. То разные унизительные церемонии придумывают, то на многолюдство посольской свиты ссылаются. Наверно, больше всего их казаки да драгуны страшат. Но тут посол был непреклонен.

— Во всем остальном он был куда уступчивее, — вставил Клапрот.

— Да, да. Охотно пожертвовал лучшими учеными и всей духовной свитой. На двух чиновников оставил по одному слуге да и кое-кого из чиновников внес в список под титлом служителей. Правда, тут было не без риску: обман мог легко открыться и навлечь на него неприятности, зато "войско" свое он все-таки сохранил!

Успокоенный тем, что духовная миссия в Иркутске, Иакинф стал дожидаться вестей из столицы.

А между тем посольство постигли новые неудачи.

Девятого февраля из Урги прискакал графский курьер подпоручик Вапелов с извещением, что посол возвращается обратно. Но от расспросов уклонялся и хранил таинственное молчание.

Двадцать пятого февраля вернулись в Иркутск драгуны и казаки, а через два дня и сам посол.

Он был мрачен и никого не хотел принимать.

II

Иакинфу удалось попасть к Головкину только через несколько дней.

Графа трудно было узнать. Он осунулся, и Иакинфу показалось, даже как-то поблек, несмотря на покрасневшее,

обожженное на зимнем ветру лицо. Ярость так и клокотала в нем. Он не мог говорить спокойно о варварской неучтивости китайцев.

— Нет, вы послушайте, что они только надумали! Пригласили меня к вану — это монгольский князек и наместник богдыхана в Урге — и потребовали репетиции церемониала, который мне предстояло соблюсти при представлении самому богдыхану. В комнату, где было поставлено его изображение, я должен был войти на четвереньках, неся на спине шитую подушечку с кредитной грамотой. Нет, каково? Вы понимаете, отец Иакинф, что я принужден был ответить решительным отказом?

— Ну конечно!

Юрий Александрович быстро взглянул на Иакинфа, как бы ища сочувствия, поднялся и пробежался по комнате. Во всем его облике не было и следа былой вельможной важности. Несколько успокоившись, он снова опустился в кресла.

— Не скрою, поначалу я рассчитывал просто припугнуть китайцев, выказав твердое намерение пожить на их счет в ожидании указаний государя. Но на другой же день все подарки, мною сделанные, в сундуках и ящиках, были не то что выставлены, а просто брошены перед моею юртой. Ну и, вы сами понимаете, мне ничего не оставалось более, как немедля ехать назад. — Граф зябко кутался в подбитый мехом халат. — Обратный путь был ужасен. При страшных морозах, шаг за шагом, наш караван три недели тащился назад до Кяхты. К холоду скоро присоединился голод. По целым суткам тщетно дожидались мы на станциях съестных припасов. Не было неудовольствий, которые не претерпели мы от этих варваров!

Рассказав о всех злоключениях, которые выпали на его долю, граф вдруг вспомнил о только что полученном из Петербурга письме и протянул его Иакинфу.

"Милостивый Государь Граф Юрий Александрович! — прочел Иакинф. — Получа отношение Вашего сиятельства о увольнении находящегося при Пекинской духовной миссии архимандрита Аполлоса и об определении на его место по способности архимандрита Иркутского Вознесенского монастыря Иакинфа, я имел щастие докладывать Государю Императору; Его Императорское Величество не соизволил на определение в сию миссию архимандрита Иакинфа, так как об нем производилось в Святейшем Синоде дело о держании им под видом и имянем послушника девки, и что по решению Святейшего Синода, Высочайше утвержденному, присужден он к запрещению священнослужения и лишению архимандричьего креста.

О чем уведомляя Вас, Милостивый Государь, имею честь быть с совершенным почтением и преданностию Вашего Сиятельства, Милостивого Государя

Покорнейший слуга Князь Александр Голицын.

Генваря 8-го дня 1806 года".

Еще раз перечитав письмо, Иакинф спокойно протянул его графу.

Самообладание это было, впрочем, только кажущимся. Иакинф не помнил, чем кончился разговор с графом. Кажется, Головкин утешал его, говорил, что еще раз напишет в Петербург и пошлет ходатайство с Байковым, которого он направляет в столицу с докладом. Иакинф слушал рассеянно.

Когда он вышел от графа, на небе ярко светило солнце. На проталинах без умолку чирикали воробьи. Но эта картина весеннего оживления так не вязалась с тем, что было у Иакинфа на душе! Он забыл, что его дожидались санки, и пошел к монастырю пешком. Боковыми улочками он вышел на окраину. Тут всюду были разбросаны кучи навоза, в которых рылись хрюкающие свиньи и тощие, поджавшие хвосты собаки. Стаи голодных ворон с резким, пронзительным карканьем носились в воздухе. Впереди какой-то мужик тащился из города на скрипучих обледенелых дровнях. Иакинф пошел за ним следом, опустив голову, не разбирая дороги.

Дома его дожидался архиерейский служка. Владыка требовал Иакинфа к себе.

Даже не присев, так, забрызганный дорожной грязью, он и пошел к епископу.

Последнее время преосвященный как бы вовсе не замечал его, а тут потребовал вдруг к себе. Наверно, получен указ из Синода! Предчувствия не обманули Иакинфа.

Вениамин ознакомил его с высочайше утвержденным указом Святейшего Синода. Указ предлагал, лишив Иакинфа архимандричьего креста и запретя священнослужение со снятием вкупе занимаемых им должностей по семинарии и консистории, отправить его в Тобольск, с тем чтобы тамошний преосвященный употребил его в учительскую должность под присмотром надежной духовной особы, доколе смирением своим не загладит архимандрит вменяемого ему поступка.

Вениамин не мог скрыть торжества, но вместе с тем не скупился на слова утешения:

— Смирись, сын мой. Помни слова господа нашего Иисуса Христа: блаженны плачущие, ибо они утешатся, блаженны кроткие, ибо они наследуют землю.

Иакинф не мог слышать елейного голоса владыки и с трудом удержался, чтобы не наговорить ему дерзостей.

— Ваше преосвященство, кому я должен сдать монастырь и семинарию? — не очень вежливо оборвал он архипастырские утешения.

Он не стал задерживаться в Иркутске ни одного лишнего дня. После сдачи казначею по описям монастырского имущества и штатных сумм по монастырю и семинарии — за этим наблюдал сам преосвященный — Иакинф собрался в путь. Ему не хотелось ни с кем видеться и все же пришлось нанести прощальные визиты губернатору, Головкину, Потоцкому.

Прогонных епископ не выдал — сказал, что не имеет на сей счет указаний от Синода. Но Иакинф не стал их дожидаться и поехал собственным иждивением. Денег было мало, и он продал часть книг архимандриту Аполлосу для миссии.

III

Выехал он ранним мартовским утром, чуть забрезжил рассвет. Тройку подали к тому самому крыльцу, на котором он стоял два года назад, провожая Наташу.

Иакинф любил зимнюю сибирскую езду, и, может быть, лихая, вихрю подобная, скачка хоть немного отвлекла бы, развеяла тяжелые мысли, притупила боль. Но, кажется, сама природа была против него. Уже в первых чисел марта стала портиться санная дорога. Едва они отъехали с десяток верст, пошел дождь, и сани потащились по снежному месиву. Да, нерадостен был этот путь.

Всей душой он рвался на восток, а ему приходилось ехать на запад. Ужели все кончено? Неужто он должен расстаться со своей мечтой, отречься от своих помыслов? И опять, теперь уже на долгие годы, опостылевшая бурса — и не на Волге, не на Ангаре, а средь Тобольских болот, на диком Иртыше. Высочайшее повеление! Что с ним поделаешь? Может, и в самом деле смириться, как советует иркутский владыка? Нет, никакая монаршая воля не погасит стремление, которое сжигает его сердце!

Может быть, написать Амвросию? Да, да, вот кому надо написать, с кем посоветоваться, у кого попросить помощи.

До самого Красноярска у него не выходила, из головы мысль о письме, и, когда на станции не оказалось лошадей, он даже обрадовался. Как только его отвели на постой к какому-то достаточному мещанину, он, отказавшись от ужина, попросил перо, чернил и принялся за письмо.

"Ваше высокопреосвященство, всемилостивейший духовный отец и иерарх мой! — писал Иакинф. — Вы единственный на свете человек, к которому я решаюсь обратиться в тяжелую для меня минуту. У вас одного ищу я совета и помощи.

Пишу вам из Красноярска на пути в Тобольск, куда еду по известному Вам указу Святейшего Синода. Перед самым отъездом из Иркутска граф Головкин известил меня, что Государь не соизволил на определение мое в Пекинскую миссию, и планы, которые вот уже полгода как теснились в душе моей, оказались сразу разрушенными. Но планы сии, коими я имел дерзновение поделиться с Вашим высокопреосвященством, не минутная вспышка, не мгновенный порыв, который, сколь быстро родился, столь быстро и исчезнет.

Вы ведь знаете, какую сокровенную мечту издавна лелеял я в сердце своем. Вы знаете, что руководило мною, когда прямо из-за парты принял я великое пострижение. Я искал в монашестве не даровой хлеб, не сан, не грядущие почести и власть духовную, а место в жизни, жизненный путь свой, самого себя. И ежели где-то а тайниках души своей мечтал я о славе, то единственно меня влекла слава проповедника и ученого, а сие есть самая чистая на земле слава!

И вот, кажется, сам Господь указал мне путь мой. Он ведет меня туда, далеко, на край чужбины! Все мои помыслы отныне устремлены на Восток, к далекому и неведомому Пекину. Я готов ехать туда не токмо архимандритом, но и простым монахом.

Я уже мнил себя в Пекине. За десять лет, что предстояло мне пробыть в нем с Духовною миссиею, я смог бы изучить языки китайский, маньчжурский, монгольский, тибетский. И тогда открылся бы предо мною целый мир восточный, касательно которого пребываем мы почти в полном неведении. Я хотел увидеть чужое и неведомое, изучить его, обогатиться опытом и знаниями, дабы сделать их достоянием всего мира к вящей славе Отечества!

Помогите же осуществить мои планы. Они не плод мгновенного влечения, я повторяю, не мечты пылкого и необузданного юноши, каким, быть может, Вы меня еще помните. Осенью мне исполнится двадцать девять. В сих годах, кои самим Господом и Природою определены для деятельности, я выполню свои помыслы, если сподобит Господь и благословит на то Ваше преосвященство!

О, ежели б мог я перелить на бумагу все чувствования, кои переполняют грудь мою, ежели б мог я увидеть Вас и высказать все, что у меня на сердце, верю, Вы не решились бы подорвать самое основание, на котором при помощи Всевышнего я хочу

построить свою деятельность, свое щастие, свое будущее. Верю, в Вашей власти добиться Высочайшего соизволения на мое определение в Пекинскую миссию. Так помогите же мне, благословите меня на поприще, мною избранное!

Видит Бог, как дорога мне Родина, как привержен я Вам, мой духовный отец и пастырь. Всем существом своим я стремлюсь теперь в чужой и далекий край, но я всегда буду жить с Вами духом и сердцем; я рвусь на чужбину, но единственно из любви к отечеству. Ему я принесу все плоды трудов своих, ему посвящу лучшие годы жизни своей.

С покорностию предаюсь я Вашей воле. От Вас, от Вашего слова пред Государем зависит вся моя жизнь. Или помогите осуществить сокровенные мечты мои, или разрушьте их, развейте в прах. И то и другое я восприму как должное, покорнейше отдам себя на высокопросвещенный суд Ваш.

Вот пред Вами моя исповедь.

Да отзовется же Ваше сердце на голос сердца моего и утешит

Пребывающего со смирением и глубочайшим почтением Вашего высокопреосвященства всенижайшего послушника Иакинфа".

Ночь близилась к концу, когда Иакинф поднялся из-за стола. Он подошел к окну, откинул занавесь: за окном было белым-бело.

Тихонько, чтобы не разбудить хозяев, Иакинф вышел во двор и полной грудью вдохнул морозный воздух. Только что выпавший, ничьей ступней не тронутый еще снег покрывал все окрест. Было так тихо, что, казалось, слышно, как падают редкие снежинки. Все тревоги разом отлетели, пришло какое-то непередаваемое волнение, щемящая радость сопричастности с этим чистым, неосквернённым миром, с доверчивой тишиной утра.

Он долго стоял запрокинув голову и зажмурясь, чувствовал, как легкие, нежные пушинки касались на мгновение лица. Когда он открыл глаза, первые солнечные лучи заиграли на снегу.

Его охватило нетерпение. Хотелось немедля отправить письмо и самому броситься в сани.

IV

Весь остальной путь до Тобольска он ехал почти не останавливаясь. Станции мелькали перед ним, будто полосатые версты. Он забегал к смотрителям только обогреться, дожидаясь, пока в возок впрягут новых лошадей.

Весна словно отступила. Тут в полную силу владычествовали еще зима и колючие морозные вьюги. Он не узнал Барабы, одетой

в белую ризу, когда в морозную лунную ночь катил во весь дух по гладкой ее равнине. Всю беспредельную Барабинскую степь, а ему казалось — и всю Сибирь, покрыло одной белой холстиной. Ясная ночь с высокой луной простерлась на тысячи верст. Впервые так зримо ощутил он безмерность русских пространств. Купы одетых в иней берез и осин мелькали мимо, и снег, весь в лунных бликах и резких черных тенях деревьев, убегал по сторонам, растворяясь в серебристой мгле. Лошади были резвые, ямщик лихой, и Иакинф мчался по гладко укатаньой дороге подобно вихрю, будто впереди его ждала не ссылка, а избавление.

В Тобольск приехали поздно вечером. Истомленные лошади с трудом поднялись по крутому взвозу на высокую гору, на вершине которой стоял архиерейский дом.

Архиерея дома не оказалось, и Иакинф поехал прямо в монастырь. Находился он в подгорной части города, и им пришлось спускаться по тому же крутому обледенелому взвозу. Ямщик ворчал.

Монастырь был обнесен высокими каменными стенами с башнями по углам и больше походил на острог. Путники остановились у больших, обитых железом ворот. Иакинф соскочил с саней и дернул висевшее у калитки тяжелое кольцо. Послышался звон колокольца, залаяли собаки, и чей-то недовольный голос спросил изнутри:

— Кого господь принес?

— Архимандрит из Иркутска, — отозвался Иакинф. — Отворите.

Но им пришлось немало еще прождать перед запертыми воротами, слушая хриплый лай остервенелых псов, пока привратник ходил докладывать казначею. Наконец послышалось звяканье ключей, со скрипом отворились тяжелые ворота, и возок вкатился в монастырскую ограду.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

I

Иакинфа поместили в одних кельях с настоятелем монастыря и ректором семинарии отцом Михаилом. Местный владыка, видимо, решил, что так легче будет смотреть за опальным архимандритом.

Отец Михаил, огромный чернобородый монах, был великий тянислов — с таким не разговоришься. Впрочем, это было даже к лучшему. Иакинф совсем не расположен был к откровенным

разговорам, и больше всего его пугали сочувственные расспросы и выражения сострадания.

Сходство монастыря с крепостью или острогом, которое Иакинф подметил накануне, не исчезло и утром. Монастырь был старый, нет, это не то слово: наидревнейший из всех сибирских монастырей. Он был основая в 1596 году, значит, спустя всего пятнадцать лет после покорения Сибири. Если бы не две церкви с высокими колокольнями, обитель и вовсе не отличалась бы от острога: такая же высокая глухая стена со сторожевыми башнями по углам, те же тяжелые, одетые в броню ворота, длинные, угрюмо-однообразные кельи с саженной толщины стенами и крохотными оконцами, забранными железными решетками.

Архиепископ Антоний уехал по епархии, и до его возвращения Иакинф был предоставлен самому себе. Он бродил по занесенному снегом городу. В Иркутске, наверно, весна уже в разгаре, зацвела пушистая ветреница и сбросила зимний покров Ангара, а тут еще намертво закован ледяной броней Иртыш, и пронзительный северный ветер бросает в лицо колючую снежную крупку.

Иркутск стоит на ровном берегу Ангары, а Тобольск карабкается в гору. Правда, большая часть города расположена внизу, на берегу Иртыша. Тут и лавки, и гостиный двор, и почти все обывательские дома, но наиболее важные строения Тобольска — на взгорье. На вершине крутой укрепленной горы и каменный наместнический дом, и кафедральный собор с усыпальницей тобольских первосвятителей, и архиерейский дом, и огромный арсенал, где как святыня хранятся доспехи Ермака и его пробитое стрелами знамя. У входа в арсенал — старинные пушки, мортиры, единороги, сложены пирамидами бомбы и ядра, а между ними выстроились, как для караула, чугунные солдаты в павловских еще мундирах.

Осмотрел Иакинф и кафедральный собор на горе. Дьячок, показывавший храм, — разбитной и, как показалось Иакинфу, чуть подвыпивший — вдруг потащил его на высокую колокольню и подвел к большому старинному колоколу. Медь его почернела от времени.

— Ведома ль вам, ваше высокопреподобие, его гистория? — спросил дьячок. — Нет? Тогда слушайте. Из Углича он. Вот что про него наш протоиерей сказывал. Будто в одна тысяча пятьсот девяносто первом году, мая пятнадцатого числа, в час после сна обеденного, соборный сторож в Угличе Максим Кузнец и поп, отец Федот, углядели убивство благоверного царевича Дмитрия. И всполошились, и стали в колокол сей зычно звонить. И будто на горько несчастный глас тот великое множество народу сошлося и

убивц тех камнем побили.

— Да как же он сюда-то попал?

— Сослали. Поначалу "за донос" кнутом наказали, ухо ему вырвали, а уж потом, корноухого, царь Борис повелел в Сибирь отправить. Да что колокол! Почитай две сотни обывателей угличских заодно с ним в Сибирь угодило. Потомки ихние и по сю пору живут тут, в Тобольске. Спервоначалу-то приютом колоколу назначили церковь святого Спаса, что на торгу — видали небось? — и определили быть набатным, а уж потом сюда перевели и в часобитный переиначили.

Как вскоре убедился Иакинф, ссыльный угличский колокол был только первой ласточкой. Не при одном царе Борисе ссылали сюда неугодных. При Алексее Михайловиче тут томился неистовый протопоп Аввакум. Петр Первый отправлял в Тобольск шведских пленных, а Екатерина Вторая сослала сюда Радищева и Словцова. "Вот ныне и до меня черед докатился", — усмехнулся Иакинф.

Теперь он знал, что резкий звук, будивший его по утрам, принадлежал его собрату по несчастью — опальному угличскому колоколу, который бил уже не набат, а просто отбивал часы.

II

Вскоре приехал архиепископ Антоний, и Иакинфа определили в семинарию учителем красноречия.

У Иакинфа теперь оказалось куда больше свободного времени, нежели было в Иркутске: священнослужение ему было запрещено, никаких забот по управлению монастырем и семинарией он не знал, в консистории заседать не приходилось. Правда, надобно было ходить на заутрени, обедни, повечерия — ничего не поделаешь, грехи должно замаливать. Днем он натаскивал не слишком усердных тобольских семинаристов (временами ему даже нравилось, что у него есть это не ахти какое увлекательное занятие), а вечерами, а то и днем, если выдавался свободный часок, рылся в семинарской и монастырской библиотеках, выискивая все, что имело хоть какое-то касательство к Китаю: мысль о поездке в Пекин, несмотря на все неудачи, не оставляла его.

Проведав о занятиях Иакинфа, архиепископ предоставил в его распоряжение свою библиотеку. Да и вообще Антоний отнесся к нему весьма ласково. Он совсем не похож был на грозного иркутского владыку.

Хоть Антоний уже несколько лет ходил в архиереях, был он далеко не стар, едва ли ему было много за сорок. Высокий и

статный, с аккуратно подстриженной русой бородкой и серыми внимательными глазами, преосвященный напоминал Иакинфу древнего новгородца. Он и впрямь оказался уроженцем северных равнин — и отец и дед его были протоиереями Знаменского собора в Новгороде. Сам он кончил Александро-Невскую академию, потом много лет был учителем философского и богословского классов и ректором главной семинарии в Петербурге. Все это Иакинф узнал от самого Антония, когда тот, вскоре по приезде, пригласил его к себе на обед. Впоследствии Иакинф убедился, что Антоний не сделал для него исключения. Он приглашал к себе на обеды всех учителей семинарии по очереди, — в непринужденной обстановке, за обедом, легче было познакомиться поближе. По праздникам Антоний собирал их у себя всех вместе. Устраивал он и ученые диспуты по богословским и нравственным вопросам, на которые приглашалось и светское общество. Сам Антоний всерьез занимался богословием и после удачного выступления Иакинфа на одном из таких диспутов подарил ему только что изданный в Тобольске свой перевод обширного, в трех частях, сочинения "Истина благочестия, доказанная воскресением Иисуса Христа".

Библиотека у преосвященного оказалась богатейшая. Чего тут только не было! Среди огромного множества разных богословских трактатов на русском, французском, немецком и латинском языках Иакинф отыскал разрозненные нумера журналов, издававшихся в минувшем веке: "Трутень", "Пустомеля", "Растущий виноград", "Ежемесячные сочинения к пользе и увеселению служащие", "Адская почта", "Прохладные часы, или Аптека, врачующая от уныния, составленная из медикаментов Старины и Новизны". Почти в каждом из них он отыскал немало любопытных сведений о Китае и с жадностью на них набросился.

В одном из журналов он наткнулся на занимательную полемику с Вольтером — "Осведомление или некоторое поверение Вольтеровых о Китае примечаний". Заинтересованный, он стал искать, нет ли в архиерейской библиотеке Вольтера, и, к изумлению своему, нашел на полках многотомное парижское издание мятежного французского вольнодумца. Не отходя от полок, он стал листать маленькие изящные томики. Оказалось, что Вольтер глубоко интересовался Срединной империей. Он постоянно обращался к Китаю и в "Опыте о нравах", и в "Веке Людовика XIV", и в "Драматургической галиматье", и в повести "Простодушный", и во многих своих памфлетах.

В Вольтере Иакинф нашел восторженного поклонника страны, которая так завладела его собственным воображением.

"Китайцы цивилизовались едва ли не прежде всех других

народов, — читал Иакинф, — ни у одного народа нет таких достоверных летописей, как у китайцев… Тогда как другие народы сочиняли аллегорические басни, китайцы писали свою историю с пером и астролябией в руках, и притом с такою простотой, примера которой нет во всей остальной Азии…"

Иакинф отложил книгу. "Вот поприще для меня на долгие годы, — думал он. — Изучить эти летописи, перевести, обработать их, сделать достоянием всего мира. Ведь до сих пор ничего этого нет по-русски. Сколько средств быть полезным отечеству!

В семинарском курсе есть, правда, всеобщая история, но что мы преподаем там нашим воспитанникам? Египет, Вавилония, Иудея, Греция, Рим… А о Китае, об Индии почти что ни слова, да и сами-то мы ничего толком о них не знаем. А ведь существовала, оказывается, еще два, три, четыре тысячелетия назад цивилизация более распространенная, создавшая не меньше ценностей, чем цивилизация маленьких средиземноморских народов, стяжавших себе славу избранных…

Да, да. Уверен, что таким путем я могу прославить себя не в одном отечестве, смогу приобресть славу ученого, известность в мире европейском".

Чем дальше читал он Вольтера, тем тверже укреплялся в своей решимости. Вольтер представлял Китай страной, жители которой достигли понимания всего, что полезно для общества, достигли совершенства в морали, а ведь это главная из всех наук! В восторге был насмешливый французский энциклопедист и от политического устройства Китайской империи. "Государственный строй их поистине самый лучший, какой только может быть в мире; единственный, который основан на отеческой власти; единственный, при котором правитель провинции наказуется, ежели, покидая свой пост, он не удерживаем народом…" Иакинф усмехнулся. До сих пор ему приходилось видеть правителей, которых народ не только не удерживал, но с облегчением вздыхал, когда их отзывали. Впрочем, новые, прибывавшие на их место, бывали не лучше.

Однако не все были такими восторженными поклонниками Срединной империи, как прославленный французский насмешник. Как-то Иакинфу попалась любопытная книжка англичанина Даниэля Дефо "Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо, моряка из Йорка, рассказанные им самим". Во второй и третьей частях книги, где описывались приключения Робинзона после его неожиданного освобождения пиратами, немало страниц было посвящено Китаю. Совсем другими красками рисовал англичанин Срединную империю. Народ ее он

изображал как жалкую толпу невежественных рабов, подчиняющихся правительству, которое только таким народом и способно управлять. Вольтер писал, что лишь одна религия не запачкана фанатизмом и суевериями — это религия китайских мудрецов, а английский сочинитель, наоборот, доказывал, что китайцы — один из самых суеверных народов, что они абсурдно невежественны и барахтаются в самой грязи и отбросах идолопоклонства.

Кто же из них прав? Как хочется увидеть все это самому, своими глазами, и дать России и всему миру достоверное и беспристрастное свидетельство.

А пока что он рылся в старых русских журналах, читал переводы с китайского и маньчжурского коллегии иностранных дел секретаря Александра Леонтьева и его предшественника Иллариона Россохина. Попалась ему и переведенная Фонвизиным с французского "Да-гио, или Великая наука, заключающая в себе высокую китайскую философию". Переводы эти еще больше возбуждали его интерес к стране, в которую он так стремился и которая была теперь от него дальше, чем когда бы то ни было.

III

За этими занятиями он и не заметил, как кончилась вьюжная морозная зима, хоть и длилась она тут долго. Еще в апреле случались снега и метели. Но в мае все же пришла весна, правда, не такая стремительная и дерзновенная, как в Иркутске. Она пришла, как бы оглядываясь, прячась от людей, позволяя издеваться над собой холодным утренникам, изморози, снежной пороше; но все же пришла, развешивая тронутые пурпуром перистые облака над заходящим солнцем, разливая по поднебесью бледный свет уже в два часа пополуночи. Ударил первый гром, набухли и стали лопаться почки на березе и черемухе, на липе и золотарнике. По-весеннему зазеленели сосны и ели, засветились нежно-голубым отливом почерневшие за зиму кедры.

Бледными майскими ночами Иакинфу не спалось. Он поднимался и бродил по берегу Иртыша или взбирался к березам нагорных рощ.

А с первых чисел июня ночи совсем исчезли. Дни проходили без ночей — с одними зорями. И часто можно было видеть на утесе одинокую черную фигуру монаха, недвижного, как валун. О многом передумал он, стоя над розовеющей от зари рекой.

Тут, на берегу Иртыша, сердце теснила тоска по родимой Волге. На намять приходили давно не читанные строки:

О, колыбель моих первоначальных дней,
Невинности моей и юности обитель!
Когда я освещусь опять твоей зарей
И твой по-прежнему всегдашний буду житель?

Когда наследственны стада я буду зреть,
Вас, дубы камские, от времени почтенны?
По Волге между скал на парусах лететь
И гробы обнимать родителей священны?

По временам все существо его охватывало страшное, нестерпимое напряжение. В такие минуты хотелось сорвать с головы ненавистный клобук и бежать. Бежать без оглядки — от своего монастыря-острога; от унылого стона меди, разносящегося окрест с его колоколен; от нравоучительных проповедей, которые нередко приходилось писать ему и для настоятеля, и для архиепископа; от душного чада ладана; от самого себя, от своей тоски и тревоги. Кажется, бросить бы все и уйти — туда, за край озера, через леса, топи и горы, на берега родимой Волги. Хоть раз бы еще увидеть Наташу, живую как огонь, услышать ее смех!

Но всходило солнце, в монастыре ударяли в колокол, тоскливо ныла медь над пробуждающимся городом, и он шел к ранней заутрене.

ГЛАВА ПЯТАЯ

I

Минул год. Промелькнуло ветреное тобольское лето с яростными грозами, прошла короткая осень — ясная, с сухой, студеной колотью, потянулась долгая, снежная зима, даже не со свинцовыми, а с какими-то чугунными, с просинью у окоема, облаками.

Хмурым январским утром секретарь консистории показал Иакинфу рапорт, который посылал в Святейший Синод преемник Антония, новый Тобольский архиепископ. (По предписанию Синода о поведении Иакинфа должно было рапортовать по прошествии каждого года.)

Рапорт был сдержанный, но благоприятный.

"Сей Иакинф, — доносил Тобольский владыка, — по распоряжению предместника моего преосвященного Антония препоручен в присмотр и наблюдение Знаменского монастыря

Архимандриту и Семинарии Ректору Михаилу… И как по истечение 1806 года Архимандрит и Ректор Михаил репортом донес мне, что тот Иакинф с самого его прибытия сюда вел себя честно и трезво и соблюдением всех монашеских правил и должность по семинарии учителя красноречия исполнял неупустительно и с похвальным успехом, да и мной самим не замечен ни в каких непристойных званию его и предосудительных для монашества поступках, то о таком поведения его Святейшему Правительствующему Синоду сим благочестивейше и репортую".

Когда Иакинф возвращался домой, серенький январский денек преобразился. Солнце пробросило сквозь низко нависшую над землей толщу облаков луч-другой и заиграло на снегу.

А десятого мая преосвященный вдруг вызвал к себе Иакинфа и объявил только что полученный из Синода указ. В указе сообщалось, что "обер-прокурор Святейшего Синода Князь Александр Голицын имел щастие докладывать Государю о разрешении священнослужения бывшему ректору Иркутской семинарии архимандриту Иакинфу и Его Величество изъявил Высочайшее соизволение на мнение Синода и повелел отправить его, Иакинфа, к Пекинской Духовной Миссии для занятия там вакансии Архимандрита".

Едва выслушав преосвященного, Иакинф помчался домой и закружил недоумевающего отца Михаила по келье. Тот, видно, решил, что его поднадзорный сожитель сошел с ума. Вес свой Михаил знал хорошо — никак не меньше шести пудов, а Иакинф кружил его как ребенка, казалось и вовсе не ощущая тяжести.

Кончилось, кончилось тобольское сидение! Вот она, вольность, о которой он мечтал весь год. Неодолимые препятствия, как по волшебству, исчезли с его пути! Он снова счастлив. Впрочем, вера в возможность счастья не оставляла его даже в самые мрачные минуты. Он постоянно рвался к нему.

— Все кончилось, отче! Разумеешь? Кончилось! Еду в Пекин! Тащи вина! — кричал и без того пьяный от долгожданной вести Иакинф.

— Да побойся ты бога, отец Иакинф!

— Тащи, тащи! Устроим сейчас пир горой.

И невзирая на все протесты настоятеля, в архимандричьих кельях была устроена такая пирушка, какой сумрачные эти стены еще не знали. Михаил смотрел на своего сожителя и диву давался. Ничего подобного он и не подозревал в этом смиренном и благочестивом иноке.

Сбросив рясу, Иакинф лихо отплясывал трепака и пел песни, каких отец Михаил и отродясь не слыхивал.

II

В Тобольске Иакинф задерживаться не стал и уже одиннадцатого июня был в сибирской столице.

Преосвященный иркутский епископ Вениамин встретил его вежливо, но холодно. Вот уж этого он, по-видимому, никак не ожидал: через год с небольшим ссыльный ректор вернулся в Иркутск, да еще удостоенный столь высокого поста!

Зато Аполлос встретил его как старого друга. Отставленный от миссии, он определен был Вениамином на место Иакинфа настоятелем монастыря и ждал только официального утверждения в сей должности Святейшим Синодом. Несостоявшийся пекинский архимандрит был доволен и не скрывал этого.

За те полтора года, что Иакинф отсутствовал в Иркутске, тут произошла полная смена начальства. Генерал-губернатором Сибири вместо Селифонтова был назначен тайный советник Иван Борисович Пестель, гражданским губернатором Иркутска вместо Корнилова, перемещенного в Тобольск, — действительный статский советник Николай Иванович Трескин. Новые правители давали о себе знать. Первое, что бросилось Иакинфу в глаза по приезде, были шагавшие по улицам полицейские солдаты с вехами. Город Иркутск был разбросанный, улицы тянулись вкривь и вкось, как им заблагорассудится; дома то высовывались вперед из своего порядка, как бы желая взглянуть, что делалось на улицах, то пятились назад, словно стремясь уединиться от городского шума. Новое начальство решило принять самые энергические меры к устройству сибирской столицы. Планировщики в сопровождении полицейских солдат ходили по городу и всюду тыкали вехи. Отныне улицы должны были вытянуться по ниточке. И вот веха ставилась то на крыше, то на заборе, то посередь двора. Когда весь город был таким образом провешён, последовал наистрожайший указ перестроить дома по утвержденному губернатором плану.

В городе только и было разговоров, что об этих мерах новых сибирских правителей. Все в один голос жаловались на губернаторский произвол.

Чего только не наслушался Иакинф про Пестеля и Трескина за короткое время пребывания в Иркутске! Как-то раз, через несколько дней по приезде, богатый иркутский купец Николай Степанович Чупалов, узнав о возвращении Иакинфа, пригласил его на обед. Отказываться было неловко: с Чупаловым Иакинф был знаком с первых дней прибытия в Иркутск. Летом и осенью восемьсот второго года тот возводил своим иждивением новую

каменную ограду вокруг монастыря, и они с Иакинфом часто встречались.

На обед к Чупалову собралось небольшое, но избранное общество именитых иркутских граждан, в том числе и иркутские миллионщики — Михаил Сибиряков и его тесть коммерции советник Николай Мыльников. Хозяйка, дебелая, полногрудая, томно потупив глаза, вышла к гостям перед самым столом с подносом водки и, обнеся всех, удалилась.

Остались одни мужчины. Разговор скоро зашел о сибирском начальстве. Предстояли выборы нового городского головы на следующий трехлетний срок. В головы прочили Михаила Ксенофонтовича Сибирякова, — он пользовался у сибирских купцов немалым влиянием. Смещение генерал-губернатора Селифонтова было в значительной степени следствием настойчивых жалоб Сибирякова государю от имени иркутского общества. Об этом в городе знали и относились к Сибирякову с уважением. И все же за столом над ним подтрунивали.

— Ну чего же ты добился-то, Михаил Ксенофонтович? — спрашивал его Чупалов. — Поменяли нам серка на волка. С адмиралом все-таки можно было как-то ладить, а к этому не знаешь, как и подступиться. Да и дела-то он все Трескину передоверил, а сам, поговаривают, в столицу собирается.

— И скатертью дорога, — донеслось с другого конца стола.

— Чем же он вам так насолил? — полюбопытствовал Иакинф.

— Да это же какой-то жестокосердый проконсул, враг всякого благородного порыва! — горячо заговорил сидевший рядом Алексей Евсеевич Полевой. — Вы знаете, отец Иакинф, иные бывают жестоки из желания выслужиться, из мщения, даже из трусости, я допускаю. А для этого зло — стихия, без которой он не может дышать, как рыба без воды. Какая-то невероятная жадность к наказаниям. И ни министерские, ни сенатские распоряжения, ни законы про него не писаны, мало что они существуют для всеобщего исполнения.

— Видно, Пестель с Трескиным почитают себя исключением! — лукаво прищурился Иакинф.

— А мы это исключение вот где чувствуем, — постучал Сибиряков ребром ладони по шее. — Были у нас завсегда контракты с казной, так губернатор самовластно их уничтожил. Не одного купца через то пустил по миру.

— А перестройка города? Сколько обывателей из-за нее вконец разорилось!

— Преследуют и предают суду именитых граждан по самым вздорным наветам. А чуть что, генерал-губернатор и сам сошлет за Море без суда и следствия.

— И самое главное — окружил себя злодеями и мошенниками, и наипервейший из них наш иркутский губернатор.

— Но, простите, я слыхал, Трескин — человек необыкновенного ума и неукротимой энергии, — сказал Иакинф с насмешливой улыбкой. — В шесть часов утра он уже принимает доклады!

— Ну и что ж? Ума у него не отымешь, — живо отозвался Полевой. — Он и в самом деле не глуп. Но ум-то у него не государственного деятеля, а полицейского чиновника! Может, при его рвении, он был бы и неплохим исполнителем — в хороших руках. Но Пестель предоставил его самому себе и облек самой высокой властью.

— А каков у них выбор чиновников? Они отличают людей, деятельных только в разорении купцов и поселян! А особливо братских.

Братскими называли в Сибири бурятов, и прозвище это Иакинфу нравилось.

— А пуще всех Агнесса Федоровна, — вставил хозяин.

— Что это еще за Агнесса Федоровна? — поинтересовался Иакинф.

— Супружница трескинская. Сам-то с умом, а эта открыто грабит. И года не прошло, как она объявилась, а уж собственной канцелярией обзавелась, повлиятельней губернаторской. Все из чиновников порасторопней да помоложе.

— И притом женщина-с весьма нестрогих правил, я муж, говорят, в дела ее ни в каком отношении не вмешивается, — многозначительно заметил сидевший напротив сухонький старичок с белым венчиком вкруг лысой головы. — Сказывают, Трескин и в милость-то к Пестелю вошел благодаря ей.

— Откудова это известно?

— А вот слушайте-с, — не торопясь ответил старичок и обвел всех живыми не по возрасту глазами. — Познакомился Пестель с Трескиным, когда управлял в столице главным почтамтом. При покойном еще императоре. Приметил там чиновника весьма деятельного и рьяного. И сказывают, Трескин оказал своему патрону весьма важную услугу-с. Когда понадобилось тому любовницу замуж выдать, Трескин взял да сам и женился на ней. Уж куда больше услуга-с! А сынишка-то у Трескина вылитый генерал-губернатор. Не примечали?

— Ну это не наше дело, — сказал хозяин.

— Как это не наше дело? — обиделся старичок. — Вот с тех пор они и стали друзьями — водой не разольешь. Говорят, Пестель и в Сибирь-то ни за что не хотел ехать, ежели не дадут

ему Трескина в иркутские губернаторы.

— Всю губернию, да и всю Сибирь, они вот где держат, — показал Сибиряков на крепко сжатый кулак. — Всюду своих людей расставили. А каков это народ, сами посудите: нижнеудинский исправник высек ремнями протоиерея, и публично — заметьте. И что же? Как с гуся вода! В Енисейске тамошние чиновники удумали подать генерал-губернатору жалобу на своего городничего, сместить его просили. Так что вы скажете? Городничий в праздничный день, при всем честном народе, прокатился по городу на своих чиновниках, воеже не повадно было жалобы на него писать! Да, да, самым натуральным образом — впряг в коляску и прокатился! А генерал-губернатор со своей стороны еще и наказал этих "ябедников" за ложные их изветы, дабы, как прописано в его рескрипте, "восстановить колеблемое развратом спокойствие".

— Да он спит и видит, чтобы весь край в гробовое молчание погрузился, и спокойствие народное в сем молчании полагает, — опять не выдержал Полевой.

III

Много услышал Иакинф в тот вечер про Пестеля и Трескина, а перед отъездом из Иркутска его и самого пригласили к генерал-губернатору. Иакинф пошел в знакомый дворец над Ангарой.

Принял его Пестель в той же гостиной, где в позапрошлом году Иакинф разговаривал с графом Головкиным. Но Юрия Александровича, величавого и стройного, генерал-губернатор не напоминал даже отдаленно — низкорослый, кругленький, с брюшком. Из-за золотых очков на Иакинфа смотрели светлые проницательные глаза. На протяжении всего разговора они так и покалывали, как иголками.

Перед отъездом начальника духовной миссии в Пекин генерал-губернатор решил сделать ему напутствие.

Сам он успел съездить в Кяхту, побывал в пограничном китайском городе Маймайчене, правда, инкогнито, под видом приезжего купца, и считал себя теперь знатоком китайских дел.

Говорил Пестель наставительно и, вперекор незначительному росту своему, все пытался глядеть на рослого Иакинфа свысока.

— Я дам указание директору Кяхтинской таможни, господину статскому советнику Вонифантьеву, ознакомить вас с секретными инструкциями. Они будут вам, так сказать, зерцалом к замечанию всего, что достойно вашего внимания.

Пестель поднялся, прошелся из угла в угол по пушистому ковру, как бы собираясь с мыслями, и снова опустился в кресла.

— Вы, отец архимандрит, человек духовный, у миссии вашей есть свои особые задачи и цели, с коими Святейший Синод, надеюсь, вас ознакомил. Но пред вами отворяется ныне дверь в пространство обстоятельств политических, военных и коммерческих, и вы много можете сделать для пользы любезного отечества нашего.

Внимательные глаза генерал-губернатора изучающе впились в Иакинфа.

— Взываю к вашему благоразумию и осмотрительности, отец архимандрит, — заговорил он, помедлив. — Вы встретитесь в Пекине с иезуитами. Они много будут у вас любопытствовать, а особливо по поводу недавней войны в Европе и заключенного ныне мира. Против французов теперь ведь одна Англия с Португалиею осталась. Так вот, от всех подобных расспросов любопытствующих иезуитов рекомендую вам отгораживаться завесою отдаленности и незнания. Мир, мол, заключен, судя по всему, России выгодный, можете примолвить, но на каких условиях, вам, мол, неизвестно. И как бы вас ни расспрашивали, отвечайте: ничего, дескать, не изволю знать по причине долгого в Сибири пребывания.

Наставительный тон генерал-губернатора коробил Иакинфа. А Пестель развертывал перед ним целую программу деятельности, словно тот был не начальник духовной миссии, а генерал-губернаторский агент, направляемый в Китай для разведки. Сибирского правителя интересовало все: и отношение китайцев к русским, и положение в Пекине иностранцев, а особливо англичан — не будет ли от них каких происков к поколебанию кяхтинской торговли, и реакция маньчжурского двора на неудачу посольства, возглавлявшегося графом Головкиным, и вооружение китайских войск, и где оные вообще в государстве расположены и в каком количестве.

— Сии сведения, — настойчиво внушал Пестель, — вам надлежит прислать при обратном возвращении в Россию пристава господина Первушина.

— Простите, ваше превосходительство, — прервал Иакинф, — но не забываете ли вы, что я следую в Пекин во главе духовной миссии и что задача моя состоит в проповеди христианского вероучения, а не в тайном изведывании?

Пестель поднял на Иакинфа маленькие, цвета чуть выцветшей бирюзы, глаза.

— Вы меня удивляете, ваше высокопреподобие, — с нескрываемым раздражением проговорил он. — Прежде всего вас должны занимать интересы любезного отечества нашего. Вы не просто духовное лицо, а представитель Российской Империи, и я

рекомендую наивнимательнейшим образом изучить секретную инструкцию, каковую вручит вам в Кяхте господин Вонифантьев. Конечно, все сведения, по сей инструкции нужные, собирать должно с весьма осторожною скрытностию. Надобно, чтобы и китайцы, и особливо иезуиты почитали вас невнимательным, знающим одну свою должность и меньше вас опасались.

Генерал-губернатор понемногу успокоился и говорил теперь обстоятельно, педантично, не повышая голоса. Округлые фразы словно слетали со страниц инструкции и обволакивали Иакинфа атмосферой казенного присутствия.

— И вот еще что, — доносилось до его слуха, — весьма нужно постараться испросить дозволение иметь переписку с нами. Тут, я мыслю, выходить будут немалые затруднения. Но вы можете изъяснить китайцам, что отправляемые вами письма будут доставляться в их трибунал. А ежели они снизойдут, то вы не оставите сделать для переписки с нами ключ к шифру условному. Ну, например, сообразно вашему сану, из псалтыря или из Библии. И ключ тот с господином приставом сюда изволите прислать, а здесь уже согласно оному с вами и переписка производиться будет.

Пока продолжались эти наставления, в гостиную осторожно вошел высокий, мрачного вида, носатый мужчина лет сорока — гражданский губернатор Николай Иванович Трескин.

— Прошу прощения, Иван Борисович, у подъезда дожидается фельдъегерь. Надобно срочно подписать депешу в Петербург, о которой мы говорили. — И Трескин протянул Пестелю бумагу, написанную красивым каллиграфическим почерком.

Генерал-губернатор углубился в чтение. Иакинф видел, как шея и голова его, едва прикрытая пушком тоненьких, реденьких волос, побагровели. "Ах ябедники!.. Ах негодяи!.." — время от времени восклицал он раздраженно.

Прочитав, Пестель решительно подписал бумагу и, протягивая ее Трескину, сказал:

— Мы должны разбить этот комплот!

— Вдребезги, Иван Борисович, вдребезги! — подхватил Трескин.

Когда он вышел, Пестель выразил неудовольствие иркутскими знакомыми архимандрита. Откуда-то ему стало известно о встречах Иакинфа с иркутскими купцами.

— А мне, ваше превосходительство, казалось, что я по вашему ведомству не числюсь и вправе сам выбирать себе знакомства, — ответил Иакинф резко.

Генерал-губернатор удивленно посмотрел на строптивого монаха и нахмурился.

— Но вы, ваше высокопреподобие, особа духовная, а знакомства вам надобно выбирать осмотрительнее, — ледяным тоном заметил он. — Это же все отчаянные ябедники и алчные корыстолюбцы. А Сибиряков и Мыльников по вредным действиям своим, по недозволенным изворотам, по дерзости и ябедническим изветам — самые зловредные.

Внимательно вглядываясь в генерал-губернатора, в его холеное лицо с нездоровым подагрическим румянцем, в маленькие его глазки, колюче смотревшие из-за золотых очков, Иакинф недоумевал, как могли назначить этого желчного, подозрительного человека генерал-губернатором в край столь далекий и обширный, требующий не только горячего усердия, железного характера, но и умения разбираться в людях, хладнокровия и беспристрастности.

Расстались они холодно, недовольные друг другом.

IV

Через несколько дней, восемнадцатого июля, миссия покинула наконец Иркутск.

Дорога шла через горы. Они начались сразу, за Иркутском, и, покрытые лесом, тянулись по обеим сторонам Ангары, приметно подымаясь. За несколько часов, проехав шестьдесят верст берегом Ангары, миссия достигла Байкала у ее истока. С Никольской пристани на Лиственичном мысу открылись вдруг необозримая гладь озера и исполинские горы противоположного, забайкальского, берега. Освещенные предзакатным солнцем, с вечным снегом на вершинах, они показались Иакинфу облаками.

Цепляясь за упругие сосенки, разрывая рукой паутину, Иакинф спустился к озеру и с наслаждением погрузился в его обжигающе студеную воду. Отсюда, снизу, обрамляющие Байкал иззубренные горы, все в багряных бликах невидимого солнца, казались особенно величественными. Бронзовые сосны на их скатах горели. Крутые мысы берега один за другим врезались в озеро и тонули в синеватой дымке.

На следующий день, поднявшись рано поутру, Иакинф и его спутники проделали еще верст шестьдесят до станции Голоустной и здесь стали грузиться на дощаник, чтобы переправиться через озеро в самом узком его месте: дорогу вокруг Байкала только начали строить, и дальше пути не было.

Дощаник напоминал Иакинфу волжские барки, разве что был немного побольше… На палубу его, как стадо овец, солдаты загнали толпу молоденьких баб с крохотными узелками в руках.

Когда отчалили, Иакинф разговорился со старшим

конвойным:

— Что это за женщины, куда вы их гоните?

— Девки крестьянские, ваше высокопреподобие. Собраны по всей Сибири. А везем их за Море.

— Почто же?

— На то есть распоряжение свыше. От его высокопревосходительства, господина губернатора. Взамуж за поселенцев приказано их выдать. Мужиков там за Морем много, а баб нету, вот и везем им молодиц для приплоду.

Девушки испуганно сбились в кучу и зябко кутались в платки: порывисто дул шалоник.

Лоцман — сивобородый огромный мужик с красным, обветренным лицом — рассказывал, что уже не первую такую партию переправляет он за Байкал.

Ветер крепчал. Дощаник относило к северу, и их немало покачало, пока на другой день уже ввечеру причалили к узкой длинной косе противоположного южного берега.

Назавтра весь день поднимались по отрогам исполинского Хамар-дабана. Дорога бежала вверх зигзагами, лепясь по каменным скалам. Ее только прокладывали. То тут, то там попадались партии колодников, таскавших бревна на головокружительную высоту.

Шаг за шагом путники продвигались вперед, а мысли Иакинфа были обращены назад. Он все перебирал в памяти недавние встречи и беседы свои в Иркутске и на пути через всю Сибирь от самого Тобольска. Всюду, где бы Иакинф ни проезжал, он видел произвол и самовластие сибирских правителей. Тут каждый, от губернатора до исправника, чувствовал себя державным наместником в своей вотчине. Всюду безраздельная личная власть, а власть единоличная, освобожденная от контроля и ответственности, легко перерождается в самовластье. У сибирских же начальников, и больших и малых, никакой ответственности ни перед царем, до которого, наверно, ничего не доходит, ни перед публичным мнением, которого в Сибири нет, да и бог знает когда еще будет. Под влиянием этой безответственности, усиленной самими расстояниями — до бога высоко, до царя далеко! — тут сысстари укоренился обычай ни на бога, ни на царя не надеяться, а всего ждать от ближайших начальников и, следственно, в любом деле прибегать к деньгам. Оттого-то лихоимство и стало в Сибири злом чисто домашним, к нему привыкли, и ни берущие, ни дающие просто не представляют, как можно обойтись без взятки.

Иакинфа удивляло поначалу, что о Трескине многие отзывались с похвалой. Кто-то — он никак не мог вспомнить кто

— даже сказал ему, что Трескин — гениальнейший администратор и по характеру своему человек справедливый, а что деспот, так как же тут можно иначе? Ну что ж, в самовластие, выходит, впадают не всегда с худым намерением, усмехнулся Иакинф. Просто из любви к порядку, по самому усердию к добру. Желая дойти к нему кратчайшею дорогою, правители увлекаются, сперва для сокращения пути пренебрегают формальностями, нарушают формы маловажные, потом поважнее, доходят до самых главных и наконец уже сами не замечают, как на место порядка заступил произвол, а справедливость уступила место беззаконию.

Мысли эти не покидали Иакинфа до самой Кяхты.

А виды с каждым шагом все менялись. К югу от Хамар-дабана начались гольцы — голые гранитные скалы. Дорога то взбиралась на горы, то спускалась в пади. Время от времени, чтобы обогнуть утесы, приходилось спускаться к какой-нибудь немноговодной, но ворчливой речонке и ехать прямо по воде.

Дорогой Иакинфу пришло в голову написать канцлеру обо всем, что он видел и слышал. Да, да, он едет в Пекин, и терять ему нечего. Он напишет обо всем: и о вмешательстве генерал-губернатора в дела миссии, и о разных неудовольствиях, чинимых ее начальнику, и о том, как отрывают от родителей крестьянских девушек и гонят их на восток за тысячи верст, чтобы выдать замуж за неведомых поселенцев. Напишет и о принудительной закупке хлеба по ценам втрое ниже базарных, которая разоряет поселян и обогащает откупщиков и правителей, и о телесных наказаниях лиц, изъятых от кнута по закону. А о ссылках без суда безвинных людей в отдаленные местности? А об отстранении лучших чиновников, вроде образованнейшего Игумнова, и о возвышении недостойных? Он напишет обо всем без утайки — о полной беззащитности всех сословий, приведенных в ужас самовластьем двух губернаторов.

Человек действия, Иакинф не стал откладывать задуманного. Немедля, по приезде в Кяхту, он написал канцлеру. Ему было невдомек, что он может жестоко поплатиться за свою жалобу на могущественного сибирского генерал-губернатора. Только много лет спустя он вспомнит о своем легкомыслии и непростительной своей дерзости.

Часть третья
ПУТЕШЕСТВИЕ В НЕВЕДОМОЕ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

I

В Кяхте совершенно неожиданно пришлось задержаться. Иакинфу не терпелось пересечь границу и поскорей очутиться в Пекине. Но инструкции из Иркутска не были еще получены Вонифантьевым. Иакинф злился. И все же ничего не поделаешь: без генерал-губернаторского "рескрипта" не уедешь. Вот так, в ожидании его со дня на день, и провели на границе почти два месяца.

Иакинфа поселили в доме достаточного кяхтинского купца. Жил тот, собственно, не в самой Кяхте, а в четырех верстах от нее — выше по речке того же названия, а городе Троицко-Савске. Тут размещалась и пограничная воинская команда, и главная кяхтинская таможня со всеми ее чиновниками, здесь жили и кяхтинские купцы побогаче. В самой же Кяхте, расположенной на границе, в ста двадцати саженях от китайского пограничного городка Маймайчена, производился лишь меновой торг с китайцами и селились одни купеческие приказчики.

Троицко-Савском город был назван в честь русского посла в Китай Саввы Рагузинского. Заложил он город на обратном пути из Пекина в троицын день 1727 года. Оттого-то город и назван так. Впрочем, это было лишь официальное название: и сам город, и торговую слободу на границе одинаково звали Кяхтой, только слободу — Нижней, а город — Верхней.

Квартира Иакинфу понравилась: чистенькая спаленка, небольшой кабинет, гостиная и столовая, общая с хозяевами. Мебели добротные и не без вкуса — зеркало во всю стену, удобные кресла, диваны, по стенам китайские акварели. Из окон видны песчаные холмы Монголии и сверкающие на солнце черепичные кровли башен на стенах Маймайчена.

Иакинф часами бродил по городу, предвкушая открытие нового, неведомого мира.

Стояла жара. На улицах песку чуть не по колено. Раскаленный полуденным солнцем, он был так горяч, что жег ноги даже сквозь толстые подошвы.

Ничего похожего на Иркутск. Там город пересекает стремительная Ангара, в ледяную воду которой так приятно

погрузиться летом. У самого города в нее впадает полноводный Иркут. Всего в шестидесяти верстах — студеный Байкал, свежее дыхание его всегда чувствуется даже на расстоянии. А тут в песчаных берегах едва плещется ленивая мелководная Кяхта, скорее ручей, чем река. Вода в ней мутная, теплая. В самом глубоком месте ее можно перейти, не замочив рясы. Того и гляди, совсем пересохнет она под этим испепеляющим солнцем — где уж тут искупаться, даже напиться из нее мудрено, и жители роют в песке глубокие колодцы.

Спутники Иакинфа, особливо иеромонах Серафим и иеродиакон Нектарий, изнывали от зноя. Как и остальных членов миссии, их расселили по казенным квартирам в обывательских домах. Плотно притворив ставни, целыми днями лежали они на полу, боясь и за дверь выглянуть.

Сам Иакинф жару переносил легко. Подшучивая над своими собратьями, он приглашал их иногда на прогулку по песчаной Венеции, как он окрестил Кяхту. Те под разными предлогами уклонялись. Иакинф не был на них в обиде: он и сам предпочитал бродить по городу один.

Обычно он спускался в Нижнюю Кяхту. Ему нравилась царившая тут сутолока. Кого только не увидишь на ее улицах: купцов — да не из одних сибирских городов, а и из Казани, из Нижнего, из самой Москвы, множество татар, бухарцев, калмыков, тунгусов, бурятов. Скотоводы, купцы и охотники пригоняли сюда лошадей и быков, привозили сукна и шерсть, юфть и сафьян, мягкую рухлядь: бобров и выдр, лисиц и песцов, соболей и белок. Все это обменивалось у китайцев на шелка и бархаты, на чай и табак, на ревень и сахар, на фарфоровую посуду.

На протяжении нескольких верст с русской стороны сооружен был широкий прогон из рогаток, а перед самой Кяхтой — плотина и мост с большим шлагбаумом, чтобы всякий едущий к границе со своими товарами следовал именно этим, а не иным путем.

Вокруг Кяхты разбиты юрты кочевников. Всюду слышится ржание коней, мычание быков, рев верблюдов, движется шумливая, пестрая толпа. Перед складами и лабазами деревянного гостиного двора идет торг.

Никогда прежде Иакинф не видал, чтобы люди рядились с таким ожесточением.

Он бродил в этой живой, шумливой толпе, не смущаясь косыми взглядами, которые бросали на него порой. Впрочем, люди были заняты своими делами, торговались до хрипоты, и мало кто обращал внимание на любопытного монаха в длинной черной рясе и высоком клобуке. Зато он не таясь, открыто

приглядывался к совершенно новой для него разноликой, разноплеменной толпе.

Особенно, разумеется, привлекали его жители Поднебесной империи, среди которых ему предстояло провести целых десять лет. Монголов Иакинфу приходилось не раз видеть и прежде, в Иркутске. Они ничем, по существу, не отличались от бурятов, или братских, как их звали в Сибири, а бурятов в Иркутской губернии было много. Китайцев же он видел впервые.

Иакинф поймал себя на том, что представлял их совсем иначе. Они резко выделялись среди монголов, бурятов, тунгусов и других сибирских племен, и, пожалуй, даже ближе подходили к привычному европейскому типу. Лица у них сухощавые, не плоские, а выпуклые, не круглые, как у монголов, а продолговатые. Нос, правда, короткий, с невысокой переносицей, но не очень приплюснут. А глаза! Они совсем не так узки, как у нас принято думать и изображать на картинках. Физиономии обычно спокойные, непроницаемые — не скоро и разберешь, что выражают их одинаково черные, внимательные глаза.

Почувствовав на себе чей-то пристальный взгляд, Иакинф повернулся и увидел совсем молоденького, как ему показалось, китайца. Впрочем, он вскоре убедился, что нет занятия более неблагодарного, чем определять возраст китайцев. Неизбежно ошибешься лет на пять, а то и на все десять: выглядят они на редкость моложаво.

Китаец чуть улыбнулся и, решительно шагнув навстречу, протянул по русскому обычаю руку:

— Сытыласти, батюшика.

Иакинф не сразу сообразил, что это означает: "Здравствуй, батюшка".

— Када пилиехали?

— Что, что?

Китайцу в другой раз пришлось повторить свой вопрос, прежде чем Иакинф догадался, что тот спрашивает: "Когда приехал?"

Как ни трудно было на первых порах, мало-помалу они разговорились. Собеседник Иакинфу попался любознательный, он так и засыпал вопросами:

— Ву пеэрва лас? Ланьше не была?

— Тебе годофу сколика?

И когда Иакинф ответил: "Тридцать", — сказал о широкой улыбкой:

— Молодой ишо…ни сытала.

Комплимент был чисто европейский, а не китайский. В Китае возраст пользуется особенным уважением, и потому, разговаривая

с соотечественником и желая ему польстить, китаец скорее прибавит ему лет, чем убавит.

А словоохотливый собеседник продолжал свои расспросы, и Иакинф напрягал все внимание, на какое был способен, чтобы мысленно переводить его слова:

— Тебе кака фамилия?

— Куда пошола буду?

Иакинфа китаец понимал хорошо, но, произнося русские слова, так смешно коверкал их, что Иакинф еле удерживался от смеха. Но на этом диком "кяхтинском" наречии тут говорили все, и, ежели он хотел понять китайцев, надобно было запоминать эти нелепые и смешные звукосочетания: "поигэлэ" — театр, "палицза" — полиция, "делевеника" — столяр.

Познакомившись (разговорчивый собеседник оказался чайным торговцем из Маймайчена, звали его Ваном), китаец пригласил Иакинфа к себе:

— Посмотали наша Маймайчен, батюшика.

Иакинф не мог не соблазниться, тем более что до китайского городка было рукой подать.

По дороге новый знакомец с изысканной китайской вежливостью нахваливал русскую Кяхту и неодобрительно отзывался о собственном городе:

— Ваша Маймайчен холоша, наша пулоха.

Иакинф удивился, слыша, как китаец называет Кяхту "ваша Маймайчен". Но, как он, не без труда правда, понял из его объяснений, Май-май-чен вовсе не было собственным именем. "Май" по-китайски значит покупать, второе "май" (его китайцы произносят иначе — к концу понижая голос) — продавать, "чен" — город, и, следовательно, "Май-май-чен" означает попросту "торговый городок". Вот потому-то китайцы в разговоре о русскими часто и называют Кяхту "ваша Май-май-чен", видимо, полагая, что слово "Кяхта", подобно "Май-май-чену", также означает по-русски "торговый городок".

Миновав чахленький садик на площади и неширокую улицу, считавшуюся в слободе главной, они вышли за ворота на пустое, ничем не застроенное пространство. Это была узкая, шириной всего в сто двадцать сажен, полоска ничьей земли, разделявшая владения двух великих империй. Посередине ее торчали друг против друга два почерневших от времени деревянных столба.

Иакинф невольно остановился, не в силах одолеть волнения.

Так вот она, граница. И эти жалкие столбики разделяют два огромнейших государства, два мира! Еще шаг, и он будет на чужой, чужестранной земле.

II

Прямо перед Иакинфом возвышались обращенные в сторону Кяхты городские ворота Маймайчена с караульной башней и непривычно выгнутыми кверху углами черепичных кровель. На обеих створках ворот было написано по огромному иероглифу, означавшему, по словам Вана, счастье.

Иакинф вошел в ворота и остановился, пораженный неожиданностью. Хоть это были просто ворота пограничного китайского местечка, расположенного на монгольской земле в каких-то ста саженях от такого же русского, он как бы перенесся в совершенно другой мир. Все здесь было непривычно и ново: узенькая длинная улочка, выложенная каменными плитами и застроенная глухими, без единого окошка, стенами, так что она напоминала собой скорее длинный коридор, нежели городскую улицу; высокая многоярусная башня в глубине, тоже с загнутыми вверх углами черепичных кровель, о подвязанными к ним колокольчиками, которые тихонько позванивали при малейшем ветерке; пестрые вывески, расписанные витиеватыми иероглифами, и не слева направо, а сверху вниз; ворота, украшенные разноцветными бумажными фонариками… Все, что он видел, было так своеобычно, так непохоже на то, что ему приходилось видеть до сих пор у себя на родине!

И сами китайцы хорошо вписывались в этот прихотливый пейзаж. Иакинф подумал, что костюм их, который поначалу показался таким странным, в сущности, очень им идет: длинные халаты из синего шелка или синей же бумажной материи, а поверх короткие кофты, похожие на легкую епанчу. На голове — маленькие круглые шапочки, а на ногах — мягкие туфли на толстой войлочной подошве. Почти у каждого висела на поясе маленькая, меньше нашего наперстка, яшмовая или медная трубочка на медном же или, чаще, деревянном чубуке, длиной четверти в две, и мешочек с табаком. Молчаливыми толпами степенно расхаживали они по улицам, время от времени останавливались, раскуривали крохотные трубочки и опять продолжали путь, выпуская клубы дыма. У каждого в руке веер, а за спиной длинная коса, в которую вплетен шелковый черный шнурок, свисающий у иных до пят. Иакинф был рад, что захватил с собой походный альбом. Он то и дело останавливался, чтобы занести в него торопливый рисунок. Словоохотливый провожатый с жаром все объяснял Иакинфу. Вот дом цзаргуци, или заргучея, как его называют русские, — местного пограничного начальника. Собственно, это был не дом, а ворота, сам же дом скрывался в глубине двора. У ворот стояли солдаты вооруженной стражи в

полном облачении — с луком и колчаном за спиной и пикой в руке. Шапки их были украшены павлиньими перьями.

Миновав дом заргучея, подошли к большому храму.

— Что это за храм? В честь кого воздвигнут? — спросил Иакинф провожатого.

— По-нашему — Гуань Юй, по-мынгуски — Гесюр-хан. Зынай?

Иакинф отрицательно покачал головой.

— Гуань Юй это еси така имя. Паделицза бога. Понимай? Паделицза!

Иакинф не понимал.

Китаец начинал злиться. Наконец привычная вежливость вовсе изменила ему, и он сказал раздраженно:

— Ты сываю сылофу ни зынай, мынгу сылофу ни зынай, наша сылофу ни зынай. Как сы тапой гэвали можина? Сы тапой гэвали нилизя!

Это Иакинф понял: "Ты своего языка не знаешь, монгольского не знаешь, нашего не знаешь. Как с тобой говорить можно? С тобой говорить нельзя!" — и, смущенно улыбаясь, стал извиняться за свою непонятливость.

— Как не понимай можина: Па-де-ли-цза! — раздельно произнес Ван и, приняв воинственную позу, взмахнув руками, будто скрещивая невидимые клинки, повторил: — Па-де-ли-цза!

— А-а! Подраться? Войны? Брани? Бог войны! — догадался наконец Иакинф.

— Во-во! Вай-ны, вай-ны! — обрадовался Ван.

Мир был восстановлен, и они прошли в храм бога войны.

У Иакинфа голова пошла кругом, когда он вступил в ворота храма: так поразил его этот хаос своеобразных, невиданных предметов, цветов, запахов. Ничего похожего на христианские храмы или мусульманские мечети, не раз виденные в Казани. Уже в притворе путь им преградили грозно наклоненные вперед гигантские фигуры воинов в фантастических латах, с невероятно свирепыми лицами, искаженными какой-то чудовищной судорогой. По словам Вана, назначение этих грозных вояк состояло в охране храма от вторжения нечистой силы.

В храме царил полумрак. У задней стены в особом приделе помещалась исполинская фигура бога брани, укрощающего бешеного коня. Вокруг сонм идолов поменьше. Все это были такие страшилища; что один вид их вызывал невольную дрожь.

И перед главной статуей, и посредине храма тлело множество тоненьких жертвенных свечей, или курительных палочек, и сизоватый пахучий дымок от них струился в полумраке. Сверкали позолотой надписи на резных деревянных стенах и багряных

столбах, подпиравших стропила крыши.

Иакинф попросил Вана прочесть одну из надписей. На самом видном месте было написано: "Дай-Цин Ху-ан-ди Вань-вань-суй" — "Великому императору Дай-Цинов десять тысяч — десять тысяч лет". "То есть многая лета, многая лета, — мысленно перевел Иакинф. — Значит, несмотря на все различие форм, тут, как и у нас, церковь тоже выступает охранительницей властей предержащих!"

Часа два бродил Иакинф по городу. Еще бы! Это же частица Китая! Хоть и построен он на чужой, монгольской земле, а до настоящего Китая еще добрая тысяча верст.

Глаза у Иакинфа разбегались, он боялся хоть что-нибудь пропустить. Хотелось все увидеть, все удержать в памяти, многое занести в альбом.

Поднялись они с Ваном и на высокую башню на площади. Сверху город предстал вереницей соединенных друг с другом гладких и чистеньких крыш, редко черепичных, чаще из рубленой соломы и глины. По этим чуть покатым, почти плоским крышам можно было обойти, не спускаясь на землю, любую четверть города: сообщения не было только через две главные улицы, пересекавшиеся у подножия башни и разрезадшие город на четыре почти равные части. Вокруг города шла невысокая деревянная стена с несколькими воротами. Одни из ворот, через которые они вошли в Маймайчен, были обращены к Кяхте, другие вели уже в монгольские степи. За городской стеной тянулся ров шириной аршина в полтора-два.

По объяснению Вана, Маймайчен хоть и находится далеко от родных пределов, но построен по типу всех других китайских городов. Почти все они прямоугольные или квадратные, у всех над городскими воротами караульные башни. Только у других городов стены из камня или кирпича, а тут деревянные, потому что, согласно взаимному уговору, ни в Маймайчене, ни в Кяхте не должно сооружать каменных построек.

— Как, разве это не каменные? — удивленно спросил Иакинф, показывая на глухую, высотою сажени в три стену, мимо которой они проходили.

— Нету, нету, исё делево еси.

Оказалось, что решительно все строения города и впрямь из дерева, но стены их так старательно оштукатурены или так искусно обмазаны серовато-белой глиной, что производят впечатление каменных.

Ван пригласил Иакинфа зайти к нему в лавку.

Приказчики встретили хозяина низкими поклонами.

Все стены просторной лавки занимали высокие, темного

дерева, шкафы с образцами чая. Ван, по его словам, вел преимущественно торговлю оптовую. Простенки между шкафами были украшены картинами-свитками и каллиграфически написанными дуйцзы — парными надписями с изречениями древних мудрецов. У правой стены не то широкая лежанка, не то низкие нары, застланные бамбуковыми циновками.

— Цин-цзо, цин-цзо, — пригласил присесть радушный хозяин, и тотчас на низеньком столике, стоявшем на лежанке, или кане, как она называлась по-китайски, появился золотистый чай, а мальчик-слуга протянул на подносе дымящиеся влажные полотенца, чтобы вытереть лицо и руки. Полотенца были такие горячие, что к ним едва можно было прикоснуться. Обычай этот Иакинфу очень понравился, а когда он отхлебнул из тоненькой чашечки глоток ароматного напитка, ему показалось, что такого вкусного чая он никогда еще не пробовал. И как великолепно он утоляет жажду!

— Чудесный чай, очень вкусно, — похвалил Иакинф.

— Куши, куши, — угощал Ван, когда слуга налил Иакинфу новую чашечку.

Стоило только заговорить о чае, как Ван сразу преобразился, глаза его загорелись. Чувствовалось, что он был не только великим знатоком, но и страстным любителем своего дела.

Каких только образцов чая не было у него в лавке! И зеленый, и черный, и разных размеров и форм кирпичный, пользующийся особым спросом у монголов и забайкальских бурятов. Ван вел Иакинфа от шкафа к шкафу, от одной полки к другой и рассказывал о достоинствах каждого сорта. Особенно он нахваливал зеленый чай "лунцзин" — "колодец дракона". Он не только необычайно вкусен, но и целебен: облегчает пищеварение, увлажняет и смягчает кожу, развивает энергию человека.

— Но пити, как ваша, нилизя. С булкэ, сахаэр нилизя, — убежденно говорил Ван.

— Ван-сяньшен, а откуда же чай повелся? — спросил Иакинф. — Давно ли он известен стал у вас?

— Зынай, неё зынай, — оживился Ван. — Сылушай. — И, снова усадив Иакинфа на кан, с жаром принялся рассказывать.

Не все Иакинф понял в его рассказе, но главное все же уловил.

Жил когда-то очень давно, в незапамятные времена, один человек. Когда ему исполнилось тридцать лет, он удалился от мира, поселился в уединенной хижине на склоне горы и зажил жизнью отшельника. Дни и ночи проводил он в размышлениях и молитвах. Но вот однажды, когда он сидел погруженный в священную книгу, ему вдруг нестерпимо захотелось спать. Как он

ни боролся, сон одолевал его, голова опускалась на грудь, веки слипались. И вот, чтобы сон не прервал его благочестивых размышлений, а глаза не могли закрыться помимо его воли, отшельник схватил острый нож, отрезал себе веки и отбросил их в сторону.

Из этих-то век, отрезанных в борьбе со сном и усталостью, и вырос чайный куст. С тех пор вот уже много веков крепкий настой чайных листьев бодрит человека, гонит от него сон и усталость.

Говорил Ван так убежденно, так вдохновенно живописал достоинства чая, что Иакинф решил купить на дорогу несколько цибиков зеленого и десяток ящиков кирпичного — для подарков монголам в пути. Заплатил он за них, как потом выяснилось, втридорога.

Ван был доволен.

— Погоди, када Шамо ходи-ходи, шито тако чай понимай будешь, — предсказывал он Иакинфу.

Что такое "Шамо", Иакинф не понял. Ван объяснил: Шамо — Песчаное море, так китайцы называют пустыню Гоби.

Ни в лавке Вана, ни за весь день в городе Иакинфу не попалось ни одного женского лица.

— Ван-сяньшен, что это у вас тут ни одной женщины не видно? — не удержался Иакинф от вопроса.

— Нилизя. Наша Маймайчен мадама живи нилизя, — отвечал тот.

Оказывается, по китайским установлениям женщины на границу не допускаются, и потому в Маймайчене селятся одни мужчины. Сам Ван вот уже три года не видался с семьей.

Тепло распрощавшись с гостеприимным хозяином, который проводил его до городских ворот, Иакинф вернулся домой уже под вечер. Оставаться за кордоном дольше было нельзя: днем из Кяхты в Маймайчен и обратно можно было ходить беспрепятственно, но вечером, после того как на русской стороне пробьют зорю, а во дворе заргучея пустят ракету, на обеих сторонах запирались ворота и всем предписывалось сидеть по домам.

ГЛАВА ВТОРАЯ

I

Настал наконец долгожданный день отъезда.

Семнадцатого сентября поднялись вместе с солнцем, но границу пересекли только в пятом часу пополудни: миссии были

устроены пышные проводы. Нарочно для этого прибывший из Иркутска протоиерей отслужил обедню. Затем местное купечество дало в честь отъезжающих обед. На нем присутствовало все кяхтинское общество во главе с Вонифантьевым.

Иакинф был в нетерпении. Он все порывался как-нибудь поскорее покончить с обедом. Но вытащить из-за стола гостей было не так-то просто, да и его собственная свита, казалось, не торопилась в далекое путешествие. Иакинф видел, как на другом конце стола менялись графины, как багровела лысина у иеромонаха Серафима, как оживлялся с каждой новой рюмкой отец Аркадий и все больше задумывался и без того исполненный меланхолии иеродиакон Нектарий.

— Выпьем, отче, по единой, но не по последней, — говорил Аркадий, подливая в рюмку Нектарию — Слышь, какой от нее дух шибает? Испей, испей, отче. Облепиха — она напиток дивотворный. Замолаживает! Истинно тебе говорю: замолаживает! От ней в человецех этакая развязка делается. Выпьешь, вот он тебе и рай богозданный. Опять же взгляни на закуску. А чем нас в Пекине потчевать будут, я неизвестен.

Закусить тут и в самом деле было чем. На обед купчины не поскупились. Были тут и волнухи, и грузди, и белые грибы в маринаде, и мелко изрубленные с луком и постным маслом соленые рыжики. В достатке было на столах икры — кетовой, осетровой, белужьей. Лукаво подмигивал розовый поросенок с воткнутым в рот пучком какой-то зелени, а рядом румяные пироги и кулебяки, жирные, сочные, с потрохами, с луком и яйцами, с мясом и капустой… Первых блюд было два — уха из хариуса и борщ на малороссийский манер, с ветчиной и сметаной. За ними следовала белуга в рассоле с грибами, запеченная в сметане осетрина, а для мирян — жаркое из баранины и утка с яблоками…

После двух-трех официальных тостов застольная беседа уже не имела общего стержня. Гости разбились на несколько обособленных кружков. В центре одного из них был иеромонах Аркадий, другого — Серафим, дальше слышался раскатистый бас Пальмовского.

По правую руку от Иакинфа сидел директор Кяхтинской таможни, статский советник Петр Димитриевич Вонифантьев.

Человек он был любопытный. Пожалуй, уже лет двадцать, как служил тут на китайской границе. Сменялись генерал-губернаторы сибирские, приходили и уходили губернаторы иркутские — гражданские и военные, приезжали на границу сенатские ревизоры, другой царь взошел уже на российский

престол, а Вонифантьев по-прежнему сидел тут, как гвоздь, вколоченный по самую шляпку. Ничего на границе без его спроса не делалось, воля его была тут высшим законом.

Петр Димитриевич был несловолюбив, но в выражениях особенно не стеснялся, и злого языка его побаивались. Однако к Иакинфу он отнесся с заметной приязнью, охотно делился своими наблюдениями над китайскими чиновниками, предостерегал от разных опасностей, которые могут встретиться в пути. На прощание Вонифантьев подарил Иакинфу превосходное охотничье ружье, хоть и было оно архимандриту не по сану.

Они сидели рядом, поднимали время от времени партикулярные здравицы и болтали о том о сем. Иакинф не мог без смеха слушать рассказы старика про Головкина и его свиту. Очень уж забавно представлял Петр Димитриевич напыщенного посла, грубо-бесцеремонного Байкова, спесивого Клапрота. Нельзя было не подивиться меткости и вместе желчной едкости его характеристик.

— Что же, выпьем ваше высокопреподобие, еще по одной на дорожку? — Петр Димитриевич постучал своей рюмкой по краю стоявшего перед Иакинфом серебряного стаканчика. — Изволите видеть, что тут написано?

Иакинф поднял стопку. По ободку ее славянской вязью было выведено: "Ее же и монаси приемлют".

— Приемлют, Петр Димитрич, приемлют, — усмехнулся Иакинф. — Да еще вон как приемлют! — И он показал на другой конец стола, на заметно повеселевшего и раскрасневшегося иеромонаха Аркадия. Тот опрокинул рюмку, на мгновение застыл с открытым ртом, поднес к носу корочку хлеба, удовлетворенно крякнул и лишь потом принялся за закуску. — Видите, какова ухватка у сего инока смиренного? Вот уж поистине — ни бога не боится, ни людей не стыдится. Да и прочие немногим от него отстанут. Все как на подбор — на полный стакан глядеть не в силах.

— Сочувствую вам, отец Иакинф, сочувствую. Да, вот что я вам должен сказать напоследок. Некоторые китайцы поговаривают, что пристав, присланный из Пекина для препровождения вашей миссии, вытребован китайским Трибуналом из Кореи. А в помощь ему даны два маньчжура. Молодые люди, обученные, заметьте, по-русски. Надо думать — для надзору за вами. Ну и конечно, для разведывания некоторых важных предметов. Так что возьмите это в рассуждение.

— А как же! Почту за честь воспользоваться вашим советом. Да и вообще мне хотелось бы еще раз поблагодарить вас, Петр Димитрич, за внимание, миссии моей оказанное.

— Пустое. Какие там благодарности! Ваше благоразумие, с коим вы о всяком предмете судите, убеждает меня, что вы-то сами, отец Иакинф, проявите должную осторожность. Однако ж не могу скрыть, свита ваша внушает мне сурьезные опасения… За ней глаз да глаз нужен…

II

Из-за стола поднялись уже в четвертом часу и после короткого отдыха опять направились в церковь для напутственного молебна. Маленькая деревянная церковь не могла вместить и половины пришедших проводить миссию.

Иакинф вглядывался в пеструю толпу. Все эти люди знали о миссии лишь понаслышке, и, однако ж, верилось — не просто охвачены они праздным любопытством, а принимают живое участие в судьбе горстки миссионеров, отправляющихся на целых десять лет в чужедальнюю страну. Это было трогательно. На глазах у подвыпивших монахов Иакинф заметил слезы. Сам он до сих пор испытывал только радостное возбуждение от предстоящей встречи с неведомым, но теперь вдруг ощутил, что и у самого творится с глазами что-то неладное.

Обоз отправили вперед, и до Маймайчена процессия, осененная хоругвями, следовала пешком.

В Маймайчене Иакинф нанес прощальный визит китайскому пограничному начальнику — заргучею. Вместе с ним пошли пристав Первушин и члены миссии. Провожающие запрудили всю узенькую улочку перед домом мандарина.

Вход к заргучею, как и в другие дома Маймайчена, был со двора. На улицу выходили только ворота, украшенные резными флагштоками, у которых застыли воины в кофтах и юбках. Но и через ворота не вдруг можно было попасть во двор: путь преграждал расположенный за воротами широкий заслон, предназначенный для защиты от злых духов, которые, как объяснял еще Ван, могли летать только прямо. Сворачивать в стороны они не умели и, ударяясь о щит, отскакивали обратно — таким образом, жизнь обитателей дома была в безопасности.

В первом дворе миссию встретила только стража и провела во второй двор — небольшой, но живописный и удивительно чистенький. Посередине его находился выложенный диким камнем бассейн, в котором плавали золотые рыбки с длинными пушистыми шлейфами. Бассейн окружали прихотливо изогнутые длинноиглистые сосенки. Все стены с надворной стороны были обнесены крытой галереей. На нее выходили и двери и окна комнат. Окна были большие, с решетчатыми переплетами,

затянутыми вместо стекол тонкой бумагой.

Наконец одна из дверей распахнулась, и в сопровождении нескольких чиновников навстречу миссии вышел из внутренних покоев заргучей.

Это был высокий старец маньчжур с каменно-непроницаемым лицом. На нем было шелковое парадное платье с квадратною нашивкою на груди, коническая соломенная шляпа с красной волосяной кистью и синим шариком наверху, на шее — яшмовые четки, достигавшие пояса.

Иакинф представил ему всю свою свиту.

Перенявший некоторые русские обычаи, заргучей подал каждому руку (делал он это с важностью архиерея, раздающего благословение) и в свою очередь представил выделенного китайским Трибуналом иностранных дел пристава и двух его помощников, прибывших из Пекина для препровождения миссии в столицу.

Первушин передал китайскому приставу всех членов миссии по счету и поименно, и с этих пор они как бы официально вступили в число жителей Срединной империи.

Иакинфа, Первушина и всех членов миссии пригласили в комнаты. Тут, перед входом во внутренние покои, началось долгое вежливое прение между заргучеем и начальником миссии: кто должен первым переступить порог. Заргучей отдавал первенство Иакинфу — как священнослужителю столь высокого сана и важному гостю, прибывшему из отдаленной столицы могущественного Российского монарха. Иакинф, со своей стороны, ке уступал в вежливости хозяину — почтенному старцу и высокому сановнику великой дружественной империи. Долго церемонно раскланивались они перед порогом, уступая путь друг другу. Наконец церемониальный спор сей завершился тем, что они двинулись разом — бок о бок. Но когда Иакинф уже занес ногу над порогом, заргучей неожиданно остановился, и Иакинф оказался-таки впереди.

Все уселись вокруг стола. По левую — почетную — руку от себя заргучей усадил Иакинфа, по правую — пристава. Тотчас перед каждым поставили чашки с горячим чаем, и началась церемонная беседа — обычные взаимные приветствия, осведомление о здоровье, вежливые напутствия.

Иакинф остро почувствовал всю неприятность подобной беседы через толмача. Ему все казалось, что тот не схватывает его мысли, выбирает не ту форму выражений, говорит не тем тоном, каким произнес ту или иную фразу он сам.

Однако ж заргучей не испытывал, по-видимому, ни малейшего неудобства от того, что беседа велась через толмача.

Когда к нему обращались на русском языке, заргучей все время смотрел на говорящего, внимательно слушая и всем своим видом показывая, будто понимает каждое слово, и, только когда собеседник умолкал, переводил глаза на толмача, желая все же узнать сказанное. И сам обращался к собеседнику, а не к переводчику. Это была китайская учтивость, впрочем, вполне понятная.

Иакинф старался поступать так же. Но пристав никак не мог к этому привыкнуть. Весь разговор он вел с переводчиком, отвернувшись от хозяина, что было, конечно, непристойно. Иакинф ерзал на стуле, но Первушин сидел по другую сторону от заргучея — дернуть его за рукав или шепнуть на ухо было невозможно.

Искушенный в этикете, заргучей старался сделать эту неловкость незаметной и, пока пристав держал речь, угощал гостей то тем, то другим.

Иакинф едва дождался, пока кончилась эта тягостная беседа. Наконец поднялись из-за стола, и заргучей проводил миссию до ворот.

Проводы и прощание так затянулись, что в первый день пути они проделали всего семь верст и остановились на ночлег на станции Гилан-нор.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

I

Утром Иакинф проснулся рано.

Стан раскинулся на самом берегу Буры, маленькой болотистой речонки, через версту впадающей в Гилан-нор. Иакинф откинул полог и вышел из юрты.

На востоке в полнеба полыхала заря. Солнца еще не было видно, но первые лучи его уже бросили багряный отсвет на легкие облачка. В прозрачном сумраке виднелась обширная долина. То тут, то там дымились юрты. В веселом свете занимающегося дня Иакинф увидел отары черноголовых монгольских овец, пестрые стада быков в верблюдов.

Иакинф быстро умылся и пошел вокруг стана.

В юрте священнослужителей все еще спали.

— Доброе утро, братие! Еще не выспались? — спросил он громко.

Из-под тулупа высунулась взлохмаченная голова иеромонаха Аркадия.

— Это вы, ваше высокопреподобие? — спросил он, приподымаясь и протирая глаза. — Неужто пора уже ехать? Ах ты, боже мой, будто и не спал вовсе. Только под утречко сон приснился. Чудной такой сон, а к чему — понять не могу. Святой Симеон, разгадай мой сон! — перекрестился Аркадий вместо молитвы и тотчас вскочил на ноги. — А ну поднимайтесь, отцы божии! — пропел он пронзительным фальцетом, стаскивая овчинный тулуп с иеродиакона.

Нектарий, густо заросший черным волосом мрачный детина, ухватился за край тулупа, пытаясь снова натянуть его на голову.

— Отвяжись, анафема!

— Не спеши опаляться гневом, отец Нектарий. Подошло времечко в путь-дороженьку! Вот и отец архимандрит уже пожаловали.

Как Нектарий ни отбивался, а пришлось вставать. Выпрямиться во весь свой рост Нектарий смог только посередине юрты — там, где тлел под дымником аргал {Аргал — сухой коровий помет.}.

Увидев их рядом, Иакинф подумал, что трудно, должно быть, представить себе людей менее похожих.

Рядом с маленьким, юрким Аркадием Нектарий казался гигантом. Ноги — как бревна. Ладони шириной с добрую лопату. На голове черная грива вразмет. Насколько низенький Аркадий был подвижен и ловок, настолько ж высоченный Нектарий неуклюж и медлителен. На худом, остреньком лице Аркадия, обрамленном рыжеватой бородкой, искрились серые плутоватые глазки.

Из-под косматых, низко нависших бровей Нектария тускло глядели большие, грустные, как у собаки, коричневые глаза. Густая черпая борода начиналась у него откуда-то из-под самых глаз. Курчавая и окладистая, она была предметом удивления и зависти монголов, у которых обычно торчал на подбородке едва десяток-другой жестких, реденьких волосков.

Вслед за Нектарием поднялся и отец Серафим. Росту он был немалого, а Нектарий и над ним возвышался на целую голову.

Иеромонаху Серафиму было тридцать пять лет, на два года меньше, чем Аркадию, но выглядел он гораздо старше, вероятно, из-за преждевременной широкой лысины, длинного, расширяющегося книзу, сизоватого носа и степенности, которую он старался себе придать: после архимандрита он считался в миссии старшим и всячески это подчеркивал.

Послышалось ржание коней.

Иакинф вышел из юрты. На смотр пригнали целый табун лошадей. От дробного топота их гудела земля.

Казаки и монголы с длинными жердями, к верхушкам которых были прикреплены арканы, кинулись к лошадям. Весь табун пришел в смятение. Кони бросались из стороны в сторону, наскакивали друг на друга, поднимались на дыбы, ржали, рыли копытами землю и наконец становились пленниками бесстрашных укротителей, среди которых Иакинф не без удивления приметил и несколько женщин.

Эта первая картина кочевой жизни, совершенно новой и непривычной, настроила Иакинфа на какой-то мечтательный лад. Мысль уносилась к забытым временам далекого кочевого века. Как знать, может, и его отдаленные предки вот так же кочевали в бескрайних приволжских степях, вот так же с гортанными криками носились с арканами за полудикими своими лошадьми.

Иакинфу захотелось скинуть с плеч рясу, вскочить на какого-нибудь быстроногого скакуна и броситься наперерез вон той лошадке, что как птица несется на север, и ни казаки, ни монголы не могут ее догнать. Она уже вот-вот скроется из глаз, а преследователи, хоть и мчатся во весь опор, заметно отстают.

Иакинф бродил вокруг юрт, наблюдая, как седлают коней и вьючат верблюдов.

Насколько же эти звери — как зовут верблюдов казаки, — несмотря на всю свою силу, смирнее лошадей, едва приручeнных! Вот какой-то полуголый карапуз — пол-аршина от земли — ведет на веревочке верблюда, подводит его к тюкам. Монгол, видно отец мальчонки, кричит: "Сок!" — и от одного этого крика верблюд медленно раскачивается, покорно опускается на колени и спокойно ждет, пока на него навьючат огромные тюки.

Рядом дожидается своей очереди другой верблюд. Его кое-как привязали к наскоро воткнутому в землю прутику. Выдернуть этот тонюсенький прутик ему ничего не стоит. Но никто не опасается, что он тронется с места: верблюду довольно и того, что он привязан.

Пока монголы снимают войлоки с юрт, закипает походный самовар. На двух разостланных поодаль один от другого коврах путники рассаживаются завтракать: на одном — пристав Первушин и Иакинф со своими священнослужителями, на другом — причетники и студенты, прикомандированные к миссии. Сладко тянет самоварным дымком. Под пение самовара и отдаленный топот копыт завязывается неторопливая беседа. Кажется, забыты уже печальные минуты расставания с родиной, никому не приходит в голову, что они уже не под родным, русским небом. Не хочется думать и о трудностях предстоящего пути.

Один только Аркадий что-то хмурится и просительно

поглядывает на Иакинфа. Видно, трещит после вчерашних проводов буйная головушка, и он не прочь бы опохмелиться.

У него быстро находятся союзники. Приходится Иакинфу распорядиться налить всем по стаканчику.

Разговор оживляется. Спешить некуда: сперва отправляется обоз — навьюченные пожитками верблюды и одноколки с провиантом и грузом.

— Ваше высокопреподобие, — льстиво обращается к Иакинфу Аркадий, — как бы не охрометь в дороге-то? Одна рюмка на праву ногу, другую надо бы и на леву. Обычай дорогой, что выпить по другой. Так ведь, отцы божии? — обращается за поддержкой к клиру Аркадий.

Серафим согласно кивает головой.

Нектарий молчит. Среди священнослужителей миссии он самый младший и по сану и по возрасту — как и отцу Иакинфу, ему тридцатый год. Но и он выжидательно смотрит на архимандрита своими грустными, собачьими глазами.

Иакинф приказывает обнести всех и по второй.

А Аркадий опять за свое:

— Ну что ж: и на праву выпили, и на леву, а теперь и на посох полагается. Как же без посошка-то? Да и бог троицу любит…

II

В одиннадцатом часу трогаются в путь повозки с монахами и студентами.

Для каждого приготовлена двухколесная китайская телега. Колеса у нее непривычно высокие, с зубчатыми ободьями и частыми спицами, кузов вынесен вперед оси и укреплен на двух толстых дрожинах, переходящих в оглобли. Повозки выстроились в ряд там, где еще совсем недавно стояли юрты.

— По телега-а-ам! — отдает команду Иакинф и не без улыбки наблюдает, как его причт взбирается на повозки.

Садиться в эти непривычные экипажи приходится прежде, чем заложат лошадей. Входом в крытый кузов служит переднее отверстие, и, чтобы забраться в экипаж, нужно войти в оглобли, просунуть в кузов сначала голову, потом на коленях проползти внутрь. Причетники и студенты забрались в телеги мигом, а вот толстобрюхий Серафим и огромный Нектарий попыхтели изрядно.

Проследив за посадкой подчиненных, Иакинф залюбовался тем, как монголы запрягают лошадей. Собственно, мохнатые монгольские лошади никакой упряжи, кроме седла и уздечки, не знают, даже когда их впрягают в повозку. Делается это при

помощи поперечной палки толщиною, пожалуй, в руку. Крепкими ремнями прикрепляется она к концам оглобель. Двое монголов поднимают на шестах поперечину, так что оглобля теперь висит на ней. Два всадника заезжают с боков и заставляют лошадей подойти под дамнур, как монголы называют ее. Лошади шарахаются в стороны, видимо не в силах побороть одолевающего их страха, или проскакивают мимо. Но вот наконец после нескольких неудачных попыток лошадей удается подвести под поперечину, и всадники кладут ее себе на колени, готовясь выполнять в пути роль как бы живого гужа.

Лошадей пускают галопом, и телега катится вперед. Иакинф устраивается поудобней. Ну что ж, экипаж неплохо приспособлен к далекому путешествию. Кузов такой длинный, что можно вытянуться во весь рост. Дощатое днище обито войлоком, поверх него положены мягкий матрац и овчинная шуба, в головах подушка. Покачивается походная спальня, похрустывают по гальке зубчатые колеса. Но лежать вскоре надоело. Спать не хотелось. Попробовал присесть, да от непривычного сидения на манер будды затекали ноги. И главное — не видно, где же ты едешь: в кузове нет окон, а через переднее отверстие, как ни вытягивай шею, видны только крупы коней, спины возниц да кусочек неба.

Иакинф приказал возницам остановиться, вылез из телеги, взял у ехавшего рядом монгола лошадь, усадил ничего не понимающего номада на свое место, а сам вскочил в его седло.

Махнув каравану, чтобы ехал дальше, Иакинф поскакал к видневшейся справа от дороги сопке. Ну конечно же, в седле куда приятнее, — вдоволь можно налюбоваться видами, пока еще лишенными однообразия, по произволу сворачивать с дороги, вволю помечтать!

Одним духом бойкая кобылка подняла его на вершину сопки.

Далеко-далеко на севере маячили еще родные русские горы и на склоне одной из них кяхтинская деревянная церковь с горящим на солнце жестяным куполом. На плоских вершинах сопок чернели перелески, чередуясь с желтыми полосками недавно убранного хлеба.

Кажется, только сейчас с какой-то мучительной ясностью он понял вдруг, что покидает отчий край. Тысячи верст, бескрайние монгольские степи и безводные пустыни, высокие горы будут отделять его от всего, что дорого и близко сердцу.

Долго стоял Иакинф на вершине, сдерживая нетерпеливую лошадку.

— Прости, русская земля! — невольно вырвалось у него. — Целых десять лет, а как знать, может и того больше, проведу я

вдали от тебя, не услышу родного слова!

Не очень-то баловала его родина, и все же как мучительно ее оставлять! Да, родина это ведь не только перезвон колоколов и чад ладана, владычный суд и опостылевшие проповеди, но и свежий ветер с Волги, скрипучий перевоз через Свиягу, старая ива над Поповским оврагом, раздумчивые русские песни.

И все же он не жалеет о своем добровольном изгнании. Впереди свобода. Свобода!.. И встреча с новым, неведомым миром.

Иакинф повернул коня.

Длинной вереницей растянулся по долине обоз. Медлительно-важным шагом выступают навьюченные верблюды, а дальше — крытые телеги с людьми. К оглоблям привязаны русские колокольчики. Неутомимо гремят они, напоминая о русских дорогах, и ежели закрыть глаза, то может почудиться на минуту, что мчится по степи сибирская тройка и вот-вот ямщик зальется неторопливой песней, широкой и раздольной. Но вместо привычной русской песни ветер доносит унылый и резкий напев монгола.

Впрочем, поначалу дорога совсем не напоминала те монгольские степи, которые Иакинф готовился встретить на пути.

После низменной долины Буры начались вдруг сосновые и березовые леса. Склоны холмов обросли багульником.

День выдался по-летнему жаркий, солнечный, но листья на деревьях уже пожелтели, и березовые рощи на пригорках горели на солнце, будто вызолоченные. Там и сям червонным костром полыхали какие-то кусты.

Обоз тянулся медленно, и Иакинф то и дело сворачивал в лесные заросли.

Над головой глухо шумели сосны. Где-то наверху раздался гулкий и дробный стук. Иакинф поднял голову. Совсем русский дятел, будто наряженный в щегольской черный фрак, с белой грудкой и красным подбрюшником, деловито клоня голову, старательно долбил дуплистое дерево. И вдруг точно порыв ветра пронесся по лесу. Потревоженное появлением человека стадо диких коз бросилось прочь. Экая досада! Ружье-то в телеге…

Но вот лес постепенно редеет. Появляются песчаные холмы, возвышающиеся над ровною степью. Только у горизонта синеют горы. С юго-запада на северо-восток по равнине петляет речонка. На берегу белеет несколько юрт и пасутся, видно приготовленные на смену, лошади.

Иакинф соскочил с коня и бросился на траву.

С непривычки отчаянно ныли ноги. И потом еще это неудобное седло и, главное, короткие стремена, на каких ездят

монголы. Надо будет непременно их удлинить…

III

Несмотря на усталость, Иакинф долго не мог уснуть в эту ночь.

Он обошел растянувшийся вдоль реки стан.

На неоглядной равнине разбито с десяток юрт. Вокруг обоза ярко горели костры. В самых прихотливых позах раскинулись у огня казаки. Иакинф прислушался. Поодаль монголы объезжали стан и тягучей песней своей будили безмолвие безбрежной степи. Казаки говорили о привычных домашних делах.

Побродив среди костров, Иакинф прилег в юрте. Но в ней было темно, как в могиле, — он приоткрыл щит и высунул голову.

Никогда не видал он неба такого темного и звезд столь ярких. Возвышенность места, чистота и прозрачность воздуха, казалось, приближали самые отдаленные звезды, делали их необычайно крупными, особенно лучистыми.

Иакинф полюбил скоро эти звездные ночи больше, чем жаркие дни, полные зноя, неторопливого, но неуклонного и утомительного движения.

Нигде и никогда еще не думалось ему так хорошо, как тут, в такие вот ночи. Какое счастье помечтать обо всем, что приходит на ум! Прежде все как-то недосуг было остановиться, собраться с мыслями, подумать о чем-то главном, — оно оттеснялось нередко, а то и вовсе вытеснялось второстепенным и мелким, что люди привыкли считать главным. Порой приходилось разгонять свои собственные мысли, чтобы, готовя очередную проповедь или урок в семинарии, дать место книжным, вычитанным в Священном писании или у отцов церкви.

А сейчас сутолока каждодневности отлетела прочь. Он был волен в своих раздумьях, как этот ветер, пропитанный полынным запахом далекой пустыни. Прислушиваясь к непривычному напеву объезжающего дозором монгола, Иакинф невольно усмехнулся: горстка русских людей беззаботно спит с самом сердце Азии, где некогда собирались грозные тучи, разразившиеся кровавым ливнем над его родиной. Спит под сторожевые окрики потомков и сородичей Чингиса и Батыя, предания о которых, о грозных их набегах и походах еще живы тут. Было время, когда одно слово "монгол, татарин", одна мысль о нем наводила ужас, и сон бежал глаз. Как все переменилось! И там, где клубилась пыль от стремительной Чингисовой конницы, бродят ныне мирные пастушеские стада.

А над головой, в звездной вышине, — целые миры. Кто знает, может быть, кипят они жизнию и из-за миллионов верст льют на мертвую пустыню свой мерцающий свет. Как же тут не задуматься!

Иакинф закинул руки за голову и устремил глаза в далекое небо. На миг почудилось, будто над ним на небо, а исполинская юрта, продырявленная множеством светящихся отверстий.

Можно ль разобраться в собственных ночных раздумьях? Пожалуй, они сродни сновидениям… Редко Иакинфу удавалось управлять ими. Чаще они наваливались, как сон, и он был не властен над ними.

Вот и сейчас всплыла вдруг откуда-то из глубин памяти Наташа. Кажется, давно уже и не думал о ней и не вспоминал вовсе, а вот ведь так и стоит перед глазами. Он прикрыл веки и ясно представил, как она подходит, касается рукой его плеча, садится рядом. Он даже вздрогнул: почудилось, что он слышит ее смех. А вот лица ее, как он ни напрягал память, так и не мог представить. Оно как-то расплывалось, лишалось реальных черт, мешалось с лицами монголок, встреченных на пути.

Он улыбнулся, вспомнив, как пытался сегодня, во время дневного привала, нарисовать одну из этих степных амазонок.

Заметив его намерение, хорошенькая монголка, сопровождавшая караван от самой границы, стала дурачиться. Подъедет совсем близко, остановится и смотрит во все глаза и собой позволяет любоваться сколько угодно, но стоит только поднести карандаш к бумаге — хлестнет лошадь нагайкой и ускачет за версту.

Подъехала другая монголка и остановилась неподалеку.

Иакинф стал было рисовать и ее. Но лукавая степная красавица подскакала к подруге, ударила нагайкой по ее лошади и, нагнав, принялась что-то рассказывать. Та так и прыснула. Они поехали рядом. Обе заливались смехом, оборачивались, подъезжали снова, останавливались, делали вид, что готовы позировать, и опять обманывали, срываясь с места в решающую минуту. Но портрет степной жеманницы он все же набросал. Иакинф вытащил его из сумки. В бледном свете звезд черты ее казались мягче и тоньше, они напоминали чем-то облик Наташи. Или это ему только кажется?

Как-то неприметно для него самого Наташа уходила в былое, становилась предметом щемящих сердце воспоминаний. Они были еще живы, отнюдь не сменились равнодушным забвением, сердце было полно нежности к ней, нежности и боли. Но это лишь воспоминания.

Проснулся он оттого, что замерз.

Иакинф открыл глаза и увидал луну, висевшую высоко-высоко над притихшей степью. Звезды, такие яркие и крупные, когда он засыпал, будто побледнели и поредели теперь. Их почти не было видно. Небосклон стал легок и светел. Иакинф поднялся и не узнал степи, на которой раскинулся стан. Совсем не видно было, где кончалась земля и начиналось небо. Покрытая инеем трава, войлочные юрты, соломенные циновки, которыми были обиты кузова телег, поблескивали, словно отлитые из серебра.

Какое-то давно, наверно с самого детства, не испытанное чувство вдруг овладело им. Живо вспомнились младенческие годы, родное село, такая же вот ночь, таинственный и легкий свет, проникавший в комнату сквозь крохотное оконце. Отчетливо помнит он, как вскочил тогда с постели и подошел к окну. Высокая луна сияла на небе. Серебрилась в ее призрачном свете тесовая церковь с жестяным куполом. Он помнит, как вскрикнул тогда от неожиданности, — должно быть, никогда не видал до того луны, и сердце сжалось от какого-то сладостного и вместе грустного чувства, название которому он и сейчас не в силах подобрать, хоть и испытывает нечто подобное.

Иакинф вошел в юрту, опустил полог и лег, но долго еще не мог уснуть…

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

I

И снова в путь.

В первые дни Иакинф еще не чувствовал себя на чужбине, и самый стан их больше напоминал ему странствующий цыганский табор, нежели караван, пересекающий монгольские пустыни.

Да, впрочем, и не было пока этих пустынь. Беспрестанно, хотя и не всегда приметно, подымаясь от самой границы, он не видел тут большого различия со знакомым уже Забайкальем. И сам он чувствовал себя не христианским проповедником, следующим во главе духовной миссии в чужую, неведомую страну, а скорее вольным цыганом.

И выбирали они для своего табора, подобно этим бродячим скитальцам, привольные места на лесной опушке, на берегу бегущего по камешкам ручья или ворчливой речки.

Так было почти до самой Урги. Пресной воды и сочных трав было тут хоть отбавляй. Первым делом по приезде на очередную станцию было искупаться. Соскочишь с коня, бросишься в студеную воду, и усталости как не бывало. После купания можно

часок побродить по окрестностям, а потом собраться к костру на походный ужин и обед вместе…

Запомнилась ему переправа через реку Ирол. К берегу ее подъехали уже ввечеру и решили тотчас переправляться, чтобы разбить стан на том, на южном, берегу.

Ирол — река небольшая. Но от шедших тут все лето дождей она разлилась саженей на сто и была теперь шириной чуть не с Волгу.

Как же через нее переправиться? Ни парома, ни лодок.

Правда, у обросшего тальником берега было привязано несколько сплоченных попарно сосновых бревен, выдолбленных наподобие скотских корыт. Монголы называли их батами.

Неужто и в самом деле придется грузиться на эта поплавки?

Иакинф скинул рясу, раздвинул заросли тальника и спустился в воду.

Темная и стремительная, она обожгла ноги. Под ступней скользили гладкие, отполированные течением камешки. Он нагнулся и зачерпнул со дна целую пригоршню. Серые, буровато-красные, зеленые, как малахит, чуть желтоватые, совсем прозрачные, они переливались на ладони, как драгоценные, пока не высохли.

Иакинф взял с бата шест и решил промерить дно. Почти до середины реки было лишь по пояс. И все же течение сбивало с ног, и без шеста идти вброд было бы трудно.

Тем временем подошли к берегу верблюды поотставшего обоза, и, когда все собрались, началась переправа.

Руководить ею следовало бы приставу, но Первушин успел хлебнуть лишнего, и довериться его распоряжениям было опасно. Он орал на растерянных монголов или, размахивая саблей, носился, по берегу, давая указания одно нелепее другого.

Подбежав к обозу, Первушин приказал немедля развьючить всех верблюдов. Но это надолго задержало бы переправу. И Иакинф, невзирая на брань разбушевавшегося пристава, отменил его распоряжение.

Приискав ниже перевоза место помельче, Иакинф велел перегнать вброд верблюдов, навьюченных грузами, подмочить которые было не опасно.

Важнейшую же кладь приходилось, однако, переправлять на батах.

На каждом бате было по двое монголов. Совершенно голые, они входили в воду, ставили свой поплавок торцом к берегу, удерживая его в таком положении, пока другие надвинут на него телегу оглоблями вперед. Телега ложилась днищем на бревна, а колеса по самую ступицу погружались в воду. На бате оставалось

ровно столько места, чтобы поместиться двум перевозчикам — одному спереди, другому сзади.

Сердитая река плескалась и обдавала телегу брызгами.

Монголы схватили длинные шесты и, упираясь ими в дно, направили бат против течения. Орудовали они шестами с удивительным проворством, неторопливо и размеренно, не поддаваясь стремительному течению, которое, зазевайся они хоть на миг, унесло бы их вниз. Держались они на мокрых и склизких бревнах так твердо, словно их босые ноги были намертво привинчены к ним.

Иакинф залюбовался их красивыми и слаженными движениями.

Не раз ему становилось страшно за них: один неверный, неосторожный шаг — нога соскользнет с мокрого бревна и перевозчик полетит в стремнину. Но это им, должно быть, и в голову не приходило: на лицах монголов не было и тени страха, в движениях — ни малейшей торопливости; они мерно отталкивались шестами, словно играючи, а бат между тем не плыл — летел наперерез течению. Или это только казалось оттого, что вода так стремительно катилась мимо?

— Ну и молодцы же эти мунгалы! — проговорил какой-то казак на берегу.

— Да-а! Ловко работают, — поддержал другой.

И на других батах перевозчики орудовали шестами с той же, почти нечеловеческой, ловкостью. Змеились мускулы на их бронзовых телах, и утлые суденышки уверенно резали воды своенравной реки.

Иакинф привык к тому, что монголы любили погорланить, но тут вовсе не слышно было криков; лишь изредка то один, то другой подавал негромкую команду, уверенный, что тотчас будет понят товарищем.

Иакинф переплыл реку туда и обратно, он вглядывался в скупые четкие движения перевозчиков, вслушивался в нечастые короткие команды — ему захотелось попробовать и самому. Он сбросил рясу, усадил недоумевающего монгола в повозку, взял у него шест и стал вместо перевозчика на корме. Монгол что-то кричал, но Иакинф бросил тому, что на носу: "Хок!" — и оттолкнулся шестом от берега. Суденышко послушно подалось вперед.

Кося глазом на бат, плывший поодаль, чуть вправо от него, и стараясь подражать движениям перевозчика, стоявшего там, Иакинф отпихивался шестом. Скоро о этом подглядывании не было уже нужды. Руки сами отдавались четкому, хоть и непривычному ритму, он ловил короткие, но властные команды

своего неожиданного компаньона и сам подавал их, когда требовалось. Больше всего его беспокоило, как бы не поскользнуться и не сорваться с бревна.

Вот уже всего лишь несколько сажен оставалось до того места, где плывший впереди бат сделал поворот. Раз, два, раз, два!.. Иакинф перешел на другую сторону, крикнул носовому: "Хок!" — оттолкнулся шестом, и бат послушно развернулся и поплыл, чуть наискось, к противоположному берегу.

Зашуршали по прибрежным камням бревна, завертелись колеса, и бат уткнулся в берег. Иакинф соскочил в воду, удерживая бат против течения, пока монголы вытаскивали на берег телегу.

Чуть пошатываясь, Иакинф сошел на берег.

— Ай да батюшка! Сущий черт в рясе, — шепнул стоявший на берегу казак товарищу.

— Сайхан, сайхан! Молодец! — говорил между тем Иакинфу перевозчик, и это было для Иакинфа высшей похвалой. Давно уже он не испытывал такого удовлетворения.

Иакинф спустился вниз по берегу, туда, где переправлялись вброд верблюды.

В самом глубоком месте над водой возвышались только высоко вскинутые морды степных гордецов да покачивались между горбами вьюки.

Переправа продолжалась почти до полуночи…

II

Утром на зорьке Иакинф со студентом Силаковым и казаком Родионом пошел порыбачить.

Было свежо. Над рекой клубился пар. Рыба резвилась. То тут, то там раздавались шумные всплески…

Рыболовы устроились поодаль один от другого, повыше вчерашней переправы, и забросили удочки.

Не прошло и минуты, как поплавок задрожал и скрылся под водой. Иакинф тотчас плавно подсек, с наслаждением чувствуя, как напряглась леска и в глубине упружливо закружила рыба. Он вскочил и, осторожно подведя рыбу к берегу, рывком выбросил ее на песок. Словно казачий тесак, сверкнул на солнце огромный сиг.

Такого клева Иакинф еще не видывал. То и дело он вытаскивал то сига, то ленка, то чебака. А Родион еле вытащил молодого тайменка. Но в самый разгар лова на берег прибежал встревоженный станционный цзангин.

— Нельзя! Нельзя! — испуганно повторял он, размахивая

руками и показывая на рыбу.

Иакинф не мог понять, что случилось и почему нельзя.

Наконец явился переводчик и сказал, что станционный начальник обращается к русскому да-ламе (Иакинф уже успел привыкнуть к этому титулу — "большой лама", которым его величали монголы) с покорнейшею просьбою, чтобы они перестали ловить рыбу.

— Отчего нельзя? — полюбопытствовал Иакинф. — Ее ведь тут пропасть!

— А как же? — удивился цзангин. — Рыба — существо живое! Да, может, душа у нее в будущем существовании в человека переродится или в прошлом была уже человеком и за грехи в воду низринута.

Ах вот, оказывается, в чем дело! По монгольским представлениям, заимствованным вместе с шакья-муниевой верой из Индии, всякое живое существо почитается неприкосновенным. Как же он об этом забыл! Иакинф приказал прекратить ловлю.

— Да бросьте вы его слушать-то, ваше высокопреподобие! — взмолился казак. — Эдакого рыбистого места я отродясь не видывал!

— Нет, нельзя нарушать их обычаи. И потом — рыба не хлеб, ею сыт не будешь, — отшучивался Иакинф.

— Дал бог рыбку — даст и хлебца. Да не слушайте вы этого идола!

— Нет, нет, вываливайте все обратно в реку! Со своим уставом в чужой монастырь не ходят.

— Ваше высокопреподобие! — не унимался казак. — Да рука же на такое не подымется. Право слово, на подымется! Ведь рыба в руке — не в реке.

— Нет, нет, и не проси, Родион. Нельзя их обижать. Они тут хозяева, а чей берег, того и рыба. — И Иакинф приказал бросить всю неснулую рыбу обратно в реку, хоть ему и самому жаль было с нею расстаться. Какая бы уха получилась!

— Ну хорошо, господин цзангин, а как же быки да коровы, которых вы режете? — спросил он набожного цзангина. — А овцы? Ведь шубы да шапки вы из овчич шьете?

Цзангин молчал.

Да и в самом деле, что мог он ответить, как согласовать с этим буддийским представлением о неприкосновенности всего живого то поразительное хладнокровие, с которым каждый монгол, не исключая и лам, расправляется с домашними животными? Но что поделаешь, когда мясо — чуть не единственная пища в монгольских степях, а шкура животного — самая надежная защита от стужи?

А впрочем, разве нет в христианстве подобных противоречий? Разве не повелел господь человеку обрабатывать землю и питаться только тем, что она производит? "Вот я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на земле, и всякое древо, у коего плод древесный, сеющий семя; и да будет сие в пищу вам", — пришли на память знакомые слова из Книги бытия. А первые люди? "И был Авель пастырь овец, а Каин был земледелец". Ко ведь, наверно, не для того же стал Авель пастухом, чтобы любоваться кроткими овечками, а самому играть на свирели!

"Не убий!" — учит Священное писание, а как же поступает сам господь бог? "И сделал господь бог Адаму и жене его одежды кожаные и одел их". Следственно, убиение ни в чем не повинных животных было освящено самим господом богом, так что же требовать после этого от полудиких монголов?

Отправляясь теперь проповедовать язычникам христианское вероучение, Иакинф все чаще задумывался над его глубокими противоречиями.

Он чувствовал, как все меньше остается в нем той безотчетной веры, которой он был преисполнен в юности. Чем больше вчитывался он в разноречивые строки Священного писания, чем ближе сталкивался с жизнью духовенства, тем неотвратимее таяла в нем эта вера. И все же ему трудно было с нею расстаться. Он судорожно цеплялся за учение Христа, которое призван был нести в чужую языческую страну. В его раздумьях о боге важное место занимал образ Спасителя, всегда его привлекавший. Но ведь и самого Христа порой одолевали сомнения. А его последователи нередко просто делают вид, что верят или хотят верить, как он сам.

Вот уже сколько веков, как христианство стало главенствующим вероучением у него на родине. А видел ли он хоть где-нибудь в своей стране осуществление Христовых заповедей? Да и где искать их? В установлениях и законах? Их нет там, законы наши проникнуты духом не христианской любви к ближнему, а неправого неравенства. Нет и в помине учения Христа и в нравах людей, почитающих себя христианами. Нравы эти насквозь пронизаны себялюбием.

"Со скорбью будешь питаться от земли во все дни жизни твоей, в поте лица будешь есть хлеб твой", — опять пришли на память знакомые слова. Но почему же кара сия, которую господь бог наложил на весь род человеческий, не распространилась на всех? Ежели поселяне и взабыль в поте лица едят хлеб свой и тем искупают прегрешения Адамовы, то разве относится сие к их хозяевам? А жирные лаврские монахи? Эти ежели и потеют, то разве что от собственного жира! И уж вовсе не скорбный труд по

добыванию пищи заставляет их орошать потом хлеб их насущный, данный им днесь!

Да и не хлебом единым насыщают они чревища свои! Он-то уж знает, что у редкого монаха не найдется за образом и водочки (коя зовется на монашеском наречии живою водою), и ветчинки.

И хоть сказано в Священном писании, что легче верблюду пролезть в игольное ушко, нежели богачу в царствие небесное, это мало смущает людей, именующих себя христианами. И не богатство, а, скорее, бедность почитается у них пороком. Так где уж тут считаться с христианскими заповедями, и главной из них — любовию к ближнему! Недаром в таком ходу пословица: от трудов праведных не наживешь палат каменных!

Сколько он насмотрелся на богачей и в Сибири, да и раньше в Казани! Ни с чем не считаясь, разоряя сотни, а то и тысячи ближних своих, напролом идет к заветной цели какой-нибудь купчина, сколачивает огромное состояние, а потом, уже на склоне лет, начинает грехи замаливать. Строит храм господень или отливает какой-нибудь диковинный, в полтыщи пудов, колокол, крохи от несметных богатств своих раздает нищим. Искренно верит, должно быть, что молитва и милостыня суть два крыла, на которых человек к небу возлетает. Кто это — Сибиряков или Чупалов — говорил ему в Иркутске: нищие суть ходоки наши пред царем небесным?

III

Иакинф не упускал случая расспросить монголов о шакья-муниевой вере, которая так распространена в монгольских степях. Тут ведь едва ли не половина всех мужчин ламы. Во всяком случае, каждого второго сына, как он слышал, монгол непременно отдает в это сословие.

Еще в Иркутске отец Иакинф стал записывать китайские и монгольские слова. Но как беден пока его словничек, как досадует он на свое бессилие разговориться с хозяевами монгольских степей, а единственного дельного переводчика, умеющего говорить и по-монгольски и даже по-китайски немного, пристав не отпускает от себя.

Но, когда и случалось переводчику быть рядом, выведать что-нибудь у монголов об их вере было не так-то просто: сопровождавшие миссию от самой границы проводники лопотали в ответ что-то и вовсе невразумительное. Решив, что степному духовенству, которое окружено тут таким почтением, надлежит быть образованнее и понятливее простых пастухов, Иакинф стал обращаться с расспросами к ламам, стекавшимся к их каравану на

каждом стане, но очень скоро убедился, что они отличаются от простого народа только тем, что наголо бреют себе головы да одеваются в платья желтого, а не синего цвета. Вся их ученость ограничивалась, по-видимому, знанием нескольких буддийских молитв. Не раз Иакинф просил встречных лам прочесть какую-нибудь монгольскую или тибетскую надпись на каменных бабах и стелах, попадавшихся на пути. Но ламы только разводили руками да, перебирая четки, без конца повторяли свою магическую формулу "Ом мани падме хум", значения которой, оказывается, никто из них не знал.

— Не ведом и не должен быть ведом человеку смысл этих священных слов, — только и слышал Иакинф в ответ. — В звуках сих заключена волшебная сила… Всемогущему будде угодно, чтобы тысячи раз на день повторяли верующие эти священные слова…

Так больше Иакинф ничего и не добился.

А через несколько дней, когда их караван расположился станом на берегу темноводной реки (она так и называлась Харагол, что значит Черная), приветить российских путешественников пожаловал владетель окрестных кочевий. То был не простой лама, а настоятель расположенного поблизости монастыря, человек книжный, побывавший, как выяснилось, в самой Лхассе, Монголы величали его почтительно ихэ-ламой.

Иакинф условился с Первушиным, что тот поедет сегодня во главе каравана, а сам он будет его замыкать. Как ни ворчал, пристав, оставил Иакинф при себе и его переводчика. А переводчик у того был изрядный, не чета другим толмачам. Звали его Никанором. Человек пытливый и грамотный, из коренных забайкальских казаков, уже немолодой, с густой, словно присыпанной солью, кудреватой бородой, он не раз бывал в монгольских степях, сопровождая курьеров сибирского генерал-губернатора, и с посольством графа Головкина в позапрошлом году сюда ездил. За время своих поездок он узнал кое-какие монгольские обычаи, относился к монголам уважительно и легко находил с ними общий язык.

Утро было тихое, ясное. Вышедшая за время летних дождей из обросших тальником берегов река спокойно катила свои холодные темные воды.

Обрадованный тем, что можно будет провести тут часа два-три, дав каравану уйти подальше, Иакинф усадил почтенного ихэ-ламу на ковер, расстеленный на берегу, сел с переводчиком чуть поодаль и после обычных восточных учтивостей принялся за расспросы.

Начал он с того, что попросил рассказать, почему так много у

них лам и что означает самое слово "лама".

Ихэ-лама, коренастый, упитанный монгол с круглой, как арбуз, бритой головой, широким, сливающимся с надбровьями носом и живыми узенькими глазами, на минуту задумался и потом стал объяснять.

"Лама", оказывается, слово не монгольское, а тибетское, и означает оно "духовная мать"… Оттого, что люди, в сей сан посвященные, по-матерински должны любить всех людей и всех тварей животных, заботиться о сохранении и спасении оных. Печься о них, как мать о детях своих печется…

Рассказывал ихэ-лама обстоятельно, не торопясь. Ему, должно быть, приятно было, что важный русский монах, едущий с многолюдной свитой в Пекин, расспрашивает о его вере и слушает с таким вниманием.

Жаль только, вести беседу приходилось через переводчика. А какой ни дельный переводчик был Никанор, и ему переводить слова ихэ-ламы было нелегко. То и дело он перебивал ихэ-ламу, просил повторить сказанное, порой между толмачом и рассказчиком начинались долгие препирания, в которых Иакинф при всем старании не мог разобрать ни слова. И нередко после такой долгой и трудной беседы Никанор только тяжело вздыхал, беспомощно разводя руками.

— Уж не знаю, ваше высокопреподобие, как и пересказать вам его слова. Больно уж все мудрено. Да для многих его речений я и слов-то подобрать не могу. Все, все, все, что есть, — Никанор сделал широкий круг руками, словно обнимая небо и землю, — на два царства, а лучше сказать, на два особливых мира делится. На мир духовный — нирвана по-ихнему — и царство плоти. Нирвана эта ихняя — извековечна. Ни конца, ни предела будто она не имеет. А все, что из плоти, — временчиво и, рано или поздно, непременно должно разрушиться. Обличья мира плотского (сансарой они его прозывают) зыбучи — будто песок в Гоби. И вот, ваше высокопреподобие, пока человек во плоти, пока плоть над ним властвует, мечется он, будто овод над скотиной, плутает, словно слепая лошадь по степи…

— Короче сказать, удел человека — суета, мучения к страдания. Так? И каждый человек от рождения обречен на страдания и не в силах от них избавиться?

— Не знаю, право, как бы повернее передать вам его слова, ваше высокопреподобие, — вздыхает переводчик, выслушав пространный ответ ихэ-ламы. — Пока душа связана телом, она страждет — алчет жизни и трепещет смерти. И весь-то век живет человек под неизбывным страхом смерти. Желания у него переменчивые и неудоволенные. Вот и выходит, что сама-то

жизнь человечья и рождает страдания. Оттого-то, говорит он, и надобно каждому целью себе положить избавиться от телесных, плотских желаний.

Иакинф слушал и поглядывал на этого дородного, видно любившего поесть, ихэ-ламу, чем-то неуловимо напоминавшего ему архимандрита Сильвестра. Ну уж сам-то он вряд ли станет сдерживать свои желания, невольно подумалось Иакинфу.

— Ежели человек ведет жизнь непорочную, добродетельную, — доносилось между тем до него, — он может заслужить счастливое перерождение в будущем. В этой жизни он нищий пастух, а в будущей — владетельный князь или, скажем, просвещенный лама.

Иакинф внимательно слушал, стараясь уловить главное в пространных объяснениях степного вероучителя. Пока Никанор, отирая пот со лба, старательно переводил слова ихэ-ламы, тот неторопливо набил крохотную нефритовую трубочку на длинном, четверти в три, чубуке и почтительно, обеими руками протянул ее Иакинфу. Таков уж степной обычай. Иакинф вежливо поблагодарил, тайком, чтобы не обидеть ихэ-ламу, вытер мундштук полой рясы и с наслаждением затянулся. Потом выколотил трубку, набил ее своим табаком и со всей возможной почтительностью вернул трубку хозяину. Тот затянулся сам и, выждав, когда переводчик умолк, продолжал свой рассказ. И опять не раз приходилось прерывать размеренный поток туманного степного красноречия, чтобы добраться до его смысла.

Из рассказа ихэ-ламы выходило, что божественный дух рассеян по миру мельчайшими частицами. И в каждом человеке есть толика этого божественного начала. Но есть в нем и исконная наклонность ко злу.

Иакинф задумчиво смотрел на реку, по которой стаями плавали утки и тюрпаны. По отмелям расхаживали важные, совсем непугливые журавли. Вдруг где-то рядом раздался выстрел, и птицы разом поднялись, послышался плеск взбаламученной воды, шум и свист сотен крыл, разрезающих воздух, и на солнце заискрился радужный ливень — видно, каждая птица, взмывая ввысь, захватывала на крыльях хоть несколько капель и роняла их на лету. Иакинф вскочил и огляделся. Шагах в двадцати ниже по течению стоял казак с дымящимся ружьем в руке.

Иакинф укоризненно покачал головой, показывая глазами на сидящего на ковре ихэ-ламу.

— Так я же не в них и стрелял-то, ваше высокопреподобие, просто надумал пугнуть, — оправдывался казак. — Вовсе непуганые. Подпускают к себе близехонько. А пальнул, так

видели — разом все взмыли.

Иакинф вернулся к ихэ-ламе.

— Вот и к убийству, — переводил его слова Никанор, — влечет человека плоть. И единственно, кто может смягчить его сердце, — лама. Это его добрый друг. Про доброго друга он особливо подробно рассказывает, — пояснил переводчик. — Будто необходимо надобен он человеку — как проводник при путешествии по незнакомой стороне, как кормчий при переправе на бате через многоводную реку.

Спасение человека, по словам ихэ-ламы, в постоянном общении с этими добрыми друзьями. На земле — это ламы. На небесах — бодисатвы и будды. Их тьмы и тьмы. Они могут являться в мир и в образе человека. Но на земле самый близкий, а потому и самый полезный человеку добрый друг — лама. Только освещая путь свой светом его наставлений, может человек надеяться на счастливое перерождение после смерти.

— Вот оттого-то так много у нас лам, — заключил ихэ-лама. — Дабы каждый мог обратиться к ним за поучениями.

— Спроси у него, Никанор: чему же учит человека лама?

И опять долгая беседа Никанора с ихэ-ламой и короткий перевод:

— Перво-наперво — избегать черных грехов и следовать белым добродетелям.

— Так расспроси же, расспроси, что это за черные грехи и белые добродетели?

— Десять черных грехов человеческих делятся на три разряда. Первый — это грехи тела: убийство, воровство, блуд, — перечислял ихэ-лама, загибая пухлые пальцы. — Ко второму разряду принадлежат грехи языка: ложь, клевета, злословие, суесловие. К третьему — грехи, совершаемые мыслью: зависть, злоба, неверие или ересь.

При этом, как понял Иакинф, самый главный из всех черных грехов — неверие или ересь. Только тот, кто верует в будду, может надеяться достигнуть святости. Все прочие, не знающие истинной веры, хоть и имеют образ человечий, но свойства их не превосходят свойств животного.

— Выходит, и я тоже? — спросил Иакинф, протягивая ихэ-ламе табакерку.

Тот взял щепотку табака, набил трубку и, пряча глаза, ответил:

— И ты тоже.

— Но я ведь священнослужитель, и ваши соотечественники меня тоже да-ламой — большим ламой — величают.

— Те, кто перед другим вероучением благоговеет или его

проповедует, святости не достигнут. Все они обречены на вечные страдания. После смерти душа человека, исповедующего ложную веру, может за грехи возродиться в теле какого-нибудь зверя или насекомого. Да вот хоть бы его, — кивнул он на кружащегося над лошадью огромного зеленоглазого овода.

— Ох-х как страшно! — вздохнул Иакинф. — Выходит, ежели я хочу достигнуть блаженства и святости, мне тоже надо в вашу веру обратиться?

— Да! — убежденно сказал ихэ-лама. — И чем скорее, тем лучше!

Вот и тут, как и у нас, одним из самых тяжких грехов почитается ересь, думал Иакинф, слушая ихэ-ламу. Отчего же всем религиям так присуще это отсутствие веротерпимости, отчего так яростно нападают священнослужители на инакомыслящих и инаковерующих? Требуют, чтобы люди веровали не вообще в бога, а в своего или в своих. Да, нелегко будет вести в Китае проповедь Христова учения. А ведь, в сущности, как много общего между ламаизмом и христианством. И тут, и там — вера в воздаяние. Воздаянием за дела греховные будет мучение: у христиан — в аду, а у ламаитов — перерождение после смерти в низшие существа. Как это говорил ихэ-лама? Умерев, человек может возродиться верблюдом или шакалом, журавлем или тарбаганом. Наградою за дела добродетельные будет блаженство: у христиан — в раю, а у ламаитов — в будущих счастливых перерождениях. Каждое одушевленное существо, как говорит ихэ-лама, пройдя через длинную цепь перерождений, может достигнуть святости и наконец раствориться в нирване…

Но прежде ему предстоит еще пройти десять областей бодисатв. Как они называются? Нескверная, радостная, освещающая, лучезарная, страна далеко отошедших… Всех и не запомнишь…

А ихэ-лама все рассказывал и рассказывал:

— Бодисатвы первой области могут в один миг получить сто созерцаний… Отверзать сто врат священного учения… показывать сто превращений в своем теле…

В каждой следующей области эта способность умножается вдесятеро. Бодисатвы десятой области могут из каждой поры своего тела испускать различных хубилганов в образе человека и при посредстве их нести в мир священное учение…

Как же это буддийское вероучение расцвечено необузданной фантазией, размышлял Иакинф, переплелось с самыми наивными суевериями!

Еще выше этих десяти областей с бессчетным числом

бодисатв находятся тринадцать царств, в которых обитают будды, тоже обладающие свойствами превращения. Как и бодисатвы, они могут являться на землю в образе человека. Вот верховный монгольский первосвятитель Хутухта, пребывающий в Урге, это и есть живой будда, вернее, его хубилган — живое воплощение одного из будд. Пантеон ламаитов — это целый сонм бодисатв и будд с бесконечной вереницей их превращений. И сам Шакья-Муни, оказывается, был только одним из множества будд в образе человека…

Долго еще продолжалась эта беседа на берегу Хара-гола.

Но пора было ехать.

Иакинф тепло распрощался с ихэ-ламой, одарил его по степным обычаям подарками, вскочил на свою низкорослую, как все монгольские лошади, чубарую кобылку, и они с Никанором и сторожевым казаком поскакала догонять ушедший вперед караван.

ГЛАВА ПЯТАЯ

I

Ехали до Урги еще целую неделю, но Иакинф и не заметил, как она промелькнула.

Почти до самой столицы Северной Монголии дорога шла по взгорьям и увалам. Лишь время от времени они перемежались волнистыми долинами. Горные хребты бесконечными изломанными цепями вырастали на пути. Отроги их наполняли обширное нагорье, и, на какую бы самую высокую вершину путники ни поднялись, кругом синели только горы и горы, громоздясь одна над другой.

Это вздыбившееся море округлых гор было так высоко вскинуто к небесам, что облака цеплялись за вершины. Горные склоны обросли вековыми соснами и березами. В лесах бродили стада диких коз и изюбрей.

Ехавший большей частью верхом, Иакинф иногда не выдерживал, доставал из повозки ружье, подаренное Вонифантьевым, и, стараясь не замечать косых взглядов китайского пристава и собственных монахов, гонялся за сернами.

Как-то раз, поотстав от каравана, он наткнулся на свою капризную натурщицу. Заметив его, та хлестнула коня.

Иакинф пустился вдогонку.

Догнать ее было нелегко. Монголка мчалась, не разбирая дороги. Порой она оборачивалась, дразня его белозубой улыбкой. Иакинфу казалось, что она смеется над ним. Громко, раскатисто хохочет. Хохочет ее гибкое, пружинящее на скаку тело, хохочут прильнувшие к шее коня плечи, развевающиеся на ветру ленты островерхой шапки и даже круп ее горячей, лохматой кобылицы. Все же в ущелье, заросшем жимолостью и черемухой, Иакинф настиг беглянку и схватил под уздцы ее лошадь. Всадница соскочила с седла и побежала к кустам. Иакинф бросился наперерез.

Еще билась по жилам от скачки и бега кровь, а его затопила невесть откуда нахлынувшая радость.

Казалось, еще какой-то час назад этой степнячки не существовало вовсе, но вот мелькнула на солнце ее будто слитая с конем фигура, сверкнула белозубая улыбка, и он почувствовал, что не в силах обойтись без нее…

Иакинф не знал, сколько времени они провели тут. Уже зацокали копыта ее лошади, а он все лежал на траве, не в силах превозмочь блаженной усталости. Сквозь горловину ущелья

доносился запах чебреца и мяты. Странное чувство владело им. Что ему до этой случайно подвернувшейся смешливой наездницы? У него было такое ощущение, что и не ее вовсе обнимал он минуту назад. После отъезда Наташи не раз говорил он себе: женщины для него больше не существуют. Впрочем, так же думалось ему и в Казани, когда он навсегда потерял Таню. А вот явилась эта степная кочевница, и исчезли вмиг и Наташа и Таня. И в прах развеялись все его зароки. Он понял: есть женщины лучше и хуже, дальше и ближе, белые и желтые, просвещенные и невежественные, себялюбивые и самоотверженные, но нет женщин ему безразличных. Мир без них пуст. Они источник радости, самой могучей и властной на земле… А эта сродни диким и знойным своим степям. Любовь ее неистова и яростна, как ливень, даром что нет у нее ни изысканных манер, ни пленительных покровов…

Он лежал, закинув руки за голову и закрыв глаза. Вдруг, приоткрыв веки, он увидел прямо над собой куст красной смородины. Хоть и стояла уже осенняя пора, все вокруг было усеяно маленькими рдяными гроздьями. Иакииф потянулся и набрал целую пригоршню освежающе-кислых ягод. Но даже не вкус смородины был особенно приятен, а сам вид ее. Словно детством пахнуло. Сколько он поел этих ягод в отцовском саду на берегу родной Коняры! А слово-то какое: с_м_о_р_о_д_и_н_а!

Он вскочил в седло. Застоявшаяся лошадь неудержимо рванулась вперед. Стоило только Иакинфу отпустить повод, как она сорвалась с места и, словно пущенная с тетивы стрела, понеслась по долине.

Иакинф скакал, догоняя ушедший вперед караван, а до боли родное слово так и вертелось на языке; "Смородина, смородина, смородина!" — без конца повторял он.

Вскоре начался крутой подъем на песчаное взгорье, и Иакинф натянул повод, заставив лошадь идти рысью. Но ненадолго. Руки устали тянуть поводья, он задумался и не заметил, как она опять перешла в галоп.

С легкостью птицы взлетала горячая лошадка по крутым склонам на вершины холмов и все с той же неудержимой стремительностью неслась по зажатым между скал расселинам, не разбирая дороги. Иакинфу, казалось, что не лошадь несет его, а сам он переносится на трепещущих крылах с вершины на вершину.

II

Иакинф не уставал вглядываться в открывающуюся перед ним

страну.

Бахромой вился по отрогам скал персиковый кустарник, а пониже, в тесных лощинах, — заросли алтаганы, как зовут монголы золотарник.

У подножия хребтов — слегка всхолмленные долины, словно выцветшим бархатом, затянутые пожухлой травой. Дикий лук, чеснок, давно отцветшие маки. Пахнет чебрецом и полынью. И ни души кругом. Только изредка заметит глаз отару черноголовых монгольских овец да несколько дымящихся у самого окоема юрт…

И все же, если присмотреться, жизнь кипит и в этих забытых богом волнистых степях. То и дело с треском взлетают из-под копыт кузнечики. Остановишь коня, прислушаешься, и станет ясно — сонмы их скрываются тут, в травяных зарослях. Вот засвистел, поднявшись на задние лапки, тарбаган, а совсем рядом вьется целый рой темно-бурых, почти черных, бабочек-сатиров.

И снова горы. В прихотливом беспорядке разбросанные кругом скалы похожи на развалины каких-то неведомых, фантастических замков, что как гнезда хищных птиц лепились по утесам в те далекие сказочные времена, когда на земле жили еще богатыри и волоты. Порой Иакинф чувствовал себя маленьким и неприметным посреди этого нагромождения скал и неоглядных пустынных степей. Ему казалось — тут и теперь должны жить великаны, которые скачут на громадных, как слоны, конях и сражаются с крылатыми чудищами.

На самом же деле монголы вовсе не отличались высоким ростом, а лошади их все, как на подбор, были приземистые. И когда Иакинф, поотстав от каравана, смотрел на него издали, с какого-нибудь пригорка, ему казалось, что это не люди с лошадьми и повозками, а букашки ползут по степи.

Редкая горушка на пути не была украшена поклонным холмом, или обо, как его называли монголы.

Это были жалкие памятники степного суеверия. Не раз наблюдал Иакинф, как монгол, проезжая мимо такого обо, непременно слезет с коня, обойдет холм с юга н, оборотясь лицом к северу, совершит несколько земных поклонов, сотню-другую раз произнесет свое неизменное "Ом мани падме хум" и бросит в кучу то, что окажется под рукой, — два-три камня, кость или ветку, несколько пестрых лоскутков, обломок трубки. Чаще всего Иакинфу приходилось видеть на обо среди камней перевязанные цветными тряпками пучки конских волос, служившие, по-видимому, знаками молитвы набожного кочевника о сохранении животных — всегдашних его спутников.

Так, год за годом, маленькие поклонные холмы вырастали в

высокие курганы, заметные еще издали.

Вот и сейчас скакавшие впереди монголы спешились и один за другим сотворили перед обо молитвы. Один укрепил на вершине желтый платок с какими-то письменами, другой — пучок конских волос…

— Экие дикари, право, — возмущался ехавший рядом Первушин. — Ну с чего они перед каждой кучей камней поклоны бьют?

— Видно, хотят задобрить божество, отвести от себя напасти, от себя и от стада своего, — отвечал Иакинф.

— Да перед кем же они молитвы-то творят?

— Видите ли, Семен Перфильич, они верят, что, помимо бесчисленных будд и бодисатв на небе, человека и тут, на земле, окружает целое сонмище духов. Монгол убежден, что не только у каждого человека есть свой особливый хранитель, но и у каждого животного, каждого растения, у любой былинки он имеется. А есть еще и духи — покровители гор и рек, долин и урочищ! И всех их человеку надобно умилостивить, ежели хочет он быть счастливым в этой жизни и приблизиться к спасению в будущей!

— Тьфу! Вот ироды окаянные!

— Да чего ж тут возмущаться-то, Семен Перфильич! Человек везде одинаков. Вспоминаю, видел я в детстве, как чуваши-язычники своих богов и божков задабривали. Каких только богов у них не было! И добрые — во главе с Сюльдиторой — хранители людей и скота, жилищ и хлебов, пчел и всякого иного добра, и злые — во главе с Шуйтаном. И каждого надобно умилостивить жертвоприношениями и дарами.

— Так ведь всё одно дикари — что чуваши, что монголы, — пожал плечами пристав.

— А граф Потоцкий рассказывал, что и в Африке то же. Обитатели пустынь африканских убеждены в существовании верховной силы, непостижимой и всемогущей. Верят, что сила сия разлита во всех физических предметах. И чем величественнее предмет для глаза, тем в большем излиянии должен в нем обитать сей дух всемогущий. Потому-то и поклоняются всякой горе высокой, дереву тенистому, реке широкой.

— Вот я и говорю: дикари. Одно слово — дикари.

— Вы говорите: дикари. Перед какой-то кучей мусора поклоны бьют. А я, право, не нахожу большой разницы между такими вот обо и каким-нибудь величественным храмом Зевсу или Посейдону. И эти обо, и древние чувашские киремети, и самые пышные храмы современные с единственной целью возводятся — задобрить божество. Вот мы сих дикарей, как вы изволите выражаться, в многобожии упрекаем, а сами? Кому

только молитвы не возносят наши люди, почитающие себя христианами! И пресвятой троице, и пророкам, и апостолам, великомученикам и страстотерпцам, чудотворцам и угодникам…

Первушин с удивлением посмотрел на Иакинфа. "Ну и богохульник же этот отец архимандрит! — подумал он. — Чего только от него не наслушаешься!"

— Да вот спросите, кому они, ну скажем, против мора молятся, — предложил между тем Иакинф и подозвал ехавшего неподалеку казака.

Высокий, ладный казак с пышными, с проседью, усами на загорелом лице недоверчиво посмотрел на архимандрита.

— Святому великомученику Егорию, ваше высокопреподобие, — ответил он неохотно.

— Отчего же ему?

Казак замялся, но, заметив дружелюбный взгляд Иакинфа и поддаваясь его расспросам, мало-помалу разговорился:

— А оттого, ваше высокопреподобие, что господь бог ему на небесах такое назначение определил, чтоб, стало быть, кажный имел полную праву его против мору молить.

— А что же еще в ваших местах против мора делают?

— Много всякого, всего-то, ваше высокопреподобие, и не упомнишь. Вототки, наприклад, огня от спички самогарной зажигать нельзя. Огонь, как мор случится, только из дерева вытирать можно. По ночам девки сполох бьют, чтоб нечистую силу, стало, от скотины отпугнуть. От мора да хворобы кажный хозяин свой двор на бабе опахивает. А еще надобно на нагих бабах округ деревни борозду провесть. Старики сказывают, средствие это самое что ни на есть верное.

— Вот видите? — повернулся Иакинф к Первушину. — Другие народы в дикости обвиняем, а сколько у нас у самих этой дикости и суеверий? Не перечесть! Да и сам святой Егорий, которого в народе покровителем животных почитают, это, может быть, просто-напросто древний языческий Ярила. Как вы полагаете?

Первушин не ответил.

Некоторое время ехали молча.

Впереди на холме показалось новое обо. На сей раз груда камней окружала высокую сосну, должно быть особенно почитаемую монголами. Все ее сучья, каждая ветка были увешаны пучками конских волос и яркими цветными тряпицами.

— Вы не находите, что сии обо — неплохие указатели пути? — Иакинф повернулся к Первушину. — Торных дорог у них нет, а по этим обо с пути не собьешься.

— Да, да, пожалуй, вы правы…

— А не приходило вам в голову, Семен Перфильич, — снова заговорил Иакинф, — как надо понимать курганы, коими испещрены равнины Малороссии и Приволжья?

Первушин пожал плечами.

— Не вещают ли они позднему потомству, что и в наших местах за много веков до нас блуждали кочевые народы? Не они ли оставили нам памятники своей страсти к завоеваниям и своих обычаев?

— Все возможно, все возможно, — отвечал Первушин равнодушно. Чувствовалось, что вопросы эти не занимали его вовсе.

А вот Иакинфа все занимало. Чем дальше углублялся он в монгольские степи, чем больше беседовал с монголами, тем тверже укреплялся он в мысли, которая а прежде приходила ему в голову: самое главное во всякой религии, от самой возвышенной до самой грубой, — в ответе на вопрос; как жить тебе на земле и что станется с тобой после смерти?

И если Первушин видел в верованиях монголов одну лишь дикость, то Иакинф усматривал много поэтического и привлекательного в буддийском вероучении. Как, должно быть, заманчиво для верующих это обещание бесконечной цепи перерождений после смерти, о котором говорил ихэ-лама на берегу Хара-гола!

Все чаще последнее время — и в Тобольске, где у него было немало пустых, ничем не занятых часов, и тут, в монгольских степях, — задумывался Иакинф о жизни и смерти… Вот живет человек, к чему-то стремится, чего-то ищет, страдает, мучается и вдруг исчезает в небытии… Зачем же тогда дана ему эта жизнь, с ее волнениями, стремлениями, поисками? Чтобы обратиться в прах?.. И так будет и с ним?

А вот учение будды дает какое-то утешение, надежду. Как соблазнительно думать, что ты не исчезнешь, не растворишься в небытии, а только переродишься в новое состояние, что над тобою целые миры, где обитают духи, бодисатвы в будды и где нет лжи, зла и несправедливостей! И подлинный смысл жизни твоей в постижении жизни бесконечной.

III

На ночлег остановились у подножия хребта Гэнтэй, последнего перед монгольской столицей. Вечер был холодный. Откуда-то с гор дул сильный ветер.

Казаки разожгли костры, и скоро под чужим монгольским небом зазвучала родная русская песня.

Иакинф подошел к костру.

Запевал, оказывается, не казак, а причетник миссии Константин Пальмовекий.

Совсем молодой еще человек, лет двадцати с небольшим, он начал песню высоким и звонким тенором, но повтор пропел сильнейшим и таким густым и низким басом, что все так и ахнули. Сочетание было редкостное, во всяком случае, Иакинфу никогда не доводилось встречать ничего подобного. Да и все остальные с удивлением смотрели на певца.

А Пальмовский, закрыв глаза и обхватив руками колени, высоко вскинув красивую кудрявую голову, пел, словно забыв об окружающем, и песня так и лилась из его груди:

Уж ты поле мое, поле чистое,
Ты раздолье мое, ты широкое.

Вместе со всеми Иакинф подхватил:

Ты раздолье мое, ты широкое,
Чем ты, полюшко, приукрашено?

Песня взмывала в небо, звуки ее щемили сердце, протягивали невидимые нити к скрывавшейся за горами родине.

Иакинф прикрыл глаза и вместе со всеми подтягивал своим глуховатым баском:

Уж ты конь, ты мой конь, товарищ мой,
Ты ступай-беги во Русску землю,
Ты скажи-ка, скажи родному батюшке,
Поклонись-ка ты родной матушке…

Одну за другой заводили новые песни. К костру подходили монголы и, присев поодаль на корточки, тихо прислушивались к незнакомому напеву. Чувствовалось, что русская мелодия не противна их слуху.

— Подходите, подходите, присаживайтесь к огню, — приглашал Иакинф монголов на их родном языке.

Пошептавшись, они придвигались ближе к костру. По случаю холодной погоды Иакинф приказал обнести всех водкой.

— Может, тоже споете нам что-нибудь? — обратился к монголам Иакинф.

Упрашивать долго не приходится.

Самый молодой из монголов затягивает песню. Начинает он с низкой и протяжной ноты, но потом голос его постепенно

возвышается, крепнет, звуки песни, полные какой-то невыразимой тоски, замирают на самых высоких переливах. Песню подхватывают и остальные, она вырывается на простор, отдается в горах, то затихает, то обретает новую силу, уносится куда-то в ночь, и горное эхо повторяет ее печальный, как завывание осеннего ветра, напев.

Напев этот показался Иакинфу поначалу дик и резок, но мало-помалу слух привыкал к нему, сроднялся с новыми созвучиями.

Прислушиваясь, Иакинф находил в них какую-то своеобычную мелодию, свежую и сильную.

— Ишь как загнули, прямо за сердце берет, — сказал сидевший рядом пожилой бородатый казак Родион Хазаров.

— Да-а, трогательно поют, а о чем — неведомо, — задумчиво сказал Иакинф. — Худо без языка, худо.

— О лошади своей поют, ваше высокопреподобие, — сказал подошедший толмач. — Известно, народ кочевой, а без лошади в степи куда подашься?

Иакинф обрадовался, что Никанор оказался тут, и заставил его переводить каждую песню. "Рыжий конь идет бодрой иноходью… В свычном табуне нагулялся он… Как красив мой конь, с златой мастью гордый стан", — шептал тот на ухо Иакинфу.

Песни у монголов были просты, как жизнь, как суровая природа их. Пели они о кочевье своем, о коне — верном друге и товарище, о стадах — единственном их богатстве.

Но не только о конях были их песни.

Под конец молодой монгол завел песню о давно минувших временах. В ней несколько раз прозвучало страшное для русского имя Чингисхана. Он и по сю пору, оказывается, живет в памяти народной.

Толмач не успевал переводить, многих слов Иакинф не понимал, но в каждом звуке песни, кажется, вырывалась мысль, что теперь они уже не те, какими были в далекие времена Чингиса и Гесэра, что теперь они, бедные скитальцы, придавлены чужеземным китайским игом, без надежды стать вольными и свободными, как встарь.

Узкие глаза юноши горели, и Иакинфу казалось, что из них вот-вот хлынут слезы.

Чудо эти народные песни! Даже когда они так непривычны, как монгольские. Это — точное воплощение в звуке самого чувства, переполняющего сердце: радости и печали, тоски и надежды, любви и отчаяния. Да и как же иначе выразить их и передать другому? Песня — самое свободное, самое

непосредственное порождение народного духа.

И в песнях, которые слушал Иакинф сегодня, да и не только сегодня, а каждую ночь, засыпая под их тоскливый напев, как бы вставала перед ним сама история этого древнего, когда-то грозного и воинственного, а ныне смирного пастушеского народа, запуганного ламами, испытавшего множество страданий и бедствий, которые привели его дух в безотрадное уныние.

Скоро Иакинф привык к этим песням, они составляли едва ли не единственную его отраду во время почти четырехмесячного путешествия по Монголии. Особенно он любил прислушиваться к песням монголов ночью, когда они объезжали стан дозором. Как вплетались тоскливые эти напевы в мрачную тишину ночи, как щемили сердце тоской по родному краю!

ГЛАВА ШЕСТАЯ

I

Всю ночь дул сильный ветер.

На рассвете Иакинф взглянул на градусник, повешенный на шесте перед юртой. Он показывал восемь градусов мороза по Реомюрову исчислению.

Всюду, толщиной в несколько вершков, лежал снег. Заиндевевшие лошади рыли его копытами в поисках корма.

Иакинф умылся и растерся до пояса снегом.

Пора было ехать. До Урги оставалось верст двадцать пять, и хотелось добраться до нее засветло.

Дорога круто взбиралась вверх на перевал Гэнтэй — пожалуй, самый высокий из всех, какие им пришлось до того преодолеть. Дался он тяжело. Снег сделал дорогу скользкой. Навьюченные тяжелыми тюками, верблюды то и дело падали. Они надрывно ревели, словно жалуясь на непосильный труд. Иакинф уже давно приметил, что сии "корабли пустыни" — большие неохотники взбираться на крутые горы, а тут еще снег!

На самой вершине горы высилось огромное обо, воздвигнутое усердными почитателями хутухты — верховного монгольского первосвятителя.

Такого высоченного обо Иакинф еще не видывал. Впрочем, в этом не было ничего удивительного. Десятки тысяч монголов съезжаются ежегодно в Ургу на поклон своему духовному владыке, и каждый, проезжая, бросит что-нибудь на этот поклонный холм.

Пока монголы творили молитвы, Иакинф залюбовался

окрестностями. Моря он никогда не видел, но ему казалось, что картина, открывшаяся с перевала, похожа именно на море с гигантскими, хотя и застывшими, валами. Вдалеке виднелась долина Толы, на правом берегу которой, как ему объяснили, и раскинулась Урга. Повсюду белели юрты и майханы — холщовые палатки богомольцев, прибывших за благословением хутухты из далеких кочевий.

Спуск с хребта, пожалуй, не такой крутой, как подъем, но вся дорога была усеяна булыжниками и валунами — их, видно, снесли дождевые потоки. В заснеженных берегах дымилась немноговодная, но бурливая речонка Сельби. Из-за крутых излучин несколько раз пришлось переправляться через нее вброд.

Миновав перевал, они еще верст пятнадцать ехали покатой к югу лощиной, зажатой между высоких гор, обросших лиственницей, сосной и березой.

Чем ближе подъезжали к Урге, тем оживленней становилась дорога. То и дело навстречу попадались караваны верблюдов и конные монголы, возвращающиеся в свои кочевья.

На самом берегу, неподалеку от города, виднелся летний дворец хутухты, высоко вскинул он из-за белой ограды свои раззолоченные кровли. Но сама Урга показалась Иакикфу какой-то уж очень непривлекательной.

Они въехали в город широкой пустынной улицей, на нее не выходило ни одного здания, а только глухие заборы. Видно, для защиты от воров заборы были высоченные, сажени в три, а то и выше, из стоячих стволов лиственницы. Единственное, что разнообразило эти сплошные бревенчатые стены, — маленькие створчатые ворота, окрашенные в красный цвет.

Иакинф все ждал, когда же начнется город, ему все казалось, что они едут улицей предместья, но вот показалась пустынная площадь, и китайский пристав объявил, что это и есть самый центр Урги. Иакинф оглянулся вокруг. Над заборами, огораживающими площадь, — причудливые кровли да верхушки каких-то юрт. Это были, как пояснил переводчик, дворец хутухты и главные ургинские храмы. Вот, оказывается, и вся Урга. Иакинф ожидал от столицы монгольского ханства большего.

На площади караван свернул влево и, проехав еще версты две точно такой же улицей, какой они ехали до того, остановился у приготовленного для миссии подворья.

Стоявшие у ворот монгольские караульные с луками и колчанами за спиной разгоняли толпу, собравшуюся взглянуть на русских путешественников, по уставу китайского благочиния — плетьми.

За высоким частоколом скрывалось несколько дворов с

юртами для членов миссии и деревянным домиком для отца архимандрита.

II

Утром Иакинфа разбудили нестройные звуки рогов и гонгов.

Это было, как объяснил переводчик, уже бывавший в Урге, церемониальное шествие лам вокруг капищ, совершаемое ежедневно при большом стечении народа.

Иакинф быстро поднялся. Он решил было, захватив с собой переводчика и казака, осмотреть город. Но в одиннадцать часов утра предстояла аудиенция у вана, китайского наместника в Урге.

Встреча с ним давно занимала Иакинфа. Он был много наслышан об ургинском ване еще в Иркутске. Эго был владетельный монгольский князь, прямой потомок Чингисхана, по жене — ближайший родственник китайского императора и полновластный наместник его во всей Северной Монголии. Более пятнадцати лет бессменно сидел он в Урге. Через него осуществлялись все связи между двумя империями — Российской и Поднебесной.

Иакинф вспомнил о разговоре у графа Головкина. Юрий Александрович не мог спокойно слышать самого имени ургинского вана. При одном упоминании о нем в графе вскипала ярость. Еще бы! Ведь из-за вмешательства вана торжественный въезд в Пекин, к которому граф столь тщательно готовился, так и не состоялся — пришлось ограничиться унизительной аудиенцией у какого-то монгольского князька!

Князь Юн дун Дорджи, или Юн-ван, как его звали по-китайски, слыл искусным дипломатом. Во всяком случае, так отзывался о нем Вонифантьев. Служа долгое время при дворе, ван неоднократно встречался в Пекине с иностранцами — голландцами, португальцами, французами. Во время пребывания в Китае британского посланника, лорда Макартнея, ван был в церемониальном придворном штате императора и, говорят, немало способствовал неудаче английского посольства.

Как-то он встретит миссию? Прием, оказанный ваном Головкину, не предвещал ничего хорошего.

К визиту готовились тщательно: надо было не ударить в грязь лицом, поддержать престиж Российской империи и православной церкви. Вчера весь день отмывали дорожную пыль, утюжили рясы и мундиры; казаки скребницами и щетками чистили коней, драили сбрую и оружие.

В десятом часу явились двое чиновников княжеского ямыня {Ямынь — канцелярия, присутствие (кит.).} — учтивые китайцы с

непроницаемыми лицами. В парадных кафтанах с квадратными нашивками на груди и яшмовыми четками на шее, они приветствовали русского да-ламу с медлительно-церемонным изяществом. Приходили они и вчера допытываться у пристава, а чем именно состоят подарки вану от сибирского генерал-губернатора. По совету Иакинфа, Первушин отвечал, что сие ему неизвестно.

В половине одиннадцатого тронулись в путь, хоть до резиденции вана и версты не было.

Процессия получилась внушительной. Было чем полюбоваться зевакам, с рассвета толпившимся у русского подворья.

Распахнулись ворота, и, гарцуя на статных конях, выехали двенадцать казаков, по два в ряд. За казачьим отрядом следовал пристав в офицерском мундире, по бокам от него сотник и толмач, за ними повозки архимандрита и священнослужителей, студентов и причетников. Свиту замыкал обозный с двумя казаками. Спереди и сзади процессии следовал почетный эскорт конных монгольских воинов в атласных кафтанах, с луками и колчанами.

Иакинф пожалел, что принужден сидеть в повозке и не может полюбоваться красочной пестротой зрелища. Но и из повозки он все-таки видел, как колыхались белые султаны на высоко вскинутых головах коней, как горели солнечные блики на саблях и лакированных перевязях, как играл ветер пестрыми лентами на островерхих монгольских шапках.

У княжеских ворот выстроилось человек двадцать телохранителей в форменных куцайках с белыми и красными кругами на груди. Подняв обнаженные тесаки, они застыли перед архимандритом и его свитой.

В воротах миссию встречал ургинский заргучей. Встав по левую руку — у китайцев почетнейшую, он проводил архимандрита в княжеские покои. За ними следовал Первушин с китайским приставом и остальные.

Как ни был взволнован Иакинф предстоящей встречей, он внимательно смотрел по сторонам.

Пройдя довольно тесную прихожую, у дверей которой тоже застыли воины, повернули в приемную залу. Вдоль всей стены светлело большое решетчатое окно, затянутое белой бумагой. В глубине комнаты на широком капе за низеньким китайским столиком сидели ван и амбань — что-то вроде генерал-губернатора, присылаемого каждые три года из Пекина.

Со смешанным чувством тревоги и любопытства взглянул Иакинф на ургинских правителей.

Ван был плотный мужчина лет сорока с небольшим. У него была круглая бритая голова, широкое скуластое лицо, узкие глаза, длинный, плоский у переносья нос с широкими ноздрями, большие, слегка отвислые уши. Крепкие кости резко выпирали у него в надбровьях и на широких скулах. Хоть он и сидел, чувствовалось, что это настоящий гигант. Держался он с горделивою азиатской осанкою.

Сидевший рядом амбань был маньчжур с вытянутой усталой физиономией и несколько преувеличенным выражением собственного достоинства во всей его небольшой, сухонькой фигурке. Иакинф чувствовал, что, несмотря на обманчивую восточную внешность, амбань значительно старше вана. И в самом деле, как потом выяснилось, ему было уже под шестьдесят. Рядом с пышущим здоровьем ваном, от которого так и веяло первобытной силищей, амбань выглядел тщедушным и хилым.

Поклонившись, Иакинф приветствовал обоих правителей от имени Святейшего Правительствующего Синода и выразил удовлетворение, что в самом начале пребывания в великой дружественной империи он имеет приятную возможность и высокую честь видеть столь высокопоставленных сановников и доверенных лиц его богдыханова величества.

Ван слушал внимательно. Живые узкие глаза его в упор разглядывали Иакинфа.

Отвесив поясной поклон, Первушин также засвидетельствовал почтение ургинским правителям.

По издревле заведенному обычаю, дипломатические встречи на Востоке начинаются с подношения даров. Четверо здоровенных казаков внесли огромные ящики с подарками вану и амбаню от генерал-губернатора Сибири и иркутского губернатора.

Ван выразил благодарность генерал-губернатору о цветистым восточным изяществом.

— Взаимные подарки существуют у нас издавна, по исконной соседственной дружбе наших империй, — сказал он в заключение. — И потому, когда вы будете возвращаться в отечество, — обратился он к приставу, — мы также пошлем ответные дары губернаторам.

Иакинф изъявил желание свое и господина пристава, сопровождающего миссию в Пекин, в свою очередь поднести вану и амбаню несколько русских вещей — как слабый знак внимания и почтения.

Ван стал церемонно отказываться.

Иакинф настаивал.

— Напрасно, господа, вы себя озабочиваете, — сказал ван, как бы сдаваясь. — Но во уважение того, что вы столь издалека

держите путь свой, не в силах я ответить на учтивую вашу вежливость отказом.

Тотчас были внесены подарки от имени начальника миссии.

Казаки расставляли на кане граненые хрустальные графины и вазы, большое зеркало в золоченой раме, доставшееся по наследству от головкинского посольства, подзорную трубу в дорогом футляре. Пристав преподнес пару пистолетов тульской работы и медный баульчик, наполненный порохом. Ван разглядывал подарки с жадным любопытством. А казаки раскладывали перед ним все новые подношения: чепраки и седла с богатым серебряным убором, белую юфтевую кожу, отрезы красного сукна и коричневого камлота и, наконец, по паре превосходных камчатских соболей; помня неудачу Головкина, Иакинф решил на подарки ургинским правителям не скупиться.

Не в силах скрыть удовольствия, ван пригласил архимандрита и пристава садиться. Все остальные продолжали стоять в отдалении.

Поблагодарив за подарки, ван обратился к Иакинфу:

— Мы рады приветствовать русского да-ламу в Святом Курене не только как представителя православной церкви, но и как посланца дружественной империи. Мы сделаем все, чтобы вы могли отдохнуть здесь от беспокойств пути и набраться сил для дальнейшего путешествия в столицу.

Иакинф был приятно удивлен столь ласковым обращением. Не хочет ли ван загладить недавний суровый прием, оказанный русскому послу? Или, может быть, в Пекине недовольны поспешным возвращением графа из Урги?

Тем временем слуги подали гостям чай на русский манер — в чашках с блюдцами (Иакинф успел привыкнуть, что блюдец у монголов нет, да и самые чашки без ручек) и с сахаром.

— А это ваши хара-ламы? {Хара-ламы — черные ламы, монахи.} — спросил ван, просмотрев список миссионеров и поднимая глаза на священнослужителей.

Одного за другим Иакинф представил вану своих иеромонахов и причетников. Тот окинул их внимательным взглядом.

— А это ученики? — перевел он взгляд на студентов миссии и после их представления посоветовал студентам учиться прилежно, не щадя сил, как прилично людям благовоспитанным.

Затем, повернувшись к Иакинфу и приставу, он стал расспрашивать об их возрасте, откуда родом, где служили прежде, справился о здоровье сибирского генерал-губернатора.

Иакинф внимательно приглядывался к вану.

Они сидели друг против друга, ван чуть повыше, на кане.

Иакинфа поражала в этом плотном, большеголовом монголе какая-то удивительная смесь надменности, даже властности, с почти детской любознательностью, которая светилась в больших миндалевидных его глазах.

Ван расспрашивал, какой урожай в этом году в России, о Голландии, об Англии, полюбопытствовал о военных обстоятельствах в Европе.

Желая польстить вану, Иакинф решил спросить его о монгольской словесности. Владетельный монгольский князь считался самым образованным человеком в монгольских степях. Он в совершенстве владел тремя языками — монгольским, маньчжурским и китайским, а на сем последнем даже стихи писал. Никанор, не раз бывавший в Урге, уверял, что ван даже по-русски говорил немного, а понимал и совсем сносно.

Ван с охотой отвечал Иакинфу. Литература монгольская, как выяснилось, по преимуществу духовная. Все больше буддийские сочинения — догматические, обрядовые, нравоучительные.

— В прошлом году, — рассказывал ван, — хутухта привез из Тибета золотой "Ганчжур" — полный свод священного писания шакья-муниевого. Теперь он у нас на монгольский язык переводится.

— А есть в вашей словесности книги исторические? — допытывался Иакинф.

Чем дальше он углублялся в монгольские степи, тем больше влекла его история этого удивительного народа. Его интересовало, как это вдруг из Алтайских и Хэнтэйских гор, словно из могучего вулкана, с неудержимостью кипящей лавы вырвались до того никому не ведомые монголы и разлились во все страны — не только сопредельные, но и самые отдаленные, включая Россию и даже Польшу и Венгрию. Все больше занимали его фигуры Чингиса и Батыя, Угедея и Хубилая. И что же произошло дальше с этим воинственным народом, перед которым трепетал весь мир?

Перед ним сидел, держа в руках тоненькую китайскую чашку, прямой потомок страшного Чингисхана. Когда Иакинф заговорил о монгольской словесности, ван приметно оживился. Видно, не часто ему приходилось слышать такие вопросы.

— Я слышал, князь, вы сами потомок Чингисхана, и мне любопытно узнать, есть ли в вашей словесности книги о Чингисхане, о предках и потомках Чингисовых.

— А как же, конечно! Есть у нас такая книга "Алтай Тобчи" — "Золотая книга" по-вашему. Начинается она сказанием о том, как появился на свет праотец нашего народа. Он был рожден от серого волка и пестрой лани. А есть и более древняя книга, семь с

половиной веков тому назад она составлена, — "Сокровенное сказание". Это заветное предание дома Чингисова. Есть у нас и повести, и рассказы, и песни народные.

Весь дальнейший разговор шел главным образом между Иакинфом и ваном, только амбань вставлял время от времени два-три слова.

Наконец ван поднялся, показывая, что аудиенция окончена.

Не прошло и часа после возвращения от вана, как его чиновники и служители доставили для начальника миссии и пристава разные яства на двадцати блюдах и несколько кувшинов шаосинского вина. Как они объяснили, пить его надо в подогретом виде из маленьких чашечек, которые и были доставлены вместе с вином.

Чиновники вана вручили и ответные подарки — чай и китайские шелковые материи: начальнику миссии и приставу по два куска, а прочим — по одному. Сверх того, Иакинфу были преподнесены две огромные книги в роскошных переплетах тисненной на монгольский манер кожи. Иакинф оценил внимание вана.

Монгольские чиновники, которых Иакинф и Первушин щедро одарили, рассказывали, что ван остался доволен встречей с миссией.

III

В Урге они пробыли еще неделю. Надо было и самим отдохнуть, и отощавший скот подкормить на вольных пастбищах, и прикупить новых верблюдов, — впереди простиралась безводная пустыня Гоби.

Пока Первушин вел переговоры с чиновниками княжеского ямыня о дальнейшем, пути, о проводниках и верблюдах, Иакинф знакомился с городом и окрестностями.

Добился он этого, правда, не без труда. Китайский пристав, битхеши, говорил, что он не может рисковать особой русского даламы, вверенного его попечению, да и не имеет к тому же разрешения вана на такие прогулки. Пришлось сноситься с монгольскими чиновниками княжеского приказа и со знакомым уже заргучеем, у которого они были на официальном обеде.

— А, эти китайские чиновники из столицы! Любят они всякие церемонии. Вот мы, монголы, совсем другое дело, — сказал заргучей и обещал поговорить с ваном. — Ты не беспокойся, далама, мы докладываем вану о всяком деле и в любое время, — добавил он.

И в самом деле, назавтра Иакинф получил официальное

разрешение на прогулки по городу. Битхеши был недоволен и не скрывал этого. Но Иакинфу не было теперь до него никакого дела. Он не показал и виду, что заметил неудовольствие китайского пристава, и поспешил воспользоваться княжеской милостью.

В сопровождении переводчика и казака Родиона Иакинф бродил по городу или скакал на коне по его окрестностям.

Собственно, это был не один город, а два, и ни тот, ни другой монголы, оказывается, не называли Ургой.

— Слово сие только у нас, у русских, в ходу, — рассказывал Никанор.

— Вот как? — удивился Иакинф. — Откуда же русские его взяли?

— Урга, ваше высокопреподобие, — переиначенное русскими слово "орго". Означает оно "дворец", "ставка важного лица", а как имя города оно мунгальцам и вовсе неведомо. В сем значении его только мы и употребляем, а из мунгальцев разве те, кто в сношения с русскими входят.

— А как же монголы свой город называют?

— Официальное имя его — Да-Хуре. Большой Курень, значит. А чаще зовут его Богдо-Хуре — Святой Курень или попросту — Курень.

— А что означает самое слово "курень"?

— Под словом сим, ваше высокопреподобие, мунгальцы разумеют всякое собрание зданий, расположенных кругом, а особливо монастырь, оттого как по закону ихнему кельи ламские должны кольцом окружать их кумирни. Вот взгляните, отец архимандрит, так оно а есть. Видите вон ту ограду? Видите? Это ихний дацан. Дачин калбайн сумэ — так он, помнится, прозывается, возле него дворец первосвятителя мунгальского, хутухты, по-ихнему, а вокруг юрты ламские.

Иакинф посмотрел в ту сторону, куда показывал переводчик. Из-за высокого желтого забора выглядывали раззолоченная кровля, увенчанная резным шпилем, а верхушки исполинских юрт. Кровля увешана вокруг маленькими колокольчиками, серебристое позванивание их Иакинф слышал еще издали, едва ли не от самого русского подворья. Колокольцы раскачивались малейшим дуновением ветерка и звенели почти беспрерывно.

— А заборы сии видите? Они кольцом главные дацаны окружают — это все домилища ламские. За каждым таким забором аймачная кумирня войлочная и два-три десятка ламских юрт. Во всем Курене почитай что одни ламы живут.

— Сколько же их тут обитает?

— А кто их знает? Я и сам не раз любопытствовал. Мунгальцы

на все расспросы одно твердят: "Тумэн лама, тумэн лама", значит — десять тысяч лам.

— Что же, и в самом деле их тут тысяч десять наберется.

— Да может, и того поболе. Ведь и сами-то слова "тумэн лама" так перевесть гоже: тьма лам. И все население куренское — одни ламы. По ламским обыкновениям, устройства лавок по монастырям не положено. А как весь Курень — один большой монастырь, то купцам (а это все пришлые китайцы) селиться надобно от него не меньше как в пяти верстах. Из этих-то вот торговых поселений и вырос к востоку от Куреня целый город. Как и у нас возле Кяхты, тоже Маймайченом прозывается. А по величине и народонаселению он, пожалуй, и самый Курень превосходит.

Осмотр Куреня Иакинф решил начать с резиденция хутухты. Ему не терпелось взглянуть на жилище "живого будды", а ежели удастся, и на него самого.

Когда стоявшие у ворот привратники узнали о намерении русского да-ламы, они решительно замахали руками, но, получив по плитке чая, распахнули перед ним ворота.

Прямо от ворот к главному входу в кумирню веля деревянные мостки.

Глядя из-за глухого забора на вскинутые ввысь золоченые кровли, Иакинф ожидал встретить зрелище более величественное. Но в кумирне только и была красива что верхняя часть — мезонин с загнутыми к небесам углами и невысоким резным шпилем, а нижний ярус напоминал скорее огромный сарай, нежели храм.

Поначалу Иакинф думал, что это и есть дворец хутухты, но жилищем хутухте служили, оказывается, две гигантские юрты, расположенные по обеим сторонам ог кумирни. Они чуть поменьше самого храма и столь велики, что рассыпанные кругом по огромному двору юрты лам казались рядом с ними игрушечными.

Иакинф разыскал дэмци — ламу, ведающего благочинием в храме, и тот, получив мзду, провел их внутрь кумирни.

У северной ее стены, напротив входа, помещалось гигантское изваяние. Иакинфу показалось, что оно имело саженей шесть, если не семь, высоты. Перед сидящей фигурой будды, задрапированной с боков желтым атласом, стоял жертвенник с теплящимися медными лампадами, вокруг были расставлены позолоченные чашечки с яствами и напитками. По бокам от жертвенника стояли бронзовые стражи в два человеческих роста с перекошенными судорогой свирепыми лицами. Вдоль стен изваяния бурханов — будд и бодисатв. Одни были отлиты из

бронзы и отличались тонкой работой, другие представляли собой простые чурбаны, грубо обтесанные по форме человеческого тела. Иакинф с улыбкой заметил, что Родион отворачивался от этих страшилищ и украдкой крестился.

Со всей азиатской учтивостью, какую только способен был передать Никанор, Иакинф стал расспрашивать дэмци о верховном монгольском первосвятителе — хутухте.

Личность верховного жреца Монголии, боготворимого всеми ламаитами не только тут, но и в Забайкальской Бурятии, давно занимала Иакинфа. Он и раньше пытался расспрашивать о нем встречных лам, но при одном имени хутухты степных служителей Шакья-муни охватывал какой-то суеверный страх — они простирались ниц и принимались лепетать свою сакраментальную формулу "Ом мани падме хум".

Дэмци же был человеком ученым, служил к тому же в свите самого хутухты.

Но выведать что-нибудь о хутухте и у него оказалось не так-то просто. В отличие от харагольского его собеседника дэмци был несловоохотлив. В обращении его проглядывала сдержанность и нерешительность. Должно быть, он боялся принять отца Иакинфа не так, как следует: не оказать ему должного почтения или, наоборот, унизить себя, сболтнуть что-нибудь лишнее. Да и присутствие лам, набившихся в храм поглазеть на чужеземцев, приметно его стесняло. Но когда он выпроводил свою любопытную паству, а Иакинф по степному обычаю вновь богато одарил его, дэмци разговорился.

— Верховный владыка наш, Чжэб-цзун-дамба-хутухта, — отвечал он на расспросы Иакинфа, — это не человек, а живой бодисатва.

— Как это не человек?

— А так. То воплотилась в человеческом теле душа святого бодисатвы Падма Самбавы.

— А кто же такой Падма Самбава? — спросил Иакинф простодушно.

— Падма Самбава? — удивился дэмци его неосведомленности. — Ом мани падме хум! Ведь это же ученик и сподвижник самого Шакья-муни! Он не умирает, а с каждым новым поколением возрождается в каком-нибудь ином образе. Наш владыка — это и есть его воплощение, хубилган Падма Самбавы, как Далай-лама — хубилган бодисатвы Апалокитешвары, а Панчен-лама — будды Амитабы. Ом мани падме хум!

— Сколько же лет вашему духовному владыке, позвольте узнать?

— Две тысячи триста. В новом же своем облике он существует уже тридцать пятый год.

"Значит, на пять лет старше меня", — прикинул Иакинф.

— А позвольте узнать, почтеннейший дэмци, где родился ваш нынешний хутухта?

— Не родился, а возродился вновь. А произошло то далеко на западе, в священной стране Тибет.

— А из кого же родом хутухта будет? И как узнают люди о явлении нового хутухты, отец дэмци?

— После того как верховный владыка наш, святой Чжэб-цзун-дамба-хутухта, переменил одежды ("По-нашему, богу душу отдал", — пояснил переводчик), два года по всему свету искали нового хубилгана и никак найти не могли. Но вот как-то раз над дымником жилища Сомон-даши… (Сомон-даши знаешь? Это дядя, старший брат отца Далай-ламы) лучезарный свет занялся, и над всей округой яркая радуга протянулась. И в тот же час у жены его сын родился. На пятом месяце, по обычаю, сшили ему рубашечку синюю, только хотели надеть, и вот чудо: малютка до того и слова не разумел, а тут вдруг замахал ручонками и молвил: не надену, говорит, платья, что светские люди носят. Изумились все и порешили обрядить его в костюм желтого, ламского цвета. А тут и тайновидцам открылось, что святой бодисатва в младенце том возродился, и от императора Поднебесной указ о том вышел.

На четвертом году мальчик дал Далай-ламе обет монашеский. А по прошествии еще трех лет после сего был он перевезен из Лхассы в Святой Курень, и тут его торжественно на престол хутухты возвели.

Много любопытного рассказал дэмци о хутухте. Он проговорился даже, что между собой ламы зовут хутухту "дохшин дури" — грозный, или сердитый. Лени и баклушества хутухта терпеть не может, заставляет лам учиться, а гуляк, не исполняющих его воли и своих обетов, даже собственноручно наказывает дубинкою. Несколько лет назад он основал в Курене большое ламское училище. Вот как раз в этом храме воспитанники его и творят свои молитвы. Хутухта так печется о них, что возле храма распорядился и юрты свои поставить. До него тут хутухты не жили…

На горнем месте стояло покрытое чехлом седалище хутухты. Сопровождающий гостей лама считал их, как тиктиров — инаковерующих, недостойными видеть сию святыню, но стоило Иакинфу сунуть ему серебряный рубль, позволил даже посидеть на нем. В отличие от архиерейских кафедр в православных соборах, седалище хутухты представляло собой не кресло, а

несколько подушек — облок, по-монгольски, положенных на столе, установленном на головах четырех львов. Сидеть на них надо было подогнув под себя ноги на манер будды.

— Отец дэмци, — обратился Иакинф к ламе. — А не можем ли мы, прибыв из столь далекой и дружественной страны, получить аудиенцию у великого первосвятителя вашего?

— Нет, нет, — замотал головой лама. — То невозможно. Да и нет Чжэб-цзун-дамба-хутухты в Богдо-Курене. Еще в конце лета отбыл он в Жэхэ для представления его богдыханову величеству, великому императору Поднебесной.

"Ах вот отчего он такой смелый, — усмехнулся про себя Иакинф, — и в кумирню ввел запросто, и даже в кресле хутухты посидеть разрешил!"

Пока они беседовали с сребролюбивым ламой, в кумирню ввалилась ватага мальчишек, лет от семи до одиннадцати. Это и были, как догадался Иакинф, воспитанники ламского училища.

Явились они сюда, должно быть, для предобеденной молитвы. Мальчишки рассыпались по всем направлениям и принялись прикладываться к стоявшим вдоль стен бурханам, выбирая тех, что покрупнее. Вся эта церемония совершалась, как показалось Иакинфу, без малейшего благоговения, просто по установленному обычаю.

Мальчишки заглядывались на Иакинфа и его спутников, особенно на высокого бородатого казака, и Иакинф видел, как они, кося глаз на Родиона, то и дело промахивались, не попадая в цель.

Осмотрел Иакинф и другие ургинские капища.

Каждое было обнесено высоким тыном из поставленных на попа лиственниц. Глухие эти бревенчатые стены и образуют множество улочек, тупиков, переулков, иногда таких узких, что и двое всадников на них уже не разъедутся. Стены каждой кумирни, а большинство их просто огромные юрты, обтянутые грязной парусиной, были уставлены медными и деревянными бурханами, увешаны пестрыми лоскутами и разноцветными лентами. Посередине размещались чжабцаны-ламские седалища в виде низких скамей или диванов с засаленными подушками

В одной из кумирен они застали богослужение.

Все скамьи были заполнены ламами. Раскачиваясь из стороны в сторону, они громко читали молитвы. По временам это монотонное бормотание сопровождалось ударами бубнов и лязганьем медных тарелок. Двое лам стояли по бокам от главного идола и время от времени трубили в длинные, сажени в полторы, если не больше, медные трубы. Иакинфу казалось, что и то и другое делалось только затем, чтобы ламы не заснули от

заунывного своего бормотания.

Как и у мальчишек, он не заметил ни у одного из лам проявления какого-нибудь религиозного чувства или даже хотя бы чисто внешнего благочиния.

Когда двое лам, высоко вскинув призывные трубы, извлекли протяжную руладу, извещая о конце богослужения, набожный этот народ повскакал с мест и беспорядочной шумной толпой бросился к выходу, чуть не сбив с ног Иакинфа и его спутников. Можно было подумать, что они для того лишь и собирались, чтобы отбубнить положенные молитвы, ударить известное число раз в барабаны и погудеть в трубы. Но вот урок отсижен, и ламы со всех ног, обгоняя друг друга, помчались на кухню, где для них был приготовлен обед.

За какую бы ограду Иакинф и его спутники ни зашли, всюду толклись ламы. Облаченные в желтые и малиновые, основательно засаленные хламиды, они слонялись по дворам от юрты к юрте, бормоча под нос молитвы и перебирая четки… Откормленные, лоснящиеся от жира, с круглыми, гладко обритыми головами, они, как показалось Иакинфу, изнывали от безделья.

Ламы настолько обленились, что даже творить молитвы было для них, видно, обузой и они придумали любопытный способ облегчить свой тяжкий труд. Во многих местах по дворам капищ, под навесами или в особых башенках Иакинф заметил деревянные цилиндры. То и дело к ним подходили ламы и заставляли их крутиться. Поначалу Иакинф никак не мог понять их назначения, но, когда подошел поближе, увидел, что они оклеены бумагой с напечатанными на них молитвами. Оказывается, достаточно крутнуть такой вращающийся молитвенник, укрепленный на отвесной оси, чтобы все помещенные тут молитвы считались прочитанными! Впрочем, может быть, это было сделано для тех, кто не знал грамоты?

С тяжелым чувством покидал Иакинф капища.

Так вот они, "добрые друзья", о которых говорил ему набожный ихэ-лама на берегу Хара-гола! Невежественные, часто даже не умеющие прочесть своих молитв и, во всяком случае, не понимающие их смысла, вконец обленившиеся, какими же учителями нравственности могут быть они для своих ближних? Да, нередко, должно быть, приходится хутухте пускать в ход свою дубинку!

Эти размышления не оставляли Иакинфа до самого русского подворья.

Нет, ламы — сущая язва здешнего края. Живя за счет других, в самом прямом значении этого слова, они вконец разоряют и без того нищих жителей. Но и сами от того не становятся

счастливыми. Напротив, Иакинфу трудно было представить себе людей более несчастливых. Это были какие-то злополучные дармоеды, тунеядцы поневоле, не знающие радости труда, который кому-то нужен. Может быть, принудительное безделье еще горше подневольного труда, подумал Иакинф. Впрочем, они, кажется, все время заняты, день-деньской твердят одни и те же молитвы. Но какое же это бесплодное, бессмысленное занятие! Этих несчастных можно сравнить разве что с Данаидами, обреченными всю жизнь наполнять водою бездонные бочки.

Но особенно жалко было смышленых мальчишек, которых он видел сегодня в храмах. С младенческих лет обречены они на бессмысленную долбежку никому не понятных молитв, на неизбывное прозябание среди праздных и невежественных лам в этих бесчисленных капищах!

IV

Выезд был назначен на полдень. Но когда надо было уже садиться в повозки, открылось вдруг, что куда-то исчез иеромонах Аркадий. Шел второй час, а его все не было.

Первушин бушевал:

— Вот они, ваше высокопреподобие, святые отцы ваши! Морока с ними, да и только. За дорогу я их до тонкостей превзошел. Лица постные, да мысли скоромные. А об отце Аркадии и говорить нечего. Ну уж выпить, я понимаю, куда ни шло: курица и та пьет. Но ведь кому ведомо, что у него на уме?!

Все слонялись по двору, не зная, чем себя занять. Нет ничего томительнее такой вот задержки перед самым отъездом.

На розыски Иакинф послал отца Серафима с двумя казаками, но они вернулись ни с чем.

Тогда, захватив Родиона, Иакинф вскочил на коня и сам поскакал разыскивать иеромонаха.

Курень словно вымер. Они проехали его из конца в конец, не встретив ни души. Вся жизнь сосредоточивалась тут в бессчетных капищах, отгороженных одно от другого и от всего остального мира непроницаемыми лиственничными тынами. Приезжие степняки-богомольцы бродили по его улицам, переходя из одной кумирни в другую, — пока не кончались службы в капищах. Потом город замирал. Степные поклонники хутухты сидели в юртах знакомых лам, попивая айрик и ведя нескончаемые медлительные беседы, или торчали целый день на торговой площади за Куренем и в китайском Маймайчене. Там коротали вечный досуг свой и большинство лам, так что улицы самого Куреня большую часть дня бывали пустынны. Искать тут Аркадия

было бессмысленно, и Иакинф поскакал на куренский рынок.

Китайцы — народ предприимчивый. Несмотря на запрет, они всё ближе подступали к Кureню. На окраине его возникла обширная торговая площадь. К вечеру она пустела, но с рассветом китайцы разбивали тут несколько сот войлочных палаток — монголы называли их бухеками. В этих легких палатках, которые можно было развернуть и свернуть в одну минуту, китайские приказчики бойко торговали всякой мелочью, высылаемой из маймайченских лавок. А рядом монголы продавали скот — лошадей, верблюдов, баранов.

Прежде всего Иакинф решил заглянуть в обжорные ряды, которые китайцы устраивали тут же на рыночной площади. Кухни были разбиты прямо под открытым небом. Длинными рядами вытянулись переносные очаги, в которых пылал огонь. Только с наветренной стороны они были защищены натянутыми на колья войлоками Стлались над таганами синеватые дымки, в воздухе носились острые и пряные запахи чеснока, сои, жарящейся баранины, клокотали в огромных котлах супы и соуса, и тут же, среди мычания быков и ржания коней, расторопные китайские повара продавали с пылу с жару пирожки и лепешки, пельмени и пряженцы, длиннейшую китайскую лапшу, которую они сучили с невероятным проворством. Вокруг каждого такого походного очага сидели на корточках степняки-кочевники и, обжигаясь, ели горячие пирожки или огромные куски жареной баранины, отрезая их острыми ножами у самых губ.

Иакинф объехал обжорные ряды из конца в конец, но Аркадия нигде не было. Не было его и в плотной толпе, окружившей бродячих певцов и сказителей, что расположились неподалеку от этих злачных мест и под аккомпанемент лютен, барабанчиков и трещоток вели монотонные, но, видно, весьма занимательные рассказы, потому что толпа вокруг них целый день не редела. Туг же странствующие ламы-слепцы читали молитвы, потрясая посохами-дулдуями с подвешенными к ним колокольцами. Аркадий как сквозь землю провалился.

Пришлось скакать в Маймайчен. От Куреня до него было каких-то пять верст, но то был словно другой мир. На маймайченских улицах было так же оживленно и людно, как на базарной площади. Да и выходили тут на улицы не сплошные бревенчатые заборы, как в Курене, а бесчисленные лавки купцов и мастерские ремесленников.

За неделю Иакинф несколько раз побывал в Маймайчене и хорошо знал его расположение, но отыскать Аркадия в этом человеческом муравейнике было не так-то просто. Бойкая торговля шла в Маймайчене не только в купеческих лавках — их

тут было до восьмисот, — но и у толпившихся на улицах разносчиков. Редкая улица не заставлена была рундуками этих бродячих коробейников. У них можно было купить тесьму и веревку, топор и тесло, пояски и нагрудники, детские игрушки и шапочки, фонари и подсвечники и прочий домашний скарб. На лотках продавалась и провизия — мясо, сыр, сушеные сливки, айрик; на уличном частоколе были развешены бараньи туши, утки, гуси, а иногда и зайцы. На буддийские предписания не убивать ничего живого, по-видимому, не обращалось тут ни малейшего внимания.

Привязав лошадей у коновязи, Иакинф с Родионом обошли главные китайские лавки и харчевни. Рябило уже в глазах от вереницы пестрых лавок, запруженных народом. Чего только тут не было! Предприимчивые китайские купцы привозили из Пекина и, главным образом, из пограничной с Монголией Северной Шаньси самые разнообразные принадлежности монгольского быта, начиная с убранства шакья-муниевых капищ и кончая домашней обстановкой и богатой княжеской юрты, и самой бедной кибитки какого-нибудь далекого кочевника, прискакавшего в Ургу не только поклониться хутухте, но и приобресть самое необходимое для своей кочевой жизни.

Иакинф проезжал не только по главным улицам, но сворачивал и в боковые — в тупички и переулки. И тут всюду толпился народ, но даже на след Аркадия они не могли напасть. И все-таки его нужно было отыскать во что бы то ни стало. Обращаться за помощью к монгольским властям Иакинфу не хотелось. Напоследок он решил заглянуть в маймайчеиские трущобы. Тянулись они по самой окраине, и надобно было прежде миновать кварталы ремесленников. Селились те обычно по цехам. Несколько улиц занимали му-чжаны — столяры и плотники. Мастерские их сразу можно было узнать по штабелям досок и леса. Тут пахло сосновой стружкой, раздавался неумолчный стук молотков и визг пил.

За плотниками и столярами тянулись звонкие мастерские туи-чжанов — медников и вообще всяких металлических дел мастеров. Они отливали и чеканили бурханов по заказу ламских монастырей, паяли и лудили посуду. Дальше шли меховщики, кожевники, шорники. Перед дверьми их мастерских, а то и просто посередь улицы, на огромных деревянных рамах были распялены бычьи и лошадиные кожи. Фасады лавок увешаны уздечками, чересседельниками, седлами, сбруями. Все это тут же на улице вырезалось из целых кож, сшивалось, красилось в разные цвета и предлагалось вниманию покупателей.

Еще дальше шли портные — цай-фыны, или цай-пуны, как

произносили это китайское слово монголы.

Иакинфа поражало, что ни среди купцов, ни среди ремесленников он не видел ни одного монгола. Те толпились по другую сторону прилавков — среди покупателей и заказчиков. И ремесленники, и повара в харчевнях, и сидельцы в лавках, не говоря уже о купцах, — все были китайцы, которые приезжали сюда из разных, иногда очень отдаленных, областей китайского Севера: столяры — из Калгана, медники — из Долоннора, сапожники — из Губейкоу, живописцы — из Утая и Иньчжоу…

На самой окраине Маймайчена жили дарханы, или кузнецы. Тут всюду пылали горны, стоял звон молотов и наковален. Закопченные дарханы в прожженных фартуках подковывали лошадей и мулов, выделывали таганы, топоры, тесла, ножи и весь тот немудреный скарб, без которого не обойтись в монгольской степи.

Наконец они миновали прокопченные кузницы и въехали в веселый квартал Маймайчена.

Иакинф соскочил с коня, бросил повод Родиону и стал обходить один веселый дом за другим. Они мало чем разнились. Ничего более грязного и отвратительного отродясь он еще не видывал. Все помещение такого дома состояло из одной довольно тесной комнаты, по китайскому обычаю наполовину занятой каном. Часть его загорожена досками до самого потолка. Пролезть в такую дощатую конуру можно было только через отверстие высотою аршина в полтора и шириною не более аршина, прикрытое легкой дверью. Иакинф заглянул и за дверь. Грязный, оборванный войлок, закатанный с одной стороны валиком, чтобы образовать изголовье, — вот и все убранство сего ложа наслаждений. Его даже передернуло от отвращения.

Публичных женщин содержатели увеселительных маймайченских заведений у себя не держали. По заведенному тут порядку мужчине приходилось самому отыскивать себе женщину где-нибудь на площади и, уже уговорившись, идти с нею сюда, в дом свиданий.

И все-таки на отсутствие клиентов содержатели этих заведений, по-видимому, не жаловались. Иакинф видел в притонах то молодых китайцев, должно быть приказчиков и сидельцев маймайченских лавок, то лам, забегавших сюда тайком от своих духовных наставников.

Безбрачие лам и одинокая, бессемейная жизнь китайцев, рассматривающих пребывание в Урге как дело временное, объясняли, откуда берутся эти посетители.

Он обошел десятка полтора притонов, пока в одном, чуть почище других, не наткнулся на Аркадия. Тот сидел на кане за

низеньким столом, уставленным закусками, перед наполовину опорожненным пузырем молочной монгольской водки, от одного запаха которой перехватывало дух. Рядом восседала здоровенная рябоватая баба, раскрасневшаяся и растрепанная.

Кровь бросилась Иакиифу в голову, когда он увидел беззаботно пирующего и, по всему видно, уже основательно подвыпившего гуляку. Одним прыжком он подскочил к кану и, схватив за шиворот перепуганного Аркадия, стащил его на земляной пол.

Аркадий стоял перед ним, изумленно тараща осоловелые глаза. Архимандрит был страшен. Бешеной яростью сверкали глаза, на щеках горели гневные пятна. Эти вспышки ярости за отцом архимандритом Аркадий уже знал, и хмель тотчас слетел с него.

— Ваше высокопреподобие, да вас-то каким манером сподобил господь тут оказаться!

Не в силах произнести ни слова, Иакинф схватил гуляку за грудки. У Аркадия затрещал подрясник. Он не успел и сообразить, отчего это вдруг отлетел в другой конец комнаты и с такой силой ударился спиной о переборку, что та зашаталась, а с потолка посыпалась штукатурка. Женщина пронзительно взвизгнула.

— Ах ты анафема ты дуропегая! — закричал Иакинф. — Креста у тебя на вороту нет! Все уже по телегам сидят, ехать собрались, а его нечистая сила по борделям носит!..

Аркадий сидел на полу, широко раскинув ноги и опираясь спиной о стену. Он уставился на Иакинфа удивленно и простодушно. Глаза его были сама невинность.

— Ехать?! Так выезд же на четверток назначен!

— Нет, вы только посмотрите на этого пьяного дуросопа! Проспал все на свете. Так сегодня и есть четверг!

— Неужто четверток? Ах ты господи боже мой! Как же это я так обмишулился? Видит бог, думал, середа, ваше высокопреподобие! Вот уж обмишулка так обмишулка!

— Молчать, сукин сын! Шкуру спущу плеткой!

Иакинф схватил иеромонаха за жиденькие волосишки, приподнял и, задрав подрясник, несколько раз наотмашь что есть силы вытянул плеткой.

Аркадий завизжал, будто его режут. Женщина пустилась наутек. Из-за перегородки выглянул перепуганный хозяин.

— Ваше высокопреподобие! Отец честной! Обмишулился, видит бог, обмишулился!

— Довольно реветь! Завел свое: обмишулился, обмишулился! Идем!

Иеромонах стоял у кана, держась руками за зад.

— Ай больно? — усмехнулся Иакинф.

— Ничего.

— Скажешь отцу Серафиму, пусть выдаст деревянного масла задницу смазать — враз полегчает.

Аркадий вытер глаза рукавом подрясника, схватил в кана клобук и рясу и потрусил за широко шагавшим впереди Иакннфом.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

I

Иакинф сидел у костра и, время от времени согревая над ним коченеющие пальцы, писал в своей уже основательно потрепанной тетради, с которой не расставался от самой границы.

Из угла юрты доносились сонное посапывание Серафима и могучий храп Нектария.

Костер горел ярко, но желтоватый дымок от аргала резал глаза, и придвинуться поближе к огню было нельзя. Иакинф успел забыть уже, когда они бросили в костер последнее полено. Пожалуй, в Урге или на первой после нее станции.

В Урге они простились не только с лесом, но и с чистой речною водою, с высокими горами, которые, хоть порой на них и нелегко было подниматься, так разнообразили путь. Постепенно понижаясь, горы уступали место песчаным холмам, а потом исчезли и холмы, и потянулась однообразная степь, утомляющая глаза и душу, да и степь вскоре как-то неприметно превратилась в пустыню, бесплодную, каменистую, лишенную всякой растительности. Из-под копыт лошадей летела, как дробь, мелкая галька, которой будто нарочно была усеяна здесь вся равнина. Где уж тут разыскать дров, не всегда и аргала-то сыщешь. На топливо годился лишь навоз рогатого скота, — конский горит куда хуже, а овечий и верблюжий только дымит и тлеет — от него ни тепла, ни света. Да и коровий должен хорошенько высохнуть на солнце: тогда он горит ровным пламенем и дает много тепла. Но собрать его в Гоби не так-то просто: свежий не годится, а сухой на каждом шагу на валяется.

В тот вечер Иакинф долго сидел у костра. Из-за войлочной обшивки юрты доносилось завывание ветра, пофыркивание лошадей да время от времени окрики часовых и песни монголов, объезжающих дозором вокруг стана.

Иакинф подбросил в костер новую коровью лепешку. Огонь захватывает ее с краев, а потом и вся она вспыхивает ровным вишневым пламенем. Ну что ж, усмехнулся Иакинф, даже в юрте у Чингиса горел, наверно, аргал. Во всяком случае, еще в Тобольске он читал рассказ монаха Рубруквиса из Брабанта. В январе, кажется, тысяча двести пятьдесят пятого года посланцем французского короля Людовика IX монах сей посетил ставку всесильного монгольского хана Мынгэ. На очаге посередь юрты внука Чингисова горел, как и у него сейчас, коровий навоз, смешанный с терновником и полынью.

Иакинф раскрыл дневник и просмотрел последние записи.

Пересекая границу, он дал себе слово вести дневник ежедневно. И действительно не пропустил ни дня. Записывал весь путь, переезд за переездом, направление дороги, расстояния между привалами, рельеф местности, любую подробность, встреченную на пути, песни монголов, свои случайные беседы с ними. Не всегда, правда, у него бывал переводчик — чаще приходилось ограничиваться тем, что видишь, так как невозможно было на записать, ни понять того, что слышишь.

Вот уже второй месяц они ехали от Урги, и окрест было совсем не то, что они видели на Севере. До самой Урги ему все еще казалось, что они путешествуют по русской пограничной области, населенной "братскими": столько было сходства в видах и произведениях природы! Но уже первый шаг за Толу открыл им, что они в чужой, неведомой стране. Они постояли на берегу Толы, выпили по кружке свежей речной воды — последней до самой Великой китайской стены. Проводники предупредили, что дальше они не встретят уже ни одной реки, ни одного ручья или пресного озера. Воду можно будет найти только в редких колодцах.

Впрочем, не от самой Урги начиналась пустыня. На протяжении верст двухсот, особенно на востоке, виднелись еще горы, иногда значительной высоты. Последний привал перед Гоби был у подножия двух утесов. Они стояли один возле другого и назывались Удын-ама — Отверстые врата. Это и в самом деле были как бы закованные в каменную броню врата в Пустыню, тянущуюся чуть не на тысячу верст. За этими утесами пошли места открытые, совершенно сухие, почва тут из песка, дресвы и мелкого щебня.

Усилившийся северо-западный ветер преследовал путников густыми тучами песка и обломками засохших растений. Но дня через два на горизонте показалась высокая гора. Одиноко высилась она среди пустынной степи, будто изгнанник из отчизны. Называли ее монголы Дарханом. Покрытый, будто

латами, красными гранитными скалами, он показался Иакинфу каменным исполином, стерегущим сии пустыни. Ни деревьев, ни травы, ни мхов на диких и неприступных его утесах. Грозно, как багровые гранитные тучи, нависли они над землею, не желая, казалось, принять от нее семян жизни.

Когда, уже под вечер, путники разбили стан в двух верстах от подножия Дархана, Иакинф спросил сопровождавшего караван старого монгола, отчего гора названа так. Он знал, что дарханами монголы зовут кузнецов.

— Гору назвали так в честь Чингисхана, — отвечал старик. — В молодые лета он был простым дарханом и ковал тут, у подножья горы, железо.

— Как же так? — недоумевал Иакинф. — А я слыхал, что Чингис княжеского рода, сын Исукэй-богатура, и до того, как ханом себя провозгласил, его Темучином звали.

— Нет, нет, — замахал рукою старик. — Это все ваны выдумали. Что Темучином его прежде звали, то верно. А был он в молодых годах простой кузнец и жил в бедности. В хаганы же народ за великую храбрость его выбрал. Собрались люди всех наших аймаков на великий курултай и провозгласили храброго Темучина посланцем Неба на земле. А когда его на курултае в хаганы выбирали, над головой его все птица кружилась. Вот по голосу той птицы его и нарекли Чингисом.

Иакинф высказал сомнение. Старик обиделся:

— Да что он прежде дарханом был — кого угодно спроси, каждый тебе скажет. И теперь еще на вершине Дархана хранится наковальня Чингисова. Из бурына.

— Что это за бурын?

— Металл такой. В нем свойства железа и меди. Он и твердый, и гибкий — упругий, значит. На той-то наковальне и ковал Чингис оружие, которым покорил весь мир.

Разве мог Иакинф удержаться? Нет, он должен немедля подняться на Дархан, который так украсило своими преданиями пылкое воображение этого любопытного кочующего народа.

Погода была добрая, до горы рукой подать. Иакинф растолкал уже задремавшего было иеромонаха Аркадия, захватил еще казака Родиона, и втроем они пошли на гору.

Часа полтора карабкались они вверх по острым обломкам гранита. На последней к югу вершине, на которую они сумели подняться, были сложены высокие обо.

Дальше пути не было. Высились отвесные скалы красного гранита, и вскарабкаться на самую вершину, где, согласно преданию, хранилась та достопамятная наковальня Чингисова, было невозможно.

С утеса открывался вид на пространство необозримое. Правда, на востоке чуть синели вдали Хэруленские горы, но и к западу, и к югу тянулась освещенная закатным солнцем степь, и не было, кажется, ей ни конца, ни предела.

По словам старого монгола, Чингис часто взбирался на эту гору и ночевал на вершине. Вот, наверно, при виде беспредельности этой и запала в него дума о безграничном владычестве.

Долго не мог оторваться Иакинф от бескрайних далей.

Аркадий и Родион тянули его назад, а он все стоял и стоял на вершине утеса. Скрылось солнце. Стало быстро темнеть. Долго спускались они с горы. Камни осыпались под ногами, и на каждом шагу путников подстерегала опасность скатиться в пропасть. Быстро наступила южная ночь. Она совершенно преобразила окрестности, и они никак не могли распознать в темноте тех примет, по которым надеялись отыскать обратную дорогу. Стан находился в лощине, и огней не было видно.

Часа два плутали они, не находя стана, изорвали обувь об острые камни. Откуда-то из ущелий, изрытых дождевыми потоками, доносился вой волков. Когда они уже совсем стали выбиваться из сил и едва волочили ноги, справа вдруг раздался ружейный выстрел. Приободрившись, они повернули в ту сторону и прибавили шагу. Беспокоясь, что их нет так долго, Первушин выслал на поиски казаков.

II

Миновав Дархан, они уже не встречали больше гор. Теперь и спереди, и сзади, и вокруг была одна степь да небо, небо да степь. Порой, правда, дорогу пересекали протянувшиеся с востока на запад невысокие песчаные увалы, но и те в отдалении сливались в одну волнистую равнину, на которой напрасно было искать хоть каких-нибудь следов жизни. И во всем беспредельном мире били в глаза только две краски: густая и ровная, без единого пятнышка, синь неба да ослепительно яркая желтизна песков.

Спутники Иакинфа изнывали от скуки: каждый день одно и то же. Монахи целыми днями дрыхли до одурения в своих крытых спальнях на колесах, студенты покачивались на лошадях или между горбов верблюдов.

Но Иакинф и тут умел как-то увлечься однообразной красотой пустыни. Его тешило то яркое освещение солончаков, казавшихся издали озерами, то причудливо брошенная на песок тень от набежавшего на небо облачка, то россыпь сердоликов и халцедонов на песчаной дресве. Он уже собрал немалую их

коллекцию.

Когда ехавший рядом Первушин жаловался на однообразие пути, Иакинф только усмехался про себя. Ему казалось, что у каждого дня было что-то свое, и день на день не был для него похож: по-разному светило солнце, другая была под ним лошадь, иное настроение.

— Скорей бы кончалась эта несносная Гоби! Тощища смертная! — проговорил Первушин, взглянув на Иакинфа и как бы ища сочувствия.

— Время не пришпоришь, как коня, Семен Перфильич, — отвечал Иакинф. — Да и не надо. Куда вы торопитесь?

— Как куда? В Пекин! Да скорей бы уже и до дому. Хорошенького помаленьку!

— Домой вы еще успеете, а вот в Гоби в другой раз не попадете.

— Да ну ее к лешему! И вовсе б ее не видеть. Не понимаю, как живут тут эти мунгальцы!

— Полноте, Семен Перфильич! Попробуйте хоть раз в жизни почувствовать себя частичкой природы, как они, должно быть, себя чувствуют.

— Ах оставьте вы вашу философию! Любите вы пофилософствовать, отец Иакинф. Одно утешение: все проходит, кончится и Гоби когда-нибудь.

Такое Иакинф встречал не раз: люди как бы подхлестывали время, стремились пораньше покончить с нынешним днем, чтобы поскорее очутиться в завтрашнем. Он помнит, как Наташа, когда начались в Иркутске эти неудобицы, не раз утешала его: не печалься, Никитушка, все пройдет. А ему и не хотелось, чтобы все проходило. Ведь то, что проходило, и было его жизнью, и он с грустью провожал каждый прожитый день. Слишком много думаем мы о прошлом, слишком стремимся в будущее. Забываем, что время, в которое мы существуем, это и есть сама жизнь. Так зачем же мы гоним ее в прошлое? Туда возврата нам нет. Вернуть отошедшее невозможно. Ему доставляло радость отдаваться течению времени. Это была такая же радость, как плыть на спине, глядя в высокое небо…

Но небо хмурилось. Ехать было нелегко. С самого вступления в Гоби их преследовал жестокий ветер. Морозы крепчали. В семь часов утра бывало двадцать пять — тридцать градусов по Реомгорову термометру, днем теплело градусов до двадцати, иногда даже до шестнадцати, а вечером опять были те же тридцать.

Уже второй месяц нельзя было скинуть шубы. Так в шубах, в меховых сапогах или войлочных каганках и укладывались спать,

заворачиваясь поверх в шкуры и войлоки. Как-то, проснувшись поутру, Иакинф обнаружил, что отморозил себе щеку. Накануне он завернулся с головой в войлок, оставив лишь небольшое отверстие для прохода воздуха, и не почувствовал, как оно обледенело от застывшего дыхания. Проснувшись, он скинул войлок, вскочил на ноги и принялся оттирать щеку снегом.

Однако человек ко всему привыкает. Постепенно складывался путевой быт. Ехали целый день, почти не останавливаясь, и все же продвигались вперед медленно, делая в сутки верст по двадцать пять, а иногда и того меньше.

Задерживали верблюды — сии несовершенные корабли пустыни. Правда, они могли по два, по три, а иногда и по четыре дня оставаться без воды и пищи. Это, разумеется, очень удобно в такой пустыне, как Гоби, где на пространстве сотен и сотен верст не встретишь ни ручья, ни речки, а озера все соленые, и вода в них хуже морской. Единственный источник воды — колодцы. И в них вода солоноватая, нередко затхлая и протухлая, с сильным навозным запахом, да и той на весь караван не хватает. По этой способностью по нескольку суток оставаться без воды и пищи, в сущности, и исчерпываются все достоинства верблюдов. Тащатся они едва-едва. Следуя в караване, при самой быстрой езде, они делают не более четырех с половиной верст в час. А тут еще, как назло, дул сильный и переменчивый ветер. Встречный, он упирался во вьюк, как в парус, во много раз увеличивая и без того нелегкую ношу. А стоило ему подуть в лицо снегом, верблюды и вовсе отказывались двигаться — ложились, и никакая сила не могла заставить их подняться. Приходилось останавливать весь караван.

И все-таки, шаг за шагом, путники продвигались вперед.

Когда Иакинф спрашивал проводника, где заночуем сегодня, тот отвечал с присущим монголу невозмутимым спокойствием: "Тэмэ мэдэнэ" — "Верблюд знает". Чаще всего это и в самом деле бывало так.

Не хватало сил дотащиться до очередной станции, где были приготовлены юрты, — останавливались среди мертвой оледенелой степи. Хорошо еще, ежели поблизости оказывался колодец! Вбивали в промерзшую землю колышки и натягивали на них войлок, чтобы хоть немного защититься на ночь от ветра.

Разводили костер из аргала, растапливали лед и, пока нагревалась вода для чая, выпивали по стопке водки, закусывая отогретой на огне бараниной, зажаренной еще в Урге.

В эту минуту в юрте архимандрита, как бы случайно, оказывался бошко — помощник китайского пристава, юркий молодой маньчжур, через которого главным образом и

осуществлялись все связи с приставом. У него был какой-то безошибочный нюх на водку. В отличие от китайцев, которых Иакинф никогда не видел пьяными или даже подвыпившими, маньчжур-бошко всегда был навеселе и разговаривал постоянно хоть и высоким голосом, да нетвердым языком.

Церемонная китайская вежливость была у него чисто внешней шелухой, которая отлетала, как только он чувствовал запах водки или замечал что-нибудь из вещей, его привлекавших. Впрочем, ему нравилось все, что ни попадалось на глаза. То он нахваливал шубу, то шапку архимандрита, то зеркальце, то раздвижной серебряный стаканчик, то складной охотничий нож. Немало уже разных вещей успело перекочевать от Иакинфа в бездонный карман корыстолюбивого маньчжура.

Не первую станцию бошко под разными предлогами навещал архимандрита и всякий раз с жадным любопытством разглядывал большие серебряные часы Иакинфа — то открывал, то закрывал крышку, подносил часы к уху, долго прислушивался к их тиканью и, с грустью возвратив хозяину, скромно потупив глаза, начинал пространно изъяснять все страшные неудобства, какие на каждом шагу встречает человек в пути, не имея часов.

— Руски да-лама не зынай, как без часов пулоха, — говорил он по-русски. (Как выяснилось, он учился русскому языку в Пекине. Поначалу он, правда, скрывал это, но потом как-то проговорился, и теперь они с Иакинфом обходились без переводчика.) — Как это русыки говори? Без часов — как без рук. Не зынай, када ставай, када поехала, сыколи сыпешить в дороге, када на стан будешь.

— А солнце-то на что, господин бошко? — прикидывался непонимающим Иакинф. — Вот Цохор, к примеру, тот и без часов любой час по небу определит. Я уж не раз проверить его пробовал. Бывает, не спится ночью, разбудишь его часа в четыре, скажешь: "Вставай, Цохор, уже завтра настало (завтром он утро зовет), пора в путь собираться". Выйдет он из юрты, поглядит на небо и обратно: "Нету завтра, нету!" Ляжет и снова спать. А ровно в пять, тютелька в тютельку, вскочит, точно его разбудил кто…

Но бошко никак не мог согласиться с этими доводами. Вновь и вновь пространно изъяснял он архимандриту все неудобства того, что нет у него часов.

Непонятливый Иакинф выражал сожаление.

И все же, чтобы отделаться от вежливого, но неотступчивого вымогалы, пришлось подарить ему часы, хоть и жалко было с ними расставаться. Хорошо еще, что он захватил с собой лишнюю пару.

Когда вода закипала, место одного котла на тагане занимал

другой, в котором варился суп все из той же баранины, а путники принимались пить чай. Иакинф всякий раз добрым словом поминал своего кяхтинского знакомца Вана, у которого купил на дорогу несколько цибиков чая. Вот когда он оценил все достоинства этого чудесного китайского напитка! Иакинф держал в руках чашку и, обжигаясь, маленькими, но жадными глотками отхлебывал золотистую влагу. "Что там в сравнении с чаем нектар гомеровских богов! — улыбнулся он. — Надобно, видно, как следует промерзнуть на ледяном гобийском ветру, измучиться усталостью и истомиться жаждою, чтобы понять всю животворную силу чая!"

После двух-трех чашек путники немного отогревались и пускались в нескончаемые разговоры или просто дремали, а Иакинф вытаскивал путевой журнал и, присев поближе к костру, записывал впечатления дня.

Через час-другой поспевала похлебка — единственное блюдо их ужина. В ней ничего, кроме крупы и баранины, не было, попахивала она аргалом, но этого, казалось, никто и не замечал.

Поужинав, все укладывались спать, а Иакинф присаживался к костру, подзывал одного из проводников миссии, чаще всего рослого смышленого Цохора, и начиналась порой мучительная из-за незнания языка, но всегда занимавшая его беседа.

Еще час, а то и полтора, когда остальные уже спали непробудным сном, сидели они у костра, подбрасывая аргал в то разгорающееся, то замирающее пламя. Цохор, как Иакинф скоро приметил, был человек любознательный, и они с охотой учили друг друга: Иакинф Цохора русскому, а тот Иакинфа — монгольскому языку. Много монгольских слов внес Иакинф в свой походный словничек, и, наверно, не меньше русских сохранил Цохор в своей свежей, ничем не изнуренной памяти.

Спал Иакинф не более шести — шести с половиной часов в сутки. Улегшись в двенадцатом часу, в половине шестого он уже был на ногах.

Опять разводили костер и кипятили воду — сначала для чая, а потом для пельменей, которые они везли из Урги замороженными. К семи часам с завтраком бывало покончено и начинались сборы в дальнейший путь. Но не всегда удавалось тотчас же выехать. Все зависело от того, какова была трава на месте ночлега. Много ее — верблюды наедались быстро и караван трогался в половине восьмого, мало — приходилось кормить дольше, да и скот разбредался по степи и собрать его было нелегко. Верблюды могут пастись только с рассветом и засветло, ночью они искать траву не умеют. Но во всяком случае в восемь — половине девятого караван уже в пути.

Большую часть дня Иакинф шел пешком, — верхом было холодно, особенно мерзли ноги, а в повозке уж очень тоскливо. Так можно и всю Монголию проехать, ничего не увидев. Монахов это не пугало, но себе такого он позволить не мог.

К полудню все были голодны как волки, и Иакинф объявлял адмиральский час. Всем выдавалось по стопке водки и по паре сухарей с куском вареной баранины, оставшейся от вчерашнего ужина. Баранина была с прожилками льда и хрустела на зубах, но не становилась от этого менее привлекательной. Все как-то оживлялись, делались приметно говорливее, и ехать было куда веселее, да и солнышко, если ветер стихал, пригревало.

После короткого полуденного привала до ночлега ехали уже не останавливаясь. А там повторялось все по заведенному обычаю: сегодня, как вчера, и завтра, как сегодня.

III

Гоби, или, как метко окрестили эту пустыню китайцы, Шамо (что означает "песчаное море"), подходила к концу. Они сделали по пустыне двадцать переходов, остался один, последний, но и самый трудный — через сплошные зыбучие пески.

Беспокоило Иакинфа, что скот был приметно изнурен. Не раз, когда случалась богатая травой станция, Иакинф предлагал сделать остановку, дабы дать лошадям и верблюдам оправиться. Но Первушин и слушать его не хотел. Советов мы не терпим — по душе нам только поддакивание. Он быстро нашел общий язык с китайским приставом. Оба рвались в Пекин. Рассчитывая поскорей добраться до столицы, они и прежде удлиняли переходы, сокращали стоянки, возражали против каждого лишнего дня отдыха. А тут еще эти пески! На последней станции у Иакинфа произошла непристойная стычка с Первушиным.

— Как хотите, Семен Перфильич, а надобно дать скоту роздых перед песками, — сказал Иакинф приставу. — Иначе мы весь табун погубим.

Первушин вскипел:

— За табун отвечаю я! Имейте это в виду, отец архимандрит! Ваше дело господу богу молиться, наши грехи пред всевышним замаливать. А вы изволите совать свой нос куда надо и куда не надо! Я в ваши молитвы не лезу и вас, ваше высокопреподобие, па-пра-шу в мои распоряжения не вмешиваться! Выступаем сегодня в ночь, и дело с концом!

Не слушая больше никаких доводов, Первушин выскочил из юрты. Но долго еще доносилась до Иакинфа его брань.

Однако что было делать? Не ссориться же с приставом по

каждому поводу. Да, в конце концов, это и в самом деле не его, архимандрита, забота — где останавливаться на отдых, когда трогаться. Все это прямая обязанность пристава.

Во втором часу пополуночи караван выступил в путь.

Первые несколько верст ехали при лунном свете по глубокому снегу. Но снег быстро сдуло. Вокруг, куда ни кинешь взор, лежат только горы песка. Порою они казались Иакинфу как бы могильными курганами над мертвою природой.

Поднявшись на одну из этих зыбучих насыпей, ни впереди, ни сзади, ни вокруг ничего не видишь, кроме нескончаемых песчаных холмов, сливающихся с горизонтом. Спустившись, или, вернее, скатившись вниз, оказываешься как бы на дне огромного песчаного котла: над пологими стенками его только небо, а под ногами — один песок. Ни травинки для лошади, ни капли воды, коей можно было бы утолить жажду. Никакого выхода из этой песчаной западни нету, приходится лезть на осыпающуюся песчаную стену. Едва вскарабкаешься вверх, проваливаясь по колено, как опять надобно спускаться в новую яму. И ни тропинки, ни следа, шаги идущего впереди тотчас затягивает песком. Хорошо еще, что песок-то довольно крупный и тяжелый и потому не может целыми тучами переноситься с места на место при малейшем дуновении ветра. Будь он чуть помельче, и не было бы от него никакого спасения. Но хоть и крупен песок, да зыбуч, и колеса повозок увязают по самую ступицу, а верховые лошади вязнут до колен.

Иакинф дал себе слово в распоряжения пристава больше не вмешиваться. И все-таки не выдержал. Видя, что скот выбивается из сил, он велел всем спешиться.

Монахи недовольно ворчали. Иакинфу показалось, что Первушин готов был наброситься на него с нагайкой, но и он слез с лошади и тоже пошел пешком.

Лошади были изнурены до последней степени, а пескам и конца не видно.

Основную тяжесть тащили на себе верблюды. Но что это были за верблюды! Кожа да кости. Иакинф не мог смотреть безучастно на этих горемычных животных. Из кротких глаз их текли слезы, настоящие, — совсем как у людей.

У Иакинфа сжималось сердце, когда он слышал жалобные стоны измученных животных. У них уже недоставало сил кричать от боли. Они только стонали и охали, и как эти вздохи походили на человеческие!

И в довершение всего проклятые вороны!

С тех пор как караван втянулся в пустыню, путники не встречали никаких следов жизни. Ни жаворонков, которые пели

над их головами в Северной Монголии, ни дзеренов, как зовут монголы антилоп, нередко забегающих в зимнее время в Гоби из соседних областей, ни даже юрких ящериц. Лишь черное воронье кружило над караваном, подстерегая добычу. Часто зловещие эти птицы даже не дожидались, пока какое-нибудь из животных падет, а, углядев своим зорким глазом кровь, показавшуюся на потертостях или ссадинах у верблюда, опускались ему на спину и вырывали куски живого мяса. Душераздирающий рев и без того измученного животного нимало не пугал воронов.

Когда нашествие каркающих хищников становилось особенно назойливым, казаки отпугивали их выстрелами.

Утешало лишь то, что пески простирались всего на двадцать верст. Но с каким трудом давалась тут каждая сажень! Ежели бы не проводники, ни за что бы не выбраться из запутанного лабиринта зыбучих, без конца изменяющих и направление, и форму, песчаных насыпей.

Двадцать верст тащились они почти двое суток! Выехали с предыдущей станции во втором часу пополуночи и добрались до следующей, уже по ту сторону песков, поздно вечером другого дня! И это несмотря на то, что лошади неоднократно заменялись свежими, что большая часть тяжестей была переложена на верблюдов, которые несколько раз возвращались к обозу на помощь, так что под конец лошади добрели до станции едва ли не с пустыми телегами.

Наконец пески позади!

Но станция, до которой они добрались, оказалась бестравной. До следующей, где можно было бы дать скоту отдых, предстоял еще один переход.

IV

Поднявшись вместе с солнцем, Иакинф заметил, что всходило оно из-за горизонта тусклым кровавым пятном. Доброй погоды это не предвещало.

И в самом деле, ветер дул все сильнее. Резкий и порывистый, он пронизывал до костей. Даже идя пешком, невозможно было согреться, а до станции оставалось еще верст двадцать. Из-за кружившегося в воздухе снега, смешанного с песком, невозможно было ничего разглядеть уже в нескольких десятках шагов. Скот, обессиленный переходом через пески, едва тащил повозки.

Восемь верблюдов пали под вьюками, больше десятка лошадей в повозках выбились из сил и не могли идти дальше, даже верховые лошади едва плелись шагом.

А ветер все дул и дул. Несколько раз порывался не то снег, не

то мелкий колючий град.

Только в шестом часу кое-как добрались до станции.

Ветер приутих. Лошади и верблюды разбрелись по степи. Люди сидели и лежали у костров, дожидаясь ужина.

Иакинф, отогрев над огнем окоченевшие пальцы, вытащил свой журнал, собираясь записать сегодняшний переход. Вдруг раздался сильный треск над головой, юрта покачнулась. Средняя подпорка, установленная на случай бури, треснула и повалилась, опрокинув стоявший на тагане котел. Костер задымил и погас.

— Держи юрты!

— Палатки валятся!

— Телеги! Держи, держи! — раздавалось отовсюду.

Иакинф выскочил из юрты.

Такой бури он еще не видывал. Тяжелые тучи песка с воем неслись откуда-то с северо-запада, ломали все, что попадалось на пути. Одна палатка совсем накренилась. Ее хотели снять, но не успели. Налетевший ураган вырвал ее, смял и унес прочь.

Что делать? И в юртах-то было небезопасно: все трещало, валилось сверху и грозило обвалом. А под открытым небом и того хуже — ветер сбивал с ног…

Повозки зашатались и сами собой двинулись по степи. Казалось, прикрепи к ним какой ни на есть парус, и они покатятся до самого Калгана, подобно ладьям Олега, которые, по словам летописца, подходили посуху к древним стенам Царьграда.

Подвыпивший Первушин совсем растерялся. Он бегал, суетился, отдавал распоряжения, о которых тотчас же забывал.

Пуще всего Иакинф опасался, как бы не разметало ветром табун. Он приказал согнать лошадей в ложбину, — тут была относительная затишь. Сбившись в кучу, лошади стояли на одном месте, дрожа всем телом и фыркая. Верблюды, вытянув длинные шеи, распластались на оледенелой земле.

Ураган то притихал — и люди спешили воспользоваться коротким затишьем, чтобы укрепить юрты, разыскать раскиданных ветром лошадей, подложить под колеса повозок камни, то вновь припускал с яростной и дикой силой — и люди бросались наземь, цепляясь за случайный бугорок, чтобы их самих не унесло вихрем.

Иакинфу было просто недосуг вспомнить о своем обещании не вмешиваться в дела пристава. Когда тот отдал какое-то нелепое приказание, Иакинф, не помня себя от гнева, набросился на него с палкой. Он распорядился всех, кого только можно было, разместить в юртах. И все же многим казакам и монголам пришлось ночевать под открытым небом. Не имея других средств

защиты от стужи, они подлезали под шеи лежавших верблюдов, пытаясь хоть как-то согреться под их длинной шерстью!

Жесточайшая поземная вьюга свирепствовала всю ночь. Иакинф не сомкнул глаз. Верх юрты своротило на сторону, древки трещали и гнулись. Неукротимый ветер швырял в войлочные стенки тучи песка и снега, и казалось, вот-вот сорвет юрту с места и понесет по степи.

Утром долго пришлось расчищать вход от наметенных сугробов.

За одну ночь пала третья часть скота.

Первушин ходил как в воду опущенный. Еще бы! По неведению и нераспорядительности своей он погубил до восьмидесяти лошадей. Иакинф был зол и с трудом удерживался, чтобы опять не наброситься на него с палкой.

А тут еще пожаловал китайский пристав.

С не изменяющей ему изысканной вежливостью, которая уже начинала утомлять Иакинфа, битхеши обратился к начальнику миссии с просьбою запретить его людям истреблять воронов. Как всегда, просьба была сдобрена уверениями в совершенном почтении и самыми тонкими экивоками, доставлявшими немало хлопот толмачу.

— Ваш недостойный спутник принужден обеспокоить просвещенного русского да-ламу сею покорнейшею просьбою, потому как вчерашняя немилостивая погода и разыгравшаяся ввечеру буря, по глубокому убеждению местных жителей, были последствием убийства птиц, коих монголы почитают неприкосновенными.

С трудом подавив раздражение, Иакинф взглянул на китайского пристава.

Тот, видимо, придавал своей просьбе особливое значение, так как явился с нею сам, а не поручил, как обычно, своему помощнику — бошке. Накануне, желая укрыть людей от непогоды, Иакинф обратился к битхеши с просьбою выделить им еще хотя бы одну юрту. Но тот ответил через бошка, что лишней не имеет. А Иакинф проведал, что две юрты были разобраны по приказанию китайского пристава, дабы снятыми с них войлоками укутать жилища его и бошков.

— Я готов выполнить вашу просьбу, господин бистеши, и немедля распорядиться на сей счет, — отвечал Иакинф сдержанно. — Хотя, не скрою, с подобною просьбою следовало бы обратиться скорее к господину приставу.

Битхеши согласно кивнул.

— Впрочем, должен вам заметить, господин битхеши, — продолжал Иакинф, — что до сих пор мы не щадили жизнь

воронов единственно оттого, что птицы сии жестоко терзают спины верблюдов.

Битхеши по-прежнему понимающе кивал головой. Ну что с ним поделаешь? Для успокоения почтенного китайского пристава и суеверных степняков, не желая оскорблять их религиозных чувств, какими бы нелепыми они ни казались, Иакинф вызвал сотника и тут же, при битхеши, отдал распоряжение не стрелять в воронов.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

I

Вот и пришла пора проститься с Монголией.

Иакинф оставлял ее со смешанным чувством грусти и радости. Нет, он не скучал в диких и безлюдных ее степях. За три с половиной месяца Иакинф успел как-то привязаться к ней, пожалуй, даже полюбить. Ему нравилось и фантастическое нагромождение гор, и ворчливый рокот стремительных рек у северных ее пределов, и крикливые стаи непуганых птиц — гусей, уток, тюрпанов, куликов, цапель, тысячами плававших на глади северных монгольских озер. Нравились ему и неохватные степи, дымки далеких юрт у окоема, серокудрявые отары овец, тягучие песни монголов темными звездными ночами, орлы, парящие в голубой выси, желтоватый дымок от аргала, поэтические сказания мечтательных кочевников…

А быстроногие монгольские лошадки, ветром несущиеся по степи! Душа его успела как-то сродниться с удалым монгольским наездничеством, не одну минуту острой радости доставила ему дикая скачка во весь опор без дороги по безбрежной степи, которую не охватишь глазом.

Даже Гоби, с ее волнующимися барханами зыбучих песков, жгуче-студеным ветром, зловещим карканьем воронов! Сколько воли и мужества требуется от путника, решившегося пересечь ее в суровые зимние месяцы!

Впрочем, не сразу еще кончилась Монголия. Почти две недели ехали они до Великой стены кочевьями чахаров {Чахары, халхасцы, суниты — различные монгольские племена.}.

Ни в Халхе, ни у сунитов не видал Иакинф такого множества юрт, такого достатка и опрятности. В пригобийской степи юрты были грязные, люди — оборванные, вид у них изможденный. Рогатого скота не видно совсем. Возле юрт бродили, как тени, худые, голодные собаки, подкарауливая, не падет ли изнуренный верблюд, а пока жадно лизали и грызли снятые с верблюдов седла со следами крови от израненных спин сих горемычных созданий.

Не то было у чахаров: добротное платье на жителях, вдоль стен юрт аккуратные табюры — поставцы, в которых чахары хранят припасы и имущество, дорогие сосуды перед бурханами, много маржану {Маржан — украшение из кораллов.} и серебра в женских косичках.

Объяснение всему этому найти было не трудно, оно состояло в приметном богатстве чахарских степей. На тучных здешних

пастбищах паслись несчетные стада. Большинство их принадлежало самому богдыхану. В случае войны отсюда брались верблюды под артиллерию, лошади под воинов, да и сами воины, так же как овцы и быки им на пищу.

Но не только достаток видели они у чахаров. Почти при самом выезде из Гоби на склоне пологого увала заметили они несколько палаток придорожных нищих. На страшном морозе, полураздетые, выходили они на дорогу, становились на колени и земными поклонами вымаливали подаяние. Сердце сжималось при виде этих несчастных! Иакинф приказывал остановиться, путники развязывали мешки и отдавали нищим остатки вчерашнего мяса, предназначавшегося на завтрак, и уж, конечно, кирпичного чаю. Плитку-другую чая тут надобно было всегда иметь наготове: нет для монгола подарка желаннее и ценнее.

После Гоби две недели по чахарским кочевьям прошли незаметно.

Кажется, Иакинф имел все основания устать. За время скитаний по монгольским степям, и особенно за переход через Гоби, всем порядочно-таки досталось. Но Иакинф не давал себе поблажек: ему казалось, он уже видел страну, которая так занимала его воображение, и ему хотелось не идти, а мчаться ей навстречу.

II

Приближение Китая уже чувствовалось. Дорога с каждым шагом становилась все оживленнее. То и дело попадались идущие навстречу караваны и повозки, запряженные уже не по-монгольски, а по-китайски — цугом: только одна лошадь шла в корне, а остальные (две, три, порой даже четыре) тянули постромки впереди коренника. Чуть не каждую версту караван обгоняли всадники, скакавшие налегке к Калгану.

Чем ближе подходили они к рубежу, отделяющему Монголию от Китая, тем сильнее овладевало Иакинфом нетерпение.

Дорога пошла круто в гору. Изрезанная глубокими рытвинами, она была усеяна такими крупными камнями, что повозки едва тащились. Иакинф не стал их дожидаться и, захватив с собой Родиона, поскакал вперед.

К Родиону он привязался за время пути больше, чем к кому-нибудь другому из своих спутников. Родион был всегда бодр и весел, отличался лукавым юмором и огромной неистощимой силой. Все в руках у него так и горело: и костер разгорался быстрее, чем у других, и вода скорее закипала, и у всякой лошади прибавлялось рыси, стоило только Родиону на нее вскочить. А уж

рассказчик он был — заслушаешься! И наблюдательности редкостной.

— Что, Родион, должно, к перевалу подъезжаем, вишь, как круто пошло? — повернулся Иакинф к казаку.

— Так-то оно так, да вот что удивительно, ваше высокопреподобие, гор-то совсем не видать.

И то правда: Иакинф уже привык, что задолго до перевала тебя окружали со всех сторон горы, долины, ущелья, а тут впереди только дорога, которая круто шла вверх, обрываясь на горизонте. Что-то там скрывается за обрывом?

Иакинф хлестнул коня и поскакал вперед. Стук собственного сердца он слышал, кажется, не менее отчетливо, чем раздававшийся сзади цокот копыт Родионовой лошади. Они скакали вверх еще версты две. Миновали постоялый двор справа от дороги… Еще несколько шагов, и вот наконец открытая площадка. Она круто обрывалась каким-то немыслимым обвалом. Иакинф остановился в изумлении. Будто чудом с этого неожиданного амфитеатра перед ним открылась разом как бы целая страна.

Уже потом, поздно вечером, Иакинф пытался записать то, что увидел. И не мог. Да и в самом деле, где было найти слова, чтобы передать все величие раскинувшейся перед ним картины, как описать эти сотни, тысячи открывшихся вдруг глазу гор, долин, ущелий, рек, горных склонов с рассеянными по ним деревнями и пашнями, с путаницей бесчисленных дорог, с движущимися по ним людьми и животными, которых глаз едва различал и все-таки видел! И все это не перед тобой, а как бы под твоими ногами.

Такого нагромождения гор самых причудливых и невообразимых форм Иакинф даже не мог себе представить. В изумлении он тер глаза: то острые, как шпили готических храмов, пики; то округлые, как верхушки исполинских юрт, холмы; то иззубренные скалы, громоздящиеся одна над другой. Казалось, они просто висели в воздухе, как облака, и не было между ними ни разрывов, ни просветов, и невозможно было представить, как спуститься в этот первозданный хаос.

А какие тут были краски! Все оттенки зеленого, бурого, синего, желтого, лилового, и над всем этим небо такой глубокой и такой прозрачной голубизны, что мало назвать его даже лазурным!

Иакинф схватил Родиона за руку. Ему хотелось поделиться с кем-нибудь своим волнением, своей радостью.

— Смотри, смотри, Родион! Красота-то какая! — только и мог выговорить он.

— Да-а! Глаз не оторвать. Просто не верится. Будто во сне.

С детства Иакинфа тянула даль, ширь, манило неизвестное. Но и в самых пылких мечтах ничего подобного не приходило ему в голову.

— Да-а, Родион, увидав такое, и помирать можно… Во всяком случае, после такого зрелища не скажешь про себя, будто не знаешь, что такое счастье. Счастье ведь не зависит от того, сколько ты проживешь — тридцать лет, пятьдесят или все девяносто. Человек жаден. Все равно ему покажется мало. Счастье от того зависит, сколько на твою долю выпадет таких вот минут, как эта.

Они привязали лошадей и стали взбираться на высокую четырехгранную башню. Такие башни через каждую сотню сажен стояли вдоль полуосыпавшегося вала, что тянулся по хребтам и скалам справа от дороги. "Да ведь это и есть Великая китайская стена!" — осенило вдруг Иакинфа.

Высотой башня была саженей в десять. С верхней площадки ее открывался вид на все четыре стороны. На севере, откуда они приехали, тянулась бесконечная гладь слегка взволнованной пустыни. На востоке, за пропастью, от которой отделяла дорогу узкая насыпь, лежала долина, испещренная миллионами неровностей, а за долиной в несколько ярусов вздымались гряды гор. По склонам их террасами карабкались поля и нивы, а вершины находились на одном уровне с глазами зрителя.

— Боже мой! — невольно вырвалось у Иакинфа. — Неужто это не сон!

Он перевел взгляд на юг. Внизу расстилались луга и пашни с разбросанными там и сям одинокими домиками. За этим ближайшим планом земля вдруг обрывалась, видимо круто спускаясь в недоступную глазу глубокую долину, а в глубине, далеко за ней, взметнулись будто из самых недр громады голубых гор. Казалось, они достигали неба и сливались с ним — так они были высоки и так прозрачны.

Иакинф то прикладывал к глазам подзорную трубу, то смотрел вдаль невооруженным глазом. Горы представлялись до того изрытыми водой, до того были испещрены бороздами, что отсюда, с высоты, казались каким-то гигантским городом с узенькими кривыми улочками и прилепившимися друг к другу домами.

А через луга, мимо пашен, по горным кряжам и склонам, по пикам скал, куда, кажется, только ворон может занести кости свои, чудовищной белой змеей протянулась Великая стена, не прерываясь ни горами, ни пропастями, ни потоками…

Так вот он, Китай!

Иакинф сиял шапку и подставил лицо ветру. Большие, чуть

косо прорезанные глаза его горели. Он жадно смотрел вперед. Налетевший откуда-то снизу ветер откинул волосы с его высокого лба, похудевшее, опаленное гобийским ветром лицо улыбалось.

Этот крутой обвал со стороны Монголии и высокие горные кряжи со стороны Китая составляли естественную границу между двумя веками враждовавшими соседями — рубеж, разрушить который человек не властен. Кажется, сама природа позаботилась о том, чтобы оградить земледельческий Китай от набегов любопытных и воинственных кочевников. А тут еще Великая стена — плод трудолюбия многих поколений бесчисленных китайцев!

III

Пока он, любуясь расстилавшейся у ног картиной, предавался этим размышлениям, подъехал караван миссии.

Первушин подниматься на башню не стал.

Взглянув сонными глазами на море гор у себя под ногами, он зевнул и сказал:

— Да, недурно. Однако ж пора ехать. До станции еще восемь верст.

Жаль было уходить отсюда так скоро, и Иакинф, казалось, забыл о недавней стычке с приставом.

— А может, заночуем тут, Семен Перфильич? Постоялый двор рядом, — предложил он.

Ему хотелось взглянуть еще раз на эту волшебную картину утром и написать ее на память акварелью. Бог знает, доведется ли еще попасть сюда, пережить вновь те минуты восторга, какие только что пережил он здесь?

— Нет, нет, — решительно заявил Первушин. — До станции восемь верст, и мы доберемся засветло.

Безапелляционный тон пристава возмутил Иакиифа.

Нельзя пожертвовать несколькими часами! Будто они не жертвовали в той же Кяхте не часами, а неделями потому, что обеды да ужины были там хороши, что не хотелось выходить в пору из прохладных комнат, где так приятно было слоняться из угла в угол, ничего не делая и отгоняя мысль о тяжелом путешествии!

— Ну что ж, можете ехать, господин пристав, я вас задерживать не стану. А мы с Родионом заночуем тут, на постоялом дворе, и завтра вас догоним.

Китайский пристав встревожился. Нет, он никак не может оставить русского да-ламу ночевать одного на постоялом дворе!

Наконец, после длительных переговоров, было решено, что с

Иакинфом останутся не один, а два казака и один из помощников китайского пристава. Хорошо хоть младший, — этот производил впечатление человека просвещенного и порядочного.

Деревня была рядом, — первая китайская деревня, какую Иакинф увидел, и он жадно вглядывался во все, что попадалось ему на глаза.

Дома карабкались вверх по косогору, иные были высечены в крутой скале или прилепились к ней подобно гнездам птиц.

Больше всего поразила Иакинфа смелость китайских земледельцев: и склоны и вершины гор были обращены в прекрасные нивы. Нельзя было не удивляться, каким образом удалось им возделать эти каменистые, неприступные скалы. Но, видно, постоянный и непреклонный труд — непременное условие существования китайских поселян — восторжествовал над всеми препонами, как бы вопреки самой природе, отказавшей им в важнейшем — в земле.

Иакииф отметил про себя, что хозяйственное устройство жилищ китайских достойно подражания: на оградах, слепленных из глины, посажен терновник, на улицах и по дороге растут ветвистые ивы. Когда они проезжали мимо сидевших на корточках крестьян, все поднялись и закивали головами, а те, что курили, приветствовали путников обеими руками, подняв их над головой вместе с трубкой. Почти на всех жителях Иакинф видел подбитые ватой, хоть и основательно заношенные, но старательно залатанные куртки из синей дабы. Ловко сшитые, они не стесняли движений. Легкие башмаки на толстой войлочной подошве, должно быть, не обременяли ног. Валяные шапки, или, лучше сказать, колпаки с поднятыми вверх полями прикрывали подбритые головы.

Поодаль мужчины колдовали над какими-то кучами, малолетние дети с забавными хохолками на бритых головах помогали родителям. Иакинф спросил у бошка, что это за кучи. Оказывается, это готовятся к весне удобрительные смеси: навоз, зола, ил, отбросы, падаль.

Косы поселянам явно мешали. Кое-кто, чтобы они не болтались, засовывал их за пояс или скручивал на макушке спиралью и прикрывал колпаком.

— Господин бошко, отчего они косы себе не обрежут? — спросил Иакинф. — Ведь они им только мешают.

— Нельзя!

— Отчего же нельзя? Вы же косы не носите?

— Наша маньчжур еси, а ихани — китайца.

— Ну и что же?

— А то. Ихани коса носи надо. Ихани покореная народа еси.

— Как? Разве прежде китайцы кос не носили?

— Нету, нету! Коса в Китай маньчжур носи давай.

— Зачем? Ведь вы сами ее не носите.

— Така знака. Понимай? Знака! Как эта ваша говори? Верна-по-дан… сы-тэ-ва зы-на-ка!

— А-а! Ввели в знак верноподданства?

— Во-во, так, так. Наша пеэрва хуанли… Как эта ваша говори? Ин-пе-ла-то-ла! Повелела поданнай голова брити. Толика тут — как эта? — макушика коса нада.

— И что же, китайцы сразу завели косы?

— Нету, нету!

Из рассказа бошка выходило — далеко не сразу. Приведение императорского указа в исполнение было поручено поначалу цирюльникам. С бритвой в одной руке и с мечом в другой, они обходили свои участки, предлагая каждому китайцу на выбор — поступиться головой или прической. Ну разумеется, большинство шло на операцию, хоть и позорную, но менее рискованную. Однако не везде дело обстояло так гладко. Не обошлось и без возмущений, даже бунтов. Тем более что цирюльники в те времена, как и теперь, принадлежали к сословию подлому, должность императорских чиновников им не приличила, и это оскорбляло китайцев, особливо из ученых.

— Но каким же манером удалось все-таки осуществить сей указ?

— А вот как. Кан Си слыхала?

— Ну конечно, слыхал. Это второй император вашей Маньчжурской династии?

— Да-да. У китайца исытория долога-долога. Но така умэннай инпелатола не было. Она многа-многа думай, и сечаса все китайца коса носи.

— Что же такое он придумал? — спросил Иакинф, заинтригованный.

Оказывается, Кан Си и в самом деле прибег к мере остроумной и действенной. Наистрожайшим образом воспретил он носить косы монахам и преступникам, а также тем, кто принадлежал к подлым сословиям. И вот ненавистная прежде коса сделалась как бы знаком отличия каждого честного, уважаемого человека.

Сопротивление тотчас прекратилось, и теперь уже нельзя представить себе бескосого китайца. Напротив, не было отныне для китайца большего позора, чем лишиться косы.

Навстречу им попались две женщины. Это были первые женщины-китаянки, которых Иакинф видел, и он впился в них глазами. Шли они медленно, едва передвигаясь. Одна — при

помощи палки, другая — опираясь о стену. Из-за спины у нее выглядывала голова ребенка. Крохотные ступни женщин были не длиннее указательного пальца… Иакинф подъехал поближе. Но испуганные женщины бросились прочь, стремительно убегая, если можно так назвать ковыляние на неустойчивых козьих ножках.

— Господин бошко, а моду на эти крохотные ножки тоже вы у китайцев ввели?

— Нету, нету. Наша жэнынина нога ни бинтуй.

— А отчего же китаянки завели себе эту странную моду?

— А кто зынай можина?

Как выходило из рассказа бошка, обычай это был древний. О происхождении его ходит в народе немало преданий. По одному такому преданию, третьей женой у древнего князя Чжоу-вана была фазанья самка. Волшебники превратили ее в женщину. Всем хороша была жена у князя, только вместо ног — птичьи лапы. И вот, чтобы скрыть свое уродство, придумала княгиня себе изящные крошечные башмачки. Фазаньи лапы казались в них прелестными ножками, а походка княгини обрела неповторимое изящество. Жене князя стали подражать и другие женщины. С той поры и повелась мода на маленькие ножки.

А есть и другое предание. У одного танского императора — жил он более тысячи лет назад — была любимая наложница. Ножки у нее были маленькие и нежные, как лепестки лотоса. Когда она танцевала, пол устилался лотосовыми лепестками, сделанными по заказу императора из листового золота. И танец, и ножки поэт-император воспел в стихах. Красавицы Поднебесной стремились подражать прославленной императорской наложнице. Маленькие ножки стали обозначать тем же иероглифом, что и цветок лотоса, а изящная женская походка именовалась отныне "лотосовыми шажками". Чтобы сохранить маленькую ножку, девочкам с малых лет стали туго стягивать ноги бинтом. Мода эта свирепствовала поначалу лишь у знати, но потом и в народ проникла. Теперь даже нищенки и те ноги бинтуют.

— А может, затем сие делалось, чтобы наложницы не убегали из императорских гаремов?

— А кто зынай? Можина, и так, — сказал бошко неопределенно.

Но вот и постоялый двор.

На вывеске красуется лошадь. Вытянув шею, она жадно принюхивается: пахнет так заманчиво, что и она невольно остановилась.

У коновязи они и в самом деле нашли десятка три лошадей и мулов. Возницы кормили их сечкой из рубленой соломы и

гаоляна, а тем временем сами путешественники сидели за квадратными столами длинного чайного трактира и подкреплялись всяк на свой вкус и достаток: пили чай, ели суп и лапшу — самое распространенное здесь кушанье…

Появление чужеземцев вызвало острое любопытство. Но Иакинф отметил, что, бросая на них пытливые взгляды, китайцы вели себя сдержанно и с большим достоинством. Те, мимо которых они проходили, приподнимали свои чашечки в знак приветствия, как бы приглашая разделить их трапезу.

Невозможно передать радость, какую почувствовал Иакинф, переступив порог не очень чистой, но натопленной китайской комнаты. Ведь от самой Урги на протяжении тысячи верст они не встречали ни малейших признаков хоть сколько-нибудь устроенного оседлого жилища. Наконец-то Иакинф скинул шубу, с огромным, давно не испытанным наслаждением вымылся и, ощущая истинное блаженство, растянулся на подогретом кане у жаровни с пылающими углями.

В комнату бесшумно, на мягких войлочных подошвах, вошел слуга. Пока подойдет дело к ужину, Иакинф решил попросить у слуги пару яиц, хлеба, соль и чашку чая.

Он вытащил походный свой словник. Все, что ему нужно, тут было записано. И слова такие короткие: дань — яйца, янь — соль, вань — чашка… Но как старательно ни произносил Иакинф эти простые и нехитрые слова, до слуги они почему-то не доходили. Вежливый и услужливый, китаец смотрел Иакинфу прямо в рот, всем своим видом показывая, что готов немедля броситься выполнять просьбу, и… ничего не понимал.

— Ни шо шэмма, ни шо шэмма? {Как вы сказали? (Кит.).} — без конца повторял он.

Потеряв всякую надежду, Иакинф на всякий случай ткнул пальцем в китайские иероглифы, написанные рядом с этими словами, и лицо слуги тотчас расплылось в радостной улыбке. Он что-то пролопотал (Иакинфу показалось: "Давно бы так и сказали"), и в ту же минуту на столе появилась и пышная китайская яичница, и соль, и пресные китайские лепешки, которые тут заменяли хлеб, и чай.

Напившись чаю, Иакинф решил проведать своих казаков. Родиона не было, он еще возился с лошадьми, а Тимофей объяснялся со слугой с еще меньшим успехом, нежели он сам.

— Принеси чашку! — кричал казак, никак не желая признать, что китайцы не понимают по-русски.

— Ча-ша-коу? — переспросил китаец удивленно.

— Да, да, чашку, чашку! — повторил Тимофей, недоумевая, как это слуга не понимает его.

— Вот ведь беда! — потерял он всякое терпение. — Самых простых слов понять не могут. А и слова-то вроде совсем на ихние похожи: чаш-ка, пи-ща.

— Пи-ши-ча? — переспросил китаец с прежним недоумением.

Иакинф смеялся.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

I

Караван они догнали уже под Калганом. Ехали все время по крутым и тесным спускам. Дорога извивалась между высокими каменными утесами, висящими над головами путников. С правой стороны тянулась Великая стена, а слева — пропасть, всегда готовая поглотить неосторожного наездника.

В конце этого ужасного ущелья перед глазами открылись две огромные скалы, соединенные высокою кирпичною стеною. Когда караван приблизился к тяжелым городским воротам, китайский пристав обратился к русскому своему коллеге с просьбою пройти чрез ворота пешком, отмечая сим вступление в светлейшую Дай-Цинскую империю. Первушин заартачился.

Не хотелось Иакинфу осложнять и без того неважные отношения с Первушиным, но он все же счел необходимым исполнить просьбу битхеши. Всю дорогу он старался избегать излишних, а тем более бесполезных, споров с китайским приставом, да и просьба его казалась Иакинфу естественной, и он приказал всем спешиться.

Уже пройдя ворота, казаки сели на лошадей, а остальные забрались в свои повозки.

Великая стена, которую они пересекли, въезжая в Калган, была рубежом не просто между двумя провинциями одной империи. С древних, полуразвалившихся башен ее взираешь на Монголию и Китай как на два противоположных мира: в одном — неоглядные просторы степей, по которым скачут на своих быстроногих конях вольнолюбивые пастухи-кочевники, в другом — невообразимая сутолока поглощенных своими заботами ремесленников, предприимчивых купцов, церемонных мандаринов, едва прикрытых рубищами крикливых нищих.

Великое множество калганцев собралось встретить или просто поглазеть на путешествующих россиян. В числе прочих навстречу миссии выехали важные, как поначалу Иакинфу показалось, а на самом деле второстепенные, как потом выяснилось, калганские чиновники.

Шумной торговой улицей прибывшие направились к подворью, отведенному миссии местным начальством.

Повозки миссии едва пробирались сквозь густые толпы. Иакинф подумал было, что весь этот народ высыпал посмотреть на них. Ничуть не бывало! Приглядевшись, он понял, что это самые обыкновенные прохожие, спешившие куда-то по своим делам, да и все улицы, по которым они проезжали, были запружены шумным, озабоченным людом, телегами, верблюдами, лошадьми, мулами, осликами. Множество меняльных лавок, магазинов с готовым платьем, обувью, домашней утварью, неимоверное количество уличных разносчиков…

Калган показался Иакинфу огромным муравейником, только не безмолвным, а шумным и говорливым, наполненным тысячами разнообразных звуков — от пения птиц, которых выносят в клетках на улицы, до звона наковален в закопченных кузницах, от грохота барабанов и пронзительных фальцетов странствующих фигляров и комедиантов до громыханья движущихся по неровным каменным мостовым обозов.

На другой день по приезде миссия нанесла официальный визит высшим калганским сановникам, гусай-амбаню и мэйрэнь-цзангию — управляющим чахарским войском и пограничными делами.

При щелканье полицейского бича толпы любопытных жителей, полнивших улицы Калгана, раздавались в стороны, и, словно узкой рекой, зажатой между двумя волнующимися берегами, процессия проследовала к ямыню, близ стен крепости.

У ворот, ямыня миссионеры слезли с повозок, а казаки — в высоких черных папахах и при палашах — спешились, и, встреченные амбаньскими чиновниками, все проследовали в просторный, чисто выметенный двор. Затем, поворотив направо, через другие ворота прошли еще в один двор, в глубине которого возвышался каменный щит с резным изображением дракона — герба Дай-Цинской империи. Обогнув щит, провожатый провел их в третий двор и наконец в приемную залу с расставленными вдоль стен резными деревянными креслами и столиками между ними.

К удивлению Иакинфа, мэйрень-цзангия в Калгане не оказалось, а гусай-амбань не только не встретил миссию у входа, как то повелевалось правилами китайской вежливости, но и заставил еще довольно-таки долго подождать себя. Это было тем более неожиданно и неучтиво, что о намерении начальника миссии и пристава нанести визит калганские власти были извещены через китайского битхеши тотчас по приезде.

Наконец стоявшие у дверей чиновники шепнули: "Идет!" — и

застыли в почтительных позах. Иакинф и Первушин выстроили своих подопечных по чинам и санам против дверей, из которых должен был появиться гусай-амбань.

Двери распахнулись, и в сопровождении полудюжины мандаринов на пороге показалась важная фигура китайского сановника. Это был высокий статный маньчжур с синим шариком на шапке, в шелковом парадном платье с вышитым на груди тигром и яшмовыми четками на шее.

На подбородке у мандарина торчало с десяток волосков, как отдаленный намек на бороду, несколько большее число волосинок составляло тонкие, свисавшие по бокам губ усы.

Войдя в комнату, сложив сжатые кулаки на груди, он сделал общий поклон и остановился, будто пораженный негаданным зрелищем. В медлительно-церемонных движениях гусай-амбаня, во всей его горделивой осанке было какое-то преувеличенное выражение сановного достоинства, предназначавшееся, по-видимому, для того, чтобы произвести на гостей ошеломляющее впечатление. Этого, однако ж, он не достиг. Никто не пал ниц.

Сдержанно поклонившись, глядя по своему обыкновению не на собеседника, а на переводчика, Первушин произнес несколько приветственных слов, выразив удовлетворение, что имеет счастливую возможность представить следующую в Пекин российскую духовную миссию во главе с архимандритом Иакинфом столь высокому сановнику его богдыханова величества.

Гусай-амбань кивнул и, сделав несколько шагов вперед, снова остановился, не произнося ни слова, важно глядя на всех вместе и ни на кого в отдельности.

Один из чиновников, согнувшись в низком поклоне, почтительно, обеими руками, подал ему список членов миссии.

Гусай-амбань медленно взял список и, отнеся его возможно дальше от глаз, несколько вбок, величаво откинув голову, как это делают важные сановные старики, неторопливо просмотрел его и назвал открывавшее список имя начальника. Когда Иакинф поклонился, гусай-амбань молча закивал головой, как бы говоря: знаю, знаю! Затем произнес следующее имя и поднял глаза, ожидая, когда укажут его обладателя. Так, не торопясь, он прочитал весь список. Он произносил имя, названный отвешивал поклон, гусай-амбань медленно и пристально разглядывал его и каждого следующего, словно собираясь приобрести кого-нибудь из членов миссии себе в услужение, и, не зная, кому отдать предпочтение, неторопливо выбирал, взвешивая все "за" и "против".

Первушин не скрывал раздражения и, позванивая шпорой, все

порывался сесть, не дожидаясь приглашения. Иакинфа нелюбезность гусай-амбаня сердила мало, он разглядывал китайского мандарина с не меньшим вниманием, чем тот его и его свиту. А амбань, все так же стоя, решил теперь же выучить имена всех, что, разумеется, давалось ему нелегко. Но он, судя по всему, никуда не спешил и добился-таки своего — выучил, хоть и в сокращенном варианте: Иакинф превратился у него в И-да-ламу, Серафим — просто в Се, Аркадий — в А, Нектарий — в Не…

Иакинф и Первушин решили, не откладывая дела в долгий ящик, преподнести подарки. Гусай-амбань принял их, по крайней мере по наружности, довольно холодно. И только когда Первушин преподнес ему водородное огниво, его невозмутимое сановное безразличие оказалось поколебленным. Чопорный мандарин оживился и все никак не мог надивиться, как это из банки, наполненной жидкостью, вырывалось пламя. То и дело он открывал и закрывал краник.

Однако стояние в дверях становилось тягостным, а гусай-амбань не решался, видно, ни пригласить садиться, ни провести гостей в глубину комнаты. По-видимому, он просто затруднялся, как быть — пригласить сесть всех или только Иакинфа и Первушина. Наконец Первушина, Иакинфа, двух иеромонахов и иеродиакона пригласили сесть, но ни причетники, ни студенты не были удостоены этой чести. Когда гости сели на тяжелые резные стулья, гусай-амбань уселся сам и приказал подать чаю. Началась церемонная беседа — о пути, о погоде, о здоровье…

Иакинф терялся в догадках: что означает столь странный прием? Может быть, гусай-амбань намерен показать, что принимает русских миссионеров за людей незначительных, с которыми должно обращаться свысока, не желает уронить своего достоинства и оказать излишнего внимания людям, кои по положению своему того недостойны? Это тем более вероятно, что, как Иакинф слыхал, монахи в Китае — сословие презираемое. К тому же китайцев отличает полное неведение относительно чужих нравов и обычаев, и при редких встречах с иностранцами им, должно быть, нелегко решить, как с ними держаться.

Назавтра гусай-амбань нанес ответный визит. В двухколесной китайской повозке на тяжелых ребристых колесах, годных разве что под пушечный лафет, в сопровождении чиновников, предшествуемый несколькими вершниками, гусай-амбань подъехал к воротам подворья, где остановилась миссия. Под тем предлогом, что он не желает обеспокоить начальника миссии и пристава своим посещением, из повозки он не вышел, но с отменною вежливостью справился о здоровье и поблагодарил за вчерашнее посещение. Словом, это был визит, какой обычно в

Китае вельможи делают лицам, ниже их стоящим.

Каково же было удивление Иакинфа, когда под вечер того же дня чиновник гусай-амбаньского ямыня доставил ему и Первушину длинные красные конверты, в которых, по объяснению бошка, содержалось приглашение пожаловать завтра в десять часов утра на обед к гусай-амбаню и мэйрэнь-цзангию.

— В десять часов на обед? — вскричал пристав.

Иакинф вставал рано, но для Первушина этот час был слишком ранним даже для завтрака, не то что для обеда.

Едва успев выпить чашку чая, Первушин облачился в офицерский мундир с эполетами, Иакинф — в парадную рясу, и в сопровождении свиты казаков они направились на обед к калганскому начальству.

На этот раз гусай-амбань и мэйрэнь-цзангий встретили их у входа. И они и вся свита их были в парадных шелковых платьях, припущенных у них самих собольим, а у остальных лисьим мехом. Оба сановника поздоровались с отменною вежливостью, а мэйрэнь-цзангий высказал сожаление, что был в отъезде и не мог лично встретить миссию при первом визите. Вежливо уступая дорогу друг другу, хозяева и гости употребили по крайней мере с четверть часа, чтобы пересечь неширокий двор и пройти трое дверей, пока добрались до комнаты, где был накрыт стол для обеда.

Впрочем, накрыт — это было не совсем точно. Стоявший посередине комнаты квадратный стол на восемь персон (он так и назывался по-китайски "басянь-чжо" — стол для восьми бессмертных) не был покрыт скатертью, и белые, с синим прихотливым узором, тарелочки и желтоватые, слоновой кости, палочки для еды — куайцзы — четко выделялись на черной лакированной столешнице.

Помимо Иакинфа и Первушина на обед были приглашены еще четверо китайских мандаринов. Все ходили по комнате, или, лучше сказать, переступали с ноги на ногу, потому что ходить собственно было негде, — почти все пространство комнаты занимал стол, а вдоль задней стены тянулся широкий и низкий кан, неизменная, как Иакинф убедился, принадлежность всякого китайского жилища.

По невидимому знаку к гусай-амбаню и мэйрэнь-цзангию подошли слуги; у каждого в левой руке было по подносу с маленькими чашечками, а в правой — по серебряному чайнику с вином. Оба сановника взяли по чашечке, слуга налил в них вина. Гусай-амбань, держа чашечку обеими руками, хотя она была мала и для двух пальцев, приблизился к Иакиифу, учтиво поклонился, поднял чашечку над головой и, обратясь к архимандриту по

имени, подошел к столу и поставил ее у прибора. Потом он брал отдельно каждый предмет прибора, поднимал обеими руками над головой и клал обратно на свое место. Проделав все это с молчаливой и торжественной серьезностью, он снова поднял сложенные над головой руки, поклонился Иакинфу и молча указал ему место, возле которого Иакинф и остался стоять (адъютант гусай-амбаня шепнул толмачам: "Только пусть не садятся, пока не пригласят к столу всех!").

Та же церемония была повторена мэйрэнь-цзангием в отношении Первушина.

Наконец все уселись. Иакинфа посадили по левую руку от гусай-амбаня. Мэйрэнь-цзангий сидел напротив, по левую руку от него — Первушин. Толмачи помещались сзади и в трапезе не участвовали.

Слуги поставили на стол закуски. Но никто ни к чему не прикасался. Тогда гусай-амбань взял свою чашечку, встал и, пригласив всех выпить, осушил свою чарку и, чтобы все могли убедиться, что она пуста, опрокинул ее себе на ладонь. То же проделал и мэйрэнь-цзангий. Затем оба сели на свои места. Гусай-амбань повел бровью, и тотчас к нему подбежал слуга, снял с него форменную шляпу с синим шариком и надел вместо нее круглую атласную шапочку, с которой китаец никогда не расстается. Снял мандарин и яшмовые четки, которые носят в торжественных случаях. Этим он как бы приглашал всех держаться запросто. После этих приготовлений началась трапеза и беседа.

Несмотря на ранний час, Иакинф почувствовал, что голоден как волк, да и расставленные на столе кушанья выглядели весьма заманчиво, но, к ужасу своему, Иакинф заметил, что возле тарелки у него не было ни ножа, ни вилки, а лежали лишь к_у_а_й_ц_з_ы — пара похожих на вязальные спицы, чуть потолще, костяных палочек. Куайцзы были из слоновой кости, с серебряными головками, украшенными тонкой чеканкой. Но к чему ему вся эта роскошь, ежели он не умел с ними обращаться? Иакинф поглядывал на своих соседей. Китайцы орудовали палочками с необыкновенной ловкостью, подхватывали ими с тарелок разные кушанья и подбрасывали в рот. У Иакинфа же ничего не получалось: тонкие палочки выскальзывали из пальцев, и пища падала на стол. Тщетно он старался ухватить ими хоть один кусочек.

Наконец гусай-амбань сжалился над Иакинфом, ловко подхватил палочками кусок из своей тарелки и сунул прямо в рот растерявшемуся Иакинфу. Сделал он это, по-видимому, не только из сострадания к голодному гостю и желания ему помочь, но и

потому, что у китайцев это считается особым знаком внимания. Нельзя сказать, чтобы такой способ угощения был особенно приятен, но что поделаешь: в чужой монастырь своего устава не возят. Иакинф стал приглядываться, как держат палочки китайцы, и мало-помалу дело пошло на лад. Скоро он уже мог, подобно китайцам, даже рис брать по зернышку. Иакинф был горд, — ведь китайцы ели своими куайцзами уже тысячу лет тому назад, а его предки еще в минувшем веке обходились пальцами. Что же до ножей, то в них просто не было нужды: что бы ни подавалось, было отменно разварено или заранее разрезано на куски, и все спокойно обходились одними куайцзами.

Иакинф присматривался к кушаньям, хотел непременно удержать в памяти их названия, но это было немыслимо. Блюд было так много — их подавали пять-шесть сразу, — сменялись они так быстро, что скоро все перепуталось. Сколько их было? Тридцать? Сорок? Пятьдесят? Тут были всевозможные овощи, мясо и рыба под кисло-сладкими, острыми и пряными соусами, ветчина, варенная в меду, побеги молодого бамбука, батат, утиные яйца, приготовленные каким-то диковинным способом (по словам хозяина, их сначала варят, а потом, обмазанные известью, закапывают в землю года на два — они приобретают темно-бурый цвет и напоминают вкусом уже не яйца, а скорее какой-нибудь острый сыр), вареные моллюски, трепанги, креветки, фазаны, плавники акул, семена лотоса в сладком соусе.

Слуги беспрестанно подливали рисовую водку. Подавали ее не охлажденной, а, наоборот, подогретой, и она была такой жгучей, что перехватывало дыхание. Правда, разливали ее в крохотные, чуть побольше наперстка, чашечки.

Иакинф растерянно взглянул на хозяина, когда тот пододвинул ему чашку с супом. "Суп из ласточкиных гнезд", — шепнул стоявший сзади толмач. "А, была не была!" Движимый любопытством, Иакинф дал себе зарок ни от чего не отказываться. Он отхлебнул. Оказалось, что это тонкий бульон с легким привкусом морских водорослей. Приправлен он был древесными грибами ("му-эр" — древесные уши, как пояснил переводчик), тонкими нитями нарезанной яичницы и вареными голубиными яйцами. Сами ласточкины гнезда, плававшие в бульоне, напоминали прозрачную вязигу.

Видимо заметив его недоумение, гусай-амбань стал объяснять, что это гнезда не обычной ласточки, а очень редкой. Водится она на островах южных морей, гнезда свои лепит из собственной слюны, прикрепляет к неприступным скалам, а сверху обмазывает глиной и ракушками. Собирают их охотники с огромным риском для жизни и по морю везут в Китай. Оттого-то

они так дороги и доступны только богатым и знатным людям. Из рассказа гусай-амбаня выходило, что ласточкины гнезда особенно ценятся китайцами не столько за тонкий вкус свой (никакого особого вкуса в них Иакинф, впрочем, и не заметил), а за то, что они, как и трепанги, надолго сохраняют силы молодости.

После трех или четырех десятков блюд обед был прерван для чаепития с целью, как пояснил переводчик, "осаждения пищи вниз" и для курения.

Затем трапеза продолжалась. Все было на удивление вкусно, хоть Иакинф и не мог сказать, что он ел. Когда было подано столько блюд, что он потерял им счет, на столе появился х_о_г_о_у — огненный котел, что-то вроде срезанного пополам самовара или кастрюли на ножках, с крышкой и трубой посередине, в которой пылали угли.

Хогоу поставили посередине стола на круглом медном подносе, а вокруг, словно ореол, выросли плоские тарелочки с тонюсенькими кусочками сырого мяса, розовыми просвечивающими ломтиками ветчины, стручками красного перца и разными овощами, названий которых Иакинф не знал. Через какую-нибудь минуту бульон в хогоу закипел, и сами обедающие стали бросать в него содержимое тарелочек. И вот в несколько минут готов суп, который у китайцев, оказывается, не открывает, а завершает обед.

Все происходило тут же, на глазах, и едва забулькал в хогоу бульон, слуги принесли круглые чашечки и овальные, с короткой ручкой фарфоровые ложки, похожие на аптечные совочки. Глядя, как это делают хозяева, Иакинф налил себе только что сваренного, аппетитно пахнущего бульона и съел его вместе с поданным в другой чашечке рисом.

Обед, дважды прерывавшийся для "осаждения пищи вниз", продолжался часов шесть. Но суп и рис знаменовали его окончание, и хозяева, громко рыгая, что почитается у китайцев хорошим тоном, поднялись из-за стола.

Зная, что, по китайским понятиям, учтивость требует, чтобы гости не засиживались после обеда и не мешали столь важному для переваривания пищи отдохновению, Иакинф и Первушин стали благодарить сановных хозяев и откланиваться, прося их не утруждать себя проводами. Но на этот раз хозяева проводили их до ворот.

Иакинф забрался в повозку и, удивительное дело, после такого обильного обеда — сколько тут было блюд, при виде некоторых Первушин, правда, трусил, но он-то сам из любознательности не пропустил ни одного! — он не ощущал ни малейшей тяжести в желудке, не испытывал, как бывало на

званых обедах, неприятного ощущения, что переел.

Первушин, однако, не разделял его восторгов. Обед ему решительно не понравился.

— Черт знает что! Чего только не едят эти китайцы! Какие-то черви, пауки, всякая дрянь! Чуть не целый день просидел за столом и остался голодным.

— Так вы же почти что ничего и попробовать не отважились!

— Да как там попробуешь! Спрашиваю: что такое? Каракатица с чесноком и сахаром. Пфу! Или подумать только: суп из ласточкиных гнезд! Да это же навоз с соломой!

— Полноте, Семен Перфильич, это же не обычные ласточки.

— Тьфу! Обычная, необычная — все равно гадость! И все-то у них не как у людей. Вместо десерта — суп. Сладкое подают где-то посередине, вперемежку с острыми закусками. И все нашпиговано луком, чесноком, имбирем и еще черт знает чем. Нет уж, увольте меня, ваше высокопреподобие, от эдаких обедов.

— Ну а как водка китайская? — спросил Иакинф улыбаясь.

— Отрава! И опять: добрые люди подают водку охлажденной, а они нарочь подогревают. А от горячей от нее такой дух, что с души воротит. И скучища за столом смертная. Сидят ровно мумии. Недаром Никанор давеча сказывал: тут все походящее на одушевление за порок почитается. А уж мандарины эти особливо, наружность у них столь холодная, что и слова-то не произнесут с каким-нибудь движением. Уж хоть бы дам своих к столу пригласили, да где там! Спросил я у этого пограничного начальника ихнего, с которым меня посадили, о здоровье жены, так вы бы видели, как он на меня посмотрел!

— Изволите ли видеть, Семен Перфильич, у них спрашивать о жене почитается непристойным.

— Вот и я говорю: смешной народ! А вы видели, ваше высокопреподобие, как они здороваются? Вместо того чтобы, как у людей, руку вам пожать, они к своему лицу кулаки подносят. Снять шляпу при входе почитается у них неприличным, и сами за столом в шапках сидят. И на шапке для чего-то пуговица сверху пришита. Потеха! Да и весь костюм какой-то у них несуразный: жилет поверх кофты, чулки из белого холста, и накрахмаленные еще. И все-то у них шиворот-навыворот: мужчины носят юбки, женщины — шаровары.

— Ну знаете, Семен Перфильич, может быть, наши наряды — кринолины, панталоны, фраки — им тоже дикими покажутся. У каждого народа свои обычаи, свои привычки, свои понятия о красоте. А народ сей — один из просвещеннейших на земле.

— Тоже мне нашли просвещение! А вы слыхали, как они выражали удоволенность лакомыми блюдами? На таком языке,

для понимания коего знания китайской грамоты не надобно! Кичатся своим просвещением, а за пять тысячелетий до вилки додуматься не могли, едят какими-то палочками!

Спорить с Первушиным было бессмысленно. Иакинф давно приметил, что ко всему китайскому, да и вообще к азиатскому, пристав относился с ярым предубеждением. Он был начинен своими условностями и не обнаруживал никакого стремления понять чужие. Все несовместимое с привычными представлениями казалось ему диким, смешным, нелепым. А Иакинфу не хотелось мерить чужую жизнь на свой, русский аршин. Он понимал, что нельзя судить о чужеземном по сравнению со своим, которое по привычке кажется нам естественнее и ближе. Многое, многое надобно знать, чтобы понять чужую жизнь. Вспомнилась китайская пословица, которую приводил как-то Никанор: "Мало видел — многому дивишься. Увидел верблюда и думаешь — у лошади спина вспухла".

Да, да. Надо отрешиться от предвзятости, не быть в плену личного вкуса, с детства усвоенных привычек!

II

Переезд от Калгана до Пекина был самым восхитительным за всю дорогу. Подгоняемый все новыми и новыми впечатлениями, Иакинф рвался вперед. Никогда он не испытывал такого нетерпения, как теперь!

Картины кругом все менялись. Иногда Иакинфу казалось, что они въехали в какое-то бесконечное село, которое в беспорядке раскинулось по склонам гор: домики вверху над дорогой, такие же домики и внизу, по левую сторону от нее. Между ними идут вверх и вниз высеченные в скалах лестницы и вьются заманчивые тропинки — то карабкающиеся в гору, то пробегающие меж полей и усадеб. В хижинах всюду затянутые бумагой узорчатые окна, вокруг чистенькие дворы и садики. Все казалось Иакинфу таким уютным и привлекательным.

И все-таки это не был еще сам Китай. В него нужно было пробраться узким ущельем Гуаньгоу, простирающимся на целых двадцать пять верст. Оно прорезало высокие кряжи гор, отделяющие Монголию от Китая. Местами эти горы сжимали ущелье, как высокие отвесные стены. Природа поражала тут Иакинфа своею дикостью и грандиозностью. Дождевые потоки прорыли глубокий овраг, размыв сплошные стены и переходы, некогда соединявшие обе стороны ущелья. Лавируя между камней, путники то теряли из вида и слуха ручей, то снова слышали шум его падения с утесов.

День выдался тихий и ясный. В горах стояла глубокая тишина, прерываемая только цоканьем копыт, хрустом камней под колесами да криками погонщиков. Но Иакинф легко представлял себе тут летние грозы. Стократ повторенный горным эхом гром и ярящиеся дождевые потоки являют собой, должно быть, разрушение мира. А зимой в какую-нибудь ненастную ночь? Иакинф будто отчетливо слышал ужасный свист ветра в ущельях, страшный рев тигров…

Но сегодня было на редкость тихо. Иакинф ехал, доверившись смирной лошадке, которая, наверно, не раз пересекала это ущелье. Он не то что не боялся свалиться в подстерегавшую его пропасть, а просто забыл, что это возможно. Он ехал, все время оглядываясь по сторонам и делая беглые записи всего примечательного, что было перед глазами. Это не мешало ему размышлять над виденным, отмечать все, что вдруг обрушилось на него после мертвых, безжизненных пустынь, из которых только вчера, можно сказать, они выбрались.

Воспользовавшись кратковременным привалом, Иакинф вытащил путевой журнал, чтобы сделать очередную запись:

"Дорога чрез ущелье лежит по грудам камней, разрушенных временем или оторванных от утесов дождевыми потоками. Она проложена для одной телеги, и в некоторых только местах могут разъехаться две; но сколько трудна по причине узкости и неровности, столько напротив приятна по очаровательности предметов. По обеим сторонам возвышаются утесы, инде отвеслые из цельных кабанов гранита или сланца, инде навислые, полуоторванные, готовые, кажется, обрушиться на путника при одном сотрясении воздуха. Но сии отвесные утесы составляют только основание, на котором лежат другие огромнейшие толщи сланца и гранита. Время покрыло голые бока и вершины их тонким слоем пыли, по которым стелются изумрудные мхи — несравненное украшение их.

При подошве утесов, посреди ужасов разрушения местами видны небольшие пашни, местами сельские домики, окруженные орешниками, каштанами, абрикосами, жужубами и виноградными лозами. Ручей, стремясь по каменьям, то падает с гранитных обломков в виде каскада, то скрывается под основаниями утесов.

Сие слияние дикости с нежностию, соединение ужасных видов с приятностию, величественный беспорядок — произведение могущественной природы, — торопливо записывал Иакинф в свой путевой журнал, — не увлекает человека к восторгам, но льет в душу сладостное чувство меланхолии".

Посередине ущелья, на самой высшей точке перевала, стояла древняя крепость Цзюйюнгуань. Иакинф решил задержаться на

несколько часов, чтобы осмотреть старую крепость и примыкающий к ней участок Великой стены. Собственно, крепость и была заключена между двумя линиями Великой стены, которая тянулась на северо-восток и на юго-запад по склонам и вершинам гор. Путеводителем был бошко.

По рассказам бошка, крепость с древнейших времен считалась первою твердынею Поднебесной на северных рубежах. О ней упоминал уже философ Ле-цзы. Это за четыре века до Рождества Христова, прикинул Иакинф.

Он задумчиво стоял у подножия крепостных стен. Видно, время и длительный мир на северных границах медленно и нечувствительно произвели разрушение большее, нежели сильный неприятель: в бастионах чернели отверстия, в стене зияло множество глубоких трещин.

Но освещенная солнцем, издали Великая стена всюду представлялась целою. Каким-то сказочным чешуйчатым драконом изгибалась она по высочайшим каменным вершинам, заслоняя собою Пекин от северных народов. Иакинф смотрел, как она тянулась по гребням, делала зигзаги то в одну сторону, то в другую, всюду покорно следуя рельефу гор, то ползя по пологому склону, то вдруг взбираясь на неимоверную крутизну исполинскими, почти вертикальными ступенями. Видно, строители всюду держались правила вести стену по вершинам хребтов, стремясь создать сплошное неприступное сооружение, безо всяких проходов.

— Стена сия называеца фунутреная, — пояснил бошко. — Фунешняя тебе Калган ходи еси.

— А какова ее высота?

— Двадцати фута.

— А толщина?

— Около пятниацати.

По внутренней лестнице, проделанной с южной стороны, они поднялись на самую стену. Верхний настил был сделан из нескольких слоев крупного кирпича. Если бы не квадратные башни, которые возвышались через несколько десятков сажен по всей длине стены (они-то и создавали издали впечатление чешуи), то по ней могла бы свободно проехать повозка, запряженная тройкой лошадей.

Внутренность стены, по словам бошка, была заполнена плотно утрамбованным щебнем, но сама стена сложена из тесаного белого гранита и издали, особенно на солнце, казалась действительно белой. Вблизи же цвет у нее был какой-то античный. Китайцы очень точно передают его словом "фа-хуан", что означает: и не белый и не желтый, а желтеющий.

Огромный, извивающийся по утесам вал Великой стены, опаленной солнцем, исхлестанной ливнями, прокаленной морозами, обвеянной жгучими ветрами пустыни; неприступный плацдарм Цзюйюнгуаня, развалины укреплений, встречающиеся на каждом шагу; уцелевшие сторожевые башни; разбросанные по дороге через каждые пять ли здания военных караулов с вышками, на которых в случае тревоги зажигались сигнальные огни, — все здесь ввергало в задумчивость, все невольно напоминало воинственное прошлое Китая, его веками не прерывавшуюся борьбу с бранелюбивыми северными соседями.

В молчаливом изумлении смотрел Иакинф на этот грандиозный памятник гигантских трудов и вместе злосчастной судьбы Китая, всегда бывшего жертвою междоусобных браней или лакомою добычею внешних врагов.

Мысли Иакинфа невольно переносились к далекому прошлому. Ему отчетливо представилась та оживленная картина, какую можно было увидеть тут во время постройки Великой стены. Ему виделся кипящий муравейник рабочих — измученных, усталых, таскающих на гибких бамбуковых коромыслах кирпичи, известь, воду, бревна, глыбы гранита. Он где-то читал, что для постройки стены одновременно употреблялось до миллиона рабочих.

Припомнились вычисления математика Баррова, посетившего Китай вместе с английским посланником лордом Макартнеем лет пятнадцать назад, в 1793 году. Подсчитав общее количество домов в Англии и Шотландии и положив на каждый дом в среднем по две тысячи кубических футов, Барров пришел к выводу, что все строения Англии и Шотландии не имеют столько камня, сколько одна Великая китайская стена.

У подножия стены у Иакинфа произошел любопытный разговор с бошком. Желая его подзадорить, Иакинф высказал сомнение, не является ли Великая стена плодом не только титанического труда многих поколений китайцев, но и вместе доказательством их трусости.

Иакинфа занимало, что скажет в ответ бошко. Ведь тот был как бы живым воплощением и завоевателей и покоренных. Он — маньчжур и, следственно, сын воинственного северного народца, покорившего Китай полтораста с небольшим лет тому назад. Но, по образованию, по воспитанию, по всем привычкам своим это был уже настоящий китаец.

Бошко удивленно посмотрел на Иакинфа.

— Нету, нету! — сказал он убежденно. По его словам, мысль оградиться от набегов кочевых народов была свидетельством не трусости, а, скорей, сообразительности оседлых китайцев. —

Китайца така думай была: варвар сам стена ходи можина, однакэ кони тащити ннлизя. А без кони ихани воина нету.

Иакинф задумчиво смотрел на эти древние стены, освещенные сейчас багряным закатным солнцем. Да, конечно, размышлял он, такая стена неприступна для конницы степных народов-пастухов. Да и положение всего ущелья могло считаться надежною преградою вторжениям неприятеля.

Иакинфа всегда интересовала история, немало он читал и по истории войн. И сейчас, глядя на это единственное в своем роде произведение рук человеческих, он старался припомнить что-нибудь подобное на западе. И сооружено-то это все в глубокой древности! В те времена, когда искусственная оборона с помощью окопов и вовсе не была известна или употреблялась в великом несовершенстве. Впрочем, древность представляет нам подобные, хоть и более слабые, опыты и у египтян, и у мидян, и у сириян. Да и в Европе есть тому доказательства. Он читал, что по повелению римского императора Севера бриттами была воздвигнута стена от Карлилля до Ньюкастля длиною в восемьдесят английских миль. Иакинф усмехнулся: сколь незначительно это, впрочем, довольно крупное по европейским масштабам, сооружение римлян перед Китайскою стеною! Она-то тянется не восемьдесят, а две с половиной тысячи английских миль! Четыре тысячи верст и шестьдесят тысяч сторожевых башен! "Однако, — тут же подумал Иакинф, — ведь не удержала же эта хваленая стена ни монголов, ни маньчжуров от вторжения в Китай!"

Он так и сказал стоявшему рядом бошку.

— А тебе знай нада: даже Чингисхан ничево тут наделай не можина. Стена лезыти не можина, назад хади еси, — ответил тот.

— А как же он проник в застенный Китай?

— Обходана пути. С запада, через Кукунор.

— А маньчжуры?

Оказывается, и маньчжуры не могли взять Цзюйюн-гауня и ворвались в Китай на востоке, через Шаньхай-гуань. И то хитростью. Подкупили китайскую стражу, и та открыла им ворота крепости.

— Но отчего же теперь стена не поддерживается? — спросил Иакинф, указывая на башню, у которой они стояли. Башня обвалилась, в стене во многих местах виднелись зияющие провалы.

— Сечасы мынгула уже не стырашина.

— Отчего же? Я давно собирался вас спросить, господин бошко, что же случилось с этим народом? Ведь монголы — прямые потомки древних гуннов. А те перелезали через горы, являлись неожиданно, оглашали далекие границы бряцанием

своего оружия. Да и при Чингисе монголы наводили ужас на весь мир. А вот теперь мы проехали всю Монголию и убедились, что они более походят на кочующих пастухов, нежели на те неудержимые орды, которые были так страшны в древние времена.

— Ихани упали и ослабали, савсему, савсему ослабели. И все лама, — сказал бошко убежденно.

По его словам, бессилие монголов для Китая благо. Вот потому-то управление Монголией посредством буддизма — одно из самых важных политических соображений Китая. Благодаря буддизму чувство милосердия истребило в монголах страсть к убийству, а вера в воздаяние за грехи обуздала их свирепость — вот что понял Иакинф из пространных объяснений бошка.

III

На ночлег остановились в небольшой крепости Нанькоу (что означает по-китайски — Южное устье) при самом выходе из ущелья. Это — последнее укрепление, преграждающее путь на Пекин с севера. Проехав через крепость, караван поворотил влево, где для миссии была приготовлена гостиница, у самой крепостной стены.

Гостиница была маленькая и тесная, хоть надпись на воротах, которую Иакинф попросил бошка перевести, и гласила: "Здесь благородные мужи наполняют высокие залы и собираются толпами".

Пройти в гостиницу надо было мимо кухни. Иакинф увидел огромные печи, котлы, пар и дым от готовящихся кушаний, его обдало жаром и облаком всевозможных запахов, острых и пряных. "Высокие залы" оказались низкими и длинными комнатами с двумя рядами нар, разделенных посередине проходом. На нарах сидели, лежали и спали китайцы. Все было закоптелое, темное, грязное, пахло скверно. Но усталость взяла свое, и Иакинф повалился на нары, едва дождавшись ужина.

Утром поднялись рано. Было совсем тепло. Казалось, Великая китайская стена, которую они дважды пересекли — у Калгана и на вершине хребта, была рубежом, за который даже порывистые монгольские ветры уже не могли перелететь.

Версты через три от ночлега перед путниками открылась необозримая долина.

Покрытый снегом хребет остался позади. Ущелья и долины с южной его стороны были усажены плодовыми деревьями, а пониже распаханы пашни под сарацинское просо, гаолян и пшеницу. Снега на полях совсем не видно. Всюду, куда ни кинешь

взгляд, — селения и отдельные домики.

Дорога, тоже большей частью обсаженная деревьями, вилась между нив. Большие деревни попадались по дороге не так уж часто — версты через две-три. Но, как рассказывал бошко, китаец любит селиться на том самом участке, который принадлежит ему, а деревню избирает больше для какого-нибудь промысла, и потому там и сям разбросаны еще отдельно стоящие домики.

И деревня, и отдельные усадебки, мимо которых они проезжали, имели чистенький, даже какой-то выглаженный вид. Дворы и улицы были так тщательно подметены, будто их только что убрали к большому празднику.

Проезжая через деревни, Иакинф всюду видел густые тучи мальчишек. Им, казалось, не было числа. Разинув рты, с молчаливым недоумением таращили они черные глазенки на неведомых чужеземцев.

Чуть не между каждыми двумя распаханными участками тянулась узкая колея колесного пути, и по всем этим бесчисленным дорогам катились телеги, шагали навьюченные животные, бежали мелкой рысцой разносчики то с тачками, то с длинными и гибкими бамбуковыми коромыслами на плечах. И все это двигалось в разные стороны, представляя собой как бы огромный базар, раскинувшийся по разным переулкам.

Поначалу Иакинфу пришло в голову, что причиной этого столь непривычного оживления является общая всему Китаю густота населения и близость столицы, — до нее оставалось теперь всего каких-то полсотни верст. Но дело, по-видимому, было не только в этом. Гуаньюуский проход — важнейший путь для торговли Пекина со всем северо-западом. Лишь через это ущелье можно проникнуть на Пекинскую равнину из Монголии и Шаньси.

Беспрерывно шли по дорогам в Калган караваны верблюдов, навьюченных кирпичным чаем, который разойдется оттуда по всем монгольским аймакам. На мулах и ослах везли в Пекин каменный уголь с ближайших гор. Целые гурты скота гнали в столицу из монгольских степей. Вероятно, чтобы скот не повредил посевов, дорога местами была проложена в углублениях между двумя земляными стенами, за возвышениями которых тянулись поля. Иакинф не мог надивиться, как китайцы выровняли свои дороги, не затруднясь просечь для этого горы, не говоря уже о холмах и изволоках.

Всюду по дорогам брели старики и подростки с большими корзинами за спиной. Остановятся, подхватят что-то с земли маленькими трехзубчатыми вилами и ловко перебросят в корзину.

— Что они делают, Никанор? — спросил Иакинф переводчика.

— Удобрения собирают.

По мере приближения к Пекину места становились все оживленней. Всюду глаз примечал живописные сады и рощи, то и дело на полях попадались какие-то памятники, приосененные то кипарисом, то белокорым кедром, то старой ивой, скорбно свесившей до земли свои плакучие ветви.

Оказывается, все это кладбища!

Из рассказа бошка, к которому он обратился с расспросами, выходило, что о таких кладбищах, как в Европе, где на клочке земли помещаются впритык друг к другу могилы всех умерших, в Китае и понятия не имеют. На таких кладбищах хоронят тут разве что бездомных бродяг да безвестных пришельцев. Тут каждый стремится, чтоб его дома, на собственной земле похоронили. Надо было принять в расчет и культ предков — религию в Китае самую распространенную. Благодаря ей все китайцы, начиная с богдыхана и кончая последним простолюдином, заботятся об устройстве и украшении фамильных своих погребений.

Иакинф смотрел по сторонам. Вот оттого-то дорога и юлит меж многочисленных кладбищ. Справа потянулось обширное кладбище, обсаженное кипарисом — деревом, символизирующим бессмертие. Внутри этой живой ограды Иакинф заметил невысокие конические насыпи-могилы.

Огромный четырехугольник был, пожалуй, не меньше иркутского кладбища, и Иакинф спросил у бошка:

— Неужто и это кладбище семейное, а не общинное?

Тот подтвердил. Оказывается, тут каждое кладбище принадлежит отдельному роду. И на главном месте погребен обычно первый, прочно осевший в сих местах предок.

"А ведь Китай беден землей. Как же можно отдавать мертвым такие угодья?" — размышлял Иакинф.

Впереди раздался грохот барабана, звон меди, завывание гонга. Караван остановился. Путь ему преградила длинная процессия. Открывали ее двое в черных балахонах с длинными трубами, которые издавали пронзительные, раздирающие душу звуки. За ними попарно шли, тоже в черных кафтанах и черных шляпах, какие-то оборванцы и несли на легких носилках множество вырезанных из бумаги фигур — повозки, запряженные по-китайски цугом и со всем прибором, бумажные макеты домов, зонты, веера, копья…

— Что это такое? — спросил Иакинф у стоявшего рядом бошка.

— Как шито? Похорона…

Конца процессии было не видно. Мимо шли музыканты с рожками, цимбалами, двухструнными скрипицами, затянутыми змеиной кожей, гремками. Но над всем владычествовали барабаны и гонги. Именно их оглушающий грохот задавал тон всей музыке. И опять носилки с бумажными макетами домашней утвари, одежд и самых разнообразных вещей, которые окружают человека в повседневной жизни.

— Господин бошко, а что это они такое несут? — обратился опять Иакинф к помощнику китайского пристава.

— Зынай, да-лама, наша така обычая еси: все вещи покойника сжигай нада.

Он подробно стал объяснять, что все изображения из бумаги перед погребением предаются огню в знак того, что родственники покойного из уважения к нему не смеют пользоваться его имуществом. Пепел развеивается по ветру, и таким образом душе умершего возвращается на небе все, что принадлежало ему на земле.

— Да, но отчего же сжигают бумажные изображения, а не подлинные вещи? — спросил Иакинф с наигранным простодушием.

— А зачему? Все равно, все равно!

"Ну конечно, настоящие-то денег стоят, — усмехнулся про себя Иакинф, — и все равно обратятся в прах, а так они еще и живым послужить могут!"

А процессия все шла и шла мимо. Отдельными группами, на некотором расстоянии одна от другой, проследовали китайские священнослужители — буддийские хэшаны в засаленных малиново-желтых хламидах, даосские монахи, или лаодао, как их зовут в народе, в синих балахонах, с начертанными на них г_у_а — целыми и прерванными линиями, имеющими сакраментальное значение, уже знакомые Иакинфу желтые ламы, монахини — почитательницы Гуань Инь — богини милосердия.

— Господин бошко, а к какому же исповеданию принадлежал покойный? — спросил Иакинф. — Тут же, кажется, служители всех известных в Китае религий собрались?

— А кто зынай можина? — пожал плечами бошко.

По его словам, люди богатые нанимают на похороны всевозможных священнослужителей, дабы привлечь побольше духов, а уж какого они исповедания, это никого не заботит.

— Знаеши, да-лама, наша така расыказ еси: сыну сон видела: отцова душа к сыну ходи. Жалуеца: плоха, савсему плоха. На части меня дели. Хэшаны говори: Амитофо {Амитофо — китайская транскрипция имени будды Амитабы.} ходи нада. Лаодао говори: нету, нету, на востока, к Лао-цзы {Лао-цзы —

древнекитайский философ, считающийся не только основателем философского даосизма, но и одним из родоначальников распространенной в Китае политеистической религиозной системы.} ходи нада. А жэньшина-манаха говори: на югэ, к Гуань Инь ходи нада.

За пестрой процессией служителей соперничающих религий, которые мирно шли рядком, показалась легкая изящная беседочка, в которой, по словам бошка, покоилась душа умершего, и, наконец, покрытый киноварью одр и на нем огромный сверкающий черным лаком гроб. Массивный и, видно, очень тяжелый гроб несло несколько десятков носильщиков. За гробом, в грубых халатах из посконного, небеленого холста или в белых мерлушковых шубах, мехом наверх, шли родственники покойного. Впрочем, пешком шли только мужчины, женщины покачивались в паланкинах, покрытых белым холстом. Отсюда бошко заключил, что гроб принадлежит какому-нибудь князю или важному сановнику, так как с соизволения богдыхана езда в паланкине — преимущество лиц княжеского состояния.

Долго еще пришлось дожидаться путникам, пока пройдет эта нескончаемая процессия. Наконец караван тронулся дальше.

От былого оживления Иакинфа не осталось и следа. Оно уступило место какой-то горькой и острой печали, когда он ясно представил себе, как осложняет жизнь людей дикость человеческого вымысла. Один обряд похорон может истощить благосостояние самой достаточной семьи, а что уж говорить о тех, кто победнее. Их похороны родственника или тем паче родителя, должно быть, просто разоряют вчистую.

Когда он высказал эти мысли бошку, тот удивился. А как же иначе? Кун-цзы {Кун-цзы (Конфуций, 551–479 гг. до н. э.) — самый известный философ древнего Китая, создатель этико-политического учения, предусматривающего строгую регламентацию отношений в обществе и семье.} повелевает употреблять на погребение родителей даже половину своего состояния. Нынешний государь израсходовал на усыпальницу для своей супруги восемь миллионов лан.

— Ну и к чему же все это? Разве ей будет легче лежать в столь пышной усыпальнице?

Бошко посмотрел на Иакинфа с искренним недоумением.

— Да ежели человек папа-мама хорони, савсему, савсему разорица, никто ево суди нету.

— Но зачем? Кому сие надобно? Зачем живых приносить и жертву мертвым? К чему издерживать миллионы из одного тщеславия?

Обычно невозмутимо спокойный бошко не выдержал и с

негодованием посмотрел на русского варварам:

— Как таки сылофу говори можина! Фусяки — верху хуанди, низу — лаобайсин ("от императора до простолюдина" — Иакинф уже знал эти слова) покажи нада, колика она почитителен.

Бошко хлестнул коня и отъехал.

Иакинф задумчиво смотрел по сторонам. Теперь, когда он узнал, что все эти живописные рощи, мимо которых они проезжали, кладбища, он уже не мог, как прежде, восхищенно любоваться ими. Ему казалось, что они дышали смертью. Китай живой заглушался Китаем мертвым.

На одном из кладбищ им пришлось даже побывать. Попавшийся навстречу китайский поселянин слез с осла, украшенного бубенчиками, и, почтительно раскланявшись, обрадовал известием, что впереди, в деревне Цинхэ, их дожидаются выехавшие навстречу посланцы старой миссии. Иакинф хлестнул коня. Ему не терпелось поскорее обнять соотечественников, проведших тринадцать лет на чужбине.

Вот и Цинхэ. Это, пожалуй, не деревня, а что-то вроде торгового городка, оживленного, полного лавок, постоялых дворов, харчевен и нищих. Но городами китайцы именуют только такие селения, которые обнесены стенами.

Путники направились к постоялому двору, названному встречным поселянином.

Первая встреча с соотечественниками произошла совсем не так, как Иакинф предполагал. Одетые в парадное платье, не спеша, вышли они из дверей и, медленно пробираясь через толпы любопытных жителей, неторопливыми шагами направились навстречу приезжим. Они не ускорили шага и тогда, когда заметили Иакинфа, Первушина и прочих членов миссии.

От Иакинфа не ускользнуло — или это только ему показалось? — что встречающие были как-то смущены бурной радостью прибывших, их непосредственностью, возбужденным тоном, порывистыми движениями. Она приветствовали соотечественников, с которыми бог знает когда расстались, скорее холодно, не выходя из границ церемонной китайской вежливости. Иакинфу показалось, что даже в наружности этих людей, безвыездно проведших в Пекине тринадцать лет, было что-то неуловимо китайское. Они порой мешали родные слова с китайскими. Только когда прибывшие принялись тискать их в своих объятиях, проступившие на глазах слезы обнаружили истинные их чувства, скрытые под прочно усвоенной китайской сдержанностью.

Иакинф попробовал разговориться с встречающими. Их было двое — оба студенты прежней миссии — Павел Каменский из

Петербурга и Василий Новоселов, бывший толмачом при Игумнове, приставе, что привозил в Пекин старую миссию. Оба они были уже люди немолодые, обоим за сорок. Чувствовалось, что они отстали от жизни. Это было странное ощущение. Иакинф как-то и не предполагал прежде такой возможности.

В Цинхэ задерживаться не стали. До Пекина было всего десять ли — пять русских верст.

Иакинф уже поставил ногу в стремя, но Каменский решительно запротестовал. Он настоял, чтобы Иакинф пересел в китайскую повозку, запряженную цугом, — в столицу Поднебесной надобно въехать, как подобает его сану.

Повозка была тяжелая и тряская. Никакого намека на рессоры. Сиденье устроено прямо на оси, так что вся тряска передается седоку.

Когда Иакинф пожаловался на тряску Каменскому, тот развел руками:

— Что поделаешь? Закон дозволяет во всей империи лишь экипажи определенного вида и непременно о двух колесах. На четырех тут может ездить лишь сам богдыхан.

Иакинф пожал плечами. Из-за прихоти одного человека, который к тому же, наверно, никуда и не ездит, остальные двести миллионов должны трястись в этих допотопных колымагах! Но тут, в этой загадочной стране, видно, все предрешено до скончания века — число колес, форма одежды, размер женской ноги, длина мужской косы, правила этикета…

Впереди ехали верхом Первушин с сотником в офицерских мундирах, по бокам гарцевали двое казаков, справа — Родион с аккуратно расчесанной бородой.

Путники ехали мимо загородных дворцов и кладбищ, обгоняя вереницы навьюченных осликов и носильщиков. Миновав обширное поле, на котором, как объяснил Каменский, бывают смотры и парады здешней гвардии, путешественники свернули к русскому кладбищу, расположенному у самой границы северного предместья китайской столицы.

Сойдя с повозок и спешившись, члены миссии в сопровождении Новоселова и Каменского прошли длинной аллеей к площадке, обсаженной, как и на китайских кладбищах, белокорыми кедрами и кипарисами.

Здесь под сению дерев покоился прах многих русских из прежних миссий.

Высеченные из белого камня надгробия с надписями на русском, маньчжурском и китайском языках составляли печальное украшение этого последнего для смертных прибежища.

Среди полусотни могил Иакинф обнаружил несколько

свежих, принадлежащих тем, на смену кому они прибыли.

Оказывается, померли, не дождавшись возвращения на родину, оба иеромонаха — Варлаам и Иссай, умер и иеродиакон Вавила и один из студентов миссии Иван Малышев. Последняя могила была совсем еще свежей: всего каких-то трех месяцев не дождался бедняга возвращения в отчий край.

Вот, может быть, и ему суждено будет разделить их участь. Холодок пробежал по коже. Иакинфа всегда манила жизнь — всякая, любая! У нее было только одно дурное свойство — рано или поздно она должна была оборваться, ведь смерть так же неизбежна, как наступление ночи, так же неотвратима, как приход зимы.

Охваченный горьким чувством, словно это были могилы близких, поклонился Иакииф праху неведомых ему соотечественников, нашедших последний приют на чужбине, за тридевять земель от родных пределов.

IV

Несколько верст они ехали еще шумной улицей предместья, вымощенной огромными плитами тесаного гранита. Это, впрочем, вовсе не означало, что можно было спокойно сидеть в неуклюжей китайской колымаге: мостовая, уложенная, должно быть, несколько веков тому назад, покоробилась, бесчисленные повозки выбили своими зубчатыми колесами глубокие колеи, и коляску так бросало, что Иакинф боялся из нее вылететь.

Но и неровность мостовой, и неудобства экипажа, где приходилось сидеть, словно будде, подогнув ноги, и печальные размышления, навеянные встречей с похоронной процессией и посещением кладбища, сразу забылись, стоило только подумать, что каждый шаг лошади, каждый оборот колеса приближает его к Пекину.

Иакинф жадно смотрел по сторонам. Зорким, летучим взглядом окидывал он прохожих и проезжих — верхом на лошадях, мулах и осликах; скрипуче-визгливые, об одном колесе, тачки; важно шагавших, надменно вскинув вверх равнодушные морды, верблюдов; скрытые за высокими оградами дворцы с устремленными в небеса углами черепичных кровель; красные кирпичные стены буддийских капищ; пестрые вереницы купеческих лавок. В воздухе было тесно от невообразимого хаоса непривычных звуков, в жертву которым приходилось отдавать уши: пронзительные выкрики погонщиков ослов и мулов, звон медных тарелок в руках уличных коробейников, скрип колес, препирания торгующихся до хрипоты продавцов и покупателей и,

наконец, пронзительный разноголосый рев животных.

И все это находилось в непрестанном движении, толпы народа текли во всех направлениях, каким-то чудом сохраняя, однако, поразительный, неведомо кем поддерживаемый порядок. И тут, среди этой снующей толпы, цирюльники брили головы и расчесывали косы своим клиентам, старый фокусник глотал длинные сверкающие ножи, бродячий сказитель-шошуды под унылый напев скрипицы или веселый ритм гремков пересказывал старинные легенды, уличные фигляры тешили любопытствующую чернь, а едва прикрытые рогожей нищие крикливо выманивали подаяние.

Но вот показались высоко вскинутая к небесам башня с четырьмя рядами амбразур и поддерживающие ее древние городские стены. Высокие и неприступные, они уходили направо и налево, теряясь в пыльной дымке.

На берегу широкого рва, вырытого у подножия стены, караван остановился. Стена так высока, что, даже стоя на отдалении, надо сильно задирать голову, чтобы увидеть ее зубчатый край и загнутые кверху углы черепичных кровель.

Итак, путешествие окончено. Он у самых пекинских стен!

Куда сокрылось необъятное пространство между родиною и столицею Поднебесной империи! Кажется, и нет двух тысяч верст через степи, пустыни, горы… Пропутешествовав четыре месяца то в повозке, то верхом — на лошади и на муле, на осле и верблюде; испробовав воду чуть не из всех монгольских рек, озер и колодцев — студеную и теплую, почти горячую, пресную, кислую, соленую, горькую, свежую, гнилую; отведав все возможные роды молока — коровье, кобылье, овечье, верблюжье — и все виды изделий из него — верблюжий сыр и овечий крут, кисловатый айрик и вонючую молочную водку; вдоволь наскитавшись по горам и утесам, степям и распадкам, нагулявшись в самых облаках; испытав на себе всю истому палящего солнца и обжигающего стужей ветра; налюбовавшись блеском молний; Наслушавшись воя волков и карканья воронов; изведав, что такое песчаная буря в зимней Гоби; узнав все выгоды и неудобства и кочевой и оседлой жизни; постигнув гастрономию и кочевого монгола и оседлого китайца, наевшись и сырого мяса, и морских червей, каракатиц, акульих плавников, ласточкиных гнезд; пережив радость и отчаяние, жажду и пресыщение, жару и стужу, назойливое гостеприимство бесхитростных монгольских кочевников и церемонную вежливость чопорных китайских чиновников, — словом, набравшись всевозможных впечатлений, живых и острых, он добрался наконец до пекинской стены и остановился у ее подножия.

Иакинф испытывал чувство жгучего любопытства и непреоборимого волнения, кружилась голова от всего увиденного.

Припомнились слова Вольтера, читанные еще в Тобольске: "Путешественник, обыкновенно, крайне плохо знает страну, в которой находится. Он видит лишь фасад здания. Почти все, что внутри, ему неведомо".

Неведомо это и ему. Пока он просто ошеломлен увиденным и не в силах в нем разобраться. Но одно он знает твердо: нет, он не ограничится лишь фасадом. Он проникнет внутрь этих толстых каменных стен. Он будет всматриваться в жизнь этой удивительной империи не со стороны, а изнутри, и не простым, а, как у астрономов, вооруженным глазом. Он потратит десять лет, а ежели понадобится, и того больше, но выучится ее языку, проникнет в самую гущу ее жителей — и шумливых простолюдинов, и церемонно-сдержанных сановников, он не будет среди них скучающим чужеземцем, набитым равнодушием, спесью и предубеждением.

Воображение живо рисовало ему будущее. Он видел перед собой шумные китайские базары и себя, растворившегося в толпе, прислушивающегося к ее певучему говору. Он видел себя в тишине кельи склонившимся над старинными хрониками, которые откроют перед ним историю этого древнейшего на земле народа. Он видел озаренный сотнями восковых свечей благолепный храм, переполненный китайскими богомольцами, жадно ловящими слова его проповеди. Он расскажет им о всем лучшем и благороднейшем, что только содержится в учении Христа. Но главное — он проникнет в самую душу этого древнего, укрывшегося от чужих глаз за неприступной стеной народа. Он проникнет, он доберется!

Иакинф остро ощущал и заманчивость, и величие, и необычайную трудность раскрывшейся перед ним задачи. Он читал у кого-то из древних, что характер человека сводится к его судьбе. Нет, он убежден в обратном: характер человека определяет его судьбу! Он сам выбрал ее себе и чувствует себя счастливым, оттого что освободился от пут каждодневности, от опеки и причуд начальства, духовного и светского, от преходящих стремлений к удобствам, достатку. Он обойдется и без жены, без семьи, без детей, о которых когда-то мечтал. В судьбе не должно быть случайностей!

Он уже не молод. Ему тридцать первый год. Когда-то, в двадцать два, он хотел уйти из жизни. Каким же глупцом он тогда был! А сейчас у него такое ощущение, что все еще впереди, хоть и кончилась, вместе с этим путешествием, молодость. Но тридцать

лет — это пора не угасания, а зрелости, время свершений. И у него есть дело, от которого он теперь не отступится. Всеми своими трудами, всей жизнью своей он будет прорубать русло, которое соединит наши цивилизации. Ведь мы же соседи, мы рядом, а как до смешного мало мы знаем друг о друге! Шаг за шагом он будет разрушать возведенную веками стену подозрительности, предубеждений, предрассудков и невежества, будет жадно черпать из недоступных другим источников и щедро слать в мир потоки знаний. Это ли не счастье, о котором он мечтал?!

Ни одна вершина на пути не манила его так, как эта сияющая впереди, впервые так отчетливо увиденная цель.

Ради нее не жалко отдать жизнь. Отдать? Но разве проникнуть в тайное тайных этого, хоть и соседнего, но, в сущности, неведомого нам народа, изучить его историю, просвещение, нравы, обычаи не означает вобрать в себя еще один мир, обрести еще одну жизнь?

Со скрежетом отворились боковые ворота одной из стен, отделяющих столицу Поднебесной от шумного ее предместья, и отец Иакинф въехал в Пекин, неведомый город его будущего.

КНИГА ВТОРАЯ
ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ

Часть первая
ПЕРЕД СУДОМ СИНОДА

ГЛАВА ПЕРВАЯ

I

Из Москвы в Петербург ехал он в дилижансе.

После просторных сибирских кибиток, где можно было спокойно выспаться, вытянувшись во весь рост, затейливый этот экипаж показался отцу Иакинфу несколько шуточным. Собственно, это была такая же зимняя кибитка, пожалуй, даже и подлиннее обычной, и сделана весьма добротно, и обтянута мягкой кожей, но разгорожена надвое. Тут уж при всем желании не вытянешься. Рассчитана она была на четверых — сидели по двое, разделенные перегородкой, при этом одни смотрели вперед, другие — назад. Они же ехали втроем — Иакинф с Маркушкой спереди и иеромонах Аркадий — сзади.

Видимо оттого, что спокон веку зимняя кибитка на Руси была предназначена для лежанья, ямщики окрестили дилижансы нележанцами.

Первые несколько часов ехать было одно удовольствие — лошади были добрые, только что выпавший снег чист, деревни мелькали часто — не то что в Сибири; низенькие станционные домики с деревянными, будто игрушечными, колоннами — живописны; дорога хорошо укатана; морозец, по сравнению с сибирским, совсем легонький, и отец Иакинф, распахнув мохнатый воротник и выпростав руки из рукавов обширной волчьей шубы, с удовольствием поглядывал, по сторонам. Горы больше не вставали на пути, дорога стлалась скатертью, резвые кони с туго подвязанными хвостами бежали дружно. В первый же день они отмахали сто шестьдесят верст — это не худо даже по сибирским понятиям. Но к концу дня затекали ноги от однообразного сидения, хотелось вытянуть их, а вытянуть было некуда — они упирались в козлы. Отец Аркадий, правда, и тут умудрился заснуть, свернувшись калачиком и запахнувшись с головой в основательно вытертую шубейку бог знает на каком меху, на которую он променял в Казани добрую лисью, вывезенную им из Китая. "К чему мне в России такая теплая шуба, — оправдывался он. — Тут на крещенье цыган шубу продает. А я чем хуже?" Клевал носом, клевал, а потом и вовсе заснул Маркушка. Иакинф же все глядел и глядел по сторонам, да

прислушивался к песням, что тянул ямщик. Они сливались в одну, без конца и начала.

Как ни любил Иакинф дорогу, но два с лишним месяца непрерывной езды в санях начинали надоедать. Стоило закрыть глаза, и ему казалось, что вот уже полсотни лет он едет и едет по этой бесконечной заснеженной дороге, и все так же звенит колокольчик под дугой коренника, и гремят бубенцы на пристяжных, и всё те же неотступные мысли лезут в голову.

Как-то его встретят в столице? Он-то знает, что не напрасно провел эти долгие годы в Пекине. Вслед за ним едут четырнадцать увесистых ящиков, набитых книгами на китайском и маньчжурском языках, которые он собрал в Пекине, — пятьсот пудов, целая библиотека. Наверно, во всей России не сыщешь столько редких книг, касающихся до всех сторон Поднебесной империи… Сколько труда и осмотрительности потребовало от него это предприятие! Он ведь не покупал все, что попадалось под руку, отбирал издания наиболее надежные, которые высоко ценятся самими китайскими учеными. Да еще полнехонек ящик и собственных рукописей — словарей, переводов, набросков, заготовок… Материалов, собранных им в Китае, хватит, должно быть, на целую жизнь. То, о чем давно мечталось, близко наконец к осуществлению. Он может теперь куда обстоятельнее, нежели другие, рассказать миру об этой загадочной стране, в которой провел безвыездно почти полтора десятка лет и которую знает не понаслышке, как иные, именующие себя хинологами. Об ее законодательстве и экономике, философии и словесности. Но, пожалуй, в первую голову он займется историей — наукой дееписания, которая влекла его сызмальства. Освободиться бы только от обетов монашества или, на худой конец, приискать себе какую-нибудь тихую обитель, в которой можно будет без помех заняться обработкой всего, что собрано и замышлено.

И тут же пришла мысль: а как же с изветом отца Петра? Ведь тот наверняка опередит их. Пока сидели они в Кяхте и в Иркутске, дожидаясь распоряжений Синода и прогонных, донос мчался себе в Петербург на фельдъегерской тройке. Чего только не написал там этот святоша!

В столицу приехали поздно вечером, почти ночью. Шел снег. Пустынная тишина заснеженных улиц была заштрихована белыми хлопьями почти до незримости. Тускло мерцали желтые пятна фонарей. Едва чернелись сквозь снежную кутерьму дома.

Келий в лавре приготовлены не были. Пришлось будить казначея и долго объясняться с заспанным, пожилых лет, монахом с необычайно важным и постным лицом. Он никак не хотел

допустить в лавру Маркушку. Что бы ни говорил Иакинф, доказывая, что привез мальчика из Иркутска, чтобы отдать его тут, в столице, в учение; как ни объяснял, что мальчик этот, Марк Верхотуров, мещанский сын, что ему всего двенадцать лег от роду и даже паспорт его, надлежащим образом выправленный, предъявлял; как ни убеждал, что нет у мальчишки в Петербурге ни души знакомых и остановиться ему решительно не у кого, казначей и слушать ничего не хотел. "Не положено пребывать в монастыре светскому человеку, хотя бы и отроку", — и всё тут. Наконец, после долгих и утомительных препирательств, освободили помещение и для отца архимандрита, и для всей его свиты. Маркушку пришлось взять к себе в келью. Она была довольно просторная, но кровать одна и для двоих узковата. Да мальчик к тому же простудился в дороге. Надо бы достать меда и молока, а где это сыщешь в лавре в такой час?

II

Назавтра поутру, пока его спутники еще отсыпались с дороги, за Иакинфом заехал Егор Федорович Тимковский — пристав, привезший духовную миссию из Пекина. Иакинфу не терпелось посмотреть на город, о котором он столько слышал и который привелось увидеть только теперь, на сорок шестом году жизни.

Егор Федорович родился и вырос в Малороссии и говорил с едва приметным малороссийским акцентом, но большую-то часть жизни провел в Петербурге, хорошо знал его и вызвался показать Иакинфу столицу.

— Ну как же, отец Иакинф, сочту наиприятнейшим долгом представить вам нашу Северную Пальмиру. Да и долг платежом красен. Пекин вы мне показывали, а уж Петербург — я вам.

Выехав из лавры, они повернули налево и поехали вдоль старой Невской перспективы, а потом, отпустив экипаж, несколько часов без устали бродили по улицам, площадям, набережным, невольно сравнивая Петербург с Пекином. В Пекине было множество глухих тупиков, затейливых переулков, сплошных кирпичных стен. Можно было часами идти по улицам китайской столицы, не увидев ни одного окна.

А тут, кажется, и вовсе нет тупиков. Они шли по Невскому, и почти совсем не видно было стен. Хорошо вымытые окна саженной высоты еще больше расширяли и без того широкую улицу.

Шагая рядом с Егором Федоровичем, Иакинф понял всю справедливость того, что говорил про столицу Тимковский. Улицы тут прокладывались ранее, нежели их застраивали

домами. И сам Невский проспект представлял собой поначалу просеку, прорубленную в лесу и соединившую берега большой невской излучины. При Петре не строили домов, а с первого дня принялись строить город. Впрочем, и при Екатерине следовали этому петровскому правилу.

От Аничкова моста вдоль Невского проспекта тянулась аллея из подстриженных липок. Деревья зябко дрожали на ветру голыми, чуть припушенными инеем сучьями, казалось, их кто-то нарисовал черной китайской тушью на фоне белого снега и тускло-розоватого неба.

— Аллея эта, а она тянется отсюда до Полицейского моста — это версты две добрых, — насажена еще по приказу императора Павла, всего за три недели, среди лютой зимы, — рассказывал Тимковский.

— Да как же зимой можно деревья сажать?

— А так и сажали. Что ж делать, ежели приказ, да не кого-нибудь, а самого императора? Солдаты топорами рубили ямы, разводили в них костры, чтобы оттаять мерзлую землю, и сажали деревья. Но зато к высочайше установленному сроку бульвар был готов!

Вдоль Невского мчались в разных направлениях по хорошо укатанному снегу кареты на полозьях или узкие дрожки, на которых мужчины сидели как бы верхом.

Такого разнообразия экипажей в Пекине не увидишь. Не видел Иакинф на бульваре, да и вообще на петербургских улицах и курильщиков — в Пекине же они на каждом шагу.

— Ну, в Петербурге на улице не закуришь, — сказал Тимковский, когда Иакинф поделился с ним своим наблюдением. — Тут со времен Павла курильщиков, замеченных на улице, полиция тотчас забирает на съезжую.

Да, совсем не похожа была на пекинскую уличная толпа. Не слышно шумливых разносчиков, оглашающих все окрест гортанными криками, трелями гремков, грохотом гонгов, свистульками и еще бог знает чем, чтобы привлечь внимание прохожих к своему товару. По широким ровным тротуарам текла чинная толпа, да ее и толпой-то не назовешь. Мелкими шажками шли дамы в сопровождении ливрейных лакеев или под руку с мужчинами — вот бы поглядели на сие богопротивное зрелище китайские ревнители благочиния! Важно шагали мужчины в шубах с бобровыми воротниками, в боярских шапках, в круглых пуховых шляпах или в высоких цилиндрах, из-под которых выглядывали завитые у парикмахеров а-ля коки. Иакинф невольно подивился многообразию головных уборов. (В Китае форма шляпы раз и навсегда определялась указом императора и

менять ее произвольно никому не пришло бы и в голову.) Мужчины на тротуарах большей частью помахивали тонюсенькими, должно быть из жимолости, тросточками, которые служили им скорее украшением, нежели опорой…

Дойдя до Казанского собора, широко раскинувшего в обе стороны сквозную стройную колоннаду, и полюбовавшись им, свернули на набережную канала и пошли вдоль него — вправо от Невского. Канал вывел их на обширную заснеженную площадь, напомнившую Иакинфу ту, что раскинулась в Пекине перед воротами в Запретный город.

— Прежде площадь называлась Царицын луг, а теперь ее в Марсово поле переиначили. Тут главные парады происходят, — рассказывал Тимковский.

— А это что за дворец? — полюбопытствовал Иакинф, показывая на строгое белоколонное здание, видно только что построенное и свежевыкрашенное.

— Это не дворец. Казармы лейб-гвардии Павловского полка, — ответил Тимковский.

— Казармы? Да ну?

Справа, у переплетения каналов, низкое солнце золотило высокий шпиль какого-то сумрачного, будто бычьей кровью выкрашенного, здания.

— Это Михайловский замок, — пояснил Тимковский. — Его незадолго до смерти построил для себя император Павел. В полном смысле слова замок. Будто крепость, стоит на острове и со всех сторон окружен реками да каналами. Мосты на ночь подымались, как в средние века. А участи своей все равно не избежал император. Тут-то его и задушили в ночь на двенадцатое марта восемьсот первого года.

— Похоже, в нем никто не живет?

— Да, с той ночи так и пустует. Император Александр кому-то из великих князей его подарил. Да тот не решился поселиться. Слыхал я, будто собираются разместить в нем главное инженерное училище. А пока так и брошен в забвении, вот уже двадцатый год. Правда, живут тут время от времени случайные люди на казенной квартире.

По набережной Лебяжьей канавки, отделяющей Царицын луг от Летнего сада, они вышли к Неве.

Широкая река была одета в гранит, серый, почти белый от лохматого инея. И сама она, схваченная льдом, казалась гранитной, как и низкие ее берега. А на той стороне распласталась крепость с такими же седыми ог инея гранитными стенами. Все льнуло к земле. И только золоченый шпиль, увенчанный несущим крест ангелом, сверкая на солнце, вонзался

в самое небо.

Вдруг оба вздрогнули. Пушечный выстрел грянул будто у самого уха — в крепости пробило полдень, а затем раздались мерные удары колокола — один, другой, третий, и долго еще несся в морозном воздухе этот литой медный гул.

Они медленно шли вдоль набережной. Слева расчищали от снега громаду Зимнего дворца с черными сторожевыми истуканами на кровле; прямо на Стрелке Васильевского острова, меж двух червленых, с ростралами колонн, — величественное, будто древний храм, здание. Но это не храм, а Фондовая биржа, пояснил Егор Федорович. Панорама города в этот солнечный морозный день была чудно хороша, ничего подобного Иакинфу не приходилось раньше видеть. И сейчас, уже под старость лет, как и в молодости, Иакинф был и остался в душе несбывшимся художником. Видно, оттого-то с такой жадностью всматривался он в этот незнакомый город, как вглядывался в свое время в пустынные степи Монголии или скопления одноэтажных зданий китайской столицы; как, сам не зная зачем, копил в памяти встреченные в пути восходы и закаты, реки и озера, буддийские капища и хижины китайских поселян, скачущих всадников или почти недвижные отары овец, медленно ползущие по степи. И каждый раз, как и теперь вот, ловил себя на мысли: а может, такое больше не повторится.

Все так же, набережной, они вышли на широкую площадь, к памятнику Петру, обнесенному невысокой чугунной решеткой. Иакинф остановился в восхищении.

— Ну, знаете, Егор Федорович, лучшего памятника я не видывал. А уж в Китае я монументов да истуканов нагляделся. Одни изваяния на кладбище Минских императоров чего стоят! Но разве с этим чудом сравнишь? Дело не в размерах. Сколько тут движения, силы! Как он вздыбил коня!

— А камень, камень-то какой!

— Да, точно застывшая волна.

— Я вот все гадаю, как только его такой сюда приволокли?

Иакинф взглянул на Тимковского. Ему самому эта мысль как-то не пришла в голову.

— А я ведь привел вас почти что к самому дому моему, — сказал Тимковский. — Живу тут совсем рядом, на Галерной. Сами увидите — рукой подать. Зайдемте-ка. Время к обеду подошло, это я и без часов чувствую. Жена, правда, в деревне, в Малороссии, но повар у меня отменный. И познакомлю вас с братьями. У меня их четверо. И двое вас дожидаются. Старший, Илья, профессор Харьковского университета, приехал меня

навестить, а средний, Василий, как и я, служит в министерстве иностранных дел и тоже по Азиатскому департаменту. А в юности он, как и старший брат, мечтал не о чиновничьей, а об ученой карьере и хорошо знаком с литературой, особливо античной. Думаю, что за столом вы с ними скучать не будете.

— Помилуйте, право, Егор Федорович, о какой скуке вы говорите! Да я почту за честь у вас отобедать.

Приглашение Иакинф и в самом деле принял с большой охотой. Сказать откровенно, он давно соскучился по беззаботному застолью в обществе приятных людей. Все эти четырнадцать лет он яростно боролся с мрачным пьянством своих монахов в Пекине, а ведь и сам не был постником. Впрочем, не столько само питие было ему по душе, как дружеская беседа за бутылкой доброго вина. А вино у Егора Федоровича и впрямь было доброе, и братья его пришлись Иакинфу по душе с первого взгляда. Особливо — Василий Федорович. Он отличался веселостью и сразу стал душою застолицы. Впрочем, и всем братьям присуще было, видимо, врожденное чувство юмора.

Егор Федорович был прав, говоря об ученых пристрастиях брата. Зная наизусть чуть не всего Горация и Вергилия, Василий Федорович пересыпал беседу их изречениями. Да и к столу, уставленному бутылками, они были приглашены словами Овидия:

— Годы и силы пока позволяют трудиться упорно, старость пока не пришла тихой, неслышной порой…

Дипломатическую службу свою Василий Федорович не очень-то жаловал и был недоволен нашей государственной политикой и на Востоке, и особливо в Европе:

— В блюстители порядка себя зачислили! Священный союз создали, с конгресса на конгресс мыкаемся! — говорил он даже с каким-то ожесточением. — А на самом-то деле у Меттерниха за казачка. И вся-то наша политика европейская вроде пожарной охраны на колесах: все глаза проглядели, всё стережем, не загорится ль где. И как откуда дымом потянуло, так и скачем туда, як скаженные. Через всю Европу! Чужие пожары собственной кровью заливаем.

— Что русская кровь — водица, — усмехнулся Иакинф.

— Ну, а государю, ему-то что до нашей кровушки? Сколько у него у самого-то русской крови в жилах льется?

— Ты всегда был к нему несправедлив, Василий, — вмешался в разговор Егор Федорович. — Государь — человек добросердечный, благожелательный. Недаром его Благословенным нарекли. Ежели порой он и делает зло, то единственно благодаря своим советчикам, а сам неизменно

желает добра…

— Да уж куда добрей. Одни военные поселения чего стоят!

— Это все Аракчеев.

— Да Аракчеев-то откуда взялся? Всякий правитель выбирает себе исполнителя.

— Нет, ты несправедлив. Вот ведь совсем недавно государь конституцию Польше даровал.

— Так то Польше. Старое его пристрастие. Чго Польша, что полячки. Да и в Варшаву наместником брата посадил. А вот Россию на откуп Аракчееву отдал. Не помню, кто намедни мне слова князя Чарторыйского пересказывал. А тот ведь был государю в свое время первый друг и советчик. "Императору, — отозвался он, — нравятся внешние формы свободы, как нравятся красивые зрелища. Он охотно бы согласился дать свободу всему миру, при одном-единственном условии, что все будут добровольно подчиняться его воле".

— Но и это все уже в прошлом, — заметил молчавший до сих пор Илья Федорович. — Теперь ему больше по душе стройные парады. Верх берет фамильная страсть к фрунту.

— Вот отсюда и Аракчеев, — подхватил Василий Федорович. — Недаром в свое время августейший его батюшка так возвысил сего капрала.

Чем дальше, тем больше нравился Иакинфу Василий Федорович. При всем его наружном добродушии и веселости в нем сразу бросалась в глаза резкость суждений. У него не было ничего общего с тем распространенным типом людей, которые не имеют собственного мнения, а всегда готовы примкнуть к господствующему.

Иакинф знал, что решение Синода о его высылке в Тобольск было в свое время конфирмировано государем, и понимал, что и нынешнее исследование в Синоде не минует его величества, а оттого с особым вниманием слушал все, что говорилось о царе. И сам исподволь наводил разговор на тот же предмет. А Василию Федоровичу, оказывается, приводилось наблюдать государя вблизи. Чиновником для особых поручений при Шишкове не раз он сопровождал государя в поездках по России и Европе, а в войну с Наполеоном ему даже поручалось составление манифестов.

Из всего, что говорили братья, — а разговор был в узком, почти семейном кругу, да и подогрет вином (кому же не известно, что вино и языки развязывает, и суждениям смелость придает), — выходило, что государь хоть и добр, да злопамятен. Не казнит, как отец, негаданной немилостью, но и малейших обид, мельчайших погрешностей против закона или своей воли никому

не прощает. Преследует виноватых медленно, со всеми наружными знаками благоволения, но неотступно. Про его величество говорили, что он употребляет кнут на вате. И еще: свойственна государю врожденная уклончивость и несамостоятельность характера.

— Почитай с самого начала своего царствования, — говорил Василий Федорович, — государь испытывает на себе влияние то одного, то другого — то Кочубея и Чарторыйского, то Новосильцева, то Сперанского, то Меттерниха и Каподистрия, Голицына и Аракчеева. Одного, а то и двух-трех разом. Вот и теперь два самых приближенных сановника борются за влияние на его величество — князь Голицын, министр духовных дел и народного просвещения, и граф Аракчеев. Этот-то вроде никаких официальных постов и не занимает, а поди ж ты, первое лицо в государстве.

— Я слышал, оба они ненавидят друг друга, — сказал Ильи Федорович.

— Еще как! Не раскланиваются друг с дружкой даже во дворце, даже в присутствии государя. А вот ведь ни без того, ни без другого его величество обойтись не может!

— Ну уж Голицына-то Аракчееву не одолеть. Это ведь старый государев друг, — заметил Илья Федорович.

— А я, напротив, убежден, что Аракчеев все же возобладает, — не согласился со старшим братом Василий Федорович. — Государь уже отдал дань сентиментальности и голицынскому мистицизму. Устал от благородных помышлений о благе и просвещении России. Он чувствует теперь себя без Аракчеева как без рук…

После обеда Егор Федорович вызвался отвезти отца Иакинфа в лавру. Пока продолжался этот медленный обед, за которым столько было говорено и выпито и который так незаметно перешел в ужин, сыпал снег. Теперь он уже кончился, и по улицам была проторена свежая санная дорога. Лунный свет делил улицу надвое то ровной, то ступенчатой линией — то лежали на белом снегу тени домов. Санки легко скользили по свежеукатанной дороге, следы полозьев ярко блестели в лунном свете. На душе у Иакинфа было легко и радостно. Он старался не отставать от братьев, которые, видно, были с Бахусом на короткой ноге. Да сказать по правде, ему и самому захотелось вдруг, чтобы все расплылось слегка, чтоб отлетели эти докучливые мысли, которые не оставляли его ни днем ни ночью, чтоб почувствовать себя, хоть на время, опять молодым и сильным, свободным от пут недремлющего рассудка. Впрочем, в свои сорок пять лет он еще

не чувствовал себя стариком. Ему еще все доставляло радость — и ученые упражнения, настойчивые изыскания в запутанных переплетениях азиатской истории, и вино, и женщины, и тихие часы одиноких раздумий в уединенной келье, и веселая пирушка. Слегка кружилась голова. Но он знал, что завтра, как всякий раз наутро после шумной застолицы, он встряхнется, как встряхиваются, выпрыгнув из воды, и, полный свежих сил, сядет за работу.

III

Но за работу сесть не пришлось. У дверей кельи дремал на стуле дюжий рыжебородый монах. Заслышав шаги, он встрепенулся и стал расспрашивать, кто таков: посторонних пускать не велено.

Это еще что за чертовщина такая! Отстранив монаха, Иакинф распахнул дверь в келью. Маркушки в ней не было. Не было на столе ни книг, ни бумаг, ни чернил.

Он открыл стоявший у изголовья сундук. Там все было перерыто. Все вверх дном. И тоже — ни писем, ни бумаг, ни книг. Этого еще недоставало! Только на стоявшем под образами аналое лежали крест и Евангелие.

Он кинулся к двери. Но она сама приоткрылась, и s узкую щель просунулась взлохмаченная голова иеромонаха Аркадия.

— Ох, наконец-то и вы, отец честной. Без вас-то я совсем обробел, ваше высокопреподобие. Ох, господи, твоя воля!.. — причитал он, войдя в келью.

— Ну чего разохался! Что случилось? Говори толком! — прикрикнул на него Иакинф.

Но добиться от иеромонаха толку было не так-то просто.

— Ох, кабы вы знали, отче, какая тут баня была! Вот уж баня так баня. От пара да мыла по сю пору голова болит!

Аркадий был пьян. Не то чтобы до положения риз, а так — на четверть. Он растерянно моргал маленькими красными глазками, переминался с ноги на ногу и рассказывал, перемежая рассказ вздохами и охами:

— Ох, ваше высокопреподобие, отец честной! Ох, что только тут было, что было! Ну, ушли вы с господином Тимковским, я, как вы наказывали, раздобыл молока для мальчонки, свиным жиром его натер и в постель уложил — всё, всё, как вы наказывали. А сами после обеденной литургии у нас с отцом Серафимом собрались. Ну, штофом горькой водочки раздобылись — бутылек такой, не так чтобы очень великонький. А и водочка, доложу я вам, ваше высокопреподобие, не чета пекинской — прозрачна и

чиста, яко слеза божьей матери…

— Не кощунствуй, отец Аркадий, — оборвал его Иакинф.

— Простите, ваше высокопреподобие, мя грешного. Ну, ладно, сидим себе тихохонько — я, отец Серафим, Синаков, да еще свояк синаковский, режемся в свои козыри, все чин по чину. И вдруг, откуда ни возьмись, собственной персоной, кто бы вы думали, ваше высокопреподобие? Сам митрополит Новгородский и Санкт-Петербургский Серафим, наместник Товий и еще два каких-то архиерея, а уж разного лаврского начальства и челяди архиерейской — и не счесть. Ну мы, знамо дело, ниц попадали, к ногам владык поползли. А штоф-то — едва ль наполовину мы его опорожнили — на столе стоит, и трубки дымятся, и карты по столу раскиданы. Что тут только было, что было! Вы, ваше высокопреподобие, и помыслить себе не можете! Сам-то высокопреосвященный из себя огромадный, ликом строг, волос черен, голос зычен. И как принялся нас честить, как принялся! Ох и грозен владыка, ох грозен! Бранил нас всякими неподобными бранями, каких я отродясь не слыхивал. Да это, говорит, Содом и Гоморра, а не келия иноческая! Да я теперь всему, говорит, поверить готов. И тут-то, говорит, в святой лавре, жизнь в пиянстве да непотребстве препровождаете. Можно, говорит, помыслить, как эдакие плотоугодники да сластолюбцы в столице чужестранной жизнь свою препровождали. Изъять, говорит, из келии всю эту мерзость — это он на штоф да на карты и трубки показывает. А самих, говорит, разместить в разные келии, и друг от друга подале. И чтоб каждому, говорит, надежный караул приставить из сторожей консисторских и лаврских. (Я, чтоб и к вам-то пробраться, ваше высокопреподобие, обоим сторожам, и своему и вашему, по презенту сунул. Хоть и жалко — разве на них напасешься, — а что делать? Не сидеть же в келии, яко в темнице.) И чтоб никто в их келии не входил, — наказывает митрополит строго-настрого, — и чтоб разговоров ни с кем посторонним не дозволялось. И довольствовать, говорит, их всех братскою из общей трапезы пищею.

— Что же дальше?

— Что дальше? Лежим на полу, ниц простершись, ни живы ни мертвы. А где, спрашивает, отец архимандрит? Ну, всю лавру обшарили — нигде вашего высокопреподобия натурально и понятно нету. Я-то знаю, что вы с господином Тимковским уехали. Однако ж молчу. Да и поверите ли, ваше высокопреподобие, язык будто к глотке прилип и скулы свело и все одно ни единого звука не могу из себя выдавить. И еще его высокопреосвященство распорядились никому из нас ни чернил, ни бумаги не давать и чтобы и вам, отец архимандрит, и всем

прочим писем с почты не приносить и не отдавать, а доставлять прямо в Синод. Вот такие-то дела, ваше высокопреподобие.

— А где же Маркушка? — спросил Иакинф.

— Ох, уж и не спрашивайте, ваше высокопреподобие. Как пришли они в келию вашу да увидели в вашей постели мальчонку, а возле изголовья на столике молоко да горшочек сала свиного, которым я его натирал, так его высокопреосвященство и совсем из себя вышли. Это уж мне потом лаврский служка рассказывал. Как, кричит владыка, в великий пост в иноческой келии молоко да сало, а в кровати мальчик постельничий!

— Постельничий! Иначе святые отцы сии и представить себе не могут! — возмутился Иакинф. — Да я же привез его в Питер, чтобы отдать тут в учение. Впрочем, кто же сие объяснить решится. Да и кто слушать станет!

— Сущая правда, ваше высокопреподобие, сущая правда, — закивал Аркадий. — Так вот. Это, кричит его высокопреосвященство, неслыханно! Посадить, говорит, и отца архимандрита на братскую порцию. А Маркушку под расписку Синакову на временное содержание отдали…

IV

Утром, едва Иакинф протер глаза, все тот же дюжий служка принес ему братскую порцию — миску худо сваренной каши с куском какой-то пахучей рыбы, кружку кваса и ломоть черного хлеба. Иакинф поковырял рыбу. От одного запаха ее архимандрита передернуло, он отшвырнул ложку, залпом выпил квас и подошел к окну. На заснеженной высокой стене лавры сидели галки, до смешного похожие на монахов.

Иакинф зашагал по келье.

Что-то его ждет? То, что вчера рассказал Аркадий, не предвещало ничего хорошего. А он-то мыслил, что дожидаются его тут с нетерпением, станут расспрашивать об ученых его трудах, о книгах и рукописях, которые он привез, об обстоятельствах в далекой стране, могут, чего доброго, предложить и епархию. Что же, это не такая уж чрезмерная награда за многолетние его труды. Да он и отказался бы от сей чести. А его посадили на братскую порцию и цербера к двери приставили.

Отец Иакинф отворил дверь, но на пороге его остановил все тот же рыжий атлет-черноризец.

— Мне надобно к отцу наместнику.

— Не велено выпущать.

— К отцу настоятелю надобно, повторяю.

— Не могу знать. Никуда не велено.

— Так я же не ваш лаврский монах, а пекинский архимандрит Иакинф.

— Не могу знать, ваше высокопреподобие. Не велено.

— Ну что ты заладил: не велено да не велено?

Но, видно, уговорить черноризого стража невозможно. Огромный хмурый верзила. В глазах ни искры, ня проблеска душевного света.

Иакинф метался по келье. Его бесила собственная беспомощность. Бессловесный цербер в монашеской рясе был невозмутим. Толстые стены скрадывали звуки. Он распахнул оконницу. Теперь стало слышно, как каждые четверть часа на колокольне печально и грустно играли куранты. Да без умолку верещали галки на высокой лаврской ограде. И хоть бейся головой об эти стены. А что толку? Лбом их все равно не прошибешь. Он, конечно, подозревал, что извет отца Петра, которым тог грозился перед отъездом, доставит ему хлопот, но такого приема все же не ожидал. Эдак могут и в какую-нибудь монастырскую тюрьму заточить — на Соловках или на Валааме, где смиряют провинившихся иноков битьем и голодом. Этого еще не хватало! Он ведь не простои монах, а архимандрит!

До устали нашагавшись ло келье, Иакинф подошел к налою и наугад открыл Евангелие.

"Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом… Верою познаем, что веки устроены словом божиим; так что из невидимого произошло видимое…"

Вера! Где она?

Улетучилась, рассеялась, как дым отческий, как туман утренний…

Он перевернул страницу:

"Всякое наказание днесь кажется не радостию, а печалию, но после наученным чрез него доставляет мирный плод праведности. Итак укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колена; и ходите прямо ногами вашими, дабы храмлющее не сокрушалось, а лучше исправлялось…"

Удивительная это все же книга. Как способна она принести утешение верующему в самую горестную минуту! Чего в ней только нету! Какого только употребления не делалось из нее на протяжении веков, а вот ведь вновь и вновь можно вычитать из нее все что угодно. Вот он, круг чтения до конца дней, на все случаи жизни. В час печали и в минуту радости.

Да. Всех она может утешить. Со всем примирить. Ко всему с ее помощью можно себя приучить.

Выходит, и наказание, и самый страх наказания суть благо.

"Ибо бог наш есть огнь поядающий…"

И не надобно отчаиваться. Не надобно падать духом. Все пройдет. "Суета сует, сказал проповедник, суета сует, все суета".

Есть в самом деле от чего приходить в отчаяние! Подумаешь: бумаги да книги забрали!"…При многой мудрости много печали, и кто умножает познания, умножает скорбь…"

Вот ведь как: кто умножает познания, тот умножает и скорбь!

Будем же себя утешать: все пройдет! Что было, то и будет! И что делалось, то и будет делаться; и нет ничего нового под солнцем.

Да, тысячу раз прав Екклезиаст — всему час и время всякой вещи под небом: время смеяться и время плакать, время искать и время терять. Время разбрасывать камни и время собирать камни!..

Он ходил и ходил по келье, все ускоряя шаг, и сам казался себе тигром, схваченным в сеть и брошенным в клетку.

Всему свой час! А разум не хочет с этим мириться.

Но нельзя и отчаиваться. Сам не раз говорил в своих проповедях: бог милосерд. Многое, многое может простить он истинно верующему, но не отчаяние!

ГЛАВА ВТОРАЯ

I

Министр духовных дел и народного просвещения князь Александр Николаевич Голицын строго придерживался раз и навсегда заведенного порядка. День у него был распределен не только по часам, но и по минутам. Даже в такие вот хмурые зимние дни, как сегодня, в половине восьмого он был уже на ногах. В шелковых чулках, в башмаках с серебряными пряжками, в коротких панталонах, накинув на плечи шелковый шлафрок, он откушал принесенную камердинером чашечку чая, затем облачился в серый просторный фрак и, взбив перед зеркалом остатки вьющихся волос, как всегда бодрый и свежий, направился в молельню. Вот уже десять лет с тех пор, как построил он в пожалованном государем доме на Фонтанке домовую церковь и оборудовал рядом с нею эту молельню, князь каждый день, как бы ни был занят, какие бы неотложные дела его ни ждали, проводил свой первый утренний час наедине с богом.

Свою домовую церковь Александр Николаевич очень любил. Построена она была по плану Воронихина, строителя Казанского

собора, живопись иконостаса выполнена Боровиковским. Да и прочие стены были увешаны превосходными иконами, списанными со знаменитых образцов.

Князь — старый и убежденный холостяк. Приемов у него дома не было, обедов он не давал и сам, ежели не обедал с государем в редкие теперь наезды его величества в столицу, то отправлялся на обед к министру финансов графу Гурьеву — тот слыл в Петербурге первым гастрономом — или к обер-гофмейстеру Кошелеву, с которым так приятно было потолковать за обедом и особенно в послеобеденный час за чашечкой кофея на мистико-пиетические предметы. Старый, полуслепой обер-гофмейстер был в свое время другом знаменитого Новикова и теперь еще, в преклонные свои лета, влекся духом ко всему таинственному, загадочному, сверхъестественному. А последние годы министр духовных дел и народного просвещения (министерство сие с легкой руки Карамзина злые языки называли министерством з_а_т_м_е_н_и_я), и сам все больше устремлялся в таинственную область духов, искал общения с бесплотными силами, жаждал чудес и откровений.

По воскресеньям и праздничным дням в залитую огнями домашнюю церковь князя, к поздней литургии, которую служил один из двух протопресвитеров столицы, съезжалось пол-Петербурга. Теперь же церковь была тускло освещена всего несколькими лампадами.

Князь неспешно миновал церковную залу. В левой стене ее узкая неприметная дверь, о назначении которой знали лишь самые близкие князю люди, вела в две, соединенные аркой, маленькие комнатки с наглухо заложенными окнами. Это личная молельня князя. Сюда не доносится ни одного стороннего звука, и все располагает к сосредоточенности и тихой молитве.

В первой из комнат стены увешаны редкими иконами, подаренными князю и благословленными разными духовными и монашествующими особами. Перед некоторыми теплятся скромные лампадки. Убранство второй еще строже. Голые, сырые стены. Посредине комнаты — подобие гроба, приставленного к подножию огромного деревянного распятия. На гроб накинута парчовая плащаница с разложенными на ней крестами, тоже подаренными князю в разное время. Иные из них чуть ли не времен крещения Руси. В комнате ни одной свечи или лампады. Только перед самым распятием вместо паникадила пылает кровавым светом обнаженное человеческое сердце. Тусклый этот пламень едва освещает небольшую комнату. Углы ее прячутся во мгле. Горящее сердце среди кромешной тьмы поражает воображение.

Князь опускается на лежащую перед распятием подушечку, тоже с пламенеющим сердцем Иисусовым. Это подарок Марии Антоновны Нарышкиной, старой привязанности государевой. Католическое это изображение искусно вышито ее собственными руками. Подушечка очень удобна, и князь к ней привык, но всякий раз отвлекает она мысли стареющего князя от молитвы. Вот и сегодня пришли на ум бесконечные размолвки государя с Марией Антоновной, а ведь вечным примирителем приходится быть ему, князю. Своенравная полячка! Впрочем, на полячку-то она и вовсе не похожа: черные волосы, черные огненные глаза и вся — пламень. Князь, хоть сам давно уж старался не грешить, невольно улыбнулся пришедшим на память словам: "Минерва в час похоти". Запамятовал, кто же ее так окрестил. Александр Николаевич торопливо перекрестился. А сама она — по-прежнему грешит, грешит и кается. Но хоть гульлива, да очаровательна. Недаром государь ее избрал. Ничего не скажешь — самая красивая женщина при его дворе. Ведь уже за сорок, а все еще пленительна. Одна беда — предпочитает пиетически настроенному государю молоденьких флигель-адъютантов… Но что ж поделаешь — молодость, правда, не первая и даже из вторая. Но, может, именно угрозы близящейся старости делают эту прелестницу еще любвеобильней.

Окончив молитву, князь прошел в столовую, где ждал его скромный завтрак.

С последним, девятым, ударом часов Александр Николаевич поднялся. Прошел через большую приемную залу, украшенную портретами, кажется, всех достопамятных людей XVIII столетия, через библиотеку, состоявшую преимущественно из книг на французском, испанском и итальянском языках. Здесь уже дожидался его обер-прокурор Святейшего Синода князь Мещерский. Он являлся с докладом два раза в неделю.

— А, милейший Петр Сергеевич, — ласково встретил его Голицын, вводя в свой обширный кабинет с окнами на Михайловский замок. — Садитесь, садитесь, ваше сиятельство. Не угодно ли чашечку чая? — осведомился князь и позвонил в колокольчик.

Он был необычайно приветлив и радушен со всеми своими подчиненными, какие бы посты те ни занимали. И подчиненные его любили. Докладывать ему и заниматься с ним какими бы то ни было делами было для князя Мещерского одно удовольствие — и не только из-за острого ума князя, все схватывавшего на лету, но и вследствие этого постоянно ровного и приветливого обхождения. От него никогда не услышишь неприятного слова, не увидишь у него на лице кислой мины. Во всяком случае, князь

Петр Сергеевич за все пять лет службы с Голицыным ни разу не видел его в дурном расположении духа. И потом, за ним как за каменной стеной — нет у тебя иного начальства, не надобно приноравливаться к переменчивому настроению государя, да и святые отцы в Синоде относятся к тебе с должным почтением.

В свой черед и князь Александр Николаевич был доволен синодальным обер-прокурором. Его, конечно, не сравнишь с директором департамента духовных дел даровитейшим Александром Ивановичем Тургеневым. Тот-то обладает умом истинно глубоким, и Карамзин, пожалуй, был прав, сказав как-то, что только толщина, которая заставляет его часто спать, вместо того чтобы действовать, да непреоборимая рассеянность мешают ему стать одним из первых людей в России. Князь же Мещерский по самой натуре своей не притязает ни на что другое, как на место исправного и добросовестного исполнителя. Но уж тут на него можно положиться. Дела у него всегда в превосходном порядке.

Камердинер бесшумно поставил перед Мещерским и Голицыным по чашечке душистого чая.

На Васильевский остров, в здание Двенадцати коллегии, где помещался Синод, Голицын ездил только на особо важные заседания, хотя по-прежнему там стояло его постоянное кресло — что-то вроде византийского трона из позолоченного дерева, по правую руку от которого восседали митрополиты, а в стороне — прочие члены Синода. Текущие же дела и министерства, и Синода князь рассматривал здесь, в этом доме на Фонтанке. Сюда, в строго определенные часы, являлись по утрам и директоры департаментов министерства, и обер-прокурор Святейшего Синода. Синодальные дела докладывал и представлял государю не обер-прокурор, как это было заведено, когда князь сам занимал сей пост, а министр духовных дел и народного просвещения.

— Ну-с, с чем вы, Петр Сергеевич, сегодня пожаловали? — спросил Голицын, садясь за стол, покрытый зеленым сукном и украшенный часами с мраморным бюстом императора.

— Самое неприятное, ваше сиятельство, и я бы даже сказал, весьма прискорбное — это дело о бывших пекинских миссионерах, возвратившихся в Россию. — Петр Сергеевич даже вздохнул. — Дело сие первого февраля предварительно рассматривалось в Синоде и решено препоручить синодальному члену митрополиту Серафиму произвести надлежащее исследование, но я счел своим долгом препроводить его и вам. — И Мещерский протянул князю переплетенную в сафьян папку с аккуратно подобранными бумагами.

— Да-а, ничего не скажешь, — Александр Николаевич покачал в руке весьма внушительную папку.

— Изволите ли видеть, ваше сиятельство, дабы напомнить историю сего дела, я положил тут сперва старый донос бывшего сибирского генерал-губернатора Пестеля на имя вашего сиятельства, в бытность вашу обер-прокурором Святейшего Синода. Засим следует препровожденный Пестелем список с извета учеников Пекинской миссии на своего начальника. Присовокупил я для памяти и копию вашего ответа господину Пестелю. Исследование сих обстоятельств, как вы изволите помнить, было поручено на месте преемнику отца Иакинфа архимандриту Петру. Вот здесь далее следует пространное его письмо, представленное на ваше имя, и еще более пространные "Примечания, сделанные в Пекине".

— Как же отец Петр нашел там Пекинскую миссию? — спросил Голицын.

— Должен вам сказать, ваше сиятельство, что письмо отца Петра исполнено какой-то непонятной обиды и открытой неприязни к архимандриту Иакинфу. Это вы и сами заметите. Отец Петр пишет, что архимандрит Иакинф в одной своей особе замыкает качества Цицеронова Антония и Сенекиных Гостия и Латрона. Для своего предместника, да, в сущности, и для всей его свиты, у отца Петра не находится ни единого доброго слова. Правда, из всей прежней миссии он выделяет немного в лучшую сторону одного иеромонаха Аркадия. Вот, извольте взглянуть, что он пишет: "…по не именью иных твердых между ними умов, можно несколько основываться на показаниях очень изрядного, хотя и во многие дела ими доведенного, иеромонаха Аркадия, в коем приметна простота сердца и оттенки справедливости".

— Ну уж не знаю, насколько можно доверять сей рекомендации, — сказал Александр Николаевич с сомнением. — Вчера я беседовал с коллежским асессором Тимковским, сопровождавшим новую миссию в Пекин и привезшим старую сюда, в Петербург.

— Он мне показался человеком весьма достойным, — заметил Мещерский.

— И мне тоже. Так вот Тимковский, напротив, очень лестно отозвался об отце Иакинфе, а об иеромонахе Аркадии говорил как о хитреце и выпивохе. Вы не допускаете, Петр Сергеевич, что этот хитрый и разбитной монах, как его характеризует Тимковский, мог вкрасться в доверие к отцу Петру и много несправедливого ему наговорить?

— Это тем более вероподобно, ваше сиятельство, что один из членов новой миссии, иеродиакон Израиль, переметнулся, по

словам отца Петра, на сторону архимандрита Иакинфа и добился возвращения вместе с ним в отечество. Это могло настроить нового начальника против своего предместника. В том же письме архимандрит Петр всепокорнейше просит ваше сиятельство коварством приобретенное, как он пишет, пострижение сего иеродиакона расстрижением уничтожить и обратить его в прежнее путивльское мещанство…

— А помнится, отец Петр сам хлопотал о причислении Израиля к своей миссии.

— Точно так, ваше сиятельство. А теперь вот, изволите ли видеть, пишет, что если на расстрижение Израиля не последует соизволения, то он просит по крайней мере успокоить его навсегда в какой-нибудь отдаленной пустыни.

— Оставьте это все у меня, Петр Сергеевич. Я прочитаю на досуге и, ежели надобно, представлю на усмотрение государя императора.

II

Рассмотрев все прочие дела и отпустив Мещерского, князь углубился в чтение оставленных им бумаг.

Отец Иакинф, отец Иакинф!.. Это имя ему запомнилось с давних, довоенных еще лет, когда дважды пришлось докладывать о нем государю.

Первый раз, кажется, еще в восемьсот шестом году, просил о его назначении начальником Пекинской миссии граф Головнин. Государь сперва не соизволил одобрить это назначение. Ведь всего за год или полтора до того архимандрит был отрешен от ректорства в Иркутской семинарии и от настоятельства в тамошнем монастыре за содержание девки под видом келейника. Но уж очень ратовали за него и первоприсутствующий в Синоде митрополит Амвросий и возвратившийся из неудавшейся поездки своей в Пекин граф Головнин. Юрий Александрович так забавно пересказывал похождения молодого архимандрита в Иркутске, что ни он, князь, ни государь не могли удержаться от смеха. Иное было время, да и они сами — и он, и государь — были другими. Оба были молоды, оба вели тогда жизнь рассеянную. Князь и до сих пор не может вспомнить о тех годах без улыбки.

Несмотря на назначение обер-прокурором Святейшего Синода, страсти крепко обуревали его душу. Едва возвратясь с заседания Синода, он отправлялся к государю в Таврический дворец, где они обедали вдвоем, по-холостяцки, и он во всех подробностях пересказывал процессы о прелюбодеяниях, которые рассматривал в Синоде вместе со святыми отцами.

Подкрепившись шампанским, оба разъезжались: государь — к Марии Антоновне Нарышкиной, а князь — в свой привычный круг юных прелестниц. В отличие от государя, который, несмотря на мимолетные непостоянства, столь естественные в его тогдашнем возрасте, был верен пленительной полячке, он сам не отличался прочностью привязанностей. Ему нравилась не какая-то определенная женщина, а женщины вообще. "Творец дал прекрасному многообразные формы. И было бы просто грешно отдавать предпочтение какой-либо одной", — отшучивался он. Князь в ту пору был отчаянным поклонником прекрасного пола и всегда был в окружении красивых женщин, хоть, правда, и инкогнито. Он только посмеивался, когда ему приходило в голову, что было бы со всеми этими Фринами, если бы они знали, что у них в гостях обер-прокурор Святейшего Синода! Да и теперь, по прошествии стольких лет, проведенных в обществе святых отцов и в Библейском обществе, средь мистиков самого разного толла, князь не склонен был осуждать свою былую ветреность. Ему и теперь был по душе тот веселый сгиб характера, что его тогда отличал.

Ну как же было с такими мыслями и чувствованиями судить молодого архимандрита, который, по словам митрополита Амвросия, был моложе князя на целых три года! Впрочем, и сами-то святые отцы, хоть и говорили об отце Иакинфе с негодованием, напуская на лица ханжески-постное выражение, но с живейшим интересом выпытывали друг у друга подробности о веселых похождениях бесстрашного архимандрита, который полтора года водил за нос иркутскую консисторию и тамошнюю полицию, сбившуюся с ног в поисках исчезнувшей девки. Митрополит Амвросий, питавший к отцу Иакинфу какую-то неизъяснимую привязанность, предпочел решить это дело без широкой огласки и скоро убедил князя еще раз доложить государю об отце Иакинфе. Его величество был благосклонен. Иакинфу возвратили архимандричий крест, право священнослужения, и через год после тобольской ссылки он был назначен начальником Пекинской духовной миссии, к крайнему неудовольствию преосвященного Иркутского, который не преминул написать гневное письмо и ему, Голицыну, и митрополиту Амвросию. Но было уже поздно: отец архимандрит со своей свитой был уже на пути в Пекин.

На шесть или на семь лет об отце Иакинфе забыли.

А в мае восемьсот тринадцатого года князь получает вдруг письмо от сибирского генерал-губернатора Ивана Борисовича Пестеля с изветом учеников Пекинской миссии на своего начальника. Помнится, Пестель писал, что нельзя почитать

архимандрита Иакинфа благонадежным начальником миссии и требовал незамедлительного его отзыва из Китая.

Прошло уже восемь лет, и хотя князь хорошо помнил этот извет, но решил еще раз его перечитать.

"Бог зрит внутренность наших сердец и ведает, сколь близки к сердцам нашим благо, слава и честь нашего Отечества…"

Князь перелистнул несколько страниц, наполненных витиеватыми семинарскими красивостями и льстивыми обращениями к высокому адресату.

В чем же все-таки они обвиняли отца архимандрита?

На пути в Пекин через монгольские степи отец Иакинф, видите ли, верхом на коне гонялся с ружьем за сернами и разными птицами — "охота сия весьма предосудительна даже и для языческих духовных лиц, — обличали недоучившиеся семинаристы своего начальника. — В Гобийской степи его обуял дух буйства, и он кидался с кулаками на пристава г. Первушина, препровождавшего миссию в Пекин… А по прибытии в столицу китайскую учинил драку с одним желтопоясным, то есть принцем царской крови, и основательно избил его"… Да-а! Ничего себе духовная особа!.. "Одевшись китайским простолюдином, хаживал в пекинские театры, трактиры, цирюльни и разные прочие непотребные дома"… Ай да архимандрит, ай да святой отец! Вот ведь шельмец! Оказывается, не только посещал театры — это в ангельском-то его чине! — но и привозил к себе молодых актерок, которые пели, танцевали и даже оставались ночевать в настоятельских кельях… Александр Николаевич перелистнул еще несколько страниц.

И так, почти на двадцати густо исписанных листах, исчислялись похождения отца архимандрита в Пекине. Чего тут только не было! Колокол с собора продал и колокольню разрушил, а кирпич употребил на ограду своего сада, дабы укрыть от глаз людских свои развлечения, и театральщиков к себе возил, и девок у людей разных званий торговал, и церковных служб в высокоторжественные дни не отправлял, и панихид по преставившимся государям и государыням не служил… Трудно было решить, что тут правда и что злоковарный навет на сурового начальника. В этом духе, помнится, он и ответил тогда сибирскому генерал-губернатору. Да вот оно, тогдашнее его письмо Пестелю:

"Милостивый Государь мой, Иван Борисович!

По отношении Вашего Превосходительства № 773, при котором приложен список с доноса учеников, при Пекинской миссии находящихся, на Архимандрита Иакинфа, честь имею

сообщить мое мнение:

Есть ли бы поведение отца Архимандрита было в самом деле столь предосудительно, как описывают ученики, и до такой степени гласно в народе, что, например, по происшедшей у него (по показанию доносителей) 18-го сентября 1809 года драки с одним желтопоясным или принадлежащим к царской крови, весь околодок сбежался на шум, то китайское правительство не оставило бы сего обстоятельства без внимания и списалось бы с Сенатом нашим, но до сих пор ни от кого и ни к кому не было доносов на Архимандрита Иакинфа. Утверждаясь на сем обстоятельстве, тем труднее поверить словам подчиненных, из коих один по имени Маркел Лавровский, сам замешан в предосудительном поведении, лености и распутстве. О вызове его в Россию Архимандрит представил Синоду, что известно Вашему Превосходительству из отношения моего от 10-го Генваря 1812 года № 47-й. Неудивительно, ежели два прочих ученика, составив партию, решились на вымысел к обиде начальника, думая тем ослабить к сему доверенность.

Время, впрочем, откроет истину, которую теперь за отдаленностию места исследовать нет способов.

Честь имею быть и пр…."

Пестель метал громы и молнии. Помнится, он ответил письмом, в котором сквозь привычно вежливые обороты так и прорывалась клокотавшая в нем ярость. Так и есть, вот оно, это письмо:

"…Я ничего более не могу сказать, как только сие, что ежели Вы, Милостивый Государь мой, не изволите признавать достоверными изветы учеников, то нельзя же сомневаться и в поведении Архимандрита, который по прежним дурным его поступкам в Иркутске должен всегда оставаться на особенном замечании; а потому и доверенность к нему высшего начальства, о каковой упоминаете Ваше Сиятельство в приведенном отношении, не иначе может быть к нему простираема, как с крайнею осторожиостню, по важности посга Архимандриту порученного…

Пребываю с совершенным почтением
Вашего Сиятельства
Покорнейший слуга
И. Б. Пестель
N 14
майя 23 дня
Спб Его Сиятельству

князю
А. Н. Голицыну".

Но князь превосходно понимал, что эта ярость объяснялась не только ревностию сибирского генерал-губернатора к добродетели.

До князя доходили слухи, что Пестель скорее всего сводит счеты со строптивым архимандритом, да и сам извет учеников миссии явился на свет божий едва ли без его участия. Иначе с чего бы обращаться им к сибирскому генерал-губернатору, в то время как их прямое начальство суть Синод и Азиатский департамент? Уж не намекнули ли ученикам, что ежели они пожалуются на своего начальника сибирскому генерал-губернатору, то жалоба сия не ляжет под сукно? А среди учеников, к Пекинской миссии причисленных, как стало известно князю, был брат одного из семинаристов, участвовавших в нападении на архимандрита в Иркутске и пострадавших весьма чувствительно из-за той памятной иркутской истории. Натурально, что он затаил злобу на архимандрита и искал случай дать ей выход.

Пестелю же не терпелось, по-видимому, отомстить отцу Иакинфу за письмо, которое тот, готовясь пересечь китайскую границу, отправил канцлеру. Это была одна из первых жалоб на всесильного сибирского генерал-губернатора. Отец Иакинф писал, что генерал-губернатор сделался грозою этого огромного и отдаленного края, преследует и предает суду именитых граждан, самопроизвольно ссылает без суда и следствия неугодных чиновников в отдаленные области за Байкалом…

Однако ж, по приезде в столицу для доклада, Пестель, войдя в доверенность к Аракчееву, не только не был наказан, но напротив, определен в Сенат, а потом даже назначен членом Государственного совета и отныне уже отсюда, из Петербурга, управлял своим обширным генерал-губернаторством. Проведав о жалобе пекинского архимандрита, он решил все тому выместить, видимо полагая, что ежели владеет, как собственной рукой, губернатором Трескиным в Иркутске, то эта властная рука может и до Пекина дотянуться.

Обо всем этом рассказали князю его доброхотные друзья в Сенате.

Да и сам Иван Борисович Пестель не вызывал в князе ни доверенности, ни расположения. Его коробило в Пестеле жестокосердие и корыстолюбие. Наихудшей же рекомендацией для Александра Николаевича служило благоволение к нему Аракчеева. Князь его терпеть не мог. Да и как же иначе? Этот

выскочка оказывал весьма дурное влияние на императора, всеми силами стремился подорвать его доверие к старому и испытанному другу государеву, каким с полным правом считал себя Александр Николаевич. В самом деле, дружили с отроческих лет, вместе росли и предавались юношеским шалостям, а потом вместе пристрастились к чтению Священного писания и замышляли великие предприятия — Библейское общество, Священный союз, мечтали об осуществлении царства божия на земле, яко на небе. Вместе, как-то неприметно для себя, и стареть начали. И вот теперь этот выскочка, этот невежественный капрал, плетет за его спиной интриги и делает все, чтобы оторвать от него государя! Доброта Александра Николаевича известна каждому. На одних только клевретов аракчеевских он ее не простирал. Вот оттого-то, получив тогда письмо от Пестеля и прознав к тому же обстоятельства, его вызвавшие, Александр Николаевич счел за благо положить эту жалобу под сукно и только посмеивался, когда до него доходили слухи, что Пестель, узнав о таком обороте дела, рвет и мечет.

А вскоре и у самого мстительного сибирского сатрапа дела обернулись весьма плачевно. То ли уж злодеяния его и сибирских его наместников перешли всякую меру, то ли какое неосторожное слово или слишком уж отважное предприятие, не согласованное с патроном, лишило его поддержки всесильной аракчеевской руки, только, как бы то ни было, карьере Ивана Борисовича пришел конец. Как-то вечером, приехав к князю на Фонтанку, государь сказал, что решил отстранить Пестеля, и спросил совета, кого бы назначить сибирским генерал-губернатором. Подумав, Александр Николаевич предложил определить на эту многотрудную должность опального Сперанского, который не раз уже просил вернуть его из Пензы. И, к немалому удивлению Александра Николаевича, государь без обычных колебаний тотчас согласился с этой рекомендацией.

И вот Пестеля нет. Но Пестеля нет, а Аракчеев остался. И по-прежнему плетет интриги. И как князю стало известно, вошел в сговор против него с первоприсутствующим в Синоде митрополитом Серафимом. Этого Александр Николаевич, по правде сказать, не ожидал.

Аракчеев, тот другое дело. Тот издавна завидует влиянию его, князя, на государя и из кожи лезет вон, чтобы подорвать исконное дружеское доверие к нему царя. Кажется, никто лучше Александра Николаевича не знал государя, но по временам и он не мог понять доверенности государевой к этому низкому человеку. Впрочем, такие люди, как Аракчеев, для царей сущая находка: преданность истинно собачья, исполнительность

капралья, никаких тебе сомнений и нежных чувствований. И ума ровно столько, сколько нужно для исправного исполнителя. А последнее время этот низкий, невежественный капрал и на просвещение норовит наложить свою лапу. Мало ему необъятной власти, какую он сосредоточил в своих руках во всех остальных отраслях правления! Князь, оглядываясь, с тревогой замечал порой, что остается один из старых приближенных императора. Одного за другим оттесняет Аракчеев от государя наиболее близких и преданных его друзей. А ведь они управляли важнейшими частями государства — финансовою, военною, духовною… Начал сей "бес лести", как называл про себя Аракчеева князь — ведь это надо же изобрести для своего герба такой девиз "Без лести предан"! — так начал он с министра финансов, графа Гурьева, который принужден был недавно отдать портфель министра ставленнику Аракчеева Канкрину. Не устоял затем и князь Петр Михайлович Волконский, уступивший пост начальника Главного штаба генерал-лейтенанту Дибичу, возмечтавшему теперь о фельдмаршальских эполетах. "Уж не мой ли ныне черед? — подумал Александр Николаевич. — От этой бестии всего ждать можно". Вот скончался в прошлом году митрополит Михаил. Голицын рекомендовал на его место епископа Тверского и Ярославского Филарета, оставшегося по смерти Михаила старшим членом в Синоде. Но, как это ни огорчительно, государь, вернувшись с конгресса, не внял его совету, а послушался Аракчеева, который добился, что из Москвы был вытребован тамошний митрополит Серафим. А разве того можно сравнить с Филаретом, блестящим проповедником и глубоким богословом? Серафим же человек ума ограниченного, учености недальней, отчаянный ретроград. Про себя Голицын называл его не иначе как мокрой курицей. А знал он Серафима давно.

Еще в 1799 году, будучи архимандритом, Серафим был вызван из Москвы и должен был сказать проповедь в присутствии императора Павла. Собрались все в Петропавловском соборе (Голицын был тогда камергер), Серафим в торжественном облачении вышел из алтаря для произнесения проповеди, но до того растерялся, что и двух слов связать не мог и, как мальчишка, убежал в алтарь. Павел разгневался и тут же приказал ему немедленно убираться обратно в Москву.

И вот эту-то "мокрую курицу" Аракчеев убедил государя предпочесть высокообразованному и даровитому Филарету! А приехал митрополит Серафим в столицу и тотчас же повел борьбу противу министра духовных дел и народного просвещения. Ну уж тут без поддержки и даже без подсказки Аракчеева не обошлось.

Новый митрополит Новгородский и Санкт-Петербургский, видите ли, никак не может примириться с тем, что первенство в делах духовных принадлежит не ему, а человеку светскому, по его мнению, совсем не разбирающемуся в тонкостях православного исповедания!

Все эти мысли и воспоминания проносились в голове Александра Николаевича, когда он читал решение Синода "поручить синодальному члену митрополиту Серафиму исследование о злоупотреблениях и развратном поведении архимандрита Иакинфа и других членов миссии".

Нет, ни в коем случае нельзя поручать это Серафиму!

Очень уж он дотошен, примется рыться в делах, и уж, конечно, извлекут ему из старых бумаг и извет учеников миссии, и его, князя, переписку с Пестелем. Эдакая благодатная материя! Князь Голицын потворствовал распутству пекинского архимандрита! Не внял предостережению такой важной особы, как сибирский генерал-губернатор!.. Укрыл совершившего столь предосудительные поступки архимандрита от заслуженной кары! Да как же не воспользоваться таким вожделенным предлогом в борьбе с ненавистным притеснителем!

А тут на тебе — и архимандрит Петр подтверждает все обвинения, которые возводились на отца Иакинфа. Да еще и новые присовокупляет! Оказывается, отец архимандрит более двенадцати лет не служил в храме божием и даже в присутствии отца Петра ко святому кресту прикладывался ниже святого распятия! Подумать только — какое вопиющее нарушение православных установлений! И понятно, что министр духовных дел ему потворствует, — ведь князь сам больше печется о каком-то там истинном учении Христа, нежели о строгом соблюдении внешней обрядности!

И хотя, как следует из доноса отца Петра, большая часть прегрешений касается не самого архимандрита Иакинфа, а лиц из его свиты, но он все же не осуществлял, видимо, над ними надлежащего надзора. Более того, "начальник в приятной беспечности с своей компанией нередко от таких мелких хлопот удалялся в горы Сишань — и там жил по пятнадцать дней. По истине нещастная сия свита, — пишет отец Петр, — горького оплакивания предостойна".

И среди новых против извета учеников прегрешений — крещение китайского принца и его молодой жены, которое не имело, по словам отца Петра, никаких духовных видов. Что он там про сие пишет? "Молодая принца жена крещена и, к великому бесчестию священства, от мужа коварно и тайно сманена бездельником отцом ее и препровождена в русский дом — к

начальнику миссии… Это дело, по моему мнению, одно из важнейших. Принц, хотя пребеден, но царской крови, коя таких смешений не терпит — всякому подданному за такую дерзость отрубят голову. Да и присоединение его к нашей вере для миссии весьма опасно — скрыть сего нельзя, ибо ходит он и его сын в знаке принца в церковь, и если откроется, то можно ожидать даже высылки всей миссии".

Правда, все это архимандрит Петр пишет с чьих-то слов. Тут же в конце извета он вынужден признать: "Последние три-четыре года заставлены опомниться. Заставлены приняться за труды и подлинно, как Лутром, гулять — так гулять до безумия, а когда принялся за труды, так и сими удивил многих… Архимандрит Иакинф острого ума — ко многому по истине способен — но добрых склонностей и даже, кажется, стыда и совести ни следа не видно. Для него вера, отечество, родство, долг ближнего, смерть — пустые имена. Для него одни сладострастия составляют блаженство. Он был в Пекине, но и в Иркутске содержит на своем иждивении какую-то польку Татьяну. Иркутск весь знает, — да и сам он постыдным делом не признает, — ей выдается чрез купца Осташева пенсия. Она писала к нему в Пекин — и дожидается его, как ей принадлежавшего".

Нет, если хоть частица того, что здесь написано, правда, видит бог, это ужасно.

Ну как же можно доверить исследование сего дела Серафиму!

"Да ведь все можно представить так, что я это умышленно покрывал столько лет!" — воскликнул Александр Николаевич.

Митрополит Серафим и вся его братия ловят каждое его, князя, неосторожное слово, берут на заметку каждый его опрометчивый поступок. Намедни вот зашла речь о преобладании в России черного духовенства и о том, что у нас даже самый сан епископский издавна доступен только монашествующим, и Александр Николаевич, между прочим, отозвался, что, наверно, какой-нибудь пьяный патриарх установил это. И сказано-то это было в самом узком кругу. А вот ведь тотчас же стало известно Серафиму. Он тут же возвестил, что князь Голицын подкапывается, видите ли, под самые устои православной церкви. Так разве ж он упустит такой блестящий случай — ну как же, подумать только: министр духовных дел потворствует блудодействию монашествующей особы в столице чужестранной! А ежели доложить о том государю? Его величество и всегда-то был брезглив. А теперь, когда он впал в набожность, привечает у себя в Зимнем и на Каменном острове каких-то умоповрежденных старцев, часами беседует с ними, целует им руки, — и подавно. Нет, надобно непременно изъять это дело у Серафима и передать

его суждению… ну, скажем… консистории. Да, да, именно консистории! Как это раньше не пришло ему в голову! Все-таки подальше от митрополичьего глаза.

Князь захлопнул папку, поднялся из-за стола и, взбив кверху кончиками пальцев скудные волосы над ушами, подошел к окну. Красное морозное солнце зажгло малиновый блик на шпиле Михайловского замка по ту сторону Фонтанки, бросило розоватый отсвет на облохмаченные инеем деревья вокруг последнего пристанища несчастного деспота.

Через несколько дней, тринадцатого марта тысяча восемьсот двадцать второго года, Александр Николаевич сообщил Святейшему правительствующему Синоду, что он имел счастие докладывать заключение Синода на высочайшее усмотрение и его императорское величество высочайше повелеть соизволил: "Тех лиц прежней миссии, кои по следствию, сделанному в Пекине Архимандритом Петром, найдены виновными, предать суждению Петербургской духовной консистории на основании законов и о решении сего дела представить Его Величеству".

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

I

А отец Иакинф тем временем шагал по келье из угла в угол. Хорошо хоть келья-то была поместительная и можно было ходить, не натыкаясь на стены. Вот ведь какая нелепица! И некому слова сказать, некому принесть жалобу. Никто не хочет его даже выслушать.

До высокопреосвященного Серафима и вообще добраться немыслимо. А ведь он не только митрополит Новгородский и Санкт-Петербургский и первоприсутствующий в Синоде, но и архимандрит Александро-Невской лавры. Казалось бы, уж кому, как не ему, принять опального архимандрита и выслушать. Но это не Амвросий.

Попробовал снестись с наместником Серафима в лавре — архимандритом Товием. Тот отозвался, что это все дело высшего начальства, а ему, Товию, препоручено лишь осуществлять строгий надзор за архимандритом и его свитой.

И вот вместо доверительной беседы ему прислали "Вопросные пункты, сочиненные в Санкт-Петербургской консистории из доноса бывших учеников Пекинской духовной миссии, а также из донесения архимандрита Петра и его примечаний, сделанных в

Пекине".

Боже мой, в чем его только не обвиняли! Подумать страшно.

Теперь ему стали понятны странные вопросы, которые задавал в Пекине архимандрит Петр, шушуканья за его спиной с членами его миссии и особливо с иеромонахом Аркадием. Видимо уже предубежденный против него, Иакинфа, архимандрит Петр допрашивал его подчиненных с пристрастием, и те, встретив лицемерное внимание и участие, изливали ему все обиды, накопившиеся за четырнадцать лет, на своего начальника. А уж он, Иакинф, спуску им не давал — все пытался наставить на путь истинный. Да и как же иначе. Ведь кого только не было в свите, которую он был вынужден принять под свое начало у архимандрита Аполлоса! Посылали людей в далекий Пекин, видимо, потому, что никакие исправительные меры попечительного начальства тут, в отечестве, на них не действовали. Вот и стегал плеткой Аркадия, и сажал на железную цепь иеродиакона Нектария, когда уж все средства увещевания были исчерпаны и того обуял дух буйства. И студентам доставалось от него под горячую руку.

Судя по вопросным пунктам, можно было себе представить, чего они только не наплели там, в своем извете! Но полноте, да уж не сочинил ли все это высланный им из Пекина Маркел Лавровский. Было просто невероятно, что всю эту несусветную клевету отважились написать ученики, остававшиеся на долгие годы в его подчинении. Весь извет густо замешен на лжи, самой бессовестной, хотя попадались в нем и крупицы правды. Но это-то и особенно опасно. Ложь становится вероподобной и убедительной, когда ее искусно перемешивают с правдой.

Да, носился на пути в Пекин с ружьем за сернами. И как скрашивала их однообразный стол поджаренная на костре козлятина, с каким удовольствием уплетали ее все за обе щеки! И вот ведь не постыдились начать с этого свои обвинения! Да, случилось так, что сбросила его лошадь, испугавшаяся вдруг выскочившего из ущелья барса. А его спрашивают: "Допущали ли себя, будучи на верховой лошади, до того, что, увязавшись ногою в стременах, были таскаемы по полю, и слухи, дошедшие о сем до Пекина прежде прибытия вашего в оную китайскую столицу, сретили вас тамо стыдом и поношением, как сказано о сем доносителями?" А вот это уже ложь, и злосовестная! И ехал он тогда один, я доносители были от него не менее как верстах в восьми, и он же сам, соединясь с отставшим караваном, со смехом рассказал о случившемся с ним приключении. И конечно же, никаких слухов о том до Пекина не доносилось. Ну что ж, так и напишем! И, обмакнув перо, наконец выданное ему для ответов

на вопросные пункты, он написал жирно и четко: "…О таковом случившемся с ним, архимандритом, никаких слухов до Пекина не доходило, и никто там не встретил его, архимандрита, стыдом и поношением, а приехали в оную столицу, а потом и в монастырь, спокойно".

И так, стараясь скрыть раздражение, хотя оно нет-нет да и прорывалось, он отвечал на каждый вопросный пункт. А их было сорок семь! Один пространнее другого. И в каждом, правдоподобности ради, стояли даты, часы, чуть ли не минуты!

"…Того же Генваря 21-го числа (1811 года), бывши в субботу, в 4 часа пополудни, иеромонах Серафим, отъезжавши в 12 часов в вашей телеге в театр, привез ли оттуда двух театральщиков, одного из них для вас, а другого для себя, и были ли они угощаемы столом и келье Серафима? — принялся он за четырнадцатый пункт. — А вечером у парадного вашего крыльца горели ли разные потешные огни, и был ли дан такой фейерверк, что от множества ракет, взлетавших на воздух, не много не сожжен был монастырь и все российское подворье? По поводу сего происшествия приезжал ли на другой день г. Бау, и угрожал ли, что есть ли впредь будут делаться такие веселости, состоянию духовному совершенно неизвинительные, то правительство китайское едва ли упустит без особенного внимания?"

Отец Иакинф обмакнул перо и, разбрызгивая чернила, отвечал: "…У парадного крыльца тех покоев, которые занимал он, архимандрит, не только 21-го числа Генваря, но и в другое время всей бытности своей в Пекине, потешные огни не горели, и сим он, архимандрит, не занимался… и следовательно монастырскому подворью и сгореть было не от чего, и никогда ни монастырь, ни подворье ни от каких случаев до пожара не доходили. Случилось же в том, 811-м году видеть ему, архимандриту, потешные китайские огни у племянника китайского императора, князя Юня Бэйло, по приглашению его, и смотрел будучи не один, а со всею своею свитою, из приготовленной для них особенной палатки, в которой и угощали их всех чиновники того князя… А по окончании тех огней, горевших в княжеском саду, препровожден был он, архимандрит, и вся его свита в свой монастырь на верховых лошадях и с фонарями по тамошнему обыкновению… Следовательно чиновник Бао на другой день после 21-го числа Генваря к нему, архимандриту, не приезжал и потому от него ничего того, что в 14-м вопросном пункте на щет его, архимандрита, написано, говорено не было…"

Как ни раздражало это занятие, приходилось с такой же обстоятельностью отвечать на каждый вопросным пункт.

Не меньшее раздражение вызывали в нем вопросные пункты, составленные по извету отца Петра.

"…По подтверждении о. архимандритом Петром справедливости донесений бывшего Сибирского Генерал-губернатора Ивана Борисовича Пестеля, и далекой неполноты оных донесений… вы ли и другие из сочленов ваших по бывшей Миссии почитали за обыкновенные дела: воровство, святотатство, разные блудодеяния, буйства… ибо, как известил отец архимандрит Петр в своих примечаниях: во время ночи вся казна тайно вывозилась со двора; во время ночи похищена была всемилостивейше пожалованная в 1805-м году полная золотой парчи ризница, полициею уже возвращенная; серебряный потир с лжицею; ложки серебряные; для употребления кутьи находящаяся новая лжица; 4-го No по описи стихарь с орарем, из сих вещей орарь со Святыми на нем крестами отыскан в непотребном доме на непотребной женщине вместо исподней опояски?"

Ну как отвечать на такие вопросы, где опять же ложь и правда так густо перемешаны, что невозможно и отделить одну от другой? Его не покидало ощущение, что занят он делом бессмысленным. Разве можно убедить в чем-нибудь его невидимых судей, которые не снисходят даже до того, чтобы его просто выслушать? Господи, научи мя оправданиям твоим!

Хорошо бы закурить. Но и сигары, и табак изъяты. Иакинф погрыз перо, походил по келье, потом присел к столу, поправил пламя свечи, и принялся писать, все с тон же обстоятельностью:

"Чтобы он, архимандрит Иакинф, исчисленное в сем 23-м пункте почитал за обыкновенные дела, сего без ужаса и удивления и в мысль себе представить не может, и ни за кем из бывшей при нем свиты никогда того не заметил. Денежная казна, состоящая из серебра, ни тайно, ни явно, ни денною, ни ночною порою, никогда со двора монастырского не вывозилась. Что же касается похищения ризницы и утвари церковной, показанного в сем 23-м вопросном пункте, о сем он, архимандрит Иакинф, письменным отношением известил отца архимандрита Петра при здаче ему Пекинского монастыря с имуществом и наличною церковною утварью и ризницею, что все те вещи, похищенные вместе с другими, после отысканными, похитил бывший в прежней Миссии церковник Константин Пальмовский и он же, Пальмовский, орарь подарил непотребной женщине китайке, у которой после выкуплен сей орарь причетником той же Миссии Василием Яфицким и им же, Яфицким, сожжен в монастыре и пепел зарыт в землю; а похититель Пальмовский за такое святотатство выселен им, архимандритом, из Китая в Иркутск к суждению при отношениях к Иркутскому Преосвященному и

Гражданскому Губернатору, под препровождением, по китайскому обыкновению, пекинского офицера, которому препоручены были как те отношения, так и рапорты в Святейший Синод и в Иностранную коллегию, каковых бумаг сей китайский офицер пограничному в Кяхте комиссару не сдал, а сдал только одного Пальмовского; те же бумаги его, архимандрита, о Пальмовском офицером ли утрачены, или Пальмовским у него выкрадены, сего он, архимандрит, не знает. Таковою несдачею бумаг китайским офицером Пальмовский, избежавший суда, сделан в Кяхте переводчиком маньчжурского и китайского языка, но ныне и там его нет уже".

Уф! Надобно передохнуть. Рука устала писать эти глупости! Вот уж который день он строчит ответы на эти пространнейшие "Вопросные пункты", а им и конца нет! И это вместо того, чтобы заниматься настоящим делом. Ведь столько надобно сделать. Такую обширнейшую программу он себе наметил! Но отобрали книги и рукописи, бумагу выдают только для ответов на вопросные пункты и строго по счету.

Мочи нет больше! Вся кровь в жилах в желчь обращается. И все существо охватывает властное, неодолимое желание бежать. Бежать, куда глаза глядят. Только бы скрыться где-нибудь. Самые стены лаврские ему ненавистны! Да куда скроешься? Без паспорта, без вида на жительство и шагу не ступишь. Человек без бумаги — нуль! Бежать на Дон, как в старину вольные запорожские казаки бегали? Да уж без сожаленья променял бы он свой монашеский клобук на казачью шапку, опостылевшее свое иночество — на вольную жизнь казачью. А что, усмехнулся Иакинф, и впрямь не такой бы уж худой казак из меня вышел. Куда лучше, нежели инок!

По самому характеру своему он не был монахом, он хотел жить широко и вольно — во все стороны. А тут узкая келья, огромный рыжебородый детина у двери и высокая лаврская ограда, отрезающая его от всего мира.

Бежать? А что делать с книгами? С рукописями? С набросками переводов, словарей, исследований? Отказаться от всех своих планов, выношенных за целую жизнь? И потом, открыть пером своим всему миру целые обширные страны азиатские — разве это не меньше, нежели прорубить казачьей саблей путь в какой-нибудь дикий, неведомый край? Да и остались ли на всем обширном материке азиатском края, еще не открытые нашими землепроходцами?

Но до чего же опостылело все это монашье лицемерие, кичливая надменность лаврских любочестивых святош! Его бог знает в чем обвиняют, а сами-то неисправимые запивашки. С кем

ни поговоришь — на устах слова постные, а языком с губ скоромную думку слизывают.

Архимандрит, которому наконец поручили в консистории вести следствие, был человек пожилых, хотя и неопределенных лет, небольшого роста и медленного соображения. Лицо у этого постного черноризого человечка было покрыто сеткой мелких морщин, которые оставляют обычно суетные заботы, страх перед начальством, мелочные, но неотступные невзгоды. Вел он следствие с неукоснительной дотошностью, не оставлял без внимания ни одного самомалейшего пункта бесчисленных нелепых обвинений, был так мелочно придирчив, что, проведя с ним с глазу на глаз несколько часов кряду, отец Иакинф, хоть дело и касалось его собственной судьбы, всей его дальнейшей жизни, оказывался во власти какой-то непреоборимой скуки, которая обволакивала, будто серая липкая паутина, и он не мог дождаться минуты, когда его наконец отпустят в келью и он опять останется один.

Уж лучше одиночество, нежели общество этого благочестивого педанта, который задавал ему всё новые и новые вопросы, уточняющие ответы на "Вопросные пункты", с каким-то мертвым безразличием, с бесстрастием наторелого в консисторских "исследованиях" дознавателя.

Да уж лучше до изнеможения шагать по келье и, подобно Лао-цзы, созерцать мир, не переступая порога хижины, нежели всечасно держать себя в узде, чтобы не сорваться и не наговорить лишнего этому бессердечному жрецу Фемиды в архимандричьей рясе.

II

Привыкаешь ко всему, со всем человек может сжиться. Постепенно сживался он и с одиночеством, и с неизвестностью. Вот уж скоро год, как тянется следствие, а конца ему и не видно.

Иакинф целые дни шагал и шагал по келье. Это равномерное кружение мало-помалу утишало страдание, укрощало душевную муку. И помимо воли перед ним проходила вся его жизнь — мечтания далекого детства, увлечения юности и первых лет мужества, ошибки, разочарования, нелепые личности с духовным и светским начальством, открытие далекого неведомого мира, постепенное осознание своего предназначения. Но может быть, только теперь, в этой уединенной келье, он с особой отчетливостью понял настоящий смысл того долгого времени, которое провел он в чужеземной столице. Сквозь заблуждения и соблазны первых пекинских лет, когда ему казалось, что нет

ничего глупее, чем пренебрегать настоящим в угоду какому-то неопределенному будущему, когда он весь отдавался неукротимому, жадному устремлению пропустить через свое сердце и свой разум все, чем влекла его пестрая и непривычная жизнь пекинская, когда ничего ему не хотелось откладывать на завтра — ведь этого завтра может и не быть, — он постепенно приходил к твердому убеждению, что вся его предыдущая жизнь, такая сложная и порой такая нелепая, была лишь вступлением к жизни настоящей и, хотя ему уже сорок пять, эта настоящая жизнь не только не прошла, но вопреки очевидности еще и не наступила. Впереди не продолжение жизни, а ее подлинное начало. И ему не терпелось начать эту настоящую жизнь.

Это, разумеется, вовсе не означало, что он намерен отказаться от всего, что прожил, чем дорожил в былые времена. Нет, ему не хотелось отказываться даже от воспоминаний, которые он волочил за собой. Да, он нз уклонялся от соблазнов, не страшился наделать ошибок. И его не грызут сожаленья. Ведь ошибаться — значит познавать. Значит, ошибки неизбежны. Как же иначе изведаешь, что такое жизнь?

Никогда еще не было у него столько свободного, ни чем не заполненного времени, как теперь. Оторванный от всего, чем был поглощен прежде, — от управления монастырем, от надзора за беспокойной своей братией, от встреч с китайцами и католическими миссионерами, от ученых своих упражнений, от всех каждодневных забот и треволнении, — он невольно стал задумываться, зачем дана ему эта жизнь.

Обычно человек отмахивается от этих вопросов, ему просто недосуг предаваться таким размышлениям. А нет ничего хуже, нежели жизнь в сутолоке каждодневности, в плену суетных забот, когда человеку некогда оглянуться, подумать, зачем он живет, куда идет. А ведь так живет большинство. Живет без оглядки, живет кое-как, день да ночь — сутки прочь. Да собственно, и не живет, а попросту изживает свою жизнь, единственную, которая ему дана. Но как страшно прожить такую жизнь и, расставаясь с нею, вдруг ужаснуться: а зачем ты ее прожил? Нет, он не хочет, да и не имеет права прожить такую "случайную" жизнь, которую определит не он, а обстоятельства.

Он хочет прожить ее по-своему, ему есть зачем ее прожить, есть что сказать своим по жизни сопутникам. Сказать и сделать что-то такое, чего никто другой за него сказать и сделать не может.

III

Иакинф все добивался встречи с кем-нибудь из духовного начальства — и безуспешно. Только раз, уже летом, вызвал его в лаврские свои кельи митрополит Серафим.

Встреча была короткой и более чем холодной. Отец Иакинф провел почти полтора десятка лет вдали от отечества, не имея над собой начальства, ни духовного, ни светского, привык к независимости. Ему и в голову не пришло величать митрополита "святейшеством", как тут принято, пасть ниц пред владыкой, преклонить перед ним колени, кинуться целовать руки, униженно вымаливая пощады, как это сделал, по его собственному признанию, иеромонах Аркадий при первом же свидании с архипастырем. "А что мне стоит? — говорил он. — Шея не отсохнет, поясница не переломится".

Но Иакинф не внял предуведомлению своего бывшего подопечного. В митрополичьи кельи вошел, гордо неся голову, исполненный чувства собственного достоинства, и лишь слегка склонил чело, подходя под архипастырское благословение. Митрополит Серафим не привык к такому обхождению. Он величественно восседал в покойных креслах, в белом митрополичьем клобуке, украшенном высочайше пожалованным бриллиантовым крестом, со множеством орденов на роскошной темно-гранатовой рясе, хотя и принимал Иакинфа в домашних покоях. Впрочем, может быть, преосвященный только что вернулся из Синода и не успел еще переоблачиться?

Невольно пришло сравнение митрополита с монгольским хутухтой, почитаемым живым буддой. Но ежели тот верит в свое божественное происхождение, то отчего бы и нашему митрополиту не уверовать в свое "святейшество". Ведь он шагу не ступит, чтобы кто-то не бросился к нему с поклоном, руки не протянет, чтобы кто-нибудь ее не облобызал, слова не промолвит, чтобы не услышать шепота восхищения. Все ему служат и прислуживаются, жаждут от владыки "ласки", готовы по первому его знаку броситься исполнять любое его желание.

А тут вдруг является строптивый архимандрит, который не снисходит, видите ли, до того, чтобы преклонить колени пред высокопреосвященной особой, и удовольствуется эдаким легким поклонцем.

На вопросы митрополита Иакинф отвечал коротко и все пытался увести разговор от предъявленных ему обвинений и обратить его к ученым своим трудам. Ведь митрополит как-никак доктор богословия, перевел на русский язык Евангелие и Псалтырь, а впрочем, может быть, просто украсил перевод своим именем? Но ученые упражнения пекинского архимандрита не вызвали у владыки ни малейшего интереса.

— На что нам новые книги-то твои, коими ты надумал отечество осчастливить? — говорил митрополит, поджимая губы. — И тех, что есть, девать некуда. Да и сколько человек за свою жизнь прочесть может?

— Дозвольте заметить, ваше высокопреосвященство, я имею в виду не столько собственные свои сочинения, сколько переводы древнейших книг китайских, кои позволят нам по-новому понять важнейшие обстоятельства в жизни сопредельных нам народов…

— Все, что надобно знать, давно уже написано. А все остальные книги, будь моя воля, я бы попросту сжег. И сразу б дышать стало легче. А то новые издавать! Да еще с сего языка тарабарского! На что нам чужая ученость языческая? Нет, брате! Надобно устремлять помыслы к тому, чтоб наполнить души свои премудростью божией, а не искать откровений в трудах языческих. Недаром и Священном писании сказано: кто умножает познания, умножает скорбь!

Владыка, видимо хорошо знакомый с составом обвинения, требовал новых уточнений, чего Иакинф никак не ожидал и что казалось ему неприличествующим самому сану митрополита. Чувствуя себя правым, он отвечал резко и коротко, с трудом подавляя раздражение.

Впрочем, задав несколько вопросов касательно китайской принцессы, иркутской Татьяны и ее письма, обнаруженного в бумагах Иакинфа, Маркушки, которого он называл не иначе, как постельным мальчиком, митрополит и вовсе перестал спрашивать и принялся обличать. Он был грозен и неумолим.

Иакинф стоял перед ним (митрополит за все время аудиенции так и не удостоил его приглашения сесть) и с каким-то нескрываемым сожалением смотрел на грозного владыку. Впрочем, тот совсем не был так страшен, как рисовал его Аркадий, видимо, с перепугу. Не был он ни высок ростом (никак не выше Иакинфа), ни черен волосом. Скорее был даже благообразен, недаром, видимо, при пострижении нарекли его Серафимом.

— Ну, на что это похоже? — гремел в просторных кельях митрополичьих его голос. — Тебе было препоручено свыше нести в страну языческую слово божие, а ты… А ты омрачил ум свой сатанинской гордостию. Сам уклонился от правил отечественный веры своя. Подумать только: с восемьсот четырнадцатого года удалял себя от причастия тела и крови господней! Да какой же ты после этого блюститель веры и строитель таинств Христовых! Ты же содеял себя мертвым по изречению самого Христа, Спасителя нашего: "Аще кто не яст тела моего и не пиет крови моея, живота не имать в себе…"

— Ваше преосвященство, — вставлял время от времени Иакинф. — Дозвольте мне слово сказать. — Но это еще больше разжигало ярость владыки.

— Не дозволю!.. — кричал он.

С далеких семинарских лет никто еще не отчитывал Иакннфа так — будто провинившегося мальчишку. Он стоял, опустив голову, и больше уже не пытался прерывать гневные филиппики все более распалявшегося митрополита.

— Боже святый! — говорил между тем митрополит Серафим. — С твоим-то умом да образованием довести миссию до толико жалкого, поистине оплакивания достойного, положения!

Увещевая опального архимандрита, митрополит то и дело поглядывал в сторону, как бы ища у кого-то сочувствия.

Только сейчас, проследив за его взглядом, Иакинф заметил, что они не одни. В углу у самого окна сидел какой-то совсем еще молодой монах с худым, исступленным лицом, с большими, будто подернутыми поволокой голубыми глазами. Они то метались из стороны в сторону, то застывали, уставившись на Иакинфа, и тогда взгляд их из-под надвинутого на самые брови клобука казался каким-то диким. Вполуха слушая Серафима, Иакинф задавался вопросом: кто такой этот молодой монах?

— Вот с кого пример брать надобно, — повернулся в его сторону Серафим, — с сего юного старца. Только что с высочайшего соизволения сей благочестивый инок утвержден Святейшим Синодом настоятелем Юрьева монастыря в Новгороде.

Так вот, оказывается, кто это — архимандрит Фотий, новая восходящая звезда на православном небосклоне. Иакинф слышал: уже третий месяц живет в Петербурге в качестве личного гостя митрополита этот прославившийся грозными обличениями и самоистязаниями изувер и фанатик.

Чего только не рассказывали в лавре о его крамольных проповедях, о неожиданной опале и столь же стремительном возвышении, о каких-то таинственных связях худосочного монашка с графиней Орловой-Чесменской, унаследовавшей несметные сокровища своего знаменитого отца и щедро одаривающей архимандрита Фотия и его обитель.

Так ни с чем и ушел Иакинф от митрополита. Выслушал ого архипастырские увещевания, а о том, чтобы ему вернули книги и рукописи, и слова не успел вымолвить, да и чувствовал — все равно бесполезно.

IV

Недаром говорится: не имей сто рублей… Но и ста друзей не надобно, ежели есть один, готовый помочь тебе бескорыстно.

Вечером к нему в келью пробрался милейший Егор Федорович Тимковский и с ободряющей вестью — завтра его примет министр духовных дел и народного просвещения князь Александр Николаевич Голицын.

Вот это удача! Может быть, с помощью князя вызволит он наконец свои книги и рукописи.

На следующий день, к одиннадцати часам, он и впрямь был приглашен к князю. Сопровождать его в княжеские покои на Фонтанке поехал сам наместник архимандрит Товий.

Первый раз за последние полгода Иакинф переступил лаврскую ограду. Мягко покачивалась наместническая карета, запряженная четверней цугом, звонко цокали копыта по ровным булыжникам Невского… Да, это не выщербленные столетиями древние плиты пекинские.

— Будь с ним попочтительней, отец архимандрит, — наставлял Иакинфа наместник. — Ведь докладывать-то дело твое на высочайшее усмотрение будет именно князь. Все дела, касающиеся Синода и православной церкви, государю министр духовных дел докладывает. И ты сам должен разуметь, каково бы там ни было определение Синода, а ведь много от того зависит, как доложить его императорскому величеству.

Иакинфу и самому не раз приходило в голову: надо б найти какой-нибудь путь к князю. И вот он едет к нему. А по словам Тимковских, князь — старый государев друг. С отроческих лет. Еще бабка, Екатерина, женив любимого внука в шестнадцать лет и устроив ему что-то вроде маленького двора, определила к нему и Голицына. Тот был произведен из пажей в камер-юнкеры, а потом и в камергеры. Так что еще с тех далеких лет связывает их тесная дружба.

О том же говорил по дороге и архимандрит Товий.

— Это ты, отец Иакинф, возьми в рассуждение: князь очень близок к особе государя императора, и его величество зело с ним считается… Вот и дом сей, — кивнул он на особняк, к которому они подъезжали, — князю государь пожаловал и частенько сюда приезжать изволит.

Представив князю пекинского архимандрита, Товий удалился, и Иакинф остался наедине с министром в его обширном кабинете. Это была большая высокая зала, увешанная от потолка до пола прекрасными копиями прославленных икон Иисусовых, какие можно только сыскать в христианских церквах во всей Европе. Иакинф чувствовал себя немного не по себе: куда

бы он ни обернулся, на него пристально смотрели глаза Спасителя.

Заставив себя оторваться от скорбных очей Христовых, Иакинф с любопытством посмотрел на князя, о котором столько слышал и от Тимковских, и от монашествующих обитателей лавры. От слухов про свару между министром духовных дел и митрополитом Серафимом гудела лавра. Так вот он, православный "папа" и старинный государев друг — маленький, кругленький, с остатками вьющихся волос, зачесанных, как и у государя, вверх на плешивую маковку. Глаза внимательные и добрые, лицо в мягких морщинах.

Князь на какой-то миг заколебался, как ему встретить пекинского архимандрита. По сану его следовало бы подойти под благословение, но ведь архимандрит под следствием консисторским, а он, князь, — глава духовного ведомства. И опять же: как его титуловать — "ваше высокопреподобие" или "преосвященство", как титулуют обычно первоклассных архимандритов, или просто "отец архимандрит" или даже "отец Иакинф"… Тень сомнения мелькнула и исчезла на лице князя. Иакинфу даже показалось, что мягкие морщины у него как бы отвердели.

— Садитесь, прошу вас, отец архимандрит, — проговорил князь, указывая широким жестом на кресла, стоящие поодаль от письменного стола, и сам опустился в одно из них.

Князь, в свою очередь, с живейшим интересом разглядывал опального архимандрита. За долгую службу обер-прокурором Святейшего Синода, а теперь и министром духовных дел и народного просвещения, ему сотни раз приходилось беседовать с монашествующими и вообще духовными лицами различных рангов — от простого монаха и приходского священника до митрополита. Странное это все же сословие.

Ни в одном другом не переплетается так причудливо властолюбие и угодничество, неограниченный деспотизм к подчиненным и самое нижайшее повиновение и искательство в отношении духовного своего начальства — игумена, архимандрита, наипаче архиерея, о митрополите уж и говорить нечего. Каждый монах помнит, должно быть, слова Василия Великого: "Лучше бо есть богу согрешити, нежели единому от сих". Этот пиетет они простирают и на него, князя, как министра духовных дел, поставленного монаршею волею во главе православной церкви. Любой, самый властолюбивый и деспотический в своей епархии архиерей в отношениях с ним готов был проявить смиренномудрие, безропотно снести унижения и укоризны, даже отяготительные. А сей пекинский

архимандрит, проведя полтора десятка лет в государстве чужеземном, видно, отвык от этих обыкновений. Митрополит Серафим жаловался на его своенравие. Да и сам князь видит, с каким достоинством держится этот странный монах, и весь он похож на вольную птицу, залетевшую сюда, в стаю монастырских ворон и галок, из каких-то далеких, неведомых краев. Князь превосходно понимал, как нелегко вырваться из пут предрассудков и условностей, обволакивающих людей одного и того же сословия. И ему, пожалуй, было даже по душе это отсутствие привычной униженности, эта немного дерзкая независимость.

Лицо у архимандрита было задумчиво, в нем отчетливо виделся след пережитого. Он был бледен, большие, карие, чуть косо прорезанные глаза необычайно выразительны. Высок и строен, и ни малейшего намека на полноту, и выглядит много моложе своих лет. "Да он совсем не производит впечатления истасканного грешника, — подумал князь. — На лице и во всем облике не видно и следа пороков, которые ему приписывают".

— Я пригласил вас, отец архимандрит, чтобы познакомиться и побеседовать.

— Покорнейше благодарю, князь, — проговорил Иакинф, слегка склонив голову.

— Следствие по вашему делу, коим по высочайшему повелению ведает Петербургская консистория, подходит к концу, и я хотел бы знать, не желаете ли вы сделать каких-либо пояснений.

— Но, право, князь, какие же могут быть еще пояснения? "Вопросные пункты", кои были сочинены в консистории, толико пространны, отвечать на них я был принужден столь обстоятельно, что тут уж добавлять больше нечего.

Князь ждал оправданий, покаяния, мольбы о снисхождении, может быть, даже жалоб на произвол синодального начальства. Ничего подобного. Держался архимандрит с завидным самообладанием. Нет, он, видимо, не собирался оправдываться.

— Да, мне известно, князь, что дело сие представлено на благоусмотрение вашего сиятельства. Льщу себя надеждой, что ваша проницательность легко позволит вам отделить ложь от истины, ухищрения от правды.

— Можете рассчитывать на мое беспристрастие.

— Верю, князь, вы не станете сочувствовать мести и злобе, восставших на меня.

— Вы говорите о мести и злобе. Откуда?

— Мне и самому казалось невероятным, что у меня могут быть враги и недоброжелатели. Живя вдали от отечества,

поглощенный своими учеными упражнениями, я и не подозревал сего. А оказывается, целые десять лет беспокойное мщение изыскивало способы помрачить меня, корпело над сплетением изветов, восхищалось, когда удавалось навести на меня мрачные оттенки подозрения.

— И вы знаете источник этой мести и злобы?

— Изволите ли видеть, князь, силы, действовавшие противу меня, я уподобил бы потаенному самострелу. Ежели и нельзя видеть орудие, мечущее стрелы, то можно все-таки приметить, откуда они на тебя сыплются. — Архимандрит смотрел навстречу князю открыто и прямо. — Я полагаю, что причины мести, изливаемой на меня в толико же ложных, колико и неблагопристойных чертах, относятся к тайнам политическим и вам, князь, хорошо известны.

— Вы имеете в виду вашу жалобу на господина Пестеля?

— Совершенно справедливо. Конечно, господину Пестелю, человеку столь близкому к правительству, нетрудно было оправдаться противу обвинений какого-то безвестного архимандрита. Особливо, ежели тот за тридевять земель, в тридесятом царстве. Но господин Пестель не оставил заплатить мне за мою дерзость. Тут подвернулся церковник, высланный мною из Пекина. Того нетрудно было обольстить подать на меня извет от имени учеников миссии. А господин Пестель, препроведя оный куда следовало, постарался подкрепить его и другими обстоятельствами. И я превосходно понимаю, что сумнения в отношении меня не могли не пустить глубоких корней.

— Ну, это дело давнее, — заметил Голицын. — А как же с изветом отца Петра? Он пишет, что против прежних донесений, представленных бывшим сибирским генерал-губернатором, он в возражение сказать ничего не может. Более того, пишет, что в донесениях этих много еше наиважнейшего не помещено, и особливо такого, в чем и сами доносители участвовали.

— Поверьте, князь, это и для меня загадка. Впрочем, надобно знать характер отца Петра, его безмерное самомнение. Обласканный государем, он возомнил о себе невесть что. Ему все казалось, что я не оказываю ему должного почтения, хоть мы и были в одном сане. Дело доходило до смешного. Он, изволите ли видеть, обижался, ежели я предоставлял ему место за общею трапезою слева от себя. Должно быть, запамятовал, что левая сторона по китайским обыкновениям почитается старшею. И вот, будучи обманут неблагожелательствовавшими мне, отец Петр и сам возгорелся мыслью стать обличителем. Я превосходно понимаю, что высшему начальству трудно было не поверить его письму. Впрочем, я не хотел бы распространяться на сей счет и

обвинять в чем-либо обвинителя. Все, что можно было сказать по поводу изветов противу меня, я написал в своих показаниях, и пусть правосудие, сидящее посреди священного сословия, отверзнет очи и отделит зерно от плевел.

— Может быть, у вас есть какие-нибудь просьбы ко мне, отец Какинф?

— Есть у меня одна-единственная и всепокорнейшая просьба: вернуть отобранные у меня книги и рукописи. Дозвольте мне продолжить мои ученые упражнения. Целых четырнадцать лет лелеял я мысль, что труды моя помогут рассеять туман неизвестности, коим окутаны страны восточные. Вы ведь, должно быть, знаете, князь, про венецианского купца Марко Поло. Вернувшись из Китая в Европу, сидя в темнице в Генуе, он продиктовал Рутичикану Пизанскому книгу, коя и до сих пор служит для европейцев источником познания этой страны. Я тоже провел в Китае немало лет. Изучил язык, перерыл горы малодоступных книг, извел кипы бумаги для переводов. Да ежели отдавать самому себе справедливость не противно скромности, я смело могу сказать, князь, что за эти долгие годы, занимаясь познанием Китая, я один сделал в пять крат более, нежели все прошедшие миссии в течение ста лет в том успели! Поверьте, князь, я не пекусь о славе, не ищу известности. Единственно, что меня занимает — это польза отечеству! Ужели вы, просвещенный человек, допустите, чтобы труды всей жизни моей остались втуне, чтоб их попросту изгрызли мыши в лаврских подвалах?

Князя удивила просьба архимандрита, и он стал расспрашивать, что это за труды. Иакинф отвечал поначалу коротко, а потом увлекся.

Переводы его, рассказывал он Голицыну, могут поведать читателю не об одном Китае. Благодаря непрерывной письменной традиции, продолжающейся уже три тысячелетия, в бесчисленных исторических памятниках китайских запечатлены события не только самой этой древнейшей империи, но и соседних, сопредельных народов. Внимательно изучив их, можно понять и загадку гуннов, и истоки татарского нашествия…

Князь слушал с интересом.

— Я не могу, отец архимандрит, обещать вам наперед ничего определенного, — сказал он в заключение. — Но постараюсь, сколь могу, облегчить вашу участь, дабы вы могли и здесь, в лавре, продолжить ваши ученые занятия.

Иакинф поблагодарил:

— Покорнейше благодарю вас, князь. Едва узнав меня, не зная моих трудов, принять участие в моем положении — это, без сумнения, должно быть отнесено к благороднейшим

побуждениям.

И, поклонившись, направился к двери. Десятки Иисусов со стен кабинета и сам хозяин глядели вслед удаляющемуся архимандриту с состраданием и сочувствием.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

I

Князь оказался человеком слова. Через несколько дней книги и рукописи были возвращены отцу Иакинфу, и он с головой ушел в разборку своих бумаг. Даже и не заметил поначалу, как исчез от его дверей мрачный, молчаливый страж.

Иакинф истосковался по делу. По самой натуре своей он не мог находиться в бездействии. Должен был р_а_б_о_т_а_т_ь, вкладывать в труд свой все силы ума и сердца. Трудиться над чем-то новым или совершенствовать старые переводы и исследования. Он был убежден, что они нужны людям, не должны остаться втуне… Разве можно понять, откуда пришли гунны и докатились до берегов Дуная, откуда хлынули на Русь татарские орды, не извлекши на свет божий свидетельств китайской истории? Он проштудировал в Пекине сотни томов китайских династийных историй, многотомное "Всеобщее зерцало, правлению помогающее". Для себя, для справок, которые могут понадобиться при будущих изысканиях, перевел его начерно. Вот они, шестнадцать увесистых фолиантов его рукописи, которую надобно еще отделать и перебелить.

А что, ежели извлечь из многотомных китайских историй, начиная с отца китайской историографии Сыма Цини, все те статьи, в которых содержатся описания древних народов азиатских, соседствовавших с Китаем, повествуется о сношениях этой великой азиатской империи с другими народами?

Никто, сколько он знает, не занимался этим в Европе. Многие загадки великих передвижений народов во всей Восточной и Центральной Азии, да и в самой Европе, в древние времена могут быть поняты только при внимательном изучении и обнародовании китайских источников, до сих пор недоступных европейским ученым. И ключ от этого неисчерпаемого кладезя знаний находится у него. Так имеет ли он право зарывать его в этих глухих монастырских стенах?!

Каждое утро он поднимался задолго до рассвета, зажигал свечу и садился за китайскую историю, извлекая из нее по крупицам все, что содержалось в ней о народах, заселявших обширные области азиатские к западу и к северу от самой Китайской империи… Там содержались иногда описания фантастические, но ежели тщательно просеять их сквозь густое сито, отделив крупицы достоверных сведений от баснословных россказней, то можно будет нарисовать цельную картину истории

народов, обитавших в Азии в древние времена. Этим он и займется в первую голову.

Когда солнце поднималось над березами лаврского сада и ему приносили братскую порцию, он наскоро проглатывал кусок черного сухого хлеба, выпивал кружку кваса или жидкого морковного чая и, махнув рукой на приглашение к утрене, а потом и к обедне, снова садился к столу часов на десять — до самого ужина.

Иногда по вечерам заходил Тимковский. Теперь, с разрешения князя, он делал это открыто. По совету Иакинфа Тимковский засел за книгу о своем путешествии в Китай через Монголию, и отец Иакинф щедро с ним делился всем, чем мог. Раз уж сам не волен пока публиковать свои труды, пусть хоть Егор Федорович напишет о памятном своем путешествии. Человек он просвещенный, не чета этому пьянице Первушину, что сопровождал в Пекин их миссию. Тот прображничал в Пекине несколько месяцев и, наверно, даже и не разглядел как следует китайской столицы. А Тимковский пытлив и наблюдателен. И у него есть слог, умеет рассказать об увиденном живо и занимательно. Отец Иакинф был рад ему помочь. Часами они беседовали у него в келье. Подробнейшим образом Иакинф отвечал на все его расспросы, предоставлял Тимковскому рыться в своих переводах.

А в тот вечер Иакинфу что-то не работалось. Вздремнув часок после обеда, вскочил, умылся, разложил на столе бумаги, но привычная работа не шла на ум. Он сидел, уставясь в окно. За мутными стеклами шумели березы пожелтевшей уже листвой. В келью вползали сумерки. Каждые четверть часа на колокольне звенели куранты. А он все сидел за столом перед грудой книг, не зажигая свечи, не прикасаясь к перу.

Нахлынули мысли о себе, о прошлом, о несбывшемся… Услужливая память выбрасывала из своих глубин давно там погребенное. Память у него была несусветная, но он старался держать ее в узде, извлекая из ее запасников только то, что было нужно в данную минуту, всегда умел отделить важное от нестоящего. А тут он вдруг оказался над нею не властен. Вставало такое, что он, казалось бы, давно похоронил… Мелькнула Наташа… Китайская принцесса… Проскакала на мохнатой кобылке смешливая монгольская наездница… И вдруг из каких-то самых заповедных глубин всплыла Таня… Пришло на ум, что она где-то тут, совсем рядом… Еще в Казани он слыхал, что Карсунские давно обосновались в столице. Саня, как ему рассказывали, преподает в тутошнем университете. А что, ежели к ним нагрянуть? Но что он для них? Человек из прошлого. Из

какой-то другой жизни. Почти что с того света…

Да и с чем он придет? Саня — профессор. Добился-таки своего. А он? Ему уже сорок пять, а так ничего и не сделал. Ровным счетом ничего! Опальный архимандрит, заточенный в лаврскую келию и ждущий суда Синода. И еще неведомо, чем кончится для него этот суд!

А у них, должно быть, дом — полная чаша. Дети. Может, и внуки. Сколько прошло лет, как они не виделись? Двадцать пять. Четверть века. Целая жизнь.

Зачем бередить старое? Что он им, бездомный монах?..

Нет. Он придет, когда сам чего-то добьется в жизни. Когда не стыдно будет взглянуть им в глаза.

Таня, милая Таня. Давняя любовь его… Он брал первую попавшуюся женщину, когда нужда того требовала, но Таня всегда оставалась с ним. Хотя он порой и не сознавал этого… Счастлива ли ты? Дай-то бог всякого тебе благоденствия!..

В его представлении счастье — это когда хорошо его близким. А был ли у него кто-нибудь ближе и дороже Тани? Она перевернула всю его жизнь, но куда бы он ни бежал от нее, всегда оставалась с ним, хотя и находилась все эти годы в какой-то безмерной дали. Далекая и недоступная. Милая, милая девочка… Так она и осталась — девочкой, неуловимой, как мечта. Другие менялись, старились, даже сходили в могилу. А она так и жила где-то за тридевять земель, в какой-то иной жизни. Когда он и сам был еще не Иакинф, а Никита. Узнали бы они друг друга? У него — давно седина в бороде. А она — мать, может, и бабушка. Нет, такой он не в силах ее себе представить. Пусть так и останется прежней Таней. Далекая, несбывшаяся его мечта.

Есть, наверно, в жизни каждого такой момент, когда принимаешь самое важное, единственное решение, от которого зависит вся твоя последующая жизнь. Это можно сделать в одну минуту. Да что там в минуту — в секунду, когда поднял ногу для первого шага и все зависит от того, куда ты ее поставишь. Не постригись он тогда сгоряча, мог бы стать сельским священником в каком-нибудь тихом приходе, о чем умолял его отец. Или статским профессором, как Саня. А мог бы пойти в гусары, как брат Илья. Илья Фениксов. Ишь какую фамилию себе придумал. Где он теперь, Илюшка? Куда только не писал, так и не дознался. Вот как могла бы повернуться его жизнь!

А теперь уже ничего не изменишь, никуда не свернешь и надобно идти стезей, какую себе избрал.

Монашья судьба человека! А какой из него монах? У монаха есть хоть молитва, которая может утишить скорбь, муки душевные. А где у него эта молитва? Кому молиться? Неведомому

богу, которого каждый народ рядит по-своему? И в которого он сам давно потерял веру? Христу, сыну божию? Но ежели и жил почти две тысячи лет тому назад Христос, так был он странствующий проповедник, вроде Шакья-муни. Или Конфуция. Или Лао-цзы. Можно, конечно, проникнуться благородными, хоть и наивными, мыслями его проповеди, стараться следовать его заповедям, но к чему же молиться ему?

Да, блажен, кто верует! Но ему это уже недоступно. Было время, да кажется, не так уж и давно, когда он твердо верил, что бессмертие души — это не химера, что непременно — что бы там ни говорили философы и ученые — есть иная, вечная жизнь. А наша теперешняя, земная — только ступенька перед ней, только подготовка, что-то вроде католического чистилища. Теперь он убежден в обратном. И ежели есть у каждого живущего какая-то предустановленная задача, она должна быть исполнена здесь, на земле, в этой единственно данной нам днесь жизни. Другой не будет. И исполнить ее надобно теперь, не откладывая на потом. Этого "потом" тоже не будет.

И единственная у него молитва — это труд. В нем его утешение. И смысл жизни. И ее оправдание.

Когда-то давно, еще у подножья Великой стены, он говорил себе, что мирские утехи не для него, что он обойдется и без жены, без семьи, без детей. Так иди же в одиночестве, как тот странствующий китайский монах под дырявым зонтиком, дорогой нищеты, в поисках истины!

II

Иакинф терзался: что же делать ему со своими трудами? Духовному ведомству они не нужны. Знакомых в Петербурге ни души. Вспомнился граф Потоцкий. Но его, оказывается, давно уже нет в живых.

Егор Федорович посоветовал снестись с директором Публичной библиотеки Алексеем Николаевичем Олениным.

— Беспременно, беспременно надобно вам обратиться к Оленину, отец Иакинф, — говорил он. — Человек он влиятельнейший. Действительный член Российской академии, президент Академии художеств, государственный секретарь. И при всем том — страстный любитель наук и древностей. При многообразной службе своей он все свободное время посвящает сим любимым предметам. Сколько ученых и литераторов им тут поощрено и взыскано. Вот Ивана Андреевича Крылова и ко двору представил, и на службу в Публичную библиотеку определил.

— Одно дело — Крылов, а другое — какой-то там опальный

архимандрит. Да и как с ним снесешься?

— А вы напишите! Расскажите про свои упражнения. А я уж найду способ письмо ему передать. Убежден, он беспременно даст ход нашим трудам.

Недолго думай, Иакинф сел за письмо Оленину. Тот ответил любезной запиской, пригласив пожаловать к нему. Времени определенного не назначил.

Откладывать Иакинф не стал и на другой же день отправился к Оленину. А у того полон дом гостей. Иакинф уж было назад повернул. Но лакей успел доложить. Да и хозяин, приветливый, пожилых лет человек, румяный, чисто выбритый, с торчащими ушами и ясными голубыми глазами, встретил его с отменной любезностью.

— Проходите, отец архимандрит, проходите. Получил ваше письмо, и господин Тимковский очень лестно о вас отзывался. Рад познакомиться. И пожалуйста — чувствуйте себя как дома. Журфиксы у меня не заведены. Просто собираются по вечерам друзья.

Они прошли мимо окаменелых лакеев в залу. Боже милостивый! Кого тут только не было — и важные сановники со звездами, и дамы в шелках и бриллиантах, и офицеры с густыми эполетами. Отец Иакинф в своем монашеском облачении чувствовал себя неловко — будто на похороны явился. Но любезный хозяин сделал все, чтобы освободить необычного своего гостя от этой неловкости. Всячески проявлял расположение, отличался непринужденной естественностью в обращении, говорил умно и тонко.

Он подвел Иакинфа к стоявшей у окна группе. Невысокий полнеющий мужчина с карими добрыми глазами — Василий Андреевич Жуковский. Рядом стоял настоящий гигант — поэт Гнедич. На целую голову возвышался он над всеми в этой зале и, будто орел, озирал ее своим единственным глазом. По другую сторону от Жуковского стоял в просторном, табачного цвета фраке с потускневшей звездой, тучный мужчина с обширным животом и отвислыми щеками. Батюшки! Да это же Иван Андреевич Крылов. А напротив — высокая, стройная дама с удивительной синевы глазами — княгиня Зинаида Александровна Волконская. Ей, должно быть, лет тридцать, не более, и чудно хороша, отмстил про себя Иакинф. Оленин едва успел представить им отца Иакинфа, как появился новый гость, и Алексей Николаевич устремился ему навстречу.

Больше всего Иакинфа привлекал Иван Андреевич. Басни крыловские служили ему чуть ли не единственной отрадой в лаврском его заточении. Но поговорить с ним так и не удалось.

Обменявшись с новым гостем несколькими словами и добродушно кивнув ему, Крылов опустился в кресла, прикрыл глаза, да так и не вставал до самого ужина. Жуковский и Гнедич вскоре возобновили прерванную появлением архимандрита беседу; а Иакинфом завладела княгиня, чему он, по правде сказать, не печалился. Видимо, от кого-то, может быть, от того же Оленина, она была наслышана про пекинского архимандрита и принялась расспрашивать его про Пекин и про древности китайские.

Поначалу Иакинф не знал, как держать себя в этом непривычном обществе, и то и дело озирался по сторонам, отыскивая глазами Оленина. А тот был нарасхват. Несмотря на годы — ему было под шестьдесят, — он сохранил юношескую живость движений. Переходил от одной группы гостей к другой и с каждым обменивался шутками с той светской свободой и ловкостью, которые могут сообщить человеку только годы и годы вращения в свете. И уж много позже, когда вечер был в разгаре и все колесики сложного салонного механизма закрутились и не нуждались больше ни в заводе, ни в присмотре хозяина, он подошел к оживленно беседовавшим княгине и отцу Иакинфу и сам заговорил про письмо, попросил прислать статьи, которые тот обещал. Переговорив о деле, что его сюда привело, отец Иакинф уже собирался ретироваться, но Алексей Николаевич решительно воспротивился этому и усадил ужинать.

Ужинали у Олениных не за общим столом, как тут у всех принято, а на китайский манер — за маленькими столиками. Алексей Николаевич и его любезнейшая супруга Елизавета Марковна старались рассадить гостей так, чтобы за каждым столиком составился небольшой кружок и у каждого был рядом приятный собеседник. Все держались не чинясь, без всяких церемоний, что — было несколько неожиданно для Иакинфа, привыкшего к изощренной китайской регламентации.

И за ужином он оказался рядом с Зинаидой Александровной. Внимание княгини ему льстило. Слева от него сидел высокий и стройный лейтенант флота Николай Александрович Бестужев, служивший помощником директора Балтийских маяков и наезжавший в столицу из Кронштадта, а напротив известный петербургский актер — Василий Михайлович Самойлов.

Собеседники у отца Иакинфа были интересные. И, одолен начальную неловкость, он наслаждался этим недоступным ему, лаврскому затворнику, блаженством общении с людьми, да еще столь непривычными.

Княгиня изъяснялась по-русски не безгрешно, так что разговаривали больше по-французски. Правда, Самойлов

понимать-то французскую речь понимал, но сам говорил не без затруднений и сетовал на засилье французского языка в русском обществе.

— Экая несчастная и жалкая привычка, — возмущался он.

— А что же тут худого? — заметил кто-то, сидевший за соседним столом. — Василий Михайлович, вы же актер. А какой артист не предпочтет играть на совершенном инструменте, хотя бы и завозном, нежели довольствоваться отечественным оттого только, что он своего, домашнего изготовления. Вот княгиня не даст соврать, французы не говорят, а именно р_а_з_г_о_в_а_р_и_в_а_ю_т. Самое слово causerie исключительно французское. Попробуйте-ка передайте его по-русски!

— Вы правы, граф. Французы действительно народ общительный и — как это говорят по-русски? — беседолюбивый. Шатобриан, возвратясь из Америки, рассказывал, что французские переселенцы, осевшие в пустынных землях американского Северо-Востока, ходят за тридцать, за сорок миль, а то и больше, для того только, чтобы наговориться всласть со своими соотечественниками.

Но Бестужев поддержал старого актера.

— А я скорее соглашусь с вами, Василий Михайлович, — заговорил он с жаром. — Мы часто употребляем французский язык без нужды. И дело не только в языке. Подобострастие перед всем иноземным пустило такие глубокие корни в нашем образованном обществе! Со времен Петра…

— Не надобно на него хулу возводить, — заметил Иакинф. — Царь Петр был человек архирусский. Просто хотел научить нас уму-разуму.

— Что же, может быть, вы и правы. Не стану спорить. Сам-то он действительно старался перенять у европейцев все лучшее и пересадить на русскую почву. А вот потомки его совсем онемечились.

— Может быть, скорее офранцузились? — спросила княгиня.

— Да и офранцузились тоже. Мы давно уже привыкли жить чужим умом и во всем передразниваем Европу. Сначала голландцев, потом немцев, затем англичан, французов. А теперь вот входят в моду еще и немецкие философические спекуляции…

— Ну, меня вы уж совсем напрасно в пристрастии ко всему европейскому упрекаете, — улыбнулась княгиня горячности лейтенанта. — Возвратясь в Россию, я увлеклась нашей русской стариной. И даже принялась за эпическую поэму о княгине Ольге.

— Не потому ли, что князья Белосельские хоть и отдаленные, но прямые ее потомки? — спросил Бестужев с улыбкой.

— Только отчасти. Я очарована этой женщиной. И хочу

писать о ней, заметьте, не только по-французски, но и по-русски.

— Превосходно, княгиня. Будем ждать с нетерпением.

Разговор зашел о недавно открывшейся выставке в Академии художеств. Зинаида Александровна с похвалой отозвалась о портретах работы Тропинина и Кипренского.

— Да, вы правы, княгиня. Самое интересное, что есть на выставке, — это портреты, — согласился Бестужев. — И еще, пожалуй, акварели. А что касается больших полотен, то они опять-таки отмечены печатью подражательности. Не хватает нашим живописцам широкого исторического взгляда.

— Может быть, тут сказывается недостаток образования? — заметила Волконская.

— Именно так! А это вещь для художника первостатейная. Он должен заключать в своей особе не только наблюдателя, но и поэта, и историка, и философа. Отсутствие или недостаток у человека хотя бы одной из этих ипостасей мешает даже самым большим художникам. Вот во время путешествия по Голландии видел я знаменитое полотно Рембрандта "Ночной дозор".

— Я тоже видела. Картина превосходная. Представьте себе, отец Иакинф, — повернулась к нему Волконская, — ночной город и шествие, освещенное двойным светом луны и факелов. Эффект удивительный!

— Картина яркая и в своем роде действительно интересная, не спорю, — возразил Бестужев. — Но… но при всем том чувствуешь, что Рембрандт не был историческим живописцем. Он создал только тридцать шесть верных портретов, а не картину из времен голландской революции.

Бестужев и Волконская заспорили, но княгиня как-то незаметно перевела разговор на Китай. Стала расспрашивать Пакинфа о китайской живописи, о пекинских дворцах, о народных обычаях.

Поначалу он отвечал сдержанно, ему все казалось, что он не может взять верного тона. Привычки общения со светскими дамами у него не было, да и в расспросах княгини ему виделось проявление простой светской любезности. Но ее огромные синие глаза смотрели на него с живым интересом, и Иакинф мало-помалу разговорился и, подбадриваемый вниманием княгини, стал непривычно красноречив.

Княгиня спросила про китайский театр. Сюжет этот привлек всех. О Василии Михайловиче уж и говорить нечего. Но и Бестужева тоже. Отец Иакинф частенько езживал в пекинские театры, смотрел представления бродячих театральных трупп — в деревнях и в старинных монастырях, водил дружбу со многими актерами, среди которых попадались люди прелюбопытнейшие.

Словом, ему было что рассказать. И всё для его слушателей было ново. Особенно донимал его расспросами Бестужев.

— А вы знаете, отец Иакинф, Николай Александрович ведь неспроста разные подробности про китайский театр у вас выпытывает, — заметил Самойлов. — Намедни ездил я в Кронштадт и побывал там на спектакле офицерского театра, который учредил Николай Александрович.

— Вот как? — отнеслась к Бестужеву княгиня. — Вы, оказывается, тоже театрал? Я и не знала.

— Да еще какой! — воскликнул Самойлов. — Николай Александрович там и директор-распорядитель, и художник, и первый актер. Я, признаюсь, залюбовался им в спектакле и советую моим молодым коллегам непременно съездить в Кронштадт посмотреть на игру Николая Александровича.

— Уж вы скажете, Василий Михайлович, есть на что смотреть!

— Есть на что, голубчик, есть! Уж поверьте вы мне, старику. Да не будь вы офицер, могли бы подвизаться и на столичной сцене. И на первых ролях. Вот поужинаем, непременно попрошу вас что-нибудь прочесть.

Эту мысль подхватила и Волконская, и, когда кончился ужин, Бестужев прочел только что переведенную им с английского восточную повесть Томаса Мура "Обожатели огня". Сама-то эта сказка не пришлась Иакинфу по душе, показалась вычурной. Но читал Бестужев и впрямь мастерски.

А потом попросили спеть Волконскую. Она не заставила себя упрашивать. Легко поднялась с кресла, подхватив рукой длинный шлейф, села за фортепьяно и запела. Ничего подобного не приходилось Иакинфу слышать. Контральто у нее был такой чистоты, что так должны бы петь ангелы. Быстрым взглядом Иакинф окинул слушателей. Не он один, оказывается, был зачарован.

— Волшебница! — раздался сзади сдержанный шепот.

Иакинф оглянулся. Сбоку, чуть позади, прислонясь к колонне, стоял Николай Александрович.

III

Когда Иакинф вышел от Олениных, на улице его догнал Бестужев.

— Вам ведь в лавру, отец Иакинф? Позвольте, я провожу вас, — предложил он.

Бестужев расспрашивал Иакинфа о его изысканиях в китайской истории.

— А мы ведь в некотором роде коллеги, — признался он, — я только что опубликовал в "Сыне отечества" исторический очерк "О новейшей истории и современном состоянии Южной Америки".

Иакинф посмотрел на лейтенанта с интересом. Весь вечер блестящий молодой офицер был в окружении дам, был с ними галантно-любезен, смешил забавными историями. Старый актер рассказывал о нем как о даровитом артисте, да Иакинф и сам слышал его чтение. И вот лейтенант, оказывается, еще и историк.

— С нетерпением буду ждать ваших статей о Китае, отец Иакинф. Ведь вы так увлекательно о нем сегодня рассказывали, — говорил он. — То немногое, что русская публика знает о нашем восточном соседе, она получает из рук католических европейских миссионеров.

— То-то и беда! Читал я их, как же. Многое они пишут об этой стране с издевкой и высокомерием.

— А мы всё принимаем на веру.

— Да-да. Все наша закоренелая привычка полагаться на чужие готовые мнения, боязнь взглянуть на вещи своими глазами. Да своему-то все как-то не верится. То ли дело — европейские авторитеты.

— Взгляните, отец Иакинф, — сказал Бестужев, останавливаясь у строящегося Исаакиевского собора. Он бил в лесах, но исполинские колонны всех четырех приделов были уже установлены. — Каждая из этих тридцати шести колонн по величине равна прославленной Помпеевой колонне в Риме. И все из цельного гранита.

— Да? Как же их только высекли?

— Я и сам дивился. А всё наши хитрые мужички. Вместо прежнего способа рвать гранит порохом придумали раскалывать целые гранитные скалы клиньями.

— Подумать только: эдакие глыбищи! И ведь надобно было еще перевезти их, да выгрузить, да поставить!

— Когда я смотрю на этих исполинов, верите ли, душа наполняется каким-то отрадным чувством. А мы обычно равнодушно проходим мимо такого, даже не оборотя головы.

— Все оттого, что привыкли искать вещей удивительных в краях чужедальных. Вот стена китайская, пирамиды египетские — это да! А такие вот колонны — так, безделица, они же свои.

— Да разве дело в этих колоннах, отец Иакинф! Сколько у нас разных изобретений и открытий остается втуне. А вот европейцы так не поступают. Они каждое наималейшее усовершенствование, всякую, хоть сколько-нибудь полезную новость предают всеобщему сведению — ив газетах, и журналах, и в особенных сочинениях. А мы? А мы на редкость беззаботны. И

вот ведь что обидно, мы часто и сильнее, и искуснее других, а сами о том не ведаем и предаемся в руки чужестранцев, которые нас обманывают, обольщая глаза минутным блеском. Вот и вам, — повернулся Бестужев к Иакинфу, — надобно не идти на поводу у европейских миссионеров, а писать об этой стране по-своему.

— Да уж можете поверить, мне незачем подражать тем европейским хинологам, кои пишут о Китае, не выходя из своих кабинетов.

Они бродили еще часа два по пустынным в эту пору улицам. Это было как бы продолжением той давней прогулки с Тимковским на другой день по приезде. Вышли на Невский проспект и пошли вдоль него.

— А вот в Пекине мы бы с вами не стали по улице пешочком прогуливаться, — проговорил Иакинф.

— Почему же?

— Днем торговые улицы запружены толпами народа. Пестрые ряды лавок зазывают покупателей, всякая на свой манер. Харчевни вывешивают перед своими дверями что-то вроде медного самовара, украшенного красной бумажной бахромой. Перед меняльной лавкой висит огромная связка денег, перед обувной — башмак величиной с меня, не меньше. Все так пестро, что глазу трудно привыкнуть. И всюду гомон, всюду толпы продавцов и покупателей. А там, где кончаются лавки, толпа с улиц исчезает. Ведь в Пекине дома не выходят, как тут, фасадами на улицу. Там на улице вы ничего не увидите, кроме голого забора или, лучше сказать, глухой кирпичной стены. Это всё — службы, принадлежащие домам горожан. А самые дома где-то там, в глубине, прячутся. Так вы можете идти целые версты коридорами из глухих кирпичных стен. А тут такое поразительное разнообразие фасадов.

— Ну, такого многообразия вы и в других европейских столицах не сыщете. В Лондоне, например, вдоль улиц тянутся огромные здания, все как по ранжиру выстроены, почти все одной высоты, все выкрашены в одинаковый кирпичный цвет. Это до того утомляет глаз! Ну будто нескончаемые казармы.

— А тут я всё дивлюсь: дома вроде и похожи, а каждый чем-то разнится от соседа.

— И потом, заметьте, отец Иакинф, как украшают проспект эти уступы и примыкающие к нему площади. Вот видите — перед Казанским собором, и вот наискосок — перед лютеранской церковью святого Петра.

— И сам собор чудо!

— А строил наш русский зодчий Воронихин. Нет, право,

город этот неповторим. С ним может сравниться разве что один Париж. Ни Лондон, ни Амстердам, ни Гаага, так в свое время пленившие Петра. Амстердам и Гаага — это скорее эстампы с картин фламандской школы, оправленные красивой рамой.

С того вечера и завязалось знакомство Иакинфа с Бестужевым. Вскоре его произвели в капитан-лейтенанты, назначили историографом Российского флота, и он совсем перебрался в столицу. Раза два они встречались у Оленина. Общество, собиравшееся в этом гостеприимном доме, привечало молодого ученого и подающего надежды литератора. В журналах печатались его статьи и рассказы, переводы из Байрона, из Вальтера Скотта и Томаса Мура. А какой это был увлекательный рассказчик! Иакинфу нравилось слушать его рассказы о морских походах, о путешествиях в Голландию, Францию или Испанию. Рассказы эти были исполнены всегда ума и наблюдательности. Остроумный и обаятельный собеседник, он отличался не только обширностью познаний, но и прямотой и смелостью суждений. Среди других многочисленных занятий, Бестужев увлекся составлением истории русского флота. Отдельные ее главы уже печатались в журнале "Сын отечества".

Этот-то интерес к истории их особенно и сблизил. Несмотря на разность лет (отцу Иакинфу шел сорок шестой год, а Бестужеву едва исполнилось тридцать два) и различие общественного положения, они сходились все ближе.

Бестужев свел Иакинфа с бывшим сибирским генерал-губернатором Сперанским, который только что возвратился из своей длительной почетной ссылки, был не у дел и, дожидаясь назначения, обитал в Демутовом трактире.

Узнав, над чем трудится Иакинф в лавре, Николай Александрович торопил его.

— Это же все так интересно — то, что вы рассказываете о своих планах, отец Иакинф, — говорил он. — Непременно, непременно надо печатать ваши труды. Без всяких промедлений! Убежден, они вызовут целый переворот в нашей хинологии. А вот надежды на Оленина вы возлагаете напрасно. Слов нет, Алексей Николаевич — человек милейший, но, поверьте, ничего он для вас не сделает. Это прекраснодушный дилетант. Ему нравится, что предметы литературы и искусства оживляют разговор в его гостиной. Но у него всё в разговоры и уходит, как вода в песок. С кем вам непременно надобно познакомиться, так это с Николаем Ивановичем Гречем. Несколько лет назад он ходил с нами пассажиром в морской поход во Францию. На корабле "Не тронь меня", на котором я тогда плавал. Человек это своеобразный. На бумаге он и сух, и осторожен, и педантичен, как истый немец. А

на корабле, средь молодых офицеров, он и сам вдруг обнаружил дар живого слова и говорил с нами не таясь. Он издает в Петербурге журнал "Сын отечества". В нем печатаются лучшие писатели столицы. Он и меня привлек к участию в журнале — должно быть, за гостеприимство и радушие, оказанные ему на корабле. Круг интересов журнала весьма широк. Думаю, что издатель охотно предоставит его страницы и для статей о Китае. Человек он деловой и употребляет все средства, чтобы не допустить появления в столице новых повременных изданий. Так что познакомиться вам будет очень полезно. И я готов вам в том содействовать.

IV

Новые знакомства, встречи и беседы с Бестужевым еще больше подстегивали Иакинфа. Он торопился. Целые дни не выходил из своей кельи. Была она, по правде сказать, довольно-таки унылая, помещалась в нижнем этаже отдаленного крыла, занятого братскими кельями. Толстенные стены, неизвестно когда возведенные, придавали окнам вид крепостных амбразур. Редко солнечный луч проникал в келью сквозь мутное, зарешеченное окно. Но ничего этого Иакинф не замечал.

Он иногда останавливался в нерешительности перед грандиозностью им самим поставленной перед собой задачи. Хватит ли у него сил, разумения? Ведь никогда не писал он ученых исследований, да и переводил для себя, наспех. А чтобы познакомить со своими переводами других, людей искушенных, все эти переводы надобно тщательно отделать. Ему не хотелось допустить в них даже малейших погрешностей против китайского подлинника. А написано-то все это совсем в другое время, да и языки наши так разнятся.

Ну что же, взялся за гуж, не говори, что не дюж! Конечно, гениальности научиться нельзя, но усердной, добросовестнейшей работе можно. А уж трудолюбия, воловьего упорства ему не занимать.

Он даже не жаждал признания, не искал известности. Работал, потому что не мог не работать, потому что этот самозабвенный, до изнеможения труд избавлял его от душевных терзаний, целиком поглощал ум.

Он ограничил свой сон шестью часами. Но и оставшихся восемнадцати ему казалось мало. Ведь так грандиозно было то, что он задумал.

А начинать приходилось с малого и второстепенного. Еще не пришло время для тех обширных общих трудов, которые он

замыслил. Ну что ж, начнем с частностей. Анось что-то удастся напечатать, хотя бы и под чужим именем.

Почему бы и не познакомить публику с указами и бумагами, относящимися до английского посольства, посланного в Китай в тысяча восемьсот шестнадцатом году? Ведь он сам встречался тогда в Пекине с лордом Амгерстом. Иакинф улыбнулся, вспомнив об этой встрече. Лорд принял его за французского миссионера, и отец Иакинф не стал его разубеждать. Посольство Амгерста — это ведь такая любопытная страница в истории сношений Европы с Китаем и такая близкая. Или отчего бы не выступить с пояснениями ответов на вопросы, которые господин Вирст предложил Крузенштерну относительно Китая? Ведь столько наивностей и нелепостей содержится в ответах нашего отважного мореплавателя!.. Конечно, все это мелочи. Но это только начало. А потом можно будет предложить и книгу о Монголии. Это уже не мелочь и не частность. Сколько любопытнейших сведений собрал он об этой стране, находящейся в самом сердце Азии! Сюда можно будет присовокупить и свои записки, которые он вел на возвратном пути из Китая. И даже рисунки, которые он делал во время памятного сего путешествия.

За этими занятиями отец Иакинф и не заметил, как промелькнула осень и наступила непривычная, слякотная зима. Ветер бросал в окно белые мокрые хлопья.

Как шло расследование в консистории, Иакинф не знал, да, по правде сказать, по временам и вовсе забывал о нем.

Иногда заходил к нему Егор Федорович, говорил, что, по словам его друзей, приговор в консистории не должен быть особенно суровым. Это окончательно успокоило Иакинфа, и он совсем перестал интересоваться ходом "дела". Главное, что он мог заниматься своим настоящим делом.

Кажется, за эти напряженные месяцы изнурительного труда можно было б устать. Другого такая работа, да еще на сей немилостивой братской порции, могла бы свалить с ног. Но не его. Он не давал себе поблажек. Столько еще надо успеть!

Когда Иакинф листал свои уже почти окончательно подготовленные к печати сочинения и переводы, которые надо было только кое-где подправить да перебелить, он испытывал гордость и радость, которую, должно быть, испытывал Создатель, глядя на плоды трудов своих. "Ай да Иакинф, ай да чертова душа!" — восклицал архимандрит. Это все сделал он, он один, благодаря воловьему своему упорству, своему усердию и настойчивости!

Конечно, позади у него множество всякого злополучия, горестей и соблазнов; несладко ему и теперь, но сколько еще

всего ждет его впереди!

Он поднялся из-за стола и в радостном волнении заходил по келье. Да, конечно, случалось, он был жаден до наслаждений, порой веление плоти не давало ему покоя, но он же умеет мужественно сносить и лишения!..

Как-то вечером, уже после всенощной, к нему в келью ворвался иеромонах Аркадий. Он был трезв и весел. Радость так и сочилась из всех его пор.

— Моги возрадоваться, ваше высокопреподобие! Кончилось, кончилось наше тут с вами сидение!

— Да что это тебя так возвеселило, отец честной? Весел, яко ангел или птица небесная! Рассказывай толком, не таранти!

Но, как всегда, толку от отца Аркадия было добиться нелегко.

Со всеми подробностями стал он рассказывать, как свел дружбу с писарями консисторскими, как усердно их обхаживал много недель и как удалось ему наконец выведать об определении консистории, только что принятом. И не только выведать! Вот она, дословная с того определения. Да собственно, и не дословная, а, в сущности, само определение, только еще со множеством писарских помарок. С него-то и перебелили подлинник, который подписало консисторское начальство. А черновик писарь должен был сжечь. Но не сжег — отцу Аркадию удалось его за какую-то мзду у того вымолить.

— Вот оно, родненькое! — хлопнул но нему Аркадий тыльном стороной ладони и пустился в пляс.

— Подай-ка сюда! — прикрикнул Иакинф на иеромонаха и взял у него плотный лист синеватой бумаги, испещренный залихватскими писарскими росчерками, со множеством исправлений и вычерков.

В бумаге были подробно исчислены вины архимандрита и его свиты, как те, в которых они признались, "так и сии, в коих не могли оправдаться и остаются во многих подозрительными". Иакинф не стал всего разбирать и, пробежав глазами преамбулу, перешел к самому определению: "…И потому Архимандрита Иакинфа за все вышеисчисленные пороки с присовокуплением к ним и сего, что он попустил причетнику Константину Пальмовскому, учинившему сверх погружения самого себя в пьянство, буянство и другие дерзостные поступки, святотатство и передавшему из похищенных им ризничных вещей диаконский орарь непотребной китайской женщине-идолопоклонке, попустил тому Пальмовскому избыть уголовного суда и наказания и определиться в переводчики… отправить отсюда, из столицы, в Троицкую Сергиеву пустынь на один год, для употребления в одне только пристойные сану его занятия, на таком же

основании, на каком послан он был по указу Святейшего Правительствующего Синода из Иркутска в Тобольск за содержание у себя вместо послушника девки. Таковая мера наказания, хотя и не может равняться с качеством и количеством вин его, Иакинфа, но заменяет сей недостаток тем, что он, Иакинф, с самого возвращения своего из Пекина в сию столицу, не пользуется по Высочайше конфирмированному майя 12-го дня 1805 года по докладу Святейшего Синода о Пекинской миссии тем жалованьем и теми пособиями, чем первоклассные Архимандриты довольствуются, не может и надеяться получить сего, как обвиненный и под епитимию подпавший…"

В указе казначею Сергиевой пустыни предписывалось иметь за ним, Иакинфом, бдительный надзор, давать внушения, каждый пост исповедовать и доносить по третям года.

Тем же определением иеромонах Серафим посылался в Валаамский монастырь на один год, а иеромонах Аркадий — в Коневский на полгода в монашеские труды.

Да, теперь понятна была радость Аркадия: за все свои прегрешения он отделался всего полугодом ссылки.

Самого Иакинфа ждал год пребывания в Сергиевой пустыни. Ну что же — пустынь так пустынь! И там, наверно, можно продолжать свои изыскания. И там люди живут. Да и год — не век.

Выпроводив Аркадия, Иакинф засел за работу: надобно было разобрать свои бумаги, подготовить то, что можно было передать в печать, и запастись всем необходимым для занятий в Сергиевой пустыни.

ГЛАВА ПЯТАЯ

I

Но не знал отец Иакинф, что сулил ему рок.

Ему было и невдомек, что, будто щепка с разбитого корабля, он оказался вовлеченным в бурный водоворот событий. Над негаданным его покровителем, князем Голицыным, сгущались тучи. Только отдаленные отголоски надвигающейся бури доносились порой до уединенной кельи опального архимандрита.

Против могущественного министра духовных дел и народного просвещения окончательно сложился заговор. Во главе его стал митрополит Серафим. Но это было только на поверхности. В глубине же притаился жестокосердный и мстительный временщик, граф Аракчеев. Ему было тесно при

дворе. Одного за другим отстранял он от государя самых близких его советчиков, остался один — князь Голицын. Влиянию его на государя Аракчеев завидовал, и ему не терпелось низвергнуть князя во что бы то ни стало. Он решил воспользоваться для этого старой враждой к Голицыну высшего православного духовенства, у которого само учреждение манистерства духовных дел и народного просвещения вызывало ропот.

Главные посты в двойном ведомстве князя Голицына занимали деятели Библейского общества. Созданное Голицыным по английскому образцу для перевода Библии на живые языки и распространения в России духовной литературы, оно представлялось отцам церкви слишком либеральным вмешательством в дела духовные. Православная церковь испокон веков занимала на Руси господствующее положение и была вернейшей опорой престола. Да и на престол-то русских царей венчали православные патриархи или, позднее, митрополиты. А тут православную церковь отдали в ведение министерства духовных дел — зауряд с иноверными исповеданиями, даже нехристианскими. Подумать только: дела православные ведались там наряду с католическими, протестантскими и даже магометанскими и еврейскими! Нет, такого унижения православной церкви митрополит Серафим допустить не мог, что бы там ни говорил князь Голицын. Он-то утверждал, что порядок сей задуман им не с какой-то там задней зловредной мыслью. Напротив, так можно якобы покончить с религиозными распрями, фанатизмом и нетерпимостью. Нет, Серафим, подогреваемый Аракчеевым, почитал нее эти нововведения министра духовных дел и народного просвещения, да и всю деятельность руководимого князем Библейского общества "развратом", подкопом под православную церковь, престол и отечество.

Ну как же, всеми важнейшими делами духовными под эгидой князя заправляли светские чиновники! Князь не нашел ничего лучшего, как поручить департамент духовных дел известному вольнодумцу Александру Ивановичу Тургеневу. Библейские мистики, которыми окружил себя князь Голицын, обнаруживали весьма высокомерные притязания, выдавали себя за истинных истолкователей религии и в своих поисках "внутренней веры" позволяли себе резко нападать на то, что они называли "наружной" или "внешней" церковью. Сам министр подавал этому первый пример. С негодованием наблюдал митрополит Серафим, как к Библейскому обществу, президентом которого был князь Голицын, льнуло все, что искало себе свободы от руководительства греко-российской церкви. В нем искали и находили покровителя всевозможные секты, общества, масонские

ложи, выраставшие после заграничных походов, как грибы после дождя. Они привлекали к себе всё новых адептов в русском образованном обществе в ущерб православию — в этом митрополит был убежден твердо. Масонские ложи были переполнены, а церкви православные пустовали.

Да и сами деятели Библейского общества и министерства духовных дел во главе с князем Голицыным, открыто пренебрегая православными установлениями, то и дело отправлялись слушать проповеди либеральствующих католических священников, вроде известного в столице патера Геснера, съезжались на собрания масонских лож или, боже милостивый, посещали радения у госпожи Татариновой, привозили к ней даже особ царствующей фамилии! В речах на заседаниях Библейского общества и в еретических книгах, изданию которых покровительствовал Голицын, все больше напускалось мистического туману, проповедовалось создание какого-то нового Христова царства.

И вот тут-то на сцене появился архимандрит Фотий — недоучившийся студент Петербургской духовной академии, старообрядствующий исступленный фанатик, ярый враг всяких новшеств и веротерпимости, столь любезных сердцу князя Голицына.

У Фотия не было ни ума, ни образования, ни подобающего места в церковной иерархии, чтобы играть сколько-нибудь значительную роль в делах церкви. Но все это восполнялось безмерным честолюбием и яростным фанатизмом. Он ненавидел князя Голицына и завидовал даровитому проповеднику архиепископу Филарету, с которым министр духовных дел был в тесной дружбе. По словам весьма наблюдательного и осведомленного современника Филиппа Филипповича Вигеля, "архимандрит Юрьева монастыря Фотий с грубым чистосердечием соединял большую дальновидность, сильный дружбой Аракчеева и золотом Орловой-Чесменской, дерзнул быть душою заговора против него", то есть князя Голицына. Правда, другие современники, вполне признавая роль, которую Фотий сыграл в заговоре против Голицына, не склонны были разделять вигелевскую оценку его нравственных достоинств. "Грубое чистосердечие" Фотия казалось им фальшивым, дальновидности новгородского архимандрита, на их взгляд, доставало только на скандальные доносы и готовность служить "верой и правдой" Аракчееву, которого Юрьевский архимандрит называл "вельможей справедливым, приверженным паче всех к царю, истинным патриотом и сыном церкви, яко Георгий Победоносец". Даже один из страстных защитников Фотия вынужден был признать: "Никто не станет спорить, что он, как человек,

погрешил раболепством Аракчееву, слишком восхвалял сего злонравного временщика".

Но именно такой человек и надобен был для борьбы с Голицыным. Во всяком случае, митрополит Серафим считал его истинным подвижником, чистым от мирской ржавчины, которого провидение избрало орудием для защиты православия.

А Фотий, входя все в большую доверенность к митрополиту и всячески разжигая обиды и ущемленное самолюбие владыки, при каждой встрече заводил речь о Голицыне.

— Одного аз никак в толк не возьму, владыко, — внушал ему Фотий, — как это вы дозволили сему супостату, прости, господи, мя, грешного, такую власть в церковных делах возыметь? Воссел во Святейшем Синоде, яко на троне. Вы же, ваше святейшество, и прочие митрополиты сидите у него и по десную, и по левую сторону, а он над вами, яко патриарх, высится. И обер-прокурор синодальный превращен сим князем окаянным из ока государева и простого служку министерскую. Он уже не представляет в Синоде, как встарь, царя, помазанника божиего, а токмо богопротивного министра сего. Не терпя истины господней и гоня верующих в лице избранных, скольких архиереев и архимандритов-ревнителей князь, яко вождь нечестивый, изгнал, а многих и в гроб низринул! Аз свыше, от господа извещен, что и вас, ваше святейшество, возмыслил он низложить и первоприсутствующим в Синоде Филарета сделать, — говорил Фотий, впиваясь в митрополита колючими, пронзительной синевы глазами.

Не было более верного средства подвигнуть Серафима против Голицына, нежели напомнив о его блистательном сопернике.

— Потерпи, чадо. Всем иерархам церкви православной ненавистен князь и его министерство. Но не хощет государь любящего своего отвергнуть. И не ведаю, как подвигнуть сердце царево во благо церкви христовой, — говорил Серафим с сомнением.

— Не можно терпеть боле, владыко. Пришла пора действовать во славу божию, — изрекал в ответ Фотий. — Ведь сей министр духовных дел — первый на Руси враг нашей церкви православной. Истинно вам глаголю, ваше святейшество. Он токмо и помышляет, как бы усилить на Руси развращение нравов народных. И наивернейшее средство к тому видит в распространении в ней разных книг зловредных. Книги сии под покровительством князя и его приспешников выходят свободно, раскупаются скоро и в наикратчайший срок имеют по два-три тиснения. И цензор Тимковский тоже хорош! Послушать дщерь мою духовную, девицу Анну, так в обществе все на

необузданность его красного карандаша жалятся. А в угоду князю разные мистические бредни пропускает он безвозбранно. Князь веротерпимостью своей щеголяет, на словах хощет, чтобы вода в котлах не кипела, но котлы на огне держит и все более и более дров кладет под оные и огонь разжигает… Надо возвестить царя именем божиим, что может он избавить церковь нашу святую от сего супостата одним росчерком пера своего.

Подталкиваемый Фотием и Аракчеевым, митрополит Серафим к началу нового, 1823 года многого добился в борьбе с ненавистным министром. Еще первого августа 1822 года, перед отъездом на конгресс в Верону, государь рескриптом на имя министра внутренних дел графа Кочубея повелел: "Все тайные общества, под каким бы наименованием они ни существовали, как-то масонских лож, и другими, закрыть и учреждения их вновь не дозволять, а всех членов сих обществ обязать подписками, что они впредь ни под каким видом, ни масонским, ни другим, тайных обществ, ни внутри империи, ни вне ее, составлять не будут".

Ближайшие друзья и сподвижники князя Голицына по Библейскому обществу под разными предлогами отставлялись от своих постов и удалялись из столицы.

Когда архиепископ Филарет в августе 1822 года прибыл в столицу для исправления своей должности члена Святейшего Синода, митрополит Серафим встретил его весьма холодно. Он поручил ему составление Катехизиса и без ведома министра духовных дел отправил в отпуск на два года в его московскую епархию.

Был снят со всех постов и отправлен в ссылку один из столпов Библейского общества Александр Федорович Лабзин. Правда, тот-то сам был виноват. Когда в Академии художеств отбирались подписки о роспуске лож, он, давая такую подписку, сказал: "Что тут хорошего? Сегодня запретили ложи, а завтра опять их откроют. Вреда ложи не делали". А через несколько дней, тринадцатого сентября, когда на конференции Академии художеств президент Оленин предложил избрать в почетные члены графов Аракчеева и Кочубея, Лабзин отозвался, что этих людей он не знает и о заслугах их перед художествами не слыхал. Когда же ему и прочим членам Академии объяснили, что они должны избрать этих лиц, как знатнейших в государстве и особливо близких к особе государя, Лабзин, со своей стороны, как вице-президент, предложил избрать кучера Илью: "Уж ближе его к особе государя никого нет. Он, единственный в государстве, может сидеть спиной к высочайшей особе. К тому же по табели о рангах императорской лейб-кучер положен в чине полковника".

— Но он же мужик, — заметил скульптор Мартос.

— Ну и что ж из этого? Кулибин тоже был мужик, однако ж член Академии наук, — возразил Лабзин.

Об этом происшествии тотчас проведал Аракчеев и предложил санкт-петербургскому военному генерал-губернатору графу Милорадовичу донести о случившемся императору Александру в Верону. И судьба Лабзина была решена: немедля он был уволен со службы без мундира и пенсии и сослан в город Сенгилей Симбирской губернии. Тут уж и князь Голицын ничего сделать не мог. Только спустя какое-то время удалось выхлопотать ему скромный пенсион.

Другие приближенные Голицына, видя, какие тучи сгущаются над головой их покровителя, и сами поспешили сбежать с тонущего корабля.

II

Определение консистории, еще до ознакомления с ним министра духовных дел, затребовал митрополит Серафим. Мягкость приговора, вынесенного консисторией, его возмутила. Эко что удумали! За такие-то прегрешения да всего на год, и куда? В Сергиеву пустынь! Не иначе, как все это плоды заступничества князева. Ну уж нет! Ничего не выйдет у вас, князюшка!

Перечитав определение консистории, митрополит схватил перо и начертал: "Я определение консистории со своей стороны утвердил с таковым мнением моим: Архимандрита Иакинфа в Сергиеву пустынь, где, а наипаче летом, бывает многочисленное собрание богомольцев, в отвращение соблазна под начал не посылать, а послать в Коневский монастырь и при том не на один, а на пять лет". Да, да, в Коневский. Или в Соловецкий. Там научат его уму-разуму, смирят сатанинскую его гордость. Там и о книгах своих забудет, и прельстительные девки сниться ему не будут! Там его научат бить поклоны да читать акафисты. И не таких смиряли там битьем и голодом.

Митрополит вызвал к себе обер-секретаря Святейшего Синода Гаврилу Журихина и повелел созвать заседание Синода для решения дела архимандрита Иакинфа и его свиты.

— И вот что, Гаврила, препоручаю тебе предварительно обговорить дело сие с каждым членом в отдельности. Разговор должен быть скрытный, с глазу на глаз. И чтоб ни единая душа об том не проведала. Тебе ведомо, что у нас за сношения с министром повелись. Так, ежели я своею властию определение консистории переменю, князь может представить сие как мои

происки. Пусть не я, а Святейший Синод определение сие переменит. На заседании Синода ты мой рапорт зачитаешь и мое мнение огласишь. Но пускай члены синодальные мнение сие за непреложное не почитают и свое суждение по сему делу выскажут. Надобно же так сделать, чтоб архимандрита Иакинфа и сана архимандричьего лишить, и в монастырские труды послать, и не на пять лет, как я предлагаю, а навечно, и не в Сергиеву пустынь, и не в Коневский монастырь, а лучше всего в Соловецкий. Понял? Вот и обговори обо всем этом с архиепископом Ионой, с обер-священником Иоанном, с духовником Павлом. И с прочими членами. А архиепископа Филарета из Москвы на заседание вызывать не надобно. И когда указ с Нестеровым готовить будешь, все вины Иакинфовы исчислить надобно. И не токмо кои в определении консистории перечислены, а и все, какие ему вменялись.

Растолковывать эти указания Журихину нужды не было. Он служил в Синоде давно и пережил уже не одного первоприсутствующего. Дела синодальные знал в тонкости. Все бумаги — доклады, рапорты, журналы, протоколы, указы из Святейшего Синода — составлялись секретарями и столоначальниками под его руководительством. И поступали все бумаги к митрополиту через обер-секретаря и обратно от митрополита с его высокопреосвященным мнением привозились им же. С синодальными членами митрополит виделся редко, и в Синоде привыкли, что слова обер-секретаря и есть подлинное мнение его высокопреосвященства.

Когда девятнадцатого февраля 1823 года Синод собрался на заседание, все пошло как по маслу. Обер-секретарь Гаврила Журихин огласил рапорт митрополита Серафима, определение консистории и особое мнение его высокопреосвященства.

Затем, один за другим, поднимались члены Священного Синода — архиепископ Тверской Иона, обер-священник Иоанн Державин, духовник Павел Криницкий и другие, и каждый говорил о том, что вины архимандрита исчислены в определении консистории с досадительною неполнотою, что многочисленные его прегрешения и проказы, как в давнюю пору в Иркутске, так и в Пекине и на возвратном пути из сей чужестранной столицы, доказывают соблазнительное его бесстрашие и укоренившийся в нем разврат и что посему определение консистории следует признать не в меру снисходительным и надобно подвергнуть его, архимандрита, более суровой и соответствующей его винам мере наказания. Одни предлагали согласиться с мнением первоприсутствующего митрополита Серафима, другие считали и сию меру недостаточной и предлагали лишить его сана и сослать

навечно в какой-нибудь отдаленный монастырь, нашлись и такие, что требовали и вовсе исключить его из духовного звания и даже отлучить от церкви.

Наконец поднялся обер-секретарь и огласил проект синодального определения.

Подробно исчислив все вины бывшего Пекинского архимандрита, обер-секретарь перешел к самому определению:

"По сим уважениям Святейший Синод судит:

Первое, Архимандрита Иакинфа за показанные преступления… как недостойного носить звание священнослужителя алтаря господня, применяясь по мере обличительных доводов в преступлениях его к силе 25-го, 58-го и 60-го Правил Святых Апостол, закона Богом данного Моисею 43-го правила (и т. д. и т. д.), лишить Архимандричьего и священнического сана, но, не исключая из ведомства духовного, оставить в монашеском звании, в котором иметь навсегда пребывание в Ставропигальском Соловецком монастыре с тем, чтобы, не отлучая его оттуда никуда, при строжайшем за его поведением надзоре, употреблено было старание в приведении его в истинное в преступлениях раскаяние…"

В последующих, втором и третьем, пунктах проекта указывалось, что наказание, предлагаемое синодальным членом митрополитом Новгородским и Санкт-Петербургским для иеромонахов Серафима и Аркадия, соответствует вине, их обличающей, а потому таковое положение об них оставить в силе.

Что же до причетника Василия Яфицкого, то, согласно с мнением санкт-петербургского епархиального начальства, его по невинности освободить от суда и предоставить ему, Яфицкому, приискивать себе место.

Проект этот синодальных членов удовлетворил, и митрополит Серафим в возражение против него ничего сказать не соизволил. Поскольку дело сие было начато по высочайшему повелению, то решено было предоставить господину министру духовных дел и народною просвещения князю Александру Николаевичу Голицыну донести о сем государю императору, чего ради с сего определения к обер-прокурорским делам дать копию.

Государя в столице не было, и митрополит Серафим не спешил передать дело князю Голицыну, — мало ли какой ход тот надумает ему дать.

Только по возвращении государя, одиннадцатого мая, определение это, принятое еще девятнадцатого февраля, было подписано синодальными членами.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

I

Двадцать третьего августа, в пятом часу пополудни Александр Николаевич отправился к государю.

Последние годы император Александр завел обычай проводить лето не в Царском Селе, а на Каменном острове. Сюда являлись к нему для доклада министры, начальник Главного штаба, командир гвардейского корпуса, начальники отделений Собственной его Величества канцелярии и прочие сановники, статские и военные, имевшие право доклада государю.

Резиденция Александра была мало похожа на царский дворец и напоминала скорее большую петербургскую дачу. Вокруг нее был разбит сад с усыпанными песком дорожками, стрижеными газонами и ухоженными цветниками. Государь любил прогуливаться по тенистым аллеям. Сад был обнесен невысокой резной оградой. Кроме часового в полосатой будке, спрятанной в зарослях жасмина у ворот, не видно было никакой стражи.

По соседству расположились дачи министров и других высокопоставленных сановников. На одной из них жил летом и Александр Николаевич.

С тех пор как император избрал Каменный остров своей излюбленной летней резиденцией, всё и на Каменном, и на других окрест лежащих островах преобразилось, они просеклись каналами, заблистали прудами, от былых болот тут не осталось и следа. Еще вчера здесь визжали пилы и раздавался стук топора, а нынче из распахнутых окон неслась музыка.

Когда Александр Николаевич подошел к увитому плющом крыльцу, навстречу ему спускался со ступенек какой-то старец в черной заношенной рясе. Он осенил широким крестом вход в царский дворец и, бросив на князя недружелюбный, как тохму показалось, взгляд, торопливо зашагал к калитке.

"Опять эти старцы! — мелькнуло в голове Александра Николаевича. — Отбою от них нету. Уже второй или третий год государь находит какое-то сумрачное удовольствие в беседах с невежественными монахами и умоповрежленными старцами, принимает их благословения, целует им руки. О чем они только беседуют, одному богу известно".

Князь поднялся наверх. Государь стоял у открытого окна, скрестив руки за спиной. Откуда-то издалека, должно быть с расположенного по ту сторону Невки Аптекарского острова, доносилась грустная музыка.

Государь обернулся. Как он переменился, подумал Голицын.

Он все еще был красив, знакомые черты по-прежнему мягки и округлы, но взгляд светлых голубых глаз усталый. На пухлых, с ямочками щеках, обрамленных золотистыми бакенбардами, не заметно прежнего румянца, лицо бледное. Меж густых светлых бровей пролегла резкая складка, не суровая, нет, скорее скорбная.

Александр сделал несколько шагов навстречу. Шел сутулясь. А ведь он очень болен, мелькнуло в голове Голицына.

— Здравствуй, князь. Рад тебя видеть, старый друг.

Мягко очерченные губы тронула приветливая улыбка. И в ней было что-то жалкое и беспомощное.

Знакомый кабинет с тремя окнами на Малую Невку тоже как-то переменился. В углу висел большой, в тяжелом окладе, образ Спасителя, которого прежде не было. А бюст Юноны с каминной полки куда-то исчез.

В раскрытые окна тянулись ветки давно отцветшей сирени, листья на них тяжелые, темные.

Государь обнял князя, усадил в кресла, подошел к ближнему окну, прикрыл створки. Любимый государев темно-зеленый кавалергардский мундир с серебряными эполетами, длинный и узкий, не скрывал полноты. Прикрыв окно, государь обогнул письменный стол и устало опустился в стоявшее перед ним кресло.

Голицын исстари был поверенным мечтательной души императора, князь привык, что его появление всегда доставляло тому радость. Но сегодня он сидел перед столом ссутулясь, опустив голову. И разговор как-то не клеился.

Расспросив о самочувствии государя и его поездке по военным поселениям Новгородской губернии, из которой он только что вернулся, князь стал докладывать дела. Александр был туг на ухо и, как почти все глухие, мнителен: то ему казалось, что, помня про его глухоту, говорили преувеличенно громко, то — стоило заговорить тише — боялся чего-то недослышать. Голицын говорил в самый раз — не слишком громко и достаточно отчетливо. Доложив о некоторых перемещениях в министерстве, на что государь изволил сказать: "Пусть будет так, я держусь правила предоставлять министрам выбор их подчиненных", Александр Николаевич перешел к делу об отце Иакинфе.

— Помнится, о нем же проводилось исследование в консистории? — сказал государь, чертя на бумаге крестики.

— Так точно, ваше величество. Исследование сие завершено, и консисторией было принято решение отправить архимандрита на год в Троицкую Сергиеву пустынь в одни только пристойные его сану труды. Но Святейший Синод переменил это начальное

решение и счел должным лишить его архимандричьего сана и, оставив в одном монашеском только звании, сослать в Соловецкий монастырь, и не на год, а на вечные времена.

— Чем же он навлек на себя такую суровую кару?

Александр Николаевич стал докладывать о пекинских прегрешениях отца Иакинфа. Рассказывал он сдержанно, избегал излишних подробностей, щадя чувствительное сердце императора. Тот и всегда-то был брезглив (князь вспомнил, что бабка, Екатерина, звала его чистюлькой), а тут такие соблазнительные поступки.

Государь нахмурился. Он не любил света, избегал, особенно последние годы, всяких развлечений, не бывал ни в театре, ни в концертах. Из всех искусств его влекла одна архитектура, в которой он ценил классическую строгость линий.

— Посещал театры, это в иноческом-то его сане? — возмутился император. — С четырнадцатого года не отправлял священнодействия?.. Не каждый год исповедовался?!

Сам государь уже несколько лет был не только отменно набожен, но и строго соблюдал все обряды греко-российской церкви, усердно посещал монастыри и отдаленные обители, каждый пост исповедовался у своего духовника. А тут такие прегрешения, такие вопиющие нарушения церковных обрядов!

И все же Александр Николаевич попытался смягчить вину архимандрита.

— Ежели вашему величеству угодно знать мое мнение, я считаю, что определение Синода слишком сурово. Смею думать, что имеются смягчающие вину обстоятельства. Так, неучастие свое в священнодействии архимандрит объясняет тем, что после смерти иеродиакона Нектария в миссии не было иеродиакона и, следовательно, не могло составиться соборной службы. Надобно также принять во внимание, что с марта месяца прошедшего года, находясь в лавре под строгим надзором, архимандрит не подал ни малейшего повода местному начальству, лаврскому и епархиальному, заметить его, Иакинфа, в каком-либо предосудительном поступке. И, наконец, я полагаю, надобно взять в рассуждение ходатайство министра иностранных дел графа Нессельрода о прикомандировании архимандрита к его министерству. Вот его письмо. Карл Васильевич пишет, что недавно созданный Азиатский департамент испытывает крайнюю нужду в чиновнике, хорошо осведомленном в обстоятельствах дальневосточных стран и что другого такого знатока китайского языка, Китая и Монголии, как отец Иакинф, не только у нас, но и в Европе нету. Никто из вернувшихся в отечество миссионеров, ни из настоящей, ни из прежних миссий, не может с ним в этом

сравниться.

Государь сидел за столом, не поднимая головы, и продолжал чертить на бумаге крестики. Князь понимал, что государь хочет от него не истины и не справедливости, а покоя, и все же, ободренный его молчанием, продолжал:

— Граф Нессельрод пишет далее, что его редкостное знание китайского языка и глубокая осведомленность в обстоятельствах этой страны и сопредельных государств и областей азиатских значительно способствовали бы нашим усилиям в установлении прочных связей с восточным соседом нашим.

— Нет, князь, не следует нам с тобой мешаться в определение Синода. Им там виднее. Ты говоришь, Нессельрод ходатайствует? Но и в гражданской службе не должно терпеть людей порочных, а он же лицо духовное, архимандрит! И опять же: менять решение Синода. Они и так на тебя жалуются. Говорят, слишком уж большую власть забрал ты в духовном ведомстве. Православным "папой" тебя нарекли.

Александр поднялся с кресел, горбясь, прошел по ковру — от окна до дверей и обратно, взглянул на князя кроткими голубыми глазами.

— Да и нам с тобой, князь, пора в отставку. Сколько лет ты на государственной службе состоишь? И я вот двадцать третий год царствую. После двадцати лет у меня офицеры и чиновники уходят в отставку с мундиром и пенсией. А мне и ни мундира, ни пенсии не надобно. С радостью снял бы этот мундир, облачился в хитон страннический, взял в руки посох и обошел бы всю Россию, все ее тихие обители посетил. Стал бы свои грехи тяжкие замаливать.

Эти мысли князю не раз доводилось выслушивать от императора последние годы. Все больше склонялся он к сумрачному расположению духа. Может быть, то были угрызения совести?

— Вот только — кому престол передать? Константин принять трон решительно не хочет. — Государь нагнулся, выдвинул ящик стола, достал шкатулку, извлек из нее конверт с вензелем Константина. — Еще несколько месяцев тому назад я получил от Константина письмо. Вот прочти. И Александр протянул князю письмо. — Вот отсюда.

"Ваше императорское величество, — читал Голицын, — не чувствуя в себе ни тех дарований, ни тех сил, ни того духа, чтоб быть, когда бы то ни было, возведену на то достоинство, к которому по рождению моему могу иметь право, осмеливаюсь просить вашего императорского величества передать сие право тому, кому оно принадлежит после меня, и тем самым утвердить

навсегда непоколебимое положение нашего государства". Прочитав письмо, князь молча вернул его государю.

— Значит, Николай? — сказал Александр задумчиво, кладя письмо перед собой на стол. — Он образцовый бригадный командир и превосходный генерал-инспектор по инженерной части. Еще мальчиком, помню, он делал ружейные приемы лучше самого исправного ефрейтора. Но какой же из него царь? Да я за все время и книги у него в руках не видывал, разве что наставление по инженерному делу. Вот и приходится всё откладывать давнее свое намерение. Но поверь, князь… — и государь перешел на французский:- Mais je n'aurais pas êtê fâchê, au fond, de me dêbarrasser de ce fardeau de la couronne qui me pèse terriblement {Но в глубине души я был бы рад сбросить с себя бремя короны, которое страшно меня тяготит (франц.).}.

Государь умолк. Князь не решался прервать наступившее молчание.

— Да, князь, я слышал, здесь, в столице, находится твой любимец архиепископ Филарет. Ты не нахвалишься его дарованиям. Я привык тебе верить. Вот и передай ему это письмо цесаревича. — Александр вложил письмо в конверт и протянул его князю. — Повели ему написать до возвращения в Москву проект манифеста о назначении наследником престола великого князя Николая Павловича. Пока, кроме тебя, князь, и Филарета, никто не должен об этом знать.

Государь поднялся, подошел к окну, смотрел, как под окнами медленно проплывала легкая яхта.

Князь решил, что за важными государственными заботами государь совсем забыл про бедного Иакинфа. Но нет, государь сам вспомнил о нем. Он вернулся к столу, постучал по столешнице заботливо отполированными ногтями и спросил:

— Ты говоришь, князь, решено отправить его в Соловецкий монастырь? Почему в Соловецкий? А если переменить на Валаамский? Я там в позапрошлом году побывал. Прекрасная, тихая обитель. Какие живописные острова! А каковы там восходы и закаты, ты бы видел! И игумен там — мудрый такой старец, запамятовал, как его величают. Иннокентий, кажется. Да, да. Пусть переменят на Валаамский. А Нессельроду отпиши, что государь не признал справедливым оказать снисхождение к трудам отца Иакинфа в ослабление законов.

И, довольный, что решение наконец принято, государь пригласил князя отужинать вместе с ним.

II

Но ничего этого отец Иакинф не знал. Ни об определении Синода, ни о заступничестве Тимковских и ходатайстве Нессельроде, ни о решении царя.

На послезавтра была назначена первая встреча в редакции журнала "Сын отечества". Собственно, Бестужев намеревался устроить эту встречу раньше, но Греч куда-то уезжал из столицы. Иакинф приготовил для журнала четыре статьи и теперь был занят перебеливанием пятой. Еще хотя бы два-три года такой работы, как эти последние месяцы! Чтоб никому не было до него дела, никто не задавал бы нелепых вопросов. Не принуждал ходить к заутрени и повечерию.

И вдруг ни свет ни заря явился консисторский служка с предписанием сразу же после ранней обедни прибыть в консисторию.

К известию этому отец Иакинф отнесся спокойно. Наверно, пришло время собираться в Сергиеву пустынь. Иакинф принялся за разборку и укладку книг. Отбирал то, что ему понадобится для работы в течение года, который придется провести в ссылке. Все прочее оставит на хранении тут, в Петербурге. Лучше всего, пожалуй, у бывшего своего студента Сипакова. Человек тот порядочный и хотя не ахти какой знаток китайского языка, больше в маньчжурском смыслит, но все же сумеет отыскать нужную книжку, ежели, паче чаяния, она вдруг понадобится и он отпишет о том из своего далека. А пока возьмет с собой только самое необходимое.

Ну что ж, прощай, лавра! Не очень-то приветливо она встретила его. И все-таки, оглядываясь на полтора года, проведенные здесь, Иакинф подумал, что время это было не такое уж худое. В сущности, ему нужно совсем немного, чтобы почувствовать себя счастливым: крышу над головой, место, где можно расставить книги, и покой — когда никуда не надобно спешить и тебя не тревожат по пустякам. Главный же источник счастья он всегда носил в себе, в своем сердце. Источник этот был неиссякаем. Отец Иакинф умел наслаждаться малым, независимо от событий и обстоятельств. Этих событий могло и не быть вовсе. И тем не менее каждый день приносил ему что-то новое — то удачную мысль, то какое-нибудь открытие, хоть и мельчайшее, в неисследованных дебрях азиатской истории, и он с радостью примечал: вот это пригодится! Вот это совершенно ново и будет полезно для человечества! Просыпаясь поутру, он знал, чем будет заниматься сегодня, над чем размышлять, и только ввечеру вздыхал, что день оказался слишком короток для того, что он на него наметил. Порой он напоминал себе дикаря, радующегося при виде какой-нибудь безделицы, дотоле невиданной. Так вот и

его радовал любой, самый незначительный факт, способный пролить свет на историю древних народов, которая его увлекала.

В приоткрытую оконницу донеслись звуки благовеста. Звонили к ранней обедне. Пора было собираться. С сожалением оторвался Иакинф от своих книг и бумаг.

У дверей его дожидался высокий рыжебородый монах, который был приставлен когда-то к его келье. С чего он опять торчит тут?

— Велено препроводить вас в консисторию, отец Иакинф.

Помещалась она тут же, в лаврской ограде.

Когда они пришли, все члены консисторские были уже на месте. Ждали только митрополита с его свитой.

Потекли томительные минуты ожидания. Никто не решался сесть. Стояли кучками в разных углах просторной комнаты и переговаривались вполголоса. Наконец раздался колокольный звон, послышалось громкое: "Тсс!.. Идут…" Все смолкло и застыло в низком поклоне. Двери распахнулись, и на пороге показался митрополит Серафим в парадном облачении, в белом клобуке с сияющим на нем бриллиантовым крестом. Строгий и величественный, он торжественно шествовал, опираясь на высокий, усыпанный драгоценными каменьями посох.

Только когда он пересек залу и опустился в приготовленные ему на возвышении кресла, колокольный звон умолк.

Все замерло.

— Я призвал вас сюда, братие, дабы огласить высочайший указ, — возвестил владыко и кивнул вошедшему вместе с ним и остановившемуся поодаль высокому красивому монаху с золотым наперсным крестом архимандрита.

Тот приблизился и, став слева, чуть позади кресла митрополита, ровным, густым голосом огласил указ его императорского величества из Святейшего правительствующего Синода от 23 августа 1823 года.

В указе перечислялись прегрешения начальника бывшей Пекинской духовной миссии и других лиц, свиту его составлявших, и повелевалось: "…начальника оной миссии за изъясненные противузаконные поступки его лишить архимандричьего и священнического сана и, оставя в монашеском токмо звании, водворить навсегда в Спасопреображенский Валаамский монастырь, с тем чтобы не отлучая его оттуда никуда, при строжайшем за его поведением надзоре, употреблено было старание о приведении его к истинному в преступлениях раскаянию…"

Иакинф слушал слова указа и не верил своим ушам. Как Валаам? Ведь речь шла о Троицкой Сергиевой пустыни. Навсегда?

Но было написано: на год и без лишения сана! Он стоял ошеломленный услышанным.

Это был крах всех его надежд.

Самое худшее из всего, что могло произойти…

Как жаль, что утерял, растратил он веру, которая одна могла поддержать в такую минуту. Верующий способен радоваться своим ранам; совершенный им грех не лишает его все же надежды… Там же, где угасла вера, зло и страдание теряют всякий смысл. Все происходящее представлялось Иакинфу каким-то жутким, отвратительным фарсом.

Когда указ был оглашен, митрополит Серафим поднялся с кресел, подошел к окаменевшему Иакинфу и коснулся посохом его груди. И тотчас две тени (Иакинф не разобрал, кто это) кинулись к нему и сорвали с шеи золотой наперсный крест.

— Преклони колени, брате, — шепнули ему.

Митрополит Серафим, возвышаясь теперь над ним, произнес:

— Возблагодари, брате, господа нашего Иисуса Христа за милость, тебе августейшим монархом и Святейшим Синодом оказанную. В осуждение за все прегрешения, тобою содеянные, токмо извержен ты от сана архимандричьего и священнического, но всемилостивейше оставлен в чине ангельском. А ведь мог и вовсе быть отлучен и, исключенный из звания духовного, мог быть отдан в военную службу или обращен на казенные заводы. Таковы узаконения существующие. Так возблагодари же, брате, всевышнего.

Вот, оказывается, какая милость ему явлена! Подумать только: его могла ждать еще и солдатчина, и каторга!

— Впредь, брате, — продолжал между тем митрополит, — не дерзай рукою кого бы то ни было благословлять и наперсного креста носить. Отныне и впредь должен ты токмо простым монахом именовать себя и писаться. Находясь на Валааме, из оного никуда отлучаться не можешь ты до конца дней твоих. Так дайте же ему перо и бумагу и пусть немедля в присутствии всей консистории и начальства епархиального строжайшею подпискою скрепит сии обязательства.

Иакинфа подтолкнули к столу, и он, не читая, подписал заготовленную бумагу.

Тем же указом иеромонахи Серафим и Аркадий были сосланы, — правда, без лишения сана и только под временным запрещением священнослужения — Серафим на четыре года, а Аркадий на год — во Введенский Островский монастырь. Причетнику же Яфицкому, освобожденному от суда, был дан вид для свободного приискания себе места.

Иакинф не помнил, как добрался до своей кельи.

Им овладело какое-то нестерпимое злое уныние. Все, решительно все казались ему виноватыми — и маленький консисторский дознаватель, и князь Голицын, и сам царь, о митрополите Серафиме уж и говорить нечего. Всем им хотелось не только сказать, но и сделать что-то злое в отместку…

Он не успел ни с кем даже проститься. Ни с Тимковским, ни с Бестужевым. Хорошо хоть Сипаков оказался в лавре, и отцу Иакинфу удалось передать ему свои книги и рукописи. С собой ничего брать не разрешалось.

В тот же день отец Иакинф был отправлен на Валаам с нарочным.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

I

Когда они подошли к Охтинской переправе, там уже стоял под парами "Валаамский Галиот". Плавать на пароходе прежде Иакинфу не доводилось. Ни на Волге, ни на Байкале пароходы еще не ходили, и он с любопытством разглядывал стоявший у причала корабль. Белый, с большими колесами посередине и высокой трубой, возвышавшейся над палубой, он показался Иакинфу красавцем.

На палубу, на которой было уже немало богомольцев, отправляющихся на Коневец и на Валаам, грузили дрова, бочки с селедкой, мешки с мукой и сахаром.

Перед самым отплытием по сходням поднялись несколько монахов Валаамского монастыря, дожидавшихся парохода на монастырском подворье у переправы.

Наконец раздался пронзительный гудок, от трубы оторвалось облачко белого пара, палуба содрогнулась, плицы колес зашлепали по воде, и пароход, медленно разворачиваясь, отплыл от причала.

Город, собственно, давно уже кончился — Александро-Невская лавра и пристань находились на самой его окраине, но справа от парохода, по левому берегу Невы, долго еще тянулась вереница прокопченных фабричных строений и одна заводская слобода сменялась другою.

Иакинф все не уходил с палубы, хотя становилось прохладно и конвойный монах тянул его вниз.

Да как было уйти? Клонившееся к западу солнце отбрасывало далеко вперед тень парохода. Переливалась, поминутно меняя оттенки, вода: спокойная, чуть отливающая перламутром перед

носом парохода, она будто кипела за колесами и долго еще не могла успокоиться за кормой. Но вот река приняла влево, направо зажелтела в лучах закатного солнца песчаная отмель, и за ней загорелись золотом купола и шпили Шлиссельбурга, или Шлюшина, как зовут его тут, а когда-то встарь звали Орешком. Полуразрушенные, замшелые стены древней крепости защищали некогда северные пределы Новгородской земли от набегов шведских викингов.

Сразу за Шлюшином открылась Ладога во всей своей красе: бескрайняя, безбрежная, золотисто-синяя, и на ней ходит крутая волна, уже не речная, даже не озерная, а будто морская — с иссиня-черным подбором снизу и веселым белым барашком сверху.

Пароход приметно закачало. Иакинф неотрывно глядел вдаль, держась за перила, всей грудью вдыхая тугой влажный ветер и чувствуя на лице свежие брызги.

Кажется, впервые с тех пор, как вышел из консисторской залы, где ему объявили приговор, он почувствовал вдруг, что жив. Тяжкое, неизбывное горе охватило его тогда. Такого еще не доводилось ему пережить. Все рухнуло… Все, к чему он так страстно стремился все эти годы. Напрасной оказалась вся прожитая жизнь, со всеми ее невзгодами, бедами, негаданными радостями, мечтами и стремлениями. Все это должно быть заживо погребено вместе с ним на пустынном острове в Ладожском озере.

Но упрямо режет носом тугую волну "Галиот", пронзительно кричат летящие за кормой чайки, крепчает ветер и разрывает в клочья и уносит куда-то вдаль тупое отчаяние… И приходит на ум старое, испытанное его правило: не унывай, отец Иакинф, не унывай! Почитай за благо уже одно то, что ты живешь, что появился на свете. Ведь этого могло и не быть! Так наслаждайся же тем, что у тебя есть. И чего никто отнять у тебя не может! Никакой Серафим, никакой Синод! Землей, по которой ступают ноги твои. Этой волной, бьющей о борт. Небом над головой. Воздухом, которым дышишь. Этим ощущением, что жив!

Не обделила его жизнь ни радостями, ни бедами. Не обошла ни любовью, ни настоящим делом, ни способностью дивиться красоте мира. И горестями тоже. Ну что же: надо быть мужественным! Жизнь не кончается этим приговором. И на Валааме люди живут.

Сопровождавший Иакинфа конвойный монах должен был сдать его на Валааме игумену Иннокентию. По рассказам, игумен — совсем древний старец. Безвыездно провел он на Валааме шестьдесят с лишним лет и, пройдя там все ступени послушания — звонаря, пономаря, голосовщика, ризничего, уставщика на

клиросе, казначея, — вот уже двадцать третий год исправляет должность настоятеля. В сан игумена возвел его в тысяча восемьсот первом году митрополит Амвросий. "Выходит, и у него, и у меня один и тот же крестный отец", — мелькнуло в голове Иакинфа.

Встретил его Иннокентий, вопреки ожиданиям, не сурово.

Игумену давно перевалило на девятый десяток. Был он лыс и сед, седина и в длинной жидкой бороде, и вкруг обширной лысины отливала древним, синеватым блеском. Однако старик был не по годам бодр и подвижен.

Внимательно прочитав бумагу из Синода, которую вручил ему монах, сопровождавший Иакинфа, и отпустив его, игумен стал подробно расспрашивать Иакинфа о его прегрешениях и про пекинскую его жизнь. Отвечая на расспросы старца, Иакинф не преминул упомянуть, что был пострижен в монахи в тысяча восьмисотом году митрополитом Амвросием.

Как Иакинф скоро убедился, Иннокентий был большой любитель душеспасительной беседы. Проведя в монашеском звании шесть десятков лет, он успел к своим девяноста почти годам отрясти с себя все мирские помыслы и желания и теперь, видя перед собой нового грешника, сосланного к нему для исправления, почел своим долгом наставить его на путь истинный.

— Ты, брате, не первый год пострижен в чин ангельский и должон знать, в чем состоит служение иноческое господу богу нашему. Не бессловесных животных, коих не хощет господь, подобает приносить в жертву, как встарь делалось, а самих себя изнурять, ради него, умершего за нас. Помни, брате, словеса Иисуса Христа, спасителя нашего: аще кто хощет ко мне идти, тот непременно должен отвергнуться себе. Вот и ты всечасно помышляй, брате, что ты и_н_о_к. И должон ты не наименованием токмо иноком быти, но и всем житием своим должон быть и_н_о_й против жития мирского. Дабы загладить вины свои пред господом богом, должон ты во всем держаться словес божиих…

Иакинф с подобающим вниманием слушал слова почтенного старца, а сам думал, действительно ли это ревностный послушник божий, убежденный праведник или в силу самой должности наставнической просто привык рассуждать цитатами из Священного писания, тем более что игумен, не скупясь, пересыпал ими свою речь.

— Ты, всеконечно, помнишь, брате, что Христос, спаситель наш, сказал у Матфея: "Царство небесное нудится и нуждницы восхищают его". А вдумывался ли ты, брате, что сии словеса значат? Нужду иноку должно претерпевати в телесных и

душевных подвигах. Как Христос претерпел и ученики его, как все святые и угодники наши непрестанно трудились и отвергнули мир, хотения и пристрастия свои, и все желания мирские, со всеусердною и горячею любовию храня и исполняя заповеди Христовы…

По исстари заведенному в монастыре обычаю, каждый послушник и монах, не имевший священнического звания и сана иеромонаха или иеродиакона, должен был ежедневно, после исполнения всех послушаний и служб, являться к выделенному ему старцу и исповедоваться перед ним в сегодняшних своих прегрешениях — не только в поступках, но и в мыслях греховных и соблазнах, ежели таковые случатся за день. Иакинф с опаской смотрел на этих старцев, привыкших запросто общаться с богом и отпускающих его именем грехи братии. Верили ли они сами? Или, как это часто случается в монастырях, делали вид, что верят. Нет, пожалуй, все-таки верили, по обету и так… на всякий случай.

Старцем, к которому ежедневно после повечерия должен был являться Иакинф, был сам игумен. Постепенно Иакинф вроде даже привязался к этому очень старому, не слишком грамотному, но по-своему неглупому и словоохотливому человеку. С ним можно было поговорить по-человечески, даже поспорить, не то что с другими старцами — ханжами и начетчиками. Отец Иннокентий понимал, что почти полвека, разделяющие их, не пустяки.

— Мие-то нечего бога гневить, — говорил игумен, выслушав Иакинфа и перебирая четки, — я достиг предела своей жизни, его же не прейдеши, а ты, брате мой, в самой еще силе, много тебе дано и много, ох много, с тебя еще спросится.

Человека по-настоящему узнаешь, только наблюдая его изо дня в день, волею обстоятельств сталкиваясь с его каждодневной деятельностью, в которой непроизвольно выявляются его способности, склонности, черты характера, истинные его побуждения. И не только речами влияет человек на других, но и всем обликом, всем существом своим. Есть люди, которые как бы излучают вокруг себя умиротворение — так действует мягкое их обхождение, незлобивость, спокойный, все понимающий взгляд, всегда ровный и тихий голос, постоянная готовность выслушать тебя и дать совет, ясная, безмятежная кротость. Таков был игумен Иннокентий. И Иакинфу казалось, что ему просто повезло, что он получил себе в наставники такого именно старца.

С его помощью как-то легче переносилось заточение. Да и что делать? Оставалось одно — как-то жить, тянуть лямку бесправного епитимийного монаха, исполнять обычные

монашеские послушания (он занимался иконописным мастерством, вместе с другими братьями косил сено, убирал в монастырских садах смородину и яблоки, копал картошку, рубил капусту), ходить на заутрени, обедни, вечерни, повечерия, читать акафисты, перед сном, уже после повечерия, исповедоваться перед своим старцем-игуменом, терпеливо и безропотно дожидаясь весьма сомнительного смягчения сурового наказания.

По строгим монастырским правилам, ни один брат не имел тут права стяжать себе ни малейшей собственности. Считалось, что он получает от монастыря все необходимое. В братских же кельях не было ни чернил, ни бумаги, не мог держать инок при себе и никаких книг, кроме псалтыря и Евангелия. Те несколько книг, которые, вопреки запрету, Иакинф захватил с собой, он был вынужден сдать книгохранителю.

Поначалу его охватило отчаяние. Но он предавался ему недолго. Силой воли заставил себя примириться с заточением, с тем, что мир его ограничен линией прибоя.

Мало-помалу расположив к себе настоятеля, войдя к нему в доверенность, Иакинф решил заговорить с ним о своих трудах.

— Дозвольте мне, ваше высокопреподобие, взяться вновь за мои упражнения. Без них мне тут — погибель смертная. Вы ведь знаете, отче, не только молитва в храме угодна господу богу, но и жизнь добродетельная, труды неусыпные. Так что поослобоните меня, ваше высокопреподобие, от некоторых церковных служб. Сам когда-то их отправлял. Буду я в келии своей бить поклоны да творить молитву. А в послушание мое иноческое вмените мне труды исторические. Все одно богомаз из меня не ахти какой. В других же каких мастерствах — ни в кузнечном, ни в столярном, ни в гончарном — я не смыслю. А тут я пользу людям приносить буду. Уж во всяком случае больше, нежели точа ложки или неся послушание в поварне.

— Вот-вот, опять гордыня тебя обуять готова, — пытался вразумить своенравного инока игумен. — А инок должен быть не горд и не самолюбив, должен иметь кротость молчаливую, глубокое смирение и послушание…

— Видит бог, отче, я смиренно несу послушание, вами мне препорученное. И поверьте, ваше высокопреподобие, пекусь я не о своих утехах, а о пользе ближним…

Не сразу Иакинфу удалось добиться своего, но все-таки ранней весной по распоряжению игумена Иннокентия исторические упражнения Иакинфа были зачислены ему в монашеское послушание. Вернули изъятые у него при поступлении в монастырь книги, выдали чернила и бумагу. Отныне он должен был участвовать в церковных службах только

по воскресеньям и в праздники. В прочие же дни недели приходил он лишь к заутрени и, отслушав ее до кафизм {Кафизма — чтение псалтыря.}, возвращался к себе в келью и принимался за труды до вечерней трапезы, после которой вместе со всеми братьями участвовал лишь в общем вечернем правиле {Правило — вечернее наставление игумена.}.

Конечно, и эти службы отнимали немало времени, но Иакинф был доволен — он получил теперь почти десять часов в сутки для своих занятий.

Постепенно он привык к одиночеству, к древнему этому монастырю, раскинувшемуся на островах сурового озера, к безмолвию огромного монастырского подворья, к золотым соборным главам, ярко сверкающим на солнце.

И какую радость доставлял ему его труд, постоянный и неусыпный! Он просыпался по утрам еще до того, как монах, исполняющий должность будильника, подходил к дверям кельи и, зазвенев в колокольчик, произносил свое "пению время, а молитве час", и успевал до благовеста к утрени еще часок поработать.

Вечером, когда кончались службы и умолкал до ранней утрени соборный колокол, наступала такая тишина, что становилось слышно, как потрескивает, оплывая, свеча да сверчок за печкой поет свою унылую песенку. Больше всего Иакинф любил такие вот часы, когда пламя свечи вырывает из сумрака разложенные на столе страницы и кажется, что рядом в этой угрюмой келье шумит прошлое, слышится топот копыт Чингисовой конницы, свист клинков и копий и перед ним проходит сама история — кровавая и величественная.

Иногда перед сном он задувал свечу, спускался на берег и обходил вокруг монастыря аллеей, знакомой ему до последнего поворота. Он мог бы пройти по ней и с завязанными глазами.

II

Иакинф выглянул в окно. На пристани царило необычайное оживление. У причала разгружалось разом несколько барж и лодок. Иакинф вспомнил: завтра престольный праздник, начинается ярмарка. Он поспешно оделся и спустился к берегу. Целых десять месяцев он не видел на острове ни души посторонних, и вот на тебе — ярмарка…

В пестрой и шумной толпе он сразу выделил молодую цыганку. На ней была широкая юбка с множеством оборок, на плечах цветастый платок, под тоненькой ситцевой кофточкой угадывались груди, маленькие и твердые. Во всем ее облике, в

гибком и стройном стане, огромных черных глазах, смуглой, словно опаленной южным солнцем, коже, чувствовалось, что она принадлежит к племени, вышедшему когда-то из знойной Индии.

Вечером, вернувшись от старца-игумена в келию, Иакинф поймал себя на том, что думает, о молоденькой цыганке. Он ворочался с боку на бок на войлоке, которым было прикрыто его узкое и жесткое ложе, и никак не мог уснуть.

Он вскочил с постели, накинул подрясник и побежал на пристань. Ярмарочные балаганы были пусты. Он пошел в глубь острова, подальше от монастырских стен. Шел быстро, перепрыгивая через валуны и корни, старался утомить себя до изнеможения. И вдруг на дальнем конце острова, сквозь стволы сосен, на самом берегу, он увидел пламя костра. Там раскинулся цыганский табор.

Языки пламени взмывали высоко в небо, отбрасывая яркие блики на смуглые лица расположившихся вокруг костра людей. Одни курили трубки, сидя на корточках, другие вольно раскинулись на траве, подложив под головы сёдла или просто руки и глядя в небо. Высокий цыган в распахнутом кафтане, прижав черной кудрявой бородой скрипку, плавно водил по струнам смычком. Рядом стояла цыганка, которую он видел утром на пристани, и, опустив ресницы, пела. Остановясь поодаль, Иакинф слушал песню цыганки. Голос у нее был низкий и густой, как мед. Он лился и лился тугой прозрачной струей, и даже визгливый смычок не мог нарушить его напряженное и властное течение. Непонятны была незнакомые гортанные слова, но в этом низком, грудном голосе было столько напряженной страсти, что и без слов можно было понять — пела она о южных ночах, о любви, о счастье, о горечи разлуки…

Под деревом, где он остановился, было почти темно. Его, должно быть, не видно. А она была видна вся. Иакинф смотрел на нее, и сердце кольнула острая жалость, что много лет жил он жизнью досадно неполной, что в нем бессмысленно погибло столько нерастраченной нежности. Да, видно, ничему-то не научила меня жизнь, горько усмехнулся Иакинф.

На другой день он встретил ее на ярмарке. Отделившись от подруг, она смело направилась к Иакинфу.

— Позолоти руку, святой отец, — сказала цыганка, взглянув ему прямо в глаза своими черными, немного сумрачными глазами, таинственными, как сама история ее племени.

Иакинф даже растерялся от неожиданности, сунул руку в карман подрясника и протянул ей все серебро, какое у него было.

— Всю правду расскажу тебе про твою жизнь, ничего не утаю, — говорила цыганка, беря его за руку и поднимая на него

свои удивительные глаза. Он глядел в золотистый сумрак этих глаз и думал: "Что ты можешь мне рассказать? Откуда тебе знать, как сложилась моя жизнь? Какие передряги выпали мне на долю?"

И тем не менее слушал. Говорила она быстро и бойко, а он, вполуха слушая ее рассказ, не отрываясь глядел на нее. Она была совсем не так молода, как ему показалось издали, с первого взгляда. Ей было, должно быть, лет тридцать. В глубине черных глаз притаилась печаль. И Иакинф вдруг подумал, что она и впрямь может рассказать его жизнь, даром что не знает внешних ее событий. Да разве в них дело? Десятки, сотни, даже тысячи событий, может быть, больших и значительных, происходили вокруг него и прошли незамеченными, не оставив следа в его сердце, выветрились из памяти, потому что не имели для него никакого значения. А что осталось? Что он пронес с собой через всю жизнь?

— Ты верь ей, верь, батюшка, — вторила ей стоявшая рядом цыганка. — Она тебе всю твою жизнь, всю, как есть, расскажет. Она колдунья. Мы сами ее боимся. Она тебе всё, всё, как есть, расскажет, что было и что будет.

Иакинф поймал себя на том, что боится, да и не хочет узнать, что будет. Многое он готов отдать, чтобы добиться того, что замыслил, но ни за что не согласится, чтобы ему наперед предсказали все, что ему предстоит в жизни. Пусть благословенно будет неведение!

— Нет, нет, колдунья, не надо мне рассказывать, что будет, не надо!..

А вечером он был в таборе. И на другой день. И на третий. И так целую неделю, пока длилась ярмарка.

Об этих встречах своему старцу-игумену он ничего не рассказывал. Сам он в них ничего дурного не видел и был рад, что на излете пятого десятка не огрубели его чувства, не подкралась к сердцу усталость. Да может, эти душевные и телесные силы — величайшая благодать божия и, что бы ни сказал ему старец-игумен, надобно не сетовать, а благодарить бога, что он не отнял их у тебя.

Возвращаясь к себе в келью после этих встреч, он испытывал будто пробуждение от сна. Было чуть стыдно и вместе радостно оттого, что он натворил и еще может натворить, старый греховодник. Он чувствовал себя, как в жаркий летний день после пронесшейся грозы, которая омыла и жаркое небо, и пыльную землю, освежила все вокруг…

Иакинф возвращался к себе под утро. На востоке едва занималась заря, озеро лежало внизу ровное, чуть схваченное туманом. Остановясь у самого обреза воды, он взглянул вдаль и

вдруг почувствовал, что, несмотря ни на что, вопреки всему, что с ним приключилось, он счастлив, что стоять вот так над туманящимся озером, вдыхать этот свежий, утренний ветер, слышать, как кричат только что проснувшиеся чайки — это и есть счастье. Жизнь не очень-то щедра на радости. А такое утро — разве это не истинная радость?

III

Барон Павел Львович Шиллинг фон Канштадт был доволен, что не отказался от этого поручения, как первоначально намеревался. Просто не мог взять в толк, что это вице-канцлеру вздумалось послать на отдаленный сей остров, расположенный чуть не посередине студеного Ладожского озера, именно его, да еще с заданием столь неопределенным — проверить, нет ли в архиве и книгохранилищах монастыря и семи его скитов каких-либо данных о ранней истории сей обители. По преданию, монастырь основан тут, на границе новгородских и шведских владений, еще в десятом веке. Впрочем, ему не привыкать к неожиданным поручениям. Прочат же его в председатели комитета по изданию "Собрания законов Российской империи".

Но вода в озере была синяя и переменчивая, как сапфир, острова Валаамского архипелага живописны, фрески старинных скитов, выполненные безвестными монастырскими богомазами, чудесны, прозрачные северные ночи еще светлее и таинственней, нежели в Петербурге, и, наконец, эта неожиданная встреча!

Воротился он из поездки в уединенный скит на дальнем острове поздно вечером и, когда поднимался к себе в монастырскую гостиницу, расположенную, как и весь монастырь, на взгорке, навстречу попался какой-то странный монах — без клобука, в одном подряснике, на голове что-то вроде круглой шляпы, а по бокам — две нимфы в цветастых шалях и широких юбках. Павел Львович невольно остановился и поглядел им вслед. Монах, видно, был несколько под куражом, что-то оживленно рассказывал, женщины хохотали.

А когда на другой день Шиллинг зашел в одну из братских келий, он увидел вчерашнего монаха, склоненного над рукописью и окруженного китайскими ксилографами. Инок был так поглощен своими трудами, что не услышал, как скрипнула дверь и кто-то чужой вошел в келью. Пришлось громко кашлянуть и представиться.

Монах взглянул на него хмуро. "Ходят тут", — было написано на его лице. По мало-помалу они все же разговорились и даже нашли общий язык: Шиллинг с его общительностью и тактом, как

никто другой, умел разохотить человека к беседе.

Несмотря на свою немецкую фамилию, Павел Львович был человек истинно русский. Предки его, выходцы из Германии, еще в незапамятные времена поселились в Эстляндии и давно обрусели. Отец его был пехотный полковник, много лет командовал Низовским мушкетерским полком, расквартированным в Поволжье, и свои детские годы Павел Львович провел в Казани. А монах, оказывается, тоже из Казани — так что им было что вспомнить.

Но куда больше, нежели полудетские воспоминания, занимали Шиллинга китайские книги и ксилографы, которыми был завален длинный рабочий стол, придвинутый к окну кельи: Восток был давней страстью Павла Львовича. Жизнь его складывалась неровно и непросто. Еще на девятом году, как было принято в ту пору в Дворянских семьях, он был зачислен прапорщиком в полк, которым командовал отец. Когда Павлуше исполнилось одиннадцать, отец умер, и мальчика определили в Первый кадетский корпус в столице. Кончил он корпус с отличием, был произведен в подпоручики и зачислен в свиту по квартирмейстерской части, как при императоре Павле именовался генеральный штаб. Правда, семейные обстоятельства помешали его военной карьере — не было средств, чтобы вести жизнь, к которой обязывало его положение в главном штабе, и он вскоре перешел на службу в коллегию иностранных дел, где платили жалованье и где к тридцати пяти годам он дослужился до статского советника. Только когда началась отечественная война, он отпросился в действующую армию, штабс-ротмистром драгунского полка участвовал в сражениях с Наполеоном, был ранен в бою, дважды награжден — Владимиром и саблей с надписью "За храбрость". Кончилась война — он вернулся к своей дипломатии.

Но по призванию своему Павел Львович не был ни военный, ни дипломат, а изобретатель и ученый. Круг его интересов был необычайно широк. Физик, ориенталист, криптограф, он изобрел для нужд армии и горного дела электрический запал, чтоб взрывать на расстоянии пороховые горны и мины, основал первую в России литографию, снабжал русскую армию и русскую дипломатию такими хитроумными шифрами, которые, несмотря на все усилия, не могли расшифровать ни противник, ни… союзники. Уже не первый год увлеченно трудился он над созданием электромагнетического телеграфа и бог знает, чем еще не занимался. Но хоть много лет состоял он в нашем посольстве в Мюнхене, а затем служил в департаменте, ведавшем западными странами, давней и неизменной его привязанностью был Восток.

Еще в самом начале века, будучи в Мюнхене, он пристрастился к ученым собраниям в тамошнем Музеуме, на которых дебатировались вопросы истории, языка и культуры восточных народов. В залах Музеума была собрана богатая коллекция восточного искусства. С тех далеких, почти что юношеских, лет Павел Львович и "заболел" Востоком. Оттого-то и перевода в Азиатский департамент добился. Заслуги его в ориенталистике были признаны в Европе: Павел Львович был избран членом-корреспондентом Азиатского общества в Париже, почетным членом Британского королевского общества азиатской литературы в Лондоне. И вот, оказывается, перед ним бывший пекинский архимандрит Иакинф. На ловца и зверь бежит.

Этот дородный, любивший поесть и выпить человек и в свои сорок лет отличался ненасытным любопытством. Все новое влекло и занимало его. Ориенталист по призванию, он всю жизнь провел на Западе, хорошо знал Германию и Францию, не раз бывал в Италии и Англии. В Азии же, которая так его занимала, как-то не случилось ему побывать, и он знал об азиатских странах только по книгам, которые собирал всю жизнь, да по рассказам путешественников. А отец Иакинф почти полтора десятка лет провел в самой что ни на есть азиатской стране, изучил китайскую грамоту, трудность которой вошла в пословицу, свободно читает и переводит о китайского. Подумать только! Понятное дело, он набросился на монаха с расспросами.

Иакинф же поначалу поглядывал на этого толстого подвижного человека с недоверием. Но никто, кроме разве что Бестужева да Волконской, не проявлял к тому, чем он занят, такого жадного любопытства, не расспрашивал об его изысканиях с такой неподдельной заинтересованностью, и Иакинф постепенно оттаял и разговорился. Хоть о китайском языке его негаданный гость имел представление самое поверхностное, да, видно, немало читал о Китае и вообще о восточных странах и, по его словам, собрал у себя обширную — в несколько тысяч томов — библиотеку китайских, маньчжурских, монгольских, японских и других сочинений на восточных языках.

Шиллинг принялся расспрашивать Иакинфа, над чем тот трудится с таким увлечением. Иакинф рассказал, что пишет записки о своем путешествии через Монголию на возвратном пути из Пекина и заканчивает перевод с китайского одного любопытного сочинения о Тибете, которое, к счастью, захватил с собой, отправляясь на Валаам.

— О Тибете? — живо спросил Шиллинг.

— Да, описание Тибета.

— Но это же замечательно, отец Иакинф! — возбужденно

вскричал Шиллинг. — Подумать только: описание Тибета! Мы же решительно ничего не знаем об этой стране. Если и слышали кое-что, так только из сбивчивых известий римско-католических миссионеров, возвратившихся из Китая.

— А доверять их известиям надобно с очень большой осторожностью и осмотрительностью, — сказал Иакинф. — Они могут в своих описаниях такого нагородить!.. А тут, чем сие сочинение любопытно, милостивый государь? Отчего я за него ухватился? Сочинитель — китайский чиновник, много лет служил он в Тибете по провиантской части и знает эту страну не понаслышке. Слава богу, исколесил ее вдоль и поперек. Правда, сведения, которые он приводит, относятся к веку прошедшему, но зато уж надежны и достоверны. Да я и сам хочу присовокупить в дополнение к сведениям, которые приводит китаец, статистические известия новейшего времени. Но над сим сочинением я еще тружусь. А вот эти уж совсем готовы и даже перебелены.

Шиллинг внимательно разглядывал рукописи, которые монах раскладывал перед ним на столе, и пришел в восторг неописуемый.

— Грех, батюшка, держать эти сокровища под спудом! Их надобно печатать, и без всяких промедлений!

— Да как их напечатаешь, сидя тут? — усмехнулся Иакинф. — И кто разрешит?

— Ну уж разрешения мы как-нибудь добьемся! — убежденно говорил Шиллинг. — Давайте-ка, давайте то, что у вас готово. Я захвачу с собой. Думаю, что и через цензуру проведу, и напечатать сумею.

Иакинф передал Павлу Львовичу несколько статей, в том числе подготовленные к печати еще в Александро-Невской лавре "Разные известия о Китае" и "Ответы на вопросы, которые г. Вирст предложил г. Крузенштерну относительно Китая". Последняя статья особенно заинтересовала Шиллинга. Работа была не такая уж большая — страниц полтораста, но она была любопытна тем, что написана просто и доступна каждому. Известному нашему мореплавателю Крузенштерну перед его отправлением в кругосветное путешествие было задано двадцать семь вопросов о Китае. Вопросы были самые разнообразные и касались почти всех сторон государственного устройства, частной и общественной жизни этой страны, которую намеревался посетить славный мореплаватель. Его спрашивали и о китайских портах, и о фабриках, о торговле и о мастеровых, о рабстве и о многом другом. Возвратясь из кругосветного плавания, Крузенштерн опубликовал ответы на эти вопросы. Многие из них были досадно

неполны, отрывочны, а порой и очень наивны. Иакинф решил их исправить и дополнить. Шиллинг понимал: чтобы выполнить такую работу, надобно хорошо знать все стороны жизни Китая. И сейчас, читая ответы Иакинфа на Вирстовы вопросы, он отчетливо видел, что перед ним сидит знаток Китая исключительный. Собранные вместе, эти ответы представляли собой как бы популярную "энциклопедиа синика". Конечно же, эта работа, хоть сочинитель и назвал ее так скромно, не может не вызвать интереса у самых широких кругов читателей.

Иакинф пожаловался, что ему не хватает книг для ученых его упражнений. Вывезенная им из Китая библиотека осталась в Петербурге у бывшего студента его миссии Сипакова. При отъезде из столицы, столь поспешном, он сумел захватить с собой всего несколько книг и рукописей, и все они им уже обработаны.

— Помогите, барон, христом-богом прошу вас. Вот-вот окончу я описание Тибета и свою Монголию, а чем дальше заняться осенью и зимой — ума не приложу.

— Буду рад помочь вам, отец Иакинф, — сказал в ответ Шиллинг. — Составьте список книг, которые вам надобны, а я постараюсь их разыскать во что бы то ни стало. И перешлю их с первой же оказией.

Шиллинг вскочил из-за стола и зашагал по келье.

Две черты всегда отличали Павла Львовича — бьющая через край энергия и неизменная доброжелательность. С неутомимой жадностью он отыскивал в каждом, с кем сталкивала его судьба, что-то хорошее — способность к добру, природный ум, проблеск таланта. Нередко он ошибался, отыскивал их там, где их не было вовсе, но зато уж никогда не проходил мимо, когда они действительно были. Сейчас у него не было никаких сомнений: он откопал тут, на Валааме, настоящий клад. Разве ж можно оставить этого удивительного человека в монастырской тюрьме? Надо использовать все свои знакомства и связи, чтобы добиться его возвращения в Петербург. Вся трудность тут, конечно, в том, что решение Синода конфирмироваио самим государем. А его величество неохотно меняет свои решения.

— Азиатскому департаменту, который недавно создан при министерстве иностранных дел, вот как необходим человек, знающий Восток и китайский язык, — Шиллинг провел по горлу ребром ладони. — Есть у нас люди, разбирающиеся в монгольском и в маньчжурском, а китайского никто толком не знает, в том числе и возвратившиеся миссионеры — и из вашей миссии, и из предыдущей. Надеюсь, вы ничего не будете иметь против того, чтобы потрудиться на дипломатическом поприще?

— Помилуйте, барон, как можно! Только вот Егор Федорович

Тимковский рассказывал мне, что граф Нессельрод уже обращался с подобной просьбой к государю и тот не соизволил на сие назначение.

— И все-таки попробуем! Да, конечно, государь упрям. И, к сожалению, редко бывает последнее время в столице, и все же попробуем! Нет таких крепостей, которые нельзя взять. Надобно только правильно вести осаду! А вы, отец Иакинф, не почтите за труд составить реестр переводам с китайского и вообще вашим трудам, которые уже готовы или еще только замышлены.

IV

Когда на другой день Иакинф вручил Шиллингу перечень своих трудов, тот диву дался: чего тут только не было!

Шиллинг читал пункт за пунктом, а Иакинф давал пояснения.

— Большой китайско-русский словарь, — читал Шиллинг. — Это вы что же, сами его составили?

— Да я их несколько в бытность свою в Пекине составил. Нужда заставит и горшки обжигать! — улыбнулся Иакинф. — Принялся я за изучение китайского языка на другой же день по прибытии в китайскую столицу. А пособий никаких — ни словарей, ни грамматик, ну ничего решительно! Что делать? Вот и поставил я себе за правило возвращаться всякий раз с прогулки по городу с запасом новых слов. И чтобы не ошибиться, я их толкование у всех встречных спрашивал. Так за четыре первых года и составился у меня словарь наиболее употребительных слов с русским переводом. А потом принялся я переводить с китайского языка по изъяснению своих учителей, записывая значение каждого встретившегося нового гиероглифа и, таким образом, при упражнении в переводах купно и словари составлял. А этот словарь, я только один его в список включил, перевел я с самого надежного китайского словаря, который очень ценят тамошние ученые. Он содержит до двенадцати тысяч знаков. Должен сказать, правда, что я и сам присовокупил к нему множество выражений и названий употребительных вещей, которых в китайском подлиннике нету. Лет десять, наверно, я на эту работу потратил. И это, кажется, четвертый или пятый из тех, которые я для себя в Китае составил. И все в Питере у Михаилы Дмитрича Сипакова остались.

— Да вы и не представляете себе, батюшка, что это за богатство! — воскликнул Шиллинг. — Не знаю, как в Европе, а у нас в России ничего подобного нету! Я сам намеревался китайский язык изучать и интересовался, нет ли у нас словаря и грамматики. Оказывается, ни того ни другого нету. Я уж у всех

наших ориенталистов допытывался. Нет, говорят, и всё тут.

Следующим пунктом в переданном Иакинфом реестре шла "Всеобщая китайская история, расположенная по летоисчислительному принципу", в 16-ти томах.

— В шестнадцати томах?! — переспросил Шиллинг недоверчиво.

— Да, в шестнадцати, — подтвердил Иакинф. — Страниц по пятисот в каждом. Это я тоже для себя, для справок, перевел начерно из известного китайского исторического свода "Цзы-Чжи Тун-цзянь Ган-му". Как это лучше перевесть? "Всеобщее зерцало, правлению помогающее". Свод этот был составлен первоначально еще в одиннадцатом веке знаменитым китайским историком Сыма Гуаном, а потом доведен до семнадцатого столетия. Это, можно сказать, подручный справочник каждого китайского ученого. Перевод, правда, сделан начерно. Чтоб его издать, надобно, конечно, как следует его отделать и перебелить. Но в разных исторических моих изысканиях он мне большую услугу оказывает. И тоже нету у меня под рукой, тоже в Петербурге, у Михаилы Дмитрича, остался.

Далее в реестре Иакинфа следовал ряд исторических сочинений, переведенных и извлеченных им из разных китайских историй, — "История народа монгольского от двадцать третьего столетия до Рождества Христова по настоящее время" в трех томах, "История первых четырех ханов из Дома Чингисова", "История династии Мин", "История Тангута и Тибета от двадцать третьего столетия до Рождества Христова по тринадцатый век нашего летоисчисления", "Описание Чжунгарии и Восточного Туркистана в древние времена и в настоящем состоянии", "Описание Тибета", над которым Иакинф теперь трудится… Далее следовало "Четверокнижие" в двух обширных томах.

— Четверокнижие? — спросил Шиллинг. — Это что же, те четыре книги, которые составляют основу китайской мудрости?

— Именно так, Павел Львович. Четыре канонические книги школы китайского мудреца Кун-цзы или Кун-фу-цзы, коего римско-католические миссионеры переиначили на свой лад в Конфуция… Первая из этих книг "Лунь Юй" — "Суждения и беседы". Она содержит в себе изречения и деяния самого Кун-цзы, его ответы и изъяснения, записанные его учениками.

— И давно она составлена?

— Да кто его точно-то знает, но, наверно, не позже, как в третьем или даже в четвертом столетии до Рождества Христова. Это едва ли не самое раннее из того, что осталось об этом прославленном мудреце китайском. И уж во всяком случае, на мой взгляд, самое замечательное. Перевел я и другие книги из

того же канона "Да-сюе", или "Высшее учение, служащее ключом к добродетели", и "Чжун Юн", излагающее учение Кун-цзы о том, как Дао… Слово сие буквально-то значит путь, но путь всего сущего. Это, надо вам сказать, высший принцип Кунцзовой мудрости. Так вот, книга сия и трактует, как это Дао воплощается в совершенно мудром человеке и он становится частью мирового единства Небо — Земля — Человек. И последняя из книг этого канона "Мын-цзы". Она названа так по имени другого древнего китайского мудреца, последователя Конфуция. Мын-цзы был, доложу я вам, Павел Львович, мудрец первостатейнейший. Я его ставлю не ниже самого Кун-цзы. Он много странствовал, переходя из одного удела в другой, и излагал свои взгляды в беседах со своими учениками и правителями тех уделов, где бывал. По ясности и отточенности слога эта книга превосходит, на мой взгляд, все остальные книги канона. Я окончил сей перевод буквально накануне отъезда из Пекина.

От всего этого Шиллинг пришел в совершеннейший восторг.

— Да вы, батюшка, я думаю, и не подозреваете, что вы сделали! — воскликнул он.

— Как знать, может быть, и подозреваю, — улыбнулся Иакинф. — Должен сказать, барон, что я включил в сей перечень только наиболее крупные и, в основном, законченные работы. Множество же переводов отрывками, сделанных начерно, и вовсе не включил в сие число.

— Уверяю вас, батюшка, вся наша Академия наук за все сто лет ее существования не сделала и половины того, что успели вы один! — воскликнул Шиллинг, вскакивая с места и вспугивая птиц, слетевшихся к кормушке, устроенной Иакинфом на подоконнике. — Нет, нет! После того, что вами сделано и подготовлено, — сидеть на Валааме! Это чудовищная несправедливость! Я сделаю все, чтобы вырвать вас отсюда!

Шиллинг уехал, а Иакинф остался, окрыленный новой надеждой.

В августе пришел на остров "Валаамский Галиот". Шиллинг прислал с ним письмо, в котором очень коротко рассказывал о своих хлопотах, сообщал, что три статьи Иакинфа приняты журналом "Северный архив", а одна из них — "Указы, относящиеся до Английского посольства, бывшего в Пекине в 1816 году" — уже напечатана в только что вышедшем последнем нумере журнала, который он присылал вместе с этим письмом. Иакинф нетерпеливо раскрыл журнал. Еще бы — ведь это была первая его печатная работа! В разделе "История" после любопытного исторического очерка об Иркутске публиковались его "Указы". Перевод сопровождался примечанием издателей: "К

числу важнейших покушений Англии проникнуть на Восточную Азию принадлежат два посольства, отправленные ею в Китай: первое лорда Макартнея в 1793, а последнее лорда Амгерста в 1816 году. Получив с китайской границы перевод изданных по сему случаю в Китае постановлений, считаем обязанностию представить оный нашим читателям". Никакого упоминания об имени переводчика, представившего эти указы, не было. Господь с ним, разве дело в имени! Да и как же иначе? Не напишешь же, что перевод получен от епитимийного монаха, содержащегося в монастырской тюрьме на Валааме.

Нет, молодец барон! Везет мне на добрых людей, — подумал Иакинф. — Тимковский, Бестужев и вот — Шиллинг. Самое главное, что опубликованы наконец эти любопытнейшие указы китайского правительства. Они проливают такой яркий свет на характер отношений пекинского двора к иностранцам. Иакинф в который раз прочитал хорошо ему известный, но теперь уже не рукописный, а печатный текст своего перевода. В первом же указе маньчжурского императора сообщалось, что "Английское правительство прислало посланника с данию". По прибытии сего посольства в Пекин предписывалось назначить ему местопребывание в подворье иностранцев и откомандировать к нему двух шефов гвардии с десятью капитанами. Имея при себе сто человек императорской гвардии, они должны были денно и нощно нести караул и на дворе, вокруг подворья посольского, воспрещая англичанам самовольно выходить и не дозволяя здешним жителям иметь сообщение с ними, а "нарушителей сего брать на цепь и с доклада Нам предавать Уголовной Палаты Суду".

Последующими указами определялся каждый шаг посланника на китайской земле. Ему предписывалось, в частности, в благодарение за награждение столом "учинить церемонию трех коленопреклонений и девяти земных поклонов". Так как английский посланник и его помощники всячески уклонялись от унизительного сего церемониала, ссылаясь на нездоровье, последовал заключительный императорский Указ: "Срединное государство — Держава, владычествующая всей Поднебесной! Возможно ли было спокойным духом снести презрение и надменность? Почему Мы и указали выгнать Посланников обратно в свое государство".

Насколько он знает, такие документы впервые публикуются в Европе.

Прислал Шиллинг и ящик китайских книг, в том числе и "Сиюй-вэнь-цзянь", или "Описание Западного края", которое особенно было нужно Иакинфу для работы.

V

Прошла осень, наступила зима, установилась санная дорога, а об освобождении ни слуху ни духу.

В монастыре постоянно жило человек полтораста — иеромонахи, иеродиаконы, простые чернецы, рясофорные монахи {Рясофорный монах — послушник, получивший от настоятеля благословение на ношение в монастыре рясы и клобука, но не постриженный в монахи.}, послушники… Иакинф скоро неплохо разбирался в этом пестром на первый взгляд обществе. Да и были эти валаамские затворники чем-то до того похожи друг на друга, своей неприметностью, что ли. Впрочем, чему же тут дивиться: с утра до вечера слушают одни и те же молитвы, читают одни и те же тексты Священного писания.

Но помимо иноков, постоянно приписанных к монастырю, было на Валааме десятка полтора епитимийных монахов, сосланных сюда, как и он, в монашеские труды в наказание за разные прегрешения. За что только не ссылали сюда! Большей частью за пьянство — кажется, самое распространенное преступление в русских монастырях. Высокий, кудрявый красавец, больше похожий на казака-разбойника, нежели на монаха, иеродиакон Юрьева монастыря в Новгороде Варлаам был сослан за "постоянную нетрезвость, сопровождавшуюся соблазном для монастырской братии и для жителей города и за оскорбление архимандрита грубобранными словами". Но исправлению он поддавался трудно, был горд и резок. За крайнюю же нетрезвость был сослан на Валаам и иеромонах Софроний, а также за "нанесение побоев богомольцам в храме, куда он явился, яко неистов, в одной срачице".

Это было беспокойное племя людей вольного духа и буйного нрава. По словам игумена Иннокентия, человека обычно очень сдержанного, закоснелые в зле, поврежденные в вере, они разливали свой яд в сонме братии, нарушали святую тишину монастырской жизни и заставляли его, игумена, претерпевать немало скорбей.

Несмотря на всю строгость монастырского надзора, водились у них денежки, умудрялись они доставать где-то и сладкое вино и горьку водочку, и даже тут, на Валааме, постоянно бражничали.

На первых порах Иакинф сторонился их. Но потом, и не раз и не два, бывал на их шумных сборищах. Видимо, сама натура требовала таких "зигзагов", как он их называл. Время от времени ему надо было быть в таком вот шумном многолюдстве, веселом и бездумном.

Да и общество этих беззаботных бражников, отпетых головушек, было тут, на острове, пожалуй, самое интересное. Среди них попадались характеры своеобычные, каждый готов был порассказать свою историю, мало похожую на историю других. И как резко разнились они от остальной братии!

Были среди них и прирожденные мудрецы, имевшие на всё свой взгляд, свои убеждения.

Иеродиакон Варлаам относился ко всей прочей братии монастыря с откровенным презрением.

— Это же всё — бесхребетники, — говорил он. — Воля, она у человека вроде хребта. Есть у человека такой хребет — он стоит прямо, высоко голову держит. Нет — согнулся в три погибели, к земле стелется, голова долу клонится. Не человек, а кисель. Уж поверь ты мне, отец Иакинф, всем этим монашишкам жить за свой страх на свете боязно. Им надобно, чтобы кто-то другой за них перед господом богом ответ держал. А мне ходатаев за себя пред всевышним не надобно. Я сам за себя отвечу. Мне надобно одно — чтоб свободу мне дали. И не для своеволья, нет, а чтоб мог я жизнь по своей воле устроить.

Мысль эта пришлась Иакинфу по душе. Он и сам понимал свободу как освобождение от внешнего ограничения, от цепей, от не им, а кем-то другим, посторонним, установленных правил и обычаев. Да, прав Варлаам, свобода — это возможность устроить жизнь по своему разумению. Ему всегда не хватало такой свободы. Где ее взять, как ее добиться? Да и возможна ли она вообще? Разве может быть человек свободен от тех, кто живет вместе с ним, даже от тех, кто жил до него и оставил ему жизнь в наследство? И от тех, кто придет ему на смену в этом мире? Не есть ли свобода просто мечта, призрачная и недосягаемая, но оттого не менее сладостная?

Неделя тянулась за неделей, месяц за месяцем. Так складывались годы.

Они жили на своем острове совершенными анахоретами. Только время от времени приходили неверные слухи о том, что творится на белом свете. Новости доходили к ним, уже состарясь. И все-таки приходили.

Ужасный потоп, оказывается, обрушился на столицу, преставился Александр I, мятежные полки выходили на Сенатскую площадь, на престол вступил новый император, формировался новый кабинет, где-то начинались войны, подписывались мирные трактаты, кого-то угоняли в Сибирь на каторгу, других возвращали из далекой ссылки, а он все так же волочил на себе тяжелую цепь суровой кары, и конца его

валаамскому заточению не было видно. Все так же в половине третьего пополуночи стучал в двери кельи монах, исполняющий послушание будильника, а через полчаса раздавался благовест, сзывавший братию к ранней утрени, все так же после целого дня трудов нужно было тащиться к повечерию, а потом идти на позднюю исповедь к старцу Иннокентию.

А ему так не терпелось в столицу, где издаются журналы, выходят книги, где кипит жизнь, к которой он едва успел прикоснуться…

Но один бог ведает, попадет ли он туда когда-нибудь или так и суждено ему похоронить себя на этом пустынном острове… И что же тогда будет с его трудами?

Часть вторая
ОБРЕТЕНИЯ И НАДЕЖДЫ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

I

Пока отец Иакинф томился в своем заточении, переводил китайских историков, писал записки о Монголии, исповедовался в грехах пред старцем Иннокентием, а потом вдруг срывался и бражничал день-другой в обществе отца Варлаама и его братии, в Петербурге готовилось исподволь его освобождение.

Вернувшись в столицу, Павел Львович развил бурную деятельность. Прежде всего он сошелся покороче о Егором Федоровичем Тимковским, заведовавшим одним из отделений департамента. Сам Шиллинг перевелся в Азиатский департамент недавно, и знакомство с Тимковским у него было шапочное. А Егор Федорович оказался чудесным человеком, хоть себе на уме, но добродушным, образованным и обязательным. Об отце Иакинфе он был самого высокого мнения; восхищался его превосходным знанием китайского языка, китайской словесности и всех обстоятельств жизни этой отдаленной страны. Рассказал, какую неоценимую помощь оказал ему Иакинф в составлении трехтомного путешествия в Китай через Монголию.

— Разве без отца Иакинфа я мог бы его написать? Уж не говоря о том, что и саму-то идею книги он мне подал, весь второй и третий томы, заключающие в себе сведения о Китае, Монголии и Восточном Туркестане, целиком основываются на его материалах и на его переводах.

Когда Шиллинг поделился своим планом добиться причисления отца Иакинфа к Азиатскому департаменту, он нашел в Тимковском горячего сторонника и самого деятельного союзника.

— Павел Львович, голубчик, так это ж было б для Азиатского департамента сущее приобретение! Один отец Иакинф целого департамента стоит! Но как это сделать? Граф Нессельрод уже ходатайствовал о том пред покойным государем, и ничего у него не вышло.

— Так ведь то перед покойным! А император Николай вряд ли будет чувствовать себя связанным решением брата. Надобно только подвигнуть графа Нессельрода, чтобы он вновь вошел с представлением к государю. К великому моему сожалению, сам я

не могу за это взяться. Отношения с министром, скажу вам доверительно, у меня неважные. Граф не хотел дать согласия на мой перевод из Европейского в Азиатский департамент. Пришлось мне испрашивать соизволения самого государя. Граф этого, разумеется, не забыл. Так что, вы сами понимаете, мое ходатайство может лишь повредить делу.

Нелюбовь Шиллинга и Нессельроде была взаимной. Про графа говорили, что он отличается малым ростом, но великим умом. Павел Львович этого не находил. На взгляд Шиллинга, Нессельроде был просто сухой и педантичный чиновник, расторопный и исполнительный. Но педантичность и исполнительность молодой государь больше всего и ценил в своих министрах. И не случайно, переменив после смерти брата весь состав своего кабинета, государь по-прежнему оставил Нессельроде министром иностранных дел. Во внешних делах граф был и остался поклонником Меттерниха, недаром его прозвали "австрийским министром русских иностранных дел". Он был больше занят европейскими, нежели азиатскими делами. Что этому сухому педанту до судьбы отца Иакинфа да и до всего Азиатского департамента!

Что же касается государя, то он вряд ли станет противиться. Человек он решительный. С возможным противодействием митрополита Серафима и духовного ведомства считаться не станет. Православной церковью, в отличие от мягкого Александра, Николай управлял по-военному, ходили слухи, что обер-прокурором Святейшего Синода он собирается назначить своего флигель-адъютанта гусарского генерала Протасова. Надо думать, отцы церкви, бунтовавшие в свое время против князя Голицына, враз присмиреют.

Тимковский и Шиллинг сообща подготовили представление, с которым Нессельроде должен будет войтя к государю, и решили, что воздействовать на графа нужно будет через Родофиникина, директора Азиатского департамента. Старый, хитрющий грек — птица стреляная, он-то уж лучше, чем кто-нибудь другой, поймет, что будет означать в изучении Востока и формирований нашей азиатской политики прикомандирование к департаменту такого знатока Китая, как отец Иакинф. Подготовить Родофиникина должен был Тимковский, императора — Шиллинг.

Николай I еще с тех пор, как он исправлял должность генерал-инспектора русской армии по инженерной части, интересовался физическими опытами Шиллинга, а на некоторых из них и лично присутствовал. Бывал Павел Львович частым гостем и в Аничковом дворце. За ним шла слава замечательного

шахматиста. Из уст в уста передавалось, как, играя в шахматы со знаменитым Ампером, Павел Львович, с завязанными глазами, легко выиграл у того партию. А императрица Александра Федоровна была довольно искусной шахматисткой. Она-то частенько и присылала за Шиллингом с приглашением пожаловать во дворец на партию шахмат. Обычно такие визиты не доставляли Павлу Львовичу особенной радости. Императрица была обидчива, обыгрывать ее было рискованно, откровенно поддаваться неловко. Но теперь он ждал приглашения во дворец о нетерпением. Авось удастся свидеться с царем и переговорить об Иакинфе.

Случай этот скоро представился. Государь был любезен и обещал рассмотреть просьбу об освобождении Иакинфа благосклонно.

И вот, когда двадцать второго октября Шиллинг приехал в Азиатский департамент, его встретил сияющий Тимковский.

— Пройдемте ко мне, барон. Наконец-то я могу вас обрадовать: отец Иакинф освобождается с Валаама и причисляется к Азиатскому департаменту. Родофиникин только что передал мне письмо, полученное графом Нессельродом от обер-прокурора Святейшего Синода. Не угодно ль взглянуть?

— Ну конечно же! Давайте, давайте письмо, не томите!

Шиллинг так и впился в бумагу:

"Милостивый государь
Граф Карл Васильевич,

Государь Император высочайше повелеть соизволил бывшего при Пекинской Миссии Архимандрита Иакинфа, сосланного на жительство в Валаамский монастырь в 1823 году, перевесть в Санкт-Петербург в Александро-Невскую лавру, дабы он по знаниям своим в Китайском и Маньчжурском языках мог быть полезен в Государственной Коллегии Иностранных Дел.

Монах Иакинф во время пребывания в Валаамском монастыре исправлял в оном монастыре послушания и получал все необходимое от монастыря. При переводе же его в Александро-Невскую лавру, где он должен будет заниматься единственно казенными по Иностранной Коллегии делами, Преосвященный Митрополит Серафим полагает нужным как по нынешней дороговизне, так и для того, чтобы он с большим усердием мог трудиться в назначенном ему от Коллегии деле, производить на содержание от казны от шестисот до семисот рублей в год.

По докладу моему о сем Государю Императору, Его Величество, находя справедливым, чтобы назначенное для монаха Иакинфа содержание по шестисот рублей производимо было из

сумм Министерства Иностранных дел, по части коего будет он иметь в Невской лавре свои занятия, ВЫСОЧАЙШЕ повелеть соизволил снестись о том предварительно с Вашим сиятельством.

Исполняя сим Высочайшую волю, я покорнейше прошу Вас, Милостивый государь, о последующем не оставить меня уведомить.

Вашего Сиятельства
Покорнейший слуга
Князь Петр Мещерский
№ 2220 20
Октября 1826"

— Ну что ж, Егор Федорович, превосходно. Будем ждать отца Иакинфа! Но подумайте, какие скряги! Испросить на его содержание шестьсот рублей в год, и еще сославшись на нынешнюю дороговизну. Это ли не издевательство!

— Но, Павел Львович, поелику отец Иакинф причисляется к министерству иностранных дел и самим государем повелено снестись о назначении ему жалованья с графом Нессельродом, вот и нужно, чтобы Карл Васильевич сам доложил о том государю, не полагаясь на щедрость его высокопреосвященства.

— Совершенно справедливо. Надобно эту сумму по крайней мере удвоить. А сверх того испросить еще несколько сот рублей на ученые пособия. Ну что же. Егор Федорович, давайте-ка, не откладывая дела в долгий ящик, составим надлежащую бумагу. Надеюсь, Карл Васильевич не откажется обратиться с сим к государю.

Разговор этот происходил в конце октября, но только тринадцатого апреля следующего, двадцать седьмого года, через четыре с половиной месяца после возвращения отца Иакинфа в столицу, граф Нессельроде доложил о жалованье Иакинфа императору.

Изложив все обстоятельства дела, граф положил перед императором давно подписанное им, Нессельроде, представление.

Государь любил читать докладываемые ему бумаги. Читал внимательно, с пером в руке, помечая малейшие погрешности против русского языка, знатоком которого себя считал. Но бумаги, представляемые Нессельроде, всегда были безупречны и отличались отменным изяществом. Граф всю жизнь преклонялся перед словами — представление, депеша, меморандум; писари и письмоводители у него обладали превосходными почерками и высокой грамотностью, да и сам граф слыл великим знатоком официальной стилистики.

"…Во исполнение сего, — читал император, — а равно приемля в уважение отличные сведения и способности монаха Иакинфа, осмеливаюсь испрашивать ВСЕМИЛОСТИВЕЙШЕГО повеления выдавать ему ежегодно жалования по тысяче двести рублей и сверх того по триста рублей на ученые пособия, доколе он будет упражняться в переводах важнейших китайских книг, или в других общеполезных изданиях. Ежели представление сие удостоится МОНАРШЕГО соизволения, то означенные деньги — тысячу пятьсот рублей выдавать ему за весь текущий год из сумм Министерства иностранных дел, на Азиатских посланцев положенных; а на будущее время отнести в общую смету по сему министерству, к отделу из сумм Главного казначейства".

— Не много ль, граф, испрашиваешь? — спросил государь. — Помнится, князь Мещерский докладывал мне мнение митрополита Серафима о шестистах рублях.

Николай был бережлив и даже, пожалуй, скуповат в расходовании государственной копейки. Его царствование было временем величайшей за всю историю России централизации. Ни один хоть сколько-нибудь серьезный вопрос не решался минуя государя. Его величество охотно погружался в административные мелочи, и в отличие от покойного брата, который имел склонность отстраняться от принятия ответственных решений, все привык решать сам.

— Никак нет, ваше величество, немного, — отвечал Нессельроде по-французски.

— Ну что ж, быть по сему, — сказал Николай и, взяв перо, начертал: "Исполнить" и внизу аккуратно поставил:

"13-го майя 1827

Царское Село".

Но дальше дело о назначении жалованья отцу Иакинфу долго еще ходило по разным инстанциям скрипучей и неторопливой бюрократической машины российского правительства. Двадцать седьмого мая двадцать седьмого года граф Нессельроде сообщил о таковой монаршей воле министру финансов Егору Францевичу Канкрину. Но прошло еще два с половиной месяца, прежде чем четвертого августа граф Канкрин известил Нессельроде, что им отдано распоряжение о выделении денег Главному казначейству. И только двадцать второго сентября, через десять месяцев по прибытии в столицу, Иакинф получил наконец тысячу рублей за первые две трети года.

II

Раздался стук в дверь.

Иакинф поднял голову. На пороге, заполнив весь проем двери, показалась коренастая фигура в шубе. В слабом свете свечи, бледном и немощном, чуть серебрился припущенный инеем бобровый воротник.

— Никак Павел Львович? Проходите, гостем будете, — поднялся навстречу Иакинф.

— Здравия желаю, отче. Ну, показывайте, показывайте, как вы устроились, — шагнул через порог Шиллинг, сбрасывая тяжелую шубу.

Перед ним была просторная комната со сводчатым потолком об одно окно. С проворством, неожиданным а этом грузном теле, Шиллинг подбежал к окну. Оно выходило в сад. В сгущающемся сумраке видны были наметенные за день сугробы и угол собора. Шиллинг повернулся и оглядел комнату. Слева по стене стоял старенький диван красного дерева, перед ним овальный, об одной ножке, тоже красного дерева, стол и несколько таких же стульев, обитых темной материей. Приоткрытая дверь напротив вела в соседнюю комнату. Иакинф засветил еще одну свечу и, взяв тяжелый медный шандал, подошел к двери.

— А там кабинет и спаленка, — пояснил он.

Павел Львович прошел вслед за хозяином. Длинная, в два окна комната была заставлена книжными полками. Не золотились привычно корешки книг. Книги были преимущественно китайские, в синих холщовых чехлах с костяными застежками. Они были тут не украшением, не коллекцией, дабы похвалиться перед гостем каким-нибудь редким изданием, не утехой хозяина, чтобы мог тот, прилегши на диван после сытного обеда, навеять на себя сон, а друзьями и слугами. Книги были испещрены пометами Иакинфа, обросли закладками, грудились на столе и на подоконниках, всегда были под рукой. Задняя часть комнаты была отгорожена занавесью из голубого китайского атласа с вышитыми по нему фениксами.

Павел Львович заглянул и за занавесь. Там стояла узкая железная кровать, застланная суконным одеялом.

— Что ж, недурно, — сказал Шиллинг, потирая застывшие на морозе руки.

— Преотлично, Павел Львович, преотлично. А главное — книги. Вот они, милые. — Иакинф подошел к полкам и вроде даже с нежностью погладил костяные застежки. — Вы и представить себе не можете, Павел Львович, как мне не терпится всурьез приняться за дело. Ведь столько лет прошло попусту! На Валааме то одного, то другого не оказывалось под рукой.

Из-за окна донеслись звуки благовеста. И тотчас в келью вошел послушник.

— Отец Иакинф, велено звать вас ко всенощной.

— Ступай, брате, ступай. Стояние у всенощной мне вредительно, — серьезно, без улыбки сказал Иакинф.

Послушник потоптался на месте и, неловко повернувшись, вышел.

— Ну что ж, отче, раз идти ко всенощной вам вредительно, — усмехнулся Шиллинг, — а приниматься за труды уже поздно, поедемте-ка мы с вами к князю Одоевскому. Нельзя же, право, все сидеть бирюком в своей келье. Хватит, насиделись на Валааме. Эдак вы середь китайских фолиантов ваших совсем окитаитесь…

— Помилуйте, Павел Львович. Как же, право… так сразу… — говорил Иакинф, усаживая гостя в кресло.

— Князь Владимир Федорович — человек не ахти какой богатый, но, как говорят, тароватый. Двери его дома для всех открыты. По субботам у него любопытнейшее общество собирается — ученые и путешественники, литераторы и музыканты, ну и, конечно, светские дамы и статские советники, даже действительные, — пошутил Шиллинг. — Впрочем, к чему я вам все это рассказываю? Сами увидите…

Шиллинг вскочил на ноги.

— И слушать не хочу никаких отговорок, — замахал он руками, заметив умоляющий взгляд Иакинфа. — Да я вас со всем Петербургом перезнакомлю.

— Ну к чему мне весь Петербург, Павел Львович…

Но Шиллинг был неумолим.

Они вышли за ворота. С лаврской звонницы все еще неслись удары соборного колокола. Снег, который шел почти весь день, наконец перестал. В воздухе носились только редкие хлопья. На столбах забора белелись высокие снежные шапки. Черные сучья давно облетевших деревьев не казались теперь такими голыми, они тоже оделись в пушистый белый наряд. Несмотря на сумерки, было почти светло от только что выпавшего, нежнейшей белизны снега.

У самых ворот стояли полузанесенные снегом извозчичьи санки и дремал на облучке нахохлившийся возница.

— А не пройтись ли нам, батюшка, пешечком? — спросил Шиллинг. — Ведь не часто вы в Петербурге такое увидите. Вы знаете, что сказал мне намедни Сенковский? Наша Северная Пальмира, говорит, напоминает женщину, прелестную, юную женщину, заточенную в сырой и мрачной темнице. Сравнение не худо, вы не находите? Тут ведь и впрямь чуть ли не полгода ночь непроглядная. Небо хмурое, атмосфера какая-то мглистая, и лица

у всех пасмурные — небесам под стать. А посмотрите, что нынче кругом делается!

Иакинф огляделся. И в самом деле, от этого сверкающего, свежего снега город казался праздничным, принаряженным.

Шиллинг расплатился с ожидавшим его извозчиком, они повернули налево и пошли вдоль старой Невской перспективы. На улицах только что зажгли фонари, и весело засверкали в нарядном их свете снежинки.

Прохожих на Невском было немного в этот вечерний субботний час, и почти каждый оборачивался, окидывая взглядом любопытную пару: невысокий, тучный барин в широкой шубе с бобровым воротником, в круглой, тоже бобровой, шапке, и длинный, сухопарый монах, широко шагавший рядом, опираясь на посох. Приятели шли, не замечая встречных. На душе у Иакинфа было светло и радостно, — под стать этому легкому, пушистому снежку. Осталось позади валаамское заточение. Правда, от монашества его так и не освободили. Но у него — друзья, просторная келья, где он может наконец собрать и расставить книги и приняться за осуществление давних своих замыслов.

Дорогой Павел Львович рассказывал про Одоевского.

— Князь Владимир Федорович — фигура прелюбопытнейшая. По рождению он едва ли не первый аристократ России. Род князей Одоевских ведет начало от самого Рюрика. Право, не знаю, кто другой на Руси может похвалиться такой древностью рода. А вместе с тем князь отчаянный либералист. Кого только не увидишь у него! И все чувствуют себя в кабинете у Владимира Федоровича как дома. И все для хозяина совершенно равны. Пожалуй, он даже предпочтет ученого или путешественника и вообще специалиста в своей области какому-нибудь важному сановнику.

— А что же сам князь?

— Князь — человек увлекающийся. Это настоящий ансиклопедист — писатель, музыкант, философ. До переезда в Петербург он вместе с Кюхельбекером (да, да, это один из тех несчастных) издавал в Москве альманах "Мнемозина". Не видали? А впрочем, где же вам было видеть? Издание примечательное! Правда, многие посмеивались над сим альманахом, называли его нападки на старые воззрения дерзостью запальчивых мальчишек. А это был едва ли не первый удар по обветшалым теориям века минувшего. Может быть, удар этот наносила и в самом деле рука неопытная, но удар был меткий.

— А что же делает князь в Петербурге?

— Где-то служит. Кажется, в министерстве внутренних дел.

Но он не любит распространяться о своей службе. Пишет сказки и повести, музыку и о музыке, и сам, как увидите, недурно музицирует. На клавикордах и на органе. И очаровательный собеседник.

До Миллионной, где жил князь, они все же не дошли и у Гостиного двора взяли извозчика.

III

Князь Владимир Федорович жил, собственно, не на Миллионной, а за углом, в переулке, что вел от Конюшенного моста к Неве, в скромном флигельке дома своего тестя, Степана Сергеевича Ланского…

Лакей, отворив дверь в гостиную, объявил:

— Барон Шиллинг фон Канштадт, отец Иакинф!

Иакинф прошел вслед за Шиллингом в изящно обставленную и довольно вместительную гостиную. В углу, за круглым столом, перед большим серебряным самоваром величественно восседала княгиня Ольга Степановна, жена Одоевского, и сама разливала чай. Рядом сидел какой-то розовощекий сановник, с белесым дымком тоненьких, пушистых волос вкруг лысой головы, в белых форменных панталонах и со звездой на груди, двое андреевских кавалеров, красивый офицер в кавалергардском мундире. Несколько дам, глубоко декольтированных по тогдашней моде, и молодых людей в щегольских фраках расположилось вокруг в удобных креслах.

Оказавшись в этой блестящей и многочисленной компании совершенно незнакомых ему людей, Иакинф чувствовал себя немного неловко, но Шиллинг шепнул, чтобы он держался свободнее: обоюдные представления производились тут только в интимном кругу или уж в каких-либо чрезвычайных случаях.

Проворный Шиллинг, приветливо улыбаясь и раскланиваясь направо и налево, направился к хозяйке дома и, приложившись к ручке, представил своего приятеля. Чувствуя на себе любопытные взгляды, Иакинф поклонился и приблизился к княгине, чтобы засвидетельствовать высокое свое почтение. Сказал он это, кажется, излишне громко. Ее сиятельство удостоили необычного гостя легонького наклонения головы и приветливой улыбки. Иакинф приметил, с каким любопытством окинула его взглядом хорошенькая княгиня. На смуглых ее щеках проступил румянец. Невольно пришли на память слова Шиллинга, что жену князя называют la belle Crêole. Цветом лица она и в самом деле напоминала креолку. Еще раз поклонившись ее сиятельству, Иакинф отошел в сторонку.

Перебросившись шутливыми приветствиями с двумя-тремя знакомыми, Павел Львович потянул Иакинфа в "львиную пещеру", как звали тут кабинет князя.

Кабинет этот ("на чердаке", как сказал Шиллинг) совсем не походил на изысканную гостиную, которую они только что покинули. "Львиная пещера" Одоевского напоминала скорее какой-то музей, лабораторию ученого, а может, и средневекового алхимика. В переднем углу красовался человеческий костяк с голым черепом. На полках, на столах, на стульях, на подоконниках и прямо на полу громоздились книги — фолианты и квартанты в старинных пергаментах, с писанными от руки ярлыками и множеством закладок между страниц. Просторная комната была заставлена столами и этажерками с таинственными углублениями и ящичками. Среди разбросанных всюду книг стояли причудливые склянки и химические реторты, банки с заспиртованными насекомыми и растениями и какие-то уж совсем неведомые Иакинфу аппараты. На стене — большой портрет Бетховена с пышной седеющей гривой и в красном галстуке. Под портретом — фортепьяно, и на крышке его тоже груда книг.

Посреди комнаты, вокруг большого стола, сидели в креслах сам хозяин и несколько мужчин с длинными трубками в руках.

Когда Шиллинг и Иакинф появились на пороге, князь поднялся им навстречу. Иакинф увидел перед собой молодого еще человека с приветливым, задумчивым лицом, едва обрамленным снизу пушистой бородкой. Радушно, как со старым знакомым, поздоровавшись с Шиллингом и познакомившись с Иакинфом, князь представил монаха гостям, придвинул кресла и ящик с сигарами и, чтобы дать ему возможность оглядеться, продолжал беседу, прерванную их появлением.

Вполуха прислушиваясь к ней, Иакинф разглядывал собравшихся. Гости князя приметно отличались от тех, кого он только что видел в гостиной у княгини. (Шиллинг вполголоса называл их Иакинфу.)

Разговор шел о последних явлениях литературы, преимущественно отечественной.

Один из гостей князя, розовый господин с очками в золотой оправе на курносом лице, высказал мысль, не слишком ли много значения мы, русские, придаем поэзии, и литературе вообще, в ущерб практической деятельности.

— Вот потому-то мы и отстали от Европы так безнадежно, — заключил он.

Одоевский резко на него ополчился.

— Да как же вы можете так! — запальчиво говорил он. —

Литература — это же один из термометров духовного состояния общества. Вот вы всё твердите: Европа, Запад! А этот чуткий термометр показывает неодолимую тоску, господствующую на Западе, отсутствие всякого общего верования, надежду без упования, отрицание безо всякого утверждения…

Иакинф прислушался и с интересом взглянул на князя. Тот поднялся с кресел и, размахивая зажатой в руке длинной трубкой, принялся шагать по узким проходам своего заставленного кабинета.

— А что до поэзии, — продолжал князь, — то как же человек может обойтись без поэзии? Как один из необходимейших элементов она должна входить в каждог действие человека. Да без нее сама жизнь была бы немыслима! — Князь подошел к одному из шкафов, заставленному какими-то колбами и ретортами, и, тыча в них трубкой, из которой сыпались искры, говорил убежденно: — Символ этого психологического закона мы видим в каждом организме. Всякий живой организм образуется из углекислоты, водорода и азота. Пропорции этих элементов разнятся почти в каждом животном теле, но без одного из этих элементов существование любого организма было бы невозможно. Вот так и в мире психологическом — поэзия есть один из тех элементов, без которых древо жизни должно было бы засохнуть, а то и вовсе исчезнуть. — И князь победно взглянул на противника.

Тот, однако, ж, не чувствовал себя побежденным.

— Простите, князь, вы человек просвещенный и, я убежден, согласитесь со мною, что мы катастрофически отстали от цивилизованных государств Запада. Там уже повсюду вошли в быт паровые машины и фабрики. А дороги? Там всюду шоссе понастроили, чугунные рельсы прокладывают, а у нас… А все отчего? От лени да мечтательности, от поэтического настроения ума русского. Вот это, пожалуй, самая резкая черта нашей народности!

Присевший было в кресла Одоевский опять вскочил.

— Ежели бы это говорил чужестранец, это бы уж куда ни шло. Ему позволительно говорить о нашей отсталости и не замечать у нас ничего хорошего. Но как можете вы, русский, говорить о своем отечестве с таким пренебрежением? В общем ходе просвещения Россия, на мой взгляд, не только не отстает от Европы, но во многих случаях даже опережает другие, по общему признанию просвещенные государства Европы. Даже и и том, что касается физических применений разных изобретений и усовершенствований. Вот вы говорите о чугунных дорогах, но они вовсе не так уж новы. На наших железоделательных заводах на

Урале они существуют бог знает с какой поры. Англия и Америка хлопочут теперь о подводных судах, а у нас еще при Петре были деланы такие опыты.

— Но согласитесь, князь, отличительная черта нашей народности…

— Народность, народность! Народность — великое слово. Но смысл его, будучи преувеличен, может довести до бессмыслицы, то есть до рабского, слепого повторения того, что делали предки. Они пили каждый праздник — и нам следует пить. Они боялись всякого нововведения — и нам следует от него отмаливаться, как от бесовского наваждения. Нет, милостивый государь, я вас к национальной ограниченности не призываю, застоя не проповедую! Народность есть одна из тех наследственных болезней, от которых умирает народ, ежели не подновит своей крови духовным и физическим сближением с другими народами. Назидательный нам всем пример — Китай. Что вы на это скажете, отец Иакинф?

Так, еще не осмотревшись как следует, Иакинф оказался втянутым в беседу. Вступал он в этот спор поначалу с оглядкой: перед ним были незнакомые люди, которых он встретил впервые, и обстановка была непривычная. Но он слишком долго молчал, чтобы отказаться от этой возможности выговориться. Да и спор задевал его за живое.

— Вот вы сказали, князь, о национальной ограниченности и для примера на Китай сослались. Да и вы ль один! Чуть что, так о китайской стене толкуем. Отгородились, мол, от всего мира и знать ничего не хотят и ведать не ведают. Признаться, я и сам некогда так же про то мыслил. Пока не понял, что вовсе не для того они себя стеною огородили.

— А для чего же? — послышались голоса.

— Как бы это сказать покороче?.. Вот монголы сколько народов на земле полонили? До самого Дуная орды их докатились, и ведь ничего, кажется, их остановить не могло. Но наши-то пращуры до тринадцатого века про них и слыхать не слыхали. А над Китаем они с севера все время висели. Да и не только они, а и предки их далекие. Хюнну, которых у нас гуннами прозывают, сися, кидане, чжурджени. Сколько веков народы сии кочевые, бранелюбивые варвары северные набеги на Китай чинили? И сосчитать немыслимо. Вот оседлые, земледельческие китайцы и надумали оградить себя от набегов кочевых северных народов Великою стеною. Они полагали, что ежели кочевники и перелезут через Великую стену, то уж коней-то своих через стену не перетащат, а без коней они воины худые.

— Может быть, все это и так, — сказал все тот же

розовощекий человек в очках (магистр университета, недавно приехавший из Берлина, как шепнул Иакинфу Шиллинг). — Но отгородились китайцы стеной не только от варваров, но и от всего цивилизованного мира — и закисли в своей китайщине. И вот вам результат: нет, кажется, на свете страны, более противуположной просвещенной Европе. Китай — это же совершенно другой мир, едва ли не во всех отношениях. И в нравственном так же. Европеец — жив, учен, открыт, благороден. Китаец, напротив, полумертв, дик, низкодушен.

Иакинф холодно посмотрел на тщательно выбритого румяного магистра.

— Что ж, видно, каждая сосна своему бору шумит, — сказал он сдержанно. — Но вот наша беда-то в том и состоит, что мы подходим к Китаю со своею европейскою меркою, пытаемся все мерить на свой европейский аршин. И вот древняя страна сия и поныне остается для европейцев непонятной и загадочной, а иным просвещенным мыслителям вроде вас, — поклонился он магистру, — еще и дикой кажется.

— Но, простите, отец Иакинф, вот уже два столетия, как в Европе непрерывно выходят книги о Китае. Из них уже огромную библиотеку можно составить. Мне самому приходилось читать сочинения европейских хинезистов. Они весьма подробно описали и естественное состояние сего государства, и нравственность китайцев, и гражданское состояние народа.

— Все это, конечно, так, — сказал Иакинф спокойно. — Но кто же писал о Китае? По большей части римско-католические веропроповедники. Увлеченные ревностью к христианству, они нарисовали все то, что вы изволили перечислить, весьма черными красками. И вот читаешь многочисленные их сочинения и на каждом шагу разводишь руками, будто вступил в какой-то невообразимый хаос. На каждом шагу тебя подстерегает странная противуположность привычным понятиям, одно варварство и невежество. А все отчего? Оттого, что пытаемся судить о тамошних вещах по нашим привычным понятиям. Тогда как в Китае всё то же и всё не то

— Какое там то же! Там всё шиворот-навыворот. Одна китайская грамота чего стоит! Это правда, что там каждое слово отдельным гиероглифом пишется?

— Правда, — усмехнулся Иакинф.

— Сколько же у них этих гиероглифов?

— В словаре, изданном в минувшем веке по распоряжению императора, правившего под девизом Кан-си, пятьдесят три тысячи.

— С ума сойти! Да как же их можно выучить?

— Ну, все их учить и не надобно. Многие встречаются только в редких сочинениях древних авторов. Достаточно выучить тысяч семь — десять.

— Нечего сказать, утешили: десять тысяч! Вот на бессмысленную зубрежку их и уходят все умственные силы народа!

— Почему же на бессмысленную? Да ежели бы в китайских гиероглифах не было никакой системы, не то что десять тысяч, и тысячу выучить было бы немыслимо. А в них есть своя система, и очень стройная. Ежели пожелаете, милостивый государь, я готов за год обучить вас по крайней мере двум-трем тысячам гиероглифов.

— Нет уж, увольте!

— А сколько вы сами знаете, отец Иакинф? — спросил Одоевский

— Я, право, не считал, — улыбнулся Иакинф, — но тысяч десять, я полагаю, знаю.

— А эти пресловутые китайские церемонии, — опять вмешался магистр. — Они же иссушают душу и держат человека в рабской покорности и скотской ограниченности.

— Ну конечно, я так и знал: китайские церемонии! Они вошли в Европе в пословицу. Но ежели сказать вам правду, мы и тут твердим одни слова, а сущность дела совсем не разумеем. А у китайцев, изволите ли знать, есть такая пословица: "Мало знаешь — многому дивишься. Увидал верблюда и думаешь — у лошади спина вспухла". Вот и опять, чуть что — мы свой русский аршин вытаскиваем. Подумать только, какой смешной народ! Вместо того, чтобы друг другу руку пожать, к лицу своему кулаки подносят. Экие варвары!.. А откуда вы слыхали-то об этих китайских церемониях, позвольте вас спросить?

— Как откуда? Читал у европейских путешественников. У того же Де Гиня и аббата Бросье.

— Гросье, вы хотите сказать? А эти европейские путешественники писали о разных китайских обрядах большей частью в смешном виде, да многое в своих издевочных описаниях еще и преувеличили. Чтобы жить с человеком, надобно его хоть немножко понимать. А я вам должен сказать, что со многими католическими аббатами в Пекине мне приходилось не по-китайски, а на латыни объясняться… Смею вас уверить, господа, что ежели вы будете смотреть на физиономию китайцев, на их движения и повадки со вниманием и без предубеждения, то ничего странного вы не увидите. Неверность же взгляда зависит главным образом от того, что мы судим об чужестранном по сравнению со своим, которое по привычке кажется нам

естественнее и ближе. Ну, а пригласите-ка вы китайцев сюда, в гостиную к князю Одоевскому, погляди они, как вы дамам ручки целуете, или — боже упаси — танцуете, обняв их за талию, или садитесь на диван рядышком с какой-нибудь вполодетой, на их взгляд, красавицей, так они бы вам тоже вердикт вынесли самый строгий и определенный: бу-цзян-ли!

— Что сие значит?

— Ежели буквально перевести — не понимают вежливости или церемоний, как вы изволите говорить. Вам это выражение может показаться очень мягким, а я не знаю у китайцев другого более бранного. Уж ежели не по букве, а по духу это перевести, так надобно сказать так: скотина, свинья, человек без стыда и совести!

Иакинф говорил грубовато, горячо и резко, сильно напирая на "о". Он давно уже снял рясу и остался в длинном монашеском подряснике, так отличавшемся от окружающих фраков и мундиров. Прослышав про любопытные рассказы о Китае, светские господа и дамы понемногу тоже переходили в кабинет князя.

— И должен вам признаться, господа, — продолжал Иакинф, — что в этих пресловутых китайских церемониях я, право, ничего дурного не вижу. Да уж ежели вы хотите быть точным, так надобно бы говорить не о церемониях, а об ритуале, правилах поведения. Восходят-то они к чинному поведению в храме предков. И самый-то гиероглиф "ли", который у нас "церемонией" переводить принято, состоит графически из двух частей: дух и сосуд. Но эти правила поведения давно уже вошли в быт как этикет, учтивость и служат основой всех взаимоотношений между людьми. И не только у высших сословий, приметьте, но и у простолюдинов. Сколько раз на улицах китайской столицы, а уж я исходил ее вдоль и поперек, наблюдал я эдакую сценку: бегут два неграмотных тачечника навстречу друг другу со своими тележками и вдруг бросят оглобли, остановятся, станут в чинную позу, вот этак, руки по швам, — Иакинф показал, как, — осведомятся о здоровье, откланяются и бегут себе дальше, каждый своей дорогой. Самый простой, неграмотный поселянин не крикнет: "Эй, ты там, чего расселся, дорогу!", а скажет: "Заимствуюсь светом", то есть "заимствуюсь светом вашей уважаемой личности и позволю себе потревожить вас". И так на каждом шагу. Вообще надобно вам сказать, что китайская чернь куда учтивее и, если угодно, образованнее черни европейской.

— Ну, а китайские пытки! Это же какой-то ужас! Все эти бамбуковые планки, стискивание ножных лодыжек у мужчин, а у

женщин — пальцев на руке!

— Да, конечно… — замялся Иакинф. — Но надобно сказать, что пытки сии употребляются только в том случае, когда все улики говорят против преступника, а он упорствует. Ну а дыба, а шпицрутены, милостивый государь, по-вашему, лучше? — перешел в свою очередь в наступление Иакинф. — А сквозь строй прогнать или з Сибирь сослать?

Но тут князь Владимир Федорович поспешил увести разговор от этой щекотливой темы.

Китай в тот вечер был чуть ли не единственной темой всех разговоров в кабинете Одоевского. Шиллинг с удивлением смотрел на своего приятеля. Оказывается, под черной рясой монаха скрывалась страстная натура бойца. Каверзные вопросы не смущали, а только раздражали его. Говорил он увлеченно, с неподдельной горячностью. Стоило только раздаться нападкам на милый его сердцу Китай, он чувствовал себя задетым за живое, набрасывался на противника с яростью барса и в выражениях тогда особенно не стеснялся. Нередко припирал противника к стенке, развеивал в прах его доводы, делал его смешным и жалким.

Перебравшиеся в "львиную пещеру" князя гости Ольги Степановны с любопытством слушали рассказы странного монаха, втихомолку посмеивались его запальчивости и необычному, на "о", выговору, даже когда он переходил на французский.

IV

Выходил Иакинф от князя уже за полночь. Высоко в небе сияла в три четверти луна. На белый снег ложились короткие синие тени. Он повернул на набережную. Гранитный парапет был припушен снегом. На том берегу отчетливо вырисовывались очертания крепости. Почти над самым шпилем собора сияла Полярная звезда. Вот где-то на кронверке этой крепости повесили тех пятерых. И подумать только, среди них сын Ивана Борисовича Пестеля. Вот ведь как судьба разводит людей: у эдакого-то отца и такой сын! А говорят: яблочко от яблоньки недалеко падает. На ум пришел Николай Александрович Бестужев. Когда Иакинф вернулся с Валаама, он все допытывался, где же Бестужев. А он, оказывается, тоже участвовал в возмущении. Этого Иакинф даже предположить не мог. Больше того — даже привел четырнадцатого декабря на площадь матросов Гвардейского флотского экипажа. Чего только не передавалось о нем в народе — будто вместе с братьями захватил он Адмиралтейство, а потом

корабль, и отстреливался от наступающей пехоты и артиллерии. Павел Львович сказывал: осудили его на вечную каторгу. Где-то он теперь, сердешный? Где-то в Сибири, должно за Байкалом.

Город спал. Постояв в раздумье на набережной, Иакинф пошел неспешно к Летнему саду.

Разговор взволновал его. Сколько неподдельного интереса к Китаю чувствовал Иакинф за вопросами, которые посыпались на него со всех сторон! И сколько наивного невежества. Ведь ничего-то толком не знает наше образованное общество об этой стране. Одни курьезы. Одна нелепейшая китайщина. Да и та идет к нам не с Востока, а с Запада. Это к нам-то, а мы граничим с Китаем на протяжении тысяч верст.

Хотелось немедля приняться за работу. Он даже на знал, с чего начать свои публикации. Столько было сделано, вернее, начато и в Пекине, и на Валааме, столько заготовлено переводов и набросков! Он невольно ускорял шаги. Хотелось поскорее оказаться дома. Будто у него есть дом!

Он шагал по заснеженным улицам, а из головы не выходил Бестужев. У него-то, Иакинфа, есть все же крыша над головой, книги, дело, которым может наконец заняться. Нечего бога гневить. А где, в какой норе томится теперь Николай Александрович?..

С тех пор Иакинф заходил иногда к Одоевским. Владимир Федорович встречал его с неизменным радушием.

Иакинфа влекло в молодом князе его трудолюбие, настоящая страсть к труду. Сам ревностный труженик, Иакинф высоко ценил в людях это свойство. А Владимир Федорович не знал в трудах ни лени, ни усталости. Лень он называл славянщиной и не допускал ее на порог своего кабинета. Да и сам кабинет носил резкий след его натуры. Это была скорее мастерская труженика и ученого, нежели приют отдохновения, как у других светских людей. И бесчисленные книги, обросшие, как и у него, закладками, и музыкальные инструменты, и какие-то снадобья в колбах и ретортах, и тигли и жаровни — все это свидетельствовало о разнообразии занятий, о бессонных ночах, проведенных в трудах и исследованиях.

Иакинфу нравилась в князе пытливость ума, жажда знаний. Все новое интересовало его, заботило, увлекало. Иногда Иакинф с улыбкой подмечал, что Владимир Федорович относится к его рассказу о чем-нибудь новом, прежде ему неизвестном, даже с каким-то ребячливо-восторженным увлечением. Он и сам как-то признался:

— Вы знаете, отец Иакинф, любознательность, желание

открыть для себя новое есть, пожалуй, основная моя стихия. Она постоянно мешается во все мои дела, перемешивает их, порой попросту жить мне мешает, — смущенно улыбнулся он.

— Ну, это страсть, на мой взгляд, совсем не худая, — успокоил его Иакинф.

— И я чувствую, мне в век от нее не отделаться: все что-то манит, все чего-то ждешь вдали, душа рвется, страждет…

Беседовать с ним было одно удовольствие. Он чем-то напоминал Иакинфу графа Потоцкого. И потом, у него собиралось такое интересное общество — князь Петр Андреевич Вяземский, прирожденный острослов, во время своих кратковременных наездов он рассказывал о журнальной жизни Москвы, пересыпая свои рассказы мрачноватыми эпиграммами; Василий Андреевич Жуковский, обычно являвшийся к князю прямо из дворца; критик и журналист Петр Александрович Плетнев…

Правда, поначалу Иакинфа. смущали светские знакомые князя. Но князь умел с какой-то простодушной хитростью спровадить безучастных вельмож, чуждых науке и литературе, в гостиную княгини, которую окружало обычно светское общество, а сам возвращался в свою "львиную пещеру" и с юношеским жаром бросался в жаркие споры, которые не утихали в его кабинете. Он умел как-то незаметно, как бы и вовсе безо всякого вмешательства, устроить так, что каждый из гостей как бы случайно оказывался рядом с тем, кто его мог заинтересовать, или в той группе, которая больше всего ему подходила.

Любил Иакинф и музыкальные вечера князя. Иногда приезжал какой-нибудь музыкант или сам князь садился к фортепьяно. Иакинф забивался в уголок и слушал, притаясь, с погасшей сигарой в руке. Музыка захватывала его, будила полузабытые воспоминания. Порой они вроде и вовсе не были связаны с вызвавшими их музыкальными образами и все-таки как-то прихотливо переплетались с ними.

ГЛАВА ВТОРАЯ

I

Наконец-то он решился навестить Карсунских. Очень страшила его эта встреча, и вот все откладывал ее со дня на день.

Жили Карсунские в собственном доме на Гороховой — напротив Московской съезжей.

Когда человек пошел доложить, оставив Иакинфа в прихожей

одного, он поймал себя на том, что волнуется как мальчишка.

Отворилась дверь. На пороге показалась Таня.

— Никита?.. Как долго тебя не было! — сказала она просто.

Да, видно, не легко далась ей эта простота. Она остановилась, прислонясь к притолоке.

— Таня!.. — Иакинф бросился ей навстречу, схватил за плечи, но не прижал к себе, как хотелось, а так и застыл на месте и все смотрел на нее, молча, не отрываясь.

Она была красива по-прежнему… И совсем иначе, чем прежде. Он помнил ее, в сущности, девочкой, прелестной, беззаботной девочкой. И в лице у нее было тогда что-то детски-доверчивое, и глаза лучились таким счастливым сиянием, какое может сообщить им только юность. Теперь перед ним стояла не девочка, а дама. Зрелая женщина, немало вынесшая на своем веку. Шутка ль сказать — потерять в одночасье сына и дочь, а потом одного за другим похоронить родителей!.. Но чудно, и страдание может, оказывается, человека красить. Красота ее стала более строгой и вместе более душевной, что ли. Впрочем, обо всем этом он подумал уже много позже, возвращаясь вечером к себе в лавру. Тогда он ничего этого не думал и не замечал. Просто перед ним была Таня.

Наверное, у каждого есть свой тайник, где в виде воспоминаний припрятано немало старинных и дорогих нашему сердцу вещей, которые вроде и не нужны и с которыми, тем не менее, не хватает духу расстаться. Иакинф никогда не был скрягой. Но этими невидимыми сокровищами он всегда дорожил. Среди самых бесценных, упрятанных куда-то в дальний угол, была Таня.

И вот когда теперь, через четверть века, он увидел ее вновь, не в мечтах, не в воспоминаниях, а наяву, во плоти и крови, все женщины мира — настоящие, прошлые и будущие — перестали для него существовать. Перед ним была Таня. Его Таня…

— Что же мы стоим?.. Проходи в комнаты. Сане что-то нездоровится…

Они прошли в просторную, светлую комнату, видно служившую и гостиной, и столовой одновременно.

— Саня! Ты только посмотри, кто к нам пришел!

С дивана поднялся полный человек с румяным, но усталым лицом. Саня! Вот кого Иакинф мог бы и не узнать, столкнись с ним на улице. Он будто стал ниже ростом, должно быть оттого, что растолстел. В представлении Иакинфа Саня был человек удачливый. Счастью его можно б позавидовать, ежели бы Иакинф был способен на такое чувство. Чисто выбритый, весь какой-то ухоженный, в бархатной домашней венгерке со шнурами, он и

впрямь производил впечатление человека счастливого. Но зависть Иакинф считал чувством самым мелким и подленьким. Ему и в голову не пришло бы поменять свою судьбу, со всеми ее тяготами и невзгодами, на судьбу какого-нибудь преуспевающего счастливца.

Иакинф стремительно пошел навстречу Сане, они обнялись.

— Как хорошо, что ты наконец пришел. Рад тебе, старый друг, истинно рад!..

Они сели на диван рядком, как сиживали когда-то в Казани — им столько надо было сказать друг, другу, о стольком расспросить и вспомнить!

Саня приветливо улыбался, а синие, чуть выцветшие его глаза смотрели на Иакинфа с какой-то затаенной болью.

Иакинф в свою очередь смотрел на Саню, и постепенно, сквозь все новое и непривычное, сквозь наплывшую с годами полноту, на которую прежде не было и намека, проступали старые полузабытые черты, та мягкая и умная доброта, которая всегда так влекла к нему.

Кухарка внесла кипящий самовар. Стол был накрыт клетчатой скатертью — за такой они сиживали когда-то у Саблуковых. Таня расставляла на столе наливки и варенья, и Иакинфа будто перенесло на четверть века назад, в Казань, в старый саблуковский дом над Черным озером, только они представляли теперь уже не младшее, а старшее поколение. Впрочем, сегодня младшего и не было — они чаевничали втроем. Единственная, оставшаяся после смерти старших детей дочка, Соня, которой недавно минуло пятнадцать, воспитывалась в институте и приезжала домой только на праздники.

И в разговоре, который шел за столом, они невольно обращались к прошлому, перебирали старых казанских знакомых, вспоминали былое, которое сквозь дымку времени казалось им таким прекрасным. Потом хозяева наперебой стали расспрашивать Иакинфа про Монголию и Китай. Он рассказывал о своих странствиях — увлеченно, а о злоключениях — синодальном суде и Валааме — коротко, с горькой усмешкой.

— Ну это уже все в прошлом, — сказал Саня. — А ныне, ныне ты становишься известным литератором. Твои статьи и переводы в "Северном архиве" возбудили много разговоров и толков.

— Да кому же известно, что они принадлежат мне? Ведь напечатано-то все анонимно…

— Ну, шила в мешке не утаишь, — улыбнулся Саня.

— Ты знаешь, Никита, с тех пор как мы прослышали, что ты уехал в Китай, мы с Саней не пропускаем ничего, что появляется об этой стране в наших журналах, — сказала Таня.

— Все, что у нас до сих пор публиковалось о Китае, перепечатывалось из французских да английских изданий, — снова заговорил Саня. — А тут одно за другим появляются оригинальные русские сочинения, изобличающие в авторе такое знание Востока, китайского языка и словесности! Как же публике не заинтересоваться автором!

— А имя автора, к тому же, овеяно легендами! — улыбнулась Таня. — Ты, наверно, и представить себе не можешь, сколько тут, в Петербурге, судачат на твой счет.

— Да и не только судачат! Смею тебя уверить, имя достопочтенного отца Иакинфа известно просвещенной публике более, нежели ты думаешь, — сказал Саня убежденно. — Намедни встречаю в университете адъюнкта академии Шмидта. Зашла речь о твоих прибавлениях к ответам Крузенштерна. Так ты представляешь, этот надутый спесивец, который на русских ученых всегда смотрит свысока, говорит мне: едва ли во всей Европе есть другой человек, столь хорошо знающий Китай и всю Среднюю Азию {Так в начале XIX века называли обычно Центральную Азию.}, Китайскую и Монгольскую.

— Да, чтобы не забыть! — спохватился Иакинф. — Прибавления-то к Крузенштерновым ответам я принес вам в отдельном издании. Только что вышло. Вот вам на добрую память, раз уж вы оба Китаем интересуетесь.

Иакинф взглянул на сидящую напротив, у самовара, Таню.

"Счастлива ли ты?" — спросил его взгляд.

Она ответила ему растерянной, немного грустной улыбкой и отвела глаза.

Да, спрашивать ее об этом не следовало.

Про себя-то он точно знал теперь, что счастлив не был.

Наверно, только сейчас, сидя за этим столом, он понял, чего он был лишен все эти годы — тепла. Простого человеческого тепла. Домашнего крова, семейного очага. С какой-то отчетливой, пронзительной ясностью он понял, как одинок был все эти годы. Самообладание, правда, изменяло ему редко, он не позволял себе предаваться пустым скорбям. Да и не пустым тоже. Он гнал их с порога. Но теперь-то ему ясно: счастлив он не был. Ему казалось, что он испытал на своем веку все, что дано испытать смертному. У него есть то, что выпадает на долю немногим — увлечение своим делом. Он долго жил, много странствовал и размышлял. Много страдал, но многому и радовался. Несмотря на монашеский клобук, который всегда его тяготил и от которого он так и не может избавиться, он не бежал мирских соблазнов, любил шумные застолья, питал страсть к женщинам, случалось к нескольким кряду, и не почитал это грехом: ведь стремление к

счастью у человека в крови, зачем же его гнать? Но счастливым — счастливым он не был.

Таня разливала чай, совсем как ее мать в те давние времена в Казани. Они предавались воспоминаниям, шутили, а на сердце было тревожно от сумятицы каких-то новых чувств, сложных и противоречивых…

Саня рассказывал, как тяжело последнее время в университете.

— Попечитель наш — человек, бессмысленнее которого во всей России не сыщешь. Все носится с сумасбродной идеей создать в столице настоящий "христианский университет". Силится распространить суровые принципы христианства и на такие абстрактные науки, как математика. Ты представляешь, ему хочется, к примеру, чтоб я трактовал в своих лекциях треугольник как символ троицы. Лучших профессоров из университета изгоняют. Русским не дают хода, на всех кафедрах засилье немцев.

— По нынешним временам Саня не к масти козырь, — сказала Таня. — Ты же его знаешь! Ему всегда было ненавистно искательство, и он по-прежнему с юношеским пылом готов защищать справедливость.

— Ну как же! Ты, друже, всегда был чересчур горяч и, прости, немного простодушен, — сказал Иакинф, — всегда лез на рожон…

— Он и сейчас не изменился, — вставила Таня. — Да вот только справедливость-то вышла из моды. Но Саня верен себе, он считает, что есть нечто, моде неподвластное. И прежде всего — порядочность.

Саня со смущенной улыбкой признался, что никак не может ужиться ни со своими коллегами, ни с начальством.

— Пожил бы ты в лавре, средь лаврских благочестивых иноков! — сказал Иакинф. — Святоша на святоше. И все одинакие, будто размножили на литографском камне в синодальной типографии. Тебя-то как-никак окружают ученые.

— Это только звучит так — профессора, ученые! А по большей-то части, это всё такие обскуранты и по уши погрязли в искательствах. А что до начальства, так ему место скорее в казарме, нежели в университете. Вот и выходит, людей кругом много, а оглянешься — пустыня.

Иакинф принялся над ним подтрунивать.

— Могу тебе, Саня, один совет дать. Секрет ладить с людьми прост, — сказал Иакинф с хитроватой улыбкой. — Говори с ними не про то, что тебя занимает, а про то, что их занять может, что их душеньке любо. И враз прослывешь человеком умным и

обходительным

— Будто ты сам таков! — усмехнулась Таня. — Вы же оба никогда не могли покривить душой. О Сане уж и говорить нечего. Да разве может он слицемерить хоть в малом, прикинуться заинтересованным, когда равнодушен, сказать человеку слово похвалы, ежели считает, что тот его не заслуживает. У него всегда что на уме, то и на языке. Впрочем, это-то мне в нем и мило, — сказала Таня, помолчав, и ласково поглядела на мужа. — Отношений с людьми это, конечно, не улучшит, но душу от ржавчины убережет.

— А я уж решил, что ты мне, как старому другу, пожаловаться на мужа надумала, — засмеялся Иакинф. — А что до начальства, тут самое главное — на свою холку не давать охулки. Ежели ты, говоря с начальником, позволишь ему хоть раз поднять голос, пиши пропало. Но зато, ежели при первом же его грубом слове сам на него голос возвысишь, считай — дело в шляпе. Вот увидишь, беспременно испугается и уступит. Право слово, уступит, потому как решит: ты человек с характером и задевать тебя рискованно. Поверь, друже, это многократно проверено и испытано.

— Да, дипломат из тебя — хоть куда! Недаром к министерству иностранных дел высочайше причислен и до столь высоких чинов дослужился, — сказала Таня с забавно-серьезным видом.

И все трое рассмеялись.

Так они сидели за большим столом. Дневной свет постепенно угасал. Вошел слуга, зажег свечи, растопил печку. За окном шел мокрый снег, а в комнате было тепло и уютно. Большие английские часы в углу отсчитывали время. Но этого никто из них не замечал…

II

Он думал, что зайдет к Карсунским на часок, а вернулся в лавру уже за полночь. Встретились, разговорились, и он понял, что все его опасения напрасны. Было у них как-то по-особенному тепло, он не ощутил и намека на ту неловкость, которой опасался… Ну, разве что в самые первые минуты.

Бывает, что встретятся старые друзья после долгой разлуки, а им и сказать-то друг другу нечего, и разговор сразу обрывается, как только кончаются воспоминания. А одними воспоминаниями сыт не будешь. Люди вдруг понимают, что все эти годы разлуки они шли в разные стороны и очень далеко ушли от тех, какими были когда-то. Тут этого, слава богу, не случилось. Жизнь хоть и

разбросала их в разные стороны, но не сделала чужими.

Конечно, время оставило на каждом из них свои отметины. Особенно это было заметно в Сане. И все же это был прежний Саня — несмотря на одышку, на полноту, на те черты профессорской маститости, которые он обрел за эти годы. А вот Таня внешне переменилась мало. Признаться, он очень боялся увидеть ее старухой. Она же выглядела превосходно — стройный стан, тонкая талия и ни малейшего намека на полноту. Вероятно, никто не дал бы ей сорока пяти, хотя она и не прибегала ни к каким уловкам, чтобы скрыть свой возраст, она просто не замечала его. Глядя на нее, Иакинф и сам перестал замечать свой. А вот внутренне она переменилась неузнаваемо. В ней не осталось и следа от той доверчивой девочки, какой он ее помнил, от той беззаботной, ребячливой веселости, с какой она встречала их с Саней в старом саблуковском доме над Черным озером,

Нет, не беззаботная девочка, а умудренная жизнью женщина встретила его. Чувствовалось, что она по-настоящему умна. И то была не заемная мудрость, которую можно вычитать из книг, а подлинная, какой научают беды и которую может дать лишь свой, а не чужой душевный опыт.

Как хорошо, что он не стал больше откладывать. Что бы там ни случилось, этот вечер будет для него одним из самых памятных.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

I

Как и было условлено, Иакинф заехал за Шиллингом.

К Пушкину они отправились пешком. Квартировал тот в Демутовом трактире на Мойке, в двух шагах от Марсова поля, где жил Павел Львович. Шиллинг быстро отыскал пушкинский нумер, состоявший из двух обращенных во двор комнат.

В прихожей их встретил человек Пушкина и сказал, что Александр Сергеевич больны и никого не принимают.

— Ах, какая досада! А мы пришли его проведать.

— Это вы, Павел Львович? — послышалось из-за двери. — Милости прошу, проходите, проходите!

Пушкин откинул клетчатый шотландский плед, которым был укрыт, провел тонкими пальцами по спутанным волосам и поднялся навстречу, протягивая Шиллингу руки.

— Здравствуйте, любезнейший Павел Львович! Это превосходно, что вы нашли время навестить больного. Рад вас

видеть!

Выглядел он и в самом деле больным. Глаза очернены тенью, широкие рыжеватые бакенбарды всклокочены, лицо иссечено морщинами и выражает угрюмость.

— Что с вами, Александр Сергеевич, дорогой? Я не на шутку встревожился, получив вашу записку.

— Да что-то опять нога. И, должно быть, желчь разлилась. И вот — валяюсь в постеле.

— Очень, очень жаль! А у меня собралась вчера холостая пирушка. Как вас не хватало!.. Удостоен, видите ли, чина действительного статского советника.

— Ого! Поздравляю. От души. А я всего лишь отставной губернский секретарь.

— У отца же Иакинфа вышла в свет первая книга. Как же было не отметить такие события? Да что ж это я? — спохватился Шиллинг. — Позвольте представить вам моего друга — отец Иакинф. Надежда нашей хинологии. Целых четырнадцать лет провел он в столице Поднебесной империи.

Пушкин быстро повернулся, взглянул на Иакинфа и вдруг улыбнулся, обнажая ровные, удивительной белизны зубы. Иакинфу показалось, что и весь он как-то разом переменился — следы угрюмства будто слетели с его смуглого усталого лица.

На какой-то миг Пушкин смешался, видимо не зная, как приветствовать необычного гостя в монашеской рясе, но затем решительно протянул руку:

— Рад познакомиться, отец Иакинф. Много о вас наслышан.

Иакинф пристально, хотя и не без доли смущения, разглядывал знаменитого сочинителя. Был тот много ниже Иакинфа и смотрел на него, слегка откинув голову, увенчанную вьющимися темно-русыми волосами. Выглядел он старше, нежели Иакинф предполагал. Но рукопожатие у него было крепкое. Да и во всей его стройной, сухощавой фигуре, облаченной в мягкий татарский халат с распахнутым воротом, угадывалась скрытая сила.

Усадив гостей в просиженные сафьяновые кресла и предложив им сигары, Пушкин сам устроился на диване — по-турецки, с ногами.

Улучив момент, Иакинф вытащил припасенную книгу и на первой, после титула, чистой странице написал:

Милостивому Государю Моему
Александру Сергеевичу Пушкину
В знак истинного уважения от переводчика
Апреля 26-го дня 1828

— "Описание Тибета в нынешнем его состоянии", — прочел Пушкин. Он быстро перелистал книгу и, поблагодарив Иакинфа, тотчас забросал его множеством вопросов; они хоть и были отрывочны и беглы, но, как отметил про себя Иакинф, все шли к делу…

— Это так отрадно, отец Иакинф, что вы намереваетесь пролить свет на сношения наши со странами Востока, — сказал Пушкин, расспросив Иакинфа о его планах. — Как мало мы знаем о восточных народах! А они, я убежден, могут рассказать нам о себе много нового и необычного! И похвально, похвально, что вы наметили себе целую программу переводов из китайской словесности. Именно переводы! — горячо говорил Пушкин. — Без переводов, добросовестных, исполненных со знанием дела, невозможно настоящее просвещение. И такое ободряющее начало! Нет, нет, это надобно отметить. Никита! — крикнул Пушкин слуге.

Тот принес бутылку вина.

Хлопнула пробка, зашипело вино в стаканах.

Пушкин поднял свой в честь гостей. Говорил он живо, с подкупающей естественностью.

Иакинф осушил стакан и почувствовал, что исчезает неловкость, которую он испытывал на первых порах, и к нему приходит привычное самообладание. Вино тем и хорошо, что освобождает от скованности; разговор повился, как ручей, — из стороны в сторону.

— А вы заметили, Павел Львович, — отнесся к Шиллингу Пушкин, — кому книга-то посвящена? Княгине Зинаиде Александровне Волконской!

— Как же не заметил! А чему же тут удивляться? — с жииоетью иоскликнул Шиллинг. — Чудная женщина! Я бы и сам с радостью книгу ей посвятил. А не выпить ли нам ее здоровье? Умница и чаровница: глаза — как небо италийское, фигура — истинной грации и вся — пьянит чувства. Здоровье княгини!

Здравицу поддержали дружно.

— Но надобно прибавить, и вы пришлись ей по душе, святой отец, — продолжал Шиллинг, когда все осушили стаканы. — Как она меня про вас расспрашивала, когда вы ей привет с Валаама прислали! Старый вы греховодник! — погрозил он пальцем Иакинфу.

— Ах, оставьте, Павел Львович! Вам бы все шутить. А я без всяких шуток по гроб жизни ее не забуду. Вот вы все в неосторожной доверчивости меня упрекаете, а бог милостив, княгиня с самого началу приняла во мне участие наиживейшее…

Александр Сергеевич, наверно, и помыслить не может, как трудно было издать сие сочинение. Я ведь еще на Валааме его подготовил. Дозволение цензора, спасибо Павлу Львовичу, получил два года назад. Ну хорошо, дозволение дозволением, а кто издавать будет? Собственных средств на издание нету — откуда у опального монаха деньги? Да и издатели в затруднении. Сами посудите: как отважиться напечатать большую книгу никому неизвестного сочинителя, да еще поднадзорного монаха, про которого бог знает чего только не говорят в Петербурге. Вот тут-то княгиня и протянула мне руку помощи — рекомендовала типографии императорского воспитательного дома. Так как же было не посвятить ей сей скромный труд?

— Да не оправдывайтесь вы, не оправдывайтесь, отец Иакинф, — продолжал подшучивать Шиллинг.

— Но, право, как же вы с нею познакомились? — спросил Пушкин. — Живет она в Москве, а вы, как мне рассказывал Павел Львович, по возвращении из Пекина четыре года под строгой епитимьей на Валааме провели?

— Да это еще до Валаама, — улыбнулся Иакинф. — Об ту пору княгиня в Петербурге жила. Я ведь когда из Пекина-то прибыл и под судом Синода в лавре имел пребывание, пытался куда-то свои труды пристроить. Знакомых в Петербурге ни души. Вот Егор Федорович Тимковский…

— Тимковский? Это кто же? Уж не родственник ли цензора?

— Нет, нет, однофамилец. Пристав, что сопровождал нашу миссию на возвратном пути из Пекина, а ныне начальник отделения в Азиатском департаменте. Прекрасной души человек. Он и присоветовал мне снестись с директором Публичной библиотеки Олениным. Вот у него мы и познакомились.

Иакинфу пришло в голову, не больно ли он многоречив. Но взглянул на своих собеседников — в глазах у обоих столько живого и неподдельного интереса, что продолжал с прежней обстоятельностью:

— Ну, Зинаида Александровна, видно, была про меня от кого-то наслышана. Все расспрашивала и про Пекин, и про древности китайские… И за ужином мы рядом оказались. Так мы с ней весь вечер протолковали. И меня все расспрашивала и сама про свои упражнения рассказала. Об ту пору она славянской стариной увлекалась. И эпическую поэму про княгиню Ольгу замыслила. Не слыхал, написала ли?

— Как же, Вяземский рассказывал, читала в Москве первые песни поэмы — и по-русски, и по-французски.

— А после ужина, — продолжал Иакинф, — села за фортепьяно и просто оволшебила всех своим пением.

— Да, певица она превосходная! — подхватил Пушкин. — Помню, как при первой встрече в Москве она меня поразила. Приезжаем к ней с Соболевским, и она вдруг запела: "Погасло дневное светило, на море синее вечерний пал туман…" До того неожиданно… Не скрою, я был смущен и тронут. Хотя, быть может, это всего лишь тонкое художественное кокетство.

— А какая актриса в ней пропадает! — воскликнул Шиллинг. — Не могу забыть ее в роли Жанны Д'Арк. Ах, как она пела, вы бы слышали! Как пела!

— В опере? Где же?

— В Риме. Разумеется на домашнем театре. В опере собственного ее сочинения на Шиллерову пьесу. А вы, я вижу, Александр Сергеевич, и сами всурьез театром увлеклись, — сказал Шиллинг, беря со стула у изголовья дивана раскрытую книгу. — Читаете Шекспира?

— Для того и английский выучил. Целых четыре месяца на сие потратил. И не жалею. Игра стоит свеч. Какой писатель!

— Да? А мне он что-то не по душе, — признался Шиллинг. — Не хватает ему… Как бы это сказать?.. Изящества отделки. Больно уж он небрежен. Разве можно сравнить его, скажем, с Расином?

— Ну, Павел Львович, от вас я, право, такого не ожидал.

— А что же тут удивительного? — заметил Иакинф со скрытым лукавством. — Хулить-то куда проще, нежели хвалить. Да и притом резкость осуждения одного сочинителя перед лицом другого должна быть более тому приятна, нежели восторженная похвала.

Пушкин взглянул на Иакинфа и засмеялся вдруг ребяческим веселым смехом. Какой, должно быть, счастливец, раз умеет так смеяться, невольно подумалось Иакинфу.

— Э, да вы, отец Иакинф, оказывается, человек язвительный, — сказал, все еще улыбаясь, Пушкин. — Должен признаться, что похвалы даже моим собственным сочинениям оставляют меня равнодушным. А вот злая и резкая критика волнует и раздражает. — И вдруг, посупясь, обратился к Шиллингу: — Нет, дорогой Павел Львович, Шекспир по-настоящему велик, несмотря на небрежность, как вы говорите, а может быть, порой и уродливость отделки. Я не сравню его ни с одним драматическим писателем. Вы говорите: Расин. Расин — королевский историограф, придворный. А Шекспир — настоящий мужик. Но гениальный! Мужик. Вот оттого-то по временам он так груб и резок. Но зато никто, как он, не умел высказать всего, что у человека на душе… В сущности, предмет всех его трагедий — человек и народ.

— Не буду спорить — может, оно и так. Но не хватает ему…

Как бы это лучше сказать?.. Натуральности, жизненного правдоподобия, что ли… — возражал Шиллинг. — Древние римляне в иных его пьесах точь-в-точь бритты елизаветинской поры — те же повадки и обычаи.

— Ну и что же из того? — парировал его возражение Пушкин. — Жизненное правдоподобие, как вы изволили выразиться, не надобно полагать в строгом соблюдении костюма, красок, времени и места. Куда важнее подлинность страстей, правдоподобие чувствований.

— Да и больно уж он мрачен, Александр Сергеевич, помилуйте, — стоял на своем Шиллинг. — Такие у него тяжкие злодеяния, такие безмерные страдания!

— Да-да. Я и сам после чтения Шекспира нередко чувствую — голова кругом. Всё кажется, заглянул в мрачную пропасть. Но не должно забывать, Павел Львович, что сама драма родилась на площади. А народ, он требует сильных ощущений. Для него и казнь — зрелище. Вот оттого-то трагедия и выводила перед ним злодеяния, от которых стыла кровь, страдания, от коих лились слезы. И так не только у Шекспира. Ведь кроме короля Лира, любезнейший Павел Львович, вы знаете и Эдипа…

И спор разгорелся с новой силой.

Иакинф на первых порах больше присматривался да прислушивался, нежели участвовал в беседе сам. Да и предмет спора был ему далек. Шекспира он не читал, на театре русском не бывал со времен Казани. А китайский, в который он частенько хаживал, это же совсем другая статья. Он легко представлял себе, что любую Шекспирову пьесу, переведя на русский язык, можно сыграть на петербургской сцене, а что касается до какой-нибудь французской, так ее и переводить не надобно — тут по-французски говорят куда бойчее, нежели по-русски. Но ему было просто невдомек, как можно сыграть китайскую пьесу на европейском театре. Тут переводом с одного языка на другой не обойдешься. Китайскую пьесу надобно перевести на совсем другой сценический лад. А между тем многое из того, о чем говорил сейчас Пушкин, применимо, должно быть, и к китайскому театру.

Иакинф молча следил за спором и с еще большим вниманием наблюдал за самими спорщиками, особливо за Пушкиным, которого ни разу до сих пор не доводилось ему повстречать. Правда, в сентябре, на осенней выставке в Академии художеств, он видел его портрет, писанный Орестом Кипренским, а на днях купил альманах "Северные цветы" на двадцать восьмой год, к которому была приложена гравюра с того портрета.

И сейчас, прихлебывая вино и прислушиваясь к беседе,

Иакинф невольно сравнивал живого Пушкина с его изображением. Конечно, портрет вроде бы похож. С первого-то взгляду Иакинфу даже показалось, что Пушкин на портрете куда лучше, нежели в жизни. Этакая величавая осанка, устремленный вдаль задумчивый взгляд, на плече романтический плащ. А в жизни — потертый халат, всклокоченные волосы, усталое, с морщинами, лицо. Но чем больше вглядывался он в сидящего насупротив человека, тем яснее видел, что так понравившийся ему портрет — всего лишь недвижная маска в сравнении с этим живым, удивительно переменчивым лицом. Не хватает на портрете лучистой живости этим большим зорким глазам, которые в разговоре то и дело меняют цвет: то кажутся они голубыми, то вдруг темнеют и становятся совсем синими. Застыли на полотне эти яркие, четко очерченные губы, а в жизни они в непрестанном движении. А как беспрерывно меняется само выражение этого несхожего с другими, неправильного лица! Сверкнет широкая, заразительная улыбка — и Пушкин кажется совсем юношей, но вдруг глубокая складка заляжет меж бровей — и перед тобой усталый, немолодой уже человек, почти подстарок. Да какой же художник способен передать это на полотне? И сквозь все это, как очертания крепости сквозь завесу петербургского тумана поутру, проступают черты арапского прадеда — чуть выдвинутая вперед нижняя челюсть, слегка приплюснутый нос, полные яркие губы, непокорные курчавые волосы.

II

Хозяином Пушкин был радушным, заботливо подливал в стаканы вино, возглашал шутливые тосты, и Иакинф скоро почувствовал себя с ним так же непринужденно и просто, как и с Павлом Львовичем. С тем-то они стали дружны как-то сразу, что вроде и редко случается в их возрасте. За два года Иакинф успел привязаться к этому дородному, немного шумному, но неизменно доброжелательному человеку. Шиллинг всегда был в отличном настроении, весел, словоохотлив, вернее, беседолюбив, всегда начинен множеством новостей, неизменно рад оказать Иакинфу какую-нибудь услугу. Вот и теперь расхваливал он Иакинфову книгу.

— Это ведь первая в России книга о Тибете, стране воистину загадочной, — донеслись до задумавшегося Иакинфа слова Шиллинга. — Недаром Сенковский — а уж он на что скуп на похвалы — и тот пишет, что сочинение сие не только делает честь русской словесности, но и обогащает всю европейскую

литературу.

— Где это он вас так расхвалил, отец Иакинф? — спросил Пушкин.

— В "Северной пчеле". А я и не знал, что, это Сенковский, пока Павел Львович не сказал. Статья подписана именем какого-то Тютюнджу-оглы.

— Ну, вас можно только поздравить! И вам, и вашей книге просто повезло. Раз уж вы становитесь литератором, вам надобно знать, отец Иакинф, что вся наша литературная торговля находится в руках этих грачей-разбойников.

— И горе сочинителю, навлекшему их неудовольствие, — подхватил Шиллинг. — Можно поручиться, книга так и останется на прилавках, ежели ее разругают в "Пчеле". И слава богу, что миновала вас чаша сия.

— Зато уж эта вас не минует, — улыбнулся Пушкин, поднимая стакан. — Ваше здоровье, отец Иакинф.

Поздравления эти приметно смутили Иакинфа.

— Ведь первые-то свои статьи я опубликовал в "Северном архиве", — сказал он. — А господину Гречу меня рекомендовал в свое время еще Николай Александрович Бестужев.

— С тех пор много воды утекло. И теперь вам лучше снестись с московскими журналами, — сказал Пушкин убежденно. — Там вас вернее оценят. В Петербурге же издатели по большей части и не литераторы вовсе, а смышленые литературные откупщики.

— Тут больше думают о чинах и карьере, нежели пекутся о науке, — сказал Шиллинг.

— Совершенно справедливо. Что до учености, до настоящей любви к наукам и искусствам, да попросту — до талантов, то все это неоспоримо на стороне Москвы. Там такие образованные критики, как Вяземский, Погодин, Шевырев, Киреевский. А в Петербурге? Тут журналы судят о политической экономии столь же игриво, как о музыке, о музыке — туманно, как о метафизике. И всё наобум. Слов нет, иногда и остроумно, и вроде бы впопад, но понаслышке, без всяких основательных правил и сведений…

— Да еще вдобавок и из личной корысти, — поддержал Пушкина Шиллинг. — Тут нашу старую пословицу надобно б переиначить: не рука руку моет, а рука руку марает!

Пушкин громко, заразительно захохотал.

— Хорошо сказано: рука руку марает! Вот и Вяземский говорит, что наши петербургские журналы до того грязны, что их нельзя читать иначе, как в перчатках…

Разговор скоро опять обратился к Востоку. И как жадно, с каким любопытством расспрашивал Пушкин Иакинфа о приобретенных им в Китае редкостях, привезенных в Петербург

книгах и рукописях!

— Нет, решительно вам можно позавидовать. Столько вы всего повидали! Признаюсь, путешествия с детства были моею любимою мечтою.

— Но вы ведь и сами немало попутешествовали, — заметил Иакинф.

— Но что я видел? Крым, Кавказ, Бессарабия. А ведь это все Россия. Никогда еще не видел я земли чужой, не вырывался из пределов отечества.

Узнав, что Иакинф готовит к печати книгу о Монголии, Пушкин воскликнул:

— Записки о Монголии? Непременно, непременно покажите мне эту книгу! Россия и монголы — ведь вместе с тем это еще Восток и Запад! Россия всегда находилась между тем и другим… Вот европейцы гордятся своим просвещением, а забывают, что оно было спасено растерзанной Россией. Наши предки остановили монголов на самом краю Европы.

— И уж совсем иначе было с монгольским нашествием на Востоке, — заметил Иакинф. — Китай — это ведь, в сущности, целая Европа — и по протяженности и по народонаселению. Но не было у него такого заслона, как Россия. Одна Великая стена. А через нее монголы не затруднились переправиться, подкупив китайских стражей. И весь Китай полонили. И династию свою там учредили. Но вот что прелюбопытно, Александр Сергеич: покорясь завоевателям, китайцы совершенно переплавили их в своем котле. Скоро сии грозные властители и язык свой забыли, и обычаи растеряли. Во втором, много в третьем поколении совершенно окитаились.

— Это действительно любопытно. Скажите, отец Иакинф, а оставило их нашествие какой-то след в языке образованных китайцев?

— Можно сказать — никакого! От силы два десятка слов, ну может, три.

— Гм! И то же у нас. Ведь едва ли полсотни татарских слов перешло в русский язык. Впрочем, это естественно. Чуждый язык распространяется не саблею и не нагайкою…

— Цивилизованные китайцы…

— Вы лучше расскажите, отец Иакинф, хороши ли женщины монгольские? — прервал друга Шиллинг.

— Да как вам сказать, Павел Львович? — оборотился к нему Иакинф. — Ежели вы уж так любопытствуете, так можно б и самому съездить. Человек вы не старый. Чувства в вас не оледенели, как я погляжу. Да и не ахти это как далеко — каких-нибудь восемь тысяч верст. А вообще-то у женщин монгольских, у

тех, что помоложе, на лице всегда румянец и свежесть цвета. И взгляд их лукав и быстр.

— Наверно, пугливы, как всякие кочевники? — спросил Пушкин.

— Нет, не скажите, Александр Сергеич. В их обращении гораздо больше людскости и ловкости, нежели сколько от кочевого народа требовать можно. Да и непорочность ложа мало они уважают и даже пред иностранцами не показывают большой застенчивости, скорее доброхотны и ласковы с ними.

— Это вы, небось, на себе испытали, святой отец, — рассмеялся Шиллинг. — А что, Александр Сергеич, может, и в самом деле, махнем в Монголию, а то и в Китай, отец Иакинф сопроводителем будет надежным. Или вы, я слыхал, на Кавказ собрались?

Пушкин развел руками:

— Собирался. И хочу попенять на вашего родственника…

— Александра Христофорыча? Что так?

— Отнесся к нему намедни с письмом, просил определить в действующую против турок армию.

— И что же? — откликнулся Шиллинг. — Граф хоть излишней добротой и не грешит, но, насколько я знаю, человек он обязательный. На письма отвечает незамедлительно.

— Вот то-то и оно. А тут проходит неделя, начинается другая. В середу я уж сам отправился к нему. Вышел ко мне адъютант с извинениями: граф, видите ли, очень занят и сожалеет, что не может принять. На другой день доставляют мне от графа письмо с сообщением о высочайшем отказе. Что же делать? А в Петербурге такая тоска! Не пускают на Кавказ, прошусь в Париж.

— В Париж! Да-да. В Париж, вот куда вам надобно ехать! — загорелся Шиллинг. — Вы ведь сами говорите, что никогда не были за границей.

— Не торопитесь, Павел Львович, не торопитесь! Через два дни с ответом графа является чиновник Третьего отделения Ивановский. Да вы, наверное, его знаете…

— Ну как же! Эдакий вкрадчивый господин. Сам себе кажется наверху учтивости и взящных манер.

— Да, да. Весь предупредительность и добродушие. На сей раз граф счел за лучшее не доверяться бумаге, а объясниться устами этого любезного господина. Чего он только мне не наговорил! И думать, мол, ненадобно и немилости ко мне государя. Его величество отказал в поездке в действующую армию единственно потому, видите ли, что меня пришлось бы определить в войска юнкером, государь же не желает подвергать опасности владыку скудного царства родной поэзии, как ему

угодно было меня назвать.

— Что же, это вполне справедливо, и насчет владыки, и насчет опасности. Кавказ! Туда же ссылают, а вы по доброй воле проситесь. Ну а в Париж-то, в Париж? — нетерпеливо расспрашивал Шиллинг.

— И я про то поинтересовался. "И в Париж невозможно-с, — отвечает мне и за царя и за Бенкендорфа Ивановский. — Его величество изволит полагать, что такое путешествие будет для вас очень обременительно!" Вот так-то, Павел Львович, — заключил Пушкин свой рассказ. — Видите, как пекутся о моей безопасности и о моем благополучии. Есть от чего разлиться желчи!

— Как это несправедливо! — Шиллинг вскочил с кресла и зашагал по комнате. — Дворянин и поэт — не солдат, не крепостной и не узник — не вправе поехать за границу, не получив высочайшего соизволения! Государь всегда казался мне человеком разумным, но простите…

Тень промелькнула по смуглому лицу Пушкина.

— Я иногда думаю, уж не лучше ль было оставаться в моем Михайловском — равно далеко от суеты и пошлости обеих столиц, — сказал он тихо.

Поднялся с дивана, прошелся, прихрамывая, по комнате. Стал у окна. Напротив высилась глухая стена, выкрашенная казенной охрой. Волнение его выдавали только руки, сцепленные за спиной.

Подступал вечер, тот сумеречный час, который Иакинф любил особенно — ни день, ни ночь, час вне времени, когда теряешь всякое представление о существенности.

Но скрипнула дверь. Вошел слуга, зажег свечи и стал накрывать на стол.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

I

В четверг рано утром прибежал человек Карсунских с запиской. Несколько торопливых слов — с Саней плохо.

Иакинф схватил извозчика и помчался на Гороховую.

Саня лежал в кабинете на высоко взбитых подушках. В комнате стоял запах камфары, валерьяны и еще каких-то снадобий. У изголовья сидела Таня, побледневшая и испуганная. Саня дышал тяжело, прерывисто и не приходил в сознание. Ночью с ним случился удар. Ему пустили кровь, на короткое время он

пришел в себя, а потом снова погрузился в забытье.

Целую неделю Иакинф не отходил от постели больного. Они с Таней и ночевали в Санином кабинете, сменяя друг друга.

Иакинф дивился, откуда берутся силы у этой слабой и такой хрупкой на вид женщины. Она принимала врачей, выслушивала их советы и наставления, меняла компрессы, посылала в аптеку за лекарствами, льдом, пиявками, сама ставила их, отдавала распоряжения по дому и всегда оказывалась рядом с Саней, едва он приходил в себя.

Когда на следующую пятницу, уже во втором часу пополуночи, Таня ушла к себе, чтобы на часок прилечь, а Иакинф устроился с книгой в кресле у изголовья Сани, тот вдруг открыл глаза, взял его за руку ослабевшей рукой.

— Слушай, брате, не оставляй их…

— О чем ты, Саня?

— Таню и Сонюшку… Знай, ближе тебя… у них… никого нету…

— Полно, Саня, — пытался успокоить его Иакинф. — Нам с тобой, друже, еще жить да жить, а ты… вон что удумал. Эдакий здоровенный мужичина.

— Был, да весь вышел, — горько усмехнулся Саня и попробовал пошутить:-Должно быть, чем человек толще, тем больше в нем… места… для разных хворей…

Саня взглянул ему прямо в глаза, та сухая, затаенная, боль, которую Иакинф приметил еще в первую их встречу, была сейчас жаркой и обнаженной.

— Худо мне, брате, очень худо…

Впервые за все это время Иакинф понял, что дна Санины и впрямь сочтены и что Саня сам знает это…

Иакинф с трудом заставил себя поехать на кладбище, чтобы проводить в последний путь старого, вновь обретенного друга. Смерть всегда, с далеких отроческих лет, пугала его. Самый вид кладбища, где пахло тленом опавшей листвы, а может, и останков лежащих вокруг сотен и тысяч неведомых ему людей, где, несмотря на разность крестов и надгробий, стерты различия между малыми и великими, слабыми и сильными, просвещенными и невежественными, добродетельными и порочными, тружениками и бездельниками, был ему непереносим.

Таня, в черной кружевной накидке, еще больше побледневшая, с сухими, без слезинки, глазами, стояла у гроба над раскрытой могилой. Пахло прелой листвой и вырытой из могильной ямы сырой землей. Он смотрел на Таню и вновь и

вновь его поражала ее выдержка и самообладание. Видно, она совершенно не замечала, что на нее устремлено столько взглядов, сочувствующих или просто любопытных. А рядом, вцепившись в рукав матери, стояла Соня с заплаканными глазами, удивительно похожая на мать, какой та была четверть века назад.

Отзвучали прощальные речи. Над раскрытым гробом пропели последнюю литию. Иакинф прикоснулся губами к холодному лбу друга. Крышку закрыли, над темной пропастью могилы протянулись белоснежные холсты, гроб закачался на них и, увлекая за собой землю с насыпи отвалов, стал опускаться. Вслед за Таней Иакинф бросил в могилу горсть земли, и сразу же по крышке гроба застучали влажные комья. Четверо здоровенных мужиков-могильщиков водрузили в изножье тяжелый дубовый крест и принялись оглаживать лопатами невысокий холмик. Скрежет лопат был нестерпим, будто скребли по обнаженному нерву. Какие-то старушки в черном, похожие на инокинь, обносили провожающих кутьей, просфорами и вином. Иакинф отошел в сторонку. Таня стояла у самой могилы, безвольно опустив руки. Провожающие подходили, произносили слова соболезнования, прикладывались к руке и группами по два-три человека направлялись к выходу.

С кладбища они уехали последними.

Тротуар и мостовая перед домом Карсунских на Гороховой были устланы соломой. Двери дома распахнуты настежь. В комнатах ходили незнакомые Иакинфу люди. Чинно, стараясь не шуметь, рассаживались за длинным столом, протянувшимся через всю столовую от стены до стены.

Таня сидела у торца стола. По правую руку от нее поместился ректор университета, по левую — служивший панихиду протоиерей, отец Герасим. Первым исполнил печальную обязанность произнести застольную речь в поминовение души почившего ректор. Потом с бокалами и рюмками в руках поднимались один за другим коллеги покойного и в изысканных и обстоятельных фразах славословили безвременно покинувшего мир профессора Карсунского, изощрялись в выражениях соболезнования вдове покойного. Это официальное заупокойное красноречие раздражало Иакинфа. Истинная скорбь не должна быть многоречивой. Прав старый Лао-цзы: "Верные слова не изящны". Да он и видел, что собравшиеся к поминовению проголодались, продрогли на осеннем ветру, переполнены своими мирскими заботами, а водка так заманчиво переливалась в гранях графинов, освещенных стоявшими на столе канделябрами, блины — пшеничные, ячневые, овсяные — так аппетитно дымились, икра была такой свежей, что руки против

воли тянулись не то что к заупокойным чашам, а просто к рюмкам и стопкам, и скоро глубокая печаль собравшихся, (если верить их застольным речам) как-то незаметно перешла во вполне земной оптимизм. Несколько рюмок, которыми по издревле заведенному обычаю провожали душу усопшего на тот свет, сообщили участникам тризны состояние некоей туманной беспечности. Кроме официальных заупокойных спичей, которые все еще звучали и произносились все громче, весь остальной разговор за столом уже мало касался покойного и сидящей во главе стола вдовы. Наступил такой момент, когда только что объединявшее всех горе отодвинулось куда-то вдаль, на душе у участников застолья потеплело, на языки поплыло такое, что таилось где-то под спудом. Разговор, начавшийся воспоминаниями о покойном, — а вспоминались все больше разные забавные случаи, — скоро и вовсе уже не был связан с поминовением.

Сидящий рядом с Иакинфом пожилых лет молодящийся господин, с аккуратно начесанными на лоб седыми височками, убеждал своего соседа, упитанного человека с румяными, слегка отвислыми щеками и обширным животом, что жизнь надобно брать стоически.

— Не стоит добиваться чего-нибудь, ибо все блага, так ценимые людьми, — богатство, власть, почести — все суета сует, — убежденно говорил он.

— Вы правы, — соглашался дородный сосед. — Жизнь хороша сама по себе. А блины, доложу я вам, превосходны, — и он положил себе на тарелку новую стопку. — Признаюсь, охоч я до блинов. Жизнь… Что ж, жизнь, может, она и скуповата на радости и щедра на беды, а все же не надобно сокрушаться. Поедемте-ка, мой друг, с поминок ко мне. Прихватим еще Фаддея Никифоровича и Григория Романовича. Такую пулечку составим — любо-дорого! — И от одного предвкушения удовольствия он потер руки.

Иакинфу стало невмоготу. Он поднялся из-за стола и, стараясь не привлекать к себе внимания, проскользнул в кабинет Сани.

II

Он ходил из угла в угол, прислушиваясь к гулу голосов за стеной и размышляя о нелепости и неотвратимости смерти, этого неотвязного спутника жизни. Да, конечно, так уж заведено спокон веку, что у всего живого есть свой предел, все начинается, продолжается, проходит и исчезает бесследно. И все-таки… Все-

таки, так не хочется исчезать с этой земли, как бы неизбежно это ни было, сколько бы горестей на ней ни подстерегало…

Заметив сложенные у каминной решетки дрова, Иакинф развел огонь и, придвинув кресло к камину, закурил.

Он смотрел на живые языки пламени, и вдруг ему пришло в голову, что смерть не так уж бессмысленна и нелепа, как может показаться с первого взгляда. Ничто лучше ее не может исправить ошибки и глупости жизни, исправить, казалось бы, непоправимое.

Он сидел у огня, курил и шагал по кабинету, а за стеной все еще слышались голоса. Ну сколько можно править эту тризну! Что за варварский обычай провожать на тот свет блинами и вином! Не нужны Сане эти запоздалые, бесплодные почести, все эти проникновенные тосты. Да собравшимся-то, в сущности, и нет никакого дела до покойника. Печальная тризна превращается просто в шумное застолье.

Между тем гул голосов за стеной постепенно стихал. Видно, усталость брала свое. Наконец он вроде и совсем стих.

Дверь отворилась. На пороге показалась Таня.

— Боже мой, как я устала!.. — проговорила она чуть слышно.

Иакинф придвинул ей кресло.

— Насилу дождалась, когда разойдутся… Говорят слова соболезнования, а думают небось, где бы собраться после поминовения повинтить… Ты знаешь, Никита… Смерть выжигает кругом пустыню… Люди бегут от чужого горя, как от холеры… Не замечал?

— Бог его знает, Танюша, может, это и естественно… Счастлив человек, что больше думает о жизни, нежели о смерти…

Он подбросил в огонь новые поленья. Она пригнулась и, протянув руки к огню, смотрела, как чернеет и закручивается береста на поленьях, как с новой силой вспыхивает пламя, как оно дрожит и трепещет, словно живое. Долго, молча сидели, они у камелька и смотрели на это волшебство живого огня.

— А человек… он не может обойтись без других людей, живых, а не мертвых, — задумчиво сказал Иакинф.

— Да, наверно… И я тебе так благодарна. В искренности твоего-то сочувствия я не сомневаюсь… И все-таки, мне кажется, жизнь потеряла для меня смысл…

— Я понимаю, как тебе тяжело… Но надо взять себя в руки, Танюша. Первейший долг человека — не падать духом…

— Легко сказать… Ты и представить себе не в состоянии, как может быть одинока женщина. Пока был жив Саня…

— Но у тебя есть дочь.

— Да, конечно… И ей скоро шестнадцать. Надо будет подыскать жениха, выдать замуж. Это тоже цель, не правда ли? —

Она взглянула на него сквозь слезы, которых он целый день у нее не видел. — И все же ребенок, как бы ты его ни любил, не может занять тебя целиком. Мужчина, наверно, никогда не бывает так одинок. Он всегда поглощен делом. Если оно у него есть… У тебя есть, я знаю, и оно поглощает тебя без остатка. А у меня… У меня вся жизнь была отдана Сане. Жила его заботами, старалась угадать и предупредить его желания. И вот его нет… Теперь буду жить дочкой, ее устройством, ее детьми, когда они появятся… Таков, видно, удел женщины — жить для других.

— Не надо пускать в сердце отчаяние, Таня, — сказал Иакинф, беря ее холодную руку в свои. — Мне иногда кажется, что каждый человек живет несколько жизней. Изживает одну и начинает другую…

ГЛАВА ПЯТАЯ

I

Заблаговестили к вечерне, и Иакинф оторвался ог рукописи, чтобы поставить самовар. Вечерний чай — одно из немногих развлечений, которыми он разнообразил свой труд. И тут постучали в дверь. Иакинф сердито буркнул:

— Кого там бог жалует?

На пороге показался незнакомый человек в цилиндре и крылатке.

— Отец Иакинф?.. Позвольте представиться: Николай Полевой, издатель "Московского телеграфа", — сказал он, видно несколько смущенный таким приемом.

— Проходите, милости прошу, — приветствовал негаданного гостя Иакинф. — Простите великодушно. Я было принял вас за послушника. Думал, пришел звать к вечерне.

— Я не вовремя? Вам надобно идти к службе?.. Понимаю, понимаю — незваный гость хуже татарина… Но, видите ли, я всего на несколько дней в столице и не мог удержаться от соблазна возобновить старое знакомство.

— Да нет, отчего же не вовремя? А что до вечерни, так я стараюсь не брать сего греха на душу. В самую пору — только что самовар поставил. Чаем угощу, отменным, китайским, прислали из Кяхты. Да разоблачайтесь, разоблачайтесь, пожалуйста.

— Спасибо. От чая не откажусь, вы ведь знаете, я старый сибиряк, — сказал Полевой просто, снимая плащ. — Впрочем, узнать меня вам нелегко. Об ту пору, когда вы жили в Иркутске, я был еще совсем мальчишкой. Вас-то я узнал сразу, хоть прошло уже двадцать лет.

— Даже поболе, пожалуй. Вам ведь, наверно, было лет десять-двенадцать, когда мы последний раз виделись, — улыбнулся Иакинф, проводя гостя в келью и усаживая его на диван.

— Что-то в этом роде.

Узнать Полевого и впрямь было мудрено. Когда один или вместе с другими чинами посольства графа Головкина Иакинф заезжал на заимку его отца, стоявшую на живописном берегу Ушаковки при ее впадении в Ангару, то был тоненький, беленький мальчик с нежным румянцем на щеках и пылающим любопытством взором. Помнится, был он влюблен в историю, бранил Бонапарта и бредил стихами. Теперь перед Иакинфом сидел знаменитый литератор, издатель известного всей России журнала, немолодой уже человек с иссохшим лицом, хоть и

энергическим, но сумрачным и бледным. "Раз уж тот прежний мальчик выглядит сейчас подстарком, каким же стариком, должно быть, кажусь ему я", — подумал Иакинф.

Он принес закипевший самовар.

— Нет, отчего же? Я преотлично вас помню, — говорил он, расставляя на столе чашки и заваривая чай. — А ведь и на ту пору в вас можно было угадать будущего издателя. Помню, как вы показывали нам с графом Потоцким журнал, который вы тогда выпускали. Дай бог памяти, как же он назывался?.. Не "Друг ли России"?

— Неужто помните? — удивился Полевой. — А я еще выдавал по субботам и газету "Азиятские ведомости", по образцу "Московских", которые выписывал отец.

— С той только разницей, что ваши "Ведомости" и ваш "Друг России" выходили в одном-единственном экземпляре, а "Телеграф" расходится небось в тысяче…

— Нет, мало кладете, отец Иакинф. Подписка на этот год превысила тысячу пятьсот экземпляров.

— Тысячу пятьсот? Ого!

— А может составить и больше, ежели дозволят мне преобразовать журнал, как я задумал. Собственно, затем я и в столицу приехал.

— Чем же он нехорош, что вы надумали что-то в нем переменять? По мнению многих, ваш "Телеграф" и так лучший журнал в России.

— Мне, как издателю, лестно это слышать. Но сам-то я, по правде сказать, не очень им доволен.

— Что так?

— Уж раз взялся издавать журнал, нельзя удовольствоваться просто сбором занимательных статеек да летучих повестей. Журнал должен составлять нечто целое. Как бы это лучше сказать? Иметь в себе душу! Журналист, если угодно, должен быть чем-то вроде колонновожатого в общем шествии просвещения. Идти вперед к лучшему и других вести! Возбуждать деятельность в умах, будить их от пошлой, растительной жизни.

— Вы и так добились немалых успехов. Ваш журнал ныне наиизвестнейший в России.

— Это же не все. Было бы, конечно, ложной скромностью отрицать некоторый успех моего предприятия, кое-чего мне действительно удалось добиться. И все-таки, признаюсь, цель, которую я ставил, основывая журнал, достигнута не вполне. На мой взгляд, все обзоры в "Телеграфе" того любопытного, что есть в иностранных журналах и новейших сочинениях касательно наук, художеств, словесности древних и новых народов,

совершенно недостаточны. Так же как и обозрение русской литературы. Да и освещение современных происшествий в мире оставляет желать лучшего.

— Вы, оказывается, судья себе строгий, — улыбнулся Иакинф.

— И вы знаете, в чем главное препятствие? Недостаточный объем журнала.

— Но он, кажется, и так вдвое превысил объем, первоначально вами обещанный?

— И все-таки он недостаточен, если журнал ставит себе целью более или менее полное обозрение современного просвещения и хочет вести настоящую летопись современной истории.

— Как же вы хотите преобразовать свой журнал? — спросил Иакинф, заинтересованный.

— Видите ли, отец Иакинф, я полагаю нужным расширить журнал и разделить его на три особливых издания. Наряду с ежемесячным ученым и литературным журналом, каким является "Московский телеграф", я хотел бы издавать еще и газету, которая выходила бы два раза на неделе и сообщала своим читателям, по возможности немедленно и, конечно, по необходимости кратко, новости как политические, так и литературные. Она давала бы — тоже, разумеется, очень кратко — важнейшие ученые известия, отечественную и иностранную библиографию, а также театральный фельетон, коммерческие известия, городскую хронику и прочее в том же роде. Я уж и название ей придумал — "Компас". Такая газета, так же как и "Московский телеграф", была бы рассчитана на широкую публику. Но одновременно и в дополнение к ним я намереваюсь издавать еще один журнал, уже совершенно ученого направления, который явился бы органом русской научной критики. Я назвал бы его "Энциклопедические летописи". Как вам кажется это название? — спросил Полевой, как бы вербуя Иакинфа в союзники. — Такой журнал состоял бы из обширных критических обзоров важнейших произведений как отечественной, так и немецкой, французской, английской, итальянской, а ежели вы согласитесь мне помочь, так и восточных литератур, а особливо китайской. Как вы на это смотрите, отец Иакинф?

— Да что же, Николай Алексеевич, план ваш кажется мне хорош и заманчив, — сказал Иакинф в раздумье. — Такой журнал мог бы делать достоянием просвещенной публики и изыскания наших ученых и оным доставлял бы удобный способ побыстрее сообщать миру свои сочинения и открытия. Ученые услышат голос критики еще до того, как сочинение выйдет отдельным изданием. Да об этом можно только мечтать!

— Доволен, что нахожу в вас единоверца в замышленном предприятии, — оживился Полевой. — Конечно же, такой журнал потребует более тщательной подготовки. К нему нужно будет привлечь весь цвет нашей науки и словесности! Но и выходить он может не ежемесячно, а скажем, четыре раза в год. Словом, я хочу видеть вас, отец Иакинф, в числе его непременных и деятельных участников. Вот вы изволили сказать: об этом можно только мечтать. А это ведь не просто мечта. Насколько я знаю, в главном цензурном комитете, куда переслали мое прошение, проект сей встречен довольно-таки снисходительно. Во всяком случае, комитет не находит препятствий к разрешению мне издания наряду с "Телеграфом" и "Летописей". Что же до газеты, то это представлено на рассмотрение министра, и я жду его решения. Разумеется, я человек не наивный и предвижу немалые затруднения, но я полон решимости своего добиться.

Иакинф предложил гостю сигару и закурил сам. Полевой, роняя пепел, с одушевлением продолжал развивать свой план, и в самом деле заманчивый. Иакинф слушал его с интересом. В речи Полевого чувствовались и ум, и практическая сметка, и какая-то дерзкая сила, и независимость суждений. В этом худом, бледном человеке угадывалась фанатическая преданность своей идее и сильный характер. Во всяком случае, он представлял собой полную противоположность так не понравившемуся Иакинфу шумному, но какому-то рыхлому, краснолицему, с маслянисто-влажными голубыми глазами Булгарину — другому знаменитому журналисту и издателю, с кем он познакомился в редакции "Северного архива".

Пожалуй, Полевой был даже и нехорош собой — волосы растрепаны, лицо высохло, правое плечо выше левого, как у человека, привыкшего долгие часы проводить за письменным столом или за конторкой. Но что-то привлекало в нем Иакинфа. Ему всегда были по душе люди увлеченные. Полевой был полон энергии. Небольшие, но живые и быстрые его глаза смотрели зорко. Что-то было в нем от отца, Полевого-старшего, к которому Иакинф питал расположение. Тому было тогда, в Иркутске, наверно, столько же лет, сколько Николаю Алексеевичу теперь, и он тоже всегда был преисполнен самых разных проектов, один фантастичнее и заманчивее другого, его тоже тянуло за облака, как он любил говорить. Эта энергия и предприимчивость были, наверно, у Полевых в роду. Во всяком случае, судя по рассказам Алексея Евсеевича, и он сам, и отец, и дед, и дядья, и братья его были люди широкого размаха, этакие купцы-землепроходцы, колумбы азиатских земель, искавшие удачи, а порой и складывавшие свои буйные головы то в Персии, то на Камчатке, а

то и в далекой Америке…

— Но как бы то ни было, — говорил между тем Полевой, — я призываю вас, отец Иакинф, к деятельному сотрудничеству. Я крайне заинтересован в публикации и "Телеграфе" надежных исторических и статистических известий об азиатских странах, а особливо о Китае. И уж кому, как не вам, взяться за освещение у нас таких сюжетов. Я читал ваши прелюбопытнейшие статьи и переводы в "Северном архиве", да и от Владимира Федоровича Одоевского, а с ним мы старые друзья, слыхал, что у вас полным-полно самых разных планов и замыслов. Тут, как говорится, на ловца и зверь бежит. Поверьте, я охотно предоставлю страницы "Телеграфа", а если мне разрешат, так и "Летописей", для ваших сочинений, критик и переводов.

— Покорнейше благодарю, Николай Алексеевич, за любезное приглашение. Почту за честь сотрудничать в вашем журнале. Сожалею только, что нет у меня нынче ничего совершенно готового. Только что сдал в печать большую книгу "Записки о Монголии" и передал на рассмотрение цензоров две другие — "Описание Чжунгарии" и "Описание Пекина". А теперь затеял новый труд — "Историю первых четырех ханов из Дома Чингисова". Тоже будет книга не маленькая.

— Что же она собой представляет?

— Видите ли, я выбираю из китайских летописей и династийных историй все сведения, какие там есть, относящиеся и к самому Чингисхану, и к его восприемникам — Угэдэю, Гуюку и Мункэ.

— А отчего же вы решили ограничить себя только этими первыми четырьмя ханами?

— На мой взгляд, это самый любопытный и самый темный для европейцев период монгольской истории. Начало стремительных монгольских завоеваний и образование Великой Монголии. Я убежден, что со смертью Мункэ начинается распад Монгольской империи. Правление Хубилая, установление владычества монголов в Китае и учреждение там новой Юаньской династии — это уже совершенно новая страница в монгольской истории. Работа сия у меня еще в самом разгаре и потребует несколько месяцев усердных разысканий. Есть у меня, правда, множество заготовок и переводов, сделанных еще в Пекине.

— Так покажите мне ваши богатства. Не таитесь.

— Мне скрывать нечего, — улыбнулся Иакинф. — Вот, не угодно ль взглянуть?

Иакинф подвел Полевого к полкам. На них стояли десятки толстенных томов аккуратно переплетенных рукописей.

— Начнем отсюда, что ли. Сие перевод китайской

канонической книги исторических преданий — "Шу-цзин" по-китайски.

— Что это за предания?

— Это, наверно, самое древнее из всех исторических сочинений китайских. Составление его приписывается Конфуцию. Тут собраны поучения героев и государей самой глубокой древности — Яо, Шуня, Юя — и сказания о них.

— Переводилось это когда-нибудь на европейские языки?

— Нет, насколько я знаю. Текст-то уж больно труден, без комментариев его и понять невозможно. Римско-католические миссионеры, а они-то главным образом и занимались в Европе переводами, всегда норовили выбрать себе для переложения что-нибудь попроще.

— Так это, должно быть, материал исключительной важности для изучения древней китайской истории?

— Думаю, что так, Николай Алексеевич. А сии три тома — это перевод "Дай-Цин И-тхун-чжи" или "Землеописания Китайской империи", как я его назвал по-русски. В него входит и описание принадлежащих ей владений.

Иакинф показывал Полевому рукопись за рукописью, и каждая новая все больше разжигала у того любопытство.

— Отец Иакинф! Да это же всё невиданные сокровища. У меня просто глаза разбегаются. Вот и давайте, давайте предадим их тиснению! Зачем же держать все это под спудом?

— Держать под спудом я, разумеется, не собираюсь. Но всему свое время. Поспешишь, говорят, — людей насмешишь. Понимаете, переведено-то это все начерно, для себя. Переводил я в Пекине, мало думая об отделке переводов, оставляя ее на потом, на возвращение в отечество. Отдавать сие на суд просвещенной публике без тщательной выверки и обработки не могу. Это не в моих правилах. Впрочем, постойте, постойте — вот небольшая статья "Ежедневные упражнения китайского государя". Мой доброхотный помощник даже перебелил ее. Взгляните, может вам и подойдет.

— Превосходно! — Полевой быстро пробежал рукопись. — Очень любопытная статья. Напечатаю в ближайшей же книжке. Я был убежден, что с пустыми руками от вас не уйду. А что до ваших книг, так, ради бога, шлите их мне, как только выйдут в свет. Тотчас откликнусь на них рецензиями. Но это — дело дня завтрашнего, а у меня и сегодня есть к вам, отец Иакинф, предложение, которое должно вас заинтересовать. Сергей Дмитрич Полторацкий… Вы с ним не знакомы? Он нередко бывал на субботах у Владимира Федоровича Одоевского. Милейший человек, хоть и лентяй, но прирожденный книжник. Большую

часть времени проводит он в Париже — что же, богат и независим. Это мои глаза и уши во французской столице. Так он прислал мне только что изданное там по-французски "Путешествие в Китай" Егора Федоровича Тимковского. У нас-то оно довольно уже известно. А теперь вот, видите, и Европа им заинтересовалась. Ну, разумеется, как только я получил французский перевод, тотчас решил дать на него рецензию. Приятно, что это во всех отношениях достойное произведение нашего соотечественника получает признание у европейцев.

— Егор Федорович говорил мне, что оно переведено на немецкий.

— Да. И вызвало уже несколько сочувственных откликов и в Германии, и во Франции. А теперь вот издано и по-французски и, как пишет мне Полторацкий, переводится с французского на английский. Как же было этому не порадоваться!

— Ну, в Европе-то переводы с чужих языков не диво, — заметил Иакинф, — французы и англичане беспрестанно делают такие услуги одни другим. Это вы не хуже меня знаете. А что до немцев, так те чуть ли не сплошь переводят все английские и французские книги.

— Но, согласитесь, отец Иакинф, русскому-то можно еще погордиться честью быть переведену и издану в Европе, — горячо возразил Полевой. — А книга Тимковского любопытна не просто потому, что идет издалека. Сочинение это, на мой взгляд, замечательно в самой сущности своей, оно проливает новый свет на географию и историю малоизвестных земель азиатских.

— Егор Федорович рассказывал, что его "Путешествие" переводят на французский, но книги сей по-французски ни у него, ни вообще в Петербурге еще нету.

— Я захватил ее с собой и могу вам оставить. Перевод издан с поправками и замечаниями Юлия Клапрота. Вы ведь, кажется, знакомы, не правда ли?

— Ну как же, он был прикомандирован Академией наук к посольству графа Головкина, и мы не раз встречались в Иркутске и, помнится, даже к батюшке вашему с ним езживали Это был самонадеянный молодой человек, и спесью веяло от него за две версты.

— Таким он и остался. Спесью веет от каждого его сочинения. А в этой книге несносная хвастливость и беспримерное умничанье доведены им, кажется, до последней степени. Впрочем, вы и сами увидите. Я перелистал книжку, оба тома, и что меня особенно поразило — это то ожесточение, с которым он набросился на вас.

— На меня? Чем же я ему не потрафил?

— Сами увидите. А вас, скажу без лести, все мы почитаем гордостью отечественной ориенталистики. В одном из ближайших нумеров "Телеграфа" я собираюсь напечатать рецензию на французское издание "Путешествия" с изложением замечаний господина Клапрота, но с тем, однако ж, чтобы вы, как только ознакомитесь с французским изданием, непременно выступили на страницах "Телеграфа" с обстоятельным критическим разбором замечаний и прибавлений Клапротовых. Согласны?

— Право, вроде как-то неловко, — сказал Иакинф нерешительно. — Да и недосуг. На всякую шавку палок не напасешься. Слыхали восточную пословицу: собака лает, а караван идет?

— Очень даже ловко! — горячо запротестовал Полевой. — И в конце концов, дело не только в вас, но и в чести русской науки! Мы победили Европу мечом, должны победить ее и умом! А мне давно не терпится вывести этого выскочку на чистую воду. Вы знаете, за неблаговидное поведение, несмотря на покровительство своих всесильных немецких друзей в русской Академии наук, он был исключен из нее и с тех пор подвизается в Париже. Там-то он стяжал славу знаменитого ориенталиста. Как же — действительный член Парижского Азиатского общества! Пишет он, надо отдать ему справедливость, легко и бойко. Но на всех перекрестках выставляет себя таким лингвистом, какого еще свет не видывал. Без всякого стеснения уверяет читателей, что помимо всех европейских языков он знает еще чуть ли не все азиатские и множество африканских и американских. Кроме известий касательно языков японского, тангутского, татарского, малайского, формозского, он, как явствует из сообщений французской печати, сочинил грамматики грузинского, волозского (это один из языков африканских), пишет также о маньчжурском, вогуличском, мордовском и бесчисленном множества других.

— И где же он выучился всем этим языкам? — усмехнулся Иакинф. — Не путешествовав, сидя в своем парижском кабинете? Насколько я знаю, в странах восточных он не бывал вовсе, если не считать, что наскоро съездил в Ургу. Да и там-то пробыл с графом Головкиным полторы недели и почти что взаперти.

— Но на возвратном пути из Сибири заезжал он еще в Грузию. Да и путь от Петербурга до Парижа тоже можно счесть путешествием, — сказал Полевой с язвительной усмешкой. — Но вот что удивительно, отец Иакинф: в России-то он прожил без малого полтора десятка лет, а, переводя с русского, беспрестанно делает ошибки. Так можно ли после этого верить тому, что он

рассказывает об языках формозском или малайском? Словом, я покорнейше прошу вас, отец Иакинф, взять на себя труд обстоятельнейшим образом разобрать его замечании. Помните, это дело чести русской науки!

Иакинф пожал плечами.

— Ну так как? По рукам? — Полевой и впрямь протянул руку. — Я ведь не только издатель и литератор, но и купец. И даже второй гильдии!

— И значит — человек дела? — рассмеялся Иакинф. — Ну по рукам, по рукам!

— Пусть литераторы-аристократы посмеиваются над моим купеческим званием. Мне его стыдиться нечего. Я даже готов гордиться, что принадлежу к сему почтенному сословию. Оно, может, и уступит другим в образовании, но не уступит никому в желании добра отечеству, в деятельной ревности к просвещению. И не забывайте, что именно из его среды вышел Кузьма Минин, сей бессмертный купец нижегородский!

— Ну, на купца-то вы совсем не похожи, — сказал Иакинф, посмеиваясь. — Впрочем, батюшка ваш тоже был не чужд просвещению. И тоже бороду брил. И носил фрак, а не поддевку. Должен признаться, что как-то уж так повелось, что у меня больше всего добрых знакомых именно среди купечества — и в Иркутске, и в Кяхте, и даже в самом Пекине! Но раз уж вы о купеческих обычаях вспомнили, так такую сделку не грех и спрыснуть. Как по-вашему, Николай Алексеич?

Иакинф поднялся, подошел к книжной полке и, раздвинув книги, достал бутылку.

— Отведайте-ка, Николай Алексеич. На китайских кореньях настоена.

Настойка пришлась Полевому по вкусу, и беседа в келье у отца Иакинфа затянулась до позднего вечера.

II

Проводив Полевого, Иакинф принялся за оставленный им французский перевод "Путешествия" Тимковского. Внимательно прочитал книгу, сравнив ее с русским изданием. Да, да, прав Николай Алексеевич. Журналист он отменный. Кому, как не ему, Иакинфу, надобно взять на себя этот не очень-то приятный, но неотложный труд рассмотреть замечания и поправки Клапрота. Ведь большая-то часть их основывается на китайских текстах, мало кому доступных, и сводится к упрекам в неправильном переводе и истолковании китайских источников.

Читая сейчас свои старые переводы, использованные

Тимковским в его "Путешествии", и сличая их с китайскими текстами, Иакинф убеждался, что таких мест, где были допущены какие бы то ни было погрешности, было очень мало, да и были они столь незначительны по своему характеру, что мелочная придирчивость Клапрота просто бесила. Называя их "важными неточностями", Клапрот вводил в заблуждение непосвященного читателя, попросту издевался над публикою. Вот это-то и надо было показать читателям со всей неотразимой убедительностью, чтобы даже у людей непосвященных не оставалось никаких сомнений. Это было нелегко. Но а присущей ему добросовестностью Иакинф принялся за ответ, не жалея ни времени, ни сил.

За этим занятием его и застал Тимковский. Через несколько дней после визита Полевого к Иакинфу он тоже получил из Парижа французское издание своей книги. Прочитав его, он схватился за голову и, взволнованный, прибежал к Иакинфу.

— Да что же он, подлец эдакий, наделал! Ославил меня на всю Европу.

— Да не волнуйтесь вы, Егор Федорович, — пытался успокоить его Иакинф. — Ведь не столько вам, сколько мне от Клапрота досталось. В чем он вашу книгу-то упрекает? В неправильном начертании китайских и монгольских имен и названий, в "важных", как он утверждает, погрешностях и искажениях в переводе текстов, взятых из китайских источников и сообщенных автору архимандритом Иакинфом. Но с вас-то что тут за спрос? Вы же ни китайского, ни монгольского языков не знаете. Сие известно каждому. Это все в мой огород камешки. Но какого ж, однако, вздору не нагородил он только в своих поправках. Большая часть его замечаний просто смехотворна!

— Но, отец Иакинф, голубчик! Вы только взгляните, что он пишет: "Г-н Клапрот очистил французский перевод от всех недостатков, обезображивающих русский подлинник". Так и написано: обезображивающих подлинник! "Исправил собственные имена, находящиеся в описании Монголии. В русском переводе имена сии чрезвычайно обезображены и монгол, без сомнения, не мог бы их узнать". А вы же знаете, в передаче монгольских имен я следовал Игумнову.

— И правильно сделали! — сказал Иакинф решительно. — Александр Васильевич Игумнов — преотличный знаток монгольского языка и говорит северным монгольским наречием превосходно, в этом я могу вас заверить. Господин Клапрот решительно возражает против топической передачи монгольских собственных имен. Но этому расхваленному самим собой "знаменитому" лингвисту, должно быть, и в голову не приходит,

что в каждом почти языке есть отличие в выговоре слов противу буквенного их начертания. Просто диву даешься, как этому парижскому светиле невдомек, что при переводе с одного языка на другой давно уже положено за правило собственные имена передавать тонически, с выговора, а не так, как они пишутся!

— Да, пожалуй, все бы покатились со смеху, ежели бы кто стал писать "Шекеспеар" вместо Шекспир, "Роуссеаукс" вместо Руссо или "Вольтаире" вместо Вольтер!

— Но именно этого он и требует по отношению к монгольским именам! А отчего сне происходит? Оттого, что у него чисто книжное знание языка. В бытность свою в Иркутске и Кяхте он совершенно не мог понимать разговоров монгольских и сам двух слов по-монгольски связать не мог, это я превосходно помню. Да видно, и после монгольскому разговору не выучился.

— Но, отец Иакинф, он ведь не только монгольские, но и китайские имена выправляет. Вот взгляните-ка, что он пишет: "Господин Тимковский для начертания имен и слов китайских принял в своем сочинении наречие, которым говорят в Пекине, но сие наречие есть одно из самых испорченных в Китае".

— Ну что это, право, за вздор! — воскликнул Иакинф сердито. — Да о какой испорченности наречий может идти речь! Уж кому-кому, а господину-то Клапроту, который уверяет, что всю жизнь в китайском языке упражняется, должно быть известно, что китайское письмо состоит не из букв, а из гиероглифов. А они по самому характеру своему не имеют определенного выговора. Подобно цифрам — немцы произносят их так, а французы эдак. Китаец, японец, кореец употребляют одно и то же письмо, а в разговоре совершенно не понимают друг друга. Да и в самом Китае гиероглифы жителями даже двух смежных губерний произносятся по-разному. Пекинец и кантонец читают одни и те же книги, а в разговоре столковаться друг с другом не могут.

— Я помню, как в Пекине вы выступали переводчиком между двумя китайцами. Без вас они никак не могли столковаться.

— Да, да. В самом деле случай забавный: россиянин должен был выступить толмачом в беседе двух природных китайцев. А все дело в том, что пришел к нам на подворье сычуанец. Он по-пекински не понимал, а наш привратник по-сычуаньски не разумел, вот и пришлось мне за толмача сойти. Но эта неодинаковость в выговоре иероглифов есть следствие различия в языках и диалектах, оставшегося в наследство от разделения Китая иа уделы. Ни одному китайцу и на мысль не придет принимать это за испорченность. А вот господин Клапрот, принимая диктаторский тон, высокомерно поучает меня, забывая, что он еще ни на одном из китайских наречий не умеет даже

признаться в незнании оных.

— Ох, уморили, батюшка, — расхохотался Тимковский.

— Что вы смеетесь? Это сущая правда.

— Смеюсь потому, чго ловко вы это сказали. Вот так в ответе Клапроту вы и пропишите!

— Так и пропишу, стесняться не буду. И как это он не понимает, что в Китае язык разговорный совершенно отличен от книжного. Впрочем, только книжный и известен этому прославленному парижскому хинологу.

— А вы посмотрите, с какой издевкой он пишет по поводу того, что я в книге своей называю китайского государя Богдоханом. "Сей образ выражения, пишет он, почти столь же правилен, как выражение француза, который, говоря о российском монархе, на своем языке назвал бы его кайзером России".

— Ах остроумец! Богдохан — это речение монгольское и состоит из двух слов: Богдо — священный и Хан — государь. И то и другое — слова монгольские. По-китайски им соответствует Шен-чжу. Сей титул как монголы, так и сами китайцы употребляют главным образом в деловых бумагах. "Кайзер" и "Россия", напротив, суть слова, взятые из двух различных языков, и вы понимаете, Егор Федорович, что господин Клапрот, употребив для сравнения сие выражение, просто блистательно доказывает, что его логика так же тяжела, как тупы его остроты.

— Но это всё, отец Иакинф, цветочки, ягодки впереди. Вы взгляните только, что он тут пишет: "Последняя половина третьего тома (это он имеет в виду русское издание) содержит общее обозрение Монголии, в которой господин Тимковский представляет историю сей страны и народов, обитавших в ней с 220 года нашего летосчисления до времени покорения их маньчжурами. Он пользовался в сем случае переводами о. Иакинфа. А о. Иакинф допускает важную погрешность, приняв за монголов все народы, кои издревле обитали к Северу от Китая. Г-н Тимковский принял сию ошибочную систему, которая делает бесполезными его записки".

— Вы подумайте только: "делает бесполезными его записки"! Зачем же ему понадобилось тогда переводить и издавать по-французски эти бесполезные записки! Да и нет у меня никакой такой особой системы, о какой Клапрот пишет. Просто я, а за мной и вы в своем "Путешествии", руководствовались указаниями одной китайской истории. А вот господин Клапрот, тот действительно составил свою систему. Я читал его книжку, изданную в Париже еще в 1824 году, "Tableau historique de e'Asie".

— Что же это за система? — спросил Тимковский.

— Ничего более вздорного и неосновательного я не видывал. Вы представляете, разные поколения, обитавшие в Монголии в древние времена, он, следуя Де Гиню и вопреки китайской истории, называет народами. И ведет их происхождение так, как ему вздумается. И вот вместо одних монголов появились у него десятки разных народов, сменявших один другого. А меня упрекает, что я все открытые им народы одним именем монголов называю… Приводя же разные древние исторические происшествия сего народа, называть его, как это делает Клапрот, его тогдашними прозваниями означало бы столь же смешную "точность", как если бы, говоря о России до Петра Великого, называть россиян московитянами, а со времен сего государя россиянами.

После разговора с Тимковским Иакинф с еще большим рвением принялся за ответ Клапроту и просидел над ним недели две, не выходя из кельи.

Разбор Клапротовых замечаний получился длинным и основательным и составил с сотню больших, плотно исписанных листов. Он не оставил без внимания ни одного замечания Клапрота, ни одной его "поправки". Подробнейшим образом ответив на все эти замечания и убедительно показав всю их несостоятельность и предвзятость, Иакинф следующим образом заключил свой ответ:

"Вот все замечания, сделанные на "Путешествие" г-на Тимковского. Находя столько погрешностей в самих поправках, со всею справедливостию можно заключить, что господин Клапрот наименее успел в намерении исправить русское сочинение и вместо похвал возбуждает одно сожаление в тщетных своих усилиях. Справедливость требует сказать, что он имеет некоторые сведения в китайском языке и переводит с китайского, особливо те сочинения, которые до него уже переведены другими; но, не быв ни в Китае, ни в Монголии, не знает многих вещей, сведение о которых необходимо для ясности и точности в переводе… По таким-то причинам в переводе "Путешествия" г-на Тимковского самые ошибки поправлял он новыми ошибками, а нередко вместо мнимых ошибок делал действительные. Итак, французский перевод, предварительно выхваленный самими издателями, никакого не имеет преимущества пред подлинником Российским; но жаль, что сей перевод, сверх ошибочных замечаний, еще искажен погрешностями, заимствованными из новой системы г-на Клапрота о мнимых народах Монголии, чем в отношении к Истории теряет доверие в просвещенной публике".

Закончив ответ и прочитав его Тимковскому, который был от него в восторге и только упрекал Иакинфа в излишней

сдержанности тона, Иакинф отослал его в Москву, Полевому.

А через несколько дней Иакинф получил от Полевого свежий нумер "Московского телеграфа", в котором была помещена обещанная рецензия на французское издание "Путешествия" Тимковского. Рецензия заканчивалась следующим образом:

"Нападения г-на Клапрота на о. Иакинфа основаны на том, что г-н Клапрот выдает себя величайшим знатоком китайского языка. Это не мешало бы, кажется, и другому кому знать по-китайски не хуже Клапрота, а особливо человеку, прожившему в Пекине двенадцать лет и усвоившему китайский язык и китайскую литературу на месте и до такой степени, что (в этом мы имеем верные свидетельства самовидцев) сами китайцы называли его ученым и великим знатоком их языка и литературы.

Если же при таких достоинствах о. Иакинф не думает, подобно г-ну Клапроту, кричать о своих сведениях, если он не хочет изданием не вполне обработанных сочинений и переводов заслужить себе непрочную славу, этим только увеличивается наше уважение к нему…

Поставим себе за особенную честь, что о. Иакинф, по побуждению нашему, согласился напечатать в "Телеграфе" ответ г-ну Клапроту. Сей ответ был составлен отцом Иакинфом тотчас по получении французского перевода в Петербурге; но скромность о. Иакинфа и собственная уверенность в правоте дела не допускала напечатать сей ответ. Читатели увидят, с какою европейскою вежливостию, с каким сознанием достоинств противника, вместе с тем как решительно уничтожается все, что угодно было г-ну Клапроту почитать доказательствами незнания и дерзкого невежества нашего почтенного соотечественника".

Ответ Иакинфа был напечатан в двенадцатой и тринадцатой книжках "Телеграфа" за 1828 год. Этой публикацией началось деятельное сотрудничество Иакинфа в "Московском телеграфе", которое длилось чуть ли на до его закрытия.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

I

Иакинф взглянул на часы. Уже одиннадцать. Надобно собираться. В двенадцать назначена встреча в Публичной библиотеке. А идти до нее от лавры минут сорок.

Директор Публичной библиотеки Алексей Николаевич Оленин сказал вчера, что министр народного просвещения благосклонно отнесся к его просьбе включить отца Иакинфа в

число почетных библиотекарей и назначение это утверждено государем. Помимо русского и европейского отделов, Оленин учредил в библиотеке и восточный и просил Иакинфа взять на себя труд разбора и описания книг на китайском, японском и маньчжурском языках.

— Кроме вас, — признался он, — никого не могу я употребить для этой цели — ни из чиновников библиотеки, ни из известных в столице ученых. Другими-то почетными библиотекарями я уже обзавелся. Они любезно согласились возглавить разбор и описание фондов на санскрите, на персидском, турецком и арабском языках. А вот китайский и японский, кроме вас, доверить мне некому.

Иакинф, разумеется, с готовностью согласился.

Оленин прибавил, что испросил у министра согласие выплачивать ему, Иакинфу, на проезд из лавры по семисот рублей в год, которые по скудости монашеского содержания ему необходимы.

— Покорнейше благодарю, Алексей Николаевич, — сказал Иакинф. — Можно б, конечно, и не испрашивать этих денег, господь с ними. Не ради денег беру я на себя труд сей. Впрочем, они, конечно, не помешают, — улыбнулся он.

— Не помешают, отец Иакинф, не помешают! Остальные-то почетные библиотекари все люди достаточные — профессора да академики. Каждый получает немалый оклад в своем ведомстве. И то я надеюсь изыскать способ вознаградить их за труды. Один вы — простой монах. А путь от лавры — не близкий, не шлепать же вам в самом деле через весь город пешком.

Иакинф не стал спорить.

Без четверти двенадцать он поднимался по широкой Лфаморной лестнице на второй этаж библиотеки. Вдоль стен высокие шкафы мореного дуба. Полки вместительных шкафов уставлены книгами на русском, латинском и живых европейских языках. Сколько их тут собрано, боже милостивый!

Ровно в полдень Иакинф вошел в просторный кабинет директора — он любил точность.

За большим овальным столом посередине комнаты уже сидело несколько человек. Алексей Николаевич поднялся навстречу.

— Рад приветствовать вас, отец Иакинф, в этих стенах, — радушно сказал Оленин. — Позвольте, господа, рекомендовать вам нового, только что высочайше утвержденного почетного библиотекаря, отца Иакинфа. В конце минувшего года отец Иакинф в признание его заслуг избран членом-корреспондентом Императорской Академии наук по отделу литературы и

древностей Востока. Прошу любить и жаловать. А вам, отец Иакинф, почту приятным долгом представить ваших коллег — почетных библиотекарей восточного отдела: действительный статский советник, ординарный член Императорской Академии наук Христиан Данилович Френ, — представил он дородного мужчину лет пятидесяти, с серебряными волосами и живыми голубыми глазами.

— Очень рад, — сказал тот приветливо.

— Профессор персидского языка, адъюнкт Императорской Академии наук, статский советник Франц Францевич Шармуа.

Седой краснолицый француз сдержанно поклонился.

— Профессор турецкого и арабского языков Санкт-Петербургского университета Осип Иванович Сенковский.

К Иакинфу повернулся невысокий сухопарый человек неопределенного возраста с отметинами оспы на шафранно-желтом лице, с толстыми губами и приплюснутым носом. Лицо, прямо скажем, не из приятных, подумал Иакинф. И только зеленоватые насмешливые глаза светились умом.

Так вот он, таинственный Тютюн-Оглу-Мустафа-Ага, рецензию которого на свою книгу он читал в "Северной пчеле".

Поздоровавшись с Иакинфом, Сенковский снова принялся за отложенную было сигару.

— Почти все в сборе. Нет сегодня, к сожалению, только адъюнкта Академии коллежского асессора Шмидта, главного нашего специалиста по монгольскому и санскритскому языкам. Он прислал записку, что нездоров.

Служитель обнес всех чаем, и заседание началось.

II

Когда заседание почетных библиотекарей было окончено и к каждому из них были приставлены писцы и служители, которые понадобятся при разборе и описании книг, к Иакинфу подошел Сенковский.

— Рад познакомиться, отец Иакинф, — сказал он, отводя Иакинфа к окну. — Не угодно ль сигару? — спросил он, открывая большой серебряный портсигар с замысловатой восточной инкрустацией. — Собственного изготовления из отборных турецких табаков.

— Благодарствую, — сказал Иакинф, с удовольствием закуривая ароматную тоненькую сигарку. — Мне открыли, кто скрывается в "Северной пчеле" под пышным восточным псевдонимом, и я пользуюсь случаем исполнить свой долг — чувствительно поблагодарить вас за честь, которою вы удостоили

мой скромный труд.

— Полноте, отец Иакинф. Это мы все в долгу у вас за услуги, которые вы столь щедро оказываете европейской науке и отечественной словесности. Я счел себя вправе взяться за обозрение вашей интереснейшей книги потому, что сам давно интересуюсь Тибетом и вообще Средней Азией.

— Как же, читал, и с большим любопытством, ваше "Дополнение к общей истории гуннов, тюрков и монголов", — сказал Иакинф. — И должен признаться, Осип Иваныч: именно оттого, что вы известный ориенталист, я ожидал более строгого разбора моего сочинения. Это ведь моя первая книга, вышедшая по-русски. А говоря честно, она послужила вам лишь поводом рассказать кое-что о Тибете. Рассказали вы сие, надобно отдать вам справедливость, очень живо и занимательно, куда живей, нежели китаец, которого я перевел.

— Что же в том за беда? Книга-то ваша оттиснута, должно быть, в пятистах экземплярах, а "Северная пчела" расходится в пяти тысячах! Да после моей рецензии вы же проснулись знаменитым литератором! — И Сенковский лукаво улыбнулся, обнажая из-под толстых губ неровные, дочерна прокуренные зубы. "А в нем и впрямь есть что-то демоническое", — подумал Иакинф, вспомнив, как Булгарин назвал намедни Сенковского русским Мефистофелесом. — Да и, сказать по правде, я не считал нужным отыскивать недостатки в вашем сочинении, во всех отношениях полезном и любопытном. Эти недостатки интересны разве трем-четырем специалистам. А широкой публике, на которую рассчитана моя статья, право, нет до них никакого дела.

Но все же, поддаваясь расспросам Иакинфа, Сенковский высказал несколько замечаний, признаться, довольно метких. Касались они, главным образом, слога перевода, который, по его мнению, мог быть в иных местах несколько правильнее.

— Впрочем, — добавил Сенковский, — можно ль назвать это недостатком в сочинении, не принадлежащем к изящной словесности?

При этом Сенковский поразил Иакинфа совершенно невероятной памятью. Он цитировал наизусть строки Иакинфова перевода, как будто перед ним лежала раскрытая книга. Они заспорили о принципах передачи китайских звуков, в чем Иакинф не мог согласиться со своим критиком. И тут выяснилось, что Сенковский выучился, хоть и не без греха, читать по-китайски и был бы рад брать уроки у Иакинфа, чтобы усовершенствоваться в языке. Говорил он живо и остроумно, хотя и резко. Впрочем, резкость выражений была по душе и самому Иакинфу.

— Да, отец Иакинф! — вспомнил вдруг Сенковский. —

Прочел я ваш ответ господину Клапроту в "Московском телеграфе" и от души порадовался. Досталось же от вас на орехи и Дегиню, и Делилю, и Пингре, и самому Клапроту. И поделом! Давно я не испытывал такого удовольствия, как читая ваш скрупулезный разбор Клапротовых замечаний. И сделано это по-европейски, или даже лучше сказать, по-китайски вежливо. И с такой неотразимой убедительностью! Можно сказать, во всеоружии подлинно китайской эрудиции. Давно пора было проучить этих самовлюбленных парижских оракулов. Дегинь вывел из китайских летописей настоящий географический и исторический маскарад. Нельзя же, право, не назвать маскарадом сочинения, в коем народы являются под чуждыми названиями, управляются царями, носящими вымышленные имена и живущими в городах, означенных так, что их не отыщешь ни на одной географической карте! Думаю, что после вашей критики сочинения Дегиня и Клапрота не будут более возбуждать любопытства европейских ученых. Жаль только, что вы пишете и печатаете ваши сочинения по-русски.

— Да на каком же языке прикажете писать мне, природному русаку, да еще наполовину чувашину?!

— Скажем, по-французски — владеете же вы им.

— Ну уж нет, милостивый государь! Благодарю покорно! — сердито сказал Иакинф. — Ежели найдут что любопытного в моих сочинениях, пусть не почтут за труд сами перевести с русского! Мы и так, слава богу, смотрим на немцев да на французов, как обыватели из какого-нибудь заштатного городишки на столичных франтов. Каждое слово их ловим, норовим в рот заглянуть, конфузимся собственной невоспитанности, краснеем, ежели, не дай бог, в чем отличествуем, прячем свои особицы, неловко подражаем иноземной моде.

— Позвольте вам заметить, отец Иакинф, вы не правы, — сказал Сенковский с улыбкой. — Я и сам пишу, и по-русски, и по-польски, и на французском языке, и на английском. Как придется. И вам советую, если вы хотите сделать ваши сочинения достоянием европейской публики. А они того заслуживают.

— Нет уж, увольте, — стоял на своем Иакинф. — За славой я не гонюсь. Служу не ей, а истине!

И они снова жарко заспорили. Спорить с Сенковским было интересно. Чувствовалось, что таланту в этом желчном и едком человеке пропасть, а об эрудиции уж и говорить нечего.

— Знаете, отец Иакинф, я увлечен ныне историей Золотой Орды, и, надеюсь, вы позволите мне употребить некоторые из ваших соображений, которые кажутся мне весьма счастливыми. Что же до господина Клапрота, то он своими нападками на вас

доказывает не истину, а только едкость своего ума и неприличие слога! И не спорьте, не спорьте, отец Иакинф, непременно надобно ответить ему по-французски!

Иакинф и Сенковский долго простояли у окна, раскуривая пахучие сенковские сигарки.

— Однако ж, мы заболтались, — сказал Иакинф, взглянув на часы. — Уже половина четвертого.

— А мне не хочется вас отпускать, отец Иакинф, не переговорив об одном важном деле. Но может быть, поедем ко мне? Там нам побеседовать будет удобнее. Живу я недалеко, в доме моего тестя, барона Валя.

Условившись с чиновниками библиотеки, когда он явится для разбора и осмотра китайских книг, Иакинф спустился с Сенковским вниз.

III

У подъезда их ждали легкие санки, запряженные парой добрых — серых, в яблоках — коней.

Иакинф похвалил лошадей. Он знал в них толк: и в Иркутске, и в Пекине у него был прекрасный выезд. Похвала пришлась Сенковскому по вкусу.

— Люблю быструю езду, — сказал он, заправляя медвежью полость.

— Думаю, содержание таких лошадей и экипажей в столице обходится недешево, — заметил Иакинф.

— Ну, денег на такие вещи жалеть не стоит. Конечно, можно всю жизнь прожить, отказывая себе во всем. А там глядишь — и старость пришла. К чему же тогда жить? Да и потом, я только что женился. Был холост — бродил, как странствующий дервиш, с котомкой за спиной. А женился — хочешь не хочешь, надобно обзаводиться собственным экипажем, да и собственным домом не мешает…

— А хватает на такое профессорского-то оклада? — спросил Иакинф насмешливо.

— Где там хватает! Приходится изворачиваться. Видите ли, помимо профессорства я еще причислен к министерству иностранных дел и сверх жалованья по университету мне предоставили содержание, какое следовало бы при миссии. Я, разумеется, в долгу не остаюсь. В связи с турецкой войной составил походные словари для снабжения офицеров нашей кавказской армии. А незадолго до женитьбы взял еще себе место цензора. Времени это много не отнимает, а оклад и влияние дает. Помимо того сотрудничаю в издающемся в столице польском

журнале "Баламут", а с нового года стал его редактором. Перевел для Смирдина роман Морриера "Хаджи-Баба в Лондоне". Печатаюсь в "Северной пчеле" и в "Сыне отечества". Словом, надо как-то сводить концы с концами. А молодая жена, сами знаете, что это такое. — И, взглянув на Иакинфа, засмеялся: — Впрочем, что же я такое говорю? Откуда же вам знать, святой отец. А она у меня — дочь барона, придворного банкира, с детства привыкла к роскоши и комфорту, да и сама имеет склонность ко всему изящному. И я не хочу отказывать ей в чем бы то ни было.

Между тем лошади уже примчали их к дому, где жил Сенковский. Он живо спрыгнул с санок, ливрейный лакей распахнул перед ними дверь, и по покрытой богатым ковром лестнице, уставленной по бокам цветами, Сенковский провел Иакинфа в свой рабочий кабинет. Он был убран в турецком вкусе. Стены затянуты коврами, книжные полки скрыты тяжелыми портьерами. Чуть не половину просторной комнаты занимал низкий диван с бесчисленным множеством сафьяновых подушек — зеленых, красных, синих, желтых. Письменный стол, заваленный книгами и рукописями, сиротливо приютился у окна.

Сенковский пригласил садиться, и Иакинф утонул в мягких подушках. Хозяин громко хлопнул в ладоши и тотчас двое слуг, склонясь в низком поклоне, внесли кувшины и тазы для омовения рук.

Иакинф и не заметил, как на низеньком столике перед ним появился серебряный, с чернью, узкогорлый кофейник с пахучим турецким кофием, аромат которого заполнил комнату.

Прихлебывая маленькими глотками ароматный напиток, Сенковский стал развивать перед Иакинфом план создания при Петербургском университете восточного факультета.

— Да, отец Иакинф, не угодно ль отведать кальяну? — оборвал он себя и протянул Иакинфу длинный и гибкий ствол чубука, увенчанного янтарным мундштуком. Другой конец чубука скрывался в стоявшем на ковре хрустальном колпаке с золочеными арабесками. Слуга зажег табак в устье короткой трубки внизу. Иакинф с наслаждением вдохнул струйку дыма, пропущенного сквозь хрустальный сосуд с водой, и стал внимательно слушать хозяина. А тот, потягивая дымок из янтарного мундштука, развивал увлекательный план создания в Петербурге первого в России полного класса восточных языков, словно сооружал заманчивый воздушный замок из этого пахучего дымка, наполнявшего комнату.

— Теперь, после прибытия из калмыцких степей господина Шмидта и вашего появления в столице, — говорил Сенковский, — мы имеем специалистов почти по всем азиатским языкам и

литературам. И учебных пособий в Петербурге достаточно. Во всяком случае, на первых порах. И в Азиатском музее, и в университете, и в Публичной библиотеке. Я слыхал, сколько вы один передали в Азиатский музей книг на китайском и на маньчжурском языках.

— Я и на тибетском кое-что привез, — сказал Иакинф.

Он загорелся идеей создания восточного факультета не меньше самого Сенковского. Они стали во всех подробностях обсуждать планы будущих восточных классов, перебирать, кто из столичных ученых за преподавание каких восточных языков и литератур мог бы взяться. Преподавателями маньчжурского языка Иакинф предложил привлечь Липовцева и Сипакова — вернувшегося с ним из Китая студента его миссии, а для преподавания монгольского выписать из Иркутска Игумнова.

— Лучшего знатока живого монгольского языка во всей Европе не сыщешь, — говорил Иакинф. — Первые лета жизни своей он провел совершенно между монголами, в юрте, и до сих пор говорит на их языке едва ли не лучше, нежели на природном.

Скоро они перешли за стол и тут же набросали записку в комитет по устройству учебных заведений об учреждении при Петербургском университете особого полного класса восточных языков.

IV

Возвращался он от Сенковского пешком. Шел по набережной, а потом по длиннейшему Невскому проспекту. Шел, не замечая, как пощипывает мороз. Перебирал в мыслях сегодняшний день и долгий разговор с Сенковским. Странный это все-таки человек. И какой-то переменчивый — то насмешник и остроумец, то подвижник и ученый, то изнеженный сибарит, для которого Восток вроде и не наука и не профессия, а скорее так — романтическая поза. "Да, совсем другого поля ягода, нежели я. Для меня-то Восток не журнальный товар и не романтическое увлечение, а воловий труд". Впрочем, и у Сенковского, судя по тому, что он сегодня видел, способность к труду неутомимая. Одни словари арабских языков и диалектов чего стоят! Он-то знает, что это за адов труд. Особенно, когда они составляются впервые, на пустом месте. И при всем том какая огромная начитанность! За ней ведь тоже стоит труд. А эта идея создания восточного факультета просто великолепна! Иакинф и сам все больше испытывал потребность доверять свои знания не только чистому листу бумаги (еще неизвестно, к кому он попадет), но и живой, любознательной молодежи. Не об этом ли он когда-то

мечтал, еще в Казани, по окончании академии?

Когда он подошел к заснеженной Фонтанке, ноги сами повернули направо и понесли его к Гороховой, к дому Карсунских. Таня! Непременно надобно поделиться с ней этой новостью. Он шел, и его не покидало ощущение, что ему все теперь по плечу. Что он все теперь может.

Эти два года он не худо потрудился. Одна за другой вышли в свет две такие фундаментальные книги, как "Описание Тибета в нынешнем его состоянии" и двухтомные "Записки о Монголии". Нынче держит корректуру двух новых книг — "Описание Чжунгарии и Восточного Туркестана" и "История первых четырех ханов из Дома Чингисова". Готовы еще две — "Описание Пекина", рукопись ее уже перебелена, а карта вычерчена, и "Сань-Цзы-Цзин, или Троесловие", для которой милейший Шиллинг готовит в литографии министерства иностранных дел китайский текст. Он видел пробные оттиски — будет напечатано не хуже, чем в пекинской дворцовой типографии! Цензоры жалуются, что они не успевают читать книги, которые он одну за другой им представляет.

Еще совсем недавно ему приходилось искать издателей, а теперь журналы и в Петербурге, и в Москве за ним охотятся, наперебой зазывают к себе. Вслед за "Северным архивом" он стал публиковать свои статьи и переводы в "Сыне отечества" и в альманахе "Северные цветы". Разыскал его издатель "Московского телеграфа" Николай Полевой, а следом и соперничающий с ним редактор "Московского вестника" Погодин. Ну что ж, он и ему послал несколько статей. Издатели и в Петербурге, и в Москве считают для себя честью напечатать з своих журналах какое-либо его сочинение о Китае или странах Восточной Азии. Имя его становится известным не только в России, но и в Европе. Обе его первые книги, едва выйдя в Петербурге, уже переводятся на немецкий и французский языки, сочинения его рецензируются не только в русских, но и в европейских журналах. Перед рождеством его избрали членом-корреспондентом Академии наук по отделу литературы и древностей Востока. Заслуги его отмечены и правительством. Вчера его пригласил директор Азиатского департамента тайный советник Родофиникин и, поздравив с избранием в академию, сообщил, что император Николай I всемилостивейше пожаловал ему в признание его заслуг годовой оклад не в зачёт. А вот теперь еще и возможное преподавание в университете! Как же не поделиться всем этим с Таней?

Он шел, все ускоряя шаг, не замечая сугробов. И, подходя к дому на Гороховой, уже почти бежал.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

I

Порой все это казалось ему просто неправдоподобным. Он боялся поверить своему счастью. Ну что ж, видно судьба. А пути ее неисповедимы.

Когда-то он говорил себе: человек должен быть хозяином своей судьбы. Но вот выбрал себе путь, выбрал опрометчиво, скоро сам это понял, а свернуть с него трудно, да пожалуй, и невозможно. Так и сложилась, помимо воли, монашья его судьба. Одна у человека жизнь, и ту не устроить по своему разумению. А судьба-то, оказывается, насмешница. Вот ведь какую штуку под старость лет с ним выкинула!

Одно смущало его: досталось ему позднее это счастье такой ценой — ценой смерти лучшего, да пожалуй, и единственного друга юности. Но ведь он в ней неповинен! Вот уже больше года прошло с его кончины. А впрочем, что было бы, ежели бы смерть не подстерегла Саню? Он не находил в себе и следов той кротости, той готовности к самопожертвованию, которые, если верить преданиям, были присущи первым христианским мученикам и православным страстотерпцам.

Позднее счастье… Ну что ж, счастье любит, должно быть, окольные пути. Важнее всего, что оно наконец пришло. Ему казалось, что он впервые постиг смысл этого слова, о котором когда-то читал в книгах, о котором не раз размышлял в своих дальних странствиях и в долгие зимние вечера в уединенной иноческой келье на том пустынном, богом забытом, острове. В своей жизни он знал радости открытий, упоение самозабвенного труда, порывы мимолетных чувственных наслаждений, торжество отмщения, которое доставляли ему порой в общем-то мелкие и сомнительные победы над своими недругами. Все это он и принимал за счастье, успокаивая себя в полосы невзгод и злоключений, что вечно счастливым быть нельзя, что им можно только бывать. И он действительно бывал им… по временам.

Но такого душевного мира, такого слияния прошлого, с его мечтами, и настоящего, с его свершениями, — такого подъема душевных и физических сил, когда каждая минута бытия доставляет радость, он еще никогда не испытывал. "Теперь я все могу!" — без конца повторял он. И всем этим он был обязан Тане!

Просыпаясь с первыми проблесками рассвета, после короткой прогулки по дальним дорожкам лаврского сада, он садился к

столу и готовил к печати свои труды, задуманные и начатые еще в Пекине. Он оттачивал переводы сложных, запутанных текстов, написанных иногда полторы-две тысячи лет тому назад, сопоставлял противоречивые свидетельства различных китайских хроник и летописей, вычерчивал для себя карты передвижения древних племен и народов, а какое-то смутное, вроде подсознательное даже, ощущение нового, невероятного обретения не покидало его. Он редко до сумерек выходил из своей кельи. Ему было довольно и того, что Таня где-то тут, неподалеку, что в любую минуту он может встать, выйдя за ограду лавры, пересечь несколько улиц, подняться на пять ступенек ее дома, дернуть ручку колокольчика, и она выбежит ему навстречу.

И он приходил, еще не остывший от горячки запойного труда. Полный планов и замыслов, которыми спешил с ней поделиться. Таким, увлеченным делом, видела его Таня.

И ему было приятно ощущать на себе загорающийся радостью Танин взгляд, когда он появлялся на пороге.

Может быть, это происходило оттого, что он устал от одиночества и потому теперь с такой готовностью от него отказывался? Прежде он говорил: какое это благо быть одному! Теперь, быть может и сам того не сознавая, он считал часы, когда будет у Тани. Тягостное одиночество, к которому он привык и которое долгие годы считал естественным, не лежало более свинцовой горой на его сердце, не морозило его, как лютая сибирская стужа.

Они проходили в столовую, садились пить чай, рассказывали друг другу о проведенном дне. Какая же это радость — иметь рядом такого друга, который понимает тебя с полуслова, с которым приятно поделиться своими заботами и замыслами, который всегда готов дать совет, толковый и трезвый! А разве меньшая радость сознавать, что ты и сам можешь помочь другу, оборонить от бед и огорчений того, кого любишь и кто вверяет себя твоему руководительству с такой простодушной доверчивостью?

Часто после вечернего чая они уходили в кабинет, садились у камина, Таня захватывала с собой работу, Иакинф — книжку, но книжка так и оставалась раскрытой все на той же странице, а спицы дремали на коленях. Они сидели молча, глядя на пылающие поленья. Время от времени обменивались одной-двумя фразами — им было довольно и того, что они рядом, достаточно одного слова или взгляда. Такие молчаливые вечера у камелька вдвоем стали для них потребностью, и Иакинф не раз спрашивал себя, как же он до сих пор без них обходился.

Иногда Таня принималась расспрашивать про его жизнь, и

Иакинф, обычно немногословный, часами рассказывал ей о своих странствиях и злоключениях, сомнениях и соблазнах, признавался ей и в таком, чего никому другому он бы поведать не мог. Рассказывала про себя и Таня, про то, что пришлось ей пережить за те долгие годы, что они провели в разлуке, о своем детстве. Эти рассказы-исповеди, рассказы-признания открывали им много нового. Ведь, в сущности, они так мало знали друг друга. Юношеская влюбленность — чувство прекрасное, но оно мешает как следует разглядеть возлюбленного. Теперь, под старость лет, их связало чувство, которое тоже было свежо и молодо, но оно не мешало им открывать в другом какие-то новые черты, о существовании которых они прежде и не подозревали. Они как бы заново узнавали друг друга, и при этом обнаруживалось порой такое, чего они не могли понять один в другом. Таня, например, не могла примириться с безверием Иакинфа, а того поразила глубина и чистота ее веры. Впрочем, сейчас, когда он был счастлив, он готов был поверить, что бог действительно существует.

Но разговоров о боге, так же как и воспоминаний о Сане, они по молчаливому уговору избегали.

И все-таки как-то раз она призналась:

— Боже, какими же глупцами мы были!..

Иакинф пытливо посмотрел на нее.

— Ты не знаешь, я ведь тогда чуть было не убежала из-под венца… А ты, ты не хотел меня даже видеть… Саня был очень хороший человек… Добрейшей души и редкого благородства… Но я очень скоро поняла, что любила-то я не его, а тебя… А его, наверно… жалела.

— Но, может, жалеть — это и значит любить? — сказал Иакинф задумчиво. — Говорят же у нас бабы на деревне: "Я его жалею", разумея: "люблю". Разве не приводилось тебе слышать, как старушка какая-нибудь рассказывает: "Прожили-то они век счастливо, душа в душу, друг дружку жалеючи"?

— Да, конечно. Но…

Он смотрел на ее лицо, покрасневшее то ли от пламени, то ли от этого неожиданного признания, такого трудного и тем более для него дорогого.

"Девочка, родная моя! И краснеешь-то ты совсем, как тогда в Казани…" Рядом с Таней он сам обретал молодость, если можно ее обрести. Но он и впрямь чувствовал, что ожил и что оживила его любовь, на которую человек, оказывается, способен и тогда, когда ему перевалит на вторую половину века…

II

Иакинф взбежал по ступенькам крыльца и дернул за ручку колокольчика. Пока слуга возился с задвижками, по лестнице уже спускалась Таня.

— Никита, что случилось? Я места себе не нахожу!

Иакинф распахнул занесенную снегом шубу, отдирал налипшие на бороде и усах сосульки. Таня схватила у него шапку и на какой-то миг прильнула к нему.

— Как же ты, должно быть, замерз. Сегодня такая стужа! Пойдем скорее к огню. Паня, самовар!

Сели у печки. Иакинф подбросил в огонь новые поленья, и они дружно занялись.

— Ну, рассказывай, рассказывай, — торопила его Таня. — С ума сойти — не был целых три дня!

— И знаешь, Танюша, за эти три дня произошло столько событий, что не знаю, с чего и начать.

— По лицу вижу, что пришел с добрыми вестями. Ну, рассказывай, рассказывай по порядку.

И Иакинф рассказал — и о письме Парижского Азиатского общества, которое он получил позавчера, и о награде государя, и об утверждении почетным библиотекарем, и о сегодняшнем разговоре с Сенковским. Мысль о преподавании в университете его, пожалуй, больше всего занимала, и он рассказал о своих новых планах особенно подробно.

— Ты знаешь, я ведь еще в Казани, больше четверти века назад, нередко представлял себя профессором истории. Так и видел: вхожу в аудиторию, и десятки глаз устремляются навстречу с ожиданием и надеждой. А в Петербурге выходят мои исследования из истории чувашей…

— Ну, так мечта в руку — у тебя и так выходят книги. Ну не о чувашах, так о монголах да чжунгарах — не все ли равно.

— И когда я представлял себе будущее, непременно рядом была ты… Мечтал о собственном доме… Чтоб по вечерам собирались у нас друзья — ученые, путешественники, художники, музыканты… И чтоб непременно рядом ты. И теперь все это кажется так близко. Протяни только руку, да сбрось этот клобук.

— Да как же его сбросишь-то?

Иакинф сказал о своем твердом решении оставить духовное звание. Теперь, когда он стал членом-корреспондентом Академии наук, а его ученые труды получают европейское признание, этого, пожалуй, можно добиться.

— Да и теперь я не один. Есть у меня ты и есть друзья! Теперь, мне кажется, я все могу!

— Ой, Никитушка, неужто это возможно? — воскликнула

Таня, и лицо ее осветилось надеждой. — Может, великий грех беру я на душу, но только об этом одном и молю бога. Да и то сказать, оставаться тебе в монашестве еще больший грех, нежели расстричься. Ну какой же из тебя инок, сам рассуди. В церковь не ходишь, и дома лба не перекрестишь. Как же примирить это с иноческим-то уставом?

И они принялись строить планы на будущее. Представляли они его себе так ясно.

Таня советовалась с ним, как лучше распорядиться оставшимися после Сани и родителей средствами, как завершить постройку дачи на Выборгской стороне за клиническими зданиями, которую начал еще Саня, делилась своими сомнениями о воспитании Сонюшки. После смерти старших детей — Никиты, названного так в его честь, и Наташи — она осталась у них единственной. Вся любовь, которую она и Саня делили между тремя детьми, они перенесли на одну Сонюшку, Саня, тот просто души в ней не чаял, и, должно быть, забаловали ее. Она выросла чересчур беззаботной и легкомысленной. И хоть сердечко у нее доброе, да голова забита разными глупостями. Несколько лет назад по совету матери (та об ту пору была еще жива и, продав дом в Казани, переселилась к ним, в Петербург) отдали Сонюшку в Смольный институт, где мать в свое время воспитывалась сама.

Иакинф не одобрял этого и советовал забрать ее домой.

— Нехорошо, право, нехорошо, — говорил он, — отделять так рано детей от родительского крова. Да разве можно лишать девочку наслаждения невинными семейственными радостями. Поверь, это иссушает сердце ребенка и до срока наполняет его грустными чувствованиями. В институте забота воспитательниц или смотрительниц, уж не знаю, как там их называют, разделяется между великим множеством институток…

Таню радовала эта горячность Иакинфа. Она и сама тосковала без дочки. Но с таким трудом определили ее в институт. Брали туда только дочерей потомственных, дворян, а Саня из духовного сословия и только с профессорством получил дворянство. Ее радовало, что Иакинф принимал участие в Сонюшке так, словно приводился ей родным отцом. Да и та привязалась к нему, как к родному.

— Поверь, Танюшка, это я по себе знаю, — говорил между тем Иакинф. — Сам воспитывался в закрытом заведении. Ну, само собой, институт не бурса, а все-таки… Ребенок, под надзором совершенно чуждых ему людей, делает все из одного только скрытого страха, и тот никогда не превращается в детскую любовь или приязнь. Юная душа, которая в родительском доме привязывается почтением к отцу или деду, нежностию к матери

или бабке, там стесняется в неизвестном и чуждом ей круге. Вот оттого-то, голубушка, и происходит равнодушие, скрытность, холодное обращение, которое я примечал почти что во всех детях, кои воспитаны вне своего семейства.

Но до выпуска оставалось всего полтора года, и после долгих обсуждений и раздумий решено было его дождаться…

Как всегда, Иакинф пробыл у Тани до позднего вечера.

"Вот все могу, все могу, — усмехался Иакинф, шагая по пустынному в этот поздний час Невскому, — а приходится, на ночь глядя, тащиться в опостылевшую лавру". В жилах закипала кровь, стоило только подумать о своем бесправном, унизительном положении. "Все могу, все могу, а на поверку-то выходит ничего ты не можешь! — укорял себя Иакинф в бессильной ярости. — Завтра же напишу ходатайство в Синод!"

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

I

Ходатайство он написал на следующее же утро. И начальника Азиатского департамента тайного советника Родофиникина долго уговаривать не пришлось: тот незамедлительно обратился к обер-прокурору Святейшего Синода с пространным и убедительно составленным посланием — тут уж постарались и Шиллинг, и Тимковский. Подробно изложив ученые заслуги отца Иакинфа не только перед отечеством, но и перед самой Европой, а также важную его деятельность в министерстве иностранных дел, Родофиникин "вменял себе в обязанность для самой пользы службы и наук покорнейше просить употребить благосклонное ходатайство о сложении с него, отца Иакинфа, монашеского сана, ибо сан сей препятствует ему в свободном отправлении возлагаемых на него по службе обязанностей".

Несколько месяцев прошло в томительном ожидании. Святые отцы не спешили с определением, хотя в частной беседе с Шиллингом князь Мещерский и отозвался, что сам он не видит особенных причин, могущих служить преградою к снятию монашеского звания с отца Иакинфа. Тем ужасней было узнать, что митрополит Серафим наотрез отказал в расстрижении. Иакинф был в смятении.

Шиллинг утешал:

— Не надобно отчаиваться, отец Иакинф! Совсем это на вас не похоже. Ну, первая попытка не удалась, а все же рук опускать не следует. Да и на митрополите свет клином не сошелся. Можно будет еще и к государю обратиться. Надобно только действовать наверняка. Ведь ваши труды получают теперь европейское признание.

— Ну, знаете, Павел Львович, в своей земле пророка не бывает.

— Не скажите, батюшка. Намедни получил я письмо от господина Абеля Ремюза, президента Парижского Азиатского общества. Пишет, что в Париже вашими трудами живейшим образом заинтересовались. Вот изберут они вас в действительные свои члены, это еще больше придаст вам весу. А уж если заграница вас за пророка сочтет, тогда против такого вердикта ничего не попишешь. Надобно обождать. Наберитесь терпения. А пока есть у меня к вам одно предложение, которое, я надеюсь, вас заинтересует. Столько раз и так увлекательно рассказывали вы мне про Китай и Монголию, что решил я наконец предпринять

ученую экспедицию, если не в самый Китай — получить разрешение на поездку туда от несговорчивых китайцев потребовались бы годы, — то к его границам, в Забайкалье. Что, махнем, батюшка? Годика этак на полтора? Обследуем наши границы с Китаем, а заодно познакомимся с жизнью местных племен, посетим ламаистские монастыри и капища, соберем образцы их убранств и книги на монгольском и на тибетском языках… Я хочу просить вас принять самое деятельное участие и в самой экспедиции, и в подготовке к ней.

— Так разве же меня отпустят на такой срок из лавры? — спросил Иакинф недоверчиво.

— А что вам в ней делать? — усмехнулся Шиллинг. — К службам ихним вы все равно не ходите. Уедете — лаврское начальство ваше только вздохнет с облегчением. Не будете им глаза мозолить. Я, разумеется, обстоятельнейшим образом доложу, что заставляет меня включить в экспедицию такого знатока Востока, как вы. Но и вы, со своей стороны, напишите о причинах, которые побуждают вас просить о поездке на китайскую границу. Кстати, я думаю, мы сделаем штаб-квартирой нашей экспедиции Кяхту. Как вы находите?

— Разумеется, Кяхту. Тут и думать нечего.

Долго уговаривать Иакинфа не требовалось. Конечно, жаль было расставаться с Таней на такой срок. Но время пролетит быстро. Он уже давно примечает — каждый следующий год куда короче предыдущего. Да и дел у него там действительно множество.

Не мешкая, он принялся за составление записки:

"Причины, побуждающие меня ехать в Кяхту, — писал он, — суть: 1. Нужно составить пространную грамматику языка китайского, что удобнее могу сделать в Кяхте, получая нужные по сему предмету сведения от китайцев лично".

А грамматика эта ох как необходима! Ведь нет систематического изложения грамматики ни разговорного, ни литературного китайского языка не только в России, но и во всей Европе. Ежели благосклонно отнесутся к его с Сенковским записке об учреждении восточного факультета в Петербургском университете и будет введен курс китайского языка, без грамматики не обойтись. У него есть наметки, наблюдения, накопившиеся за два десятилетия работы над китайскими текстами самого различного характера, наброски основных правил, но все это надобно привести в систему, тщательно выверить с китайцами.

"2. Китайский словарь, переведенный мною на язык российский и расположенный по тонам, нужно, для удобнейшего

употребления, перевесть в новый порядок по ключам, а для обширной сей переписки набело требуется употребить китайцев".

Как обидно, что его словари, на составление которых он потратил пятнадцать лет напряженнейшего труда, дз сих пор лежат втуне и пылятся у него на стеллажах. Од превосходно понимал их огромную ценность. Словари эти составлены не только на основе такого авторитетного китайского лексикона, как "Кан-си цзы-дянь", но и по материалам самых различных китайских источников, переводившихся им самим. Но чтобы привести в порядок хотя бы один большой словарь, надобно привлечь китайских переписчиков, а где их в Петербурге сыщешь? Шиллинг прав, непременно надобно ехать в Кяхту. Там-то он найдет грамотных китайцев с хорошим почерком, чтобы выполнить эту трудоемкую работу.

"3. Для предполагаемого мною сочинения пространного описания Китайской империи нужно получить от китайцев дальнейшие сведения по разным предметам, входящим в состав сего описания".

До сих пор предметом его усилий было описание разных народов, сопредельных Российской и Китайской империям. Пора, пора было приступать и к самому Китаю, который он лучше всего знает! Недаром же он безвыездно просидел в столице Поднебесной империи почти полтора десятка лет!

"4. Для сей же причины границу Восточной Сибири, определенную мирным договором 1727 года, нужно проверить на месте по картам российским и китайским.

5. В продолжение сих занятий постараюсь приобресть практическое сведение в языке монгольском, часто нужном для пояснения исторических происшествий сего народа, и сверх того узнать образ жизни и обычаи монголов Российского подданства, дабы из сравнения увидеть, в чем разнствуют они от монголов заграничных и по какому влиянию.

6. По желанию Кяхтинских комиссионеров намереваюсь заняться преподаванием сочиненных мною "Основных правил Китайской грамматики", чрез что мало-помалу устранятся затруднения, которые препятствовали им до сего времени приступить к изучению китайского языка, столь нужного для ежедневных торговых сношений".

Ознакомившись с "Запиской", Шиллинг остался доволен.

— Молодец, батюшка! — сказал он в своей обычной шутливой манере. — Написано все коротко и ясно. Доводы ваши столь неотразимы, что, я думаю, мне без труда удастся не только добиться включения вас в состав экспедиции, но и монаршее соизволение на саму экспедицию получить.

— Как? Разве на поездку нужно получить соизволение самого государя? — спросил Иакинф.

— А как же вы думали? У нас ведь как заведено? Без бога ни до порога, без царя и шагу не ступишь.

Шиллинг рассказал, что мысль об экспедиции у него окончательно сложилась после полученного недавно письма из Берлина от барона Александра фон Гумбольдта. Пишет, что в следующем месяце собирается в Петербург, чтобы совершить отсюда путешествие на Урал, Алтай и к Каспийскому морю.

— Уж если к нам для ученых исследований, — говорил Шиллинг, — из Берлина да из Парижа приезжают, так нам с вами и сам бог велел.

— Гумбольдт — знаменитый естествоиспытатель и путешественник? Вы с ним знакомы?

— Давно. Познакомились вскоре после возвращения его из путешествия в полуденные области Нового света. Я тогда служил в Мюнхене. А по возвращении моем а Россию мы много лет переписывались. Человек это замечательный. И ученый крупнейший. Недаром его прозвали Аристотелем нашего века. Беседа с ним — истинное наслаждение. Всеобъемлемость его размышлений и разговоров изумительна. Право, я не знаю, есть ли кто-нибудь в Европе, кто бы лучше его знал науки, которые он избрал целью постоянных своих усилий — геологию, минералогию, ботанику, зоологию, географию. Но он не чуждается всех других отраслей знания, и, пожалуй, никто в целом мире не знает того, что мы называем Вселенной, короче, нежели он. Он мне писал, что по завершении описания путешествия в Америку (а в Париже вышел уже двадцать шестой его том), барон намеревается написать книгу "Космос", содержание которой будет обнимать в главных чертах все области знания, касающиеся Земли и основанные на наблюдении и опыте, — ст астрономии до географии растений, животных и человека. А какой это блистательный оратор! Мне привелось однажды присутствовать в Берлине на его публичной лекции — это был какой-то искрометный фейерверк. Представьте себе огромную залу Берлинской музыкальной академии. Слушателей на лекцию собралось с тысячу, никак не меньше. И кого только среди них не было! И сам король, и члены королевской семьи, и высшие чины гражданского и военного ведомства, ламы высшего общества, ученые, художники и даже несколько любознательных берлинских ремесленников. В своих письмах он интересовался моими опытами в области электромагнитного телеграфа. Приедет — я вас непременно познакомлю.

— Охота ему будет со мной знакомиться.

— Не скажите, батюшка. Убежден, что ему будет интересно потолковать с вами. Каждый талантливый человек приводит его в восторг. А о Восточной Азии он мечтал с юных лет своей жизни.

II

Приехал Гумбольдт в Петербург восемнадцатого апреля и провел в российской столице почти три недели. Но несмотря на все усилия Шиллинга, пригласить Гумбольдта к себе ему так и не удалось. Тот был недосягаем. Все вокруг него находилось в постоянном движение. Невозможно было себе представить большего внимания и более изощренного гостеприимства, чем то, которым его окружили в российской столице. Остановился он а доме прусского посла на Гагаринской улице и пожелал, чтобы двери его кабинета были открыты для всех, желающих его видеть. Но застать его там было мудрено. После полудня его подхватывал вихрь светских приемов, официальных завтраков, званых обедов, балов, раутов и не отпускал до глубокой ночи. Возвращался Гумбольдт в дом прусского посла уже под утро, совершенно изнемогая под тяжестью выпавших на его долю почестей. Почти всякий день обедал он с императорской фамилией, а вечера проводил то у императрицы, то у наследника или великих князей и княгинь. Только раз на ординарном заседании Академии наук, где Гумбольдту вручали золотую юбилейную медаль, выбитую но случаю столетия академии, и диплом почетного академика, Шиллингу удалось обменяться с ним несколькими фразами и представить ему Иакинфа.

С трудом вырвался Гумбольдт из подхватившего его в русской столице вихря светских развлечений. Уезжал он из Петербурга рано утром восьмого мая. Шиллинг с Иакинфом пришли его проводить. Гумбольдт решил выехать как можно раньше, чтобы избежать торжественных проводов. И все же Гагаринская улица и набережная, примыкающие к особняку прусского посла, была запружены народом. Отправлялись Гумбольдт и его спутники на двух колясках с крытым верхом, каждая из них была запряжена шестерней цугом. За ними следовала рессорная бричка для инструментов и багажа. Экипажи были изготовлены специально для экспедиции.

Гумбольдт тепло попрощался с Шиллингом:

— Если только вернусь жив-здоров, непременно навещу вас, барон.

Проводив Гумбольдта, Шиллинг и Иакинф стали готовиться к своей собственной экспедиции, хотя разрешение на нее получено еще не было. Но Шиллинг был исполнен веры, что непременно

добьется на то высочайшего соизволения.

Выполнение намеченных Шиллингом задач требовало больших расходов. Они, конечно же, значительно превысят казенные средства, которые могли быть отпущены на экспедицию. Единственным богатством у Шиллинга была собиравшаяся им на протяжении многих лег библиотека. Частью ее книг Шиллинг решил пожертвовать. Пустив в ход свои светские связи, он добился разрешения на продажу министерству народного просвещения, на выгодных для себя условиях, части собрания китайских, маньчжурских, монгольских, тибетских и других сочинений, состоявших из 314 названий и содержавших вместе 2600 томов. Жаль было расставаться с этим сокровищем, но что было делать? Да к тому же в Сибири и в Кяхте, как его уверил Иакинф, он сумеет пополнить свое собрание и более ценными книгами. Полагаться на щедрость правительства было невозможно. Как бы то ни было, финансовая сторона экспедиции была обеспечена.

Иакинфу же хотелось до отъезда завершить свои основные работы, посвященные географии и истории сопредельных России и Китаю азиатских народов и окраинных китайских земель, чтобы можно было приступить к следующему пункту своей обширной программы — описанию самого Китая. Из задуманной им серии больших монографий, посвященных этим народам, у него осталась одна — "История Тангута и Тибета", и он принялся за нее с тем рвением, которое его всегда отличало. К концу года, и уж во всяком случае к началу следующего, на которое они планировали свою поездку, он закончит эту кропотливую и трудоемкую работу. Собирал он также материалы к китайской грамматике, которой намеревался заняться в Кяхте. Поддаваясь уговорам Сенковского, написал по-французски ответ на критику Клапротом его работ и издал его в Петербурге на французском языке отдельной брошюрой под названием "Observations sur les traductions et les critiques littêraires de M. de Klaprott, par R. P. Hyacinthe Bitchourine" {Замечания на переводы и литературную критику г-на Клапрота, соч. отца Иакинфа Бичурина (франц.).} и послал ее Парижскому Азиатскому обществу с вежливым письмом Абелю Ремюза.

III

Во вторник на второй неделе ноября Иакинф получил письмо от академика-секретаря Фуса с приглашением пожаловать на экстраординарное заседание Академии наук, которое имеет быть шестнадцатого ноября тысяча восемьсот двадцать девятого года.

В сей торжественный день, говорилось в письме, Императорская Академия наук от имени всей России принесет дань уважения славнейшему из естествоиспытателей и путешественников нашего века, его высокопревосходительству, действительному тайному советнику дружественного нам прусского королевства, почетному члену Императорской Академии наук, барону Александру фон Гумбольдту, счастливо возвратившемуся из многотрудного путешествия его по Сибири.

День стоял солнечный, и Иакинф отправился из лавры пешком. Он прошел по всему Невскому, пересек обширную площадь перед Адмиралтейством, обогнул все еще строящийся Исаакиевский собор и по плашкоутному мосту напротив собора перешел на Васильевский остров.

Никогда еще, во всяком случае на памяти Иакинфа, набережная перед зданием Академии наук не была столь оживленной. Мостовая была запружена народом, а к подъезду прибывали всё новые и новые экипажи, один роскошнее другого. Многие запряжены были цугом — с форейторами и ливрейными лакеями на запятках. Академики и члены-корреспонденты совершенно терялись в этой блестящей толпе, спешащей к подъезду. Вот на шестерке великолепных коней подъехал сам генерал-губернатор столицы, за ним непрерывным потоком съезжались важные сановники — статские, военные и духовные. Сверкнул бриллиантовый крест на белом клобуке митрополита Серафима; за ним на четверке цугом подкатил все больше входящий в силу протоиерей Казанского собора Петр Мысловский, удостоенный за увещания участников возмущения на Сенатской площади личного монаршего благоволения и избранный в прошлом году в действительные члены Российской академии. Толпа расступилась — подъехала карета августейшей покровительницы наук великой княгини Елены Павловны. Не успела она скрыться в подъезде, как показалась коляска его королевского высочества герцога Александра Вюртембергского. Иакинф поспешил к подъезду и, хотя до открытия заседания осталось еще почти полчаса, едва пробился. Внушительные привратники в расшитых золотом ливреях с недоумением косились на его монашескую рясу, и ему не раз пришлось вытаскивать официальный билет, адресованный члену-корреспонденту Академии наук отцу Иакинфу.

По беломраморной парадной лестнице поднимался сегодня, кажется, весь цвет петербургского общества — сенаторы и министры, военачальники и архиереи. Всюду видны шитые золотом мундиры, ленты через плечо, пышные эполеты важных генералов, бриллианты на белоснежных пудреных шеях

декольтированных дам. Даже мирные адъюнкты, профессора и академики выглядели сегодня необычайно воинственно — в парадных мундирах, при шпагах, с треугольными шляпами под рукой, они, по обязанности хозяев дома, выстроились вдоль лестницы, встречая почетных гостей и дожидаясь виновника торжества.

Наконец, в сопровождении президента Академии наук Уварова, явился и он сам, но не в мундире, а в скромном синем фраке с резными пуговицами. Единственным его украшением был новенький орден Святой Анны первой степени, который Гумбольдт получил в первый же день по своем возвращении в Петербург. В приложенной к ордену грамоте, подписанной императором, хоть тот был тяжело болен, как извещали встревоженную империю специальные бюллетени, говорилось, что орден пожалован ввиду великих, признанных всем образованным миром заслуг барона Гумбольдта ка поприще естественных наук и во внимание к тягостям, принятым им на себя при объезде естественных богатств Урала и Алтая. Слух об особливом монаршем благоволении к прославленному немецкому ученому моментально разнесся по столице.

Подняться в залу Гумбольдту было не так-то просто — на каждом повороте коридора, на каждом марше лестницы его подстерегали засады: тут вице-президент, там непременный секретарь, у самых ступенек лестницы — попечитель столичного учебного округа, а ступенькой выше — ректор университета, академики, ординарные и почетные, и каждый считал своим непременным долгом приветствовать славного путешественника, счастливо вернувшегося из отдаленнейших мест империи — кто на латыни, кто по-французски, по-испански, чаще на его родном немецком языке.

И у каждого Гумбольдт останавливался, каждого слушал, склоня седую, коротко остриженную голову, каждого одаривал улыбкой, каждому отвечал несколькими фразами на том же языке, на каком обращался к нему приветствующий.

Вслед за Гумбольдтом, вместе с другими академиками и членами-корреспондентами, Иакинф прошел в переполненную залу. Ярко горели свечи во всех люстрах, бра и канделябрах.

Никогда еще эта зала не видала такого многолюдства.

Гумбольдта усадили в высокое кресло за длинным столом, освещенным тремя пятисвсчовыми канделябрами.

Заседание открыл президент академии Сергей Семенович Уваров приличною обстоятельствам приветственной речью на французском языке. Он только что вернулся из длительного отпуска, и Иакинф видел президента академии впервые. Говорил

он очень красно, но то была речь не ученого, а опытного и ловкого царедворца. И непонятно, чего в ней было больше — славословий Гумбольдту или августейшему монарху.

— В этом святилище, основанном Петром Великим, где недавно видели вы достойного его преемника, — говорил Уваров, грассируя, как природный парижанин, — приличнее всего изъявить знаменитейшему и славнейшему из путешественников нашего времени чувства нашей искренней признательности и показать ему, как мы гордимся принять его в нашей среде и приветствовать словами одного из мудрецов древности: "Гряди, и здесь обитают науки"…

Речь Уварова, тщательно продуманная и ловко составленная, пришлась Иакинфу не по душе — слишком, уж много было в ней какого-то неприятного национального самохвальства.

— Итак, возрадуемся, милостивые государи, — продолжал между тем Уваров, — стечению благоприятных обстоятельств, приведших к нам в самую блистательную пору нашей истории мужа, наиболее достойного оценить ее преимущества… Да не изгладятся из его памяти разнообразные зрелища, представлявшиеся его взорам, да воспоминает он еще долго тот край, где принесена была столь искренняя дань уважения высоким его заслугам… Да возвестит он своим соотечественникам и целой Европе, что он видел Россию, бодро шествующую вперед на поприще, им самим ознаменованном, Россию, могущественную извне, единодушную в своих обетах и любви к своему Августейшему монарху…

Слушая эту гладкую французскую речь, Иакинф невольно отмечал, как не хватает ей такта! Уж чересчур старательно тщится президент уверить свою многолюдную аудиторию, и в первую очередь, должно быть, Гумбольдта, что Россия находится в самой блистательной эпохе своего процветания, что она выказывает беспримерное развитие всех начал гражданственной и духовной жизни. Но едва ли поверит сему велеречивому сладкопевцу этот действительно великий ученый и наблюдательнейший человек, проделавший пятнадцать тысяч верст по самым различным областям России. Не мог же он не увидеть почти поголовной безграмотности населения и уродств крепостного состояния — и в деревнях, через которые проезжал, и на казенных уральских заводах, которые посетил… Впрочем, чего же тут возмущаться, мысленно одернул себя Иакинф. Безмерное восхваление отечества и благоденствия его населения под скипетром мудрого монарха считается обязательным для официальных речей и церковных проповедей. И тон всему задает президент Уваров. Это он внушает государю, что тот, достойный

преемник Петра Великого, должен быть творцом нового образования, основанного на совершенно новых началах. Иакинф вспомнил слова добряка Шиллинга, который редко отзывался о людях худо, а об Уварове сказал убежденно: нет такой низости, какой он бы не был в состоянии сделать. Триединая его формула — образец самого бессовестного лицемерия. Он проповедует православие, будучи отъявленным безбожником, самодержавие, слывя либералистом, и народность, не умея двух слов связать по-русски.

Иакинф смотрел не на оратора, а на Гумбольдта. Тот сидел на возвышении, блистая сединой густых еще волос, в лице у него вроде не было ничего особенно примечательного, но оно то и дело одушевлялось каким-то неуловимым движением, похожим на улыбку, — то одобрительную, то насмешливую, даже саркастическую, мгновенно исчезающую, между тем как небольшие, но проницательные серые глаза успевали, кажется, взглянуть на каждого, кто сидел сейчас перед ним.

После приветственной речи президента были прочтены доклады адъюнктом академии Гессом о геогностическом обозрении стран по ту сторону Байкала, академиком Куфером о магнитных наблюдениях, проведенных им и его коллегами в различных местах империи, и адъюнктом Остроградским о влиянии теплоты солнечной на температуру земного шара.

Когда читались эти доклады, заполнившая залу светская публика заскучала, а Гумбольдт приметно оживился и весь обратился во внимание. Публика же встрепенулась, только когда после докладов на кафедру поднялся известный стихотворец престарелый граф Хвостов и прочел написанное по случаю сегодняшнего торжества послание:

Наперсник мудрости — наук краса —
Гумбольдт зрел полюса, зрел небеса!
В любви к изящному не зная меры,
Он видел Тенериф и Кордильеры.
Природы тайны вновь с Урала он
Пред русского царя приносит трон.
Недавно в Севере, жезлом волшебным,
Ударя по гребню алмазных гор,
Сломя стрегущий их досель затвор,
Он там сокровищам открыл несметным
В Россию славную свободный ход.
С Петрова времени сторичный плод
При Николае зрим, узрят и наши внуки
Сияние ума и луч науки.

Затем Уваров предоставил слово Гумбольдту.

Заговорил тот, слава богу, по-французски, и Иакинф вздохнул с облегчением: немецкого он бы не понял. Речь его действительно напоминала фейерверк или, пожалуй, еще точнее, — тот, по выражению князя Шаликова, "свободно текущий по златому лугу ручей, который отражает в себе то луч солнца, то цветы, по берегу растущие, — всегда приятный для слуха, всегда усладительный для жажды".

Судя по блистательной этой речи, Гумбольдт был оратором не менее искусным, чем Уваров, но это была

речь не только царедворца, но и ученого. Он начал с избрания его в 1818 году академией в почетные члены.

— Я еще и теперь, — говорил он, — люблю переноситься в ту эпоху моей жизни, когда этот же красноречивый голос, — при этом Гумбольдт сделал легкое, едва уловимое движение в сторону Уварова, — призвал меня в вашу среду и умел, при помощи остроумных фикций, почти убедить меня, что я заслужил награду, которою вы меня удостоили. Но как далек я был от возможности предугадать, что мне доведется заседать под вашим председательством после возвращения с берегов Иртыша, от пределов Китайской Сонгарии и с побережья Каспийского моря.

В отличие от Уварова он обращался в своей речи не столько к собравшейся в зале знати, сколько к сидящим здесь ученым.

— Я мог бы ограничиться принесением академии своей искренней и почтительной благодарности. Но я знаю, господа, что одного обаяния речи, если даже она вполне согласуется с глубиною чувства, еще недостаточно в этих стенах, — говорил Гумбольдт, обращаясь к своим коллегам. — На вас лежит великая и благородная миссия давать в этой обширной империи общий импульс развитию наук и литературы, поощрять работы, гармонизирующие с современным состоянием человеческих знаний, оживлять и умножать мысль в областях высшей математики, физики мира, истории народов, освещенной памятниками различных эпох… — Иакинфу казалось, что Гумбольдт говорит это, адресуясь прямо к нему. — Ваши взоры обращены вперед, на путь еще предстоящий, и данью благодарности, единственно достойной вашего учреждения, может быть с моей стороны только торжественное обязательство оставаться верным занятию науками до последней стадии клонящейся уже к закату жизни, непрестанно изучать природу и идти по пути, проложенному вами и вашими знаменитыми предшественниками. — И Гумбольдт поднял глаза к висящим на стенах портретам Ломоносова и Эйлера.

Говорил он в своей речи не столько о собственном путешествии, сколько о проведенных в последнее время Академией наук изысканиях в различных частях империи и о том, что ей еще предстоит. Это была, в сущности, смело набросанная программа деятельности академии на ближайшие годы, и Иакинф слушал ее с интересом, хотя она и касалась преимущественно наук естественных.

— Мне казалось более подходящим, — говорил между тем Гумбольдт, — воздать публично долг тем, кто по призыву правительства и академии трудится в том же направлении, как и я, и обратить внимание на то, что остается еще сделать для успехов науки и славы империи, чем говорить о собственных усилиях и скомкать в узкой рамке результаты наблюдений, которые требуют еще сравнения с массой других частных данных, нами собранных.

Неужто он так и закончит речь, ни разу не упомянув имени государя? — подумал Иакинф. Но нет, конечно же, Гумбольдт был слишком опытным и искусным оратором, чтобы не знать, что и как надо говорить в таком собрании. По ассоциации идей, вызванных именами Арарата и Эльбруса, он обратился мыслью к недавней войне с Турцией (мир был только что подписан), открывшей новые пути торговле и укрепившей освобождение Греции, этой давно оставленной цивилизации наших предков.

— Но не в этой мирной ограде следует мне говорить о славе оружия. Августейший монарх, призвавший меня в свою страну и относящийся с одобрительной улыбкой к моим работам, представляется мне гением-умиротворителем, — сказал Гумбольдт в заключение. — Давая своим примером жизнь всему тому, что истинно, велико и великодушно, ему угодно было с самой зари своего царствования оказать покровительство изучению наук, питающих и укрепляющих разум, а равно литературе и искусствам, украшающим жизнь народам.

Ну вот, концы и сведены с концами. Конечно, это был прежде всего долг вежливости со стороны иностранца, столь щедро осыпанного милостями русского императора, проявление естественного такта со стороны ученого, интересующегося распространением научных наблюдений и исследований на территории обширной империи.

IV

Наконец-то Гумбольдт выполнил свое обещание. Вечером, — правда, уже на исходе восьмого часа, а ждали его с утра, — он приехал к Шиллингу.

— Уфф! Едва вырвался! — сказал Гумбольдт, сбрасывая роскошную соболью шубу.

— Ну, барон, в эдакой шубе разгуливать по Петербургу рискованно. Прошедшей ночью графа Соллогуба ограбили на Мойке в двух шагах от Дворцовой площади, — сказал Шиллинг.

— Бог милостив, — улыбнулся Гумбольдт. — Раз уж в Сибири остался цел и невредим, так в Петербурге и подавно. Да и шуба уж больно приметная. Получил позавчера в подарок от его величества. Граф Канкрин доверительно сообщил, что стоит она пять тысяч рублей ассигнациями. И еще государь пожаловал мне вазу из малахита высотой, вместе с пьедесталом, в семь футов. Ее оценивают в сорок тысяч рублей, тоже на ассигнации правда.

— Все равно — целое состояние, — заметил Шиллинг. — Я не знаю другого ученого, который был бы осыпан здесь такими знаками монаршей благосклонности, как вы.

— Я очень ценю внимание государя, — сказал Гумбольдт.

— Об этом можно судить по вашей речи в академическом собрании, — заметил Иакинф.

Ему показалось, что Гумбольдт улыбнулся несколько смущенно.

— Речь сия, — сказал он, — была попыткой лести без унижения, и продиктована она искренним желанием сказать то, что должно было бы быть. А его величество и в самом деле проявляет ко мне расположение самое трогательное. В воскресенье пожаловал меня двухчасовой беседой.

— Милость эта тем более значительная, барон, что еще не все министры даже самые высокопоставленные, могли видеть государя после его болезни, — сказал Шиллинг. — Граф Нессельрод, например, а он министр и вице-канцлер, никак не может войти к его величеству с ходатайством о нашей экспедиции, про которую я вам намедни рассказывал.

— Но теперь выздоровление его величества подвигается, кажется, довольно быстро. Он, правда, еще бледен, но выглядит бодро. Расставаясь, сказал, что до моего отъезда хотел бы непременно видеть меня еще раз и profiter de mes lumières {Воспользоваться моими познаниями (франц.).}, как он изволил выразиться.

— Когда же вы собираетесь в дорогу?

— Да думаю выехать числа четырнадцатого-пятнадцатого, чтобы рождество встретить дома.

— Представляю, как вы устали за эту поездку!

— Да и не столько даже за поездку. Хотя мы и проделали по не очень-то благоустроенным российским дорогам пятнадцать тысяч верст. А если прибавить к этому шестьдесят тысяч

здоровенных толчков — я кладу скромно по четыре толчка на версту, — то вы легко себе представите, что это такое. Мой сопроводитель, господин Меншенин, человек пунктуальный, подсчитал, что за это время мы останавливались на пятьсот шестидесяти восьми станциях, привели в движение двенадцать тысяч сорок четыре лошади, имели пятьдесят три переправы, заметьте, через крупные только реки, не считая бесчисленного количества разных мостов, а толчки при въезда на них особенно чувствительны. Десять раз переправлялись мы через одну только Волгу, два раза — через Каму, восемь — через Иртыш, два — через Обь. Но, право, эта поездка меня не утомила. Должен признаться, что в течение всей своей беспокойной жизни я не в состоянии был за столь короткое время собрать такую массу наблюдений и идей. И за четыре года пребывания в Америке я не собрал столь богатых коллекций, как у вас.

— И все-таки выглядите вы несколько утомленным, барон, — сказал Шиллинг, усаживая гостя за стол, уставленный бутылками и закусками. — И вам надобно подкрепиться.

— А вот этого-то мне и не следует, — улыбнулся Гумбольдт. — Я, право, только и делаю, что — как это вы изволили выразиться? — подкрепляюсь. И если я кажусь вам утомленным, то это вовсе не от тягот и трудностей пути, а скорее от званых обедов и ужинов, от великосветских вечеров, куда приглашают "на меня", от предупредительного и, признаюсь, утомительного ухаживания бессчетного числа гражданских и полицейских чинов и разного рода почетной стражи. Ведь меня принимали всюду не столько за ученого путешественника, сколько за высокую особу, "принца Гумболтова", едва ли не за тестя государева, — сказал Гумбольдт с невеселым смехом. — В иных местах толпы народа встречали наш кортеж криками "ура", бежали за экипажами, коменданты крепостей по Иртышской и Оренбургской линиям представляли мне в полном параде, по-военному, рапорты о командуемых ими войсках. За все это время ии на один момент нельзя было остаться одному, нельзя было шагу ступить, чтобы тебя не поддержали под руки, будто больного или архиерея, как зовут у вас епископов. В конце концов это очень утомляет, — признался Гумбольдт. — Так что пощадите меня хоть вы, барон.

— Не буду, не буду за вами ухаживать, — пообещал Шиллинг. — Чувствуйте себя, как дома. Вот, как у нас на Руси говорят: всё на столе, а руки свое, — добавил он по-русски.

За весь вечер, заполненный оживленной беседой, Гумбольдт почти ни к чему не притронулся, хотя недостатка в яствах на столе не было, и в бокал подливал себе одну воду, лишь слегка

подкрашивая ее вином.

Зато разговор не умолкал ни на минуту. Невольно вспомнился оброненный Пушкиным отзыв о Гумбольдте: похож на каменных львов, что ставят на фонтанах. Увлекательные речи так и бьют у него из уст.

Рассказчик он и впрямь был редкостный. Да и было ему что порассказать. Впечатления путешествия, столь увлекательного, переполняли его.

— Не могу вдоволь наглядеться на вашу страну, — говорил Гумбольдт. — Какое поразительное разнообразие климатов и ландшафтов! Эти могучие сибирские реки, а Колыван-озеро с фантастическим нагромождением гранитных и гнейсовых скал на его берегах. Сколько раз останавливался я на горных кручах по берегам рек и озер в каком-то восторженном безмолвии! А дельта Волги и Каспий! Несмотря на все успехи науки нашего века, он для ученых все еще загадка. Ведь лежит он значительно ниже уровня и Черного и Балтийского морей… А я побывал даже в китайской Чжунгарии и вот везу в дар Берлинской публичной библиотеке китайские книжки, подаренные мне начальником китайского форпоста.

Иакниф слушал Гумбольдта с интересом нескрываемым, лишь изредка, как и Шиллинг, прерывал рассказ гостя вопросом или, словно сухую ветку в костер, подбрасывал в беседу две-три фразы.

Да и Гумбольдт оживился, когда узнал, что перед ним синолог, который свободно ориентируется в необозримом море китайской литературы и дважды — на лошадях, на верблюдах и пешком — пересек пустыню Гоби. Он принялся расспрашивать Иакинфа про Китай, про его путешествие по Монголии и Гоби. При этом Иакинфа удивила необыкновенная осведомленность этого человека. Иакинф знал, что знаменитый естествоиспытатель избрал главной целью своих ученых изысканий полуденные страны обеих Америк, и полагал, что с остальными областями земного шара, и в частности со странами Центральной и Восточной Азии, он мог быть знаком только поверхностно. Каково же было удивление Иакинфа, когда он увидел, что Гумбольдт знает об этих землях, кажется, все, что только можно знать, и столь основательно и подробно, как будто он не только проехал по оным, но и жил в них подолгу и наблюдал их с самым пристальным вниманием.

— Как жаль, отец Иакинф, что вы не проводили во время своих путешествий барометрических исследований, особенно в Гоби, между Ургой и Великой Китайской стеной. Барометрическая нивелировка этой малодоступной области

крайне важна для науки. Убежден, что высота обширного Гобийского нагорья до сих пор значительно преувеличивается. Но эти априорные предположения нуждаются в экспериментальном подтверждении. Если вам с бароном Шиллингом вновь доведется проделать этот путь, — я слышал, вы собираетесь вскоре в восточную экспедицию, — непременно займитесь и барометрическими наблюдениями. Это не очень отвлечет вас от собственных исследований, но значительно обогатит наши представления о физической природе этого еще мало обследованного района земного шара.

Не проговорив с Гумбольдтом и получаса, Иакинф убедился, что перед ним один из тех редких умов, которыми по праву гордится человечество. Взгляд его был остер, голова — Павел Львович прав — поистине всеобъемлюща. Вскоре он завел речь о китайских источниках для изучения истории и географии азиатских стран. Но, расспрашивая, Гумбольдт и тут проявил поразившую Иакинфа эрудицию. Оказывается, он внимательнейшим образом следил за переводами с китайского, на каком бы из европейских языков они ни появлялись, а среди его ближайших знакомых были такие знаменитые французские синологи, как его товарищ по Парижской академии наук Станислав Жульен, президент Парижского Азиатского общества Абель Ремюза и… Клапрот.

— Чем дольше я живу, тем больше жалею, что на занялся в свое время китайским языком, который так хорошо знает мой брат Вильгельм, — говорил Гумбольдт. — Завидую и ему, и вам, отец Иакинф, что вы можете свободно читать по-китайски. Мне-то уж, пожалуй, поздно браться за изучение китайского языка, а вам, барон, — отнесся он к Шиллингу, — да еще имея такого учителя, как отец Иакинф, и сам бог велел.

— Я беру уроки у отца Иакинфа, — сказал Шиллинг.

— Правильно делаете. Знакомство с этим так непохожим на наши языком открывает доступ к важнейшим источникам положительного знания, к массе фактов, совершенно неизвестных народам Запада. Точные исследования, которыми славится наш век, уже невозможно, как это было прежде, ограничить тройной древностью — греческой, римской и семитической. Знакомство с европейскими переводами китайских сочинений, по-видимому весьма несовершенными и отрывочными, убеждает меня в том, что литература Небесной империи обещает более богатую, или, по крайней мере, более полезную жатву на ниве новейшей географии. В древних формах этого языка воплощены не только современные образцы драм, романов и лирической поэзии, но и абстрактные и строго философские доктрины Лао-цзы и Мын-цзы.

Сочинение первого из этих философов я прочел перед самым отъездом из Парижа в переводе Станислава Жульена. Учение этого древнего китайца о Дао, как естественном пути всего сущего, поразило меня своей глубиной и оригинальностью, а ведь его сочинение на полтора века древнее истории Геродота. Не так ли?

— Да, Лао-цзы жил за шесть веков до Рождества Христова, — сказал Иакинф. — Но поскольку, барон, вы изволите спрашивать о китайских источниках для новейших географических исследований, я должен сказать, что в течение долгого времени любопытство западных народов привлекали по преимуществу те произведения изящной словесности и философических мудрствований, о которых вы только что упомянули. А другие сочинения, не изящной, а, так сказать, деловой словесности, оставались в досадном пренебрежении. А между тем китайская литература изобилует географическими и статистическими описаниями и империи в целом, и обширнейших ее областей на западе и востоке, на севере и на юге. В сих пространнейших и тщательнейших описаниях вы найдете сведения и о климате, и о разных видах растительных культур, и о направлении горных цепей и водных систем, и о многом другом. Сведения сии содержатся прежде всего в китайских летописях и исторических сочинениях, начиная от отца китайской историографии Сыма Цяня.

— Это очень любопытно, не правда ли, барон? — обратился Гумбольдт к Шиллингу. — По-видимому, у китайцев, подобно грекам, история и география долгое время оставались тесно связанными?

— Именно так, — подтвердил Иакинф. — На протяжении по крайней мере двух тысячелетий китайцы стремились отмечать все сколько-нибудь примечательные факты и гражданской и натуральной истории, наблюдали природу в ее стихийных силах и произведениях, описывали все, что заслуживало внимания — и неровности поверхности, и землетрясения, и падения аэролитов, и движения комет по небу. А изобретение китайцами еще за целое тысячелетие до Рождества Христова магнитного компаса и особливо прибора для исчисления пройденного расстояния сообщает их географическим описаниям куда большую точность по сравнению с подобными же описаниями греческих или арабских авторов.

— Неужели китайцы изобрели компас за тысячу лет до нашего летосчисления? — спросил Шиллинг недоверчиво.

— Пожалуй, даже и того раньше, — сказал Иакинф. — Во всяком случае, помянутый мной Сыма Цянь рассказывает, что

император Чэн-ван за тысячу сто десять лет до Рождества Христова подарил послам из Тонкина и Кохинхины, опасавшимся, что им не найти обратной дороги в свое отечество, пять магнитных колесниц.

— Что же это за магнитные колесницы?

— На каждой такой колеснице устанавливалась фигурка, одетая в платье из перьев. Куда бы экипаж ни повернул, она указывала на юг свободно двигающейся рукой. Так что сбиться с пути было невозможно. Сии колесницы, по словам Сыма Цяня, были снабжены и одометром. Когда колесница проезжала один ли, деревянная фигурка ударяла в барабан, когда же повозка проезжала десять ли, фигурка била в колокол. Может быть, именно благодаря сим инструментам описания путешествий, предпринимавшихся китайцами в страны Юга и Запада, отличаются такой точностью.

— Да, по всему судя, китайцы — народ очень сметливый, — заметил Шиллинг.

— И у них какая-то врожденная склонность все отмечать, измерять и записывать, — прибавил Гумбольдт. — По-видимому, все это соответствует характеру этого народа.

— Дело не только в этом, — сказал Иакинф. — В такой огромной империи, как Китайская, подробные описания отвечали потребностям самого управления страной, до мелочности педантического. Ежели говорить о близких нам временах, такие описания особливо подробны и детальны в известном географическом своде "Дай-Цин И-тхун-чжи", или "Всеобщее землеописание Дай-Цинской империи". Сие сочинение для вашей работы, барон, могло бы дать особенно много ценного материала. Вы сказали, что знакомы с господином Клапротом. Вот ежели бы он, вместо того чтобы создавать вздорные исторические системы, основанные на одних предположениях и произвольных догадках, употребил бы свое время полезнейшим образом на переводы сих исторических и географических описаний китайских — это был бы настоящий подарок науке и европейскому просвещению! А ведь даже для тех стран, куда китайцы не сумели проникнуть как завоеватели и распространить на них свою хитрую захватную политику, — я имею в виду Северную Индию и области, ограниченные вершинами Алтая и Куэнь-луня, — в Китае есть очень любопытные описания путешествий буддийских пилигримов.

— Ну что ж, должен поблагодарить вас, отец Иакинф, за добрые советы, — сказал Гумбольдт.- — Непременно попрошу и Клапрота, и Жульена сделать для меня переводы из этих сочинений. Думаю, что это не очень их обременит, особенно

Станислава Жульена. Он читает и изъясняет китайские тексты разных стилей и разных времен с необычайной легкостью.

За столом сидели трое немолодых уже людей, таких разных, столь непохожих один на другого, но все трое, забыв о напитках и яствах, даже Шиллинг, который, казалось, никогда не забывал воздать им должное, с юношеским жаром отдавались дружеской беседе. О чем только не заходила у них речь! И, конечно же, подлинным центром этого маленького кружка был Гумбольдт. Он с равною свободой и с равным знанием предмета говорил и о таинствах подводных глубин, и о загадках звездных миров, и о любопытнейших достопримечательностях русского Алтая, который он только что посетил, и о последних новостях парижских салонов, и об окончательной победе романтизма над классицизмом в нынешней французской литературе, и о новейших достижениях современной физики, что особенно занимало Павла Львовича.

Из столовой они скоро перешли в рабочий кабинет Шиллинга, или в китайскую комнату, как называли его друзья барона. Стены комнаты были увешаны китайскими свитками, на шкафах — вереница китайских и монгольских божков, вырезанных из дерева или отлитых из бронзы. Но под древними восточными изваяниями стояли вполне современные европейские приборы.

На одной из полок под стеклянными колпаками разместились аппараты изобретенного Шиллингом электромагнитного телеграфа. С живейшим интересом Гумбольдт стал расспрашивать о его устройстве. И опять же Иакинфа удивляла Гумбольдтова осведомленность о таких далеких, казалось, от него областях, как физика и электротехника. Оказывается, Гумбольдт был хорошо знаком с опытами и своего соотечественника Земмеринга, и француза Ампера, и англичанина Рональдса, и датчанина Эрстеда. Он на ходу ловил объяснения Шиллинга, задавал ему всё новые вопросы, которые были непонятны Иакинфу, но зато доставляли истинное удовольствие Шиллингу. Того радовало, что Гумбольдт понимал его с полуслова. А Гумбольдт, со своей стороны, был в восхищении от остроумного изобретения Шиллинга.

— Это же совершенно новый, принципиально новый образ электромагнитного телеграфа! И, как все гениальное, так просто, — говорил Гумбольдт, рассматривая аппарат Шиллинга. — Ничего похожего на громоздкий и практически не применимый гальванический телеграф Рональдса. Поздравляю вас, барон. Надеюсь, уже очень скоро с помощью вашего аппарата можно будет передавать любое сообщение на неопределенное

расстояние и о быстротой мысли!

— Вполне разделяю ваши надежды, барон. В основе-то своей мой телеграф готов и недавно испытан под Петербургом, на Красносельском полигоне. Изобрел я и особливый телеграфный код, с помощью которого можно будет вести передачи. Теперь нужно решить теоретически-то ясный, но технически довольно сложный вопрос прокладки телеграфной линии на большие расстояния. Нуждается в усовершенствовании и мой будильник — электромагнитный вызывной прибор. Если я не успею закончить эти работы до отъезда, продолжу их в Сибири. Но как бы то ни было, надеюсь, что через год-другой, но всяком случае через несколько лет, мы сможем переговариваться друг с другом — я из Петербурга, а вы из Берлина или Парижа — с помощью телеграфных депеш.

Они засиделись у Шиллинга до глубокой ночи. Павел Львович и Иакинф пошли проводить Гумбольдта. От дома Шиллинга до Гагаринской рукой подать, и они шли пешком. Пустынное в этот поздний час Марсово поле было засыпано свежевыпавшим снегом, на чистом небе высоко стоял месяц. Кругом ни души, только у полосатой будки дремал будочник. Обогнув его, они вышли на набережную еще не скованной льдом Невы. Река дымилась.

— Спасибо вам, барон, — сказал Гумбольдт растроганно. — Это был один из самых приятных вечеров, проведенных мной в Петербурге. Я себя чувствовал у вас совсем как дома. И какая чудная ночь! А признаюсь, избыток внимания, меня окружающего, отнимает счастье побыть хоть немного наедине с друзьями и с природой.

Проводив Гумбольдта до дома прусского посла, они расстались.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

I

Вопрос о поездке на китайскую границу был наконец решен. Как ни противилось синодальное начальство, отец Иакинф был причислен к экспедиции по высочайшему повелению.

И тут Шиллингу пришла мысль: не позвать ли с собой Пушкина.

— Пушкина? Думаете, он поедет? — усомнился Иакинф.

— А отчего бы ему не поехать? Да он готов бежать из Петербурга куда глаза глядят. Последние два года он почти что и

не сидел на месте: мчался из столицы то в Москву, то в свое сельцо Михайловское, то в Тифлис и Арзрум, в действующую на Кавказе армию. А оттуда а всего с месяц как вернулся. Этой страстью к путешествиям он и Евгения-то своего наделил. Думаю, уговаривать его не придется.

— Что ж, может, вы и правы, — сказал Иакинф задумчиво. — Да и для него сие было бы путешествие настоящее.

Павел Львович ничего не любил откладывать и в тот же вечер поговорил с Пушкиным. Предложение было неожиданным. Но Иакинф столько порассказал про Китай всякого, заронил в них обоих такой интерес к этой далекой стране, что Шиллинг не сомневался: поразмыслив как следует, Александр Сергеевич согласится. Во всяком случае, так он говорил отцу Иакинфу, приехав к нему в лавру на другой день.

— Так чего же мы медлим? Одевайтесь и поедем к нему! — заторопил Павла Львовича Иакинф. — Надобно узнать, что же он решил.

— Больно уж вы нетерпеливы, батюшка. Еще не время, — сказал Шиллинг, доставая из жилетного кармана часы. — Только первый час. Поднимается-то он рано. Но целое утро, часов до двух, а то и до трех, в трудах. Так что не надобно ему мешать. Труд для него — дело святое. А охотников помешать — тьма.

В третьем часу они отправились в Демутов трактир, где обычно по возвращении в столицу обитал Пушкин. Когда поднялись к нему в нумер, Александр Сергеевич порывисто поднялся навстречу.

— Решено! Еду с вами!

Едва гости уселись, — Шиллинг на диван, а Иакинф в кресло у окна, — Пушкин подошел к столу, взял исчерканный листок бумаги.

— Послушайте, что я только что набросал:

Поедем, я готов: куда бы вы, друзья,
Куда б ни вздумали, готов за вами я
Повсюду следовать, надменной убегая:
К подножию ль стены спокойного Китая,
В кипящий ли Париж, туда ли наконец,
Где Тасса не поет уже ночной гребец,
Где древних городов под пеплом дремлют мощи,
Где кипарисные благоухают рощи,
Повсюду я готов. Поедем… но, друзья,
Скажите: в странствиях умрет ли страсть моя?..

Пушкин запнулся.

— Но полно, разорву оковы я любви! — заключил он с улыбкой. — Словом, я готов! Дело за малым — получить высочайшее дозволение. И тут — хочешь не хочешь — без вашего родственника, барон, не обойтись. А он на меня зол.

— С чего бы?

— Ну как же? За путешествие на Кавказ. Предпринял я его, к несчастью, никого заранее не уведомив. По правде говоря, сомневался, отпустят ли, попроси я дозволение. И вот… Да и государь прогневался. Встретил меня по возвращении и спрашивает, как я смел поехать в действующую армию. Отвечаю: главнокомандующий Паскевич позволил. А государь в ответ: "Надобно было проситься у меня. Разве ты не знаешь, что армия моя?" Вот видите? Так это Кавказ. И ездил я собственным иждивением. А то — Китай.

— Да-а, — протянул Шиллинг. — Завтра сочельник, на святках обращаться к графу не стоит. Но сразу после Нового года вам надобно войти к нему с официальным ходатайством. А я надеюсь найти случай поговорить с Александром Хрнстофорычем до того.

— Очень рад, очень рад, Александр Сергеич, что вы надумали с нами поехать! — сказал Иакинф. — Не пожалеете! Вы же будете первый русский поэт, который настоящий-то Восток посетит. Я уже говорил про то давеча Павлу Львовичу. Монголия, Китай — самое сердце Азии, ее прошлое и ее будущее. А своеобычные картины дальневосточной природы? Один Байкал чего стоит! Недаром во всем Прибайкалье его Морем зовут…

— Да-а, Байкал… — задумчиво произнес Пушкин. — А где-то там, за Байкалом, мои друзья… Быть может, и свидимся…

Иакинф ходил по комнате и не скупился на краски в описании картин, которые предстоит встретить в пути.

— Разве все сие не возвышенный предмет для поэтического вдохновения? — спрашивал он, обращаясь главным образом к Пушкину. — Впрочем, я будто вас уговариваю, а вы между тем сами сказали: "Поедем, я готов!" Только вот должен признаться, любезнейший Александр Сергеич, с одним стихом вашим никак я не соглашусь.

— С каким же? — оживился Пушкин.

— Извольте: "К подножию ль стены спокойного Китая". Противупоставление-то сие, как бы это сказать? Очень эффектно, слов нету — кипящий Париж и спокойный Китай. Но вот я там почти что четырнадцать лет прожил и особенного спокойствия что-то не приметил. Надобно б про него как-то иначе сказать. Может, не о спокойствии, а о незыблемости, что ли? Вот что меня занимает, когда я о сей стране думаю. Вы знаете, какая-то

странная смесь просвещения и, равнодушия к нему, совершенного законодательства древних государей и слабости современных законов. И при всем при том — это ведь единственная страна на свете, которая существует как империя более четырех тысяч лет. Где ее былые современники — Ассирия, Вавилон, Иудея, Финикия? Самые памятники существования сих могущественнейших некогда царств давным-давно изгладились с лица земли, а Китай стоит себе среди бушующих волн истории незыблемо, как утес. Так с незапамятных времен и доныне удерживает он и первоначальный язык свой, и древнюю свою письменность, единственную в своем роде. И религию предков, и исконные народные обычаи, и старые свои уложения, кои хоть и меняются время от времени в маловажном, но остаются неизменными в основании. Вот сию-то тайну нам и надобно б разгадать.

— Что ж, может быть, вы правы, — откликнулся Пушкин. — И я, пожалуй, заменю это. Да, да, заменю!.. Не спокойного, а недвижного. Но вот вы говорите о долговечности этой империи. А не есть ли такое долговечие — торжество неподвижности? Утес? Да, гранитный утес может тем же похвастать. Кто меньше живет, тот живет дольше. Да, да! "До стен недвижного Китая". Как вы находите, отец Иакинф?

— Да как вам сказать, Александр Сергеич? — помедлил с ответом Иакинф. — Это ведь, может, нам из нашего европейского далека так кажется: недвижный…

— Кстати, отец Иакинф! Прочитал я намедни любопытнейшее письмо моего старого друга, человека умного и образованного. Он пишет, что из зрелища, представляемого Индией и Китаем, можно почерпнуть очень важные назидания. Благодаря этим древним странам мы становимся как бы современниками того мира, от которого остался только прах. Не правда ли, это схоже с тем, что вы только что говорили? По их судьбе мы можем представить себе, что стало бы с человечеством без того нового толчка, который был дан всемогущею рукою в другом месте. Ведь Китай с незапамятных времен обладал по крайней мере тремя великими орудиями, которые, как принято считать, всего более ускорили прогресс человеческого ума: компасом, книгопечатанием и порохом. А между тем, к чему они послужили этому народу? Совершили ли китайцы кругосветное путешествие, открыли ли новую часть света? В пагубном искусстве убивать были ли у них, как у нас, свои Фридрихи и Бонапарты? Обладают ли они литературой более обширной, чем та, которою обладали мы до изобретения книгопечатания? Как видите, для моего друга Китай — символ неподвижности. Что вы на это скажете, отец

Иакинф?

— Да, что и говорить: приговор суровый, — отвечал Иакинф, набивая трубку. — Но основан-то он, простите за резкое слово, на невежестве, или, ежели сказать мягче, на н_е_о_с_в_е_д_о_м_л_е_н_н_о_с_т_и. Вот ваш друг спрашивает, обладают ли китайцы литературой более обширной, нежели та, какую имели мы до изобретения книгопечатания? А мне даже как-то неловко слышать такое. Да китайская словесность — это же море необозримое! Есть в ней и свои философы, и поэты, и историки, и археологи, и эстетики, и краткие изречения в пять-семь гиероглифов, и многотомные романы. Об обширности сей литературы вы можете судить хотя бы по тому, что одна только энциклопедия китайская "Тху-шу-цзи-чен" насчитывает десять тысяч томов! Это же целый мир, пока еще совершенно Европе неведомый. И, смею вас уверить, Александр Сергеич, он содержит для нас много нового и неожиданного. Да и как же иначе? Ведь по протяженности и народонаселению Китай равен всей Европе. Об истории я уже не говорю. Так разве можно усумниться, что в таком государстве найдется немало достойного замечания, но до сих пор ускользающего от внимания и догадки просвещенной Европы?

— Но ведь о Китае в Европе написаны горы книг и переведено, кажется, немало?

— Да, да, написаны. И переведены. Но как? По большей части-то они вроде новой Великой стены, на сей раз возведенной уже не китайцами, а европейцами. Дозвольте мне спросить вас, милостивый государь, кто писал в Европе о Китае? Случайные путешественники, а более всего — римско-католические веропроповедника. Да, они вроде описали и обозрели Китай со всех сторон. Эдакие вот фолианты исписаны. И все-таки сведения, которые они сообщили Европе, очень уж односторонни и до нелепости не полны. Ну, об этом уж и говорить не стоит, сие само собой разумеется, что не полны. Но самое-то важное — почти все они пропитаны предубеждением, а то и откровенной издевкой. А чтобы правильно понять чужую страну, надобно отрешиться от предвзятостей, не ограничивать взор свой отечественными шорами, не мерить всё на свой европейский аршин.

Иакинф не мог усидеть на месте. Он вскочил с кресла и, размахивая зажатой в кулаке трубкой, рассыпая из нее искры, зашагал по комнате, время от времени останавливаясь перед сидящими на диване Пушкиным и Шиллингом.

— В Китае вроде бы всё то же, что и у нас, и всё на особицу. Наши же европейские авторы норовят судить о чужом и незнакомом по-своему, на свой лад. И оттого-то на втором, много

на третьем, шагу вступают в эдакий невообразимый хаос! Видят в чужой стране одну несообразность и странную противуположность своим привычным представлениям и понятиям!

— Каков, а? — шепнул Шиллинг сидящему рядом Пушкину.

А отец Иакинф, стремительно шагая по комнате, говорил все более горячо. Главная его мысль состояла а том, что надобно не потешаться над чужой "дикостью", а постараться понять чужое, а то и позаимствовать у другого народа то хорошее, что у него есть.

— Это очень верная мысль, отец Иакинф, вы совершенно правы! — сказал Пушкин, до сих пор сидевший по своему обыкновению, подогнув под себя ногу и внимательно слушая Иакинфа. — Каждый народ вносит в общую сокровищницу цивилизации что-то свое неповторимое. Этим-то он и интересен. У каждого свой образ мыслей и чувствований, тьма обычаев и поверий, принадлежащих исключительно ему одному.

Пушкин говорил то, что сам Иакинф не раз передумал и, может быть, не умел только выразить с такой отчетливостью.

— Очень мне приятно слышать сие от вас, Александр Сергеич, — сказал Иакинф благодарно. — Вы и помыслить не можете, как я рад, что нашел в вас единомышленника. Убежден, что вы превосходно уловите вот эту особицу восточных обыкновений, а потом и словом вашим пиитическим заставите своих единоземцев по-новому взглянуть на нашего восточного соседа. Александр Сергеич, милый, вы же не только пиит милостию божиею, но и прирожденный историк. Вот, к примеру, заставили меня, старика, по-новому взглянуть на деяния Петра Великого. Совершенно новыми глазами, нежели я привык смотреть на него прежде.

— Ну, Петр — давнее увлечение Александра Сергеича, — сказал Шиллинг. — У него, батюшка, даже в оголовье трости вделана пуговица от петровского кафтана.

— Да? Где же вы ее раздобыли?

— О, это целая история! Я как-нибудь ее расскажу. А я вот вашим посохом любуюсь, отец Иакинф, — сказал Пушкин, беря в руки тяжелый посох монаха. — Должен признаться, у меня какая-то бабья страсть к этим игрушкам.

Несколько раз подкинув посох в руке — он был ему несколько высоковат, — Пушкин поставил его рядом с креслом Иакинфа и подошел к столу, чтобы взять сигару, и тут заметил лежащую рядом книгу, напечатанную в типографии Гинца "Сань-Цзы-Цзин, или Троесловие, переведено с китайского монахом Иакинфом".

— Да, чуть было не забыл поблагодарить вас, отец Иакинф, за

книгу, которую вы прислали мне вчера с Павлом Львовичем. Прочел с превеликим интересом. И совершенно с вами согласен: это прелюбопытная маленькая энциклопедия. Три слова в стихе — и бездна мысли. По-моему, вам удалось многое — передать предельную краткость, так сказать, нагую простоту оригинала. И очень любопытны изъяснения, которыми вы сопровождаете каждое четверостишие. Нет, эта тоненькая книжка может дать для понимания любезного вам Китая больше, нежели толстые томы.

— Спасибо, Александр Сергеич, на добром слове. Я перевел сию книжку, чтобы снабдить русского читателя как бы введением в китайскую словесность. Тут на протяжении нескольких страничек даются, так сказать, основы философических мудрствований китайцев, необходимый запас исторических сведений и терминов.

— На днях выйдет первый нумер "Литературной газеты", которую мы затеяли с бароном Дельвигом с Нового года. И я уже просил нашего сотрудника Ореста Михайловича Сомова непременно, в первом же нумера дать отзыв на вашу книгу.

— Покорнейше благодарю, Александр Сергеич. Надеюсь, господин Сомов и барона Шиллинга добрым словом помянет. Ведь китайские-то гиероглифы в книге вылитографированы его стараниями. Вы только взгляните, Александр Сергеич, китайский текст в нашей книжка отпечатан так чисто и правильно, что он, право, не уступает стереотипу Пекинской дворцовой типографии. А все благодаря изобретательности Павла Львовича.

— Отец Иакинф так мое участие прославляет, что, видимо, придется господину Сомову и впрямь о моей особе в статье помянуть, — сказал молчавший до сих пор Шиллинг.

— Вот уж, Павел Львович, не замечал в вас прежде тщеславия, — улыбнулся Пушкин.

— О! Вы мало меня знаете, — рассмеялся Шиллинг.

Пушкин принялся расспрашивать про китайскую поэзию. Иакинф признался, что знает ее меньше, нежели другие виды китайской словесности.

— Меня все больше, ежели позволительно так сказать, деловая китайская словесность занимает, Александр Сергеич. Географические описании, государственные уложения, летописи, исторические хроники и предания. Правда, перевел я для себя и все канонические книги китайские. Без них не обойтись. Они составляют основу образования в сей империи. А что до поэзии, то, признаюсь, всё как-то руки до нее не доходят.

— И напрасно, отец Иакинф, совершенно напрасно! — решительно заявил Пушкин. — Поверьте, поэзия — вернейшее зеркало народной жизни. Ничто на может точнее и ярче передать

дух времени, то, чем жив человек в ту или иную эпоху. Оттого-то истинная поэзия бессмертна. Судите сами — труды и открытия даже корифеев старинной астрономии, физики, медицины, философии дряхлеют и каждый день заменяются другими, а произведения истинных поэтов остаются свежими и вечно юны.

— Но для того, чтоб передать чужую поэзию на своем языке, надобно и самому быть поэтом. Ну всеконечно, обучался я в семинарии и пиитике, писал в свое время в академии и стихотворные вирши, но поэтом от того не стал.

— Видно, батюшка, поэтом не становятся, а рождаются, — заметил Шиллинг.

— Да, выходит, что так. И потом, позволю себе заметить, переводить китайских поэтов еще труднее, нежели писать самому. Когда сам пишешь, ты волен в выборе и сюжета, и самих слов. Не идет одно, заменяй другим. Без оглядки на то, какое тут китаец употребил. Да и больно уж велико ответствие: написал плохие стихи — пеняй на себя, бранить станут — опять тебя же. А плохо перевел — оболгал великого поэта. А им, может, тыщу лет многие поколения зачитываются. Ну, как же возьмешь такой грех на душу?

— Так уж вас грехи и пугают, — шутливо заметил Шиллинг.

Пушкин засмеялся своим веселым, добродушным смехом.

— Истинно говорю вам, господа, истинно так. Да и рифма мне не подвластна. Не то что у вас, Александр Сергеич, — к вам-то она сама бежит. А мне в угоду ей пришлось бы точностию поступиться. Я же в переводах своих страшусь допустить хотя бы самомалейшую, невольную погрешность противу китайского оригинала. Оттого-то и поместил в "Троесловии" рядом с переводом китайский текст. Смотрите, господа критики, сравнивайте, а сумеете, так переведите и точнее — вам и тексты в руки. Притом и рифмы-то у китайцев совсем другие. Да и мало их. В пекинском наречии всего четыреста двадцать слогов. А у нас? Без счету. А многие слова китайские ныне и совсем изменили свое произношение. Читаешь и видишь: даже образцовые стихи китайских поэтов вроде начисто лишены рифмы, а в старину-то они беспременно рифмовались. А как они звучали две тыщи лет тому назад — один бог ведает.

— Это не беда, — убежденно сказал Пушкин. — Не рифма делает поэзию. Да и в русском языке рифм не так уж много, как вам кажется. Одна тащит за собой другую. Думаю, что со временем мы всё чаще будем обращаться к белому стиху. Вот и вы можете переводить без рифм, раз уж так они вас стесняют. При переводе приходится чем-то жертвовать. Знаю — переводил. Тут важнее всего другого передать по-русски саму стихию, движение

мысли древнего поэта. А рифма?.. Что ж рифма… Да судя по тому, что вы говорите, особенной роли в китайской поэзии она и не играет. Вот и переводите себе без рифм. Обошлись же без них в своем "Троесловии". Главное — воспроизвести по-русски краткость и мудрость дневней китайской поэзии. Мысль! Поэтическая мысль… Что же составляет величие человека, как не мысль!..

II

В эти хмурые декабрьские дни отец Иакинф еще несколько раз виделся с Пушкиным. Встречались они у Павла Львовича, в его холостяцкой квартире на Марсовом поле. А как-то Пушкин заехал с Шиллингом к нему в лавру. Иакинф угостил чаем, до которого Александр Сергеевич, как и сам хозяин, был большой охотник. Прихлебывая чай из тонких фарфоровых чашек — Павел Львович с ромом, Пушкин от рома отказался, — они повели долгую беседу. И только когда умолкали на минутку, становилось слышно, как поет самовар на столе да воет за окном вьюга.

Пушкин засыпал Иакинфа вопросами. И о чем он только не спрашивал, чем только не интересовался! Говорили и о собранных Иакинфом на возвратном пути из Китая сердоликах и яшмах, и о привезенных им старинных китайских свитках и вазах, и о китайском воинском уставе, и о книгопечатании, и о воспитании детей, и о четырехтомном "Собрании сведений о Китае" Дюгаль-да, которое ему, оказывается, знакомо. Пушкин вообще обнаружил удивившую Иакинфа в поэте и светском человеке осведомленность и начитанность. А ведь и был он с высоты прожитых Иакинфом пятидесяти двух лет совсем еще молод — едва исполнилось тридцать.

Когда Иакинф, поддаваясь расспросам Пушкина и Шиллинга, рассказывал о положении в Китае различных сословий, Пушкина очень заинтересовало, что в Китае нет и не было наследственного дворянства.

— Видите ли, Александр Сергеич, высшее служилое сословие это, в сущности, и есть дворянство.

— Но не наследственное, а только пожизненное? — спрашивал Пушкин. — А не тут ли кроется секрет устойчивости китайского деспотизма? Как вы полагаете, отец Иакинф? Деспотизм всюду стремится окружить себя наемниками. Этим подавляется всякая независимость. А следственно, и всякая оппозиция… Да, да, — вслух размышлял он, засунув руки в карманы широких панталон и шагая по комнате. — Потомственность высшего дворянства, если угодно, есть гарантия

его независимости. Возьмите Англию. Там место в палате лордов передается по наследству. Вот и получается, что лорды независимы от короля и могут оказывать на него давление. Обратное неизбежно связано с тиранией, а вернее сказать, как у нас, — с низким и дряблым деспотизмом…

Но, разумеется, не только Восток и предстоящая поездка были предметом их разговоров. Павел Львович был прав — в узком кругу; с людьми по сердцу, Пушкин оказался человеком на редкость разговорчивым и любезным. Любил он и серьезную беседу, и добрую шутку. А хохотал так, что невозможно было и самому удержаться.

Но скоро Иакинф приметил, что, несмотря на всю живость характера и беззаботную, казалось бы, веселость, Пушкин был склонен порой к душевной грусти. Средь самых оживленных бесед и споров мог стать вдруг угрюм и мрачен. Чувствовалось тогда, что Китай и Восток, которые только что так его занимали, уплывали куда-то далеко.

Как-то раз, на святках, он прочитал им с Павлом Львовичем только что написанную элегию. Начиналась она так:

Кружусь ли я в толпе мятежной,
Вкушаю ль сладостный покой,
Но мысль о смерти неизбежной
Всегда близка, всегда со мной.

Эта мысль о смерти в столь молодом еще человеке показалась Иакинфу поначалу неожиданной. Там были такие еще строки:

День каждый, каждую годину
Привык я думой провождать,
Грядущей смерти годовщину
Меж их стараясь угадать.

И где мне смерть пошлет судьбина?
В бою ли, в странствии, в волнах?
Или соседняя долина
Мой примет охладелый прах?

Пушкин читал, стоя у окна, спиной к свету. Лица его не было видно. Листок, что он держал в руке, время от времени поднося его к глазам, дрожал. Печальный голос поэта лился в самую душу. Волшебная легкость этих строф заставляла забыть, что звучат именно стихи. Сама мысль, мрачная и тревожащая, охватывала слушателей непосредственно и властно. Иакинф

вдруг почувствовал, что его пробирает дрожь. Пришло на ум, что мысль о смерти когда-то долго и неотступно занимала и его. Правда, то было давно, в юные еще лета. Бурса, в которой он жил в Казани, располагалась рядом с кладбищем. Чуть не каждый день приходилось видеть похороны. И всякий раз сердце сжималось. "Неужто так будет и со мной? — приходило на ум. — Ужели и меня вот так же опустят в сырую землю и забросают этими промерзшими до твердости камня глыбами?" Самая мысль о таком приводила в ужас. Разве нельзя этого убежать? Неужто нет всемогущей руки, ухватясь за которую можно спастись от безжалостном смерти? Потребность в такой спасительной руке привела его к богу вернее, нежели сила привычки, проповеди и уроки закона божия. Но то было давно. Потом бог как-то постепенно истаял в его душе. Да и столько смертей повидал он на своем веку, что окончательно убедился: нет этой спасительной руки, ухватиться не за что. Умирали не только старики, умирали младенцы. Умирали и сверстники. Из одиннадцати членов его миссии в Пекине умерло семеро. Провожать их в последний путь на чужбине было особенно тяжело. А год назад он похоронил Саню. Но никогда при виде чужих смертей ему не приходило в голову, что и ему пора. У него впереди было столько несделанного, что ему даже не надо было отгонять мысль о смерти и заставлять себя думать о жизни: он думал о ней, о замышленном и несделанном неотступно и постоянно. Вот и сейчас не мог удержаться, чтобы не напуститься на поэта:

— Помилуйте, Александр Сергеич! Да с чего это вы в тридцать-то лет предаетесь эдаким мрачным мыслям? Я вам в отцы гожусь, на целых двадцать два года старше, а и думать не хочу о смерти!

— На двадцать два года? Вот бы никогда не сказал. Выглядите вы куда моложе.

— Вы только не вздумайте, Александр Сергеич, эдаких комплиментов китайцам делать. Обидятся. Право слово, обидятся. Там, ежели увидите шестидесятилетнего старика и захотите ему польстить, скажите что-нибудь в эдаком роде: "Вам, наверно, уже восемьдесят, учитель?"

Пушкин невольно улыбнулся.

— Не смейтесь. Так старость там почитается. Старый — "лао" по-китайски — значит почтенный.

— Вот вы говорите, отец Иакинф, что много меня старше. К тому же вы лицо духовное. Сам ангельский чин обязывает вас размышлять о смысле и цели жизни. В чем же она?

— Цель жизни? — усмехнулся Иакинф. — Сама жизнь! Что бы там ни говорили философы и богословы о назначении человека,

высшее для него благо — сама жизнь!

— Правильно! Молодец, батюшка! — поддержал Иакинфа Шиллинг. — Вы слышите, Александр Сергеич? И жить надобно так, чтобы каждый день, каждая минута доставляла нам радость! Убежден, истинно мудрый человек всегда весел.

— Ну, вы, Павел Львович, гедонист известный, — сказал Пушкин с грустной улыбкой. — А меня тут временами охватывает такая тоска, что готов бежать куда глаза глядят.

— Александр Сергеич, милый, поверьте вы мне, старику: наиглавнейшее — это сама жизнь. Не обстановка, в коей вы живете. Это дело десятое. Ее можно и изменить, да она и меняется — по твоей воле или по воле обстоятельств. Конечно, надобно б не приноравливаться к жизни, а постараться саму эту жизнь к себе приноровить. Так сказать, переиначить внешние обстоятельства сообразно своим вкусам и своему нраву. Я понимаю, не всегда и не всякому сие дано. Но, в конце-то концов, сие не так уж важно, ежели подумать. Самое главное — это постигнуть: жизнь — состояние, понимаете, состояние, а не предприятие, которое вы замыслили.

— Браво, батюшка, браво! — сказал Шиллинг, со вкусом раскуривая сигару.

— И Павел Львович прав, — продолжал Иакинф, — надобно радоваться каждому новому дню, как благу, ниспосланному тебе свыше. Поверите ли, мне и по сю пору каждый божий день в новинку. Вот почитай три года на Валааме просидел. В монастырской тюрьме. И каждый день трудился без устали и все не переставал дивиться, что жизнь вокруг меня вытворяет. А и видел-то я ее, можно сказать, в окошко. Зарешеченное. Тюрьма есть тюрьма, хоть и монастырская. За окном келии смастерил я птичью кормушку. День-деньской, с самой ранней рани, прилетали ко мне разные пичужки — синицы, зяблики, пеночки, каких я прежде, до Валаама, и не видывал. Мне уже на вторую половину века перевалило, вроде много жил на свете и по-разному жил, а все на успел жизнью насытиться. Много еще люблю я в ней — и труд свой каторжный, и пирушку дружескую, и первый снежок, и белую ночь над головой, и водочку горькую, и бабенку ласковую, хоть, может, и неловко в том монаху признаться. Да и как же ее не любить-то, жизнь? Она ж без конца и без краю. Вот вы меня давеча про цель спрашивали. Может, она и состоит в том, чтоб постараться постигнуть сию жизнь бесконечную!

— Оттого-то вы меня и тянете, отец Иакинф, на край света, за тридевять земель, к стенам недвижного Китая, — улыбнулся Пушкин. — А вы знаете, отец Иакинф, мне кажется, что у

гробового входа человек больше всего жалеет не о том, что не успел увидеть, тоскует не о неизведанном, а о давно знакомом, о привычном и милом. У гробовой черты я буду тосковать, наверно, не о Китайской стене, на которую не успел подняться, и не о Байкале, которого не увидел, а о туманном осеннем деньке в Михайловском, о том, что не смогу искупаться в прохладной Сороти. Вот оттого-то —

И хоть бесчувственному телу
Равно повсюду истлевать,
Но ближе к милому пределу
Мне все б хотелось почивать.

У меня там была еще одна строфа:

Вотще! Судьбы не переломит
Воображенья суета,
Но не вотще меня знакомит
С могилой ясная мечта.

Но я ее выбросил и заменил другой:

И пусть у гробового входа
Младая будет жизнь играть,
И равнодушная природа
Красою вечною сиять.

— Так-то оно куда лучше, Александр Сергеич! И пусть… у гробового входа… младая будет, жизнь играть! Превосходно! Только зачем же расставаться-то с ней раньше времени? Человек должен умереть, когда все, что он мог совершить, сделал. Когда сам решил: хватит! А не когда его скосит сия злодейка ненароком. Вот уж на вторую половину века перевалило, вроде качусь под гору, а все жить не наскучило. А вы? Да у вас же еще все впереди! Да что вы! Я и сам-то иногда оглянусь назад и, право, не могу сказать, короткую ли, долгую ли жизнь прожил. Иногда кажется — долгую. Вот четырнадцать лет в Пекине одном высидел. А теперь гляжу: будто один день они промелькнули…

— А Ла Брюйер говорит: кто прожил один день, прожил целый век: то же солнце, та же земля, тот жз мир. Ничто так не похоже на сегодня, как завтра.

— Вот тебе на! — рассмеялся Иакинф. — Ла Брюйер, слов нет, человек остроумный. Я еще в Казани с удовольствием его почитывал. Но это ж он бросил так, ради красного словца.

— А я скорее с отцом Иакинфом соглашусь, для которого каждый день внове, — вступил в спор Шиллинг. — Александр Сергеич, главный секрет, как жить не тужить, в том состоит, чтобы не позволить разным пустякам, всякому вздору тревожить нас.

— Сдаюсь, сдаюсь! — засмеялся Пушкин. — Разве можно говорить о сем предмете в обществе двух таких жизнелюбцев. Да, если признаться, и не хочу я, друзья, умирать.

— Вот и прекрасно! — живо сказал Шиллинг. — А ежели жизнь по временам кажется нам горька, то надобно пользоваться малейшими возможностями, чтобы уменьшить ее горечь. Вот, кстати, друзья в рассуждении скорого нашего отъезда прислали мне ящик чудного мозельского вина, и я рад пригласить вас, милостивые государи, к себе. Зачем нам к Дюре тащиться? Да и отец Иакинф в его монашеском облачении туда не вхож. А за обедом я к Дюре и пошлю. Вот и поднимем бокалы за любезную отцу Иакинфу жизнь бесконечную…

Повторять приглашение Павлу Львовичу не понадобилось.

III

Который час? Забыл завести часы. Должно быть, близится утро: чуть засинело окно. В январскую пору светает так поздно. Спать не хотелось. Пушкин зажег свечу у изголовья, накинул халат и сделал несколько резких движений, преодолевая боль в ноге. Гимнастикой он занимался каждый день с упорством и терпеливостью атлета. Хорошо бы оседлать лошадку и проскакать по заснеженным полям. Но это Петербург, а не Михайловское.

Заслышав, что барин поднялся, Никита поставил самовар.

Напившись чаю, Пушкин устроился с ногами в углу дивана, придвинул к себе столик с бумагой и книгами.

Что-то принесет ему наступающий день? Дел по горло. Дельвиг уехал в Москву, и все заботы о новорожденной "Литературной газете" пали на его плечи. Его и Сомова. Хорошо, что обзавелись таким дельным сотрудником. Хоть товарищ он и несносный. Да, видно, все Орестыи Пилады на одно лицо.

Вчера вышел четвертый нумер газеты. Конечно, это не то, о чем мечталось. Не тот размер, и политических новостей не разрешили печатать. А какая же газета без новостей? И все же первыми нумерами Пушкин остался доволен. Так будет славно, ежели сумеет их газета хоть в какой-то мере противустоять органу Булгарина и Греча.

Вчера напечатана первая его статья об "Истории русского народа" Полевого… Пора приниматься за вторую. На днях

Загоскин прислал своего "Юрия Милославского". Пушкин тотчас же прочел его и сразу ответил автору. Очень любопытный роман. Непременно нужно написать об нем статью. Их газета не должна проходить мимо сколько-нибудь заметного произведения литературы. На то она и л_и_т_е_р_а_т_у_р_н_а_я газета. Критике и библиографии в повременном издании он придавал особое значение. Вот бы обзавестись собственным журналом! Состояние критики само по себе показывает степень образованности всей нашей литературы, да и самого общества! Библиографический отдел в "Северной пчеле" используется как средство расправы с неугодными литераторами, для сведения счетов. Нет, критика в "Литературной газете" будет совершенно иной!

Она должна быть справедлива. И непременно продиктована любовью к искусству. Где нет этой любви, там нет и критики. Критика должна быть основана и на совершенном знании правил, которыми руководствуется художник, и на глубоком изучении образцов, и на деятельном наблюдении современных замечательных явлений. И при этом вовсе не должна заниматься только произведениями, имеющими видимое достоинство. Иное сочинение само по себе может быть и ничтожно, вроде булгарииского "Выжигина", но примечательно по своему успеху и влиянию в публике. И нравственные наблюдения критика едва ли не важнее наблюдений чисто литературных. Вот оттого-то так хочется разобрать "Историю русского народа".

Не ожидал от Полевого эдакой самонадеянности. Ведь ни в уме, вернее, остроумии, ни в воображении ему не откажешь. Впрочем, и особливой скромностью он никогда не отличался. Но тут уж он превзошел самого себя. С каждой страницы на читателя так и лезет слово "Я". Чего стоит уже само введение: "Я не поколебался написать историю России после Карамзина… Утвердительно скажу, что я верно изобразил историю России… Я знал подробности событий, я чувствовал их, как русский, я был беспристрастен, как гражданин мира…"

Нужно быть глухим, чтобы не заметить, как режет слух это Я, Я, Я!..

И начать свой труд с того, что напасть на Карамзина! Это и непорядочно и… неискусно! "История Государства Российского" не только произведение великого писателя, но и подвиг честного человека. Карамзин — первый наш историк и последний летописец. Нет ни единой эпохи, ни одного хоть сколько-нибудь важного происшествия нашей истории, которые не были бы развиты Карамзиным.

Конечно, и он не без недостатков. Достойно удивления, как мог он столь сухо написать первые части своей "Истории",

рассказывая об Игоре и Святославе. Это же героический период нашей истории! Но, пожалуй, Карамзин и сам принадлежит уже прошлому. Он дал блестящие образцы ораторской истории. Ни превзойти его, ни подражать ему в этом невозможно. Однако и историографии нужно пролагать теперь новые пути. Она должна быть и наукой и искусством вместе. При всей строгости формы и тщательности в изложении исторических происшествий историю нужно писать так, чтобы ее читали как повесть самую занимательную. И самое главное — она должна показывать не только то, что народ уже совершил, но и куда он идет и на что способен…

Пушкин вскочил с дивана и зашагал по комнате. Нет, он сам возьмется за историю Непременно! Как заманчиво, например, написать историю Петра. Хоть это и дьявольски трудно. Этот царь сам целая всемирная история! Как объять умом этого исполина? Пушкин чувствовал, что начинает постигать его и непременно изобразит время Петрово и его самого, если не в подлинном дееписании, то в вымышленном повествовании. А вот историю Александра следовало бы писать пером Курбского! Надобно описывать и современные происшествия, чтобы оставить надежные свидетельства нашим потомкам. На кого, как не на нас, им полагаться?

Снова усевшись в угол дивана, подогнув под себя ногу, Пушкин схватил перо и своим быстрым, летучим почерком принялся набрасывать статью для "Литературной газеты". Вечером зайдет Сомов, и нужно будет передать рукопись в очередной нумер.

Как досадно далек автор от современных задач историографии! Впрочем, какой же из Полевого историк. В сущности, он пишет свою книгу в том же Карамзинском духе ораторской истории, хотя, когда вновь перелистываешь том, невозможно отделаться от впечатления, что автором руководит желание во что бы то ни стало отличиться от Карамзина. Только там, где Карамзин строг и ясен, Полевой — сбивчив и туманен. Само заглавие книги — пустая пародия заглавия "Истории Государства Российского". Да и все повествование — такая же пародия рассказа нашего прославленного историографа… И тот же ораторский слог, только вот выдержать его Полевому не по плечу… Нет, искусство писать решительно ему чуждо.

Закончив статью и выкурив сигару, Пушкин принялся за статью о "Юрии Милославском". Писать ее было куда приятнее. Это, в сущности, первый у нас подлинно исторический роман. Как выгодно отличается Загоскин от пестрой толпы подражателей, которую увлек за собой шотландский чародей! Приятно видеть,

что роман Загоскина — роман чисто русский. Конечно, в нем многого недостает, но многое и есть: живость и веселость, чего Фаддею и во сне не приснится. Жуковский — читатель на что взыскательный, и тот рассказывал, что провел над ним целую ночь. Молодец Загоскин! Как живы и занимательны у него сцены старинной русской жизни! Сколько истины и добродушной веселости в изображении характеров! И разговор героев — живой, драматический, местами по-настоящему простонародный. Обидно, что дарование изменяет Загоскину, как только он приближается к лицам историческим. Это в статье надобно отметить особо, думал Пушкин, грызя перо.

Совершенно не удался ему, например, Кузьма Минин. В его речи на Нижегородской площади нет порывов народного красноречия, чем он был славен. Не удался и сам Юрий Милославский. Какими бы добродетелями автор ни наделял своего героя, он получился человеком без лица — нет в нем ничего увлекательного и самобытного. Но об этом, пожалуй, лучше умолчать. К чему говорить о том, чего в романе нет, довольно и того, что в нем есть.

Самому не терпится приняться за создание обширного исторического повествования. И он непременно возьмется, как только кончит "Онегина". В голове копышится уже не один роман. Хочется написать роман истинно исторический — без напыщенности французских трагедии, без чопорной чувствительности западных романов, а современно, так сказать, домашним образом. Без холопского пристрастия к царям и героям…

Отбросив перо, Пушкин снова принялся ходить по комнате. Найти и показать в истории живую личность. И Петра показать живого. Не идола, не истукана, а живого! А уж если кто был по-настоящему жив в истории, так именно Петр. Тут нужна всеобъемлющая трезвая мысль и вдохновение истинное. Надобно перенестись, вжиться в его эпоху. И не держаться устава, как слепой стены, от чего предостерегал сам Петр, а действовать по обстоятельствам. И он непременно сделает это. Пушкин чувствовал, что силы его достигли зрелости в ему по плечу взяться за такой труд…

Нет призвания выше, чем быть писателем. Вяземский как-то сказал: у нас писатель с гением сделал бы более Петра Великого. Он прав. Впрочем, почему только у нас? Писатели во всех странах — класс самый малочисленный и самый влиятельный. Именно они на целые поколения налагают свой образ мыслей, свои страсти… и свои предрассудки. Никакое богатство не может перекупить влияние обнародованной мысли! Никакая власть,

никакое правление.

Мысль! Всемогущая мысль!.. Она может оставить свой неизгладимый след на целой череде поколений и… быть непонятой современниками. Какое трагическое непонимание встречаешь у людей, которые тебя окружают! И хвалят не за то, и бранят… Хвалят за звонкие рифмы, за гибкость четырехстопного ямба… Поистине жалка участь поэта, ежели он славен подобными победами. Сам он ценит в писателе иную, высшую смелость. Смелость Данте, Шекспира, Гёте в "Фаусте"… Страшит мысль, что "Годунов", ежели его удастся все-таки издать (ведь вот уже сколько времени его все "читает" Николай!), будет не понят, как не поняли ни "Онегина", ни "Полтавы", ни "Нулина".

Подумать только, что пишет этот журнальный шут а "Вестнике Европы": "Для гения недостаточно смастерить Евгения!" В чем только автора не обвиняют — и в бурлацких выражениях, и в попытках подделаться под тон простонародного разговора, и даже в безнравственности! А совсем недавно он наткнулся в "Северной пчеле" на заметку в связи с его возвращением из Арзрума: "В пустыне нашей поэзии появился опять Онегин, бледный, слабый… сердцу больно, когда взглянешь на эту бесцветную картину…"

Какой вздор! Не иначе, как это написал сам Фиглярин. Но ведь это же напечатано! И написать такое о его свободном романе, которому он отдал восемь лет жизни. Нет, никто, в сущности, не понял и не оценил своеобразия его романа…

Приходится только утешать себя тем, что дружина писателей и ученых всегда впереди и именно им определено выносить первыми выстрелы неприятеля, раз они прежде других бросаются на приступ предрассудков и невежества.

И все же порой не терпится бежать от этой грязной брани, от мелочных придирок царя, Третьего отделения, цензуры, духовной и светской.

Но куда убежишь? За границу? Да что там заграница… Просился поехать в Дерпт, в Черниговщину, в Полтаву, даже в Пензу… И туда не пускают. Что уж туг говорить о Париже!

И все-таки сделал еще одну попытку. Полторы недели назад вошел с официальным ходатайством к Бенкендорфу о высочайшем дозволении отправиться с посольством в Китай.

На столе, среди бумаг, черновик письма. Писал он изысканно вежливо, по-французски — в русском Александр Христофорович не силен, в отличие от государя, который и по-французски и по-русски говорит изрядно и не мешает обоих языков, как тут принято в обществе.

Пушкин пробежал глазами свое письмо, хотя мог этого и не

делать — помнил его наизусть:

"Мой генерал,

Так как я еще не женат и не нахожусь на государственной службе, я хотел бы совершить путешествие либо во Францию, либо в Италию. Если это не будет мне разрешено, я просил бы дозволения посетить Китай с миссией, которая туда отправляется…"

Китай он сознательно поставил в прошении на последнее место. У него не было иллюзий: ни во Францию, ни в Италию не пустят. Но, не пуская в Европу, тем труднее отказать в поездке в далекий Китай, где нет ни Робеспьеров, ни карбонариев.

А дальность расстояния и трудности пути его не пугают. Довольно попутешествовал он на своем веку и по югу, и по северу. Он превосходно чувствовал себя и в полуразрушенном землетрясением домике Инзова в Кишиневе, отлично засыпал в драной палатке нашей полевой армии на Кавказе, и просыпался в ней под рев пушек, и скакал по ущельям под пулями черкесов.

О предстоящем пути ему довольно порассказали и Вигель в свое время, и совсем недавно отец Иакинф.

Вот тоже личность своеобразная и примечательная. Другой такой во всем Петербурге не сыщешь! В двадцать лет — преуспевающий архимандрит, настоятель первоклассного монастыря и ректор семинарии, в тридцать — начальник духовной миссии в Пекине, единственный представитель Российской империи в загадочном Китае. Сколько бесценных сведений собрал он об этой таинственной стране. Какие драгоценные коллекции азиатских редкостей и китайских ксилографов вывез он из Пекина! Беседа с ним необычайно занимательна. Кладезь знаний. И какая смелость суждений в этом монахе! Христа он ставит не выше Конфуция. Очень любопытно его замечание, что Китай, получивши европейское просвещение и овладев западной техникой, может обрушиться на Европу. Да, единственный в своем роде из всех петропольских ученых. Слушая его и перелистывая его книги, понимаешь, что именно монахам обязаны мы во многом нашею историею и просвещением. Такие вот люди в безмолвии монастырских келий вели свою беспрерывную летопись.

И вместо признания заслуг — строгая епитимия, монастырская тюрьма на Валааме, из которой он чудом вырвался благодаря заступничеству Шиллинга.

А сколько романтических приключений за спиной у этого монаха! Чего стоит эта история с крепостной актрисой в Иркутске

или с китайской принцессой в Пекине. И какой успех у дам! Княгиня Зинаида Волконская была не на шутку увлечена им. Да и он сам не остался к ней равнодушен. Недаром, рискуя навлечь на себя новую немилость Синода, посвятил ей свою первую книгу.

И добродушнейший весельчак и превосходно устроенная голова — Шиллинг! Нет, с такими спутниками не соскучишься!

Дело, конечно, не в спутниках. Отец Иакинф прав. Это в самом деле путешествие н_а_с_т_о_я_щ_е_е. И влечет его на Восток не капризная прихоть воображения. Восток и Запад! Одна из важнейших загадок цивилизации. К Востоку он едва прикоснулся во время своих поездок по Крыму и Кавказу. А как много они дали! Монголия и Китай. Самое сердце Азии, как говорит отец Иакинф. Ради такого путешествия не жалко отдать несколько лет жизни.

И там же, за Байкалом, его друзья, самые близкие и верные, какие только у него были. Это ли не досадно: друзья далече, а тут приходится проявлять знаки расположения в отношении к светским знакомым, людям посторонним, совершенно тебе безразличным, которых ты не то что не любишь, а часто и не уважаешь вовсе. А друзей, близких, которые для тебя все, нельзя даже помянуть добрым словом. Как хочется заключить их в дружеские объятия! Хочется, чтобы они знали: он не только любит их, верует в них, но и готов сделать для них все, что только в его силах!

Пушкин шагал по комнате. Воображение уносило его далеко от Петербурга.

Вошел Никита и протянул пакет с вензелем Бенкендорфа. Его только что доставил из Третьего отделения нарочный. Легок на помине. Вот и не верь после этого истине магнетизма!

Пушкин нетерпеливо содрал сургуч. Это был ответ Бенкендорфа на его письмо от седьмого января. И тоже по-французски.

"…Его величество, — читал Пушкин, — не удостоил согласиться на Вашу просьбу о дозволении отправиться за границу, полагая, что это очень расстроит Ваши денежные дела и отвлечет Вас от занятий. Что же касается Вашего желания сопровождать наше посольство в Китай, то оно теперь не может быть исполнено, так как все чиновники в него уже назначены и не могут быть переменены…"

Пушкин швырнул письмо шефа жандармов на стол.

Еще одной мечте не суждено исполниться…

А это не просто бегство. Он так мечтал об этой поездке!

Нужно самому увидеть настоящий Восток. Россия всегда была между Западом и Востоком. Нельзя понять общего хода истории, ограничив себя лишь пределами Запада. Отец Иакинф прав — древняя история это не только история Египта, Греции, Рима. У каждого народа своя история, и она отмечена неповторимыми чертами. Мы двигались скачками. Там шли шаг за шагом. Или топтались на месте? Нужно самому разгадать эту тайну, о которой они столько спорили. Никто другой ее тебе не откроет.

Тюрьма. Тюрьма! Но мысль, живую мысль нельзя заточить в тюрьму!..

Пушкин стремительно шагал по комнате. Потом подошел к окну, отдернул занавесь, нацарапал на оледенелом стекле милый профиль.

Ни от Натали, ни от матери все еще не получено согласия, хотя нет и формального отказа. Ходят слухи, что сумасбродная старуха хочет выдать дочь за архивного Мещерского. Так что согласия ее еще надобно добиваться. Ну что ж, он сделает для этого все, даже, казалось бы, невозможное. Достанет денег. Обратится к тому же Бенкендорфу за свидетельством о благонадежности, если уж без того не обойтись…

Он женится. Может быть, без былого упоения. Да оно ему и не по летам…

Иным стало его представление о том, что такое любовь. Ему нужна была теперь не любовь-страсть, не любовь-озарение, а любовь-семья. Он, тридцать лет не имевший дома, — дом родительский никогда не был ему домом, он, привыкший ночевать на диване у приятеля, обедать в трактире, мчаться на перекладных через всю Россию, мечтал с некоторых пор о доме, о детях, о жене-хозяйке, о покое, который был так нужен ему для размышлений и трудов.

Впрочем, это не совсем так. Привыкши чувствовать себя свободным и независимым, он готов был отказаться от этой свободы. У него было множество приятелей и несколько друзей, но потребность в чувстве более нежном, нежели мужская дружба или приятельство, всегда, хотя, быть может, и неосознанно, гнездилась у него в сердце. Сколько себя помнит, он всегда был одержим страстью. Не был слишком постоянен. Но он знал, что способен на чувство верное и глубокое. Наряду со страстями, терзающими плоть, он всегда ощущал неутолимую жажду нежности, его всегда тянуло пасть к ногам любящей женщины, по-детски уткнуться в ладони нежных рук…

И вот в прошлом году на балу у танцмейстера Йогеля он встретил Наташу Гончарову. Это была стройная, высокая девушка

лет шестнадцати, с блестящими черными волосами, с задумчивым взглядом карих, чуть косящих глаз, с нежным и чистым лбом, так удивительно схожим с челом Рафаэлевой мадонны.

Он влюбился. И так чиста эта влюбленность, длящаяся вот уже целый год. Когда он увидел ее в первый раз, красоту ее едва начали замечать в свете, но своим ясновидящим глазом поэта он тотчас выделил эту юную жар-птицу средь пестрой толпы московских кур и уток.

Нет, он не был просто увлечен ею, как увлекался в свое время Амалией Ризнич или Собаньской, Елизаветой Воронцовой или Аннет Олениной. Он испытывал глубокую нежность к этой девочке. Быть может, в этом чувстве было что-то похожее на то, что он испытывал в свое время к Машеньке Раевской. Но то было так мимолетно…

Почему он выделил ее в целом мире и готов назвать своей? Это было загадкой для него самого. За что полюбил ее? За душевные и умственные качества? Среди тех женщин, которых он встречал в Петербурге, Москве, Одессе или, наконец, в Тригорском, было немало и умнее, и образованнее, и тоньше… Среди светских красавиц или уездных барышень, то и дело ввергавших его в мучительное любовное опьянение, были женщины, пожалуй, не менее привлекательные.

Не слишком развитая умственно, в меру сентиментальная, полуиспорченная воспитанием ханжи-матери, лишенная иронии и лукавства, которые одновременно и раздражали и влекли его в женщинах, она, тем не менее, чем-то приковала его к себе. Чем же? Ответить на это он, пожалуй бы, не смог.

Как бы то ни было — решено! Он едет. Не к стенам далекого Китая, а к совсем близкой Китайгородской стене. Видно, и впрямь — счастье следует искать на проторенных дорогах…

Надобно только дождаться Дельвига. Нельзя же бросать на произвол судьбы их детище, которое делает только первые шаги…

Часть третья
В СИБИРЬ ЗА ВОЛЕЙ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

I

Девятнадцатого февраля 1830 года Иакинф выехал из Петербурга в Сибирь. Перед отъездом Павел Львович познакомил его с секретной инструкцией, которой определялись задачи их экспедиции: "Обозрение Российской торговли с Китаем и изыскание средств расширить разные отрасли оной или открыть новые. Ближайшее рассмотрение нужд по части вероисповедания ламаистов. Изыскание всего достопримечательного в хозяйстве природы, важного для наук, коих первая и благороднейшая цель есть, без сомнения, расширение круга наших познаний".

В той же инструкции указывалось, что для содействия действительному статскому советнику и кавалеру барону П. Л. Шиллингу фон Канштадт Азиатский департамент причисляет к нему на все время экспедиции "монаха Иакинфа, который по прежнему долговременному пребыванию в Сибири и в самом Китае может быть с пользой употреблен вами при вышеозначенных исследованиях", а также губернского секретаря Владимира Дмитриевича Соломирского, на которого возлагались обязанности секретаря. (Место это Шиллинг прочил Пушкину, но тому в поездке отказали.)

Если официальные задачи экспедиции были определены столь обще, то у каждого из ее участников были свои собственные замыслы, куда более широкие, чем та несколько туманная программа, которую ставила им николаевская бюрократия.

Даже молодой щеголь Соломирский, еще вчера артиллерийский поручик, а сегодня дипломат, страстный поклонник Байрона и… черепословия {Черепословие — френология, распространенное в начале XIX века "учение" о связи между формой черепа и умственными и моральными качествами человека.}, намеревался воспользоваться путешествием в отдаленные области Забайкалья, чтобы, обследовав сотни черепов бурятов, монголов, тунгусов и других сибирских аборигенов, собрать уникальный материал, которым можно удивить мир.

Что же до самого Иакинфа, то тут и говорить нечего. Помимо помощи Шиллингу в изучении состояния торговли с Китаем в прошлом и настоящем, в собирании монгольских и тибетских

книг и предметов убранства ламаистских капищ; в дополнение к своим собственным ученым трудам, — а программу их он составил себе весьма обширную, — Иакинфу было поручено обучение началам китайской грамоты членов новой, одиннадцатой, духовной миссии, которая следовала в Пекин на смену архимандриту Петру и его свите.

На поручение это Иакинф не сетовал и отдавался новому для него делу с увлечением. Еще в столице, перед отъездом, он преподал миссионерам первые уроки. Это была для него как бы репетиция к занятиям в университете, которые его ждут по возвращении в Петербург, если их с Сенковским проект будет одобрен. По правде сказать, не терпелось и опробовать на учениках китайскую грамматику, которую он исподволь составлял. Да и учениками своими он был доволен. Все они были воспитанниками Санкт-Петербургской академии. Приятно видеть, что возымели все-таки действие его настойчивые представления в Синод и Азиатский департамент посылать в Пекин людей образованных. А сколько сил и бумаги потратил он и в Пекине, и по возвращении, чтобы убедить в том начальство! Состав новой миссии не шел ни в какое сравнение с тем, какой пришлось возглавить ему самому четверть века назад. Ведь в свиту, которую принял он у архимандрита Аполлоса, были набраны люди с бору да с сосенки, едва по-русски-то разумевшие, безо всякого образования, без расположения, да и просто способностей к изучению такого языка, как китайский. Но, боже мой, неужто и впрямь четверть века с той поры пролетело? Целая жизнь!

Павла Львовича задерживали в столице неотложные дела, и было условлено, что он догонит Иакинфа уже в Иркутске. Соломирский ускакал вперед, чтобы выгадать несколько дней на Москву, и Иакинф выезжал вместе с членами новой миссии, с которыми должен был заниматься языком и в дороге.

В Москву приехали на третий день. Старинной русской столицы он, в сущности, не знал. На пути в Питер проскочил ее, не заметив. Добрались до нее тогда поздно вечером, усталые, а выехали рано утром, еще затемно. Нынче же приехали средь бела дня, да еще на масленице. И день стоял солнечный. Морозец, а все ж весна, хоть еще и не близкая, чувствовалась и в небе, и на улице, и в сердце. Старая белокаменная столица сияла луковками бесчисленных церквей. Полная праздничного народа, она показалась Иакинфу куда оживленней Петербурга, строгого и чопорного. Вниз по Тверской, обгоняя их возок, проносились украшенные лентами тройки. Множество торговцев-разносчиков продавало свой товар на улицах с лотков. Люди, запрудившие тротуары, были одеты пестро, по-разному, и дома разного роста

— не то что в Петербурге, — там они будто выстроились по ранжиру. Еще издалека он увидел не заслоненный низкими домами Кремль.

II

Иакинф был немало удивлен, когда на другой день поутру его отыскал Погодин. Не иначе, как через Соломирского. А может, написал Венелин? Сам-то он никому не сообщал в Москву о своем приезде.

Знакомство с Погодиным у него было заочное и завязалось, и продолжается вот уже третий год — по почте. Сразу после выхода в свет "Записок о Монголии" появилась в "Московском вестнике" рецензия, подписанная инициалами "М. П.". Павел Львович сказал, что за этими буквами скрывается, конечно же, сам издатель — Михаил Петрович Погодин. Рецензия была короткая, но доброжелательная и лестная. Книга об этой далекой азиатской стране, писал рецензент, вполне европейская. Честь и слава сочинителю, обогащающему нашу литературу такими сочинениями. Но не одни похвалы пришлись Иакинфу по душе. В авторе угадывался историк, думающий и образованный. Монголия, писал он, занимает важное место в мире. В сей стране издревле обитали народы, которыми производились великие перевороты в древней и новой истории, а между тем знали о ней до сих пор в Европе очень мало верного и обстоятельного. Мы должны гордиться, заключал автор статьи, что именно нашему соотечественнику удалось пролить новый свет на сию достопримечательную страну.

А вслед за рецензией пришло и письмо от издателя с предложением сотрудничества.

Встретясь как-то в книжной лавке у Оленина с Пушкиным, Иакинф рассказал о приглашении Погодина. Тот отозвался о нем одобрительно.

— Это издатель единственного европейского журнала в азиатской Москве, — сказал он. — И сам честный литератор среди лавочников литературы. Будет вам, отец Иакинф, печататься у Булгарина и Греча. Это уже давно не те люди, которых вам рекомендовал в свое время Бестужев. По моему мнению, "Московский вестник" ныне лучший из всех русских журналов.

— А "Московский телеграф"? — спросил Иакинф.

— В "Телеграфе" похвально одно ревностное трудолюбие издателя и его энциклопедизм. Да и тот бьет через край. Полевой пытается объять все — от космогонии до мод. По-настоящему же

хороши у него одни статьи Вяземского. А "Московский вестник" привлекателен уже тем, что лишен торгашеского духа…

Пушкин сказал, что и сам принимает в нем участие.

Действительно, просмотрев в Публичной библиотеке комплект "Московского вестника", Иакинф увидел в его книжках множество стихов Пушкина. Первая книжка журнала и открывалась-то превосходной сценой в келье Чудова монастыря, которая всегда восхищала Иакинфа. Печатались в журнале отрывки из "Евгения Онегина" и "Графа Нулина", "Сцена из Фауста" и, наверно, не меньше двух десятков других стихотворений. Встретил он в книжках журнала и другие знакомые имена — и прежде всего Владимира Федоровича Одоевского, Зинаиды Александровны Волконской и покойного Веневитинова, с которым познакомился в министерстве незадолго до его смерти.

Сомнения были отброшены. Иакинф послал Погодину только что законченную статью "Разрешение вопроса: кто таковы были татары XIII века", а вслед за ней и еще две — "О древнем и новом богослужении Монголов" и "Словесность и просвещение в Монголии". Все они были тотчас же напечатаны с весьма лестными примечаниями издателя.

Так началось их сотрудничество и оживленная переписка.

И вот на пороге его нумера сам издатель "Московского вестника".

Иакинф ожидал встретить почтенного, седовласого профессора — он слышал от Шиллинга, что Погодин читает курс всеобщей истории в Московском университете, листал его диссертацию "Происхождение Руси", которая была приветствована самим Карамзиным, читал в "Московском вестнике" его повести и переводы из Овидия — в стихах, и Гётева "Геца фон Берлихингена" — в прозе. А перед ним стоял совсем еще не старый, широкоплечий и коренастый человек, с торчащими во все стороны волосами, несколько даже мужиковатого склада. Иакинф вспомнил, кто-то говорил ему в Петербурге, что происходит Погодин из крепостных. В свои тридцать, как выяснилось, лет он казался старше. Поговорив с ним минут десять, Иакинф подумал, что ему можно дать и все сорок. Но он знал: есть такие люди — когда им тридцать, им дают сорок, а когда достигают пятидесяти, им тоже больше сорока не дашь. Погодин, должно быть, принадлежал к их числу. Он был полон энергии. Говорил рублеными фразами, как и сам Иакинф, — окая. Серые живые глаза его смотрели зорко.

Разговор, после первых же приветственных фраз, пошел оживленный. Поговорить и поспорить у них было о чем. Погодин,

как выяснилось, внимательно читал его статьи и переводы и в "Северном архиве", и в "Сыне Отечества", и в "Московском телеграфе". Но речь завел про статью о татарах.

— Признаюсь, отец Иакинф, получил редкое удовольствие, — говорил Погодин, — новая и смелая гипотеза! И очень вероподобно! Будто сам увидел, как сии монгольские победители, переняв от местных племен, вместе с браками, нравы, язык, обыкновения, совершенно потерялись. Да как! Так, что и самое имя их наконец исчезло. Веришь, что под российским названием татар они сделались как бы совершенно новым народом. Очень убедительно. Очень!

— Они-то и господствовали впоследствие времени и в Казанском, и в Астраханском, и в Крымском царствах! — живо откликнулся Иакинф. — А не те первоначальные монголы. К этой догадке, любезнейший Михайло Петрович, меня подтолкнули не только китайские летописи, их-то я изучил, можно сказать, досконально, — но и собстенные мои наблюдения за долговременное пребывание в Китайской империи. Надобно сказать вам, что доможилые китаянки куда благовиднее и опрятнее кочевых маньчжурок, и я легко могу понять, что они с самого началу больше нравились бранелюбивым маньчжурским воинам. Те охотно женились на китаянках, даже невзирая на строжайшие запреты маньчжурских богдыханов. Дети же, перенимая у матерей их язык, постепенно и неприметно окитаились. Изволите ль видеть, Михайло Петрович, ныне сыновья маньчжурских сановников, готовясь к государственной службе, изучают в Пекине маньчжурский язык вроде как иностранный. Вот что-то похожее, по всему судя, происходило и с монгольскими воинами в Прикаспии и на бергах Волги. Впрочем, что любопытно и чего не надобно упускать из виду: невзирая на перемену языка и прозвания, ханы сих царств — и Казанского, и Астраханского, и Крымского, — став заправскими магометанами и начисто забыв язык своих пращуров, никогда не оставляли вести свое происхождение от Чингиса…

— Да, да! Вы превосходно это показали. И в своей статье. И в "Записках о Монголии".

— Кстати, чувствительно вам благодарен, Михайло Петрович, за доброе слово о моей книге в "Московском вестнике". Никогда не забуду, что вы первый на нее откликнулись, и с таким сочувствием…

— Счел сие своим приятным долгом. Книга ваша, по моему беспристрастному и совестному мнению, действительно хороша. А статья — разве сравнишь ее с Клапротовой в "Северном архиве"!

Конечно, Иакинфу было приятно услышать такое от

почтенного историка.

— Во всяком случае, Михайло Петрович, я так полагаю: догадка моя имеет на своей стороне вероятность. Да и как-никак подкреплена доказательствами, — усмехнулся Иакинф. — Ну, а ежели кто из испытателей древностей, лингвистов и археологов европейских, располагает лучшими перед моими пособиями, так пусть попытается ее уточнить или опровергнуть.

— Ну, знаете, сделать это будет нелегко! — засмеялся Погодин. — Право, не вижу, кто осмелится оспорить ваши доводы. Вы тут во всеоружии китайской эрудиции.

Беседовать с Погодиным было интересно. Он хоть и читал в университете курс всеобщей истории, но интересовался-то преимущественно историей русской, и прежде всего прочего начальными русскими летописями, происхождением первых русских князей. Занимала его и общеславянская история. Как выяснилось из разговора, он перевел сочинение Добровского "О Кирилле и Мефодии". Заговорив о болгарах, Погодин с похвалой отозвался о только что опубликованных Иакинфом в "Литературной газете" критических замечаниях на книгу Венелина "Древние и нынешние болгары в политическом, народописном, историческом и религиозном их отношении к россиянам".

— Прочел ваши замечания на венелинских болгар, отец Иакинф. Очень дельно. Очень!

— Не скрою, Михайло Петрович, история болгар предмет для меня малоизвестный, — признался Иакинф. — Но поелику критика историческая, взятая как наука, должна быть по существу своему одинакова в отношении к истории любого народа, я и отважился сделать несколько замечаний.

— И превосходно сделали, что отозвались на книгу Венелина. Право, она того заслуживает. И одним из первых. И с большим участием. Не в пример некоторым, вроде этого литературного торгаша и целовальника Полевого.

Словечко это, адресованное Полевому, неприятно покоробило Иакинфа.

— Ну зачем же так, Михайло Петрович? — пытался он вступиться за старого знакомца. — Издатель "Телеграфа" — человек заслуженный.

— Торгаш и есть, низкий торгаш! — вскричал Погодин. Чувствовалось, что в недоброжелательстве, с которым он говорил о Полевом, была повинна не одна только журнальная конкуренция. — Да вы же читали, наверно, его отзыв на венелинскую книжку. Эдакая грубая и бездоказательная брань. Чести критику она принести не может. Конечно, нет ничего

проще, как написать страничку-другую с пошлыми насмешками. Не надобно утруждать себя ни малейшими доказательствами. Куда благороднее выступить с дельными возражениями и критическими замечаниями, как это сделали вы. Уверен, что поучительная критика ваша не вызовет у автора ничего, кроме благодарности и уважения.

— Когда я писал свои заметки, господина Венелина я совсем не знал, даже ничего об нем не слыхал, — сказал Иакинф. — Но я имел честь получить от автора его сочинение и, признаюсь, прочел его не без любопытства. Ну и как же в благодарность за сей подарок, столь для меня неожиданный, мог я оставить без замечаний того, что показалось мне в книге сомнительным и спорным? Больно уж сочинитель смел в своих фантастических предположениях. Ну, посудите сами, Михайло Петрович, можно ль было пройти мимо утверждения, что Аттила и вообще гунны — чистейших кровей славяне?

— Ну, для Венелина не только Аттила, но и сам Адам — славянин, — засмеялся Погодин.

— И дело-то не в том, что не велика честь для нас кровное родство с кровожадными гуннами. Куда важнее, что смелая своей неожиданностью мысль сия основана на одной вероятности, которой можно противуположить другую вероятность, неизмеримо более правдоподобную, что гунны — предки нынешних монголов. Сие я и сделал. Каково же было мое удивление, когда после публикации моих замечаний в "Литературной газете" ко мне в лавру нагрянул сам сочинитель.

— Он мне писал о вашей встрече. Как же вы его нашли?

— Да что же, человек он, может, еще более любопытный, нежели его книжка. И в учености ему не откажешь, и на редкость страстен к своему предмету. И вообще темперамент настоящего южанина.

— Да, он родом из карпато-россов.

— Он мне рассказывал — и как, несмотря на семейные предания, из семинарии сбежал, из Мукачевской, и как, переменив фамилию, во Львовский университет, на философский факультет, определился, и как через карпатские вершины в Россию пробрался. Как в Бессарабии с помощью генерала Инзова с болгарскими колонистами познакомился и болгарской стариной увлекся.

— Он вообще человек увлекающийся. Приехал в Москву и что бы вы думали? Ни с того ни с сего решил посвятить себя, как он сказал, наукам более плодотворным, нежели история и метафизика. На медицинский факультет поступил. Мне стоило немалого труда убедить его вернуться к историческим

изысканиям.

— Да, да. Он мне рассказывал. И что деньгами ему помогли на издание книги. И в поездке в Болгарию на счет Российской академии…

— Да как же было ему не помочь! На поездку его я возлагаю большие надежды. А сам он просто рвется туда. Ни чума, ни климат, ни невежество, ни ненависть турков — ничто его не страшит.

— Ну, на что не решится чистая любовь к науке! — заметил Иакинф.

— Да, да! Он может сделать там ценнейшие ученые собрания. С годами из него может выработаться великий историк и филолог, — сказал Погодин убежденно.

— Может быть, может быть. Вот только филологические-то его сближения зело рискованны. Больно уж он пылок. При встрече с ним не мог я удержаться, чтоб не заметить, что произвольный, натянутый разбор слов по внешнему созвучию, особливо с языков ему неизвестных, есть самое зыблемое основание для исторических предположений. И он в разговоре со мной вроде бы согласился с моими предостережениями. Не знаю надолго ль. В сочинении-то своем он то и дело поступает вопреки сему мнению. Больно уж он увлекается словопроизводством по созвучию и основанными на нем историческими сближениями.

— Да, разумеется, вы правы, отец Иакинф, — с готовностью согласился Погодин. — Многое в его книге безотчетно. Односторонне. Опрометчиво. Человек он, конечно же, увлекающийся. Поверьте, мне пришлось приложить немало усилий, чтобы удержать его в необходимых рамках. Но согласитесь, есть в его книге много остроумных наведений. Немало мыслей блестящих. Догадок и гипотез смелых и оригинальных.

— Человек он, спору нет, с искрой божией, и я не стану оспаривать у него чести открытия некоторых новых положений относительно происхождения народов. Главная его заслуга, Михайло Петрович, я так полагаю, в том состоит, что он поубавил число народов, обитавших в Европе в древние времена. Больно уж их расплодили наши историки. А ведь даже ежели вчитаться как следует в библейскую токмо историю; и то станет ясно, что первоначальные-то общества на земле образовались из больших семейств, богатых землею и невольниками. Из соединения соплеменных по единству языка и составились постепенно народы. Но состояли-то они поначалу из отдельных племен, и каждое из них имело свое видовое, частное название. Племя, усилившееся между соплеменными по перевесу могущества,

прежде всего и делалось известным у смежных народов по торговым и политическим связям с ними. Вот сии-то общества или племена, ниспровергая друг друга, и владычествовали попеременно над соплеменниками. И самым привлекательным в книге Венелина мне показалось то, что в ряде случаев он убедительно показывает, что один и тот же народ принимался за несколько, потому что был известен древним летописцам под разными видовыми именами. В сущности, я, в свою очередь, пытаюсь доказать то же в отношении народов, обитавших в Средней Азии в древние времена. И мне кажется, Михайло Петрович, коль вы уж особливо занимаетесь Древней Русью, вам тоже надлежало бы с сей точки зрения обратить внимание на исследование древностей русского народа.

Так речь от Венелина обратилась к ученым изысканиям самого Погодина. И тут выяснилось, что он и сам человек увлекающийся. Он энергично принялся собирать русское древлехранилище, заключающее в себе массу памятников, не только письменных, но и вещественных, касающихся русской старины. А вместе с тем заканчивает трагедию "Марфа Посадница" из времен Ивана Грозного, а теперь вот грезит еще и большой трагедией о Петре Великом.

— Это еще, правда, так, самая первая прикидка. Да и, признаюсь, отец Иакинф, как-то боязно. Подумываю, подумываю, а самого оторопь берет. Порой так и мерещится, будто дверь распахивается и Петр грозит мне на пороге своею дубинкою.

— Ну, смелость, говорят, города берет, — улыбнулся Иакинф. — Только не разбрасываетесь ли вы, любезнейший Михайло Петрович? И университет, и журнал. И трагедия, и переводы в стихах из Овидия. А там, глядишь, и новая повесть. К слову сказать, ваша "Черная немочь" очень пришлась мне по душе. Видывал я эдаких купчин — у него миллионы, а живет как простой мужик. Спит на сундуке, набитом золотом. И жену а своих кулачищах держит — та у него пикнуть не смеет, и сына до петли доводит. А сей, прости господи, священнослужитель! Как он прерывает красноречивую молитву свою, чтоб обрушиться на плута-лавочника!

Расстались они довольные друг другом.

Вернувшись домой, Погодин записал в своем дневнике, с которым не расставался всю жизнь: "К Иакинфу: Разыскал и приятнейших три часа".

III

До отъезда из Москвы, несмотря на множество дел, связанных

со сборами в дальнюю дорогу, Иакинф успел все-таки навестить Полевого.

Купец второй гильдии, знаменитый литератор, издатель самого распространенного в России журнала, а живет, оказывается, более чем скромно. Квартира, в сравнении с петербургскими апартаментами Булгарина и Греча, была неказиста. Слуга, которому Иакинф отрекомендовался, провел его по шаткой лестнице наверх в кабинет хозяина. Комната была темная, заставлена книжными полками. В простенке между двух окон стояла конторка, а рядом у окна — простенький письменный стол, заваленный рукописями и книгами. Книги, как и у него самого, обросли закладками, грудились не только на столе, но и на стульях, на конторке, на подоконнике. Посередине стола — хрустальная чернильница, Такой же стакан с очинёнными перьями и наполовину исписанный лист бумаги, от которого хозяин, видно, с трудом оторвался, поднимаясь навстречу.

— Мир дому сему, — сказал Иакинф громко. — Простите, милейший Николай Алексеич, кажется, отвлекаю вас от дела. По себе знаю, что это такое. Но в Москве проездом, завтра чуть свет уезжаю в Иркутск. Не посетуйте.

— Отец Иакинф! Как это мило, что вы заглянули! Здравия желаю, отче! Садитесь, садитесь, — говорил Полевой с неподдельным радушием, придвигая Иакинфу кресла. — Рад вас видеть. Вы не поверите, отец Иакинф, что за жизнь я теперь веду — совершенно уединенную, в кругу семейства. Почти никого не вижу.

— Да как же вам удается сие — в вашем-то положении издателя журнала, да еще такого, как "Телеграф"?

— Ну, последнее время каждодневные дела по журналу я передоверил брату, Ксенофонту. Так что теперь, по правде сказать, не я, а он настоящий-то редактор.

— Так я вам и поверю, что вы доверите журнал кому бы то ни было. Да вы же родились журналистом, — улыбнулся Иакинф. — И занимаетесь своим "Телеграфом" не по обязанности, не из расчета, а по страсти.

— Так-то оно так. Но вы и представить себе не можете, отец Иакинф, сколько он отнимает времени и сил, как тяжелит порой. Вот я и обзавелся таким бескорыстным и деятельным помощником, как Ксенофонт. На него я могу положиться смело — как на самого себя. Вкусы и взгляды мои он знает до тонкости и сам даровитый литератор. И организатор блестящий. Вот кого нам не хватает, так это отца. Его бы привлечь к практической стороне дела…

— Да, Алексей Евсеич был человек оборотливый. Я его

хорошо помню, — сказал Иакинф.

— Мы не раз с братом говаривали: если б можно было соединить всех нас, детей его, в единое существо, то из всех нас не вышло бы одного, равного отцу. В батюшке нашем было на редкость много сил разного рода.

— И сил, и фантазии, — поддержал Иакинф.

— Хорошо хоть братом бог меня не обидел. Просто не знаю, что бы я делал, не имей такого помощника. А что до московского общества, то я, признаться, со всеми почти расстался, — сказал Полевой с горькой усмешкой. — Вяземские, Баратынские, все эти поэты и поэтики, литературные барчуки разного рода, которых я пригрел поначалу в своем журнале, встречают у меня ныне закрытую дверь. С некоторых пор я окончательно убедился, что со всеми этими парнасскими помещичками мне не по пути — разного мы поля ягоды.

О литературных аристократах Полевой заговорил зло и едко, вроде с каким-то ожесточением. Даже сумрачное, несколько желчное лицо его раскраснелось. Он признался, что, пока издает журнал, не перестанет давать бой гадкому и низкому аристократизму литературному. Иакинф вспомнил, как, отвечая на одну из статей в "Литературной газете", Полевой писал, что газета сия есть последнее усилие жалкого литературного аристократизма, и теперь, слушая Полевого, понимал, что выпад тот был не случаен.

— Да не напрасно ли вы так, огулом, ополчаетесь, милейший Николай Алексеич, на литературных-то аристократов наших, — сказал Иакинф примирительно. — Есть же среди них литераторы первостатейнейшие — один Пушкин чего стоит! И устремления у них у всех, насколько я могу судить, разные. Так ведь можно вместе с лебедой и добрый злак выполоть.

— Не тревожьтесь, отец Иакинф, не тревожьтесь, — заговорил Полевой убежденно. — С падением глупой спеси, низости и невежества аристократов, которых вы порываетесь защищать, по крайней мере поле останется чистое. А настоящие литераторы, не беспокойтесь, явятся. В разрушении лежат и семена возрождения. Ну вас-то я никаким боком к аристократам не причисляю, хоть вы последнее время и печатаетесь усердно в "Московском вестнике" да в "Литературной газете". А именно там наши литературные аристократы пытаются свить себе гнездышко. Я-то знаю: вы труженик ревностный, и собственными усилиями, вопреки всем обстоятельствам жизненным, вскарабкались к вершинам учености. Вот вы Пушкина помянули. А поверьте, отец Иакинф, я люблю его истинно, и больше всего меня жалость берет, что и он затесался в эту компанию ничтожных аристократиков, которые то

и дело похваляются своим благородством да родовитостью. Экая досада! И тем огорчительней, что ведь только-только начал он становиться самобытным поэтом, подлинным выразителем русского духа нашего времени. И это, заметьте, вопреки влиянию любезного его сердцу карамзинизма, который немало повредил и самому глубокому и совершеннейшему из его созданий — "Годунову". Ну да бог с ним. Я верю, что Пушкин, хоть и надел на себя эти цепи, свою дорогу еще найдет. Поговорим-ка лучше о чем-нибудь другом. Что это вас, батюшка, опять на Восток потянуло? Сколько времени вы там провели!

Иакинф рассказал о целях своей с Шиллингом поездки и о своих планах.

Прирожденный журналист проснулся в Полевом. Он тут же взял с Иакинфа слово непременно присылать из Кяхты свои новые труды и переводы, делиться впечатлениями о путешествии. Поинтересовался, нет ли у него чего-нибудь готового.

Иакинф передал ему переведенный недавно древний земледельческий календарь китайцев "Ся-Сяо-чжен". Это, пояснил он, один из древнейших памятников китайской словесности. Традиция относит его к 2205 году до Рождества Христова. Помещен он был в древней китайской книге Чжоусских установлений — "Чжоу Ли", составленной в 1121 году до нашей эры, и оброс многочисленными комментариями. Иакинф не только перевел сам этот древний памятник и многочисленные толкования к нему, но и соотнес описываемые в древнем тексте события и приметы с тем, что ему самому привелось наблюдать в Китае. Едва пробежав рукопись, Полевой сразу оценил значение этого любопытнейшего сочинения и обещал опубликовать в журнале незамедлительно.

В свою очередь Иакинф полюбопытствовал, над чем Полевой трудится нынче с таким усердием, — он кивнул на неоконченную рукопись на столе, она была оборвана на полуслове.

— Да вот освободился от повседневной журнальной сутолоки, а занят, пожалуй, еще пуще прежнего — с утра до вечера. Из дому выезжаю только к моим должностям. Я, видите ль, член Московского мануфактурного совета, комитета по пересмотру вексельного устава, член совета коммерческой академии и еще полудюжины разных комитетов и комиссий. Ксенофонт все журит меня за эти мои членства. Но главным-то образом день-деньской корплю я тут вот — за этим столом да за конторкою. Мало сплю. Зато засыпаю со спокойной совестью, ибо высшее назначение человека — труд. Впрочем, не вам мне это говорить. А помимо журнала и всех прочих дел, я взвалил на себя еще такой воз, как многотомная история русского народа.

— Сие весьма похвально. Хотя, сказать по совести, меня и поражает, как это вы, наряду с журналом, отважились взять на себя еще и труд историографический. Мне понятна вся его привлекательность, но для меня вы прежде всего — журналист. Как бы это лучше сказать? Летописец современности! Самый журнал ваш — это как бы зеркало всего того, что занимает умы людей — и у нас, и в Европе, и в целом мире — именно ныне, сию минуту. И вдруг — далекая история!

— Да это только так, со стороны могло показаться, что вдруг! — сказал Полевой. Скорбные морщины на его сухом, желчном лице расплылись в улыбку, пожалуй даже и добродушную. — История занимала меня сызмальства. Я еще в отрочестве, в Иркутске, писал разные исторические сочинения. Одно из них, помню, было посвящено открытию русскими Америки. Еще лег десять назад я печатал ученые статьи в "Историческом вестнике" и в "Северном архиве" и задолго до начала "Телеграфа" удостоился быть избранным в действительные члены Московского общества истории и древностей российских.

— Вон оно что! Я-то по простоте своей думал, так сразу — и многотомная история. А ей, вишь, эдакая подспудная работа предшествовала. Да и середь историков московских вы, оказывается, свой человек. Однако ж, до чего же вы разозлили, батенька, своих коллег, — сказал Иакинф с усмешкой. — Вот уж сколько месяцев, как вышел первый том вашей "Истории", а страсти не утихают. Даже, похоже, еще больше разгораются. Не упомню, чтобы какой-нибудь другой труд исторический вызвал такую бурю. И пожалуй, больше всего разозлили почитателей Карамзина ваши нападки на его "Историю".

Полевой нахмурился, кольнул быстрым взглядом, вскочил с кресла, прошелся по комнате.

— По правде сказать, я и не ждал, что моя книга будет встречена равнодушно, — заговорил он, снова усаживаясь в кресло напротив Иакинфа. — Но такой критики, столь ожесточенной, доходящей до нарушения всякой благопристойности, я все же предугадать не мог. А что до Карамзина, так я должен сказать вам, отец Иакинф, что "Историю Государства Российского" я знал чуть не наизусть еще в Иркутске. И защищал ее в "Телеграфе" от нападок клевретов Каченовского. Но каждый новый том ее все больше и больше меня разочаровывал. Постепенно, а особенно после того, как я прочел Нибура и Гизо, мне становилось ясно, что так восхищавший меня когда-то Карамзин, а я и лично был с ним знаком, и как историк, и как философ, и как писатель просто, — человек не нашего времени, а прошедшего. Грандиозный его труд кажется мне

теперь не только неудовлетворительным, но и искажающим важнейшие события нашей истории. Да, да! Не спорьте. Хотите знать, что такое карамзинская "История"? Извольте! Это талантливая, спору нет, художническая, даже порой увлекательная, согласен, но фальсификация исторической правды! Ну и мог ли я, скажите, только принять все это к сведению? Нет, я не настолько ленив! Мне не терпелось восстановить истину.

Полевой нервно закурил.

— Вы знаете, о чем бы Карамзин ни писал, он нигде не показывает нам д_у_х_а н_а_р_о_д_н_о_г_о. А для меня в истории это самое главное! Вот оттого-то я и назвал свой труд "История русского н_а_р_о_д_а". Народа, а не государства! И это вовсе не пустая пародия карамзинского названия, как изволил выразиться ваш новоиспеченный приятель Пушкин. Для меня история не просто складно написанная летопись времен минувших, но и средство познания мира и человека. Вот вы назвали меня летописцем современности. Да я оттого-то, признаюсь, и занялся историей, что, изучая предков, лучше познаешь современников. Точнее можешь ответить на вопрос, зачем мы пришли в этот мир, для чего мы живем в нем! Для меня в истории важны не факты, хотя бы и самые занимательные, не частности, а сцепления причин и следствий. Для читателя, одолевшего все двенадцать томов Карамзина, история русского н_а_р_о_д_а так, в сущности, и останется неизвестной, хотя он узнает бессчетное число подробностей занимательных, фактов любопытных, но мелких и незначительных.

Полевой поднялся с кресла и опять зашагал по комнате. Говорил он быстро. Живые, колючие его глаза глядели запальчиво. Иакинфу нравился этот человек, нравилась его увлеченность, самостоятельность характера, нравилось, что было у него свое мнение, которое он страстно отстаивал, без опасения кого-то обидеть, с кем-то рассориться.

Часы в соседней комнате пробили четыре раза. Иакинф поднялся, откланиваясь.

— Куда вы спешите? — запротестовал Полевой. — В четыре часа мы обедаем. И я прошу вас, отче, разделить с нами нашу скромную трапезу.

Иакинф стал благодарить и отказываться — завтра чуть свет в дорогу.

— Ну уж нет, как хотите, а без обеда я вас не отпущу. Да и уезжаете поутру — надо ж посошок выпить. Обедаем мы одни, в кругу семьи — жена, Наталья Францевна, свояченица Аннет, — молоденькая вдовушка и, должен вам сказать, прехорошенькая. И

дети. Их у меня четверо. Может, еще брат заедет, ежели управится с делами. Вот и все.

Они прошли в столовую — просторную комнату, тоже скромно обставленную: овальный стол, простые стулья, в углу, как у Карсунских, — высокие часы, хрипло отстукивающие время, на стенах три-четыре гравюры.

Полевой представил гостя семейству, а Иакинфу — жену, свояченицу, детей. Старшей дочери было лет семь, младшему из двух сыновей пошел третий год. Все стали шумно рассаживаться.

Иакинф не пожалел, что остался. Давно не сидел он за таким вот домашним столом.

В кругу семьи Полевого будто подменили. Не осталось и следа от озабоченности, от колкой едкости суждений. Он был весел и беззаботен, остроумен и приятен. Время от времени бросал ласковый взгляд на жену, миловидную, чуть располневшую блондинку лет двадцати пяти. Мило шутил с детьми, которые, видно, души не чаяли в отце, подсмеивался над хорошенькой свояченицей, и она то и дело заливалась смехом. Должно быть, вообще была хохотушка и очень походила на свою старшую сестру.

Иакинф скоро почувствовал себя в этом семейственном кругу легко и непринужденно. Только сердце кольнуло болью оттого, что время подбирается уже к середине шестого десятка, а нет у него ни кола, ни двора, ни жены, ни детей. О таком шумном и беззаботном застолье у себя дома он не может и мечтать.

IV

И снова путь-дорога. Улегшись в дорожную кибитку, запахнувшись в непробиваемую ветром волчью шубу, верную свою спутницу, Иакинф поскакал за тридевять земель. Смешанные чувства переполняли его. Дорога никогда не была для него просто перемещением в пространстве. Она была переменой не мест, а самой жизни. Впереди новая цель. Должно быть, оттого-то так и любил он дорогу. Лететь вперед, прислушиваясь к звону колокольца и грому бубенцов, всегда было для него радостью. Но нынче радость и печаль перемешались в нем. Радостно было сознавать, что вырвался, хоть на время, из этой опостылевшей лавры. Он чувствовал себя более человеком, когда переступал ее порог. Да и такую обширную программу наметил он себе на эту поездку. И печалью обливалось сердце, стоило только вспомнить Таню, заплаканные ее глаза, когда она смотрела на него, расставаясь.

Он пошутил:

— Провожаешь меня, будто на войну.

— На войну и есть. Едешь отвоевывать себе волю.

— Так благослови же и обними на прощанье, как солдата. Когда идешь на ратное дело, сделаешь его с честью, ежели провожает тебя любимая женщина.

Она прижалась к нему. Он поцеловал ее в глаза, почувствовав на губах вкус соли…

Он ехал по этой однообразно-зимней, гладко укатанной дороге и без конца повторял привязавшиеся с самого Питера слова: "Им овладело беспокойство… охота к перемене мест… весьма мучительное свойство… немногих добровольный крест…" До чего ж хорошо сказано. Эх, какой молодчина этот Пушкин! И экая жалость, что не пустили его!

Как бы украсило его участие экспедицию! Да и ему самому, Иакинф в том уверен, принесло б пользу.

Иакинф видел, какая тоска грызла его последнее время. Невольно вспоминались стихи, которые он читал им с Павлом Львовичем тогда, на святках: "И где мне смерть пошлет судьбина? В бою ли, в странствии, в волнах?.." Такое путешествие развеяло бы его, одушевило новыми впечатлениями. Да и друзей бы своих повидал за Байкалом. По мере знакомства всё новые черты открывались в Пушкине Иакинфу. Он обнаружил, что прославленный поэт не только не заносчив, как о нем приходилось слышать, а скорее застенчив и более других, с кем сталкивала Иакинфа судьба, нежен в дружбе. Вот и Павел Львович — а они-то знакомы куда ближе — говорит, что знает как бы двух Пушкиных: один в свете и другой в уединении, на просторе, среди друзей…

Дружба — святое дело. Сам он был теперь счастлив вдвойне: у него было то, чего он никогда не испытывал, о возможности чего даже не подозревал — любовь и дружба вместе.

Катились сани, поскрипывали полозья на поворотах, снежные комья из-под копыт били о передок саней. А стоило закрыть глаза — он видел на крыльце Таню, ее затуманенную слезами улыбку. Почему-то больше всего запомнилась в ней именно улыбка.

Он усмехнулся: никогда еще, даже в годы самой пылкой юности, женщины не занимали столько места в его мыслях. Надобно было состариться, чтобы понять, что счастье — это не только любить, но и быть любимым.

Много, слишком много оставлял он в столице, чтобы только радоваться отъезду. Никогда еще так страстно н желал он свободы. Никогда еще она не была ему так нужна!

Нынче он отправлялся не просто в путешествие. Полтора, ну два года странствий, напряженного труда, а там — воля. Он

добьется ее во что бы то ни стало!

Тогда и трудиться можно будет в полную силу, осуществить все, что он давно задумал. И заживут они вместе. Хоть под старость лет, хоть на излете дней своих!

Тысячу раз прав Екклезиаст — всему свой час и время всякой вещи под небом.

Теперь его час — время искать и время строить. Время собирать камни.

ГЛАВА ВТОРАЯ

I

Иакинфа Павел Львович догнал уже в Иркутске. До его приезда Иакинф сидел в уединенной келье Вознесенского монастыря, а потом на частной квартире у надворной советницы Иношиной по соседству с Игумновым, у которого он был частым гостем. Тут легче было встречаться с монголами и бурятами, готовясь к кяхтинским своим упражнениям.

Но с приездом Шиллинга уединение это кончилось. Не таков был Павел Львович, чтобы оставить в покое своего приятеля. Он развил в Иркутске бурную деятельность. И один, и вместе с Иакинфом и Соломирским наносил визиты видным иркутским чиновникам — генерал-губернатору Восточной Сибири Александру Степановичу Лавинскому, гражданскому губернатору Ивану Борисовичу Цейдлеру, председателю казенной палаты и другим. Но особенно зачастили они к иркутскому городничему — Александру Николаевичу Муравьеву.

Человек то был примечательный. Еще далеко не старый, — ему не было и сорока, — он прожил жизнь бурную, полную тревог, стремительных взлетов и падений. Герой двенадцатого года, участник заграничных походов, он после возвращения в отечество служил на Кавказе, затем был в столице преподавателем известной школы колонновожатых, основателем которой был его отец. Из этой школы и вырос, в сущности, генеральный штаб русской армии, а сам Муравьев стал вскоре его полковником и начальником штаба гвардейского корпуса. Случилось так, что большинство воспитанников школы было замешано в заговоре 1825 года. Сам Александр Николаевич, тогда молодой двадцатичетырехлетний полковник, еще в 1816 году учредил вместе с братьями первое тайное общество — "Союз спасения", преобразованный позднее в "Союз благоденствия".

Давнишний масон, он легко прикрывал деятельность общества своим масонством, да и в организации его многое было заимствовано из масонских обыкновений. При вступлении в общество приносились торжественные клятвы — по масонскому образцу — на кресте и Евангелии. Отступникам грозила смерть: "яд и кинжал везде найдут изменника". Учредитель общества Александр Николаевич был одним из деятельнейших его руководителей, самые собрания заговорщиков происходили у него в "шефском корпусе" Хамовнических казарм, где ему была определена квартира как обер-квартирмейстеру сводного гвардейского отряда. (Отряд этот сопровождал царя, который на целый год перенес двор из Петербурга в Москву в связи с закладкой на Воробьевых горах храма в честь победы в войне 1812 года.) Александр Николаевич вовлекал в общество новых членов, обращался к государю с обстоятельной запиской о вреде крепостного права и о неотложности реформ, на которую Александр соизволил отозваться: "Дурак, не в свое дело вмешался". Разуверившись в возможности падения рабства "по манию царя", участники общества все чаще задумывались о насильственном его устранении. Впервые план цареубийства обсуждался на квартире у Муравьева в 1817 году.

Но постепенно росло разочарование в пылких мечтаниях и громких фразах; масонский мистицизм разрастался и мало-помалу вытеснил из головы учредителя общества революционные идеи. Может быть, тут сказалось влияние жены, которая, будучи невестой, распевала с ним "Марсельезу", а потом, после свадьбы, сумела как-то в несколько месяцев обратить мужа из отчаянного либералиста в столь же отчаянного мистика. Во всяком случае, к деятельности общества Александр Николаевич охладел и задолго до возмущения вовсе оставил его.

Оскорбленный государем, он вышел в отставку, еще не достигнув тридцати лет, и зажил богатым московским барином, целиком отдавшись своим масонским увлечениям.

К следствию по делу декабристов он, тем не менее, был привлечен, но представил на высочайшее имя объяснение, в котором в энергических выражениях высказывал раскаяние в былых заблуждениях. Нашлись у него и весьма влиятельные покровители, которые ходатайствовали за него пред государем. И все же он был обвинен в недонесении правительству о существовании и целях тайного общества и, отнесенный к шестому разряду злоумышленников, подлежал отправлению на каторгу на пять лет, а по отбытии каторжных работ — поселению в Сибири под надзором полиции до самой смерти. Но благодаря раскаянию и высокому покровительству участь его была отлична

от судьбы его товарищей по тайному обществу. Вместо каторги государь соизволил сослать его на жительство в Якутск без лишения, однако, чинов и дворянского звания. Но в Якутск он не успел доехать. Теща его, княгиня Шаховская, при содействии великого князя Михаила Павловича испросила монаршего соизволения, чтобы зятю было назначено пребывание в Верхнеудинске, куда более мягком по климату. Но и здесь он провел всего несколько месяцев. Бывший его сослуживец по Кавказу генерал-губернатор Лавинский добился его перевода в столицу Восточной Сибири, Иркутск, где Муравьев был назначен городничим, "в некотором роде то же самое, что у нас, в России, полицеймейстер", как объяснял он в письме родным.

Тут он построил себе весной тысяча восемьсот двадцать восьмого года поместительный дом, рубленный из кондового леса, в обхват бревно. Выписал из Москвы мебели — и для кабинета, и для гостиной, фортепьяно, чтобы учить дочь музыке. Двери дома нового городничего были широко открыты для иркутского а общества. Нередким гостем у него был и сам генерал-губернатор. Между тем за льготами следовали облегчения, подавались надежды на дальнейшее улучшение служебного положения в ближайшем будущем. Но, несмотря на близость к генерал-губернатору, продолжался и негласный надзор за иркутским городничим и особенно за его перепиской. Впрочем, догадываясь о перлюстрации писем (ее в те годы не избегла и сама императрица!), Александр Николаевич выставлял в них себя человеком, преданнейшим государю и правительству.

Поначалу и к Шиллингу, который привез ему письма от тещи, княгини Шаховской, и многих его петербургских знакомых, отнесся он недоверчиво. С большой долей насмешки писал он в Москву своему другу Ланскому: "Барон Шиллинг, по-видимому, так ко мне расположен, что не только всякий день, но и по пять, а то и по девять часов на день мы бываем вместе. Не знаю, какие может иметь он виды, но уверен, что господь, вращающий и располагающий сердцами человеков и умами их, не сделает его для меня вредным".

Но постепенно этот веселый и добродушный человек убедил Александра Николаевича, что притворяться он не умеет. Мало-помалу Муравьев отклонил от себя всякую недоверчивость и проникся к Шиллингу искренним расположением, хохотал над его рассказами о столичной жизни, с интересом расспрашивал об экспедиции, делился своими планами благоустройства сибирской столицы и с благодарностью выслушивал в ответ на редкость дельные советы. Страстный любитель шахмат, ожесточенно сражался он с бароном и за шахматным столиком, сокрушаясь,

правда, что при всем старании не может одолеть столичного гостя.

II

Александр Николаевич оставил гостей обедать. Найдя в Шиллинге благодарного слушателя и компетентного советчика, он и за столом продолжал обсуждать s ним план переустройства города. Соломирский завладел вниманием дам — хозяйки дома, Прасковьи Михайловны, и ее младшей сестры княжны Варвары Шаховской, которая жила в доме зятя, надеясь проникнуть как-нибудь и дальше на восток, в Петровский завод, к своему жениху Петру Муханову, отбывающему там каторжные работы.

По другую сторону стола рядом с Иакинфом оказался учитель рисования маленькой дочери Муравьевых, Сонюшки, которую накормили раньше и отправили спать.

— Роман Михайлович Медокс, — отрекомендовался сосед. Был он невысок ростом, облачен в горохового цвета сюртук. Светлые, с рыжеватым оттенком, волосы спереди и на темени основательно поредели, хотя, судя по всему, было ему лет тридцать пять, не более. Маленькие, глубоко и близко посаженные серые глазки так и постреливали из стороны в сторону. Остренький носик словно обнюхивал все вокруг. Держался он, как и подобает домашнему учителю, скромно.

Иакинф и сам не мог понять, чем заинтересовал его этот человек. Может быть, та особенная тщательность, с какой он был одет? Сюртук старательно отутюжен, необыкновенной белизны белье было какое-то на редкость тонкое, запонки на манжетах слепили глаз.

Иакинф заговорил с ним. Медокс вежливо улыбался и отвечал на вопросы коротко и односложно.

Пытаясь разговорить соседа, Иакинф вполуха прислушивался к тому, о чем шла речь по ту сторону стола. Соломирский, польщенный вниманием двух дам, да еще столь хорошеньких, был в ударе. Пересказывал им столичные и московские новости, сыпал забавными анекдотами.

— Скажите, месье Соломирский, — спросила вдруг княжна Варвара, прерывая его болтовню, — неужто вы и в самом деле могли поднять руку на Пушкина? Я слыхала, вы вызывали его на дуэль и готовы были застрелить?

— Еще неизвестно, кто бы кого застрелил, — усмехнулся Соломирский. — Пушкин стреляет так же метко, как Байрон. А тот с тридцати шагов продырявливал шляпу пулями. Да и не настолько я кровожаден, чтобы жаждать смерти. Но то был вопрос

чести.

— И все же…

— Пушкин совсем было отбил у нашего бедного Владимира Дмитриевича княжну Урусову, — вставил со своего конца стола Шиллинг.

— Но вы же знаете, барон, в отношении княжны у меня были серьезные намерения.

— О, разумеется! — улыбнулся Шиллинг. — А вам, сударыни, — повернулся он к дамам, — должно быть известно, что там, где замешана женщина, мужчина способен на безрассудство.

По признанию Соломирского, если бы не дружные усилия Павла Муханова (это был брат жениха княжны Варвары) и пушкинского приятеля Соболевского, дуэли б не миновать.

— И не рассказывать бы мне вам этой истории, — заключил свое повествование Соломирский. — Но все кончилось как нельзя лучше. Даже выпили с Пушкиным на брудершафт и с тех пор на "ты". Так что, как видите, нет худа без добра…

— Давно ль вы в Иркутске, Роман Михайлович? — спросил Иакинф неразговорчивого своего соседа. На сибиряка Медокс совсем не походил — ни покроем платья, ни обличьем, ни выговором. Скорее, его можно было принять за чужестранца, за англичанина иль за шведа.

— Нет-с, — ответил Медокс односложно и добавил: — С осени минувшего года.

Так же коротко отвечал он и на другие вопросы и вообще предпочитал больше слушать, нежели говорить. Притом, куда больше Иакинфа его, видимо, интересовала сидевшая напротив княжна Варвара. Он исподтишка поглядывал на нее, проявляя знаки внимания, подливал ей в стакан из стоявшего посередине стола кувшина. Но та была увлечена беседой с Соломирский, и, делать нечего, Медокс разговорился. Мало-помалу он стал расспрашивать Иакинфа про его путешествия. Постепенно открылось, что он и сам немало попутешествовал, правда не здесь, на востоке, а по Европейской России, особенно по южным ее губерниям. Побывал и на Кавказе.

— И долго вы там пробыли, Роман Михайлович?

— Да нет, не очень долго.

— Что же вас туда привело?

— Да, изволите ли видеть, имел я одно важное намерение, — неопределенно ответил Медокс. — Но зависть, интриги, недоброжелательство испортили это прекрасное предприятие.

— Какое предприятие?

Медокс не ответил и принялся рассказывать анекдоты про

черкесов и про кавказские обычаи.

Так Иакинфу ничего и не удалось узнать о его кавказском предприятии, как, впрочем, и о том, чем же он занят тут, в Иркутске. О чем ни спросишь, у него на все как бы готова ширма, за которую он старательно прячется.

Правда, когда Иакинф ненароком обмолвился, что четыре года провел под строгой епитимьей на Валааме, Медокс заметил, что и он в те же годы был в заточении поблизости — в Шлиссельбургской крепости — и познакомился там, между прочим, с братьями Бестужевыми, Николаем и Михаилом, с Юшневским и Пущиным, а с этим последним даже сидел в одном отделении.

— Вот как? А где же теперь Бестужевы, не знаете? — спросил Иакинф. — Со старшим из братьев, Николаем Александровичем, я встречался в Петербурге, еще до Валаама, в двадцать третьем году, как только из Пекина вернулся в отечество.

— Слыхал я, что и Николай, и Михаил Александрович были определены в Читинский острог, а теперь имеют жительство в Петровском заводе, неподалеку от Верхнеудинска.

Так постепенно они разговорились. Было приметно, что Медокс порядочно заикался, особенно когда начинал говорить, но потом мало-помалу заикание проходило, и речь его становилась довольно плавной.

— А не скучно вам тут, в Иркутске? — спросил Иакинф. — Я ведь превосходно знаю, что это за город. Сам прожил тут четыре года кряду, да и потом наезжал. Два-три образованных семейства. Ни публичной библиотеки, ни книжных лавок…

— Да нет, ничего, пока сносно, — отвечал Медокс с загадочной улыбкой. — Да и потом, я помню, отец Иакинф, слова Марка Аврелия: страдать и терпеть есть жребий человека на земле.

— Я потому спрашиваю, что человек вы молодой и образованный, а в молодые лета и ум требует деятельности, и сердце полно чувствований.

— Да, вы правы, отец Иакинф. Человек тем более подвержен мукам, чем более он человек, ибо тем нежнее его чувства. Большая же часть людей, особливо тут, в Сибири, влачит жизнь, почти равную с четвероногими. Среди всегдашних забот о пище телу не много беспокоятся они другими предметами…

III

На другой день Иакинф спросил Павла Львовича, нк знает ли он, что за странный субъект встретился им вчера в доме

городничего.

— Вы имеете в виду учителя рисования? — спросил Шиллинг. — Да, личность и впрямь примечательнайшая.

— Мне он рассказал за обедом, что некоторое время провел в Шлиссельбургской крепости.

— Да какое там некоторое время, почитай, целых пятнадцать лет.

— Ого! Пятнадцать лет? Срок немалый. За какие же преступления его туда заточили? И кто он родом? На русского похож мало, я бы принял его скорее за англичанина.

— Вам нельзя отказать в проницательности, отец Иакинф. Он природный англичанин и есть.

— Да как же он в Россию-то попал и в крепости оказался?

— Ну, это целая история. И увлекательнейшая! Немало всякого порассказали мне про него в свое время и Егор Францевич Канкрин, и Александр Христофорович, и барон Врангель. Да и он сам. Я ведь вчера на первый раз видел его у Муравьевых. Родился он не то в девяносто седьмом, не то в девяносто пятом году, я уж запамятовал, в Москве, в доме содержателя московского театра, англичанина Медокса. И получил, судя по всему, приличное воспитание. Во всяком случае, свободно изъясняется и по-французски, и по-немецки, я уж не говорю про английский. Да и по-русски говорит легко и правильно, как вы могли убедиться. Я заметил, вы с ним за обедом немало беседовали.

— И рисует порядочно! Я видел его акварели. И в обращении довольно ловок. Как он с Прасковьей Михайловной любезничал и перед княжной Варварой мелким бесом рассыпался.

— Где он воспитывался и провел свои юные годы, право, не знаю, — продолжал свой рассказ Шилллинг. — Но барон Врангель, бывший военный губернатор на Кавказе, рассказывал мне, что в восемьсот двенадцатом году объявился он вдруг в центре тогдашнего управления Кавказом городе Георгиевске. Из столицы. Молод. На плечах блестящий мундир лейб-гвардии конного полка поручика. Отрекомендовался флигель-адъютантом Соковниным. Предъявил надлежащие документы. В бумагах, выданных ему на имя гражданского губернатора и в казенную палату, показывался он нарочито посланным для набора войска из черкес и разных других племен кавказского народа. Для снаряжения же сего войска и отправления его против Наполеона было будто поручено ему, Соковнину, требовать деньги из казенной палаты. Встретили его на Кавказе с распростертыми объятиями. Сами, рассказывал Врангель, рвались на борьбу с супостатом, как же было не помочь молодому и столь

энергичному офицеру. Тем более поручик сообщил доверительно, что командирован по высочайшему повелению. Барон Врангель, хотя и не имел прямого предписания от своего начальства, распорядился выдать Соковнину десять тысяч рублей для помощи в снаряжении Кавказскогорского ополчения. Командующий войсками генерал Портнягин старался не отстать от губернатора в своем усердии. Разослал воззвания на местных наречиях к кавказским князьям и сам вызвался сопровождать Соковнина в объезде Кавказской линии, показывал ему все кавказские крепости, устраивал смотры войскам.

Да и сам Медокс действовал, по-видимому, весьма энергически. По его рассказам, сумел склонить в службу его величеству весьма знатных на Кавказе особ — султана Арслан-Гирея, родного племянника последнего крымского хана Шагин-Гирея, прямого потомка Чингисова, князя Раслам-бека, и кого-то еще он мне называл, уже не помню.

Между тем казенная палата засомневалась в законности распоряжений губернатора и представила подробный доклад в министерство финансов. Туда же поступили донесения о выдаче разных сумм Соковнину из Тамбовской, Ярославской и из других казенных палат. И понятное дело, в министерстве всполошились. Вскоре барон Врангель получил предписание задержать самозванца и отправить под надежной охраной в столицу. На допросе тот сознался, что фамилия Соковнин вымышленная, и назвался сначала Всеволожским, а затем князем Голицыным. И только уж много позже выяснилось, что на самом-то деле он — Медокс.

— Прямо-таки авантюрный роман, да и только! — усмехнулся Иакинф.-- Ну и что же дальше?

— Обстоятельства доложили покойному государю, и, обычно столь мягкий, он так разгневался, что приказал заключить самозванца в крепость навсегда "для воздержания от подобных поступков". Вот так и оказался он поначалу в Петропавловской, а потом и в Шлиссельбургской крепости.

— Как же он теперь в Иркутске-то объявился?

— Ну, после смерти императора Александра подал он всеподданнейшее прошение о помиловании и года полтора назад был освобожден из крепости. А как он тут, в Иркутске, очутился, право, не знаю, — заключил свой рассказ Шиллинг. — Числится он в рядовых, но одет в статском и живет на частной квартире.

— Да, гистория прелюбопытнейшая, ничего не скажешь, — опять усмехнулся Иакинф. — Но что же его подвигнуло на такое необычайное предприятие?

— Я и сам про то его расспрашивал. Уверяет, что двигали им

самые благородные побуждения. Я, говорит, сын доброго англичанина и с самого детства питался ненавистью к Бонапарту. А от многого чтения при романтическом воображении дышал я в юные лета духом Плутарховых героев. По собственному его признанию, он решил повторить подвиг Жанны д'Арк. Вам может показаться странным, рассказывал он мне, как это юноша, а мне тогда едва исполнилось семнадцать лет, решился на свой страх и риск составить войско из кавказцев. Но вспомните, что простая деревенская девушка Жанна д'Арк, назвавшись посланницею бога, предводительствовала в битвах и освободила Орлеан от осады. Правда, в награду ее сожгли живую, но потом-то чтили наравне со святыми. Или, возьмите, простой нижегородский мясник Кузьма Минин. Поверьте, барон, говорил мне Медокс, имея ум и деньги, можно успеть во многом. Минин на площади принес в жертву отечеству коробку жениных нарядов, по его примеру явились груды богатств, и он через то сделался, так сказать, государственным казначеем.

— Вы верите, барон, тому, что он рассказывает? — спросил Иакинф.

— Да как вам сказать? Бог его знает. Конечно, может, он объясняет свои поступки так, чтобы войти в доверенность, произвести благоприятное впечатление. Но все-таки как то жалко беднягу. Подумать только — пятнадцать лет крепости, а теперь — Сибирь. Он так обрадовался встрече со мной. Со слезами на глазах просил, не могу ли я помочь ему в возвращении в Россию. Я, говорит, хотевший, подобно Гомерову Юпитеру, достигнуть края вселенной, очутился на одной из самых низших ступеней человечества.

— И вы по доброте своей обещали ему помочь, не правда ли? — улыбнулся Иакинф.

— Сказал, что подумаю. Может, и в самом деле написать Александру Христофоровичу? Право, жаль беднягу.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

I

Павел Львович ввел Иакинфа в дом Муравьева, а Иакинф познакомил Шиллинга с Игумновым, с которым, правда, Шиллинг уже состоял в переписке.

Сам-то Иакинф и Игумнов были знакомые старые — еще со времен памятного головкинского посольства.

За время пребывания в Иркутске Иакинф редкий день не

бывал у Александра Васильевича. Он и у Иношнной-то поселился, чтобы быть к нему поближе.

Познакомились они, когда, по приезде в Иркутск пышного посольства графа Головкина, Игумнова определили к нему в переводчики. Для посольства это была сущая находка: лучшего знатока монгольского языка и Монголии во всей России, да и в Европе, сыскать было мудрено. Монголистом он был милостию божиею, да и потомственным к тому же. Еще дед его служил смотрителем караванов, отправлявшихся в Ургу и Пекин. И отец его, бессменный переводчик Пограничного правления в Кяхте, трижды исправлял должность пристава, сопровождавшего наши духовные миссии в Пекин — в тысяча семьсот семьдесят первом, восемьдесят первом и девяносто четвертом годах. Да и сам Александр Васильевич трижды побывал в Пекине, бессчетное число раз в Урге, а о наших бурятских степях и говорить нечего — исколесил и обскакал их вдоль и поперек. Он и родился-то в юрте, на границе, и первые годы детства и юности провел между монголов и бурятов, и одевался, как они, и говорил на монгольском языке лучше, нежели на своем природном. Александр Васильевич со смехом признавался, что и до сих пор баранину предпочитает он хлебу. И сам Иакинф, и Потоцкий, и Клапрот восхищались тогда неистощимыми его познаниями. Да и бравым видом тоже — был он тогда молодец молодцом: ростом высок, плечи — косая сажень, черный глаз из-под дуговатой брови глядел по-орлиному. Да и то сказать, ему тогда и сорока пяти не было.

Последний же раз видел его Иакинф, и то мельком, осенью двадцать первого года, когда проезжал через Верхнеудинск на возвратном пути из Пекина. Был он тогда не у дел. Человек характера независимого и беспокойного, самоотверженно выполняя важные и нередко щекотливые препоручения начальства в Забайкальском крае, он и от других требовал честности и бескорыстия, смело обличал чиновников, принимавших службу в Забайкалье за аферу, место — за счастливый случай нажиться. Правдолюбие его не было такого рода, что проходит с первым седым волосом, с чином, с женитьбой, с появлением детей: оно было у него в крови. И естественно, что он нажил себе недоброжелателей и даже врагов самых яростных. Человек неподкупный, он был оклеветан пред сибирскими губернаторами и, несправедливо гонимый Трескиным и Пестелем как "супротивник, зазнаешка, китайский мандарин", а в сущности неустрашимый обличитель их собственных темных делишек, был вынужден оставить службу. И хоть к тому времени уже восемнадцать лет состоял на

государственной службе и дослужился до чина надворного советника, Трескин не только уволил его "без мундира и пенсии", но и под суд отдал. Об этом Иакинф с гневом писал в свое время канцлеру с китайской границы, за что сам же и поплатился.

Не имея ни пособия от правительства, ни состояния, Александр Васильевич, однако ж, не унывал. Уехал назад в Верхнеудинск, обзавелся там хозяйством: сажал табак, косил сено, пахал землю, рубил дрова и все свободное время отдавал любимым своим занятиям — продолжал исподволь составлять большой монгольский словарь-корнеслов, начатый им еще тридцать лет назад, когда никто в Европе и не помышлял о таком, составлял монгольскую грамматику, тоже первый в Европе, пополнял свое монгольское и тибетское книгохранилище, собирал и переводил бурятские сказания.

Верные его друзья-буряты не оставляли его и в эти самые для него черные дни. Они предложили ему обучать своих детей по-русски и по-монгольски. Не без труда испросил он у иркутского начальства дозволение открыть частное училище для бурят, и, когда в двадцать первом году Иакинф проезжал через Верхнеудинск, училище это начинало уже свой десятый учебный год. Как бы в отместку за гонения, которым подвергался сам, Игумнов считал своим долгом отыскивать и ободрять юные таланты. И немало потом встречал Иакинф в Забайкалье людей, которые признавались ему, что именно старику Игумнову обязаны они охотою к учению и образованием.

Только после отстранения Пестеля и Трескина и назначения генерал-губернатором Восточной Сибири Сперанского судимость с Игумнова была снята, и он был вновь призван на государственную службу. В двадцать втором году, уже после отъезда Иакинфа в столицу, Игумнов был возвращен в Иркутск и даже получил один за другим следующие чины — коллежского, а затем и статского советника.

Разумеется, тотчас по приезде в Иркутск Иакинф возобновил старое знакомство. Александра Васильевича узнать было трудно. Былой молодец стал старик стариком — так согнули и сморщили его годы гонений и невзгод. Но ревность к науке, благородство и прямота характера остались в нем неизменными. А стоило только Иакинфу заговорить о милой его сердцу Монголии, о монгольских его упражнениях, как чуть потускневшие, но все еще живые глаза старика засветились совсем по-молодому.

Иакинф подарил ему свои захваченные из Питера книги — "Записки о Монголии", "Описание Тибета", "Историю первых четырех ханов из Дома Чингисова". Игумнов был растроган.

— Вот уж спасибо так спасибо! Лучшего подарка вы мне,

старику, и придумать не могли, — говорил он, бережно листая книги, а затем принялся расспрашивать Илклнфа об его ученых занятиях и планах, об академии, о Тимковском, с которым познакомил его в свое время Иакинф, о Петербурге. Единственный раз он побывал в столице еще сорок пять лет назад и с тех пор не только в Россию, но и никуда западнее Иркутска не выезжал.

Иакинф рассказал об интересе, который проявляют нынче в Петербурге к Монголии, Китаю и вообще странам Востока, об академике Шмидте, который почитается в столице светилом монголистики, хотя изучал монгольский в калмыцких степях, а настоящей Монголии и в глаза не видывал. Рассказал он и о составленном им с Сенковским проекте учреждения восточного факультета при столичном университете и что он не видит человека, более достойного занять кафедру монгольского языка, нежели он, Игумнов.

— Ну, отец Иакинф, куда там мне! — замахал руками Александр Васильевич. — Одна нога уже в могиле. Осенью семьдесят стукнет. Сбросить бы годков эдак с десяток, тогда другое дело. Прежде-то мог сутками без устали по степи скакать, а теперь, поверите ль, прогулка до Ангары утомляет. А тут ведь одна дорога до Петербурга больше шести тысяч верст. Нет, это уже не для меня. Буду, пока силенки еще есть, тут вьюношей любознательных монгольскому языку обучать, авось кто из них и продолжит мое дело.

Иакинфу рассказывали, что как только Игумнов вернулся в Иркутск, он убедил тутошнего архиерея Михаила, сменившего на кафедре епископа Вениамина, открыть класс монгольского языка в семинарии и вот ужэ седьмой год, совершенно безвозмездно, обучает он семинаристов монгольскому языку и словесности. Сверх программы, на доброхотных началах.

— Однако ж, как говорится: Магомет не идет к горе, так гора идет к Магомету, — усмехнулся Игумнов. — Вы, наверно, слыхали, отец Иакинф, Казанский университет надумал открыть класс монгольского языка, и летось ко мне на выучку двух своих питомцев прислал — кандидата Ковалевского и действительного студента Попова. Какие это даровитые молодые люди, если бы вы только знали! Особливо господин Ковалевский. Соображения самого острого. Все на лету схватывает. Признаюсь, я просто ожил с их приездом. Занимался с ними, можно сказать, с наслаждением. Вот кого хотел бы я сделать преемниками всего, что сам знаю о Монголии. Я уж было решил тряхнуть стариной и нынешней весной съездить с ними за Байкал для практических упражнений в монгольском языке в бурятских аилях. Да вот

проклятая поясница не пускает. Но ничего, за зиму они довольно у меня поднаторели, чтобы самим с бурятами да монголами объясняться.

Иакинф сказал, что он тоже решил, хоть и под старость лет, восполнить свои пробелы в монгольском языке.

— Поначалу-то я и за монгольский и за маньчжурский принялся. Да мои китайские сяньшэны в Пекине отговорили. Уверили меня, что и монгольская и маньчжурская словесность состоят по преимуществу из произведений, переведенных с китайского. Вот я все свои усилия на китайском и сосредоточил. И все мои работы касательно Монголии и вообще Средней Азии на переводах и обработке китайских источников основаны. Но теперь я все больше убеждаюсь, что, когда пишешь о Монголии, без основательного знания монгольского не обойтись.

Игумнов одобрил его намерение и с готовностью согласился взять на себя руководство его монгольскими упражнениями.

Когда на другой день Иакинф пришел к Игумнову, он со смущением узнал, что, стараясь облегчить ему занятия и готовя необходимые пособия, старик не спал всю ночь. Зато он снабдил Иакинфа и написанными им самим разговорами на монгольском языке на самые разнообразные сюжеты, и образцами официальных бумаг, и переведенными на монгольский язык главами Евангелия, и историей о Гэсэр-хане, прославленном монгольском витязе, которая, по словам Игумнова, является образцовым творением монгольской словесности, и, наконец, составленной им, хотя и не совсем еще оконченной, монгольской грамматикой.

В тот же день они начали практические занятия, и с тех пор Иакинф почти каждый день приходил к Игумнову и для упражнений и так, поболтать по-дружески.

Старик поделился как-то с ним своей тревогой.

— Вот все думаю, отец Иакинф, что же будет, как помру…

— Ну, что за мысли приходят вам, право! — сказал Иакинф возмущенно.

— Да как же им не приходить? Сами знаете, да и в Священном писании сказано: "Дней лет наших — семьдесят лет". Наследников мужского пола у меня нету. Сыном бог не сподобил. Одни дочки рождались, и тех давно замуж повыдавал. Живу один, со старухой. И вот все думаю, что же будет с библиотекой-то моей монгольской? Всю жизнь ее собирал. А ведь растащат. Видит бог, налетят все кому не лень и растащат. А зимой получил я письмо от барона Шиллинга фон Капштадт. Пишет, что готов купить мои монгольские книги. Я вроде согласился и даже реестр ему выслал, а самого сомненье берет.

— А чего же тут сомневаться? Уж ежели кому и продавать библиотеку, так именно барону Шиллингу. Он найдет ей самое лучшее употребление.

И Иакинф принялся рассказывать Александру Васильевичу о Шиллинге, какой это замечательный человек и превосходный ученый, какую уникальную коллекцию восточных книг и рукописей сумел он собрать, даже живя в Европе.

— Он и нынче-то сюда едет, чтобы объездить бурятские дацаны, обследовать их книгохранилища и составить собрание монгольских и тибетских книг. Ежели уж решились расстаться со своими книгами, так лучшего покупателя вам не сыскать.

Несколько раз заговаривали они потом о Шиллинге и под конец Александр Васильевич сказал:

— Ах, отец Иакинф, прямо камень вы с моей души сняли.

II

В один из первых же дней по приезде Шиллинга в Иркутск Иакинф повел его к Игумнову.

Александр Васильевич встретил дорогих гостей со слезами радости.

Высокий, плечистый, уже присогнутый годами, с усталым лицом, но все еще полными жизни глазами, хотя он и доканчивал свой седьмой десяток, Игумнов не знал куда и усадить Шиллинга — столько был наслышан о нем от Иакинфа.

Старик был исполнен самого сердечного гостеприимства. Он решил угостить почтенного гостя из столицы на монгольский манер. Ради такого случая был заколот молодой барашек, Шиллинг восседал за столом, как толстобрюхий будда Майтрейя, один из самых добродушнейших и привлекательных божеств буддийского пантеона. Порасстегнув нижние пуговицы жилета, подогнув рукава белоснежной сорочки, он с вожделением брал в руки, как и полагалось по-монгольски, жирные куски баранины и отправлял их в рот, покрякивая от удовольствия и похваливая непривычное кушанье. Как всегда, он был весел, непередаваемо остроумен, очаровательно непосредствен.

Когда трапеза окончилась, Шиллинг попросил хозяина показать его монгольское книгохранилище. При этом он поразил Игумнова своей осведомленностью, знанием и монгольской и тибетской письменности, той бережностью, с какой он брал в руки редкие сочинения. Старик был очарован. За ценой Шиллинг не стоял и согласился на условия, предложенные Игумновым. Сделка была заключена в тот же вечер. Только с некоторыми, наиболее дорогими ему сочинениями Игумнов не мог расстаться

и оставил их у себя.

Они провели в Иркутске еще две недели и частенько наведывались к Игумнову. Тот встречал их с неизменным радушием. Приезд Ковалевского и Попова, а теперь вот Иакинфа и Шиллинга приободрил старика. Он даже вроде помолодел и чувствовал прилив новых сил. В беседах со столичными гостями он отводил душу, а они нашли в почтенном старце неисчерпаемый кладезь самых любопытных сведений. Это была будто живая ходячая энциклопедия всего, что касалось не только монголов и бурят, но и Забайкальского края в целом. Он признался, что еще в молодые годы вел обстоятельную летопись всего занимательного, что происходило в Восточной Сибири на его глазах. Но потом молва, распускаемая недругами, что он записывает происшествия, дабы подать ябеду, так его разгневала, что он сгоряча бросил свои записки в огонь. А теперь жалеет. И вот нынче опять принялся за них и пишет уже по памяти. К счастью, память у него еще, слава богу, свежа, и длинный ряд событий последних пятидесяти лет у него всегда перед глазами.

Много любопытного порассказал им Александр Васильевич. Их особенно интересовали наблюдения старика за жизнью и обычаями монгольскими. Иакинфа всегда занимало, чем же разнятся российские буряты от монголов заграничных. При всей схожести языка и народного типа есть у них и немало различий.

Выслушав его, Игумнов сказал, что знает одну любопытную легенду о происхождении бурятов, которую не раз слышал от прибайкальских стариков.

— Так расскажите, расскажите же, Александр Васильевич, — попросили его в один голос Иакинф и Шиллинг.

— Ну так и быть, слушайте. В древности, в незапамятные еще времена, тут, в сих краях прибайкальских, жил славный витязь. Не было ему равных окрест, ни по имени, ни по множеству разного рода стад, ни по природным силам своим, ни по уму. Звали его Баргу. Кочевал он с семейством и со стадами своими на южных берегах Байкала. И имел сей Баргу трех сыновей. Старшего звали Олюдой, среднего — Бурят, меньшего — Хоридой.

Когда дети подросли и возмужали, и свойства и нравы их сделались видны отцу, призвал он сынов своих и дал им такой наказ. Старшему из сыновей, витязю смелому, пылкому и бесстрашному, повелел удалиться в такую страну, где мог бы тот удовлетворить своим склонностям и прославиться между окрестными племенами, потому как родной край, где сын был взращен и воспитан, не мог уже предоставить достаточно пищи

пылкому его характеру. Олюд_о_й принял повеление сие с достодолжным к состарившемуся родителю почтением и собрался в путь далекий.

Избрал Баргу из богатырской сбруи своей самые лучшие доспехи — шлем и панцирь, кольчугу и меч, лук тугой со стрелами калеными — и все сие возложил на него и благословил на превозможение всех бед и невзгод в пути и на победу над всяким противуборником, который осмелится только воспротивиться сильной и искусной руке его. Сверх того наделил Баргу старшего сына из лучших своих коней самыми удалыми и быстрыми, и часть прочего скота выделил — для достаточного продовольствия семейства его.

Попрощался Олюдой с отцом и братьями и отправился в путь далекий. Много разных гор перевалил он, озер обогнул, рек переплыл, держась все юга да запада. И остановился наконец у Алтан-Хангайского хребта. И стали стада его пастись в изобильных травою прекрасных долинах неизмеримой степи Гобийской. Сделавшись самовластным владетелем края сего, назвал он и весь народ по имени своему — олюдами. Народ сей впоследствии времени сделался славным и грозным завоеваниями своими в Монголии и по всему Туркестану и Бухарии и дальше на запад, был страшен своим соседям и уважаем от самых отдаленных племен и народов.

Второй и средний сын Баргуев, по имени Бурят, что значит Упорный, имел нрав тихий и притом больше склонности и охоты к мирному труду и хозяйству домашнему. Престарелым отцом своим был он отменно любим за то и за разные к себе предупреждения и угождения. По сим любезным свойствам и достоинствам среднего сына старый Баргу оставил его при себе в кочевьях прибайкальских, отдал ему в наследство все стада свои, с тем завещанием, чтобы жил он мирно, был по старости его всех богатств отческих хозяином и поил его выгнанным из кобыльего молока вином, как лучшим и приятнейшим напитком, а потомки его, Бурята, питались бы от скотоводства, жили бы смирно, спокойно и в изобилии. От сего и поныне буряты, названные так от главы рода своего, живут спокойно и в довольстве, не занимаясь воинскими упражнениями и бранелюбивыми забавами.

Третьему и последнему сыну своему, Хоридою, как охотнику более до звероловства, нежели до хозяйства, дал Баргу один только лук добрый да колчан со стрелами, дабы и сам он, по склонности своей, и потомки его питались и одевались промыслом зверя дикого, вели жизнь скитающуюся по гористым местам, по дремучим лесам. Отчего потомки Хоридоевы и по сю пору, переходя с места на место, довольствуются одною ловлею

зверей и нередко от худой ловли переносят холод и голод.

— А что, Павел Львович, сказочка и впрямь прелюбопытная, — сказал Иакинф. — И немало может она объяснить в обыкновениях двух соседних народов.

На прощанье Игумнов надавал им множество полезных советов, сказал, к кому можно будет обратиться за помощью и в Кяхте, и в Чикое, и в Сулуне, и в других бурятских дацанах. Шиллинг особенно поблагодарил Игумнова за рекомендованного им превосходного переводчика, молодого монгола из племени Цонголов. Тог отлично владел и монгольским, и тибетским, да и по-русски говорил изрядно, недаром несколько лет обучался в Верхнеудинске в училище Игумнова.

Расстались они друзьями. Старик даже прослезился.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

I

Из Иркутска выехали они тридцать первого июля 1830 года.

Ехали живописнейшим берегом Ангары. Для Иакинфа дорога была привычная, а Шиллинг глаз не мог отвести от тянущихся по сторонам гор, от красавицы Ангары, стремительно катящей свои прозрачные воды меж скалистых берегов. То и дело он приказывал вознице остановиться, чтобы полюбоваться видами, и впрямь восхитительными. Оттого-то шестьдесят верст от Иркутска до Никольской пристани на Лиственничном мысу ехали они часов восемь. А уж тут восхищению Павла Львовича и границ не было. Оторваться от открывшегося взору зрелища и в самом деле было мудрено. Сколько раз стоял Иакинф на этом мысу, а вот и сейчас стоит, зачарованный. Своенравная река стремительно вырывалась из Байкала. Почти по середине русла путь ей преграждала гранитная скала, возвышающаяся над водой сажени на две. Звали ее тут все Шаманским камнем. Вода вокруг него ревела и пенилась.

— Вот бы Александр-то Сергеич полюбовался! — сказал Иакинф мечтательно. — Что значат все пейзажи самых славных наших художников в сравнении с подлинниками их в природе! Там дивишься высокому искусству подражания, тут замираешь в невыразимом очаровании. И экая жалость — нету у Байкала и Ангары своего певца.

— Да-а, — согласился Шиллинг. — Может, вы, Владимир Дмитриевич, отважитесь? — отнесся он к Соломирскому. — Вы ведь тоже не чужды поэзии. Недаром все Байроном бредите.

— Нет, тут надобен Пушкин, если уж нет Байрона, — сказал тот и повернулся к Иакинфу. — Да, отец Иакинф, а отчего ее нарекли-то так — Шаманским камнем?

— Изволите ль видеть, буряты, следуя древнему обыкновению, спокон веку приносили тут жертвы, а о иных каких случаях и приводили заподозренных людей к присяге, — начал Иакинф рассказывать. За время пути он уже свыкся со своей ролью живого путеводителя, и добровольно принятая обязанность эта его не тяготила: слушатели были у него благодарные. — По суеверным представлениям ихним, в сем камне пребывает дух могучего Бэгдзея. И онгон сей (так духов они именуют) жестоко наказывает клятвопреступников. Как? Низвергая в пучину! А там ждет их смерть неминучая. Сами изволите видеть.

— Какой поэтический вид пытки! — воскликнул Соломирский.

— Да-а, перед лицом эдакой пучины не рискнешь покривить душой, — проговорил и Шиллинг.

— Натурально, что грозный вид сей скалы, окруженной со всех сторон эдаким яроводьем, и сила древнего суеверия ввергали бедных кочевников в священный трепет, — продолжал Иакинф, — вот шаманы ихние и облюбовали издревле сей камень для своих закланий и радений. Отсюда, полагаю, и название.

Байкал с Лиственничного мыса предстал им сегодня во всей своей суровой красе. Иакинфу не раз приводилось видеть его и совершенно иным — спокойным. Недвижная вода, как прозрачнейшее стекло, не таила тогда от глаз своих бездн. Сегодня он ярился. Тугая, не озерная, а истинно морская волна била о берег.

Иакинф заметил внизу, на каменистой отмели, дымок костра. На кольях сушились сети.

— А что, Павел Львович, может, спустимся вниз? Видите, рыбаки сети сушат. Авось байкальской ушицей попотчуют.

Павел Львович и Соломирский согласились охотно.

Иакинфа удивило, с каким проворством тучный Шиллинг спустился по крутому склону.

На берегу небольшой бухточки, где покачивался рыбачий баркас, почти у самого обреза воды, горел костер. Ветки были сухие, и он почти не дымил. Только легкий дымок струился вверх, да дрожал над пламенем нагретый воздух. Вкруг костра сидело четверо рыбаков, с дочерна обветренными лицами. На перекладине над костром висел видавший виды казан. Двое рыбаков острыми кривыми ножами разделывали огромную, еще трепещущую рыбину; на сизой ее чешуе светлыми бликами плясало пламя. Двое других пекли на рожне омулей. Продетые на

заостренную деревянную рогатину омулевые тушки покрывались сверху золотистой корочкой, жир из разрезов внизу капал в огонь и вспыхивал желтыми звездами.

— Здравствуйте, люди добрые, бог на помочь, — сказал Иакинф. — А не примете ль нас в свое компанство?

— Отчего ж не принять? Места хватит. Милости просим, отец Абросим, и вас, господа честные, — сказал старший из рыбаков, коренастый, крутоплечий мужик с кудреватой черной бородой, чуть прихваченной, словно изморозью, сединой, и тронутым следами оспы лицом. — Прошу, прошу к нашему грошу да со своим пятаком, — улыбнулся он, и черные, раскосые, будто свирепые даже, глаза его потеплели.

— Был бы грош, а пятак найдется. Да для-ради компанства и монах женился, — ответил в тон ему Иакинф, вытаскивая из сумы, что он прихватил из брички, два граненых полуштофа. — Пошли-ка, добрый человек, поостудить.

— Я сразу углядел: компанейщики из вас хоть куда, — сказал старшой и кивнул самому молодому из рыбаков, высокому парню лет двадцати на вид. Тот взял у Иакинфа бутылки и погрузил на дно, придавив камнем.

Скоро вода в казане забулькала, красная рыба разваривалась, заполняя котел. От доспевающей ухи пошел такой дух, что Иакинф даже зажмурился от предвкушения удовольствия.

Старшой роздал гостям деревянные ложки. Руки у него были широкие, почти квадратные, иссеченные глубокими трещинами, — руки настоящего байкальского чалдона. Отыскались у рыбаков и берестяные чарочки. Обязанность чарочника принял на себя Иакинф. Все дружно выпили, закусили свежеиспеченным омулем и принялись за обжигающе горячую, сдобренную неведомыми таежными кореньями и китайским перцем уху. Котелков у рыбаков нашлось только два — для Шиллинга и Соломирского. Иакинф и остальные хлебали из общего котла деревянными ложками.

Иакинфу казалось, что никогда еще не едал он ничего вкуснее, и он неодобрительно поглядывал на сидящего насупротив Соломирского, который брезгливо вылавливал из своего котелка какие-то призрачные соринки. Зато Шиллинг только покрякивал от удовольствия, шумно хлебая уху. Еда была для него род сладострастия. Он наслаждался ею, как иной наслаждается любовью.

Между тем Иакинф быстро отыскал с рыбаками общий язык. Две-три к месту сказанные шутки, два-три заданных вскользь вопроса, и они разговорились, как старые знакомцы. Шиллингу нравилась в Иакинфе эта черта: он и сам быстро сходился с

людьми разного состояния. Узнав, что рыбаки промышляли омуля по ту сторону Байкала, Иакинф спросил, какова там погода.

— Худо нынче, батюшка, за Морем, — отвечал рыбак. — Не то что лонись {Лонись — прошлый год (сибирск.).}. Дожди заладили. Реки вздуло. Жди потопа. А тожно {Тожно — тогда (сибирск.).} беда — без омуля останешься.

— Я вот все слышу: Море да Море, — сказал Шиллинг. — А откуда ж ему название-то такое пошло — Байкал?

— Кто ж его знает? — сказал рыбак. — Мы-то все, чалдоны, опричь Моря никак его не зовем. Море да Море, и все тут.

— Трудно ответить вам определительно, Павел Львович, — вступил в привычные свои обязанности Иакинф. — Я сам про то много разных людей распытывал. Монголы, с которыми мне приводилось беседовать, сказывали, что название сие состоит из двух слов — "бай", что значит по-монгольски "стой", и "гал" — "огонь". Значит, это можно вроде бы так перевесть: "остановившийся, погасший огонь или вулкан". Старики-монголы, да и буряты тоже, рассказывают, будто когда-то давным-давно, в незапамятные времена, когда и людей-то вокруг не было, находилась тут, где теперь вот Байкал плещется, огромная огнедышащая гора. Из самых недр земных извергала она пламя до-небу. А потом земля вокруг возьми да и провались, и образовалась на месте горы пропасть бездонная. И все реки сибирские в нее устремились. Ведь в Байкал десятки, да что там десятки, сотни разных рек и речек впадают, а вытекает только одна — Ангара. Вот огромная пропасть сия и составила ложе Байкалу. Оттого-то и нарекли его так — Бай-кал.

— А вот якуты, батюшка, те инше его прозывают — Байкуль, — сказал рыбак.

— Да как же, слыхал, слыхал, — подтвердил Иакинф. — В прямом переводе с якутского это значит "обширное, или обильное, озеро".

— Ну, это, видимо, от обширности пространства, им занимаемого, и от богатств его. А интересно, как китайцы его называют? — спросил Шиллинг.

— Бэй-хай — значит Северное море.

— По отношению к ним оно действительно северное. Но море, все-таки море! Вот что любопытно.

— Да и монголы, и буряты чаще морем его величают — Далай-морем, то есть Святым или Священным.

— Священное оно и есть, — согласился рыбак. — Круглый год им одним, можно сказать, кормимся. По-лету омулей, сигов да осетров в ём ловим, а по-зима морского зверя на льду бьем.

— А вообще-то с морем общего у него, правду сказать, мало, — продолжал Иакинф. — Ни приливов, ни водорослей морских. И вода пресная. Но вот размеры, глубина. И опять же тюлени водятся, которых тут нерпой или просто морским зверем зовут.

Вдоволь налюбовавшись Байкалом и подкрепившись ухой, они проделали берегом еще шестьдесят верст, чтобы завтра поутру погрузиться на дощаник и переправиться на другой берег Байкала в самой узкой его части — у пристани Голоустной.

К утру погода поиспортилась. Пошел дождь, ветер усилился. И все-таки для ускорения пути Шиллинг решил переправляться на дощанике, а не огибать, как уговаривал Соломирский, южную оконечность озера посуху — по только что проложенной Кругоморской дороге. Владимир Дмитриевич взывал при этом к авторитету генерал-губернатора Восточной Сибири Лавинского, который только что обследовал новую дорогу и остался ею доволен. Но Иакинф поддержал Шиллинга.

Поутру, чуть свет, погрузились на судно. Море было неспокойно. Зарядил дождь, дул крепкий шелонник, и их дощаник все время относило к северу. Чтобы преодолеть расстояние в пятьдесят пять верст, им потребовалось почти двадцать часов, и они причалили к пристани уже затемно, при свете факелов.

II

Забайкальский край встретил их неприветливо. Байкальский чалдон был прав. Последние дни июля в Забайкалье шли сильные перемежающиеся дожди, реки вышли из берегов, начался, как тут говорили, потоп. Первое-то время, правда, они ехали по отрогам Хамар-дабана, и вздувшиеся реки плескались далеко внизу. Но когда спустились к Селенге, Иакинф воочию представил себе, что за бедствие обрушилось на Забайкальский край. Река разлилась верст на двадцать. К четвертому августа, как рассказал им чиновник из Верхнеудинска, встреченный в пути, Селенга поднялась до двадцати четырех футов выше обычного уровня. Селения, расположенные по Селенге и в устьях ее притоков, оказались большей частью потоплены или даже начисто снесены водою. Жители прибрежных селений, никак не ждавшие такой высокой воды, успели угнать только скот, а сами, побросав жилища, перебрались в юрты и шалаши по горным возвышенностям.

Тут, на последней перед Верхнеудинском станции, Шиллингу и его спутникам пришлось расстаться с экипажами и, перегрузив

кладь в плоскодонный баркас, добираться до Верхнеудинска, как тут говорили, вплавом. Едва торчащие из воды верстовые столбы показывали направление пути. Верхнеудинск был по колено в воде. По улицам из дома в дом плавали на лодках или сколоченных на скорую руку плотах.

На соборной площади, к которой они пристали, им встретился крестный ход. Жители Верхнеудинска, отроду не видавшие подобной напасти, вынесли образа и служили на площади, к которой тоже подбиралась вода, молебствие о спасении города. Над Верхнеудинском плыла тревожная медь колоколов всех четырех его церквей.

С помощью по счастливой случайности встреченного в пути чиновника, человека любезного и распорядительного, они быстро устроились на ночлег и, переменив платье, в тот же вечер нанесли визит городничему.

Тот только что вернулся с молебствия, и они нашли его в состоянии весьма озабоченном. И все-таки, верный обычаям сибирского гостеприимства, он усадил их за стол и принялся потчевать превосходно очищенной водкой местного производства; как он сказал, заметив, что она пришлась гостям по вкусу, свежепросольным омулем и краснорыбицей отменного, как признал Иакинф, посола.

Гости почли долгом выразить сочувствие по поводу постигшего уезд несчастья.

— Ах, и не говорите, господа, — вздыхал городничий. — Бедствия, причиненные этим потопом, трудно себе даже представить. И не только уезду, но и целому краю. Все хлеба, посеянные близ разлившихся рек, от самой китайской границы до Байкала потеряны. Я уж не говорю про сенокосы. То, что скошено, унесло водой, а оставшееся на корню затянет илом. И в довершение всех бед должно присовокупить еще и потерю омуля. Обычно-то лов омуля в Селенге открывался как раз об эту пору — в конце июля, в начале августа.

— А омуль ваш действительно выше всяких похвал, — счел нужным отметить Шиллинг.

— У нас ведь это не лакомство, а, можно сказать, коренная пища. Вам-то, барон, это, может, и неизвестно, а вот отец Иакинф — старый сибиряк и, должно, хорошо в сем осведомлен. Спокон веку так. Не только тут за Морем, но и во всей Иркутской губернии.

— Как же? Превосходно знаю, промысел сей всегда доставлял пропитание тысячам людей, живущих по берегам Селенги да и во всем Прибайкалье. И лучший омуль, заметьте, Павел Львович, не байкальский, а именно селенгинский.

— А нынче вода так поднялась, что тут уж не до омуля.

— Отчего ж такое наводнение приключилось?

— Кто его знает! И старожилы-то местные такого потопа не упомнят.

— Слыхал я, в западных областях Китая случилось в минувшем месяце сильнейшее землетрясение. Уж не тому ли землетрясению китайскому потоп сей одолжен? — высказал догадку Иакинф.

— Все может быть, — согласился городничий. — Все может быть. Во всяком случае, такого паводья у нас еще не бывало.

Иакинф принялся расспрашивать городничего про его город. Он обещал Сомову непременно написать о забайкальских городах в "Литературную газету" и потому пользовался малейшей возможностью, чтобы что-нибудь о них разведать.

Город Верхнеудинск был небольшой и с Иркутском не шел ни в какое сравнение. В нем едва насчитывалось три тысячи душ обоего пола, включая и младенцев. (А в Иркутске народонаселение к двадцати тысячам подбирается). Если не принимать в расчет тюремного замка и нескольких казенных домов, то из всех остальных четырехсот девяти домов, принадлежащих обывателям, только семь было каменных. Сам городничий жил в деревянном доме. И две из четырех церквей тоже были деревянные, хотя, по словам городничего, в городе и насчитывалось полтора десятка кирпичных заводов. Из других предприятий было тут семь кожевенных заводов, один мыловаренный, да спиртоводочный, продукцию которого они уже успели оценить по достоинству. Вот и всё. Остальное — это разные мелкие мастерские. И вообще в городе цеховых и мещан насчитывалось вместе с чадами и домочадцами чуть больше тысячи душ обоего пола.

— А кто же остальные жители? — расспрашивал Иакинф.

— По большей части чиновники разных ведомств и канцелярские служащие. Их вместе с семьями тут душ шестьсот наберется. Потом купцы и их приказчики. В городе у нас два гостиных двора и пятьдесят семь лавок, да еще пять питейных домов. Духовенства — два десятка. Ну и потом, не забудьте военных. Их тоже полторы сотни наберется, не считая жен и детей господ офицеров…

Как ни уговаривал городничий дождаться, пока вода спадет, они провели в Верхнеудинске всего два дня. Наняли две большие, хорошо просмоленные лодки и двинулись в Кяхту вплавом.

Это вносило в долгое их путешествие разнообразие, да и погода наладилась: дожди прекратились, ветер стих, выглянуло

солнце. Между противоположными цепями береговых гор сверкала ровная, без волн и ряби, поверхность воды. Путники залюбовались разливом. Справа берега совсем не было видно. Только там и сям прорывали зеркальную гладь какие-то темные пятна. Приглядевшись, Иакинф сообразил, что это торчат из воды верхушки тальников, обильно растущих, как он помнил, по островам и береговым долинам. Слева река, или, как им теперь казалось, — озеро, была окаймлена высокими скалами, как бы сложенными в допотопные времена какими-то азиатскими циклопами из толстых разноцветных пластов. Граниты — красные, черные, серые, желтые — сменялись шпатом и шифером, гнейсами и известняками, меловыми и песчаными.

Иногда скалы вздымались из самой воды отвесной стеной сажен на пятьдесят-шестьдесят, местами нависали над лодкой полусводами, скрывая от путников небо. А сверкнет луч солнца, и вся отвесная скала от воды до вершины загорится тысячью блестков всех цветов и оттенков.

Иакинф испытывал чувство щедрого богача, которому доставляло радость делиться со спутниками несметными своими сокровищами.

— Ей-богу, по временам просто жалость берет, Павел Львович, что мы не естествоиспытатели, — сказал Иакинф. — Сколько занимательных предметов может дать им Байкал и эти пленительные окрестности селенгинские!

— Да, да! Гумбольдта бы сюда, Гумбольдта! — соглашался Шиллинг. — А вы знаете, слоистое строение этих гор указывает, должно быть, что образовались они постепенно.

— Да, для Гумбольдта это было бы особенно любопытно. Но надобно и самим не плошать, — сказал Иакинф. — Я уж попенял в Иркутске Турчанинову и Щукину. Это же просто долг их, как людей местных и образованных, дать обстоятельнейшее описание здешней страны. И экая жалость, что лежит все это втуне! Но думаю все же, приведись нам, Павел Львович, попасть сюда лет эдак через полсотню, ведь не узнаем этих берегов, право слово, не узнаем!

Порой скалы отступали и сменялись пологими холмами, по склонам их видны были стада овец, табуны лошадей, да белелись там и сям небольшие скопления юрт.

А что за раздолье тут было для птиц! То и дело виднелись по сторонам выводки серых гусей и черных тюрпанов, вспархивали из воды у самого носа лодки, с добычей в клювах, бакланы. А вот величаво и неторопливо проплыла наперерез лодке чета белоснежных лебедей. И все это как бы развертывал перед спутниками Иакинф, будто добрый волшебник.

"Таню бы сюда, Таню! — думал он про себя. — Никогда ведь ничего подобного она не видывала".

III

В Селенгинск они приплыли уже под вечер. До Кяхты оставалось еще верст девяносто. Но на лодке — не на тройке, и Иакинф предложил заночевать и заодно нанести визит английскому миссионеру Роберту Уэйлю, который вот уже десять лет как поселился тут, на берегу Селенги.

— Какая же нелегкая его сюда занесла, за тридевять земель от родного дома? — спросил Шиллинг.

— Англичанин? Здесь, в бурятских степях? — не мог скрыть изумления Соломирский.

— Да, да, англичанин, самый что ни на есть природный англичанин. Вот Игумнов знаком с ним коротко. Он рассказывал, что и сам Уэйль и два его помощника — Члены Лондонского миссионерского общества. Поселился он тут с благословения князя Голицына и покойного государя.

Сначала один, а потом двое помощников. По словам Александра Васильевича, за эти годы Уэйль порядочно выучился монгольскому и тангутскому языкам. Усердно изучает тут нравы и обычаи бурятских племен и их шакья-муниеву веру. Так что, Павел Львович, встретиться с ним вам будет любопытно.

Разумеется, и Шиллинг, и Соломирский с воодушевлением приняли предложение нанести визит Уэйлю.

Дом английской миссии располагался на склоне сопки на противном берегу Селенги. Но река разлилась и подходила к самой ограде английской усадьбы.

Уэйль встретил негаданных гостей весьма приветливо. Говорил он по-русски изрядно, хотя, может быть, несколько деревянно и утомительно правильно. Оживлению хозяина немало способствовало и то, что Соломирский превосходно говорил по-английски. А Уэйль, кал выяснилось, одиннадцать лет не был в Англии и, конечно же, никак не ожидал услышать тут родную английскую речь.

Двухэтажный дом Уэйля был устроен на английский манер. Хозяин провел их в небольшую, но уютно обставленную гостиную, усадил в кресла, слуга-бурят затопил камин. В доме нашлась даже бутылка шотландского виски.

С большим интересом расспрашивал хозяин Шиллинга про его экспедицию. Когда Павел Львович сказал, что одной из самых сокровенных целей его является ознакомление с книгохранилищами бурятских дацанов, а если посчастливится,

так и приобретение Ганчжура, о котором в Европе знают только понаслышке, Уэйль отнесся к этому намерению гостя весьма скептически.

— О, мистер Шиллинг, это невозможно!

— Отчего же?

— Насколько я знаю, во всех ламаистских дацанах за Байкалом есть только три экземпляра Ганчжура. И ламы трясутся над ними, как над величайшей святыней. Даже близко к ним не подпускают. Один из этих трех экземпляров находится в храме Чикой, неподалеку от Кяхты. Чикойский монастырь приобрел его у одного бухарского купца за семь тысяч быков.

— Хм, неплохая цена, — усмехнулся Соломирский, — вы не находите, Павел Львович? Да, видно, придется вам раскошелиться! Эдакое стадо быков — и за что? Подумать только, за несколько книжонок, которые все равно в Петербурге никто прочесть не сумеет.

— Это не несколько книжонок, как вы изволили выразиться, Соломирский! — обиделся Шиллинг. — Ганчжур состоит из ста с лишком томов! Да будет вам известно, что это своеобразная энциклопедия буддизма, его вероучения и мудрости. Тантры, сутры, поучительные беседы Будды со своими учениками. Нет, это, разумеется, настоящее буддийское сокровище! Достать его — моя давняя мечта. Его нет ни в одной европейской библиотеке. Простите, мистер Уэйль, а остальные два экземпляра?

— Второй, как мне удалось выяснить, находится в дацане Бултумур, это в Тубунгутском улусе. И, наконец, третий, и, как мне говорили, самый лучший, отпечатанный в западнотибетском монастыре Нартанг в ста одном томе, хранится в дацане Субулин, на реке Онон. Должен сказать, мистер Шиллинг, что я побывал во всех трех монастырях, и не раз. Но все мои попытка только познакомиться с этими Ганчжурами встречала решительный отпор со стороны тамошних лам. Они, повторяю, так дрожат над этими святынями, что ни за что не согласились даже показать их.

Пользуясь присутствием просвещенных европейцев, Уэйль стал жаловаться на свою судьбу. Ламы, которые пользуются здесь таким влиянием, по словам Уэйля, настроены крайне фанатически. Всеми способами стараются препятствовать распространению в своих степях христианской веры. Уэйль рассказал, что он учредил гут училище для молодых бурятов и преподает им кроме российского и монгольского языков начальные основания математики (для этого он даже перевел на монгольский язык учебники арифметики и геометрии), а желающим также английский, греческий и латинский языки. Так вот ламы, проведав об этом и стремясь всячески отклонить юных

своих единоземцев от новой веры, препятствуют даже посещению училища.

— Их верховный жрец Хамбу-лама пригласил меня к себе, — рассказывал Уэйль, — он имеет пребывание в монастыре Тамчинтала на берегу Гусиного озера. Он принял меня весьма холодно. В присутствии своих ассистентов-гэлунов изволил заявить, что если я прекращу экспланацию моим ученикам Евангелия и лимитирую себя преподаванием лишь светских наук и языков, то никто не будет делать мне препятствий и число учеников у меня сразу возрастет. Но разве я могу на это согласиться? Главное, для чего мы сюда прибыли, есть проповедь среди идолопоклонников слова божия, обращение их в истинную веру.

— И сколь же вы преуспели на сем поприще? — спросил Иакинф с улыбкой. — Много ль бурятов приняло у вас христианскую веру?

— Пока ни одного человека, — с горечью признался Уэйль. — Но это все есть единственно вследствие противодействия лам. Их же тут едва ли не половина всей популяции! А юные буряты есть очень любопытные и смышленые. И я убежден, что в дальнейшем дело у нас будет более успешное. Я со своими ассистентами закончил трансляцию на монгольский язык основных частей Священного писания. Я выписал из Петербурга печатный станок, и мы приступаем к публикации Евангелия на монгольском языке. А я уже имел много случаев убедиться, что самый вид печатного текста действует на степных номадов магически. Псалтырь уже напечатан, и я рад сделать презент на память о вашем посещении.

Но Уэйль был занят не только проповеднической деятельностью. Зря времени он тут не терял. С гордостью показал собранные им коллекции буддийских книг и бронзовых идолов-бурханов. Вместе со своими помощниками он привел в алфавитный порядок маньчжуро-монгольский словарь и сопроводил его английским переводом и теперь составляет англо-русско-монгольский.

О своих занятиях по изучению нравов, обычаев и истории бурятских племен он говорил с увлечением. Следил он и за европейской литературой о Монголии. Иакинфу было приятно узнать, что и его труды Уэйлю известны. Через Петербург получает он из Лондона и новые английские издания.

— Вот на днях я получил из Лондона две интересные книги, изданные мистером Рекингом. Извольте взглянуть, вам они будут, вероятно, любопытны. На основании археологических раскопок и лингвистических исследований автор приходит к заключению, что некогда Северная Америка была заселена монгольскими

племенами. Из глубин Монголии они двигались к северу и переходили в Северную Америку. Найденные там кости животных, которыми пользовались монгольские племена во время своих завоеваний, свидетельствуют об этом. И вот взгляните, автор пишет, что между ста семьюдесятью словами аборигенов американского Севера три пятых очень похожи на монгольские, маньчжурские и тангутские.

Иакинф перелистал книжку и недоверчиво покачал головой.

— Простите, но чересчур уж боек ваш мистер Рекинг, — сказал он, возвращая книгу. — Произвольное сопоставление слов по внешнему созвучию может ух как далеко завести. Мистер Рекинг готов Америку монголами заселить, а вот молодой московский ученый господин Венелин в гуннах, кои по всем статьям предки нынешних монголов, славян распознал, а немецкие ученые и того чище: в горах Тайшаня среди усуней следы древних германцев отыскали. А в этих усунях и запаху-то германского не было. Вот к чему рискованные лингвистические сопоставления привести могут. Кошка по-маньчжурски кошко. Но воля ваша, отец Уэйль, следует ли отсюда, что россияне пришли в Европу с устья Амура, или тунгусы, то бишь маньчжуры, перебрались туда с берегов Днепра иль Волхова?

— Ну, а кости животных, служивших древним монгольским племенам в их частых и грозных походах, о которых говорят исторические анналы? Вы ведь сами эти анналы транслировали с китайского на русский.

— Летописи-то я переводил, да костей монгольских лошадей в Америке не видал! — сказал Иакинф.

Несмотря на эти споры у камина, а может быть, отчасти и благодаря им, они провели приятный и такой неожиданный вечер у Уэйля. Особенно привечал он Соломирского и даже разрешил Владимиру Дмитриевичу ощупать собственный череп.

Возвращаясь от Уэйля, Соломирский, едва ли не более страстный черепослов, нежели байронист, с восхищением поведал, что у Уэйля самая шишковатая голова изо всех английских черепов, которые ему привелось когда-нибудь ощупывать.

ГЛАВА ПЯТАЯ

I

По прибытии в Кяхту Иакинф поселился в доме знакомого купца Наквасина, а Шиллинг — у Баснина, одного из богатейших кяхтинских коммерсантов.

Кяхта и расположенный рядом Троицко-Савск (и тот и другой в просторечии исстари звали Кяхтой) много переменились с тех пор, как Иакинф впервые увидел их в начале века. Разрослись и расстроились. Домов он насчитал в городе никак не меньше восьмисот. И это без торговой слободы на границе. Построен был новый гостиный двор, две каменные церкви (одна еще достраивалась), и соорудили-то их по проекту столичных архитекторов! Выросла целая улица новых домов, хоть и деревянных, но весьма внушительных — с садами и даже фонтанами, правда, из-за недостатка воды, молчащими. По взаимному уговору с китайцами возведение каменных строений на границе, и с той и с другой стороны, было воспрещено.

Кяхтинские обыватели гордились своим городом, величали его Пограничною столицею, а Иакинф окрестил Забалуй-городком. Жили тут шумно и весело. Кяхта была единственным местом на границе, где разрешался меновой торг с китайцами. После Нижегородской и Макариевской ярмарок сюда съезжались купцы не только на Иркутска, но и из Тобольска, из Нижнего, из самой Москвы, а в остальное время от их имени торг вели оставленные ими приказчики или комиссионеры из местного купечества. Первогильдейские кяхтинские купцы (а только купцам первой гильдии и дозволялось вести оптовый торг с китайцами, и обороты их исчислялись не тысячами, а миллионами), да и пограничные таможенные чиновники, тоже умевшие погреть руки на меновой торговле, славились своим хлебосольством. Каждый считал долгом и честью залучить к себе столичных гостей. Город испытывал недостаток в воде, но не в шампанском. Оно лилось рекой. Его подавали тут не только к обеду, но и к завтраку. Игривый галльский сок пришелся по вкусу и сумрачным китайцам. Они нарекли его шаманским и, бывая в гостях у русских, предпочитали чаю, к которому успели приохотить сибиряков. Впрочем, чаем тут тоже не пренебрегали. Чашка ароматного чая ждала каждого посетителя в любой Китайской лавке, а березовые угли в ведерных самоварах в купеческих домах Кяхты не угасали с утра до вечера.

Воздав должное кяхтинскому гостеприимству в первые дни по

приезде, — а тут можно было неделями кочевать из дома в дом, — Шиллинг и его спутники изощрялись в изобретении благовидных предлогов, чтобы как-то, не обидным образом, уклониться от радушных и настойчивых приглашений, которые сыпались на них со всех сторон. А отбиться от них надобно было во что бы то ни стало: времени мало, а дел невпроворот. Ведь помимо выполнения обширных задач экспедиции и своих собственных ученых трудов, много сил приходилось отдавать Иакинфу обучению отъезжающих в Китай миссионеров. Ему хотелось преподать им основы китайского языка, чтобы они не барахтались на первых порах в чужом, иноязычном море, как слепые щенята.

Среди новых миссионеров выделялся, пожалуй, иеромонах Аввакум Честной, молодой человек лет двадцати пяти, немного болезненный, но ума острого и соображения быстрого. Объяснения он схватывал на лету и запоминал их, кажется, крепко. За него Иакинф был спокоен — и правил строгих, и китайскому языку в Пекине выучится. Правда, второй иеромонах Феофилакт Киселевский, хоть и окончил академию вместе с Аввакумом, но много уступал ему и в соображении, и в прилежании. Куда толковей был не кончивший курса иеродиакон Поликарп Тугаринов. Не то чтобы у него были особенные способности, но он постигал китайскую грамоту с завидным упорством. Неудачи его огорчали, но не смущали, день-деньской корпел он над упражнениями, десятки раз переписывал иероглифы, которые давал им Иакинф на уроках.

Помимо духовных лиц и двух студентов, прикомандирован был к миссии и лекарь, чего прежде не было и что тоже настойчиво рекомендовал Иакинф. Человек он был не без способностей и окончил в столице Медико-хирургическую академию. На год были прикомандированы и двое ученых — астроном Фус и ботаник Бунге.

Препровождал же новую миссию до Пекина и должен был привести в отечество старую подполковник генерального штаба Ладыженский, как выяснилось, старинный товарищ и приятель Погодина по гимназии. Это был высокий самоуверенный офицер лет тридцати, из тех, которые пользуются малейшей возможностью взглянуть на себя в зеркало, весь бравый вид его как бы говорил: "Экий я, право, молодец!" И бас у него был начальнически-жирный. Но человек он, вместе с тем, был неглупый и в меру ученый. Успел уже попутешествовать на своем веку, побывал в Бессарабии, в Болгарии и Валахии, много любопытного порассказывал о болгарах, как слезно просили они нас идти на Константинополь. Во всяком случае, от него, надо

полагать, Азиатский департамент может получить немало новых сведений о Монголии и о Китае. Это не Первушин, с которым Иакинф столько намучился.

Все они понимали, что без китайского языка в Пекине им придется нелегко, и потому занимались с усердием, что было Иакинфу по душе. Да и барон Шиллинг, собрав их у себя перед началом занятий, сказал, что им просто повезло, что первым учителем китайским к ним определен наш знаменитый хинезист, который до тонкостей изучил в Пекине китайскую грамоту и говорит по-китайски, как природный китаец.

Начальника в новой миссии не было. Он уже дожидался ее в Пекине. По словам Ладыженского, им был назначен по высочайшему соизволению иеродиакон прежней миссии Вениамин Морачевич — во внимание, как было сказано в указе, "к усердным его трудам и одобрительным о нем отзывам архимандрита отца Петра". Что ж, это, пожалуй, разумно. Десяти лет для совершенного познания такого языка, как китайский, недостаточно. Иакинф и сам в свое время не прочь был остаться в Пекине на второй срок, как ни тянуло его на родину.

Сопровождали миссию за границу также действительный студент Казанского университета Попов — до Урги и до Пекина — кандидат философии Ковалевский, который также вызвался посещать уроки Иакинфа. Так что составилось как бы целое училище.

Из всех его учеников самым способным показал себя именно этот, сверхштатный, Ковалевский. Звали его Осип Михайлович, был он высокий красивый мужчина лет тридцати, с горделивой осанкой природного шляхтича и упорством и трудолюбием истинного спартанца. Иакинф пожалел даже, что ехал Ковалевский в Пекин не на полный термин, а только на несколько месяцев, пока сменяются миссии. Сколько бы он успел, ежели бы провел в Пекине десять лет, как прочие! Но по предписанию высшего начальства он был прикомандирован к миссии для усовершенствования познаний в монгольском языке и приобретения книг на монгольском и тибетском для Казанского университета. Да и сам он увлечен был именно Монголией. Способностей он был редкостных. Когда позапрошлым летом они с Поповым приехали в Иркутск для занятий с Игумновым, ни тот ни другой монгольского языка не знали вовсе. А теперь он и объясняется с монголами свободно, и составляет монгольскую грамматику, и вот принялся за составление монголо-русско-французского словаря. Понятно, почему так восторженно отзывался о нем старик Игумнов.

За два года Ковалевский исколесил бурятские степи, посетил

чуть не все ламаистские дацаны за Байкалом, даже в Ургу сумел съездить. Из этих поездок он вывез наблюдения интереснейшие. Иакинф посоветовал ему составить сравнительную таблицу бурятских и монгольских наречий, чтобы показать сродство этих двух соседних народов. Мысль эта Иакинфа давно занимала. Но он чувствовал, что у него у самого, пожалуй, уже не дойдут до этого руки, и рад был подать эту идею человеку пытливому, готовому посвятить свои недюжинные способности изучению Монголии, ее языка и словесности.

Пока миссия находилась в Кяхте, дожидаясь китайских сопроводителей из Урги, Ковалевский был частым гостем у Иакинфа, прибегал к его советам и помощи в составлении своей монгольской грамматики и словаря. И то и другое он только начинал, а у Иакинфа был уже немалый опыт, и он с готовностью делился с молодым и любознательным учеником всем, чем мог.

Вообще-то в филологии Ковалевский был не новичок, но совсем в другой области. Он еще в восемьсот двадцатом году окончил Виленский университет по кафедре классической филологии. Перевел и издал по-польски "Метаморфозы" Овидия в шести книгах с морфологическими и грамматическими комментариями, переводил Геродота и греческих риторов.

Иакинф расспрашивал его про Казань, где он сам прожил двенадцать лет, и каких! Про университет, которого при нем в Казани и в помине не было. Допытывался, как это он оказался на берегах Волги и вместо древних греков и римлян увлекся монголами и бурятами. Ковалевский поначалу отшучивался, но мало-помалу открылось, что в университете, еще совсем юношей, он был по предложению Адама Мицкевича принят в общество филоматов, или друзей науки, и даже избран секретарем его филологического отделения. Общество было тайное, Члены его исповедовали свободолюбивые идеи, мечтали о независимой Польше. Но осенью двадцать третьего года общество было раскрыто. Расследование вел ближайший сподвижник цесаревича Константина сенатор Новосильцев.

— И вот пришлось мне предстать пред мутными очами светлейшего князя Новосильцева, — рассказывал Ковалевскнй.

— Ну это вам, можно сказать, повезло. Князь слыл человеком просвещенным и свободомыслящим, — заметил Иакинф.

— Вашими бы устами, отец Иакинф, да мед пить, — усмехнулся Ковалевский. — От былого реформатора дней Александровых прекрасного начала в нем к той поре и следа уже не осталось. Блестящий дипломат превратился в грубого притеснителя свободы и горького пьяницу. Когда к нему привозили на допрос, всякий раз чувствовалось, что князь

употребил. Впрочем, вру, что-то от былого дипломата в нем все-таки сохранилось. Изволите ли видеть, князь косил, и косил самым неправдоподобным образом, — улыбнулся Ковалевский своим воспоминаниям. — Левый глаз глядел на вас вроде ласкательно, а правый пронизывал до костей, проникал, можно сказать, в самую суть помыслов, которые вы тщились от него утаить. Как бы то ни было, после первых же допросов я был заключен в тюремный замок.

— И долго вы провели в заключении?

— Мы с Мицкевичем сравнительно легко отделались. Мицкевича выслали во внутренние губернии, а меня после годичного заключения сослали в Казань, правда, под строжайший надзор.

— Ах вот что привело вас на Волгу, столь далеко от Немана!

— Но в Казани, я считаю, меня подстерегала удача. Я принялся изучать в университете татарский язык и через три года овладел им. Наш ректор, Лобачевский, умница и превосходный ученый, решил создать в университете первую в Россию кафедру монгольской филологии. Он-то и выхлопотал мне и господину Попову командировку в Иркутск к Александру Васильевичу Игумнову и в Забайкалье для изучения монгольского языка. И вот я здесь, — заключил свой рассказ Ковалевский.

— Ну что ж, видно, и впрямь нет худа без добра. Филоматы проиграли, а ориенталистика наша выиграла, — усмехнулся Иакинф и продолжал уже серьезно: — Это превосходно, что за изучение восточных языков берутся люди образованные. Наша беда в том, что и монгольским, и китайским, и тибетским языками занимались у нас все больше люди неученые. Оттого-то и результаты так скудны. Вот уже целый век наша миссия духовная имеет в Пекине свое пребывание, одиннадцатый раз состав ее ныне меняется. А что, спрашивается, дали для изучения Китая за сто лет наши миссионеры? Ну Рассохин, Леонтьев… Раз-два — и обчелся. А всё оттого, что посылали туда тех, кто тут, в отечестве, был в тягость, руководствовались старым и испытанным правилом: "На те, боже, что нам не гоже". А вы, Осип Михайлович, с вашей подготовкой и вашими дарованиями много, ох как много можете сделать!

Иакинф рассказал о своем с Сенковским проекте создания восточного факультета при Петербургском университете.

— Вот было бы чудно, если б вы после вашей сибирской, а теперь и пекинской, поездки в Петербург перебрались. Какое обширное поприще открылось бы перед вами!

— Нет, я уж непременно в Казань вернусь. Профессор Лобачевский проявляет к трудам моим столь лестное внимание,

что, сами рассудите, отец Иакинф, как же я могу не оправдать его доверенность. Да и Петербург мне заказан.

— Что ж, пожалуй, вы правы, Осип Михайлович. Да и город Казань не худой, — сказал Иакинф и надолго умолк.

Казань! Сколько с ней было связано всякого! Город его юности, город первой любви и роковых, непоправимых ошибок…

II

Наконец в пограничный Маймайчен прибыли из Пекина китайские чиновники — битхеши (то же, что у нас пристав) Ту Ин и его помощник бошко Фу Син-ха, отряженные пекинской палатой иностранных дел для препровождения русской миссии в китайскую столицу, и наши миссионеры стали готовиться в дорогу.

Иакинф и Шиллинг поспешили составить реестр книгам на китайском, монгольском, маньчжурском и тибетском языках, каких не было, насколько они знали, в петербургских книгохранилищах, чтобы подполковник Ладыженский с помощью членов старой миссии приобрел их в Пекине. Тут уж Иакинф был незаменим. Никто лучше его не знал, что нужно и можно достать в Пекине. Павел Львович наказывал Ладыженскому во что бы то ни стало раздобыть для него полный Ганчжур китайского издания — ведь и Игумнов, и Уэйль уверяли, что здесь достать его невозможно.

Всеми силами уклоняясь от излишних визитов (они по-прежнему были нарасхват, без устали зазывали их во все кяхтинские дома), Шиллинг и Иакинф не избежали, однако, дипломатических приемов, пожалуй еще более утомительных, нежели званые обеды в хлебосольных домах кяхтинских купцов.

В связи с предстоящим отбытием в Пекин духовной миссии пограничный начальник Петухов и директор Кяхтинской таможни Голяховский устраивали приемы и давали обеды, на которых непременно надо было присутствовать, а потом и самим наносить ответные визиты в Маймайчен.

На первом таком приеме присутствовали, — кроме бигхеши и бошко, также маймайченский заргучей — китайский пограничный начальник — и самое главное — владетельный монгольский князь, прибывший из Урги ы связи с благополучным разрешением пограничного инцидента, взволновавшего и Маймайчен, и Кяхту, и передачей друг другу перебежчиков. В его-то честь, а также в честь прибывших из Пекина чиновников, пограничный начальник и давал сегодня обед в два часа пополудни.

Иакинфу это было не в новинку, а Шиллинг и Соломирский присутствовали на приеме китайских гостей впервые, и их все занимало. Соломирский даже решил описать этот кяхтинский пир, и Иакинф обещал послать его статью в "Литературную газету".

Ровно в полдень в Маймайчене была пущена ракета, и тотчас один за другим раздались три пушечных выстрела, возвестившие о выезде князя и китайских чиновников. Для встречи гостей из дружественной соседней страны у пограничных ворот был выстроен почетный караул из пеших и конных казаков. Иакинф и Шиллинг наблюдали за этими приготовлениями из окна. Вскоре показался княжеский эскорт — десятка три монгольских всадников; они ловко гарцевали на своих низкорослых, мохнатых лошадках. У пояса кривые сабли, на головах отороченные лисьим мехом островерхие шапки с развевающимися сзади лентами, за спиной колчаны со стрелами, в руках пики.

— Совсем, как во времена Чингиса, — пошутил Шиллинг.

— Ох, не поздоровилось бы нам, я думаю, от Чингисовой конницы, — усмехнулся Иакинф. — А нынче, нынче мы на них запросто из окошка любуемся.

За всадниками следовали памятные Иакинфу одноколки, в затянутых китайкой коробах которых восседали по одному в позе будды князь, заргучей и пекинские чиновники.

Миновав пограничные ворота и почетный караул, княжеский кортеж направился не к пограничному правлению, а к дому Баснина, чтобы сперва нанести визит вежливости барону Шиллингу, важному сановнику, прибывшему на границу из далекой столицы дружественной Российской империи.

Как только одноколка князя поравнялась с крыльцом баснинского дома, к ней опрометью бросился слуга, схватил с передка повозки скамеечку и поставил на землю. Тучный князь, согнувшись, не без труда вылез из короба и, поддерживаемый с двух сторон спешившимися служителями, опустил ногу на скамейку и уже затем сошел на землю.

Шиллинг и Иакинф вышли навстречу.

С приятным удивлением наблюдал Иакинф за своим приятелем. Павел Львович обладал, оказывается, даром прирожденного дипломата. Весь он как-то преобразился. Обычно он держался очень просто, а тут у него тотчас появилась наряду с радушием та сановная важность, которая так импонирует китайским чиновникам. Это-то уж Иакинфу хорошо было известно. Даже дородность Шиллинга пришлась как нельзя более кстати. Присущая ему подвижность, при которой тучность вроде бы и не ощущалась вовсе, куда-то исчезла и сменилась важной

неторопливостью движений. Шиллинг держался так, словно всю жизнь только и занимался тем, что принимал важных китайских мандаринов. Зато те сразу убедились — перед ними действительно птица высокого полета и с первых же минут преисполнились к барону глубокого почтения.

Широким жестом Шиллинг пригласил гостей к столу. У пограничного начальника предстоял обед, и потому был подан только чай с печеньем, фрукты и ликеры.

Шиллинг был величаво-радушен, просил гостей чувствовать себя как дома и снять шляпы. Шляпы у всех были парадные, с чиновными шариками на макушке, а у князя от шарика назад торчало еще и павлинье перо длиною по меньшей мере с фут, оно было сложено, наверно, из доброго десятка перьев, отметил про себя Иакинф. Князь, вежливо поклонясь, отозвался, что глубокое почтение к столь высокому сановнику и новость знакомства не позволяют им отступить от правил учтивости и обнажить головы.

Вместе с князем и заргучеем вошли в гостиную и их служители и все время визита стояли позади своих господ, подавая то веер, то раскуренную трубку.

Иакинф исподтишка разглядывал гостей. В князе было что-то смутно знакомое. Оказалось, что это сын того монгольского князя Юндун Дорджи, который принимал в свое время Иакинфа и его свиту в Урге на пути в Пекин. Он был очень похож на своего покойного отца — то же смуглое, скуластое лицо с выпирающими надбровными дугами, тот же длинный и плоский у переносья нос с широкими крыльями. И держался он с тою же горделивою азиатскою осанкою, да и было ему, по-видимому, столько же лет, сколько тогда отцу — под сорок или немногим более. Только вот ростом он не вышел и не производил, как отец, впечатления могучего степного великана.

Китайские чиновники, преисполненные несколько преувеличенного сознания собственного достоинства, сидели за столом чопорно, с бесстрастно-постными лицами и говорили мало, а вот князь, видимо, унаследовал от отца его сообщительность и держался почти с такою же непринужденностью, что и Шиллинг. Иакинф усмехнулся: несмотря на различие черт, они были чем-то неуловимо похожи.

Заметив, что его толмач, видимо, не все понимает из того, что говорится за столом, а Иакинф превосходно говорит по-китайски, князь и сам перешел на китайский и попросил Иакинфа взять на себя труд переводчика. Это немало способствовало оживлению беседы. Даже чопорных пекинских чиновников Иакинфу удалось в нее втянуть. Со стороны можно было даже подумать, что за столом собрались старые знакомцы. Иакинф не

раз убеждался, как важно совершенное знание языка, всех его тонкостей, чтобы растопить лед отчуждения и создать атмосферу непринужденности и доверительности.

Они и за обедом у Петухова сидели рядом — князь в центре стола напротив хозяина, справа от князя барон Шиллинг, Иакинф и Ладыженский, а дальше уже члены миссии. Заргучей, битхеши и бошко сидели по другую сторону стола, слева от князя.

Шиллинг был рад, что Иакинф сидел рядом. С его помощью разговор на их стороне стола не прерывался, а на противоположном конце русские члены миссии и даже чиновники, постоянно живущие в Кяхте, говорили между собой по-русски, а сидевшие напротив китайцы — по-китайски, друг с другом же объяснялись междометиями и жестами да обменивались церемонными улыбками через стол.

Желая позабавить гостей, Шиллинг сказал князю (разумеется, через посредство Иакинфа), что он может претворить воду в вино, и, взяв два стакана воды (в одном был разведен содовый порошок), он слил их в один. Вода в стакане зашипела и запенилась, как игривое шампанское.

Князь улыбнулся в ответ и, взяв со стола бокал, сказал:

— Это не велика хитрость претворить воду в вино, а я вот умею вино претворить в ничто, — и с этими словами осушил бокал до дна.

Все засмеялись.

III

За всеми этими занятиями — обучением китайскому языку отъезжающих миссионеров, посещениями ламаистских дацанов (пока в окрестностях Кяхты), выверкой с китайцами правил китайской грамматики, званными обедами у кяхтинских купцов и дипломатическими приемами у местных чиновников и маймайченских мандаринов — незаметно пролетел месяц. Иакинф, правда, успел еще написать несколько пространных писем и статей в Петербург — для "Литературной газеты" и в Москву — для "Московского телеграфа".

Тридцатого августа миссия покидала Кяхту.

Из окон наквасинского дома Иакинф видел, что уже к восьми часам утра на обширной площади у пограничных ворот расположился приготовленный для миссии обоз. Он состоял из нескольких десятков крытых одноколок, точно таких, в каких он сам со своею свитою выезжал из Кяхты четверть века назад. В десять часов в новой кяхтинской церкви при огромном стечении народа была совершена торжественная прощальная литургия.

Соборную службу отправляли и местное духовенство, и иеромонахи миссии. После обедни священники, выйдя в сверкающих на солнце ризах на площадь, окропили обоз святою водою, и, в сопровождении конных казаков, он тронулся за границу. Членов же миссии пригласили к напутственному столу, устроенному кяхтинским обществом. Обед был дан в доме главы кяхтинского купечества купца первой гильдии Котельникова.

Огромная обеденная зала — ее не стыдно было б перенести и в столицу — едва вместила тех, кто был приглашен проводить отъезжающих. Иакинф словно перенесся на четверть века назад. Сегодня он, правда, не уезжал на долгий срок в чужую, неведомую страну, а лишь провожал других, и все-таки не мог отчего-то подавить охватившей сердце печали. И не он один. То и дело взлетали в потолок пробки, но веселого, беззаботного оживления за столом недоставало. Мысль о десятилетней разлуке как бы витала над праздничным застольем. Иные из отъезжающих не в силах были скрыть слез, другие старались казаться спокойными; и только прикомандированные к миссии, кто меньше чем через год должен был вернуться, не скрывали радости и даже проявляли нетерпение — они были готовы немедля пуститься в путь.

Недостатка в тостах и шампанском не было.

Первым напутственный тост произнес Шиллинг. Ему удалось даже вроде как-то разрядить печальную атмосферу проводов. Шутливое напутствие вызвало и смех, и оживление и вместе с тем запало в душу пригорюнившихся пилигримов. Затем поднялись с бокалами в руках пограничный начальник, директор таможни. От имени кяхтинского купечества напутственные слова сказали хозяин дома и купец первой гильдии Николай Матвеевич Игумнов — дальний родственник Александра Васильевича.

Времени на тосты и на еду не жалели, хотя обоз уже давно пересек границу и его предстояло догонять. Отъезжающим, видимо, хотелось продлить минуты пребывания на родине перед столь долгой разлукой, а провожающие памятовали старую пословицу, доставшуюся еще от дедов: за столом не состаришься. Под конец все-таки наступил такой момент, когда всё как бы отодвинулось на расстояние, подернулось легкой зыбучей дымкой, на сердце будто потеплело.

Последним поднялся Соломирский, чтобы произнести прощальное приветствие, вдохновленное музами. Стихи его показались Иакинфу не слишком складными, но были они очень трогательны и продиктованы, должно быть, искренним чувством. После них опять замелькали батистовые платочки у лиц присутствующих дам, и не одна пара восхищенных глаз

устремилась в сторону столичного поэта.

Наконец послышался вечерний благовест. Это был сигнал к отбытию. Отъезжающие и гости поднялись из-за столов и снова направились в церковь. После напутственного молебна все кяхтинское духовенство в парадном облачении, с крестами и хоругвями, при колокольном звоне всех четырех кяхтинских церквей, проводило миссию до самой границы. Иакинф и Шиллинг тоже остановились у пограничной черты, разделяющей две империи, два мира.

И опять, как тогда на Байкале, Иакинф пожалел, что нет с миссией Пушкина. Ведь едут же с ней на год и Ковалевский, и Фус, и Бунге. Эти-то двое, правда, служители наук точных. Один — астроном, другой — ботаник. Пушкин же — поэт и историк. А нынешнее царствование отмечено явным недоверием и к истории, и к поэзии. Ту и другую подозревают и преследуют.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

I

Иакинф все думал: вот уедет миссия и он вздохнет посвободнее. Но и после отъезда миссионеров забот у него не убавилось. Как всегда, был занят с утра до вечера. Ворошил в таможне и в пограничном правлении пыльные архивные дела, вел бесконечные утомительные беседы с кяхтинскими и маймайченскими купцами, русскими и китайцами, — надлежало подготовить для правительства обстоятельную записку о состоянии торговли с Китаем в прошлом и настоящем и свои предложения к ее расширению. Приходилось ездить с Шиллингом по бурятским дацанам и становищам — помимо собирания книг, что в первую голову занимало Павла Львовича, они должны были представить на высочайшее утверждение проект устава для монголо-бурятского духовенства. А добывание разных сведений к задуманным ученым трудам! И сверх всего этого приготовления к открытию первого в России училища китайского языка.

Иакинф не раз упрекал кяхтинских купцов, ведущих торг с китайцами, в пренебрежении к изучению языка своих партнеров. Китайские купцы в Маймайчене были в этом отношении куда расторопнее. У них было даже постановление, обязывающее сидельцев и мальчиков в лавках непременно учиться русскому языку. И действительно, в какую бы китайскую лавку Иакинф ни заходил, он видел всюду рукописные словники, составленные самими купцами на "кяхтинском наречии". Наречие это было

чудовищное. Русские слова записывались китайскими иероглифами, китайские приноравливались к произношению людей, не имеющих о китайской фонетике ни малейшего представления. Оттого-то русское слово "полиция" превращалось в "па-ли-цзы", китайское "пу-цзы" переиначивалось в "фузу". Синтаксис был смешанным китайско-русским, а вернее, и не китайским, и не русским. Но на этом ломаном, кяхтинском наречии, хоть и с грехом пополам, тут объяснялись все. Иакинф не удержался и написал о нем статью в "Московский телеграф".

Русские же купцы в Кяхте вели себя на редкость беззаботно. Еще в прошлый свой приезд, на возвратном пути из Пекина, Иакинф стыдил за то самых разумных из них — Баснина, Игумнова, Наквасина. И те наконец вошли с всеподданнейшим ходатайством учредить в Кяхте училище китайского языка. Но соизволения на его открытие и по сю пору не было. В Петербурге все не могли решить, кому же поручить заботы об училище — таможне или пограничному правлению, министерству коммерции или иностранных дел. И вот, обрадованные приездом Иакинфа, купцы уговорили его открыть училище собственным попечением, не дожидаясь высочайшего рескрипта. Порешив начать занятия с нового, 1831 года, Иакинф стал готовиться к открытию училища с тою основательностью, которая его всегда отличала. Составил программу, рассчитанную на четыре года, сочинял разговоры на русском и китайском языках, приспособленные по содержанию к потребностям кяхтинского торга, перевел на китайский язык названия всех товаров, которые вывозились в Китай, и на русский тех, что ввозились оттуда, составлял обиходные словники, которые понадобятся ученикам, готовил к изданию тут литографским способом свою грамматику, тщательно выверял ее с китайцами.

Все это требовало много времени. Но, пожалуй, не меньше уходило на составление давно задуманной истории Тибета и Хухунора с древнейших времен — с 2282 года до Рождества Христова, когда первые сведения о Тибете появились в Китае.

Работа это была колоссальная и по объему, и по сложности. Из многочисленных династийных летописей и из многотомного "Всеобщего зерцала, правлению помогающего" он выбирал по крупицам все, что содержалось там о Тибете и Хухуноре. Занятие это, за которым он проводил самые лучшие, утренние часы, было, по правде сказать, не из приятных. Интересующие его исторические события были изложены в древних китайских памятниках слогом предельно кратким, лишенным всякой завлекательности, порой даже затруднительным для понимания. Но его не страшила скука долгих трудов. Он отчетливо

представлял себе, какое значение для науки будет иметь появление на русском языке этой истории. Ведь ни в одном из известных ему древних исторических памятников, включая и саму Библию, не содержалось сколько-нибудь достоверных сведений о происхождении и начальных шагах древних народов. В анналах же, писанных китайскими историками о разных смежных с ними народах, такие известия были. Оттого-то эти источники, столь скучные по лаконичности слога и наготе описаний, представлялись Иакинфу драгоценнейшими памятниками глубокой древности. Достоинство их возвышалось в глазах Иакинфа тем, что важнейшие события в жизни древних народов описывались в китайских летописях на основании официальных правительственных документов, которые были составлены во время самих этих событий, а не задним числом, как это нередко случалось у древних историков и летописцев — ведь те редко были современниками событий и только записывали сбивчивые и порой противоречивые предания, дошедшие до них в изустной передаче не одного поколения.

Вот оттого-то Иакинф стремился передать текст древнейших памятников с наивозможной точностью, не позволяя себе ни малейших прибавлений или каких-либо "улучшений", чтобы облегчить их восприятие читающей публикой. Составляемая им история, по его замыслу, должна носить характер документа, на который можно будет ссылаться.

Но он не только извлекал из многочисленных источников все, что касалось истории Тибета и Хухунора, но и сопровождал свой перевод обширнейшими подстрочными примечаниями, которые тоже требовали немалого труда. Конечно, вряд ли эта книга будет пользоваться успехом у читающей публики, но его утешало, что труд его будет оценен если не современниками, то потомками, которые помянут его добрым словом. Он отдавал себе отчет в том, что к его переводам будет обращаться не одно поколение историков древнейших народов Азии.

II

Павел Львович пригласил Иакинфа съездить с ним к главе буддийского духовенства пандиту {Высший духовный сан ламаистского духовенства, что-то вроде патриарха или митрополита в православной церкви.} Хамба-ламе Дацзан-Гавану. Обитель бурятского первосвятителя находилась верстах в девяноста от Кяхты на берегу Гусиного озера. С приглашением Хамба-ламы прибыл в Кяхту его специальный посланник, про которого переводчик Шиллинга сказал, что тот приводится

пандиту родным племянником. Приглашение это было большой честью, но Иакинфа оно нимало не удивило. Он был свидетелем того, как за короткий срок Шиллинг сумел найти путь к сердцу недоверчивых бурятских лам.

Началось это с первого же их визита в Чикойский монастырь, бывший до недавнего времени у бурятов их главным религиозным центром. Расположен дацан был всего в тридцати верстах от Кяхты. Оттого-то Шиллинг и посетил его первым. Тем более, что, по словам Уэйля, там хранился один из трех имеющихся в Забайкалье экземпляров Ганчжура.

Когда они приехали в Чикойский монастырь и вошли в главный храм, у Шиллинга глаза загорелись. По обе стороны алтаря были расставлены десятки священных книг, завернутых, или, лучше сказать, запеленатых, в суконные полотнища красного и желтого цветов.

— Наверно, это и есть Ганчжур, — шепнул Иакинф Шиллингу.

Но, памятуя о том, что рассказывал про свои неудачи Уэйль, Шиллинг при первом посещении храма о Ганчжуре и не заикался. Он удовольствовался тем, что внимательно осмотрел тибетские и санскритские лексиконы, находившиеся в юрте настоятеля. Два из них оказались ему знакомы. Надо было видеть, какое впечатление произвело на хозяев знание тибетской письменности и та легкость, с какой Шиллинг сумел выказать свои познания.

А восхищению Павла Львовича и границ не было.

— Конечно, отец Иакинф, вы мне говорили все это в Петербурге, но, по правде сказать, я и представить себе не мог, что сей кочующий народ, живущий в войлочных юртах, единственное занятие которого — пастушеское скотоводство, совсем как в библейские времена, может располагать такими богатейшими собраниями книг, — говорил Шиллинг, когда они возвращались из Чикоя. — Теперь-то я уверился, что отыщу тут сокровища, которые ускользнули от внимания графа Потоцкого и господина Клапрота. В Петербурге меня все пугали неудачами графа Головкина и его ученых советников. Ведь они вернулись из поездки сюда, можно сказать, с пустыми руками.

— Да что там говорить о Клапроте! Но мне и рассказы мистера Уэйля насчет фанатизма и невежества бурятских лам не кажутся справедливыми, — сказал Иакинф. — Признаюсь, Павел Львович, очень меня обрадовала та обходительность и тот такт, с какими вы заводите сношения с бурятами. Убежден, вам удастся достигнуть тут куда больших успехов, нежели добился за десять лет Уэйль со своими помощниками. И времени столько не понадобится.

А тут еще не было бы счастья да несчастье помогло. В храме пришел в негодность самый главный музыкальный инструмент — большой там-там, или да-ло — по-китайски. Иакинф вызвался заказать новый через знакомых купцов в Маймайчене. Так и было сделано. Через несколько дней огромный медный гонг был доставлен Шиллингом в Чикой. Бескорыстный и щедрый дар сей произвел на чикойских лам огромное впечатление. Они стали приметно сообщительнее и дружелюбней, и, когда Шиллинг попросил разрешения взглянуть на Ганчжур, настоятель монастыря с готовностью, которую прежде невозможно было и предположить, распорядился, чтобы из храма извлекли один из томов Ганчжура и принесли в юрту, где он принимал Шиллинга.

К величайшему удовлетворению лам, Шиллинг оказал все требующиеся буддийскими обыкновениями знаки глубокого почтения к тому, что было для них чем-то вроде святого писания. Он бережно брал листы Ганчжура только за обрезы, не касаясь самих письмен. И тут Шиллинга ждала редчайшая удача. Он вдруг увидел перед собой хорошо знакомый текст. Это был один из немногих листов Ганчжура, попавших в свое время в Европу из монастыря Аблайкит. Десятилетия не утихали в Европе споры по поводу этого места из Ганчжура. Его пытался расшифровать в Париже знаменитый французский ориенталист Фурмон, много времени провел над ним в Петербурге и сам Шиллинг.

— И вот подумайте, прямо чудеса, да и только, — рассказывал Павел Львович Иакинфу, возвратясь из Чикоя. — Это действительно может поразить воображение. Счастливейший случай привел ко мне в руки именно этот лист, затерянный в огромном своде буддийских сочинений, содержащем сорок тысяч таких листов! Я тут же попросил лам объяснить некоторые санскритские термины, которыми перемежался тибетский текст. Но оказалось, что и у самих лам не было единодушия а их истолковании. Во всяком случае, я понял, что не зря корпел в Петербурге над этими листами Ганчжура. Благодаря этому я предстал перед моими хозяевами не менее сведущим в их священных книгах, нежели они сами.

С тех пор дружба с бурятским духовенством у Шиллинга и повелась.

А тут еще пророчество одного старого, высоко почитаемого ламы, который перед смертью (это было незадолго до прибытия экспедиции в Кяхту) возвестил своим единоверцам, что скоро на бурятской земле объявится ученый чужеземец, обратится тут в буддийскую веру и понесет свет ее учения на Запад. Чем больше Шиллинг посещал буддийские храмы, собирал священные буддийские книги, тем с большей убежденностью и единодушием

относили это пророчество к нему.

Но и это скоро перестало удовлетворять пылких степных почитателей ученого пришельца. Сопровождающие Шиллинга переводчики рассказывали, что в народе все больше ширится молва, будто прибывший из далекого Петербурга важный русский сановник, который столь усердно посещает их храмы, знает письмена их священных книг, собирает и облекает их в новые шелковые покровы, — не просто ученый, а х_у_б_и_л_г_а_н, то есть земное воплощение одного из бодисатв буддийского пантеона. Шиллинг весело хохотал, когда ему об этом рассказывали. Но молва эта все шире разносилась по бурятской степи.

И вот верховный жрец всех забайкальских ламаистов, сам почитающийся живым буддой, прислал в Кяхту своего посланца, чтобы призвать Шиллинга к себе. Никто из европейцев не удостаивался такой чести.

По дороге Шиллинга и Иакинфа встречали повсюду с большими почестями. Завидя коляску Шиллинга, странствующие кочевники тотчас соскакивали с лошадей и, сняв шапки, подносили ему аршинные ходаки — что-то вроде цветных полотенец, которыми у бурят одаривают в знак особого почтения. Шиллинг и Иакинф испытывали смущение: все захваченные из Кяхты подарки, за исключением припасенных для самого пандита, были уже раздарены, и они не знали, что и делать, пока Иакинфу не пришла на ум счастливая мысль отплачивать тою же степною монетою: за ходак — только что полученным ходаком, за приветствие — приветствием.

А между тем по мере приближения к Гусиному озеру их свита все возрастала: почти каждый попадавшийся навстречу всадник поворачивал коня и присоединялся к ним.

У ворот, ведущих в жилище Хамба-ламы, выстроилось в два ряда с сотню лам-музыкантов. Прочитав наскоро молитву, они ударили в литавры и гонги, заиграли в трубы и поющие раковины в знак приветствия. Такой встречи Иакинф не мог и предположить. Нестройные и резкие звуки этого степного оркестра пронизывали, по китайскому выражению, до костей, а сопровождавшую их с Шиллингом свиту наполнили священным трепетом. Бурятские всадники повскакали с коней и простерлись ниц.

Во дворе навстречу им вышел Хамба-лама. Опираясь на посох, в атласной желтой одежде, с ярко-красной перевязью на плече, с блестящею на солнце наголо обритою головою, он возвышался над всей своей свитой. Дородством он мог сравниться разве что с Шиллингом, который с поразительной легкостью соскочил с коляски и пошел навстречу Хамба-ламе.

Видя, как торжественно встречают тут Шиллинга, Иакинф поверил, что буряты и впрямь почитают его хубилганом.

Между тем Хамба-лама пригласил Шиллинга и Иакинфа к себе в юрту. Она была раза в три, а то и в четыре, больше обычной и могла вместить с добрую сотню людей. Бурятский первосвятитель с отменною вежливостью усадил гостей рядом с собой на высоких подушках, его приближенные — гэлуны — разместились на полу, усевшись полукругом.

Пока подавали чай, Шиллинг произнес заранее приготовленное приветствие на тибетском языке. Он не скупился на добрые пожелания пандиту и его гэлунам и преподнес Хамба-ламе в знак высокого почтения длинный ходак алого цвета, богато украшенное серебром седло и зеркало в бронзовой золоченой оправе.

То, что приветствие Шиллинг произнес на языке их священных книг, а преподнесенные им Хамба-ламе подарки были столь щедры, вызвало восхищение собравшихся в юрте первосвятителя лам.

Дальнейший разговор велся с помощью рекомендованного Игумновым переводчика. Согласно с принятым тут обычаем, шел он неторопливо, но мало-помалу обратился и к целям их приезда в бурятские степи. Иакинф рассказал, какое значение для науки имеет предпринятое Шиллингом собирание письменных памятников и что ему уже удалось собрать. Прослышав, что Шиллинг сделал новые шелковые покровы для приобретенных им книг, Хамба-лама выразил одобрение и со своей стороны преподнес Павлу Львовичу несколько томов известного собрания "Сандуи", содержащего сто шестьдесят девять трактатов — духовных, астрологических и медицинских.

Оживленная беседа не раз прерывалась. Стайки степных служителей будды, прискакавшие сюда из далеких становищ, то и дело проскальзывали в юрту их верховного жреца, чтобы взглянуть, хоть мельком, на белолицего хубилгана и преподнести ему и Хамба-ламе свои дары — медный грош, ходак, причудливый камешек, подобранный в степи, — и получить благословение своего первосвятителя. Величественный старец милостиво принимал дары, потчевал усердных богомольцев табаком, насыпая его роговой ложечкой из своей табакерки, одаривал наставительным словцом и отпускал с миром, опять обращаясь к Шиллингу и Иакинфу.

Затем Хамба-лама пригласил гостей к молебствию по случаю избавления от наводнения. Благодарственное молебствие совершалось в честь Ямандаги, одного из самых свирепых божеств ламаистского пантеона. Трудно было представить себе что-нибудь

более устрашающее. Средь пламени является взору страшилище темно-синего цвета, на голове — рога и воловьи уши, изо рта торчат огромные клыки и острые зубы в могучих челюстях. На лбу, будто уродливые наросты, пять человеческих голов. На щеках еще по три головы с гневными лицами красного, синего и зеленого цветов. Каждая голова имела по три глаза. Крылатый Ямандаги, раскинув в стороны тридцать шесть рук, впился страшными своими зубами в тело извивающейся в его объятиях женщины. Одежда Ямандаги была перехвачена вместо пояса змеем, тоже унизанным человеческими головами. В чудовищном этом изваянии легко было заметить сходство с индийским Шивой — великим владыкой браминов, изображение которого Иакинфу не раз приводилось видеть в буддийских монастырях в Китае.

— Нечего сказать, предмет поклонения, — шепнул Иакинф Шиллингу.

Оба они с живейшим любопытством наблюдали за ламаистским молебствием, которое видели впервые. Иакинфу, правда, доводилось бывать в буддийских храмах в Китае. Но то Китай, а это — свои, братские степи. Возглавлял богослужение не сам Хамба-лама, а один из его помощников-гэлунов — довольно-таки дряхлый лама, согбенный под тяжестью лет. Едва ли не центральным обрядом богослужения было освящение воды. В то время как десятки собравшихся в храме лам заунывно читали молитвы, посередине, напротив жертвенника, четверо здоровенных лам держали в вытянутых руках большое серебряное зеркало, другие — бумбу, высокий узкогорлый сосуд с родниковой водой, третьи — широкое блюдо и полотенца. Под оглушительную музыку литавр, гонгов, труб, барабанов, звучащих раковин зеркало оросили водой и крест-накрест вытерли его полотенцами. Затем, всё под те же оглушительные звуки, богомольцы потянулись к старому ламе и тот принялся серебряным черпаком разливать воду в подставляемые ему пригоршни. Отведав священной воды, каждый орошал ею голову и грудь и, сделав несколько земных поклонов перед сидящим на возвышении Хамба-ламой, отходил в сторонку.

Наконец поддерживаемый под руки Хамба-лама поднялся со своего высокого седалища и вышел из храма. К нему подвели коня, он легко вскинул грузное тело в седло и, со стрелою в руке и кропилом в другой, в сопровождении гэлунов, объехав верхом широкую площадь за оградой, окропил согнанные сюда табуны лошадей и отары овец.

После молебствия все участвовавшее в нем степное духовенство под предводительством Хамба-ламы расселось посреди двора на заранее приготовленных войлоках. Несмотря на

не по-сентябрьски жаркое солнце, все ламы были с обнаженными головами. Служители в засаленных хламидах обносили лам жертвенным хлебом, сыром, молочным дарасуном, кирпичным чаем и вареной бараниной. Шиллинга и Иакинфа Хамба-лама усадил слева от себя, на самое почетное, по восточным представлениям, место.

Нельзя было сыскать более подходящего времени, чтобы представить Шиллинга многочисленным ламам, которые съехались на молебствие из всех, самых отдаленных уголков обширной Бурятии. После столь явно оказанных ему почестей все, не колеблясь, признали за Шиллингом высокие прерогативы земного воплощения. Это Шиллинг и Иакинф почувствовали сразу же по возвращении от Хамба-ламы. Со всех сторон Шиллинг стал получать в дар тибетские и монгольские книги, и не только когда он один или вместе с Иакинфом посещал ламаистские дацаны. Вскоре началось настоящее паломничество в Кяхту из различных уголков обширного края, удаленных порой на тысячу верст, с единственной целью навестить белолицего хубилгана и преподнести ему в дар священные книги.

Теперь у Шиллинга не было никаких сомнений, что ему удастся собрать уникальную коллекцию памятников и монгольской, и тибетской письменности. Для полноты собрания не хватало лишь редких сочинений, которые имелись у бурят в единственном экземпляре. Чтобы восполнить этот пробел, Иакинф посоветовал предпринять дело, которое едва ли кто-нибудь кроме энергичного Шиллинга сумел бы осуществить. Вскоре в Кяхте возникло предприятие по переписке редких сочинений. Для этого тут были собраны самые искусные каллиграфы, какие только имелись в бурятских монастырях. Число этих переписчиков доходило до двадцати. Они жили а юртах, разбитых для них прямо во дворе дома, где поселился по приезде в Кяхту Шиллинг. Вероятно, никому, кроме Шиллинга, не доверили бы ламы столь редкие издания.

III

Как ни был поглощен Иакинф своими занятиями и поездками, он то и дело возвращался к мысли об избавлении от монашества. Сил больше не было влачить на себе ярмо его обетов.

К счастью, в Павле Львовиче он нашел заступника и ходатая самого пылкого.

— Конечно, конечно! Немедля пишите мне рапорт как своему непосредственному начальнику. Я тотчас же препровожу его в

Азиатский департамент. С ума сойти, тридцать лет провести в этом сане! — говорил Шиллинг возбужденно. — Даже солдат увольняют с почетом после двадцати пяти лет службы. А тут, подумать только, тридцать лет! И вот что, батюшка, пишите так, будто инициатива исходит даже не от вас, а от вашего попечительного начальства. Пусть каждый, кто возьмет в руки ваше ходатайство, увидит, что оно продиктовано не прихотью и нетерпением просителя, а единственно заботой об интересах дела.

Возвратясь из поездки к Гусиному озеру, Иакинф засел за сочинение рапорта. Было тринадцатое сентября, а кому не известно, что тринадцатое число — день несчастливый. Но Павел Львович сказал, что фельдъегерь отправляется в столицу завтра поутру, и Иакинф махнул рукой на дурную примету.

"…Вашему Превосходительству угодно было предложить мне ходатайствовать о снятии сана монашеского, дабы чрез сие устранить затруднения, происходящие от противоположности звания со службою, — писал Иакинф. — Приняв с должною признательностию столь лестный знак внимания ко мне Вашего Превосходительства, не столько заботясь о себе, сколько о святости иноческого сана, коего обеты и в самом глубоком уединении столь трудно исполнять, решился я просить Ваше Превосходительство о исходатайствовании снятия с меня сана монашеского".

При этом, памятуя совет Павла Львовича, на первый план Иакинф выставлял то, что частое пребывание инока в мире, разъезды, возложенные на него по службе переговоры со светскими людьми разных званий, в том числе и иноземными, пребывание на частных квартирах в обывательских домах — все это не только предосудительно само по себе и несовместимо со строгими правилами монашества, но и не может не подавать повода к нареканию на сан монашеский вообще.

Павел Львович одобрил деловой, несколько суховатый тон рапорта и тут же, не откладывая дела в долгий ящик, написал пространное представление в Азиатский департамент. Он особо отметил, что монах Иакинф, проведший долгое время в Китае, был призван к службе в министерство иностранных дел, как человек, отлично сведущий в делах Восточной Азии, и оправдал сие мнение своими учеными трудами, известными ныне всей просвещенной Европе, и приобрел тем право на особое внимание правительства. Тут Павел Львович счел уместным присовокупить, что всего этого отец Иакинф не мог бы достигнуть, отказавшись

от сообщений со светом, к чему обязывает его сан монашеский.

Далее, подробно изложив, какую неоценимую помощь экспедиции Иакинф уже оказал, и отметив, что никто не мог бы заменить его на этом поприще, Шиллинг писал в заключение:

"Выше означенные причины уже достаточны для исполнения прошения монаха Иакинфа, но я не могу не поставить на вид, что он кроме уже изданных сочинений имеет обширные запасы разнообразных сведений, равно важных для Правительства и для ученого света, плоды двадцатилетних трудов, которые он один в настоящее время сообщить может, но для сего необходимы непрестанные сношения с людьми — род жизни не согласный с уставом монашества. И так, ежели Правительство, при уважении общего мнения, желает удержать у себя столь нужного и полезного человека, то, по моему мнению, нет иного к тому средства, как исключить монаха Иакинфа из духовного звания и причислить к сословию светских чиновников с тем, чтобы он мог посвятить свои знания и способности тем занятиям, которые возложены на него ныне Правительством. Учеными трудами своими он уже доказал, что ни в каком другом месте не может он быть столь полезен Отечеству, как на службе по Министерству Иностранных дел.

Действительный статский советник
Барон Шиллинг фон Канштадт
Кяхта 13-го сентября 1830-го года"

На другой день рано поутру фельдъегерь помчался в Петербург с ходатайствами Иакинфа и Шиллинга.

Оба они стали дожидаться определения из столицы.

Но прошла осень, наступила зима, а за ней и весна, и лето, а долгожданных вестей все не было.

IV

Столичное начальство не торопилось. Спешить ему было некуда, судьба отца Иакинфа заботила его мало. Несмотря на подталкивания Тимковского и даже директора Азиатского департамента тайного советника Родофиникина — он-то понимал, что за клад для его ведомства этот ученый монах, — только двадцать девятого мая 1831 года, спустя семь месяцев по получении ходатайства Иакинфа и Шиллинга, вице-канцлер граф Нессельроде соизволил обратиться с письмом к обер-прокурору Святейшего Синода.

"Находящийся ныне в Восточной Сибири по делам службы монах Иакинф, известный по глубоким познаниям своим в литературе Китая и доселе не перестающий обогащать Отечество и самую Европу полезными сведениями насчет государства сего, не во всех отношениях известного, обратился в Министерство с просьбою о представительстве, дабы с него сложили монашеское звание, по тому уважению, что при ученых его занятиях и по свойственным человеку слабостям, он не может с точностию и по совести соблюдать всех обетов монашества и что сан сей препятствует ему в свободном отправлении возлагаемых по службе обязанностей.

В полном внимании к таковой просьбе отца Иакинфа, я желал бы для самой пользы службы и наук содействовать ему по возможности в настоящем деле".

Осторожный Нессельроде превосходно помнил о неудаче первоначального ходатайства перед Александром I о причислении монаха Иакинфа к министерству и, не желая рисковать прямым обращением к государю, человеку крутого нрава, предпочел отнестись к князю Мещерскому, придав своему посланию полуофициальный характер.

"Не приступая, однако же, ни к какому формальному распоряжению по означенному предмету, — писал граф, — я за долг, себе поставляю предварительно снестись о том с вашим сиятельством, покорнейше прося почтить меня уведомлением вашим: не находите ли Вы какого-либо особенного препятствия к удовлетворению просьбы монаха Иакинфа; буде же почитаете возможным снятие с него монашеского сана, то не благоугодно ли будет Вам, Милостивый Государь, сообщить мне ваше мнение насчет формы, какую надлежит дать дальнейшему ходу сего дела".

Получив это послание и личное письмо от барона Шиллинга из Кяхты с настоятельной просьбой ускорить решение дела, князь Мещерский снесся с митрополитом Серафимом. Тот запросил справку о монахе Иакинфе из лавры и консистории. И тут, к негодованию преосвященного, открылось, что ни лавра, где монах числился, ни консистория не имеют ни малейшего представления о его теперешнем местонахождении.

Серафим призвал к себе нового наместника лавры архимандрита Палладия, но тот ничего не мог сказать в объяснение.

— Осмелюсь доложить, ваше святейшество, — растерянно

говорил он, — в канцелярии лавры есть копия с именного высочайшего указа о перемещении монаха Иакинфа в лавру, дабы он по познаниям своим в китайском и маньчжурском языках мог быть полезен для государственной коллегии иностранных дел. В лавре он никакого иного послушания не нес и ничем не довольствовался, поелику государь император высочайше повелеть соизволил производить ему жалованье из сумм министерства иностранных дел.

— Это мне все известно, — оборвал наместника Серафим. — Ты мне изволь сказать, отец архимандрит, где ныне сей монах пребывает? И на каком основании?

— Не могу знать, ваше святейшество. В лавре отец Иакинф имел пребывание по конец двадцать девятого года. А куда выбыл и где ныне пребывание имеет, о том ни консистория, ни канцелярия лаврская никакого сведения не имеет.

— Хороши пастыри духовные, нечего сказать! — вознегодовал митрополит. — Да эдак у вас вся лавра, чего доброго, разбежаться может. Второй год в лавре монаха нету — и никому не ведомо, где он обретается!

Серафим не на шутку разгневался. Но, поразмыслив, счел за благо освободиться от опеки над этим своенравным и беспокойным монахом. Сколько хлопот доставил ему в свое время этот монах, и сколько крови попортили светские его покровители! Да пропади он пропадом! Пусть уж лучше граф Нессельрод с ним мыкается. И без него забот хватает.

При встрече с обер-прокурором Серафим отозвался, что препятствий к снятию с отца Иакинфа монашеского сана он, митрополит, не находит, надобно только, чтобы тот представил прошение о сем не в министерство, а непосредственно в Святейший Синод.

О таковом мнении преосвященного князь Мещерский немедля известил графа Нессельроде письмом от шестнадцатого июня 1831 года.

Но обо всем этом Иакинф узнал только через несколько месяцев.

V

А пока дела в Кяхте шли своим чередом.

В конце марта Павел Львович возвратился из длительной поездки в Субулинский дацан, расположенный на реке Онон далеко на восток от Кяхты. Приехал он во главе целого каравана. Верблюды были нагружены тщательно упакованными тюками с книгами.

— Вы только взгляните, отче, что я привез! — воскликнул Шиллинг вместо приветствия, когда Иакинф появился на пороге. И Шиллинг развернул тщательно запеленатый в красное сукно огромный том.

— Неужто Ганчжур? — недоверчиво спросил Иакинф, осторожно беря книгу.

— Ганчжур, Ганчжур, все сто шесть томов! Вы только взгляните, какое великолепное издание! Отпечатано в западнотибетском монастыре Нартанг.

— Как же вам удалось заполучить такое сокровище? — спросил Иакинф, листая книгу.

— Да вот уж повезло, так повезло. Приезжаю. Храм еще строится. Но книгохранилище, не совсем доконченное, оказалось, тем не менее, богаче, нежели в других дацанах, которые до сих пор мне удалось посетить.

— Я же вам говорил. Хоринские буряты, что кочуют на берегах Онона, имеют более тесные связи с Китаем. Они и книги могут свободней привозить и из Китая, и из Тибета.

— В этом и я теперь убедился. А незадолго до нашего приезда один из тамошних лам посетил Лхассу и привез оттуда Ганчжур, и превосходного, как вы видите, издания.

— Но как же они расстались с такой святыней? — расспрашивал Иакинф. — Нет, не иначе, барон, как вы родились в сорочке.

— Да, в сорочке, — засмеялся Шиллинг. — Но, слушайте: приезжаю и застаю тамошних лам в глубокой печали. Вы же знаете, у входа в храм у них сооружается обычно этакое приспособление для молитв. Крутнул барабан, и все молитвы, на нем помещенные, прочитаны. Так вот, субулинские ламы решили перещеголять всех своих единоверцев. Они дали обет разместить на вращающихся барабанах молитвенных у входа в храм сто миллионов своих сакраментальных заклинаний. Я застал лам за изготовлением их отпечатков. Вы никогда не видели, как это делается? На деревянной доске, вручную, вырезается текст. Доска кладется на стол. К торцам его становятся двое лам. Один при помощи тампона наносит на доску жидкую китайскую тушь. Затем оба берут лист бумаги, накладывают его на доску, покрывают сверху еще одним листом толстой бумаги, проводят вдоль доски вальцом из замши и снимают готовый оттиск. Но при всем старании на печатной доске они не смогли разместить нужное заклинание более двухсот пятидесяти раз. И вот, чтобы получить повторение заклинаний сто миллионов раз, им предстояло сделать четыреста тысяч оттисков! Вы только представьте, сколько бы им потребовалось бумаги! А она тут

очень дорога. К тому же на пространстве, которое было намечено при постройке храма, такого количества оттисков невозможно было бы разместить. Невольно я оказался вовлеченным в грустные расчеты моих субулинских хозяев. Обследовав место сооружения, я предложил им совершенно иную конструкцию барабанов, которая дает большой выигрыш пространства, и вызвался изготовить нужные им тексты не с деревянных досок, а с литографского камня. При этом на одном листе бумаги того же формата, по моим расчетам, может поместиться не менее двух с половиной тысяч священных фраз. Таким образом, количество бумаги сокращается в десять раз, а занимаемого места при моей конструкции барабанов — в двадцать

— Да вы же их просто осчастливили!

— Ну и они в долгу не остались. На следующий день ко мне явилась депутация лам в сопровождении светских глав хоринских родов. И с чем бы вы думали? С единственным имевшимся в монастыре экземпляром Ганчжура, который они преподносили мне в дар. Поверите ли, непосредственность, с которой это было сделано, растрогала меня до слез. Конечно же, я изготовлю для них эти тексты в моей литографии.

— И знаете, Павел Львович, что бы я вам посоветовал? — сказал Иакинф. — Распорядитесь-ка вы напечатать эти тексты не черной, а красной краской. Это будет воспринято ламами как акт особливой учтивости.

— Да, да! Непременно! Но поздравьте же меня, отец Иакинф, поздравьте! Я оказался единственным в Европе обладателем этого замечательнейшего свода тибетской словесности. Уже одно это может оправдать нашу поездку сюда.

Никогда еще Иакинф не видел Шиллинга столь оживленным.

— Я немедля примусь за составление наиподробнейшего описания этого бесценного собрания. Сейчас же засажу моих монгольских помощников за переписку на отдельные листы санскритских и тибетских заглавий всех сочинений и трактатов, которые его составляют. Даже самых маленьких. Для этого, разумеется, придется пересмотреть все сто сорок тысяч листов, из которых состоит Ганчжур. Когда это будет сделано, я составлю и алфавитный и систематический указатели ко всему собранию.

VI

Удачу эту решено было отметить. Кроме Иакинфа Павел Львович позвал только начальника Пограничного правления Петухова да хозяина дома Баснина. Но и вчетвером они посидели славно. Вино всегда приводило Иакинфа в веселое, даже

благодушное настроение, но не мешало ясности рассудка. Пьяниц он не любил, — пьяный теряет чувство достоинства, становится болтлив и развязен. Но вот так, пропустить стаканчик-другой в тесном кругу людей тебе любезных — другое дело.

К себе Иакинф возвращался, поздно. Парадная дверь была заперта. Он проскользнул в калитку. Спущенная с цепи собака, как всегда, учуяв Иакинфа, ощетинилась и, сторожко взвизгивая, побежала к себе в конуру. Не зря, желая избавиться от назойливого приставанья бесчисленных кяхтинских и маймайченских собак, он зашил себе в полу рясы кусок невыделанной шкуры тигра. Собаки теперь бросались от него наутек. Иакинф тихонько стукнул в окошко. Дверь отворила свояченица хозяина Устинья, молодая крепкая казачка с черными, чуть раскосыми глазами. Она, видно, поднялась с постели, на плечи был накинут старенький шугайчик, из-под которого виднелась длинная исподняя рубаха. Иакинф неожиданно для себя обхватил ее за плечо. Полусонная, она на миг потянулась к нему. Шугай упал. Иакинф ощутил под рукой теплоту разгоряченного сном тела и прямо перед собой увидел упруго торчащую из выреза исподницы грудь с маленькими темными сосками. Разом забыв обо всем на свете, он подхватил Устинью на руки.

— Ой что вы, батюшка, что вы! — слабо вскрикнула та.

Иакинф не слушал. Он не помнил, как очутился у себя в комнате. Да и Устинья вдруг с простодушным бесстыдством ребенка прижалась к нему…

Кто бы мог подумать, что под этой грубоватой внешностью таится такая нежность и такая целомудренность. Обнимала она неуклюже, словно впервые. Но у нее была какая-то детская потребность в ласке. Можно было только догадываться: не то что ласки, но и просто человеческой теплоты не выпадало на ее долю ни в юности, ни в младенчестве, и сейчас она пыталась утолить эту потребность, которая, должно быть, тлела в ней и не находила удовлетворения.

У Наквасиных она поселилась после гибели мужа во время прошлогоднего наводнения на Селенге. Оно унесло и мужа, и дом, и разорило всю семью. Сама она чудом уцелела от внезапно нагрянувшего паводка. И отец, и муж у Устиньи были родом из забайкальских казаков. А это среда совсем особенная. На женщину казак смотрит прежде всего как на рабочую силу да, может, в редкие наезды домой, как на орудие мимолетной услады. Девке он еще позволяет недолго погулять, баба же с самых молодых и до преклонных лет должна работать в поле и дома, стряпать, обряжать скотину, обшивать себя и детей.

Приласкать женщину тут, как, впрочем, и в Китае, где он столько лет прожил, да, пожалуй, и вообще на Востоке, мужчина считает ниже своего достоинства.

Скуластенькая, коренастая, крепко сбитая, Устинья совсем не была похожа на изящную, стройную Таню. И тем не менее он испытывал к ней не просто внезапно нахлынувшую страсть, которую можно утолить, как утоляют жажду или голод, но и какую-то щемящую, почти отеческую нежность. Нет, никогда близость, даже вот такая случайная, не вызывалась у него просто плотской потребностью.

Послышался крик петуха, и Устинья, опомнившись, вскочила с постели и опрометью бросилась из комнаты — в доме Наквасиных вставали рано. А Иакинф, взглянув на чуть засветлевшее окно, закинул руки за голову и блаженно вытянулся.

Его кольнула мысль, что он должен бы испытывать раскаяние — в самом деле, эдакая скотина! Оставить в столице любимую женщину, о которой мечтал всю жизнь и которая ждет его не дождется, — и согрешить. И с кем? С какой-то забайкальской гуранкой, бог знает какого роду-племени! Но как ни старался он настроить себя на этот лад, ни раскаяния, ни угрызений совести он не испытывал. Напротив, помимо воли, пришло чувство удовлетворения, какой-то неизъяснимой радости.

Но как признаться в этом Тане, с которой он привык всем делиться? А надо ль рассказывать ей о том, что случилось? Ведь ничего объяснить ей невозможно. С отчетливой ясностью он представил себе, что произойдет, если он все расскажет. Воспитанная в строгих правилах, глубоко верующая, Таня не сможет расценить то, что произошло, иначе, как измену.

А было ли это изменой? Сколько раз он мечтал, засыпая, чтобы ему приснилась Таня. Но она никогда не приходила в его сны. Случалось, ему снились какие-то женщины, и он просыпался от ощущения негаданной близости, но никогда это не бывала Таня. Утром он даже не мог припомнить, кто же ему снился.

Проповедуемое церковью воздержание и целомудрие, умерщвление плоти он всегда считал дикостью монашеского вымысла. Беречь себя от соблазнов с осмотрительной скаредностью скупца казалось ему кощунственным издевательством над природой. Любовь, страсть — это не грязная и низменная потребность плоти, а чудо божие. И никакой рассудок, никакое монашье ханжество не в силах истребить это величайшее из чудес.

Иакинф недоумевал, как это он не замечал хозяйскую свояченицу прежде. Ведь прожил у Наквасиных уже полгода, и

каждый день она мелькала перед глазами, бегала по дому. Теперь-то он вроде припоминал, что, пожалуй, не раз она даже бросала на него быстрый взгляд своих невинно-бесстыжих глаз, но он, не замечая, равнодушно проходил мимо.

Видно, к тому, что случилось, приходят исподволь, как исподволь готовятся деревья, чтоб по весне вдруг потянуться к солнцу из сухих, казалось бы мертвых, сучьев клейкой зеленью листвы. Этот подспудный ток жизненных соков обычно ускользает от нашего взора. Мы замечаем его, только когда лопнут набухшие почки и вмиг молодым зеленым пухом подернутся старые деревья. Так, видно, произошло и с ним. И конечно же, встреть он в ту ночь, вот так, другую женщину, наверно, с такою же силой заколотилось бы в груди сердце.

А может, и не так? Во всяком случае, теперь его постоянно тянуло к ней. Да и она, видно не утолившись в юности любовью, отдавалась ему с самоотверженной готовностью.

И странное дело, у них ведь не было, казалось, никакой душевной связи. Им вроде и нечего было сказать друг другу. И все же рядом с ней он не ощущал одиночества, которое так тяготило его по временам. Она же не имела ни малейшего представления о его ученых упражнениях. Китайские книги, лежавшие у него на столе и на подоконниках, вселяли в нее какой-то забавный, почти мистический страх. Она и русской-то грамоты не знала, а тут эти таинственные письмена! Да и сам он, должно быть, казался ей чернокнижником. Но это не мешало им тянуться друг к другу безотчетно. Он был старше ее вдвое, однако ночью, когда дома все засыпали и она тихонько проскальзывала к нему в комнату, этой разницы не замечали ни она, ни он.

Да, он был уже далеко не молод. Ему шел пятьдесят пятый год. Иногда он упрекал себя: ничему-то не научила его жизнь! Ну и пусть! Он казался себе чем-то вроде живого маятника: то умудренный жизнью старец, без остатка поглощенный своими учеными трудами, то беспечный повеса, не умеющий совладать с порывами нестареющего сердца. Тогда он чувствовал себя молодым и сильным, способным на глупости, почти мальчишеские.

Устинья была простенькая и не такая уж молоденькая женщина, неграмотная и не очень-то развитая. Ну и что из того? Его влекло к ней неудержимо. Влекло ее тело, оно будто излучало силу жизни даже когда, утомленная его ласками, она лежала, не двигаясь, прикрыв глаза, устало раскинув руки и ноги. Только веки слегка дрожали, да губы трогала едва заметная улыбка. Он по-настоящему любил ее в эти минуты. Эта маленькая грешница была ему дороже всех святых. Какое же изуверство объявлять это

чувство грехом. И какое счастье, что человек в состоянии, забываясь, отдаваться его порывам! Что же тут греховного, когда это так естественно! Нет, он не согрешил ни перед богом, ни перед Таней, ни перед собственной совестью.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

I

Павел Львович занемог, и было решено, что в Тутуйский дацан и Петровский завод отец Иакинф съездит один.

Ни одна из многочисленных его поездок по Забайкалью не могла порадовать его больше: чего доброго, представится случай свидеться с Николаем Александровичем Бестужевым. Тот отбывал каторжные работы именно в Петровском заводе. А до него и всего каких-то четыреста верст, — по сибирским понятиям, путь не дальний.

Иакинф поделился своим намерением с Шиллингом. Вместе они стали перебирать всех, кто мог бы помочь в замышленном предприятии. И тут Иакинф вспомнил про семью селенгинского купца Дмитрия Дмитриевича Старцева, с которой он познакомился на возвратном пути из Пекина. Сам-то Старцев года три или четыре тому назад умер, передав дела старшему сыну. Младшую же дочь старик выдал перед смертью за тамошнего лекаря Дмитрия Захаровича Ильинского. Иакинф прознал, что тот был приглашен лекарем при государственных преступниках в Читу, а потом и в Петровский завод. Вместе с молодыми уехала и вдова Старцева, Федосья Дмитриевна. Ильинского Иакинф не знал, но с Федосьей Дмитриевной был в отношениях самых добрых. Вот на нее-то он и рассчитывал. Женщина уже в летах (она была Иакинфу ровесница), вдова Старцева обладала завидным природным умом, судила обо всем здраво и смело, была, как и муж, добра и хлебосольна. Остановясь у них, можно будет осмотреться, познакомиться с горным инженером Арсеньевым, управляющим Петровским заводом, а то и самим комендантом.

Комендантом Нерчинских рудников и Петровского завода состоял генерал-майор Станислав Романович Лепарский. Поляк родом, уже глубокий старик (было ему далеко за семьдесят), Лепарский отличался, по рассказам, крутым и своенравным характером и был весьма высокого о себе мнения. Генерал-губернатор Восточной Сибири Лавинский, тоже поляк и тоже человек весьма амбициозный, с возмущением рассказывал Шиллингу, как Лепарский не дозволил ему посетить каземат — на том основании, что он, генерал-губернатор, не был военным, и генерал Лепарский не посчитал себя находящимся под его началом. Рассказав об этом курьезном инциденте, Лавинский признался, однако, что жаловаться на коменданта государю не

стал.

Всем было известно, что назначением на эту щекотливую должность Лепарский был обязан личному и весьма близкому знакомству с императором. Лепарский начал службу в русской армии еще при Екатерине. Много лет он командовал гвардейским конно-егерским Северским полком, шефом которого был великий князь Николай Павлович. Должно быть, какую-то роль в выборе государем Лепарского сыграло и то обстоятельство, что в польскую еще войну он сумел огромную партию конфедератов, его соотчичей, доставить в Сибирь под весьма малым конвоем. Было ясно одно: государь к старику очень благоволил. Припомнил Шиллинг и рассказ Александра Христофоровича, что, когда после коронации был учрежден комитет для составления указа относительно заключения и содержания государственных преступников, долго не могли остановиться на том, кого назначить к ним комендантом. Наконец высочайший выбор пал на Лепарского. Он был срочно вытребован в Москву, произведен в генерал-майоры и высочайшим повелением назначен комендантом Нерчинских рудников и Петровского завода с огромным содержанием.

Как к нему подступиться — было неясно. Но когда, незадолго до отъезда, Иакинф зашел к Шиллингу, тот его обрадовал:

— А вы знаете, отец Иакинф, можно, кажется, подобрать ключик к грозному генералу Лепарскому. Мне рассказали, что старик охвачен одной страстью, быть может самой пылкой, — страстью коллекционера. Ужа много лет собирает он разные каменья и самоцветы. А что, ежели вам сыскать тут да преподнести старику хотя бы несколько редких камешков?

Иакинф загорелся этой идеей. Он и сам во время путешествия через Монголию собрал порядочную коллекцию сердоликов и халцедонов. Была у него и редкая яшма, вывезенная из Китая. Он бросил клич знакомым купцам из Кяхты и Маймайчена и сам, вспомнив молодость, верхом на лошадке объездил окрестные сопки в поисках любопытных минералов. К концу недели у него собралась немалая груда камней. Несколько дней он потратил на их разбор, затем съездил в Маймайчен, купил большую лакированную шкатулку. Тщательно выложил дно хлопчатой бумагой, разложил свои камешки с наклеенными с изнанки ярлыками. Получилось это весьма внушительно. Посередине красовалась редкостная яшма, с которой, по правде говоря, жаль было расстаться. Ну что ж, хоть он и лишится ее, но зато будет чем потешить старика, а бог даст, и снискать его расположение. Иакинф упаковал шкатулку, заботливо обернул ее циновкой из рисовой соломы.

Накупил он в Кяхте и Маймайчене подарков — и Лепарскому, и Федосье Дмитриевне, и Ильинскому, и Бестужеву — и прежде всего несколько цибиков лучшего китайского чая. Денег он не жалел. Он и никогда-то не был скареден, а тут уж скупиться не приходилось. Говорят, деньги всё портят, ан нет, они и исправить могут многое. Чего человек не в состоянии сделать сам по себе, за него сделают деньги. Как ни горько это сознавать, а многое, ох многое могут они сделать — добродетель обратить в порок и порок — в добродетель, раба — в господина и господина — в раба. Благодаря им и глупость становится умом и ум — глупостью. Так к чему же жалеть денег на благое дело? Да и давно уж он примечает, никогда у него не бывает так, чтобы денег хватало. Либо их вовсе нет, либо не хватает. Есть, правда, и другая мудрость: деньги идут к деньгам. Но эта мудрость не про него. И не для него.

II

Всю дорогу он то и дело возвращался мыслью к предстоящей встрече. Прошло почти восемь лет. И каких лет! Тут каждый год стоил десятка.

И знакомы-то они были всего несколько месяцев. И нелегко Иакинф сходился с людьми. Но как-то разом сумел Бестужев внушить к себе не только уважение, но и чувство глубокой симпатии и искреннего расположения. Казалось бы, ну что у них общего — поднадзорный монах и блестящий морской офицер? Теперь-то, правда, положение совсем переменилось, да и столько воды утекло. Но разве потускнела старая приязнь, поколебалось его чувствование оттого, что молодой ученый и литератор объявлен государственным преступником, злоумышленником, заточен в каземате?

Иакинф устроился поудобнее в углу брички и все глядел и глядел по сторонам. Дорога то взбиралась на песчаные взгорки, то спускалась в лощины. Поосторонь тянулись по увалам то небольшие сосновые боры, то густые заросли дикого шиповника, потом сверкнула слева широкая Селенга. Проносящиеся мимо виды не мешали думам. В жизни много пришлось ему ездить. Ездил на санях и на телегах. Из Казани в Иркутск, из Иркутска в Тобольск, и обратно в Иркутск. Плавал по Волге и по Байкалу. Скакал на конях и качался на верблюдах по монгольским степям, трясся в почтовой кибитке… И никогда не наскучивала ему дорога. Приятен был ему звон колокольца под дугой тройки, дробный стук копыт, острый запах лошадиного пота, жгучее солнце и настоянный на ярких забайкальских цветах горячий

ветер навстречу — все это сливалось в такое привычное слово — дорога!

Ехал он почти не останавливаясь, давая на каждой станции ямщикам на водку, чтоб быстрее везли.

Спины коней потемнели, крупы заблестели полосками пота.

Но вот дорогу пересекла застава. Инвалидный солдат не торопясь вышел из новенькой черно-белой будки, повертел подорожную, отвязал такой же полосатый, как и будка, шлагбаум, и он, звеня цепью, медленно потянулся оголовком вверх. Подъезжали к Петровскому.

Дорога круто пошла вниз. Отсюда, с горы, Петровский завод был хорошо виден. Он лежал в вытянутой котловине, окруженный высокими горами, до половины обросшими соснами и елями… Обветшалые, дочерна прокопченные заводские строения, в которых выплавлялся чугун, клубы черного дыма над трубами, большой пруд с плотиною, деревянная церковь, три-четыре сотни изб, и, кажется, ни одного порядочного дома. Только вдали, по ту сторону пруда, виднелось обширное, выкрашенное охрой, о трех фасах здание под красной кровлей с множеством беленых труб. Отсюда, с горы, было видно, что пространство между боковыми крыльями, передним фасом здания и частоколом с тыльной его стороны разгорожено в виде каких-то ящиков. Это, видно, и был каземат, где содержались государственные преступники, а ящики-загородки, должно быть, внутренние дворы для прогулок.

Болью защемило сердце.

Лошади, почуяв жилье и скорый корм, резво понесли повозку по хорошо укатанной дороге.

III

Дом Ильинского надобно было искать где-то неподалеку от каземата.

Одна из улиц была приметно чище других. Немощеная, но ровная и широкая, она начиналась почти от каземата и вела к церкви. Застроенная добротными, о два этажа, еще не успевшими почернеть рублеными домами, она называлась Дамской. Тут селились жены государственных преступников. Среди этих новых домов, почти в начале улицы, отыскали они и дом Ильинских.

Лошади остановились у ворот. Иакинф соскочил с брички и потянул за кольцо дверной щеколды. Дверь скоро отворилась, и на пороге он увидел Федосью Дмитриевну в старом шушуне наопашку. Он сразу ее узнал, хотя они и не виделись почти десять лет. Поприбавилось седины в волосах, морщин на лице, но глаза все те же. Никогда в жизни не видал он таких глаз — добрых и

вместе строгих.

А вот Федосья Дмитриевна, видно, не узнала его. Она стояла в проеме двери и пристально вглядывалась в незнакомого гостя.

— Здравствуйте, Федосья Дмитриевна. Аль не признали? Неужто так постарел за эти годы?

— Батюшки! Да никак отец Иакинф? Вот уж не чаяла больше свидеться. Да что же мы стоим-то на пороге? Проходи, проходи в комнаты, ваше высокопреподобие. Дай-ка я на тебя погляжу, отец архимандрит, — ласково говорила женщина, проводя Иакинфа в горницу.

— Не величайте меня так, Федосья Дмитриевна, — сказал Иакинф. — Я уже давно не архимандрит, а простой монах.

— Что так? А я уж думала, ты в архиереи вышел. Не на почтовых бричках трясешься, а в архиерейской карете, на шестерне цугом разъезжаешь, и тебя всюду колокольным звоном встречают. А ты, вишь, простым чернецом заделался. Видно, опять нагрешил, отец честной? Али с начальством не поладил? Знаю, знаю, нрав-то у тебя крутой… Ну да ладно. Будет время, обо всем расспрошу. Проходи, проходи. Обмой лицо-то от пыли, а я пока самовар вздую. Зять в каземате, а Катенька побежала к княгине Марье Николаевне Волконской…

Скоро на столе уже кипел сверкающий самовар и дразнили глаз румяные пироги и шанежки. Да и вся горница — простая, светлая, смолисто пахнущая ошкуренными, но не струганными бревнами стен — была приветлива, будто дружеские объятия. Уютно, по-домашнему ворчала вода в самоваре, попахивало из трубы душистым березовым угольком, посвистывал, вырываясь из-под крышки, пар.

Иакинф вытащил из плетеной дорожной корзины ящичек китайского чаю. Отборный, разных сортов, он был упакован в красные и черные лакированные коробки.

Федосья Дмитриевна всплеснула руками.

— Вот уж знал, чем угодить старухе, честной отец. Люблю побаловаться чайком. Хлебом не корми, вином не пои, а чаю дай. Тебя, конечно, и вином, и наливочкой угощу, помню, помню, знаешь в них толк, а сама уж твоего чаю отведаю, — говорила Федосья Дмитриевна, выставляя на стол замысловатые графинчики.

Они сели, и потекла, потекла беседа. Иакинф не склонен был к излишней откровенности, но устоять расспросам Федосьи Дмитриевны не смог и мало-помалу рассказал о своих злоключениях и о своих заботах. Как никто другой, умела старуха разговорить собеседника. Впрочем, никаких секретов у нее не было. Просто, как всегда, она думала прежде всего о других,

старалась помочь каждому, с кем сталкивала ее судьба, разделить с ним его горе и его заботы, с какой-то поразительной интуицией угадывала чужие беды, которые человек другому бы и не высказал. Такого сочетания искренней доброты и ясного житейского ума Иакинф не встречал больше ни в ком. У нее был завидный дар помогать и давать, не унижая и не навязывая, не вызывая чувства неловкости, которое почти всегда испытывает человек, которому благодетельствуют.

А потом Иакинф и сам принялся расспрашивать Федосью Дмитриевну о ее житье-бытье. Мужа, с которым она прожила тридцать лет душа в душу, похоронила она четыре года назад. Но, перед смертью, успел он и старшего сына Митю женить, и младшенькую Катю замуж выдать.

— Катеньке-то и рановато б замуж, едва четырнадцатый год миновал. Да куда там! Ты, должно, помнишь, отец честной, какой у меня Дмитрий Дмитрич сурьезный был. Что ему в голову взойдет, дубьем оттудова не вышибешь. И первым грамотеем на всей Селенге слыл. Книги читал, и не только духовные. Мы единственные во всем Селенгинске газеты выписывали. Все говаривал, царство ему небесное: книги сопрягают меня с родом людским. Он ведь и Митю, и Катю грамоте обучил. А как стала Катенька подрастать, все мечтал за кого-нибудь образованного ее выдать. А где их, образованных-то, в Сибири сыщешь? А тут приезжает к нам новый лекарь. Из Москвы. Сам-то из духовных. В семинарии обучался, где ты прежде ректором был. Человек книжный, жадного и ненасытного любопытства. Стал к нам по вечерам захаживать. Вот Мите и вздумалось за него Катеньку выдать. Лучшего мужа ей, говорит, и не найдем. Просвещенный. Медико-хирургическое отделение кончил. Отдадим за него Катеньку, и все тут. А ей об те поры и всего-то четырнадцатый год шел. Но Дмитрий-то Дмитрич, видно, чувствовал уж срок свой. Хотел, чтоб беспременно, еще при жизни его, дочкину свадьбу сыграли. И как только четырнадцать лет ей минуло, так и окрутили ее, родимую. А через два месяца Дмитрий Дмитрич и впрямь богу душу отдал, царство ему небесное.

— Вот и хорошо, что на свадьбе дочери успел погулять перед смертью.

— Понятное дело. Жаль только, внуков не дождался. Поселились молодые у нас. Да какая из Катеньки жена — сам рассуди. Невинностью да неопытностью она была совершенное дитя. И подружка у нее ей под стать. Даром что попадья. Тоже за нашего священника, отца Иннокентия, на четырнадцатом году родители ее выдали. Прихожане-то все матушкой ее величали. А уйдет отец Иннокентий по приходу, а зять к больным, Катерина с

подружкой заберутся к нам в светелку, дверь — на засов и — в куклы играть. Смех, да и только. Долго после свадьбы жила Катенька с Дмитрием Захарычем, ровно сестра с братом. Он мне, сердечный, как-то признался, что, когда в Читу уже переехали, да и то только с помощью Священного писания, едва-едва склонил ее к исполнению супружеских-то обязанностей. И смех и грех.

— Как они живут-то? Помню, Катенька всегда была вашей любимицей.

— Хорошо живут, нечего бога гневить. Дмитрий Захарыч души в ней не чает. Человек он достойный, не запивашка какой, как другие. Многие офицеры тут да инженеры время в пьянстве препровождают. И Митеньку совратить пытались. Да не тут-то было. Одна у него страсть — книги. Учился-то он вроде немало. Да видно, плохо его учили, и не тому. Понял он это, как в Читу, а потом сюда, в Петровский, переехали, и стал злоумышленников пользовать. Тут ведь промеж них всё больше князья да графья, всё люди агромадной учености. Молодые да ученые, им бы законы писать, государством править, а их, вишь, в каземат заперли. Вог молодость-то кипучая без дела-то настоящего и выливается в споры нескончаемые. Дмитрий-то Захарыч пойдет в каземат к больному, да и пропал там на целый день. Споры их слушает, рот разиня. А вернется вечером домой — мне с Катенькой жалится: уж больно, говорит, меня уязвляет — слушаю-слушаю: знакомая, вроде, русская речь, а ничегошеньки не понимаю. Вот и решил он доучиваться в каторжной академии ихней. Видишь, книг из каземата натаскал. Ночи напролет над ними просиживает. Да в русских-то книгах, видно, мало проку. Засел учить французский. И Катеньку заставил учиться по-французскому. Спасибо, княгиня Марья взялась ее обучать. Очень она Катеньку привечает. Да я сама слышала, соберутся у них, и Катенька тоже по-французски лопочет, будто парижанка природная. Истинно тебе говорю, отец Иакинф. И книжки французские читает. А вот и они, — увидала она в окно дочку и зятя. — Зашел, видно, за Катенькой. Ревнивый, ровно турка. Только и дозволяет, что к княгине сходить, а к другим, без него — боже упаси, ни-ни!

Катеньку — теперь ее, наверно, следовало величать Катериной Дмитриевной — узнать было трудно. Иакинф помнил ее маленькой черноглазой девочкой, смешливой и бойкой. Теперь перед ним была высокая, авантажная женщина во всем обаянии юной красоты. Стало заметно сходство с матерью. Пожалуй, только глаза, большие, черные, с живым, веселым блеском, напоминали прежнюю Катеньку.

Рядом с Катериной Дмитриевной муж выглядел несколько простовато. Тонкие, белесые волосы вились дымом вокруг его

головы. Серые с легкой, но заметной косинкой глаза полны любопытства и растерянности, а улыбка добрая, чуть смущенная…

Положив на подоконник связку книг, которую он принес с собой, и едва познакомившись с Иакинфом, он тотчас заговорил о собрании, на котором только что присутствовал. Впечатления о спорах, о сшибке разноречивых мнений, свидетелем которых он только что был, так переполняли его, что он наполовину был еще там, в каземате. Казалось, он и смотрит не на тех, кто сидит сейчас вокруг самовара, а куда-то вдаль, сквозь туман, застилающий его взор.

С большой готовностью отвечая на расспросы Иакинфа, он рассказал, что государственные преступники для обсуждения ученых трудов и произведений словесности друг друга устраивают тут, в каземате, регулярные собрания. Происходят они раз в неделю. В шутку они прозвали их каторжной академией. Ильинский, разумеется, непременный участник всех этих собраний. С одного из них он и вернулся. При открытии академии, еще в Чите, Николай Александрович Бестужев прочел историю Российского флота. Его друг Торсон рассказал о своем плавании вокруг света. Корнилович и Петр Александрович Муханов знакомят со своими изысканиями, касающимися до русской старины. Особенно привлекали Ильинского рассказы Корниловича. Ведь до возмущения он был издателем "Русской старины", ему были открыты архивы, и, роясь в них, он был хорошо осведомлен во всей подноготной русского двора в восемнадцатом столетии. Да вот беда, недавно явился фельдъегерь из Петербурга и ночью, в страшной спешке, увезли Корниловича в Петербург. Такая жалость! Ильинскому так нравились его рассказы. Главный казематский поэт Александр Одоевский читает свои стихи, а Бобрищев-Пушкин — басни. Одоевский начал еще недавно курс лекций из русской словесности. Никита Муравьев и Репин читают лекции по военным наукам. Но с особенным жаром рассказывал Ильинский про лекцию Оболенского из философии. Как выяснилось, философия — это была страсть Дмитрия Захаровича.

Много любопытного о жизни в Петровском заводе рассказывали в тот вечер Иакинфу и Ильинский, и Федосья Дмитриевна, и Катенька. Когда, уже под конец долгого разговора, Иакинф сказал, что хотел бы встретиться с одним из государственных преступников — Николаем Александровичем Бестужевым, Ильинский признался, что знает его, пожалуй, меньше, нежели других.

— Он всегда здоров и вечно занят. То пишет, то рисует, то

возится со своими хронометрами, и я просто боюсь отвлекать его от дела. Но вот записочку, ежели пожелаете, отец Иакинф, я охотно ему передам.

Конечно, лучше всего, по словам Ильинского, было бы встретиться с самим комендантом, генералом Лепарским. Вот уж тот-то все может. Ежели пожелает, конечно. И если придешься ему по душе. Все, что рассказывал о Лепарском Дмитрий Захарович, только подтверждало то, что Иакинф уже знал. По всему видно, старик своенравный.

— Меня-то он не очень жалует, — признался Ильинский. — Недоволен, что уж больно часто торчу я в каземате, участвую в спорах, которые там ведутся. До того дошел, что распорядился пропускать меня в каземат только по вызову больных. Нет, вы представляете, отец Иакинф, я, лекарь, назначенный правительством к государственным преступникам, чья первейшая обязанность по службе постоянно надзирать за ними, я могу проникнуть в стены каземата только с позволения самих узников! Какой-то абсурд!

— Вот видите. А захочет ли он меня принять? Я слыхал, он даже самого генерал-губернатора на пустил к арестантам. Не знаю, как его расположить.

— Да не крушись ты, отец Иакинф, — вступила в разговор Федосья Дмитриевна. — Генерал ведь только на вид такой грозный. "Не могу да не могу". Его тут у нас все так и прозвали "Комендант Не-могу". А на самом-то деле старик скорее добрый, нежели злой. И немало разных послаблений он узникам тут делает. Каземат-то поначалу построили — конюшня конюшней. Даже окошек в келиях не было. Так, говорят, он сам про то царю писал и дам подбивал, чтобы они в письмах в Петербург на ужасное свое положение в темных казематах пожалились. Мне про то Александра Григорьевна Муравьева по секрету рассказала. И вот ведь прорубили окна им, горемычным. Так что ты будь с ним пообходительней, авось он и смилостивится.

Иакинф долго не мог уснуть.

Ставни забыли закрыть, и в комнату глядела луна. Стараясь не скрипеть половицами, чтобы не разбудить спящих за стеной хозяев, Иакинф подошел к окну и отдернул занавесь. Земля, стволы и иглы сосен под окном, прокопченные строения казенных заводов вдали, покосившиеся избы на склоне — все высеребрилось и поседело. И все выглядело не таким мрачным, как днем.

В каземате пробили вторую стражу.

IV

На другое утро Иакинф решил нанести визит Лепарскому.

Высокий, плотный, несмотря на преклонные лета, тщательно выбритый генерал в просторном сюртуке без эполет встретил Иакинфа с привычной вежливостью воспитанного человека, не лишенной, впрочем, оттенка некоторой начальственной важности. Усталое лицо старика было в глубоких морщинах. Наверно, они-то да густые сивые усы и рождали впечатление строгости, даже суровости. Впрочем, вспомнив вчерашние слова Федосьи Дмитриевны, Иакинф подумал, что первое впечатление могло быть и ошибочным.

Представившись, Иакинф начал издалека — рассказал об их с Шиллингом экспедиции, о поездках по Забайкальскому краю и китайской границе и, как бы мимоходом, упомянул о минералогических своих увлечениях. Слушавший его с учтивым равнодушием, генерал приметно оживился.

— Узнав, что и вы, ваше превосходительство, не чужды рудословия и проявляете интерес к собиранию редкостей сибирских, я тут кое-что припас и прошу вас удостоить меня чести…

И Иакинф раскрыл коробку с камнями.

— Соблаговолите, генерал, принять от меня сей скромный презент.

Потускневшие глаза старика сразу загорелись. Иакинф почувствовал, что генерал куда более увлечен этой страстью, нежели скучными обязанностями службы. Вооружась лупой, он стал разглядывать камешки, читать приклеенные с изнанки ярлычки, расспрашивать о каждом камешке.

— Нет, нет, это надобно показать Бестужеву. Он тут у нас лучше всех разбирается в минералогии.

Генерал взял перо и написал крупным старческим почерком:

"Друг мой, Николай Александрович, прошу пожаловать ко мне и осмотреть любопытную коллекцию камней, которую привезли мне из Кяхты".

Позвонил в колокольчик и приказал явившемуся на зов плац-адъютанту послать в каземат солдата с этой запиской за государственным преступником Николаем Бестужевым.

— Будет исполнено, ваше превосходительство, — сказал офицер и бесшумно удалился.

Лепарский повернулся к Иакинфу, и тот заметил, что сквозь черты суровости на усталом лице генерала проступает что-то похожее на дружелюбие.

Услыхав имя Бестужева, Иакинф попросил не отказать в любезности дать ему возможность поговорить с ним.

Лицо старика сразу посуровело.

— Нет, нет. Не могу. Никак не могу, увольте, ваше преподобие.

— Изволите ли видеть, Станислав Романович, я имел честь знать господина Бестужева еще в Петербурге и не виделся с ним уже восемь лет.

— Ах вот как? Вы знали его в Петербурге? Еще до возмущения?

Иакинф рассказал о своем знакомстве с Бестужевым у Олениных, о встречах с ним, о чувстве приязни, которым он сразу проникся к молодому ученому.

— Да-а, человек он достойнейший. Редких качеств ума и сердца. Но дать вам возможность побеседовать… Нет, нет, не могу, не обессудьте. Не могу нарушить требований высочайше утвержденной инструкции.

— Признаться, Станислав Романович, этого я от вас не ожидал. Я ведь знаю о вашей доброте и о вашей просвещенной мудрости… Далека Сибирь, а вот в Петербурге не раз доводилось мне слышать, что именно по вашему представлению государь дозволил снять железа с тех государственных преступников, коих вы сочтете того достойными… И что по вашему именно представлению последовало высочайшее соизволение прорубить окна в казематах. И не одна благодарная душа и здесь, и в столице молится за ваше здравие.

Но сколько ни глядел Иакинф на генерала, ничего нельзя было прочесть на его спокойном, усталом лице.

— А строгость инструкций, — продолжал Иакинф, — что ж, она мне известна… Строгости строгостями, но кто может заподозрить в вас эгоизм Пилата, умывающего руки. Нет, нет, Станислав Романович, на вас это непохоже.

И Иакинф смотрел на генерала со смиренной улыбкой. Но долго еще пришлось ему рассыпаться в самой тонкой лести и пускать в ход все красноречие, на какое только был способен, пока генерал наконец не сдался:

— Ну что ж с вами делать, ваше преподобие. Придется, видно, взять этот грех на душу. Вам, кажется, я могу в этом признаться — Николай Александрович мне друг. Человек это исключительный! Вот я вам сказал давеча, что он превосходно разбирается в минералогии. Но, боже мой, разве только в минералогии! Чего он только не знает, к чему только не способен! Да не сложись так прискорбно его судьба, убежден, это был бы блистательный ученый. А какой он рисовальщик! Рисует тут акварельные портреты и дам, и своих соузников. И я, разумеется, препятствий ему в том не чиню. Напротив, поставляю

долгом помочь ему в сем предприятии. Соузники его, с моего дозволения, разумеется, ходят к нему в нумер и позируют.

Генерал поднялся, прошелся по комнате, выглянул за дверь и поплотнее прикрыл ее, затем вернулся к столу и покойно сел в кресла.

— Вы, отец Иакинф, и барон Шиллинг люди в Сибири, как бы это сказать… проезжие, — доверительно продолжал Лепарский. — И я не убежден, достаточно ли хорошо осведомлены вы в сибирских условиях. А у меня есть все основания опасаться, как бы не донесли в Петербург о какой-либо моей неисправности… О каком-нибудь не предусмотренном инструкцией послаблении злоумышленникам… Вот оттого-то я и не жалую разных посетителей. Каждый может оказаться соглядатаем. Я, разумеется, убежден в неизменном расположении ко мне государя. Но чем черт не шутит, пока господь спит…

Иакинф поспешил увести разговор в сторону от этих опасений, которые, по всему судя, имели под собой основание.

— А вы знаете, генерал, Николай Александрович основал в столице первую в России литографию и даже получил за это от покойного государя орден Святого Владимира.

— Он и тут проявил себя искусным механиком и часовых дел мастером.

— У него светлая голова и золотые руки, — сказал Иакинф.

— И все, к чему он прикладывает их, решительно все ему удается. Своим примером и прилежанием он заразил тут всех. Все принялись за изучение разных ремесел. Появились у нас свои мастеровые всякого рода — плотники, столяры, башмачники, даже повара и кондитеры.

— Это превосходно, генерал, что у каждого нашлось в каземате дело по душе, завелось занятие по склонности. Я по опыту монастырской жизни знаю, как пагубно сказывается на людях вынужденное безделье.

— И произведения многих наших мастеров, смею вас уверить, отец Иакинф, могут соперничать со столичными. Да вот — видите этот канделябр? Он отлит тут Артамоном Муравьевым по рисунку Николая Александровича. Или вот, не угодно ли взглянуть на сии переплеты? — Лепарский подвел Иакинфа к занимавшему полстены высокому книжному шкафу. — Это дело рук одного из наших узников, Борисова-старшего. А в переплетах рисунки акварелью всех растений забайкальской флоры и почти всех птиц Забайкальского края. А выполнены они его младшим братом. Не угодно ль взглянуть?.. Очень тонкая работа, не правда ли?..

Чувствовалось, что Лепарский с удовольствием и не без гордости рассказывает о своих подопечных столичному гостю.

Раздался стук в дверь, и инвалидный солдат ввел Бестужева.

Во всем его облике, в том, с какой тщательностью он был одет и как невозмутимо держался, чувствовалось: сознание собственного достоинства.

— Ступай, братец, ступай. Тебя позовут, когда будет надобно, — сказал солдату Лепарский и, как только тот скрылся за дверью, пошел навстречу Бестужеву. — Здравствуйте, Николай Александрович, рад вас видеть в добром здравии. Смотрите, какой я вам сюрприз приготовил, — и он указал на стоявшего у шкафа Иакинфа.

Бестужев повернулся и взглянул Иакинфу прямо в глаза.

— Отец Иакинф?! Какими судьбами? Вот уж кого не чаял я тут встретить!

Они стремительно шагнули друг другу навстречу.

Лепарский отошел к окну, давая им возможность провести эти первые минуты встречи без помех.

Иакинф смотрел в эти карие глаза, в это красивое лицо с тщательно подстриженными бакенбардами и гладко выбритым подбородком и думал, что восемь лет, наполненных такими событиями, вроде и не оставили заметного следа на Бестужеве. Разве что появилось несколько серебряных нитей в русых его волосах, да вместо морского мундира с серебряными эполетами у него на плечах скромный сюртук, а шею стягивает не шитый золотом высокий воротник мундира, а мягкая сорочка, перехваченная клетчатым шейным платком.

Но когда прошло первое волнение и они присели, все еще разглядывая друг друга, Иакинф убедился, что восемь лет не прошли бесследно. Не то чтобы Бестужев постарел, — разве скажешь такое про его годы — ведь Николай Александрович на целых четырнадцать лет его моложе и этой весной ему минуло сорок. Но как изменились эти глаза! Сколько видится в них горького жизненного опыта и вместе скрытой воли и тонкой проницательности! Какая внутренняя сила, сколько ума во всех чертах этого красивого и выразительного лица!..

— Я пригласил вас. Николай Александрович, чтобы вы взглянули на коллекцию камней, которую отцу Иакинфу угодно мне презентовать. Хочется, чтобы вы оценили ее по достоинству. Сказать вам откровенно, я сомневаюсь, могу ли я принять столь ценный дар. Вот по сему поводу вас и побеспокоил, — обратился к Бестужеву Лепарский. — А тут выяснилось, что вы, оказывается, давно знакомы, еще по Петербургу… Что ж, я искренне рад вашей встрече, столь неожиданной…

V

Иакинф провел в Петровском заводе полторы недели, и несколько раз удалось ему повидаться с Николаем Александровичем.

Первая такая встреча произошла на другой же день, на горе к северу от каземата. Бестужев пришел сюда с планшетом, в сопровождении конвойного солдата, для съемки вида Петровского завода. Как бы невзначай, забрел сюда и отец Иакинф. Памятуя, что дорога к солдатскому сердцу лежит через желудок, он прихватил с собой штоф водки, копченого омуля и разной снеди, которой снабдила его Федосья Дмитриевна. Конвойный, у которого с Бестужевым отношения были самые доверительные, с охотой осушил чарочку-другую, плотно закусил и растянулся в сторонке под деревом. А они уселись на валун, и началась нескончаемая беседа.

О чем они только не переговорили, о чем только не переспорили!

Бестужев подивился догадливости Иакинфа, надумавшего привезти такой презент Лепарскому,

— Ничего лучше вы и придумать не могли! Генерал же просто одержим этой страстью. Все в округе прознали об этой причуде нашего коменданта и несут и несут ему каменья со всех сторон. Генерал — старый холостяк и, по-моему, большую часть своего огромного содержания тратит на покупки разных минералогических редкостей. И не один уже ловкий плут обогатился, снабжая его мнимыми драгоценностями Правда, иной раз его берет сомнение в непогрешимости своих познаний, и он призывает для оценки камней либо меня, либо управляющего заводом Александра Ильича Арсеньева.

— Ну, Арсеньева — я понимаю, он — горный инженер. Но вы-то, вы-то откуда так наторели в рудословии? Я же видел, как вы тогда у генерала разобрали мою коллекцию.

— Это я унаследовал от отца.

— Он что, горный инженер?

— Да нет, старый флотский артиллерист, екатерининских еще времен. В войне со шведами при острове Сескара он попал под жестокий неприятельский огонь и был вынужден выйти за ранами в отставку. Еще в полной жизненной силе. Всей душой преданный просвещению, он, оказавшись в Петербурге, сблизился с графом Строгановым.

— Строгановым? Это кто же такой?

— Так вы не знаете Строганова? Это был известный всей России меценат, президент Академии художеств. То же, что теперь Оленин. Отец пришелся ему по душе, и граф сделал его

правителем дел Академии художеств и главноуправляющим гранильной фабрикой в Екатеринбурге. Фабрика эта должна была поставлять ко двору изделия из драгоценных камней и самоцветов, извлекаемых из недр Уральского хребта. И вот, часто бывая на Урале, имея постоянные сношения с тамошними горными чиновниками и инженерами, он занялся собиранием коллекции минералов, сначала с Урала, а потом и со всей России. Делал он это тщательно, с любовью и знанием. Я был первенец и, следственно, любимец и потому пользовался беспрепятственным доступом к отцу. И конечно же, собрание его самоцветов будило мою детскую любознательность. А отец, надо сказать, был нам, детям, настоящий друг. Вечно был занят серьезными делами и все же не скучал удовлетворять и наше беспокойное любопытство. Я одно время так увлекся его минералогическими россыпями, что спал и видел себя горным инженером. И только потом море вытеснило это детское увлечение.

Иакинфу показалось, что Бестужев с радостью предается воспоминаниям далекого детства. И он высказал это ему.

— Какое это все-таки счастье, Николай Александрович, что есть у человека что-то такое, чего никакая власть, ни светская, ни духовная, отнять не может! Воспоминания. Вы не находите? Они да труд служили мне единственным утешением на Валааме. Сядешь вечерком у камелька, глядишь на пепел гаснущий и перебираешь, что в жизни было, и печальное, и радостное.

— А я не люблю воспоминаний! — сказал Бестужев. — Достаточно я навспоминался в Шлиссельбурге! Вам никогда не приходило в голову, отец Иакинф, что самое страшное из всех мыслимых наказаний — пожизненное одиночное заточение? Человек навечно остается наедине с собой. Ни на минуту не в силах забыть себя. Я допускаю, что может быть пытка воспоминаниями! Их хранилище — человеческое сердце, и перебирать их все равно, что анатомировать сердце. Живое сердце! И это тем мучительнее, чем оно чувствительней.

— Да, конечно… Все в жизни оставляет на сердце свои следы, порой жестокие. Жить, в сущности, это и значит покрываться рубцами да шрамами…

— Воспоминания в нашем положении особенно мучительны, когда вспоминается что-то счастливое. Нет, я гоню от себя воспоминания. Уж если выбирать между ними и мечтой, я выбрал бы последнюю. Мне кажется, в самой натуре человека больше думать о будущем, нежели о прошлом. Душа человеческая всегда жаждет неизвестного, мысль наша всегда стремится вдаль. Ненасытная, она летит воображением в страны далекие…

— А вместо этого вас окружают четыре стены каземата с

окошком под потолком, — усмехнулся Иакинф. — Да и то зарешеченное. И вокруг меня — глухая монастырская стена, хоть она и раздвигается порой и я вот даже до вас добрался, — улыбнулся он.

— Спасибо старику Лепарскому, и моя стена по временам раздвигается. — Бестужев поднялся и обвел рукой раскинувшийся у их ног Петровский завод. — Раздвигается… Хоть и не так широко, как ваша. А вот когда я сидел в Шлиссельбургской крепости, так целые дни ничего, кроме стены да кусочка неба, не видел. И все думалось: неужто нет у меня больше никакой надежды, кроме надежды на вечность?

— Да-а, человек без всего может обойтись, со всем расстаться, только не с надеждой…

Оба умолкли и долго глядели вдаль. В этот утренний час, освещенный косыми еще лучами, Петровский завод выглядел сверху весьма живописно. Прямо под ними вытянулся прямоугольник каземата. Ярко сверкала на солнце его красная крыша с множеством беленых труб. От него к расположенной слева мельнице тянулась цепочка узников. На запад бежала речка Белега, у моста через нее высились строения завода, а дальше у подножия противоположных гор двуглавая церковь и печальное кладбище.

— Вот вы говорите — прошлое, настоящее, будущее, — задумчиво проговорил Бестужев. — А я вам должен сказать, что из всех этих трех времен я признаю только одно — настоящее. Я хочу жизни, но настоящей, деятельной! По мне, если жить, так действовать, бездействие же хуже православного ада иль католического чистилища. А тут временами чувствуешь, будто погребли тебя заживо. Жизнь потеряла смысл. И если продолжается, так без нужды, без цели! Правда, я делаю все, что могу, чтобы разнообразить эту полумертвую жизнь.

— О, это большое искусство, — горячо поддержал Иакинф. — По себе знаю, что значит жить в заточении. Тюрьма да монастырь — самое нечеловеческое состояние.

— Вы забыли еще казарму.

— В казарме я не бывал. Да, наверно, и казарма. И у духовных и у светских тюремщиков одна страсть — внешний порядок и единообразие. Одинакость, отсутствие всякого своеобычая — вот к чему они стремятся. Чтобы один узник был похож на другого… А люди должны разниться, хоть немного, хоть на "черноту ногтя", как говорят монголы.

— И все-таки я изо всех сил стараюсь и тут что-то делать. Пишу, читаю, пилю, строгаю, стучу молотком, обвиваю колечки, мажу кисть… Часто пот льет градом, нередко доводишь себя до

того, что пальцем не в силах пошевелить. А все-таки каждый удар маятника — будто капля холодной воды падает тебе на разгоряченную голову! Бьет, как щелчок, по обнаженному сердцу… Кажется уже все сделал, чтобы меня расстреляли или повесили…

— В Петербурге говорят, что государь высоко ценил вас и готов был помиловать, но вы очень дерзко держались на допросах.

Бестужев горько усмехнулся:

— Меня взяли на третий день после четырнадцатого декабря, за Кронштадтом…

— Когда я вернулся с Валаама, слыхал, как в народе рассказывали, будто вы захватили Адмиралтейство, а потом корабль и отстреливались от наступающей пехоты и кавалерии.

— Вот как? — оживился Бестужев. — Ну, это уже легенды. Просто по льду залива я пробрался в Кронштадт. Запасся теплым платьем и решил по льду же переправиться в Швецию. Я ведь много лет служил помощником директора Балтийских маяков и хорошо знаю эта места. Но за Кронштадтом меня схватили. Самым прозаическим образом. Опознала жена какого-то солдата на дальнем маяке. В Петербурге, на главной гауптвахте, связали мне руки веревкой и в таком виде доставили во дворец. Встретил меня генерал-адъютант Левашев. Стал допрашивать. Я и говорю ему: "Ежели вы, генерал, хотите развязать язык мой, так извольте сперва развязать мне руки". Видимо, генерал не решился ни отказать, ни удовлетворить моему требованию, не испросив разрешения самого государя. А тот, как оказалось, находился тут же, в соседней зале. Ну, вернулся Левашев, и руки мне развязали… Едва на ногах держусь. А в той же комнате, в углу, приготовлен ужин, видимо для дежурных флигель-адъютантов. Такие запахи — голова кружится. Я и говорю: "Генерал, я третьи сутки не ел по-человечески и не стану отвечать ни на какие вопросы, пока меня не накормят". А тут, на мое счастье, через залу проходил великий князь Михаил Павлович. Услыхал и приказал посадить меня за стол и даже выпил со мной бокал шампанского. — Бестужев засмеялся этому воспоминанию. — Видите, при каких обстоятельствах привелось мне выпить с высочайшей особой…

— Ну и что дальше?

— Поужинали. Великий князь поднялся и ушел, а Левашев приступил к допросу. И остался мной недоволен. Ничего, решительно ничего из того, что его интересовало, он от меня не добился и пошел доложить государю. Вскоре тот пожаловал собственной персоной. Принялся допрашивать меня сам. Задал

несколько вопросов, а потом, видно, решил поразить меня своим милосердием. "Вы знаете, Бестужев, всё в моих руках, — говорит, — и я могу простить вам. Да, ежели смогу увериться, что впредь буду иметь в вас верного слугу, я готов простить вам", — повторяет.

— И что же вы ему ответили?

— Что ответил? Сказал: "В том-то и несчастье, ваше величество, что вы все можете сделать, что вы — выше закона. А я желаю, чтоб впредь жребий ваших подданных зависел от закона, а не от вашей милости или вашего каприза". Государь переменился в лице. Но все же еще несколько раз лично меня допрашивал. И я ему, не таясь, высказал все, что думал. О ропоте не только офицеров, но и всех гражданских сословий… И об удручении земледельцев тяжкими дорожными работами и повинностями… И о бесчеловечности военных поселений… И о ярме рабства, которое одно, делая человека неуверенным в своей собственности и в своей жизни, ставит все хозяйство России в самое жалкое положение… И о тяжелом положении купечества… И о шаткости самого самовластья. И о том, что из Зимнего дворца сделали съезжую…

— И что же государь?

— Слушал. Бранился. А потом вдруг приказал послать мне в каземат перо я чернила. Пусть, говорит, пишет все, что вздумает. Не знаю, какое уж употребление нашли они моим запискам, но только меня из второго разряда злоумышленников перевели в первый, — усмехнулся Бестужев. — Приговорили к гражданской смерти и послали в Сибирь на каторжные работы уже не на срок, а навечно. Но и к пяти повешенным все же не причислили. А я после всего, что произошло, уже не рассчитывал на выигрыш жизни. Да, право, и до сих пор не знаю, что с ним делать, с этим выигрышем…

— Вот и неправда! Уж кто-кто, а вы-то, друг мой, знаете, что с ним делать. И делаете! И это вырывает вас из плена смерти. И помните, мой друг, у человека всегда должна быть цель. На сегодня. На неделю. На год. На жизнь! Пускай эта цель меняется — человек сам меняется. Но у него всегда должно быть что-то впереди!

— Да, вы правы, отец Иакинф. Тысячу раз правы! У человека должна быть цель. И вместо одной крупной я ставлю перед собой десятки мелких. Иначе впору сойти с ума иль наложить на себя руки… Конечно, состояние нашего духа далеко от веселости. Но и отчаяние должно быть нам чуждо… Несчастье должно нести с достоинством…

— Я вас отлично понимаю. Нет ничего хуже, когда человек

становится жалок. Но вы-то, вы-то вызываете не жалость, а зависть… Однако ж каковы ваши мелкие цели, как вы изволили выразиться?

— Да много всякого. Задумал я усовершенствовать и упростить хронометры. Мысль эта пришла мне еще в гробовом молчании Шлиссельбургской крепости, Там ведь мы были лишены всякого подобия какой-либо деятельности. И вот, когда меня перевели в Петровский завод, я с жаром принялся за дело. Для этого пришлось изготовить себе десятки самых различных инструментов. К несчастью, не хватает то одного, то другого. Кажется, такой пустяк, а никак не могу достать тут проклятой черной латуни.

— Ну, это я вам пришлю!

— И все-таки мне удалось изготовить хронометр с горизонтальным маятником всего с десятой долей секунды суточной погрешности. Ну, сделал, и самому смешно. Будто наша казематная жизнь нуждается в такой точности. А теперь вот все несут и несут ко мне в ремонт часы. Заделался настоящим часовых дел мастером, — усмехнулся Бестужев.

— И часовщик, и художник, — кивнул Иакинф на планшет с наполовину набросанным видом Петровского завода.

— Да, малюю, малюю. И пейзажи, и портреты. Хочется мне написать галерею портретов моих товарищей. Несколько десятков я уже нарисовал. В первую очередь с тех, чей срок каторги кончался и кто уезжал на поселение. Это все люди, достойные остаться в памяти потомков. Люди бесстрашия неколебимого, убеждений непреоборимых. — Заговорив о товарищах, Бестужев приметно оживился. — Мне хочется запечатлеть их, пока они не одряхлели духом и телом. Приходилось ли вам, отец Иакинф, видеть когда-нибудь дерево, покалеченное грозой? Листья осыпались, ветви разбросаны, ствол обожжен, но еще тверд и стоит неколебимо. Иной суеверный прохожий, взглянув на него, перекрестится и скажет: "Гнев небесный покарал его". А вся-то вина его состояла в том, что оно возвышало вершину свою над другими. Порой такое вот дерево напоминают мне мои товарищи.

— Хорошо бы к этим портретам присовокупить еще и жизнеописания. Вы и ваши товарищи достойны своего Плутарха.

— Ну, с жизнеописаниями дело куда сложнее. Мои товарищи отличаются все большой скромностью. Вы знаете, отец Иакинф, во всех наших заговорщиках было столько самоотвержения и так мало тщеславия и самолюбия, что никто из них не готовил себя к первым ролям. Разве что Пестель. Но он был далеко на юге. Вот потому-то когда на площади наше общество осталось без головы, оно оказалось, как это… depourvu {Застигнутым врасплох

(франц.).}. И это одна из главных причин неудачи всего нами замышленного… А что до описаний, я пишу нынче воспоминания о Рылееве. Конечно, вряд ли это назовешь жизнеописанием.

— Вы близко его знали?

— Да, довольно коротко. Хотя, ежели говорить строго, мы и не были особенно дружны. Дружбой и доверенностью его больше пользовался брат мой, Александр. То были друзья настоящие. Но когда с ним случалось что-то, требовавшее холодного размышления, он всегда прибегал ко мне. В этом случае он делал мне честь предпочтения: не доверял, как он сам признавался, ни собственной пылкости, ни Александровой опрометчивости. Рылеев был один из самых прекрасных людей, каких я только знал. Его сердце было доступно всякому благородному порыву. Любовь и дружба сопутствовали ему на всем поприще его жизни. Конечно, его можно б упрекнуть в том, что он был чрезвычайно пылок и неосторожно доверчив. Но это уже была черта характера. И мне хочется в своих воспоминаниях показать его не безупречным героем, а таким, каким он был в жизни, как я его помню. Были у него и свои человеческие слабости. Понятное дело, быть героем и не иметь недостатков и слабостей, не делать в жизни ни одного неосторожного шага — куда как славно…

— Ну, знаете, жить не делая ошибок, по-моему, вообще невозможно, — вырвалось у Иакинфа.

— Да ежели хотите знать, отец Иакинф, человек с недостатками и слабостями кажется мне достойным большей похвалы, если он только способен одолеть их. Терпеть не могу угрюмых постников. Да вот взять хоть бы вас. Вы не побоялись наделать ошибок — и в Иркутске, и в Пекине, как вы сами мне про то рассказывали. Но прожить жизнь, не ступив ни одного необдуманного шага — в этом я вижу одну только силу, которой нег препятствий. А там… там мне представляется борьба и победа. И чем бой опаснее, тем победа славнее! А сколько в нем было справедливости и бесстрашия! Должен вам признаться, что как гражданского поэта я ставлю его выше Пушкина.

— Ну, вот с этим я уж никак не могу согласиться, — решительно запротестовал Иакинф. — Не скрою, я мало читал Рылеева, но кое-что мне все-таки попадалось. И я нахожу, что стихи его, как бы это вам сказать?.. Принадлежат более к области ума, нежели чувства и воображения. Да и описания его слабы, и сам стих, разве можно сравнить его с пушкинским!

— Готов согласиться, что с механической стороны многие стихи Рылеева не могут назваться образцовыми. Но вы мне скажите, что почитать самой поэзией? По-моему, всякий благородный поступок, любая высокая мысль, все, что выходит из

привычного ряда наших обыкновенных действий, это и есть поэзия!

Иакинф с некоторым удивлением смотрел на Бестужева. Обычная сдержанность его покинула. Говорил он с одушевлением, его и всегда-то выразительные глаза метали искры.

— Любовь, гнев, ненависть суть страсти, но и любовь к отечеству — тоже страсть! А по существу, одна-единственная потаенная идея у Рылеева была — пробудить в душах его соотечественников чувствования любви к отечеству, зажечь желание свободы. И я убежден, если стихи заставляют трепетать ту струну нашего сердца, которую сочинитель намеревался тронуть, то каков бы ни был наружный вид стихов, они — поэзия… Да, я согласен, может быть, его описания действительно слабы, и драматическая часть тоже… И все-таки такая его поэма, как "Войнаровский", мне кажется выше всех поэм Пушкина. Да в сущности, тот оригинален только в "Цыганах".

Иакинф нахмурился.

— Ну уж простите, Николай Александрович…

— Подождите, подождите, отец Иакинф, — нетерпеливо перебил его Бестужев. — Обаяние Пушкина заключается в его стихах, которые катятся жемчугом по бархату. Достоинство Рылеева состоит в силе чувствований, в жаре душевном. Да, я готов согласиться, что по стихосложению произведения Рылеева не могут равняться и с самыми слабыми стихами Пушкина. Но попробуйте-ка переведите сочинения обоих поэтов на иностранный язык, и вы увидите, что Пушкин станет ниже Рылеева. Мыслей последнего нельзя утратить в переводе, прелесть слога и очаровательная гармония Пушкина потеряются. Мне кажется, Пушкин сам еще не постиг применения своего таланта и употребляет его не там, где надлежало бы.

— И с этим я никогда не соглашусь! — горячо возразил Иакинф. — Да читали ль вы последние стихи Пушкина? А его прозу? Они носят печать зрелости его таланта во всем расцвете, во всем блеске. Года три назад я имел честь с ним познакомиться. Меня свел с ним Павел Львович Шиллинг, дай бог ему здоровья. Встречи с Пушкиным всегда будут принадлежать к самым приятнейшим воспоминаниям моей жизни. Человека умнее я не встречал! И особливо поразила меня широта его взгляда. Я пришел встретить поэта, а он говорил со мной, как историк и мыслитель. Незадолго до того, как мы с ним познакомились, он окончил "Бориса Годунова" и с увлечением сочинял "Полтаву"… Как, вы не знаете ни того, ни другого?! А последние главы "Онегина"? Да как же вы беретесь судить о Пушкине! Последнее

время, что мы встречались с ним, его особливо занимала история и, может, больше всего история Петра. Петр — любимый предмет всех его разговоров. И об нем не может он говорить хладнокровно. Да Петр — это же целая всемирная история, говорил он нам. А вы знаете, что он начал роман "Арап Петра Великого"? А в большой поэме своей "Полтава", о которой я только что упомянул, описывает одно из самых важных происшествий Петрова царствования. Он читал нам с Шиллингом сию поэму. Ах, какие стихи! Жалею, что слабая моя память не удержала многих ее песен. Но кое-что я все-таки запомнил. Вот послушайте:

Была та смутная пора,
Когда Россия молодая,
В бореньях силы напрягая,
Мужала с гением Петра.
Суровый был в науке славы
Ей дан учитель: не один
Урок нежданный и кровавый
Задал ей шведский паладин.
Но в искушеньях долгой кары,
Перетерпев судьбы удары,
Окрепла Русь. Так тяжкий млат,
Дробя стекло, кует булат.

Какие стихи! А? Какая поразительная гармония мысли и чувства, ума и сердца! Да это и не снилось вашему Рылееву! Но, послушайте, он же замыслил написать саму историю Петра. Вы представляете? Дай бог, чтобы он успел ее закончить. Да такой труд может затмить всю карамзинскую историю. А с каким восторгом отзывался он о Петровых преобразованиях. Хоть Петр и был слишком нетерпелив, хоть иные его указы и писаны кнутом, говорил он, но многие из них для вечности, во всяком случае для долгого будущего. Очень он жалел, что Петр не успел довершить многое из того, что начал. И при этом Пушкин радовался, что Петр оставался всегда человеком архирусским, хоть и бороду сбрил, и в голландский кафтан облачился. По-моему, Пушкин просто влюблен в Петра, недаром он носит золотую пуговицу от Петрова кафтана в оголовье своей трости.

Все, что рассказывал Иакинф, было для Бестужева совершенно ново и необычайно заинтересовало его.

— По правде говоря, этого я от него не ожидал. И как это перекликается с тем, что я сам думаю о Петре. У нас тут многие считают его деспотом и тираном. А я, признаюсь, без памяти

люблю этого тирана. Он научил меня употреблять свои права и свой голос… Наверно, если б я был на воле, я стал бы историком. И может, тоже занялся бы царствованием Петра. Впрочем, вы помните, я и начинал с этого. В Петербурге, когда мы с вами, познакомились, я занимался составлением истории русского флота. Тогда-то я и увлекся личностью Петра. И замечания Пушкина о введенных им государственных учреждениях, о которых вы упомянули, кажутся мне очень справедливыми. Тут я с ним согласен! Посудите сами, отец Иакинф, разве не демократические начала положены в основу его законодательства? По мысли Петра, личный талант, личная заслуга, а не право рождения должны давать человеку ход. По его мысли, и граф, и князь, и последний мещанин должны начинать службу с солдатского звания. Ведь это же замечательно! Исключение он делал только для тех, кто имел высшее образование. И ведь именно Петр положил начало совещательных собраний, учредив коллегии, Сенат.

— И даже Синод, — вставил Иакинф с улыбкой.

— Да, и Синод! И заметьте, царь, по Петрову установлению, должен был заседать в коллегиях, но не более как президент. Голос его мог перевешивать только в случае равного разделения голосов…

— Хотели стать историком, а стали художником, — кивнул Иакинф на начатый Бестужевым рисунок.

— Да какой там художник! Так, самоучка. Но, признаюсь, работаю я с увлечением. Вкладываю в свои маленькие картинки и портреты душу. А вы знаете, отец Иакинф, сказать вам откровенно, художник, по-моему, должен быть человеком, стоящим выше всех сословий. Он должен соединять в себе все степени, все условия образования. Быть на уровне своего века. Недаром великие художники были вместе с тем и ученые. Вспомните Леонардо да Винчи. И я надеюсь, новое поколение наших художников не будет гордиться своим невежеством, как это бывает в наши дни…

Бестужев замолчал и занялся своим пейзажем. Иакинфу не хотелось мешать Николаю Александровичу, и он сбоку, молча, следил за его работой.

С каждым мазком кисти рисунок оживал. Зазеленели сосны на склонах гор. Подсвеченные солнцем, зарозовели клубы дыма из заводских труб. Закурился легкий пар над речкой. А Бестужев, не выпуская кисти, расспрашивал Иакинфа, что вновь привело его в Забайкалье. Иакинф рассказывал — сначала коротко, а потом все обстоятельнее. Да разве можно было иначе? Бестужев расспрашивал с такой жадностью — и о его трудах и

обстоятельствах, и о Петербурге, и о событиях во Франции и на Востоке — все его занимало.

— Да, в какое интересное время мы живем! — то и дело восклицал он. — Сколько свершилось событий за те шесть лет, что мы сошли со сцены! Жаль только, что новости достигают до нас лишь тогда, когда на месте, где они происходят, все уже переменилось и новизна сделалась стариною.

Иакинф с гордостью и даже, пожалуй, с нежностью смотрел на Бестужева. Ему всегда нравилась увлеченность и вместе широта взгляда этого человека, свежесть ума и жар сердца, которые не остудила и Сибирь. О чем бы ни зашла речь — о поэзии, об истории, о живописи, о политике, — он ни о чем не мог судить равнодушно, обо всем говорил с одушевлением, во все вкладывал сердце. И все это — широта и светлость его взгляда и на историю, и на современные события, и труженическая его деятельность в каземате, и поразительная отзывчивость на все новое в науке, на все изящное в художествах, и то дружеское участие, с каким расспрашивал он Иакинфа об его злоключениях и его трудах, — все это, соединенное в одном лице, представлялось Иакинфу таким радужным, что он был убежден — в общении с Бестужевым любой должен просветлеть и становиться лучше. А чтобы так светить другим, для этого надобно самому носить в себе солнце!

И еще одно связывало Иакинфа с Бестужевым — одинаково испытываемая обоими несправедливость. У одного — каторжный каземат, у другого — монашество, от которого он никак не мог избавиться.

"Замечательный человек! — думал Иакинф. — Как хорошо, что удалось с ним свидеться. И какая несправедливость, что такой человек заточен в темнице. Сколько пользы принес бы он отечеству на любом поприще!"

VI

На возвратном пути из Тутуйского дацана удалось Иакинфу проникнуть и в каземат, И опять благодаря старику Лепарскому. Всемогущий генерал-губернатор Восточной Сибири не удостоился этой чести, а он, поднадзорный монах, проник. Сопровождалось это, правда, тысячью "не могу".

— Не могу. И не просите, ваше преподобие, не могу!

И опять долгий, мучительный разговор, и тонкая лесть, и изощренное красноречие.

Наконец дрогнули морщины на суровом лице старика, и в выцветших его глазах опять мелькнуло что-то похожее на

ироническое дружелюбие.

— Ну что ж с вами делать, отец Иакинф. Ох, чувствует мое сердце, подведете вы меня, старика, под монастырь.

И вот в сопровождении племянника генерала — плац-майора Лепарского — и хромого инвалидного солдата с болтающимся на бедре штыком Иакинф идет в каземат.

Он не может одолеть волнения, а глаз между тем все замечает кругом. Траурно-полосатая караульная будка, у которой стоит немолодой рябоватый солдат с тяжелым ружьем, увенчанным штыком; высоченный, доходящий до конька кровли частокол из затесанных сверху и врытых в землю лиственниц; один двор, другой, и вот наконец длинный и довольно широкий, с окнами вовнутрь, коридор, в который выходят двери келий. Иакинф подсчитал: пока они добрались до нужной двери, пришлось четырежды отворять замки. Солдат остался у порога, в келью Иакинфа провел плац-майор. При этом он постучался в дверь:

— Николай Александрович, принимайте гостя, — и, обменявшись с Бестужевым двумя-тремя словами, удалился.

— Отец Иакинф! — обрадовался Бестужев. — Какой же вы, право, молодец, что пробрались! Впрочем, я всегда полагал, что вы из тех, кого препятствия только воспламеняют. Проходите, проходите. Позвольте вам представить моего младшего брата. Михаил Александрович, бывший поручик лейб-гвардии Московского полка. Прошу любить и жаловать.

— Почему же поручик? Ты забыл, Николя, незадолго до возмущения я был произведен в штабс-капитаны, — сказал тот с улыбкой. — Рад познакомиться, отец Иакинф. — Он поклонился, щелкнув при этом каблуком.

На старшего брата, отметил про себя Иакинф, он походил лишь отдаленно. Больше чувствовалась в нем офицерская косточка — стройный, аккуратно подстриженные маленькие усики. А улыбка мягкая и приветливая.

— Да, судьба играет нами своенравно. Негаданно сводит, а потом так же вдруг разлучает. Сколько лет мы не видались? Впрочем, может, разлука действует на дружбу и благотворно? Ну в самом деле, отдаленные от людей тысячами верст и этими стенами, не имея случая видеть друзей вблизи, мы, пожалуй, любим их более. Не правда ли, Мишель? — заговорил Николай Александрович, словно продолжая давно начатый разговор. И вдруг улыбнулся насмешливо: — Может, правда, потому, что мало их знаем? — и опять посерьезнел: — Нет, кроме шуток, дружеские чувствования казематские стены только усиливают. Нечто подобное испытывал я и на корабле в дальнем плавании…

Инвалидный солдат внес кипящий самовар.

— Отец Иакинф, Мишель, садитесь. Позвольте предложить вам чаю, которым вы же нас и одарили. А уж заварить его мы попросим самого отца Иакинфа.

— Благодарствую. Ну что ж, давайте, попробую обучить вас этой премудрости. А заваривать чай — и впрямь искусство, господа. Чай мало вовремя собрать да как следует высушить, его еще надо уметь заварить. Но какой же чай вам угодно отведать — зеленый или байховый? Тот и другой пьют и заваривают по-разному.

Сошлись на байховом, и Иакинф приступил к таинству заварки чая, сопровождая каждое действие пояснениями. Ополоснул чайник крутым кипятком, поставил на самоварную конфорку, тщательно высушил на медленном огне, насыпал добрую горсть чая из одной коробки и из другой. Потом плеснул из крана кипятку, совсем немного, и оставил чайник на конфорке… По камере разносился легкий аромат, и словно забылось, что они в каземате и что низкое и длинное оконце под потолком зарешечено…

Бестужев маленькими глотками, наслаждаясь, потягивал золотистый напиток.

— Нет, какая это превосходная вещь — чай! Уже за одно это можно быть благодарными китайцам.

— И любопытно, что после Китая он больше всего привился именно в России, — заметил Иакинф.

— У нас, в России, самовар заменяет камины, у которых во Франции и в Англии собираются по вечерам, — сказал Бестужев. — У них трудно представить себе дом без камина, а у нас — без самовара. Там, где новейший этикет не изгнал из гостиных самоваров и не похитил у хозяйки права разливать чай, гости садятся теснее вкруг чайного стола. Появляется какой-то центр, вокруг которого вращается общая беседа. Кипящий напиток согревает, кажется, самые сердца. Располагает к непринужденности. Развязывает языки. Не замечали? И старики вроде делаются терпимее и доверчивее к молодым, и молодые — внимательнее к старикам. Нет, право, превосходная вещь чай!

— А как он греет в дороге! — подхватил Иакинф. — Ну, о Монголии я уже не говорю. Там без плитки чая не обойтись. Но и у нас теперь всюду, особливо на больших дорогах, вы встретите чай. И в Забайкалье, и по всей Сибири, и даже в самой России. А я уж поездил предостаточно. — И, улыбнувшись мелькнувшему воспоминанию, сказал: — Да вот прелюбопытнейший разговор был у меня с ямщиком, что привез меня сюда. Обещаю ему на водку, чтоб погонял лошадей. А он мне в ответ: "Не на водку,

ваше преподобие, а на чай. Я, — говорит, — давно на чай перешел. Хоть и дороговат, — говорит, — но все на чае много не пропьешь, а на водке, того и гляди, все спустишь".

— Слова действительно любопытные и, признаться, совсем неожиданные в устах ямщика, да еще сибирского, — улыбнулся Бестужев-младший.

— А вы знаете, отец Иакинф, если не считать дам, жен наших товарищей, вы ведь первый гость, которого мы принимаем у себя в каземате, так сказать, на "том свете". А ты, — повернулся Николай Александрович к брату, — все не верил, что отцу Иакинфу удастся к нам пробраться.

— Не верил? И ничуть сие не удивительно, — сказал Иакинф с улыбкой. — Как лицо духовное, могу вас спросить: а знаете ли вы, господа, от кого из апостолов более осталось последователей?

Братья переглянулись.

— От Фомы всеконечно.

Бестужев весело захохотал.

— Ну, Мишель, буду звать тебя отныне Фомой Неверящим.

— Я не обижусь, — улыбнулся Михаил Александрович. — Из всех апостолов Фома, пожалуй, самый живой и самый человечный.

— Что до человечности, так именно таким показался мне ваш комендант, — заметил Иакинф. — Несмотря на всю его наружную суровость. Мне бы в лавру такого настоятеля.

— А, вы успели его оценить, отец Иакинф? Не правда ли, первое впечатление от него обманчиво, — сказал младший из братьев. — Поначалу он и впрямь кажется угрюмым педантом.

— Да, судьба над нами смилостивилась, — сказал серьезно Бестужев-старший. — Я и представить отказываюсь, что бы с нами со всеми было, ежели бы не старик Лепарский. А уж мы с Мишелем навидались комендантов — и в Петропавловской крепости, и в Шлиссельбурге, и фельдъегерей на этапах, и самого обер-коменданта Николая Незабвенного, как прозвал государя Мишель.

— И это еще с драконовскими инструкциями, которые бедняк Лепарский то и дело должен расправлять и прилаживать на ложе Прокруста, — подхватил Михаил Александрович. — Вы, пожалуй, этого и представить не можете, отец Иакинф, а я слыхал, и из источников самых верных, что в столе у нашего старика, помимо инструкций, хранится сто двадцать бланков с личной подписью императора…

— Это столько тут нас у него в каземате должно было содержаться.

— На основании этих бланков с высочайшей подписью

Лепарский имеет право применить к каждому из нас любую меру, вплоть до расстрела.

— Да у другого коменданта с такими неограниченными полномочиями половина заключенных давно была бы расстреляна или подверглась наказаниям еще более постыдным и мучительным.

— Я вот, Николя, для примера расскажу отцу Иакинфу про предместника генерала Лепарского.

— Бурнашева?

— Да. До приезда Лепарского начальником Нерчинских рудников был Бурнашев. Под его начальством на Благодатском руднике содержались наши товарищи — Волконский, Трубецкой, Оболенский, Якубович…

— Ты забыл еще братьев Борисовых.

— Да, да, Борисовы. И еще Муравьев-Апостол. А может, и еще кто-нибудь… Но это неважно. Так вот, когда фельдъегерь доставил Бурнашеву инструкцию, собственноручно подписанную Незабвенным, тот пришел в негодование. "Вот как пишутся инструкции! — возмущается. — Все хорошо, все хорошо, а под конец заковыка: "Наблюдать за здоровьем злоумышленников". Да что же это такое?! Вот и извольте исполнять такую инструкцию! Да не будь этой закорюки, я бы их в два счета в расход вывел. А теперь вот извольте "наблюдать за здоровьем"! Выходит, надобно действовать со связанными руками". Это мне все Петр Иванович Борисов рассказывал. Он все это собственными ушами слышал. Однако связанные руки связанными руками, а, несмотря на высочайшее повеление "наблюдать за здоровьем злоумышленников", он загнал их всех в грязную и мрачную нору на съедение всех родов насекомых. Закованные в железа, днем они выбивались из сил под землей, а ночью буквально задыхались от смрада в этой норе. О пище я уж и не говорю, да она им и на ум не шла… И вот сравните с этим злодеем нашего старика…

— А помнишь, Мишель, поначалу мы его не очень-то жаловали…

— Да это и понятно. Представьте себе, отец Иакинф, сотню горячих голов, вырванных из привычной среды, с неугомонившимся самолюбием, оказавшихся з положении неестественном и унизительном. И вот придет к нам в каземат комендант, мы окружим его, раздраженные, чем-нибудь недовольные, и давай осыпать его градом упреков и укоризн…

— Часто несправедливых и нередко похожих на брань.

— А он стоит себе спокойнехонько и говорит, даже с какой-то вроде кротостью: Messieurs, je vous en prie, grondez moi en franèais… les soldats peuvent vous entendre {Прошу вас, господа,

браните меня по-французскк… вас могут услышать солдаты (франц.).}. И еще несколько слов скажет — простых, но идущих прямо в сердце.

— Вы представляете, отец Иакинф, сколько надо было иметь самообладания и такта, чтобы утихомирить нас и установить тут тот порядок, который теперь существует, — поддержал брата Николай Александрович. — Старик действительно добряк. И притом — умный и, я бы даже сказал, воспитанный человек. Вот уж пятый год, как мы под его началом, и за все это время он не дал никому из нас почувствовать, что он начальник в тюрьме. Он мне сам как-то признался, что больше всего его тяготит мысль, что он может прослыть в России, да и в Европе, бездушным тюремщиком. Да ежели, говорит, я и дорожу сим местом, так не ради высочайше пожалованных чинов и звезд. Кому их здесь покажешь? А для того только, чтобы уберечь вас от свирепых палачей и притеснителей, от несправедливостей бессовестных чиновников. Но, Мишель, мы, право, заговорили с тобой нашего гостя. А я ведь, отец Иакинф, еще непременно хочу снять с вас портрет.

— К чему же с меня портрет-то писать? Да и не положено лицу монашествующему свое обличье на светских парсунах увековечивать. А я недавно опять чуть под суд Святейшего Синода не угодил. Поместил в книжке о Монголии несколько своеручных рисунков — ну монголы, монголки, и пешие, и на конях, а как фронтиспис поместил портрет благородного китайца в летнем одеянии. А начальство усмотрело в нем мой автопортрет, и едва-едва от суда Синода я отвертелся. Так что уж не стоит синодальных гусей дразнить. Покажите-ка мне лучше портреты ваших товарищей, про которые вы мне говорили намедни.

— Одно другому не мешает. Вы будете мои рисунки рассматривать, а я вас писать. Только поднимемтесь-ка наверх, на антресоли. А то тут при свечах вы ничего не разглядите. Там наверху у меня и живописный кабинет, и слесарная мастерская.

Они поднялись по крутой и шаткой лестнице на антресоли, которые были устроены под окошком и перекрывали почти половину комнаты, деля и в высоту ее пополам. Подмостки были огорожены резной деревянной решеткой.

Тут хоть и было низковато и, стоя, они почти касались головой потолка, но зато светло. Окошко было низенькое и длинное, наподобие тех, что прорубают в конюшнях.

— Очень мудрое сооружение, не правда ли, отец Иакинф? — спросил поднявшийся вместе с ними Михаил Александрович. — И я с помощью Николя тоже завел себе антресоли. Правда, не такие

основательные, как у него. У меня там только стул да небольшой столик помещаются. Но зато, когда надобность в них миновала, я могу их опустить с помощью ворота, который мы с Николя соорудили. Тут многие нашему примеру последовали. Как же иначе? Видите, отпустили-то нам свету божьего на медную полушку. А вечно при свече можно совсем себе глаза испортить.

— Отец Иакинф, садитесь-ка вот сюда, к столу. Напротив окошка и чтобы свет падал чуть сбоку. Я устроюсь вот тут насупротив и буду рисовать, а Мишель покажет тем временем рисунки.

Михаил Александрович достал с полки несколько больших картонов, развязал тесемки и стал показывать рисунки — лист за листом, называя тех, на портретах которых не было автографов.

Иакинф с интересом разглядывал их. Какие это все разные были люди! Никого из них он не знал. Но у него было такое ощущение, что он знакомится сегодня со множеством новых людей. В каждом портрете отчетливо видна личность, своеобычный характер, который с другим не спутаешь. В каждом угадывалась биография, своя неповторимая история. И все-таки, несмотря на разность, было в них что-то общее. Может быть, это общность судьбы их чем-то неуловимо сближала или сам пытливый взгляд художника невольно запечатлевался на этих лицах?

Михаил Александрович переворачивал перед ним лист за листом. И от каждого Иакинфу было трудно оторваться.

Якубович. Красивое лицо одержимого. Шрам на лбу и черные пылающие глаза. Кажется, один этот огнеокий взгляд способен испепелить врага.

А вот совсем другое лицо. Павел Выгодовский. Чем-то, должно быть мягкостью взгляда, напоминает он женщину.

И вот совсем иная мягкая доброта в глазах Ивана Ивановича Пущина, которого, тем не менее, с женщиной не спутаешь.

Сергей Иванович Кривцов — красавец, вот с кого, кажется, надобно б писать Аполлона.

Михаил Сергеевич Лунин. Мужественное, благородное лицо. Судя по тому, что Иакинфу приводилось слышать, ему, должно быть, уже много за сорок, а было а его лице что-то юношеское, несмотря на все понимающую усмешку из-под солдатских усов. Коротко остриженные волосы и распахнутый ворот рубахи свидетельствовали, что он мало заботится о том, как выглядит, а небольшие, карие, чуть исподлобья глядящие глаза были зорки, как у хорошего стрелка или охотника.

А как непохожи оказавшиеся в папке рядом Александр Одоевский и Михаил Фонвизин. И не столько чертами — оба

вроде русоволосые, у обоих усы и продолговатые лица, но самим выражением. У одного — Одоевского — задумчивый, несколько рассеянный взгляд, устремленный куда-то в пространство. Чувствуется в человеке тот дальнозоркий ум, который превосходно видит вдаль и не замечает того, что у него перед глазами. И Фонвизин — тип настоящего русского барина, знающего себе цену, исполненного чувства собственного достоинства, с проницательным взглядом умных карих глаз, которые, может, и не заметят высокой горы на горизонте, но зато уж не дадут споткнуться о камень на дороге. В нем легко можно было угадать охотника до изысканных блюд. Иакинф подумал, что человек этот, может, и впрямь был полон в свои молодые годы того благородного свободомыслия, которое нередко проходит с первым седым волосом. И тотчас же себя одернул, — а вот ведь не прошло, а, напротив, привело в каземат, на каторгу.

И так в каждом портрете что-то свое, неповторимое, зорко схваченное и так умело переданное на бумаге.

Иакинф поделился этим вслух.

— Да, да. Я думаю, это и есть главная задача художника — найти в человеке его особицу, — согласился Бестужев. — А вы присмотритесь к людям и наверняка заметите, что есть в наружности каждого нечто, выражающее его нутро. Можно по малейшим движениям, взгляду, поступи, выражению голоса увидеть и распознать человека. Схватить в нем главное и передать кистью на бумаге — это больше всего и привлекает меня в работе портретиста. И вы знаете, мне кажется, нарисовав моих товарищей, я лучше их узнал.

А сколько было очарования в портретах женщин! Вот княгиня Мария Николаевна Волконская — темноволосая красавица, с широко расставленными, черными, как смородина, глазами и чуть вздернутым носиком. Какая горделивая плавность в повороте этой милой головы, очарование в этом смуглом лице.

— La fille du Gange, дева Ганга, как ее тут у нас прозвали, — заметил Михаил Александрович, когда Иакинф разглядывал ее портрет.

— А это кто такая, позвольте полюбопытствовать? — спросил Иакинф, указывая на портрет, который, возможно, был еще немного не закончен и лежал на столе отдельно, рядом с красками. По-видимому, Николай Александрович еще работал над ним. Но лицо было уже выписано, и столько было доверчивой прелести и детской беззащитности в этом прекрасном, юном лице.

— Это я готовлю свадебный подарок, — сказал Бестужев.

— Как? У вас тут бывают свадьбы?

— И какие! — сказал Михаил Александрович. — К одному из наших товарищей на днях приехала невеста. Француженка.

— Француженка?!

— Француженка. И, как видите, очаровательная.

— Это целая история, и притом весьма романтическая. Я вижу, Мишелю не терпится вам ее рассказать, — проговорил Бестужев, не отрываясь от рисунка.

— Ну что ж, слушайте, отец Иакинф, так и быть, расскажу. Приезжает молодой офицер Ивашев, так зовут нашего товарища, к отцу, в его нижегородское имение, и без ума влюбляется в молоденькую племянницу гувернантки своих сестер, мадмуазель Ле-Дантю. Отец, конечно, и слышать не хочет о таком мезальянсе. В расстроенных чувствах, не сумев убедить отца, офицер уезжает в полк. А тут наступает четырнадцатое декабря. Ивашев, а он служил в Тульчине и участвовал в Южном обществе, был взят, предан суду и сослан в Сибирь. Вы легко представите себе, отец Иакинф отчаяние несчастного семейства. Но больше всего убивалась страстно влюбленная в молодого офицера мадмуазель Ле-Дантю. Нежное ее сердце не вынесло потрясения, и она слегла в постель в тяжком недуге. Неутешное ее горе, столь трогательная привязанность юной француженки к его сыну смягчили сердце сурового отца. Он был искренне обрадован, что в этих печальных обстоятельствах нашлось благородное существо, которое готово и может утешить в ссылке его любимого сына, разделить его участь. Старик помчался в Петербург, упал к ногам Незабвенного и вымолил у него соизволения на брак сына с юной француженкой. И вот она здесь. И перед вами ее портрет. А на днях свадьба. Посаженной матерью у молодых — княгиня Волконская. А посаженный отец — кто бы вы думали? — сам старик Лепарский!

Во дворе раздались удары колокола.

— Ах ты господи боже мой, — спохватился Михаил Александрович. — Заболтался я с вами, а мне черед идти в работу. Каждый день ходим на мельницу молоть муку. Николя освобожден от этой повинности, а мне надобно спешить.

Простясь с Иакинфом, Михаил Александрович спустился вниз.

Когда брат ушел, Николай Александрович рассказал, что по высочайше утвержденной инструкции всех государственных преступников, сосланных сюда на каторжные работы, предписано было употреблять на рудничные работы, под землей. Все товарищи, прибывшие сюда в первых партиях, — Волконский, Трубецкой, Оболенский, братья Борисовы — под землей и работали. Но когда приехал Лепарский, он этому воспротивился. Написал царю, что не признаёт возможным строго

придерживаться на сей счет инструкции, так как многие из государственных преступников, как он убедился, по слабости здоровья, или от пожилых лет, или вследствие полученных в сражениях ран, не в состоянии переносить тягость каторжной работы под землей.

— Другой бы и не рискнул к царю с таким представлением обратиться, а старик написал, — говорил Бестужев. — Из Петербурга ответили, что ему дозволяется поступать по своему усмотрению. Вот он и освободил всех от подземных работ и завел для нас ручные жернова. Вот они идут, взгляните.

Иакинф подошел к окошку. Сквозь него и в самом деле было хорошо видно, как цепочка заключенных, их было с дюжину, предводительствуемая казачьим урядником и сопровождаемая двумя солдатами с ружьями за плечами, потянулась к расположенной неподалеку мельнице.

На столе у окна Иакинф увидел несколько книг и журналов на русском, немецком, французском и английском языках.

— А вы, я вижу, Николай Александрович, не совсем оставили свои исторические изыскания, — сказал Иакинф, беря со стола нумер "Revue Encyclopêdique" за октябрь тысяча восемьсот тридцатого года, раскрытый на статье об экономическом развитии Великобритании.

— Да вот задумал написать трактат. Не столько исторический, сколько экономический. И надеюсь, вы мне в этом поможете.

— Охотно, ежели я и впрямь могу чем-нибудь вам помочь.

— Еще как! Меня очень занимает последнее времл вопрос о свободе торговли и промышленности…

Иакинф (все еще с журналом в руках) удивленно взглянул на Бестужева.

— Да, да! Не удивляйтесь! Я просто не могу понять, как эта простая истина до сих пор не находит общего признания, а наше правительство и один из его столпов, Канкрин, которого Николай почитает, должно быть, финансовым гением, ставит ей палки в колеса и безудержно насаждает изживший себя протекционизм. Да, история и политика, они так тесно переплетены в моем сознании! История! — Бестужев подошел к столу, быстро перелистал стопку бумаг и пытливо взглянул Иакинфу в глаза, как бы призывая его в союзники. — Только писать ее надобно совсем иначе, чем до сих пор. Беда в том, что история все больше писала о царях да полководцах. А политика принимала в рассуждение выгоды одних кабинетов. О народе же, его нуждах, о его счастии или бедствиях мы, в сущности, ничего не ведали, и потому наружный блеск дворов принимали за истинное счастие

государств, богатства гильдейского купечества и банков — за благосостояние целого народа! Давно пора понять, что сила государства составляется из народа, что его благосостояние и есть истинное богатство государственное, а пышность двора и горстки высших сословий — это только язва на теле народном, которая нередко влечет расстройство всего организма.

— И в каком состоянии ваша работа?

— Да вот, как видите, тружусь. Перерыл кучу книг. Проштудировал статьи о хозяйственном развитии Англии, Франции, Северо-Американских соединенных областей во всех важнейших европейских журналах. Пишу. — Он поднял толстую пачку исписанных листов. — А что толку? Ну, прочту трактат в кругу товарищей на очередном собрании нашей каторжной академии. Ну соберемся, поспорим.

— Может быть, все-таки удастся напечатать? Вернувшись в Россию, я попробую поговорить об этом с Полевым или Погодиным. В Москве у меня были и с тем и другим очень приятные встречи.

— Да где там напечатаешь! Ведь даже имена наши запрещены к упоминанию, — сказал Бестужев с горечью.

— Но чем бы я вам мог помочь? Вы можете не сомневаться, я готов сделать все, что в моих силах.

— Разумеется. А помочь вы и в самом деле можете. Вы хорошо знаете Кяхту и, как мне намедни рассказали, намерены предпринять дальние поездки по китайской границе для изучения нашей азиатской торговли. Меня теперь очень занимает вопрос о внешней торговле. О торговле и о гильдейских ограничениях. Я убежден, что разделение купечества на гильдии имеет весьма важные невыгоды для торговли и для нашего промышленного развития. Целые отрасли торговли сосредоточиваются в руках богатеев, которые, объединяясь в гильдии, произвольно вздувают цены. Вот меня и интересует, в частности, как обстоит ныне с чайной торговлей в Кяхте. Ведь, насколько я знаю, чайный торг у нас ведется именно через Кяхту. А вы в ней не раз бывали и в начале века и теперь.

— Ну как же. И средь кяхтинских купцов у меня весьма обширные знакомства. Что я вам могу сказать? Когда я был в Кяхте в тысяча восемьсот седьмом году, торговать чаем дозволялось купцам всех гильдий. Китайский чай шел через границу в больших количествах. И употребление чая быстро вошло в привычку по всей Сибири. И в городах, и по большим дорогам. Вы знаете — я поездил по Сибири и по Забайкалью и видел это собственными глазами.

— А как обстоит дело теперь? — расспрашивал Бестужев.

— А теперь совсем иная картина. Право торговать в Кяхте получили ныне только купцы первой гильдии. Через их руки идет весь чай из Китая. И в Сибирь, и по всей России. И конечно же, пользуясь этой монополией и укоренившейся привычкой к чаю, они устанавливают такие цены, какие им угодны. Да к тому же и пошлина на чай очень уж высока. Всеконечно, правды от купцов не добьешься, народ это ух какой скрытный; однако я могу сказать, что в восемьсот седьмом году купцы довольствовались пятью, от силы семью процентами дохода, а ныне, я думаю, он простирается до пятидесяти, а то и больше.

— Вот видите! Это мне и хотелось узнать, — сказал Бестужев, делая пометку в рукописи. — И я буду очень рад, ежели вы сможете сообщить мне точные цифры. И так обстоит дело не только с чаем. Я убежден, например, что отсутствие у нас обширного купеческого флота тоже коренится в сем разделении на гильдии. Ведь право мореходства, как и право торговли с иноземцами, у нас предоставлено тоже только купцам первой гильдии и лишь кое-где — второй. А каков результат? Вся выгода внешней торговли попадает в руки иностранцев. И нам приходится мириться с тем, что получаем товар по цене, увеличенной провозом и барышом иностранного купца. А имей мы собственный купеческий флот, мы получали бы иностранные товары из первых рук. Перевози их сами — и все выгоды фрахта оставались бы в отечестве. Я уже не говорю о вывозе. Тут мы отдаем свои произведения иностранцам за бесценок. А все дело в этих ограничениях, в том, что мелкие предприятели начисто устранены от внешней торговли и от мореходства. А где это видано, чтобы богатый человек жертвовал своим спокойствием и наслаждениями довольственной жизни неизвестной участи и лишениям мореходца для приобретения весьма неверных выгод, сопряженных с тысячью опасностей! Не нужда ли была изобретательницею всех отважных предприятий человека? Вот где надобен был бы Петр с его решительностью и отсутствием предрассудков! Но мы отвлеклись от работы. Садитесь-ка, пожалуйста, на место. Мне хочется, пока вы здесь, закончить по крайней мере лицо. Все остальное я могу нарисовать и по памяти.

Иакинф сел на свое место и, облокотясь о стол, спокойно наблюдал, как Бестужев, то и дело поднимая на него глаза, быстро набрасывал кистью его портрет.

— Смотрю я на вас, отец Иакинф, и ничего не нахожу в вашем облике монашеского, даром что на плечах подрясник и борода на подбородке.

— Да какой из меня монах. Как я постригся — вы знаете. Таскать на себе клобук больше мочи нету. Только вспомнишь о

лавре, куда из этой поездки надобно воротиться, вся кровь в жилах в желчь обращается. Я хоть и необычный лаврский монах, а все одно… Самые стены лаврские мне ненавистны. Вы и представить себе не можете, друг мой, как опостылело мне это каждодневное лицемерие, эта духоводительская забота лаврского моего начальства. Вся эта изгарь византийской цивилизации! Но бог милостив, авось и удастся мне отрясти с шеи печальные последствия юношеской моей опрометчивости… Столько еще всего надобно мне сделать! Сколько еще у меня замышлено всякого!.. Да признаться, и по самому характеру своему не могу я блюсти эти дикие монашеские обеты.

И Иакинф рассказал Бестужеву о своем бесповоротном намерении оставить монашество и о том, что с помощью Шиллинга ему удалось уже сделать.

Разумеется, Иакинф был убежден, что Бестужев одобрит его намерение. В этом у него не было никаких сомнений. Но его поразила та горячность, с какой он высказал свое одобрение.

— Давно пора, давно! Я понимаю, что дело не в вас. И что вы не раз пытались это сделать. Но это не поздно и теперь. Конечно, вы уже в пожилых летах. Но первый признак старости — душевная усталость. А ее у вас и в помине нет! Люди со всем сживаются. Обрастают коростой привычек. Человек — животное, повинующееся привычкам. Ему свойственно идти и идти по давно проложенной дороге — то ли от лености прокладывать другую, то ли потому, что выгодней, да и просто привычней, продолжать старую. Чтобы в ваши лета проторить себе другую стезю, нужна смелость. Но я убежден, вам ее не занимать.

Долго они проговорили в тот вечер. И о чем только не говорили! Не раз будет вспоминать Иакинф об этих беседах. Они были для него душевным праздником. Он чувствовал, что как-то молодеет рядом с Бестужевым, что ему становится тут легче дышать, в этом каземате.

Вернулись с мельницы. Из коридора слышался звон посуды — накрывали стол к ужину. Ужинали узники по отделениям — шесть обитателей отсека за одним общим столом. Да и начинало смеркаться. Пора было уходить.

Иакинф поднялся.

— Портрет, к сожалению, немного не закончил. Придется окончить уже без вас. Я оставлю его себе на память.

Бестужев подошел к стоящему в углу верстаку, выдвинул ящик.

— А это вам от меня… Не мог придумать ничего лучше… Пусть это будет вам в память о нашей встрече… И о нашем дружестве. — И он вложил Иакинфу в руку что-то холодное.

Иакинф раскрыл ладонь. Это были четки. Гладкие чугунные четки. С маленьким железным крестиком.

— Выковал из моих кандалов.

Сжало горло, и Иакинф не мог выговорить ни слова. Молча он обнял Бестужева за плечи.

— Спасибо, друг мой… Никогда не забуду я этого подарка. И до последнего часа с ним не расстанусь.

На следующий день рано утром Иакинф уезжал. Поднявшись на взгорок, он в последний раз окинул взором Петровский завод. У него было такое ощущение, что оставляет он тут частицу своего сердца. Но он чувствовал, что, вопреки законам естества, он не обеднел от этой утраты, а, напротив, стал богаче.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

I

Когда Иакинф вернулся из поездки в Петровский завод, Шиллинг встретил его сияющий.

— Вы только посмотрите, отче, что за подарок для вас получил я вчера из столицы. — И он протянул письмо директора Азиатского департамента Родофиникина.

Тот сообщал, что отношение вице-канцлера о снятия монашеского сана с отца Иакинфа было представлено на благоусмотрение митрополита Новгородского и Санкт-Петербургского. По получении из консисторий справки, что монах Иакинф во время жительства в Александро-Невской лавре вел себя во всем добропорядочно, митрополит Серафим уведомил, что к удовлетворению сего ходатайства препятствий он не находит, надобно только, чтобы монах Иакинф прислал по всей форме прошение в Синод.

— Как хотите, батюшка, а с вас причитается, — сказал Павел Львович, довольно потирая руки. — Надобно немедля отметить это событие да и ваше возвращение тоже.

Но Иакинф не разделил бурной радости Шиллинга.

— Экие крючкотворы синодальные! Опять проволочка. Почитай цельный год понадобилось, чтобы получить эту досадительную отписку!

— Ну какая же это отписка, помилуйте! — пытался убедить его Шиллинг. — Если уж сам преосвященнейший не находит никаких препятствий к снятию сана, так дело можно считать в шляпе! Садитесь-ка, батюшка, и немедля пишите прошение в Синод. Думаю, это уже формальности.

— Скажете вы, формальности! Ах, Павел Львович, Павел Львович, неисправимый вы оптимист. Не знаете вы этих протоканалий из Синода. Больно уж поважны они и любочестивы. Поизмываться над меньшой своей братией, власть выказать, могущество показать — это для них первое удовольствие, — ворчал Иакинф, но тут же, у Шиллинга, сел за стол и написал:

В Святейший Правительствующий Синод
Монаха Иакинфа

Всеподданнейшее прошение

Числясь по сану в звании Монашеском, а по должности в

службе гражданской, я в необходимости пребываю, как по ученым занятиям, так и по поручениям Начальства, находиться в долговременных отлучках из Монастыря, что при всей благовидности причин противно приличию, а потому для общего мнения соблазнительно. Сверх того, как сие звание препятствует мне в полном удовлетворении обязанностям по службе; так, напротив, и пребывание в мире по делам службы отвлекает меня от упражнений духовных; слабости же, свойственные мне как человеку, поставляют меня в невозможность соблюдать обеты Монашества во всей чистоте их. Почему для успокоения совести, а паче того, заботясь о святости Монашеского сана, я обращаюсь к последнему средству просить СВЯТЕЙШИЙ СИНОД снять с меня те обязанности, выполнить коих с точностию и по совести я не в состоянии, и дозволить мне провести остаток дней в светском звании при тех должностях, к которым я по своим способностям уже призван волею Правительства.

Троицкосавск   Вашего Святейшества
Августа 29-го дня   всенижайший послушник
1831 года. ; монах Иакинф.

И опять потянулись томительные недели и месяцы ожидания. Спасибо Егору Федоровичу Тимковскому, хоть он, добрая душа, время от времени сообщал, что ему удалось узнать о рассмотрении ходатайства в Синоде. А дело там сверх ожидания затягивалось. Святые отцы не решали дела будто бы на том основании, что готовились новые правила снятия сана с монашествующих. Неугомонный Шиллинг слал письма Тимковскому, Родофиникину, Мещерскому, Тургеневу, другим высокопоставленным столичным знакомым, пытаясь как-то повлиять на ход и исход дела. Он проявлял, пожалуй, куда больше нетерпения, нежели сам Иакинф. А из Петербурга приходили вежливо-уклончивые письма с выражением сочувствия и призрачными обещаниями, которые только выводили Иакинфа из себя. "На посулы-то они тароваты, да на дела скуповаты", — ворчал он.

Наконец, уже в Николин день, пришло обнадеживающее известие. Тимковский сообщал, что, как ему удалось изведать, обстоятельства предварительно докладывались государю и тот соизволил повелеть Синоду решить дело о снятии сана с монаха Иакинфа безо всякой очереди и по прежним правилам, не дожидаясь новых, рассматриваемых в Государственном совете.

Получив это известие, предусмотрительный Шиллинг послал пространные письма Родофиникину и Мещерскому, убеждая их приложить все старания, чтобы Синод препоручил снятие сана с

отца Иакинфа архиепископу Нижегородскому, поскольку на возвратном пути из Сибири они должны будут остановиться в Нижнем. Во избежание всяких неожиданностей он хотел, чтобы отец Иакинф вернулся в столицу не монахом, а светским чиновником. Позаботился Павел Львович снестись и с самим архиепископом, с которым его познакомил в свое время Николай Иванович Тургенев в бытность свою директором департамента духовных дел. Архиепископ сообщил, что готов выполнить все необходимые формальности, как только получит указ из Синода.

Шиллинг торжествовал. Быстро воспламеняющийся, он заразил своим оптимизмом и Иакинфа.

Теперь Иакинф тоже предвкушал близкое освобождение. Написал обо всем Тане. Очерк о Байкале, который по просьбе Сомова послал в Петербург для альманаха "Северные цветы", готовящегося в память Дельвига, он впервые подписал своим светским именем "Никита Бичурин", а не "отец Иакинф", как привык все эти годы подписывать свои сочинения и переводы. И очередную корреспонденцию в "Московский телеграф" отправил тоже если и не под полным своим именем, так под инициалами "Н. Б.".

По временам он готов был забыть о своем монашеском звании. Сшил себе подрясник, более напоминающий светский сюртук, нежели монашеское облачение, и вместо камилавки с клобуком носил купленную в Маймайчене круглую войлочную шляпу.

Углядев эти перемены, Устинья запросилась с ним в Питер.

— Дурочка, ну куда же я тебя возьму?

— Да хоть бы в услужение. Я для вас, батюшка, все, все делать буду. Я все могу — и по дому, и так.

Иакинф рассмеялся.

— Да куда же я тебя дену-то, сама рассуди. Под рясу не спрячешь, в лавре с собой не поселишь.

— Упаси господь! Зачем в лавре? Аль я не слыхала, как вы с бароном все про расстрижение толкуете.

Устинье все, должно быть, казалось достижимым. Скуластое лицо ее было исполнено простодушной веры, плутоватые раскосые глаза глядели с мольбой и надеждой.

Бесхитростная убежденность Устиньи и смешила и трогала Иакинфа. Он догадывался, как тяжело будет для нее расставание.

Он другое дело. Он — мужчина. А главное отличие мужчины от женщины, должно быть, в том, что он не отдается чувству целиком, с головой. Ежели б это было так, не было бы в мире ни Великой стены, ни "Илиады", ни Евклидовой геометрии, ни закона всемирного тяготения. И Америка до сих пор не была бы

открыта. Он-то, во всяком случае, чаще бывал во власти разума, а не чувства, хотя и жил всегда неистово. Работал в поте лица, с усердием почти нечеловеческим. Мог неделями не выходить из кельи или настоятельских покоев в Пекине, а мог и прображничать целую неделю. Ему ничего не стоило расправиться со званым китайским обедом, состоящим из десятков самых прихотливых блюд, не пропустив ни одного, но и не особенно сокрушался, ежели приходилось ограничиться черным сухарем да кружкой кваса на братской порции. Мог потягаться с любым, самым ревностным служителем Бахуса, а мог и месяцами не брать в рот хмельного. Таскал многопудовые тюки с книгами, пересекал пустыни, переплывал Волгу, купался в ледяной Ангаре и Ладоге. Не боясь греха, любил женщин, белых и желтых, просвещенных и невежественных. Все было ему в радость. И беды, всяческие злополучия, которых в достатке выпадало на его долю, были в его глазах просто последствием содеянного, а не карой, не расплатой и не избавлением.

Не то женщина. Как часто весь свет оказывается у нее в оконце, а вся жизнь — самопожертвованием на алтарь любви. Оттого-то и одиночество ей так безрадостно. Ежели она потеряла детей и уже не может любить мужа, она не в состоянии найти себе дела, которое бы ее увлекало и доставляло радость.

II

А между тем подходил срок возвращения в столицу. Записки были составлены, проекты подготовлены, книга отправлены в Петербург. Грамматика, благодаря стараниям Павла Львовича, отлитографирована. История Тибета и Хухунора окончена. Она разрослась. Придется издавать ее в двух томах. Собран любопытнейший материал для задуманных книг о Китае.

Занятия в училище китайского языка Иакинф решил передать вернувшемуся из Пекина студенту X миссии Кондратию Крымскому. Он да Захар Леонтьевский лучше других преуспели за десять лет, проведенных в китайской столице. Крымский изрядно говорил по-китайски, а Лсонтьевский хоть изъяснялся на нем и не ахти как, но зато поднаторел в языке книжном и даже перевел в Пекине на китайский язык три тома карамзинской истории. Остальные-то члены миссии особенными успехами похвалиться не могли, а что касается самого отца Петра, так он, пожалуй, перезабыл даже то, что знал. Когда в отсутствие Иакинфа Шиллинг как-то обратился к нему за разъяснением встретившегося в буддийской книге китайского текста, отец Петр не мог разобрать в нем ни одной строки и безо всякого смущения

назвал философические сочинения китайцев "непостижимым мраком обаяния". И он сам, и его миссионеры привыкли кое-как объясняться с китайцами, приходившими на русское подворье, на пекинском наречии. Купцы же в Маймайчене были по большей части шаньсийцы или выходцы нз других северо-западных областей, и люди из свиты отца Петра, проведя в Пекине десять лет, с трудом их понимали. Это очень забавляло Шиллинга, тем более что ученики Иакинфа, проучившись у него меньше года, могли и объясниться с маймайченскими купцами, и даже знали сотню-другую иероглифов, встречающихся в названиях товаров и в деловых бумагах. Когда по прибытии X миссии в Кяхту ученикам Иакинфа устроили публичный экзамен, все, даже миссионеры, настроенные поначалу весьма недоверчиво, не могли скрыть восхищения их успехами.

Осталось выполнить последнюю, заключительную задачу экспедиции — обследовать на возвратном пути в столицу западные границы с Китаем и попытаться отыскать подходящее место, где можно было бы открыть меновой торг с китайцами по примеру Кяхты и наряду с ней.

В путь тронулись под самое крещенье нового, 1832 года. Наступила лютая сибирская зима с немилостивыми ветрами. При переезде на санях по только что скованному льдом Морю, над которым свирепствовали колючие вьюги, Павел Львович жестоко простудился, едва добрался до Иркутска и там слег. Пришлось Иакинфу отправляться в далекий и незнакомый путь одному — Соломирский уже умчался в столицу с донесением Шиллинга. До Томска-то, правда, дорога была хорошо знакома — сколько раз пришлось по ней ездить! Но там надо было круто повернуть на юг, пробраться неторенными дорогами в верховья Бухтармы и Иртыша, пересечь киргизские степи, уже совсем неведомые, и только потом поворотить на север, к Орской крепости и Оренбургу. Крюк немалый. А ему так не терпелось поскорей оказаться в Нижнем, где ждала его вожделенная воля!

Но делать нечего. Он скакал день и ночь заснеженными или бесснежными степями, изредка только, когда под кров загоняла разбушевавшаяся пурга, ночевал в каком-нибудь бобылем стоящем среди степи постоялом дворе, беседовал с местными купцами, русскими и инородцами, с десятками пограничных чиновников, с комендантами захолустных приграничных крепостей, которые недоверчиво встречали странного монаха, едущего с поручением, столь необычным для лица духовного. Спасала только охранная грамота, подписанная Шиллингом и сибирским генерал-губернатором.

Несмотря на трудности пути и недостаток времени, ему

удалось все-таки составить весьма подробное описание пограничной линии России с Китаем местоположения кочевий разноплеменных среднеазиатских народов и о том, какие ближайшие города за Бухтармой, Иртышом и Зайсан-озером, через которые могла бы вестись торговля с восточным соседом. Усердие и прозорливость, с которыми он выполнил это нелегкое поручение, восхитят потом Шиллинга.

Во время проезда по киргизским степям он узнал, что минувшим летом кокандский хан {Неограниченный феодальный правитель Кокандского ханства, расположенного в Ферганской долине и населенного таджиками, узбеками, киргизами и кыпчаками.} отправил к нашему двору пышное и многолюдное посольство. До сих пор оно еще не возвращалось из российской столицы. По восточным обыкновениям, для препровождения его в обратный путь конечно же должны быть посланы с нашей стороны чиновники. Хорошо бы и его назначили в свиту провожающих! Тогда можно было бы обозреть все земли Бухарин и Ферганы, узнать, нет ли между пленными китайцами, которых, как он прослышал, в Кокандском ханстве немало, людей ученых. Их можно было бы привлечь к преподаванию в Петербургском университете, если их с Сенковским проект будет наконец принят. Иакинф загорелся мыслью обследовать древние среднеазиатские города — Коканд, Андижан, Бухару, Ташкент. Он предвидел возможность распознать там, какие же древние народы их возвели, приурочить время их возникновения к событиям и происшествиям, описанным в китайской истории, самому разведать, где же пролегал тот великий шелковый тракт, что соединял в древности Китай с Римом, а потом и с Византией. Да, такое путешествие очень заманчиво, и он готов его совершить. Тяготы долгого пути его не пугают. Он тотчас же написал обо всем этом Шиллингу и Родофиникину.

III

До Нижнего, прокаленный азиатским солнцем, продутый студеными ветрами, Иакинф добрался уже на страстной неделе. Едва переменив полуцивильный, полудуховный наряд на уставную монашескую рясу, надез вместо шапки камилавку, нацепив клобук, который он возил в своем походном сундучке, Иакинф отправился к преосвященному.

Дом нижегородского владыки помещался в кремле. Во владычной приемной вместо черноризого послушника Иакинфа встретил франтоватый лакей, одетый во фрак с белоснежной манишкой и манжетами. Когда Иакинф отрекомендовался, лакей

бесшумно скрылся в глубине покоев и вскоре вернулся в сопровождении секретаря владыки, разбитного человека лет тридцати пяти на вид, тоже в цивильном платье.

Подробно расспросив Иакинфа, он сказал, что его преосвященство теперь заняты и могут принять его часа через два. Иакинф пытался выведать у секретаря про указ из Синода, но тот хранил непроницаемо-важный вид и от расспросов уклонялся.

Ну что ж поделаешь, придется набраться терпения. Ждал дольше. Иакинф отправился побродить по кремлю. Вокруг архиерейского дома несколько монахов местной обители и провинившихся дьяконов и священников расчищали от снега дорожки архиерейского сада, посыпали их песочком, пилили и кололи дрова. Иакинф вышел за калитку и побрел вдоль краснокаменного пояса кремля. Ступенчатая кремлевская стена вилась по крутому берегу высоко над Волгой. Иакинф остановился у подножия высоченной Тайницкой башни. Весь город лежал перед ним как на ладони. "Умели наши предки выбирать места для своих крепостей!" — подумал Иакинф. Обогнув кремль, вдоволь налюбовавшись подернутым серебристой дымкой городом, хорошо сохранившимися кремлевскими стенами, Архангельским собором, строгим и величавым, Иакинф вернулся в архиерейский дом. Вылощенный лакей незамедлительно провел его во внутренние покои.

Преосвященный, облаченный в простую домашнюю рясу, раскрасневшийся, гладко причесанный, сидел за столом перед мирно воркующим самоваром. Обошелся он с Иакинфом необычайно ласково, приказал подать чаю, принялся расспрашивать про только что совершенное им путешествие, про Сибирь, справился о здоровье Павла Львовича.

В нижегородском владыке не было ничего похожего ни на спесивого иркутского епископа, ни на грозного столичного митрополита. Держался он не по-владычному просто. На Иакинфа глядели живые, веселые глаза. На груди преосвященного Иакинф заметил золотой докторский крест, который едва ли имело в России в те годы полдесятка архиереев. Невольно вспомнилось, что Павел Львович отзывался о нижегородском владыке как о человеке на редкость просвещенном и образованном. До того как постричься, он, по словам Павла Львовича, полтора десятка лет профессорствовал в столичной академии.

Приглядевшись к собеседнику, говорившему живо и умно, Иакинф обнаружил, что перед ним один из давешних пильщиков. Так вот, оказывается, чем был занят владыка! Иакинф полюбопытствовал, что это преосвященный сам изволит дрова пилить.

— Сие не столько из любви к искусству, брате, сколько из сострадания к животу своему, — улыбнулся владыка. — С той самой поры, как удостоился сана сего, лишился я права, коим обладает любой смертный, — права двигаться. Ведь владыкам духовным возбранено так, запросто, выйти за ворота своих владений. Они могут только выехать. И не как-нибудь, а на четверне, цугом, и под трезвон колоколов, возвещающий об их явлении народу. А стоит только сойти с коляски, как полгорода бросится под благословение. Поневоле приходится сидеть сиднем и превращаться не только в затворника, но и в запорника, — пошутил владыка. — Вот я и придумал себе занятие, как бы двигаться, не смущая народ за владычной оградой, — пилю дрова, дорожки в саду расчищаю. И сразу почувствовал облегчение от кишечных своих страданий.

Иакинф все ждал, когда же владыка поведет речь о синодальном указе, о церемонии расстрижения. Он даже, хоть это было и не совсем ловко, порывался первым заговорить о том, но преосвященный всякий раз уводил разговор в сторону.

— Должен огорчить тебя, отец Иакинф, — сказал наконец архиепископ, — вместо указа о снятии сана монашеского, получил я намедни из Синода предписание для тебя — немедля следовать в столицу, в Нижнем не задерживаясь.

— Что же сие может означать, ваше преосвященство? — спросил Иакинф потерянно.

Владыка развел руками:

— Неисповедимы пути господни, непредугадаема воля его святейшества. Полагаю, однако ж, что Синод, по преждебывшим примерам, мог повелеть сделать тебе предварительно надлежащее увещевание.

— Увещевание?

— Да. Да. А вдруг и откажется инок от соблазнительного и дерзостного сего намерения. Сколько раз так бывало. Ну, а уж если будешь ты непреклонен, станешь упорствовать, скажешь по примеру старого Лютера: "Я здесь стою и не могу иначе", так может и ниспоследовать всемилостивейшее решение. Не тревожься, брате, в расстригах походить еще успеешь.

IV

Иакинф не стал задерживаться в Нижнем ни одного лишнего часа, вскочил в ямщицкую кибитку и уже девятого марта был в Москве. Тут он нагнал и пекинскую миссию, одновременно с которой выехал из Кяхты. Члены ее, не в пример ему, не спешили, подолгу останавливались то в Иркутске и Омске, то в Перми и

Казани. И дав две тыщи верст крюку, он настиг их в Москве.

Сам он в белокаменной останавливаться не собирался, он рвался в столицу — не терпелось узнать поскорее, что за новую каверзу учинили ему в Святейшем Синоде. Но совершенно неожиданно на Мясницкой лицом к лицу столкнулся с Погодиным. Тот затащил его к себе. Мечтательность и практичность как-то удивительно дружно уживались в этом плотном, широкоплечем человеке с мужиковатым лицом и проницательными глазами. В прошлую их встречу он делился с Иакинфом мечтами о сельском уединении, а тем временем купил себе обширный каменный дом, и где — можно сказать, в самом центре Москвы, в двух шагах от Кремля, на стрелке Мясницкой, Златоустовского переулка и Лубянки. Дом этот принадлежал старому московскому барину князю Петру Ивановичу Тюфякину. Тот вздумал переселиться на постоянное жительство в Париж и уступил его по весьма сходной цене — за тридцать тысяч рублей. Из-за этой покупки Погодин оказался, по его словам, в долгу, как в шелку.

Продажа старых родовых гнезд становилась в Москве каким-то поветрием. Продавали дома князья Тюфякины и Куракины, графы Апраксины и Чернышевы. Там и сям на воротах старых барских особняков красовались новенькие надписи: дом купца Кропачева или Подушкина, Сыромятникова или Охлебаева. В "Московских ведомостях" можно было прочитать объявления: "Продается (или сдается) дом с садом и со всеми угодьями, с сенокосом и речкой".

При доме Погодина не было, правда, ни сенокоса, ни речки, но зато стоял он в самом центре старой столицы. Приметно было, что Михаил Петрович не успел еще насладиться своим приобретением. С гордостью водил он Иакинфа по комнатам, где размещались коллекции его древлехранилища, делился планами, как он украсит эти стены портретами великих людей и копиями с прославленных произведений живописи и ваяния. Особенно нз мог нахвалиться он своим кабинетом, расположенным на самом верху, в мезонине.

— Тут я будто на Парнасе. Ни единого звука с улицы ко мне не доносится. В окружении книг, имея перед собой эти живые картины, можно трудиться всласть. Нет, вы только взгляните, отец Иакинф, — возбужденно говорил Погодин, подводя гостя к окну.

И в самом деле, виды из окна были на несколько верст окрест — широкая Лубянка, Охотный ряд, кирпичная стена Китай-города, над крышами домов — Кремль, а у подножия древних его стен — Москва-река.

— Да-а, архипрекрасно тут у вас! — сказал Иакинф одобрительно. — По душе мне эдакий простор. И дышится тут как-то легче, и мыслям просторнее, и побродить есть где, не натыкаясь на мебели. Преотлично! Вы теперь, Михайло Петрович, в княжеском-то доме своем и впрямь вроде эдакого удельного князя или владетельного герцога, — пошутил Иакинф.

Он был рад этой встрече. Другие были у Михаилы Петровича заботы, иные волнения. И Иакинфа как-то сразу вовлек он в сутолоку журнальных дел и литературных споров.

— Два года не виделись, а сколько за это время воды утекло, — говорил Погодин, расспросив Иакинфа о его поездке и о его трудах. Сам он рассказал, что внял совету друзей и прекратил издание "Московского вестника".

— Ну что ж, жаль, конечно. А ежели рассудить здраво, так, пожалуй, и правильно вы поступили, — одобрил это решение Иакинф. — Были, всеконечно, у вашего "Вестника" достоинства, и немалые. И учен он был, и умен. Да только чересчур, пожалуй. Может, оттого-то и не имел он особливого успеха в публике. Не обижайтесь, Михайло Петрович, не хватило вам журналистской хватки и расторопности.

— Да-да. Знаю я свои упущения, знаю. Летописи мод в журнале не завел. К кажинной книжке модных картинок не прилагал, как сей купчик Полевой. А без них какие же у русского журнала подписчики? Да признаться, и не домогался я у публики благосклонности. Потому-то, прекращая издание, я, не покривив душой, принес благодарность не сей ветренице, а тем почтенным литераторам и ученым, кои удостоили журнал мой своим вниманием и участием. И вам, следственно, отец Иакинф. Да и был для меня журнал все-таки hore d'oeuvre {Чем-то добавочным (франц.).}. Не отдавался я ему целиком. Увлекался русской стариной, собирал свое древлехранилище, читал в университете курс всеобщей истории, писал повести и рассказы, драмы и трагедии.

— Да, а как же поживают ваша "Марфа" и ваш "Петр"? — спросил Иакинф. — Когда я проезжал в Сибирь, работа над ними была у вас в самом разгаре.

— Ах, и не говорите, — вздохнул Погодин. — "Марфа" вышла в свет в конце минувшего года. Пушкин отозвался о ней весьма сочувственно. А в "Телескопе" ее поставили в один ряд с "Горем от ума" и "Борисом Годуновым". Но все мои хлопоты, чтобы ее разыграли на здешнем театре, ни к чему не приводят. С "Петром" же и того хуже. А какие надежды я на него возлагал! Славу, почести, деньги должен был дать мне "Петр". Признаюсь, под него-то я дом сей купил. И ничего этого не исполнилось. "Марфа",

та хоть напечатана. А "Петра" государь и печатать не позволил.

— Отчего же?

— Как мне передали, на моей трагедии государь собственноручно начертать соизволил: "Лицо императора Петра Великого должно быть для каждого русского предметом благоговения и любви; выводить оное на сцену было бы нарушением святыни. Не дозволять печатать". Не дозволять, и все тут! А рукопись и доселе че возвратил. Да я и не уверен, прочел ли. Правда, намедни получил письмо от Веневитинова. Алексей Владимирович удостоверяет, что государь точно прочел мою трагедию и она ему будто даже понравилась. Во всяком случае, так он Жуковскому отозвался, прибавив, однако, что память Петра слишком священна и свежа еще, чтобы упоминать о пятнах, помрачавших его жизнь. Следственно, как вы видите, камень преткновения — самый предмет трагедии, а не ее исполнение. Но как бы то ни было, вся эта история очень мне огорчительна, ибо "Петром" я доволен несравненно больше, чем "Марфою".

Погодин взял слово с Иакинфа приехать к нему завтра на обед, который он даст в его честь.

— Можете привезти с собой кого сочтете нужным из вернувшихся пекинских миссионеров. А я приглашу на обед известнейших ученых и литераторов московских.

V

Ничего не поделаешь, из-за погодинского приглашения пришлось на день отложить отъезд.

Михаил Петрович не преувеличил, когда сказал, что у него соберется весь цвет ученой и литературной Москвы. Он и сам занял последнее время в московском обществе весьма почетное положение. Только что его избрали членом Английского клуба. Иакинф знал, что это и в самом деле честь, которая выпадает на долю лишь избранных. Во всяком случае, в Петербурге Булгарин, например, несмотря на особенную доверенность к нему правительства, никак не мог этого добиться. А уж чего только не делал. Даже княжеское происхождение себе приписывал.

Среди многочисленных гостей Погодина Иакинф увидел и несколько знакомых лиц, и прежде других — князя Вяземского, с которым встречался у Одоевских. Петр Андреевич сказал, что получил недавно назначение вице-директором департамента внешней торговли и совсем переселился в столицу, а в Москву приехал за семьей. Как к старому доброму знакомому, бросился к Иакинфу черноволосый, с лихорадочно горящими глазами Венелин, вернувшийся из трудной поездки в Болгарию. Обед еще

не начинался, а было приметно, что Венелин уже употребил.

В большинстве же своем собиравшиеся к Погодину ученые и литераторы были Иакинфу незнакомы. По мере их прибытия Погодин представлял их Иакинфу.

— Профессор археологии и изящных искусств Московского университета, издатель "Телескопа" и "Молвы" Николай Иванович Надеждин, — подвел он к Иакинфу мрачноватого молодого человека, затянутого в глухой сюртук, с очками в железной оправе на длинном мясистом носу.

Надеждин улыбнулся, и Иакинф подумал, что улыбка как-то совершенно неожиданна на этом лице. Но улыбка была приветливая, а приглашение к сотрудничеству и в "Телескопе", и в "Молве" прозвучало искренне.

— Павел Александрович Муханов, хоть и живет в Варшаве и занят важными государственными делами, но частый гость в Москве и ревностно подвизается на поприще собирания русских исторических памятников.

Иакинф с интересом взглянул на этого невзрачного рыжеватого человека, о котором ему много рассказывал Соломирский, — это ему удалось предотвратить, казалось бы, неминуемый поединок между Соломирским и Пушкиным. Глядя на Муханова, Иакинф невольно вспомнил его младшего брата, Петра, с которым довелось встретиться в Петровском заводе. Как по-разному сложилась у братьев жизнь! Младший томится в каземате, а старший — гвардии полковник, увешан орденами, чиновник для особых поручений при великом князе в Варшаве.

— Алексей Степанович Хомяков, известный наш поэт и драматург, — отрекомендовал нового гостя Погодин. — Мои неувядшие лавры, должно быть, не дают ему покоя. Только что окончил новую трагедию "Дмитрий Самозванец".

— Но в отличие от вас, Михаила Петрович, я намерен самолично везти ее на одобрение в столицу.

— Профессор Михаил Александрович Максимович… Братья Иван и Петр Киреевские… Андрей Андреевич Краевский…

Запомнить всех, кого представлял таким образом Погодин, было просто немыслимо.

Иакинф в свою очередь представил своих спутников. Из миссионеров пекинских он пригласил с собой двоих — своего преемника по Кяхтннскому училищу Кондратия Григорьевича Крымского и Захара Федоровича Леонтьевского. Общее оживление вызвало сообщение Иакинфа, что Леонтьевский перевел в Пекине на китайский язык три тома "Истории Государства Российского" Карамзина. Одни восхищались этим необычным и столь неожиданным трудом:

— Карамзина?! На китайский!

— Подумать только!

Другие, напротив, набросились на переводчика с укоризнами:

— Нашли, что переводить!

— Это же вчерашний день нашей историографии.

— И все же Карамзин велик, ежели не как историк, то как художник-живописец, — пробовал, защитить маститого историографа Погодин.

— Но и живописные-то его картины зело своеобразны. Как часто в его Олегах и Святославах мы видим Ахиллесов и Агамемнонов расиновских!

— А что до его взгляда на историю как науку, так он совершенно неверный, — неслось со всех сторон.

Леонтьевский смущался, краснел, заикался. Такого приема он, признаться, не ожидал.

— А что же вы предложите взамен Карамзину? — спросил он растерянно. — Может, "Историю русского народа" Полевого?

— Избави вас бог от такой замены! — сказал Погодин решительно. — Вся его история — это сплошное самохвальство, дерзость недоучки! Невежество и шарлатанство! Да и пестрит она выписками из того же Карамзина. Только выписки эти не просто приводятся, а еще и переводятся на варварский язык. Нет, уж лучше, милостивый государь, продолжайте переводить Карамзина, раз он пришелся вам по душе.

Не меньше Иакинфа и его спутников, на которых Погодин и пригласил, собственно, своих гостей сегодня, занимало собравшихся только что полученное из Петербурга известие о запрещении издания журнала "Европеец". Издатель его Иван Васильевич Киреевский, молодой еще человек, на вид ему было далеко до тридцати, ходил по комнатам мрачный и подавленный.

— Отчего же запретили-то журнал? — полюбопытствовал Иакинф, слыша, как огорчило всех это известие.

— Говорят, из-за статьи самого издателя "Девятнадцатый век", — ответил Погодин. — Откровенно говоря, статья мне не по душе. Киреевский мерит в ней Россию на какой-то европейский аршин. А Россия — это особливый мир. У нее другая земля, другая кровь, иная история. Но при всем своем несогласии с основным направлением статьи, я не вижу в ней ничего преступного, ничего непозволительного. Решительно ничего! — возмущался обычно осторожный и сдержанный Погодин.

— В напечатанном-то, конечно, нет ничего возмутительного, — саркастически улыбнулся Вяземский. — Но ведомо ли вам, москвитянам, что в Петербурге умеют читать и то, что не напечатано?

— Именно так и прочел статью генерал-адъютант Бенкендорф, — сказал издатель альманаха "Денница" Михаил Александрович Максимович. — Нас всех, издателей московских, пригласили давеча к попечителю московского учебного округа князю Голицыну и ознакомили с отзывом на сию статью графа Бенкендорфа. Его сиятельство находит, что, говоря будто бы о литературе, сочинитель разумеет нечто совсем другое. Под словом "просвещение" он понимает свободу, "деятельность разума" означает в статье революцию, а "искусно отысканная середина" — не что иное, как конституция.

— Вот видите: против такой логики и сказать нечего, не правда ли? — вставил Вяземский.

Князя окружили. Каждому не терпелось узнать, как восприняли весть о закрытии "Европейца" в Питере.

— Как и тут, все возмущены тем, как поступили с бедным Киреевским. Жуковский, — рассказывал Вяземский, — позволил себе сказать государю: "За Киреевского я ручаюсь".

— Молодец Василий Андреевич! Добрая душа!

— Но его величество возразил на сие: "А за тебя кто поручится?" После такого милейший Василий Андреевич даже занемог.

— Самое главное, — добавил Михайлович, — что сочинитель прямо назван человеком неблагомысленным и неблагонадежным.

— Ай-я-яй! Это Киреевский-то, добряк и скромница Киреевский, неблагонадежен! Тьфу! Тоже нашли якобинца! Да что же нам делать-то на Руси после этого?

— Есть да пить, да отечество славить! Это у нас, кажется, еще не возбранено, — заметил Вяземский.

Будто услышав эти слова, Погодин пригласил всех к столу.

За обедом, как ни взбудоражило всех сообщение о запрещении "Европейца", предметом общего разговора стал Китай. Часто ли за одним столом собирается в Москве сразу трое ученых-синологов, не один год проведших в столице далекой Поднебесной империи! Естественно, что их со всех сторон засыпали вопросами — про пекинскую жизнь, про сам Пекин, и про правительство китайское, и про кяхтинскую торговлю, и про ученую экспедицию Иакинфа и Шиллинга к китайским границам, про перспективы наших сношений с восточным соседом.

Крымского и Леонтьевского, впервые попавших в такое застолье после десяти лет пекинского уединения, смущало общее внимание, и Иакинфу пришлось отдуваться за троих.

А сколько тут было здравиц в честь гостей!

Первым с бокалом в руке поднялся Погодин.

— Позвольте, милостивые государи, предложить тост в честь

наших отважных и самоотверженных ученых, кои, не жалея ни времени, ни сил, ни самой жизни, покоряют русской литературе Китай, со всеми окружающими его странами, и вступают с европейцами в благородное соревнование на самом высоком поприще науки. — Когда Погодин заговорил о вкладе в отечественную литературу и европейскую синологию отца Иакинфа, единственного в своем роде из всех отечественных и иностранных синологов, сидевший рядом Иакинф не знал, куда девать себя от этих похвал. — Благодаря неутомимым трудам достопочтенного отца Иакинфа теперь смело можно надеяться, что предпочтительно перед всеми иностранными учеными мы первыми узнаем Китай, эту неразрешимую доселе загадку истории, психологии и политики, — говорил Погодин. — Пожелаем же новых сил нашему почтенному ученому и его коллегам в возделывании все новых и новых полей открытого им для нас китайского континента.

Тост был дружно поддержан всеми. Да и потом, о чем бы ни говорили возглашавшие здравицы, почти каждый старался помянуть прибывших из далекого востока почтенных гостей.

Уезжал Иакинф прямо от Погодина. У подъезда его дома на Мясницкой среди карет и извозчичьих санок давно уже стояла его почтовая тройка, с заранее погруженными в кибитку дорожными чемоданами, и ямщик, хоть тому и было обещано на водку, не раз присылал сказать, что ждать больше не может.

С радушием истинно московским Погодин и некоторые из его гостей проводили Иакинфа до самых саней. Все желали счастливого пути, а Михаил Петрович еще и избавления от пут, которые мешают его трудам.

Иакинф вскочил в сани, ямщик тронул. Застоявшиеся лошади быстро промчались по Охотному ряду, свернули направо и, чуть сбавив шаг, потащили кибитку вверх по Тверской. На легком мартовском морозце Иакинфу показалось жарко, и он распахнул шубу.

Освещенные высокой луной, темные строения московской окраины скоро кончились, и кони ровной и машистой рысью понеслись по широкому и пустынному в этот поздний час Петербургскому шоссе. А мысли Иакинфа, как всегда бывает в дальней дороге, долго еще оставались в гостеприимной Москве, которую он только что покинул. Вспоминались подробности застолья, которое, наверно, еще продолжается в доме Погодина. Чего только не наслушался Иакинф за этим обедом! "Отец Иакинф стоит наряду с самыми знаменитыми хинезистами прошедшего и настоящего времени", — говорил один. "Книги и статьи почтенного отца Иакинфа — истинное сокровище по

богатству важных фактов, извлеченных им из тьмы китайской истории", — вторил ему другой. "Пожелаем же новых открытий нашему почтенному ученому, о котором смело можно сказать, что он стоит во главе синологов европейских", — говорил третий. "Слышал бы все это митрополит Серафим", — усмехнулся Иакинф, и воображение его тотчас обратилось к тому, что ждет его впереди.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

I

В Петербурге, не заезжая в лавру, он свернул на Гороховую. Столица встретила его солнцем. Не часто увидишь над ней такое лучистое сияние. С крыш капало. Вдоль тротуаров пробивались ручейки. На припеке, в наполненных мутной водой проталинах, одурело чирикая, плескались счастливые воробьи. И только Фонтанка была завалена черным, ноздреватым снегом, да в прозрачном воздухе, несмотря на яркое весеннее солнце, чувствовался еще по-зимнему острый холодок.

Пять ступенек знакомого крыльца он перемахнул одним духом. Слуга еще возился с затворами, а по лестнице уже сбегала Таня. Она прильнула к нему — и словно не было двух лет разлуки. Слышно было, как колотится у нее сердце. Она привстала на цыпочки и подняла к нему лицо.

— Я бы хотел, чтобы ты всегда смотрела на меня такими глазами.

— Какими?

— Счастливыми.

— А ты не пропадай. Целую вечность тебя не было…

Иакинф сбросил на руки старого Степана шубу и шапку, и они взбежали наверх.

Когда прошли первые минуты острой радости, которая ни в каких словах не нуждалась, Иакинф стал расспрашивать.

— Да что там говорить про жизнь нашу тихо текущую, — сказала она с усмешкой. — Это тебе надобно рассказывать. Эдакое путешествие! Столько повидал всего. Но отчего ты в рясе? И сам писал, и Соломирский по приезде сказывал, что сан монашеский снимут с тебя еще по дороге, в Нижнем.

— И должны, должны были снять, да вот… — И Иакинф рассказал о своих мытарствах, о все новых проволочках, которые чинит Синод. — Сам голову теряю от догадок. Я ведь в лавре-то еще не был. С Загородного свернул прямо к тебе.

Иакинф спустился вниз, расплатился с ямщиком, велел выгрузить чемоданы и с помощью Степана втащил их в дом. Беды не будет, решил он, ежели доберусь в лавру не сегодня в ямщицкой тройке, а завтра поутру на извозчике. Всю дорогу рвался в Питер — не терпелось узнать, что ждет его тут. А теперь вдруг подумал: ничего не изменится, ежели на несколько часов позжг заглянет он в будущее. Да еще и неизвестно, что уготовили ему эти протоканальи из Синода. Пусть же благословенно будет неведение! Как бы то ни было, этот вечер наш. А там… Что будет там, не в силах предугадать слабое человеческое воображение.

Ему довольно было настоящего. Он заставил себя выбросить из головы всякие мысли о Синоде, о митрополите, о лавре, обо всем, что выходило за круг, очерченный оградой этого дома. Расспрашивал Таню про домашние дела, про Сонюшку — до выпуска из института ей оставалось всего несколько недель, про дачу за клиническими зданиями, которую достроили уже без него. Как знать, может, оставшись здесь, он отдаляет от себя злосчастие. О таком, правда, не хотелось и думать. Сегодня же — сегодня он счастлив. Не так ли бывает, когда возвращаешься в дом родной после долгой разлуки? Будто у него есть дом! Но много ли человеку надо? Рядом с Таней вообразить себя счастливым было нетрудно. Само счастье принимало ее облик. К нему можно было прикоснуться, заглянуть в его сияющие глаза.

II

Назавтра, как только Иакинф объявился в лавре, его препроводили к митрополиту.

Преосвященный сидел в покойных креслах, в белом клобуке, со сверкающим бриллиантовым крестом на высокой камилавке. Иакинфу показалось, что митрополит совсем не переменился за те пять лет, что он его не видел. То же благообразное, но надменное и неприветливое лицо. Поприбавилось только седины в бороде да орденов на груди. Их и вешать-то было уже некуда.

Нижегородский владыка был прав. Иакинфа пригласили к митрополиту именно для у_в_е_щ_е_в_а_н_и_я. К нему Серафим и приступил без лишних слов. Иакинф усмехнулся. Невольно вспомнилась такая же вот у_в_е_щ_е_в_а_т_е_л_ь_н_а_я беседа тридцать лет назад у архимандрита Сильвестра в Казани. Тот убеждал его перед окончанием академии принять на себя чин ангельский. Только вот беседа, помнится, не носила столь официального характера, шла в просторной ректорской столовой, подогревалась добрым вином, которым казанский архимандрит не забывал наполнять стаканы, да и был он куда более

доброхотен и благоречив, нежели сумрачный митрополит Новгородский и Санкт-Петербургский. И шел тогда Никите двадцатый год, а не пятьдесят шестой, как теперь. И тем не менее, тогда-то на все соблазны, которыми прельщал его архимандрит Сильвестр, он отвечал одно: "Не же-ла-ю!" Так ничем и кончилась та давняя беседа, и только потом, выполняя уговор с Саней, принял он столь необдуманно постриг иноческий.

Но уж если несмышленого кутейника не мог увлечь тогда многоопытный искуситель, то его теперешнего ни в чем не мог убедить куда менее велеречивый митрополит.

И все-таки битый час длилось это тягостное для обоих увещевание. Митрополит ссылался на святость иноческого сана, на преклонные лета Иакинфа, в кои поздно уже менять стезю жизненную. Принимая в расчет ученые заслуги Иакинфа, обещал смягчение для него сурового иноческого устава. Но Иакинф стоял на своем и, как тот упрямый казанский семинарист, твердил одно и то же: "Не могу, ваше высокопреосвященство. Не в силах я оставить сего намерения… пойти против совести…"

Владыка терял терпение, багровел и наконец, ударив о пол посохом, отпустил строптивого монаха.

А в пятницу прискакал в лавру возбужденный Шиллинг и, едва сбросив цилиндр и крылатку, вытащил из заднего кармана фрака свернутую в трубку бумагу.

— Смотрите, батюшка, что я для вас раздобыл. Князь Мещерский передал мне дословную с определения Святейшего Синода.

Иакинф так и впился в бумагу.

Ну что бы он право делал без Павла Львовича? И как только тому все удается?

Пробежав глазами несколько первых фраз, в которых излагались обстоятельства лишения его архимандричьего сана, он добрался наконец до самого главного: "…ныне он, Иакинф, несмотря на оказанную ему милость, просит о снятии с него звания монашеского и об увольнении из ведомства духовного в светское, в каковом намерении и после сделанного ему увещевания остался непреклонным. Святейший Синод, судя по таковой его, Иакинфа, решимости, а вместе, принимая в уважение ходатайство об нем Министерства Иностранных дел… решил, полагаясь на основание преждебывших примеров, с просителя монаха Иакинфа сан монашеский снять, а затем, исключив его, Иакинфа, из духовного ведомства уволить в ведомство Министерства Иностранных дел; о чем для надлежащего исполнения Преосвященному Митрополиту Новгородскому и

Санкт-Петербургскому предписать указом…"

— Ура, Павел Львович, ура!!! — Иакинф схватил Шиллинга и закружил его по келье.

— Да погодите вы, погодите, — взмолился Шиллинг. — Вы не дочитали, там еще что-то есть.

Иакинф поднял к глазам бумагу: "Но как вышеупомянутое, в 1823-м году состоявшееся, определение Святейшего Синода, коим он, Иакинф, лишен сана Архимандрита и оставлен в звании простого монаха, утверждено Блаженной памяти г_о_с_у_д_а_р_е_м и_м_п_е_р_а_т_о_р_о_м А_л_е_к_с_а_н_д_р_о_м 1-м, то, не приводя настоящего об нем, Иакинфе, положения во исполнение, внести оное предварительно на в_ы_с_о_ч_а_й_ш_е_е ныне благополучно царствующего г_о_с_у_д_а_р_я и_м_п_е_р_а_т_о_р_а благоусмотрение, что и представить г-ну Синодальному Обер-прокурору; для чего к обер-прокурор-ским делам дать копию".

Подписано определение было двенадцатого мая 1832 года.

Опять непредвиденная отсрочка!

III

На сей раз отсрочка была, правда, недолгой. Уже двадцатого мая князь Мещерский удостоился приема у императора. Аудиенция была назначена в Петергофе, куда Николай I переехал так рано в ожидании английской эскадры, которую готовились принять со всеми возможными почестями. Но и здесь, как и в Зимнем, да, впрочем, и во всей империи, царил высочайше предустановленный порядок. Доклады министров и прочих сановников производились в точно определенные часы ч минуты, для каждого ведомства был высочайше утвержден не только покрой мундира, но и цвет подкладки, образец усов, форма прически. По всей империи должна была царить любезная сердцу государя гармония.

Сам Николай был облачен в темно-зеленый кавалергардский мундир. Грудь обложена ватой, стройные ноги обтянуты белоснежными лосинами, недавно отпущенные усы, которые отныне могли носить лишь военные, устремлены вверх острыми стрелами.

Аудиенция подходила к концу. Последним князь представил на благоусмотрение императора решение Синода о снятии с монаха Иакинфа иноческого сана и о совершенном исключении его из духовного звания с причислением к министерству иностранных дел в качестве светского чиновника. Дело это Мещерский считал предрешенным, раз уж государь соизволил повелеть Синоду рассмотреть оное безо всякой очереди.

Но тут в кабинет неожиданно вошел генерал-адъютант Бенкендорф с тщательно начесанными на высокий лоб волосами и без привычной улыбки на розовом, холеном лице.

Видно, какое-то важное дело заставило графа нарушить строгий порядок и прервать неоконченную аудиенцию.

— Придется тебе, князь, подождать, — проговорил император негромко. Тяжелый его подбородок опустился на шитый золотом воротник мундира. — Слушаю, граф.

— Ваше величество, только что получено из Иркутска письмо от известного вам лица, и я счел долгом немедленно доложить вам. Не изволите ли взглянуть сами, государь, на отчеркнутые мною места.

Это было письмо Романа Медокса, освобожденного Николаем из Шлиссельбургской крепости и в звании рядового высочайшим повелением сосланного в Восточную Сибирь. Жил тот в Иркутске второй год на положении, которое вызывало недоумение у тамошнего начальства. Сам генерал-губернатор сибирский не знал, как обращаться с сим рядовым, который живет, однако, на частной квартире в обывательском доме, носит партикулярное платье и в службу никуда не ходит.

"По сделанному мне вопросу, — писал Медокс, — я средь сильной борьбы чувств, при всевозможном отвращении от доносов, наконец вынужден священнейшим долгом писать к вашему высокопревосходительству как для открытия тайны, могущей иметь чрезвычайные последствия, так и для совершенного отклонения от себя подозрений в деле, которое кажется мне гнусно паче всякого доноса, — гнусно тем более, что после четырнадцатилетнего ужасного заточения в Шлиссельбурге, освобожденный милосердием государя, обязан его величеству жизнию…

Впрочем, о всей беспредельной благодарности моей может судить лишь тот, кто, подобно мне, быв долго узником в сыром и темном углу, вдруг очутился велением милосердного царя под светлым сводом неба…

Зная вашу близость и несомненную преданность к его величеству, я уже давно колеблюсь мыслию писать к вам, но, признаюсь, всегда удерживался наиболее ненавистью к доносам и страхом казаться подло ищущим личных польз в деле столь прискорбном, сопряженном с падением многих. Теперь, будучи спрашиваем, удобнее объясниться истинно алчущий счастьем быть полезным…"

Николай нетерпеливо перевернул страницу. Письмо было длинное — целая тетрадь, исписанная четким, убористым почерком.

— Да, это надобно прочесть со всем вниманием. А пока, граф, передай в двух словах самое главное. Князь подождет.

Бенкендорф недовольно взглянул на синодального обер-прокурора и стал докладывать, как будто его и не было рядом; только имени автора письма при постороннем называть избегал.

— Изволите ли видеть, ваше величество, на вопрос о путях сношения государственных преступников, содержащихся в Петровском заводе, с внешним миром, корреспондент наш сообщает сведения, которые не могут быть оставлены без внимания. Как известно вашему величеству, в последние годы заключения он познакомился с переведенными на время в Шлиссельбургскую крепость государственными преступниками, особенно с Юшневским, Пущиным, Николаем Бестужевым, а также с Фонвизиным и Нарышкиным. Знакомство сие оказалось весьма полезным. Длительное заключение его в крепости само по себе привело к тому, что они отнеслись к… гм… нему с известной доверенностью. В Иркутске же ему удалось войти в дом тамошнего городничего, известного вашему величеству раскаявшегося заговорщика, бывшего полковника генерального штаба Александра Муравьева. Как удалось выяснить, пути сношений с Петровским заводом идут именно чрез дом Муравьева и осуществляются его свояченицей, княжной Шаховской, невестой государственного преступника Муханова. Но речь идет не об одних только письмах. В числе людей, часто бывавших у Муравьевых, называет он несколько лиц, кои сумели пробраться в Петровский завод. И среди них — купцы Баснин, Шевелев, монах Иакинф…

— Иакинф?! Что ему там понадобилось? И за чем только смотрит старик Лепарский! А вы, князь, подсовываете мне бумагу об освобождении сего монаха от иноческих обетов! — метнул Николай на Мещерского быстрый взгляд отливающих свинцом глаз. Мещерский не выдержал этого леденящего взгляда: глаза царя имели свойство пронизывать человека до дрожи в позвоночнике. Николай был горяч, как Павел, и злопамятен, как Александр. Мещерский не раз имел случай убедиться, что государь склонен скорее усилить наказание, нежели смягчить его. — Нет, пусть уж лучше останется в лавре под присмотром надежной духовной особы. — И, придвинув к себе определение Синода, Николай решительно начертал поверх: — "Оставить на жительство по-прежнему в Александро-Невской лавре, не дозволяя оставлять монашество".

Протянул бумагу Мещерскому и кивком головы отпустил его.

То, что после ухода синодального обер-прокурора рассказал Бенкендорф и что он сам прочел в письме Медокса, не на шутку

встревожило Николая. Несмотря на мужественную внешность и леденящий взгляд, в душе он был трус. Всегда с настороженной подозрительностью относился он ко всему, что было связано с декабристами. А тут Медокс сообщал не только о тайной переписке государственных преступников, но и намекал на существование в обеих столицах нового тайного общества. Если верить этому пройдохе, отделение общества в Петровском заводе возглавляет старый конспиратор Юшневский. При этом Медокс пишет, что в Иркутске никак невозможно постигнуть тайны, глубоко кроющиеся в столицах. Конечно, все может быть. Может, этой бестии самому не терпится в столицы и он просто интригует… А вдруг?.. Как знать, как знать…

Николай отложил прочитанное письмо, поднялся из-за стола и зашагал по комнате.

— Вот что, граф, — сказал он наконец, останавливаясь напротив стоящего у стола Бенкендорфа. — Прошу тебя вместе с Чернышевым (это был начальник главного штаба) с особым тщанием рассмотреть все изложенное в письме Медокса. Конечно, человек это неблагомысленный, пройдоха, каких мало, и вряд ли можно дать полную веру всему, что он пишет… И все же… Как бы то ни было, надобно принять должные меры. И нельзя терять времени! Среди прочего, что вам надлежит с графом Чернышевым обдумать, я полагаю нужным — и немедля! — послать туда одного из отличнейших и надежнейших офицеров. Пусть по приезде в Иркутск через рядового Медокса и другими путями попытается во что бы то ни стало достигнуть полного обнаружения всей их переписки и следов деяний тайного общества. А вместе с тем пусть сей офицер, минуя и генерал-губернатора, и гражданского губернатора, установит неослабное наблюдение за всеми действиями и самого Медокса.

— Что до гражданского губернатора иркутского, то, я полагаю, ваше величество, следовало бы перевести его из Иркутской губернии, — сказал Бенкендорф вкрадчиво. — Как показывает Медокс, на господина Цейдлера падает подозрение в неуместном снисхождении к государственным преступникам. А может быть, даже и в содействии их тайной переписке, хотя бы и неумышленном.

— Да, да. Совершенно согласен, граф. И заменить его надобно человеком, лично тебе известным, в безусловной преданности которого и благонадежности не может быть никаких сомнений. Завтра же жду вашего с Чернышевым доклада.

IV

И опять — в который раз! — все рухнуло. Князь Мещерский пригласил Иакинфа к себе, чтобы объявить высочайшую волю.

И та воля, за которой он мчался в Сибирь, к которой так неудержимо стремился все эти годы, оказалась химерой. "Не дозволять оставлять монашество!" И вновь, теперь уже до конца дней, его заточали в эти ненавистные лаврские стены. А избавление, казалось, было так близко!

Объяснения случившемуся он найти не мог. Где же ему было знать, что и он, и мельком встреченная им в Иркутске княжна Шаховская, которая так рвалась за Байкал, чтобы разделить участь своего жениха, и сам декабрист Муханов, отбывающий каторжные работы в Петровском заводе, и десятки других, ни в чем не повинных людей, нежданно-негаданно оказались жертвой интриги.

Живя в созданной им самим атмосфере подозрительности, испытывая неодолимый внутренний страх перед упрятанными в каторжные норы декабристами, Николай I легко дал себя запутать в сети, сплетенные на скорую руку провокатором. И достаточно было росчерка пера мнительного самодержца, чтобы обречь на новые муки десятки безвинных людей. Только через полтора года Николай будет вынужден признать всю вздорность доносов Медокса и велит вновь заточить его в Шлиссельбургскую крепость. Но разоблачение провокации не изменит участи опального монаха.

Человек так устроен, что его всегда должно что-то манить впереди, он должен к чему-то стремиться. Хорошо, если его окрыляет при этом надежда. Теперь эту надежду у отца Иакинфа отняли. Было от чего прийти в отчаяние. Ему казалось, жизнь потеряла смысл. Его бросали в этот смирительный каменный мешок и как бы в насмешку говорили: дыши, живи, исполняй обет иноческий!

Иакинф не находил себе места. Если и забывался тяжелым, беспокойным сном, то не раз просыпался среди ночи, как от толчка. Луна отбрасывала черные тени от высоких лаврских стен. Будто тюрьма. Да это и была тюрьма. Только что не было на окне решетки.

Так прошла весна. А летом окно его кельи густо заросло бузиной. И целый день келью заполнял зеленый сумрак. Только к полудню, когда из-за высокой стены выглядывало солнце, шаловливые зайчики пробивались сквозь эту зеленую занавесь.

Но он редко смотрел в окно. Вставал он задолго до рассвета. Вскакивал с постели, обливался холодной водой, пил чай и сжав зубы с немым ожесточением принимался за свой труд.

И труд делал свое. Постепенно проходило тупое отчаяние.

Дел, которые он себе наметил, было столько, что не оставалось времени на терзания, на сожаления о несбывшемся. Он не давал себе поблажек. Работа, работа и еще раз работа — вот его доля.

Хорошо еще, что и теперь он не утратил способности с головой уходить в дело, погружаться в него без остатка.

От кого-то слыхал он, что люди, старея, все больше делаются рабами своих прирожденных страстей. Он, напротив, чувствовал, что освобождается от многих. Они были теперь невластны над ним. Правда, он не был так выносли́в, как прежде, быстрее уставал. Но работал он не меньше, а пожалуй, даже больше, чем в свои зрелые, а тем более юные годы. Старался наверстать упущенное? Да нет, даже и не старался, просто труд был для него первейшей потребностью жизни, неодолимой и естественной. И он отдавался ему с жаром, с одушевлением, забывая обо всем вокруг. Хоть ему и было много за пятьдесят, его не покидало ощущение, что зенит жизни все еще впереди. Это было его счастье. Немногие способны на такое.

И еще — у него была Таня. Ему казалось, что она перенесла обрушившийся на них удар судьбы с большим мужеством и самообладанием, чем он сам. Она была ему поддержкой и утешением. В ней находил он все, что нужно было человеку в его положении, — бодрость духа, спокойный, ровный характер, отсутствие столь свойственного женщинам стремления во что бы то ни стало переделать мужчину на свой лад, уважение к его делу, веру в его силы и в значение его трудов. Нет, это было чудо, что он встретил ее снова после стольких лет заблуждений и соблазнов.

ВМЕСТО ЭПИЛОГА

Может быть, Иакинф был не прав, и зенит жизни он уже миновал. Но ему предстояло еще двадцать лет напряженного, подвижнического труда. Именно в эти годы будут написаны главные его книги, завершены самые фундаментальные труды.

Все эти двадцать лет, преодолевая тяготы лаврского заточения, придирчивый надзор светского и духовного начальства, продираясь сквозь жестокие рогатки николаевской цензуры, а последние годы борясь еще и с тяжелым недугом, он будет неустанно трудиться, занимаясь изучением не только милого его сердцу Китая, но и других стран Центральной и Восточной Азии. Как и прежде, с тем же тщанием будет изучать он и древность й средневековье, и современное ему положение в странах Востока. Впервые он сделает достоянием мировой науки огромное богатство исторических памятников древнего и средневекового Китая. Тщательно переведенные и нередко обстоятельно прокомментированные, они составят основу пятнадцати его книг и бессчетного числа статей, очерков, полемических заметок и рецензий, которые на протяжении еще двадцати лет будут регулярно появляться на страницах почти всех издававшихся в России журналов и по существу откроют науке совершенно новые страницы истории человечества.

Но значение его трудов не исчерпается только этим.

Заслугой отца Иакинфа будет решение ряда принципиальных проблем, определивших дальнейшее развитие отечественного востоковедения. Крупнейший монголист первой половины XIX века О. М. Ковалевский говорил: "История должна решить вопрос, какие племена искони обитали в Азии; раскрыть их судьбу, взаимное борение и конец, когда они уподобились волнам, поглощающим друг друга без малейшего изменения поверхности

бурного океана".

Труды Иакинфа явятся ответом на эти вопросы.

Так, в противоположность господствующему мнению европейских ученых своего времени, Иакинф выдвинет свое собственное, согласно которому монголы издавна населяют обширные территории Центральной Азии, хотя и получили свое современное название лишь в XIII веке. Разделение вопроса о происхождении народа и его самоназвания явится шагом вперед в ориенталистике. Отвергнув широко распространенные в европейском востоковедении XVII, XVIII и начала XIX века теории о египетском и вавилонском происхождении китайцев, Иакинф поставит вопрос о самобытности китайской культуры. Опираясь на впервые введенные им в научный оборот источники, он убедительно покажет, что китайская культура родилась и первоначально развивалась в долине реки Хуанхэ, что будет подтверждено позднее археологическими раскопками конца XIX и 20-х, 30-х и 50-х годов XX века.

Во многих своих трудах он подвергнет резкой критике попытки европейских католических миссионеров найти "в китайских преданиях тождество с событиями библейской истории, не имевшими никакой связи с Востоком Азии". Столь же язвительно и резко он будет критиковать пангерманские теории о происхождении китайцев. Высмеивая утверждения немецких ученых, что племена Тянь-Шаня являются протогерманскими, он покажет, что в них "даже запаху германского не было".

С присущей ему страстью, а порой и запальчивостью он будет отстаивать честь и достоинство отечественного востоковедения, его приоритет во многих важнейших вопросах. Полемизируя с видными петербургскими учеными и модными литераторами, подхватывавшими на лету новейшие теории французских и немецких ориенталистов и выдававших их за последнее слово науки, Иакинф напишет: "Очень неправо думают те, которые полагают, что западные европейцы давно и далеко опередили нас в образовании и нам остается только следовать за ними. Эта мысль ослабляет наши умственные способности, и мы почти в обязанность себе ставим чужим, а не своим умом мыслить о чем-либо. Если слепо повторять, что напишет француз или немец, то с повторением таких задов всегда будем назади, и рассудок наш вечно будет представлять в себе отражение чужих мыслей, часто странных и нередко нелепых".

Глубоко принципиальный характер носила его многолетняя полемика с известным синологом Клапротом и неоднократно возобновлявшиеся споры с академиком Шмидтом, представителем немецкой школы, господствовавшей в те годы в

Императорской Академии наук.

Во многих своих трудах он будет настойчиво разоблачать реакционных европейских ученых и литераторов, изображавших Китай страной варварской и отсталой. В эпоху, когда европейские, а затем и американские колонизаторы стремились прибрать к своим рукам одну азиатскую страну за другой, а католические веропроповедники и ученые оправдывали эти захваты необходимостью распространения более высокой христианской цивилизации, Иакинф возвысит свой голос в защиту китайской культуры, за признание прав азиатских народов на свое самобытное прошлое и настоящее, против использования религии и религиозной проповеди для оправдания и утверждения господства сильных держав.

Чуждый чувства расового превосходства и религиозной нетерпимости, с сердечным сочувствием и едва ли нэ влюбленным интересом воспринял он духовные ценности чужой культуры и всю оставшуюся жизнь будет ревностно трудиться над тем, чтобы возможно лучше и полней передать их своему народу.

За глубокое уважение к китайской культуре и ее настойчивую популяризацию в русском обществе его будут упрекать в непомерном восхвалении Китая. Слова упрека выскажет ему даже Белинский, высоко ценивший его как лучшего в Европе знатока Китая.

Эти упреки современников и друзей будут нередко справедливы. Посвятив свою жизнь всестороннему изучению Китая, открыв для себя и для мира почти несметные богатства его художественных и научных ценностей, Иакинф впадал порой в невольную идеализацию этой страны, ее культуры, порядков и обычаев, выдавал ее общественное устройство чуть ли не за образец справедливости, а ее законы, "проходившие сотни веков через горнило опытов", изображал "близкими к истинным началам народоправия". Нужно, однако, иметь в виду, что от жизни в Китае его отделяли тысячи верст и десятилетия. А недаром говорится: там хорошо, где нас нет. В Китае его уже не было, и поэтому многое там казалось ему столь прекрасным. Да и мало кто из его критиков понимал, что порой идиллическое изображение различных сторон китайской жизни было для заточенного в лаврские стены Иакинфа как бы мечтой об идеале, скрытым выражением недовольства николаевской действительностью.

Но если упреки друзей будут вызывать у Иакинфа лишь усмешку, то нападки недругов — ярость и язвительную отповедь. А эти нападки станут особенно резкими в сороковые годы, когда могущественные капиталистические страны поведут борьбу за

раздел Китая, а Англия развяжет печально знаменитую опиумную войну. Опровергая ходячее обвинение китайцев в высокомерии, в прирожденной враждебности ко всему иностранному, в нежелании вступать в сношения с европейцами, Иакинф опубликует ряд статей в защиту Китая и его культуры. В изданной в 1848 году книге "Китай в гражданском и нравственном состоянии" он покажет высокий уровень китайской цивилизации и прямо напишет: "…европейцам есть чему поучиться у китайцев". Это произведет впечатление разорвавшейся бомбы. Многоголосый хор его критиков возглавит Сенковский, который еще недавно писал о выдающихся трудах отца Иакинфа, а теперь будет обвинять его в пристрастии к китайцам, в излишней доверчивости к китайским источникам, в "возмутительных" сравнениях Китая с Европой.

Подвижничество отца Иакинфа, почти невероятный объем и разнообразие его трудов всегда будут поражать современников. В многочисленных рецензиях на его сочинения будет неоднократно подчеркиваться: "Никто, бесспорно, не сделал в Европе столько для славы и чести Китая, как наш знаменитый синолог". "Число важных капитальных фактов, извлеченных им из тьмы китайской грамоты, количество свету, пролитого им на самые запутанные вопросы по части этой любопытной страны, почти невероятны".

Современная ему наука высоко оценит труды Иакинфа. Не раз Академия наук присудит ему высшую научную награду России — Демидовскую премию.

Даже его недруги вынуждены будут воздать ему должное. Так, Юлий Клапрот, который всю жизнь широко пользовался трудами знаменитого русского синолога и в то же время со сварливой придирчивостью обрушивался на мельчайшие, чаще всего мнимые его погрешности, вынужден будет признать: "Отец Иакинф один сделал столько, сколько может сделать только целое ученое общество".

У Иакинфа было несколько верных друзей, много восторженных почитателей и не меньше недругов. Нетерпимый к противникам, нежный и заботливый к друзьям, не оставлявший без нелицеприятной критики ни одного сколько-нибудь заметного сочинения, в котором так или иначе затрагивались Китай и страны Восточной Азии, Иакинф и при жизни, и много лет спустя после своей кончины вызывал самые разноречивые отзывы и оценки. Его резкость в полемике, страстная защита своих научных убеждений, любовь к отечественной науке, едкое высмеивание раболепствующих перед западными авторитетами, глубокое уважение к самобытной культуре китайского народа, почти неприкрытый атеизм, пренебрежение к церковной

обрядности и несоблюдение монастырского устава вопреки монашеской рясе, которую он будет вынужден влачить до конца своих дней, — все это вызывало к нему любовь, уважение и сочувствие, с одной стороны, хулу и открытые гонения — с другой.

Споры о значении научного наследия Бичурина на умолкают и до сих пор. И все же для большинства современных ориенталистов огромные заслуги его в распространении знаний о Китае и странах Восточной Азии — бесспорны. И поныне ни один серьезный исследователь прошлого Азиатского Востока не может пройти мимо них.

Но не только ученые труды, а и сама личность строптивого монаха будет привлекать и современников, и потомков. И потеряв надежду избавиться от иноческого обета, Иакинф не замкнется в стенах лаврской обители. Всечасно рискуя навлечь на себя строгую епитимью и угодить в какую-нибудь отдаленную монастырскую тюрьму, он будет жить широко и вольно. По-прежнему он будет частым гостем в литературном салоне князя Одоевского. Здесь его встретят Белинский и Герцен, Панаев и Глинка. Переодевшись в цивильное платье, отец Иакинф будет посещать концерты и театры, книжные лавки и мастерские художников.

Только новая поездка Иакинфа в Сибирь и трагическая гибель Пушкина оборвут, их дружеские связи. Но до отъезда Иакинфа не раз еще будет слушать Александр Сергеевич рассказы ученого монаха о Китае, о путешествии по Оренбургским степям, а когда Пушкину понадобятся для его труда о Пугачеве материалы о калмыках, Иакинф с готовностью предоставит в его распоряжение рукопись своей еще не опубликованной книги. Приводя в "Истории Пугачева" пространную выдержку из рукописи Иакинфа, Пушкин напишет: "Самым достоверным и беспристрастным известием о набеге калмыков обязаны мы отцу Иакинфу, коего глубокие познания и добросовестные труды разлили столь яркий свет на сношения наши с Востоком".

Не без влияния встреч с Иакинфом Владимир Федорович Одоевский примется за свой оставшийся, к сожалению, не оконченным фантастический роман "4338-й год", в котором важное место займут прогнозы о взаимоотношениях России с Китаем, а главным героем будет китаец из сорок четвертого столетия.

Иакинфу суждена будет горечь многих утрат.

Скоро оплачет он смерть Пушкина и верного своего друга Шиллинга.

Тяжело переживет он смерть Тани, любовь к которой

пронесет через всю жизнь. На его глазах вырастут дети ее дочери Сони, которые будут считать отца Иакинфа родным дедушкой. Одна из ее дочерей оставит нам любопытные воспоминания о последних годах Иакинфа — "Иакинф Бичурин в далеких воспоминаниях его внучки".

Но все это — предмет особой книги, так же как и жизнь его за Великой стеной. Пока же я отдаю на суд читателя этот рассказ о юных и зрелых годах отца Иакинфа.

Рассказывая о его трудах и соблазнах, обретениях и утратах, сомнениях и надеждах, я ничего не выдумывал и ничего не утаивал. Все написанное основывается на внимательном изучении трудов самого Иакинфа, подлинных документов, отысканных в архивах Москвы и Ленинграда, Чебоксар и Казани, на немногих, к сожалению, очень немногих уцелевших его письмах, на скупых и беглых записях в оставшейся после него "памятной книжке", на отрывочных свидетельствах современников, рассеянных в малодоступных изданиях и архивах.

Нужно ли говорить, что мне пришлось кое-что домыслить? Это касается прежде всего внутреннего мира отца Иакинфа, хода его мысли, встреч и бесед с современниками. Их, разумеется, никто не записывал. Да и полтора десятка писем Бичурина, сохранившихся в чужих архивах, носят по преимуществу деловой характер. Не удалось, например, отыскать письма к митрополиту Амвросию, отправленного на пути в тобольскую ссылку. Но в истинности этого письма, приведенного в книге, я убежден, и, надеюсь, читатель разделит со мной эту убежденность. Конечно, есть и другие события в жизни Иакинфа, которые я не могу подтвердить документами, — многое ль из того, что с человеком случается, оседает в архивах или запечатлевается в письмах и дневниках знакомых?

Я допускаю, что воссозданный в романе образ Бичурина может чем-то отличаться от того реального отца Иакинфа, который существовал в действительности. Это, видимо, неизбежно, пока книги пишут люди, а не компьютеры. И я буду рад, если в сознании моих читателей Иакинф останется таким, каким он возник перед их глазами на страницах книги.

СУДЬБА ВОЛЬНОДУМНОГО МОНАХА

"…Отдаю на суд читателя этот рассказ о юных и зрелых годах отца Иакинфа. Рассказывая о его трудах и соблазнах, обретениях и утратах, сомнениях и надеждах, я ничего не выдумывал и ничего не утаивал. Все написанное основывается на внимательном изучении трудов самого Иакинфа, подлинных документов, отысканных в архивах Москвы и Ленинграда, Чебоксар и Казани, на немногих, к сожалению, очень немногих уцелевших его письмах, на скупых и беглых записях в оставшейся после него "памятной книжке", на отрывочных свидетельствах современников, рассеянных в малодоступных изданиях и архивах", — сообщает нам в главе "Вместо эпилога" автор романа.

Роман В. Н. Кривцова "Отец Иакинф", представляющий собой дилогию — "Путь к Великой стене" и "Время собирать камни", — произведение необыкновенное во многих отношениях. Перед нами едва ли не первый в нашей отечественной литературе роман профессионального востоковеда. Роман, в котором обнаруживается органическое сочетание познавательной основы с образной стихией.

Предлагаемое читателю произведение — открытие весьма своеобычного и почти неведомого мира. Нашему взору предстают здесь живописные картины прошлого, к которому восходят традиции взаимосвязей России и Китая, пути познания русскими жизнедеятельности, культуры и духовных интересов дальневосточного своего соседа.

Книга знакомит нас не только с Россией первой трети XIX столетия, но и с жизнью восточных народов — китайского, монгольского, маньчжурского, их давними традициями, верованиями, обычаями. В. Н. Кривцов при этом обнаруживает аналитическое исследование материала, обращается к достоверным источникам, освещает исторические и социальные события с научной добросовестностью и объективностью, что не может не вселить в нас полного доверия к достоверности повествования.

Во введении к роману В. Н. Кривцов отмечает, что оставленный Иакинфом в истории нашей культуры след так значителен, что давно пора воскресить из мертвых этого большого ученого и интереснейшего человека, попытаться воссоздать не только внешние события, но и внутренний мир его жизни, увлекательной и трагической.

Справедливость этого суждения самоочевидна. Суть, однако, в том, что сам по себе сюжет, даже наиболее увлекательный, не

становится фактом литературы. Тут необходима его встреча с искусством. В лице В. Н. Кривцова мы видим редкостное сочетание глубокого знатока материала и оригинального писателя. Именно это и сделало возможным воссоздать в художественной форме волнующую историю жизни Иакинфа, показав ее в многоплановой взаимосвязи человека и общества.

Блестящий исследователь Китая, Иакинф положил начало научному китаеведению в России. Дальнейшая судьба этой отрасли востоковедения неразрывно связана с его именем, которое навсегда вписано в историю нашей отечественной науки. Но не только удивительной талантливостью и преданностью науке прославил себя "вольнодумец в рясе".

В романе "Отец Иакинф" — повести о подвиге человека и исследователя — автор раскрывает читателю свою концепцию внутренней сущности Иакинфа — мыслителя, ученого, человека. Делает он это с неизменным писательским тактом. И здесь нельзя не видеть художественной правды о жизни, об окружавшей Иакинфа реальности. "Какая, — писал Горький в 1900 году, — вообще задача у литературы, у искусства? Запечатлевать в красках, в словах, в звуках, в формах то, что есть в человеке наилучшего, красивого, честного, благородного… В частности, моя задача — пробуждать в человеке гордость самим собой, говорить ему о том, что он в жизни — самое лучшее, самое значительное, самое дорогое, святое и что кроме его — нет ничего достойного внимания" {Горький М. Соч., т. 28. М., Гослитиздат, 1949–1955, с. 125.}.

Отсюда — наши эстетические требования к художественному произведению, которое призвано оздоровлять, укреплять нравственные начала в человеке, побуждать к позитивным поступкам. В. Н. Кривцов показывает нам, как психологические потрясения его героя не проходят бесследно, рисуя Иакинфа натурой столь же сложной, сколь и незаурядной. Нравственное впечатление и рождаемое им воздействие, без сомнения, исходят от душевного здоровья, моральной чистоты художника.

Главный герой, изображенный В. Н. Кривцовым в романе "Отеи Иакинф", — лицо исторически достоверное. Сохранившиеся биографические сведения о нем не вызывают никаких сомнений.

Никита Яковлевич Бичурин, в монашестве Иакинф, родился 29 августа (9 сентября) 1777 года в селе Акулево Чебоксарского уезда Казанской губернии. Отец его, происходивший из простых крестьян и потому не имевший фамилии, был безвестным приходским священником в селе Бичурино, куда Никиту перевезли, едва ему исполнилось два года. В детстве Никита посещал училище нотного пения, а в 1785 году поступил в

Казанскую семинарию. Здесь он получил фамилию Бичурин, по названию села, где находился приход отца. Способности его проявились очень рано, учение давалось легко, и в связи с успешным окончанием духовной академии, в которую была преобразована Казанская семинария, Бичурина склонили к принятию монашества.

Сцена пострижения Никиты несомненно принадлежит в романе к наиболее ярким и запоминающимся.

"Через несколько часов лязгнут над головой ножницы и отсекут не только волосы, но и само имя его… Исчезнет из мира Никита Бичурин, и встанет на его место новопостриженный… Он даже не знает своего нового имени, — инок услышит его лишь в час пострижения, вместе со всеми. В эту минуту он должен будет проститься не только со своим прошлым, но и с будущим, со всем, что значимо и ценно для него в этом мире".

Пострижение Бичурина было совершено, однако, не по его призванию, и шаг этот имел для него трагические последствия. Среди других биографических материалов заслуживает внимания свидетельство Николая Малиновского, находившегося вместе с Иакинфом в ссылке в Валаамском монастыре. "Он, — отмечал Малиновский, — сомневался в бессмертии души" {Алексеев М. П. Пушкин и Китай. — В сб.; А. С. Пушкин и Сибирь. Иркутск, 1937.}. На атеистические убеждения Иакинфа указывается и в других биографических источниках. Известно, что в человеке нередко заключено нечто трудно объяснимое с позиции здравого смысла. Об этом сказал Кант: "Есть две вещи, совершенно не объяснимые с точки зрения рассудка — Бог в небесах и нравственный закон внутри нас".

С возрастающим интересом следит читатель за дальнейшей судьбой героя.

В 1800 году Иакинф становится учителем высшего красноречия в Казанской духовной академии, которую он только что окончил. Автор романа показывает нам, как самыми верными друзьями Бичурина становятся книги, с которыми ему будет суждено не расставаться всю жизнь.

"Каждый вечер, вернувшись из академии, он садился к столу, придвигал свечу и читал древних и новых, совершенствовался в латыни и греческом, листал старые хроники. С яростным ожесточением казнил он себя за легкомыслие, за мальчишескую самонадеянность, за дерзкие несбыточные мечты. Нет, любовь и счастье не для него. Ему не нужны пустые мечтания… Иная жизнь его ждет. Служение науке — вот его стезя, его призвание".

Есть люди, как бы созданные для счастья. Иакинф, говорит автор, принадлежал к их числу. Его радовал свежий ветер с

Волги, скрип снега под ногой, гул скакавших под гору весенних потоков, редкая книга, отысканная в академической библиотеке.

Дела по службе между тем шли своим чередом. Сразу по пострижении, оставаясь в Казани, он был зачислен в соборные монахи столичной Александро-Невской лавры и 22 июля произведен в иеродиаконы. Через год, 25 августа 1801 года, его посвятили в сан иеромонаха, а в ноябре того же года совершенно неожиданно для него препоручили управление Иоанновским монастырем, в котором было определено ему жительство по пострижении.

В двадцать четыре года у него оказалось под началом свыше сотни монахов. Благодаря незримому покровительству митрополита Амвросия, весь долгий и тернистый путь от простого чернеца до настоятеля Иакинф проделал весьма скоро. Перед ним открылась блестящая духовная карьера.

Увлекательны и с большим мастерством созданы главы, посвященные лирической истории Иакинфа и крепостной актрисы Наташи Ивановой. Острый, интригующий сюжет, подстерегающие — на каждом шагу влюбленных опасности, их тайные узы и связанный с этим риск, угрожающий обернуться суровой карой, изображены динамично, написаны эмоционально, насыщенными красками.

Уже через год после назначения Иакинф был разжалован и сослан в Тобольский монастырь. Согласно биографическим материалам, поводом для столь суровой меры явилось нарушение Иакинфом монастырского устава и конфликт с семинаристами.

Заточение Иакинфа в Тобольском монастыре продолжалось до 1807 года, когда Синод назначил его начальником девятой русской духовной миссии и архимандритом Сретенского монастыря в Пекине. В течение целого столетия духовная миссия была единственным представительством России в Китае. Через нее поддерживались все отношения между двумя странами. Отъезду Иакинфа к месту нового назначения предшествовала многосложная процедура. Лишь 17 сентября 1807 года он отправился из Кяхты в китайскую столицу и добрался туда 17 января 1808 года, пробыв в пути к Великой стене четыре тяжелых и удивительных месяца. Именно с этого года начался новый важнейший этап в жизни Иакинфа. Отсюда берет свое начало и его научная биография. Пекинский период, продолжавшийся четырнадцать лет, был для Иакинфа чрезвычайно насыщенным и плодотворным.

Вводя читателя в жизнь Иакинфа и заставляя вместе с ним испытывать крутые изломы в его нелегкой судьбе, автор постоянно показывает своего героя на фоне важных

государственных событий. Интересно в этом смысле описание обстановки в Петербурге накануне снаряжения посольства в Пекин.

Официальной целью посольства в Китай было известить соседнего монарха о вступлении на престол нового всероссийского самодержца. Но это было, разумеется, лишь предлогом. У России были давние и широкие интересы на Востоке. Со времен Петра русское правительство проявляло живое внимание к Срединному государству. Не раз на протяжении XVIII столетия возникали планы установления дипломатических и регулярных торговых отношений с далеким, загадочным соседом. Особенно усилилось это внимание к Дальнему Востоку при Екатерине. Однако при Павле, не скрывавшем своей антипатии к матери, все делалось ей назло, и о Китае было забыто.

Уже на следующий год после вступления на престол Александра министр коммерции, граф Николай Петрович Румянцев, один из "людей Екатерины", испросил высочайшее соизволение на снаряжение посольства в Китай. В декабре 1803 года только что созданное министерство иностранных дел отправило сибирскому генерал-губернатору Селифонтову для отсылки в Пекин специальный "Лист", извещавший, что русское правительство "из особого уважения к Его Богдыханову Величеству и для вящего доказательства искренней соседственной дружбы к нему Его Императорского Величества за благо признало отправить в Пекин Чрезвычайного и Полномочного посла" и просит согласия на то китайского правительства.

…Ответный лист китайского трибунала внешних сношений, против обыкновения, был получен весьма скоро. Не прошло и трех месяцев, как пекинское правительство изъявило согласие на прием посольства и просило лишь уведомить, какого звания будет посол, как велика при нем свита и когда посол прибудет на границу.

Ответное послание из Пекина немало озадачило Петербург.

Почти два года там не могли надумать, кого же послать в Пекин. Наконец в апреле 1805 года в Пекин была направлена депеша, извещавшая, что "Чрезвычайным и Полномочным Послом ко двору Его Богдыханова Величества назначается действительный тайный советник, Сенатор, Государственной Коммерц-коллегии Президент, Двора и всех Российских орденов Обер-церемониймейстер, Действительный Камергер и разных орденов кавалер, граф Юрий Александрович Головкин".

Уже одно перечисление титулов посла показывало, что посольству придается особое значение, а вся обстановка, в

которой оно готовилось, еще более подтверждала это. Зимой 1805 года в аристократических салонах столицы только и было разговоров, что о Бонапарте да о китайском посольстве. Путешествие в далекую и загадочную страну представлялось заманчивым, и многие влиятельные сановники поспешили пристроить в свиту графа своих сынков или родственников…

Обзор сношений России с Китаем в прошлом веке показывает, что китайское правительство относилось к русским посланникам, комиссарам и вообще лицам дипломатического характера не очень дружелюбно, а подчас грубо, и оскорбительно. Русским же миссионерам правительство богдыхана выказывало, за редким исключением, доверие и дружественные чувства.

Обновителем миссии, постаравшимся придать действиям миссионеров целесообразный характер, влить новое вино в ветхие мехи, пишет И. Коростовец, явился архимандрит Иакинф Бичурин. Назначение Бичурина на пост начальника миссии состоялось не сразу; первоначально выбор пал на иеромонаха Аполлоса, произведенного в архимандриты и в 1805 году отправленного к месту службы вместе со знаменитым посольством графа Головкина. Это посольство, снаряженное с большою помпою, которое стоило нашему правительству немалых денег и от которого ожидались важные последствия, было задержано ургинскими властями. Переговоры о допущении посольства в Пекин кончились ничем.

Здесь не лишне, пожалуй, напомнить об условиях китайского церемониала. По прибытии посольства в Ургу наместник богдыхана предложил русскому уполномоченному прорепетировать церемониал, который ему предстояло совершить при представлении самому богдыхану. В комнату, где было поставлено изображение богдыхана, "посол должен был войти на четвереньках, имея на спине шитую подушку, на которую положится кредитная грамота". Граф Головкин отверг странную и унизительную церемонию, после чего "китайцы вернули все привезенные русским представителем подарки".

К счастью для судьбы Пекинской миссии, архимандрит Аполлос был отставлен от посольства в Иркутске. Ему нашелся заместитель в лице Иакинфа, выразившего желание ехать в Срединную империю не ради денежных или служебных выгод, а увлекаемый своей любознательностью, деятельною натурою и склонностью к науке. Он не желал жить в стране ничего не понимающим и ничего не знающим гостем (грустное положение, в котором находились многие его предшественники) и тотчас же по прибытии в Пекин принялся за изучение языка, истории, литературы, государственного и общественного строя Китая.

"Отец Иакинф" — роман исторический. В основе его лежат события и факты документальные. В этом не только отличительная особенность книги. В этом и ее преимущество.

Стремление к документальной достоверности привело автора на родину Иакинфа, в Чувашию — в Чебоксары и в село Бичурино, где он провел свои детские годы; к изучению библиотеки и архива Казанской духовной семинарии, где он четырнадцать лет учился; посещению Иркутска, где он служил ректором духовной семинарии и настоятелем монастыря; еще в годы войны писателю привелось поколесить по степям Монголии, которые за полтораста лет до того пересек на пути в Китай Иакинф; посетил он и древний Пекин, и суровый Валаам; читал многочисленные книги, статьи и переводы Иакинфа, разбирал его рукописи, вчитывался в торопливые записи, которые он делал в немногих дошедших до нас памятных книжках; собирал разрозненные свидетельства современников, размышлял над его трудами и поступками… И нельзя не заметить, что у В. Н. Кривцова зоркий глаз, который обладает особым качеством распознавать психологию явлений, способностью видеть большое в малом и малое в большом.

При всей масштабности привлекаемого материала, который сам по себе представляет большой исторический и этнографический интерес, автор весьма успешно раскрывает главную художественную идею романа: сохраняя документальную достоверность, воссоздает живую историю и характер своего героя, сильную и самобытную личность Иакинфа. Конкретность изображения окружающей реальности и пластичность выразительных средств позволили автору добиться убедительности повествования, ощущения того, что душевная, личная память живет в его герое, продолжая будить сознание, звать Иакинфа к исполнению главного своего нравственного обязательства — гражданского долга перед отечеством.

Иакинф постоянно живет тайными мыслями, глубокой внутренней убежденностью в призвании быть полезным своему отечеству, интересы которого имели для него высшее значение. И в глазах Иакинфа Восток предстает сокровищницей, которая не может не быть приобщена к культуре общечеловеческой. Здесь он видит источник знаний и опыта, которые должны быть использованы во благо отечественной и мировой науки. Всего более вниманием Иакинфа завладевают Китай и его народ, великим трудолюбием которого была создана древнейшая цивилизация.

Мы видим, что интерес Иакинфа к Востоку усиливается не по причинам узко субъективным, но вследствие благородного

стремления познать огромный мир с его многомиллионным населением и богатейшей культурой, а затем попытаться ввести в научное обращение новые данные, полученные в результате своих изысканий. В этом состояла главная его цель, в достижении которой он видел смысл своей жизни, свое призвание.

Из приведенного в романе письма Иакинфа мы узнаем, какую сокровенную мечту издавна лелеял он в сердце своем, что руководило им, когда прямо из-за парты принял он пострижение. Он искал в монашестве не даровой хлеб, не сан, не грядущие почести и власть духовную, а место в жизни, жизненный путь свой, самого себя. И ежели где-то в тайниках души своей мечтал он о славе, то единственно его влекла "слава проповедника и ученого, а сие есть самая чистая на земле слава!".

И вот, кажется, путь этот ему указан самим провидением. Он ведет его туда, далеко, на край чужбины. Все его помыслы отныне устремлены на Восток, к далекому и неведомому Пекину. Он готов ехать туда не только архимандритом, но и простым монахом. Мы соседи, мы рядом… Кому же, как не нам, русским, заняться изучением Китая? — размышлял Иакинф.

Едва ли соображения эти хоть на час утратили свою актуальность в течение минувших с тех пор полутора веков.

Активное накопление в России сведений о землях и народах Дальнего Востока, раньше всего Монголии и Китая, а затем Кореи и Японии, восходит к концу XVI — середине XVII века. Внимание к дальневосточным странам объяснялось естественным желанием установить с ними добрые отношения, а также возрастающим желанием русского общества познакомиться с жизнью и культурой народов, их населявших. Экономические интересы России, в свою очередь, указывали на необходимость установления торговых отношений со странами Дальнего Востока.

На этих путях, однако, возникали немалые препятствия, связанные с овладением восточными языками, требовавшими большого усердия для их освоения, а также с изучением самобытности государственного и общественного устройства, экономики, духовной жизни зарубежных стран.

Материальные затраты и усилия людей, однако, вскоре принесли свои плоды. Уже первые сведения русских о дальневосточных народах существенно обогатили представления европейцев, хотя последние и вели регулярные отношения с ними задолго до выхода русских на Тихий океан в середине XVIII века. Многочисленные русские источники и различные исторические работы XVII–XVIII веков о Китае, Монголии и Японии переводились на иностранные языки.

Из истории русского востоковедения известно, что начало государственной организации преподавания восточных языков было положено Петром I, которого весьма серьезно занимали проблемы изучения стран Дальнего Востока в целях развития с ними экономических связей.

Одним из важных решений Петра I явилось создание духовной миссии в Пекине. Образование православной церкви в столице Китая, куда была направлена первая миссия в 1716 году, предназначалось для нужд переведенных в Пекин русских пленных казаков, захваченных китайцами при взятии крепости Албазина в 1685 году.

Деятельность духовной миссии в Пекине и изучение ее персоналом китайского языка были закреплены Кяхтинским договором 1727 года. Из членов миссии — духовных и светских лиц за сто с лишним лет вышло значительное количество знатоков восточных языков — китайского, маньчжурского, монгольского, а также видных историков, филологов и различных специалистов по Китаю, Монголии, Маньчжурии, Тибету.

Вторая половина XVIII века, в годы важных достижений российской науки, во главе которой стоял гениальный М. В. Ломоносов, ознаменовалась дальнейшим развитием нашего отечественного востоковедения. Благодаря изучению китайского и других дальневосточных языков русской науке оказались доступными ценнейшие источники по этнографии, истории и географии Китая, Монголии, Маньчжурии, Японии и других зарубежных стран. Свет увидели многочисленные дальневосточные исторические и литературные памятники, переведенные на русский. Они послужили достоверными источниками для создания научных трудов по странам Дальнего Востока, к которым большой интерес проявляли передовые люди русского общества. Примечательно в этой связи известное "Письмо о Китайском торге" А. Н. Радищева {См.: Радищев А. Н. Собр. соч., т. II. Изд-во АН СССР. М., 1941.}, выступившего по поводу длительного перерыва русской торговли с Китаем и необходимости ее возобновления и осуждавшего крепостническую систему торга.

К этому времени относится открытие в 1818 году в Российской академии наук Азиатского музея — крупнейшего в мире собрания рукописей и книг по Дальнему Востоку. Выдающаяся роль в развитии ориенталистики принадлежала Казанскому университету, ставшему важнейшим центром отечественного востоковедения. "Всем известно, что восточное отделение философского факультета в Казани есть не только первое между русскими учебными заведениями… но даже

занимает одно из почетных мест в кругу подобных заведений и ученых азиатских обществ всей Европы. Взгляните на страницы Лондонского "Азиатского журнала", там увидите, как думают в Европе о казанских ориенталистах, богатых своими знаниями, но издающих свои дельные сочинения без шума, без неистовых возгласов, которыми ныне прочие хотят поддержать свои сочинения по части Востока" {"Отечественные записки", т. 9, 1840.}.

Но, несомненно, самым крупным и наиболее авторитетным русским китаеведом и XVIII, и первой половины XIX столетия был Иакинф Бичурин.

И. Щукин, биограф Иакинфа, лично знавший его, отмечал, что "о. Иакинф был роста выше среднего, сухощав, в лице у него было что-то азиатское: борода редкая, клином, волосы темно-русые, глаза карие, щеки впалые и скулы немного выдававшиеся. Говорил казанским наречием на о; характер имел немного вспыльчивый и скрытный. Неприступен был во время занятий; беда тому, кто приходил к нему в то время, когда он располагал чем-нибудь заняться. Трудолюбие доходило в нем до такой степени, что беседу считал убитым временем. Лет 60-ти принялся за турецкий язык, но оставил потому, что сперва должно знать разговорный язык, а потом приниматься за письменный. Так по крайней мере он говорил. Любил общество и нередко ночи просиживал за картами, единственно потому, что игра занимала его. Долговременное пребывание за границей отучило его от соблюдения монастырских правил, да и монахом сделался он из видов, а не по призванию" {"Журнал Министерства народного просвещения", 1857, сентябрь, с. 125.}.

Изучением китайского языка и иероглифики в Пекине Иакинф занимался с поразительной энергией, самозабвенно, создав наиболее полный тогда словарь, который собственноручно переписывал четыре раза. Император Карл V как-то сказал, что, изучая новый язык, мы приобретаем и новую душу. Пожалуй, не новую душу, а ключ к проникновению в духовный мир другого народа. В овладении языком и письменностью Иакинф справедливо усматривал наиболее верный способ ознакомления с богатейшими китайскими источниками — книгами и материалами по истории, географии, экономике, социальному устройству, культуре. Он хорошо понимал, что каждый народ имеет свои корни, которые часто уходят в глубь веков. Они нередко создают облик народа, его историческое лицо. Иакинфа все более увлекало стремление познать условия, обстановку, историческую атмосферу, которая настраивается не один век, и лучше понять современную ему жизнь "Поднебесного царства",

как назывался тогда Китай.

В Пекине Иакинфом были написаны важнейшие монографии, подготовлены материалы основных его трудов, которые затем увидели свет на родине. Сверх того он привез с собой в Россию в 1821 году уникальное собрание китайских книг весом около четырехсот пудов. В этом обнаруживалось неукротимое существо научной деятельности исследователя, патриотического его служения Отечеству.

Отдавшись всецело научным интересам, Иакинф, по всей видимости, перестал заниматься духовной миссией и монастырскими делами. Тем более что русское правительство, озабоченное событиями 1812 года, предало забвению помощь миссии, что обрекло ее персонал на жалкое существование.

В книге "Китайцы и их цивилизация" И. Коростовец отмечал, что, поглощаемый разнообразными учеными трудами, Иакинф мало обращал внимания на доверенную ему православную паству и на жизнь и времяпрепровождение своих подчиненных, которые предавались бездействию или убивали время не совсем по-монашески — азартными играми и возлияниями Бахусу. Поведение миссионеров привлекло внимание китайского трибунала, который обратился с жалобой к иркутскому губернатору, обвиняя студентов миссии в "лености, пьянстве и распутстве" {Коростовец И. Китайцы и их цивилизация. СПб., 1898.}.

В свете этого иронией представлялась врученная Иакинфу в Иркутске инструкция с наставлениями начальнику миссии и правилами поведения свиты. Они были кратки, но выразительны: "Оным иеромонахам и иеродиакону по имеющимся тамо Российского народа людем отнюдь не ходить и от того их воздерживать, а ежели по необходимости какой быть у кого и случится, то б отнюдь никогда пьяни не были, и от оного всячески воздерживались, наглостей же, ссор, драк, бесчинств и кощунств между собою и ни с кем отнюдь не чинили, и тем нарекания и бесславия Российскому двору и народу не наносили. Когда же случится вытти кому в город, то б по улицам шли чинно и порядочно, от сторонних дел уклонялись и без причины нигде не останавливались".

Словно злой рок преследовал Иакинфа, играя его судьбой. Но человек часто держится тем, что не знает своего будущего. Возвращение на родину оказалось для него трагическим. По доносу иркутского губернатора и архимандрита Петра Каменского, сменившего Иакинфа в Пекине, он был обвинен в допущении беспорядков в миссии, предан церковному суду и сослан пожизненно, с лишением сана, в Валаамский монастырь за

"небрежение священнодействием и законопротивные поступки". Но ни синодское отрешение инока, ни суровое его заточение не способны были отлучить Иакинфа от научных занятий, которые он продолжал еще более яростно. Он был не из того дерева, что податливо гнется.

Ценнейшие его труды и блестящее знание китайского языка, однако, заставили властителей освободить его из ссылки, где он пробыл около пяти лет. В 1826 году Николай I высочайше повелел: "Причислить монаха Иакинфа Бичурина к Азиатскому департаменту". Похоже, что слишком нуждалось в нем министерство иностранных дел. Жительством ему, как монаху, была определена Александро-Невская лавра, но и здесь он продолжал свои синологические исследования и сочинения.

Крупный востоковед и историограф Н. И. Веселовский писал о деятельности Иакинфа: "С этого времени (1826 г.) начинается его неутомимая литературная деятельность, изумлявшая не только русский, но даже и иностранный ученый мир". Клапрот (немецкий востоковед. — Н. Ф.) прямо высказывался, что "отец Иакинф один сделал столько, сколько может сделать только целое ученое общество".

Иакинфом Бичуриным внесен значительный вклад в изучение Монголии, благодаря чему ему заслуженно принадлежит выдающаяся роль в истории русской монголистики первой половины XIX века. В 1828 году он опубликовал свои "Записки о Монголии", в которых ввел в научное обращение новые китайские источники по монгольской истории, а также обработал и перевел эти источники с китайского языка на русский. Благодаря трудам Иакинфа отечественное монголоведение получило дальнейшее развитие.

Вышедшие вскоре его многочисленные монументальные труды по Китаю и другим странам Дальнего Востока далеко опередили по охвату материала и интерпретации работы современных ему авторов в России и Европе. Высоким признанием научной ценности исследований Иакинфа явилось четырехкратное присуждение ему Демидовской премии. За выдающиеся успехи в области востоковедения Иакинф был избран в 1828 году первым членом-корреспондентом Российской академии наук, а в 1831 году — действительным членом Азиатского общества в Париже.

Ведущая роль Иакинфа в мировом китаеведении была фактом бесспорным. Синологические его работы широко переводились на различные европейские языки. В 1830 году на французском языке вышло его "Описание Тибета", а затем "Записки о Монголии" были, переведены на немецкий язык.

Иакинф исходил из необходимости введения в научное обращение сведений восточных источников, непременного использования документального текста, обоснования авторских обобщений и выводов на сведениях подлинных исторических и литературных памятников, а не ссылками на недостоверные данные или суждения эфемерных авторитетов.

Обнаружив разногласия в европейских источниках по вопросу исторического освещения Центральной Азии, Иакинф указывал на то, что западноевропейские ученые вначале основывались на трудах греческих историков и географов, а затем лишь начали разрабатывать и китайские источники. Этим и объяснялось то, что западноевропейские ученые предпочтение отдавали грекам и "единогласно заключили, что китайцы по своему невежеству перепутали древнюю историю Средней Азии" {Бичурин Н. Я. (Иакинф). Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена, т. 1, с. 10.}. Иакинф, однако, доказывал, что если читать "китайскую историю в подлиннике, притом без предубеждения против азиатского невежества", черпать сведения без искажения и полностью, то китайские источники могут значительно пополнить и прокорректировать греческие сочинения. Из этого понимания и вытекало заключение Иакинфа, что "европейцам есть, чему научиться у китайцев".

Благодаря строгой взыскательности к научным трудам Иакинф снискал заслуженное уважение в глазах отечественных и зарубежных исследователей."…Не должно ли сказать, — писал Н. Полевой, — что о. Иакинф должен быть поставлен в пример всем нашим литераторам и ученым людям" {"Московский телеграф", 1828, февраль, с. 533.}.

При всей его энциклопедической образованности и прогрессивности взглядов, Иакинф, однако, страдал пристрастным отношением к Китаю. И это было не просто его увлеченностью изучаемым предметом, что нередко наблюдалось не только в прошлом. Иакинф самоочевидно идеализировал Китай и все, что с ним связано. Предвзятость эта не могла не сказаться на его исторических воззрениях. Нельзя, разумеется, не считаться и с существовавшей тогда общей обстановкой крайних суждений, симпатий и антипатий к странам крайнего Востока, о которых так мало было достоверных сведений в России и Европе.

Теперь, писал И. Коростовец в книге "Китайцы и их цивилизация", когда все заговорили о Китае, приходится слышать самые противоречивые отзывы об этой далекой, окруженной покровом таинственности стране. Одни преклоняются перед высокой и мощной цивилизацией Китая, готовы призывать нас учиться у него или слиться с ним, как с родственным по духу

народом. Другие тех же самых китайцев обзывают грубыми варварами, чуть ли не дикарями, которых надо хорошенько проучить, если не совсем уничтожить.

С другой стороны, отмечал Коростовец, представления китайцев о европейцах и об их цивилизации крайне туманны и почти всегда ложны. Одною из причин этого неведения является горделивая уверенность китайского гражданина в своем превосходстве, уверенность, препятствующая ему знакомиться со всем заграничным. Житель Поднебесной империи убежден, что все китайское лучше некитайского, и не в состоянии представить себе, что на свете есть нечто иное, заслуживающее внимания. Государственный строй и правосудие Китая, по его мнению, выше и лучше государственного строя и правосудия других народов, его этические теории, философия и религия глубже, его правительство устойчивее и т. п. Национальная гордость, конечно, великое качество, и жалок народ, у которого ее нет, но китайцы в этом отношении заходят слишком далеко. Их национальная гордость в сущности не что иное, как чванливость и презрение ко всему некитайскому; ослепленные своим, они не дают себе труда узнать и проверить и осуждают огулом все иностранное, клеймя его словом "варварское".

Все Поднебесье (тянь ся), по представлению китайцев, подчинено богдыхану, имеющему под своею властью два рода государств — Срединную империю, называемую так, ибо она якобы находится в центре вселенной (чжун го), и вассальные государства. Эти государства населены не китайцами, а варварскими, нецивилизованными народами — англичанами, французами, немцами и т. п., обязанными повиновению Китаю. При такой постановке вопроса, исключающей возможность самостоятельности других народов, теряют, конечно, всякий смысл и значение понятия, выработанные историей и наукой.

Французский ориенталист Ховелак указывал в начале нашего века: "Все, что видишь в Китае, создает одно совокупное впечатление — страны, оцепеневшей во сне. В Китае я видел вчера и вижу сегодня одни фантомы, которые не поддаются заклинанию; куртизанок в "цветочных лодках", восседающих в зачарованной неподвижности, как идолы в кумирнях; заснувших курильщиков опиума; воинов и сановников, окаменевших в своих гробницах; унылые стены, окружающие опустевшие города; галлюцинирующие караваны; сады и храмы, полные видений. Все одинаково испытывают гнет того же колдовства; и им всем снится и всех давит один и тот же тысячелетний сон. Нигде в мире не найти более абсолютной социальной неподвижности, такой неизменности нравов, привычек, обрядов, учреждений, подобного

тождества жизни в таких огромных масштабах и в течение стольких веков…"

Современники и друзья Иакинфа отмечали, что он постоянно превозносил Китай и "вообще он питал какую-то страсть к Китаю и ко всему китайскому" {Никитенко А. В. Записки и дневник (1826–1877). СПб., 1893, с. 38.}. Вместе с восхвалением Китая Иакинф идеализировал и царившие там феодальные порядки, считая общественное его устройство справедливым, не видя или не желая видеть давно отжившего свой век правления с его баснословными легионами продажного чиновничества, бесправного и угнетенного крестьянства, средневековых пыток, нищеты и т. п. Не понимал Иакинф и того, что огромная китайская империя представляла собой страну векового застоя и что ее ожидает неотвратимое будущее — пробуждение от феодальной закоснелости и спячки.

Именно в связи с этим заблуждением и ограниченностью взглядов критиковал Иакинфа В. Г. Белинский, хотя он не однажды указывал на труды Иакинфа как на "примечательное", достойное внимания, как "самое утешительное и отрадное явление" {Белинский В. Г. Собр. соч., т. VII, с. 60.} и т. п. Анализируя работу Иакинфа "Китай в гражданском и нрав" ственном состоянии" (1848), великий критик писал, что в древности Азия была колыбелью культуры, ремесла, искусства, но впоследствии Азия, в том числе Китай, остановилась в своем развитии. Вторжение Европы в Азию оказалось более благоприятным и выгодным для Европы, а не для Азии, где по-прежнему продолжали царить застой и отсталость. Между тем, писал В. Г. Белинский, "почтенный отец Иакинф показывает нам более Китай официальный, в мундире и с церемониями" {Белинский В. Г. Собр. соч., т. VII, с. 156.}. Изображение Китая, законы которого, по Иакинфу, "сотни веков проходили сквозь горнило опытов и вылились столь близкими к истинным началам народоправления, что даже образованнейшие государства могли бы кое-что заимствовать из них", В. Г. Белинский считал ошибочным.

В самом деле, Китай с его огромным населением оказался неспособным справиться с тремя тысячами английских моряков. "Китай силен, — отмечал далее критик, — но держится пока с севера миролюбием России, с юга боязнью Англии обременить себя дальнейшими завоеваниями".

Здесь следует, однако, напомнить, что восторженное отношение к Китаю у Иакинфа восходит к взглядам Вольтера, глубоко интересовавшегося Срединной империей. Он постоянно обращался к Китаю и в "Опыте о нравах", и в "Веке Людовика XIV",

и в "Драматургической галиматье", и в повести "Простодушный", и во многих своих памфлетах. В Вольтере молодой Иакинф нашел восхищенного поклонника страны, которая так завладела его собственным воображением.

"Китайцы цивилизовались едва ли не прежде всех других народов, — читал Иакинф, — ни у одного народа нет таких достоверных летописей, как у китайцев… Тогда как другие народы сочиняли аллегорические басни, китайцы писали свою историю с пером и астролябией в руках, и притом с такою простотой, примера которой нет во всей остальной Азии…"

Не расходившийся с Иакинфом в оценке высокой древней культуры Азии, В. Г. Белинский не только обоснованно указывал на факт явного отставания Азии от Европы, но и, в отличие от Иакинфа, стремился вскрыть причины этого затянувшегося на века отставания. Понадобился, однако, ленинский гений, чтобы провидеть грядущее: "Пробуждение Азии и начало борьбы за власть передовым пролетариатом Европы знаменуют открывшуюся в начале XX века новую полосу всемирной истории" {Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 23, с. 146.}.

В массе высоких оценок трудов Иакинфа раздавались, однако, голоса его противников и ожесточенных хулителей (Греч, Булгарин, Клапрот), среди которых выделялся О. И. Сенковский. Как ни парадоксально, но Сенковский более всего негодовал по поводу того, что Иакинф пользовался в своих работах не западноевропейскими, а русским языком. "Мы часто сожалеем, читая труды почтенного отца Иакинфа, — писал он, — что он не издает сочинений по-французски или английски. Русский язык до сих пор оставался и долго еще останется вне круга ученых европейских прений о предметах восточных, а самая запутанность, в которую повергнуты эти предметы гипотезами известных ориенталистов, еще увеличивается от появления нового диспутанта, изъяснявшегося на языке, не получившем права гражданства в ориенталистике". Сенковский сокрушался о том, что "все это потеряно для науки, потому что писано на языке, который еще не имеет прав на известность в ученом свете" {Сенковский О. И. Собр. соч., т. VI. СПб., 1859, с. 27–28.}.

Нетрудно понять законный гнев, который вызывали подобные упреки у человека глубоко патриотических взглядов. Отвергая такого рода суждения, Иакинф подчеркивал: "Если бы мы, со времен Петра Первого доныне, не увлекались постоянным и безразборчивым подражанием иностранным писателям, то давно бы имели свою самостоятельность в разных отраслях просвещения. Очень неправо думают те, которые полагают, что западные европейцы давно и далеко опередили нас в

образовании, следовательно, нам остается следовать за ними. Эта мысль ослабляет наши умственные способности, и мы почти в обязанность себе ставим чужим, а не своим умом мыслить о чем-либо. Эта же мысль останавливает наши успехи на поприще образования в разных науках. Если слепо повторять, что напишет француз или немец, то с повторением таких задов всегда будем позади, и рассудок наш вечно будет представлять в себе отражение чужих мыслей, часто странных и нередко нелепых" {"Москвитянин", 1844, № 3, ч. II, с. 170.}.

Трезвые и убедительные эти высказывания Иакинфа были тем более значимы, что он хорошо знал древние языки — латинский и греческий, свободно владел французским, знал немецкий, не говоря уже о китайском языке и письменности, которые он изучил профессионально.

Аналогичные критические соображения Иакинф выражал не однажды, отвечая своим оппонентам: "Привычка руководствоваться чужими, готовыми мнениями, неумение смотреть на вещи своими глазами, неохота справляться с источниками, особенно изданными на отечественном языке: своему-то как-то не верится, то ли дело сослаться на какой-нибудь европейский авторитет, на какого-нибудь иноземного писателя, хотя тот также не имел понятия о деле {"Финский вестник", 1847, № 5, разд. IV, с. 3.}.

Научная требовательность и незаурядная эрудиция Иакинфа нашли свое яркое выражение и в его острых полемических выступлениях по важным проблемам современной ему жизни. Отстаивая свои взгляды, основанные на тщательном исследовании исторических материалов, Иакинф, в частности, решительно осуждал пангерманские теории о происхождении тянь-шаньских племен усунь, которые, по утверждению немецких и других западноевропейских историков, представляли собой прагерманские племена. Подчеркивая несостоятельность подобных концепций, Иакинф указывал на то, что в усуньских племенах "даже запаху германского не было". Едва ли не одним из первых в России Иакинф возвысил голос против расистских теорий, проповедовавшихся западноевропейскими учеными, которые, отмечал он, "еще обоняют в Чжунгарской атмосфере запах германизма… До каких нелепых заключений не доводит нас тщеславное стремление к открытиям при руководстве мечтательных предположений" {"Москвитянин", 1844, ч. I, с. 162.}. Столь же непримиримым был Иакинф и в отношении расистской концепции относительно усуньских племен, сторонники которой пытались доказать их финское происхождение лишь потому, что у них были "русые волосы и

голубые глаза".

Так, в противоположность господствующему мнению европейских ученых своего времени, Иакинф выдвигал свое собственное, согласно которому монголы издавна населяют обширные территории Центральной Азии, хотя и получили свое современное название лишь в XIII веке.

В духовной жизни той эпохи важная роль принадлежала идеям декабристов, сосланных в Сибирь после восстания 1825 года в Петербурге. Являясь выдающимися деятелями своего периода, эти передовые люди России вели неустанную работу по просвещению среди сибирского населения, способствуя распространению демократических взглядов о народах Азии. Проявляя большой интерес к Китаю, Монголии, Японии и другим зарубежным странам Дальнего Востока, декабристы в немалой степени содействовали становлению отечественного востоковедения, развивавшегося на путях русской передовой прогрессивной науки. В результате в первой половине XIX века в России были заложены серьезные научные основы русской ориенталистики, которая в дальнейшем стала играть ведущую роль в мировом востоковедении.

Показательно, что Иакинф, поддерживавший широкие литературные связи, сотрудничал в многочисленных периодических изданиях: "Отечественных записках", "Телескопе", "Сыне отечества", "Московском телеграфе", "Современнике", "Северном архиве", "Русском вестнике", "Журнале министерства народного просвещения", "Финском вестнике", "Северных цветах" и др. Его выступления по праву назывались "украшением современной журналистики".

Литературная и научная слава Иакинфа ширилась с выходом в свет каждой новой работы, его имя не сходило со страниц русских и зарубежных журналов. Передовая литературная общественность России видела в Иакинфе крупнейшего исследователя, обогатившего отечественную и мировую синологию многими оригинальными трудами, хотя, как это обычно случается, были у него и недоброжелатели, враждебно настроенные к нему личности.

"Трудолюбивый о. Иакинф, — отмечал "Телескоп", — не перестает разрабатывать обширные поля, на которых у нас не только не имеет соперников, но даже людей, которые б могли ценить его заслуги, любоваться, гордиться им". Едва ли многие удостаивались столь лестных отзывов, как Иакинф, которого "Сын отечества" называл "почтеннейшим синологом, известным всей ученой Европе, пролившем совершенно новый свет на изучение Китая" {Цит. по: Собрание сведений о народах, обитавших в

Средней Азии в древние времена. М., 1950, с. XVI.}. О значении творческой деятельности Иакинфа справедливо писал академик Бартольд: "Благодаря его трудам русская синология еще в 1851 и 1852 гг. опередила западноевропейцев".

При всей увлеченности востоковедными трудами Иакинф не прекращал публицистической, литературной деятельности, откликаясь статьями и выступлениями на различные социальные и политические события. Но не только ученые труды, а и сама личность вольнодумного монаха привлекала современников. Примечательны были и его личные связи, свидетельствующие о широте и прогрессивности взглядов Иакинфа.

В воспоминаниях М. П. Погодина о литературном салоне князя В. Ф. Одоевского читаем, что здесь "сходились веселый Пушкин и отец Иакинф (Бичурин) с китайскими, сузившимися глазами" {Погодин М. П. В память о кн. В. Ф. Одоевском. М., 1869, с. 56.}.

Возникновение дружеских отношений Бичурина с А. С. Пушкиным, согласно литературным источникам, совпадает со временем после выхода Иакинфа из Валаамского монастыря. Дарственная надпись на книге "Описание Тибета" показывает, что Иакинф преподнес ее А. С. Пушкину в год выхода труда в свет: "Милостивому государю моему Александру Сергеевичу Пушкину от переводчика в знак истинного уважения. Апреля 26, 1828. Переводчик Иакинф Бичурин". В 1829 году Иакинф дарит поэту еще одно сочинение — "Сань-Цзы-Цзин" ("Троесловие". Энциклопедия XII в.) с надписью: "Александру Сергеевичу Пушкину от переводчика".

Чрезвычайно ценны высказывания А. С. Пушкина о книгах Иакинфа, с которыми он не только был хорошо знаком, но и к содержанию которых, судя по всему, прибегал во время работы над своими сочинениями на исторические темы ("История Пугачева"). Сохранилась запись А. С. Пушкина о том, что "самым достоверным в беспристрастным известием о набеге калмыков обязаны мы отцу Иакинфу, коего глубокие познания и добросовестные труды разлили столь яркий свет на сношения наши с Востоком. С благодарностью помещаем здесь сообщенный им отрывок из неизданной еще его книги о калмыках" {Пушкин А. С. Собр. соч., т. IX, вып. I.}.

А. С. Пушкин, вне всякого сомнения, имел в виду здесь книгу "Исторический обзор ойратов или калмыков с XV столетия до настоящего времени", которая поистине явилась целым откровением и привлекла к себе внимание научной и литературной общественности. Известно также, что А. С. Пушкин был знаком с другими капитальными трудами Иакинфа —

"Описанием Чжунгарии", "Историей Тибета и Хухунора", "Описанием Пекина" и др. Обоснованно поэтому мнение исследователей, что именно Иакинф пробудил интерес А. С. Пушкина к Китаю. Об этом резонно писал Н. О. Лернер: "Интерес Пушкина к Китаю был не случайным. В его библиотеке сохранились книги о Китае, подаренные ему известным Иакинфом Бичуриным, знатоком и поклонником китайской культуры" {Лернер Н. С. Пушкин и его современники, вып. IX–X, № 267, 347.}. Не менее интересно наблюдение литературоведа Б. Л. Модзалевского о том, что "в начале 1830 г. о. Иакинф как раз ехал в Китай и мог соблазнить Пушкина на путешествие с собой" {Модзалевский Б. Л. А. Пушкин. Письма, т. II (1826–1830). Л., ГИЗ, 1928, с. 363.}. Любопытен и факт отправления Иакинфом нз Иркутска в адрес А. С. Пушкина очерка "Байкал (письмо к О. М. Сомову)" для альманаха "Северные цветы" {"Северные цветы", 1832, с. 66 и сл.}.

"В Китае, — говорил Иакинф, — вроде бы все то же, что в у нас, и все на особицу. Наши же европейские авторы норовят судить о чужом и незнакомом по-своему, на свой лад. И оттого-то на втором, много на третьем, шагу вступают в эдакий невообразимый хаос. Видят в чужой стране одну несообразность и странную противоположность своим привычным представлениям и понятиям!"

Главная мысль Иакннфа состояла в том, что надобно не потешаться над чужой "дикостью", а постараться понять чужое, а то и позаимствовать у другого народа то хорошее, что у него есть.

"- Это очень верная мысль, отец Иакинф, вы совершенно правы! — сказал Пушкин, до сих пор сидевший, по своему обыкновению, подогнув под себя ногу и внимательно слушая Иакинфа. — Каждый народ вносит в общую сокровищницу цивилизации что-то свое, неповторимое. Этим-то он и интересен. Может быть, климат, образ правления, вера сообщают каждому народу свою физиономию. У каждого свой образ мыслей и чувствований, тьма обычаев и поверий, принадлежащих исключительно ему одному" ("Время собирать камни").

Весьма существенно также, что связь Иакинфа с передовой общественно-политической и литературной средой проходит красной нитью через его биографию. Она началась с поднесения им своей книги "Описание Тибета" А. С. Пушкину и закреплена была дружбой с поэтом и связью с декабристом Н. А. Бестужевым, с которым он встретился в 1830 году во время посещения Забайкалья. Н. А. Бестужев подарил ему сделанные из кандалов четки, которые Иакннф с большой любовью хранил всю жизнь и передал затем своей внучатой племяннице Н. С. Моллер. Н. А.

Бестужевым был написан акварельный портрет Иакинфа, хранящийся в Кяхтинском музее.

Движимый идеями атеизма и вольнодумства, которые, вероятно, усилились в нем благодаря общению с декабристами, Иакинф обратился в 1831 году с прошением в Синод о снятии с него духовного сана. Освобождение от монашеского звания, да еще по личному желанию, не могло рассматриваться иначе, как явление крамольное, еретическое. Подобный поступок считался открытым вызовом существовавшему политическому режиму. И хотя Синод не нашел оправданий для отклонения прошения Иакинфа, самодержавная власть не могла примириться с мыслью об эмансипации поднадзорного монаха. Соображения особого значения продиктовали высшей власти бескомпромиссное решение — Николай I "в 20-й день сего мая (1832 г.) высочайше повелеть соизволил: оставить на жительство по-прежнему в Александро-Невской лавре, не дозволяя оставлять монашество".

Так безуспешно закончилась еще одна попытка "мятежного ииока" покончить со своей монашеской судьбой.

Необыкновенное научное значение трудов Иакинфа было отмечено Н. Веселовским: "Он в полном смысле слова положил у нас начало изучению китайской империи и ее вассальных земель, возбудив интерес в обществе к Крайнему Востоку, показал, какую возможность имеет для изучения Средней Азии богатейшая китайская литература, проложил путь для работ другим синологам. К этому надо прибавить, что труды Иакинфа доселе почти не устарели и ни одни исследователь прошлого Средней и Северо-Восточной Азии не может обойтись без них. Масса новых сведений, внесенных в науку отцом Иакинфом, и отличное знание многих вопросов вполне искупают те недостатки, от которых его труды не свободны, которые к тому же были до известной степени общими всем ученым работам того времени" {Русский биографический словарь, т. И — К. СПб., 1897, с. 154.}.

В 1848 году Иакинф приступил по поручению Академии наук к написанию своего последнего труда — "Истории народов Средней Азии", который увидел свет в 1851 году. Двумя годами позже больной и одинокий Иакинф скончался в монашеской своей келье и похоронен в некрополе Александро-Невской лавры в Петербурге.

Со времени появления трудов Иакинфа минуло свыше ста лет. И чем более увеличивается дистанция, отделяющая от нас его эпоху, тем очевиднее становится научное значение его вклада в отечественное востоковедение. Если даже оставить в стороне вопрос о состоянии китаеведной науки в России и на Западе, следует указать, что русская синология уже в 20-30-х годах XIX

века была поставлена Иакинфом на научную ступень. Труды Иакинфа служили серьезной опорой для исследователей многих поколений. Свое значение они сохраняют и теперь, открывая перед нами россыпи ценнейших сведений о материальной и духовной культуре Китая, Монголии и других стран Азии.

И в оценке трудов Иакинфа необходимо руководствоваться известным положением В. И. Ленина о том, что "исторические заслуги судятся не по тому, чего не дали исторические деятели сравнительно с современными требованиями, а по тому, что они дали нового сравнительно со своими предшественниками" {Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 2, с. 178.}.

Прогрессивность идей Иакинфа выдвинула его в число передовых исследователей той эпохи, когда европейские державы и Америка распространили свое господство в Китае и других странах Дальнего Востока. Иакинфу принадлежит заслуга в смелом осуждении буржуазных концепций, занесенных ветром западной цивилизации, имевших целью оправдание колониализма и человеконенавистнических расистских теорий о неполноценности азиатских народов.

Роман "Отец Иакинф" — незаурядный вклад в художественное познание нашей отечественной истории и культуры, малоизвестного периода взаимосвязей России и Китая, познание путей движения русской жизни и науки начала прошлого века. Художественная и идейная ценность книги в значительной мере определяется несомненно удавшимся образом центрального героя — Иакинфа, человека поразительной судьбы, огромного дарования, передовых взглядов.

Во введении к роману В. Н. Кривцов пишет о заманчивости трудной задачи воскресить из мертвых этого большого ученого и интереснейшего человека. И мы видим в книге живого Иакинфа, не только внешние события, но и внутренний мир его жизни, увлекательной и трагической. Со страниц романа во весь рост встает человек, влюбленный в культуру Китая, проникнутый уважением к народу, ее создавшему, и посвятивший свою жизнь ее популяризации в русском обществе.

"Отец Иакинф" — роман-исследование. Яркий, самобытный и малоизвестный широкому читателю герой. Сюжет сам является научной концепцией биографии. При всей исторической точности, биография эта — духовная. Это история человека, нашедшего свое призвание, свой взгляд на мир, прошедшего через искушение страстей, но выбравшего — творчество, науку, любовь. Это роман-мечта о гармонической личности, история ее роста и становления (параллельно с биографическим ходом — из низов народа к вершинам образованности).

Иакинфу глубоко чужды высокомерие, нетерпимость, квасной патриотизм. Он еще в молодые годы сумел подняться над предрассудками своего времени, заглянуть через великую стену недоверия и непонимания, разделявшую русскую и китайскую культуры. В. Кривцов скупыми штрихами показывает, как зарождается и крепнет в Иакинфе горячий, жадный, едва ли не влюбленный интерес к Китаю, к его людям, обычаям, верованиям, художественным и научным достижениям. И мы вместе с героем романа заражаемся этим интересом, мы разделяем эту влюбленность, мы вместе с Иакинфом учимся доброжелательству и широкому взгляду на вещи.

Так возникает и крепнет в романе В. Кривцова очень важная тема взаимопонимания культур, дружбы народов, дружбы, имеющей длительную и увлекательную историю.

Весьма примечательно, что герой романа дан не изолированно, а в контексте эпохи и ее культуры, в живых, многообразных связях с представителями различных слоев общества. Это роман, где многие герои наделены широким культурным зрением и часто и взволнованно говорят о диалоге Восток — Запад. Такие люди, как Пушкин, Шиллинг, Бестужев, Одоевский, Гумбольдт, Полевой, Погодин и др. (не говоря уже о самом Иакинфе), образуя "население" романа, дают вместе с тем представление об интеллектуальной жизни XIX века. Важным достоинством романа является и то, что он "населен" не только выдающимися представителями эпохи, читателю более или менее известными, но и персонажами с "периферии" общественной и литературной жизни, многие из которых впервые становятся предметом художественного изображения. Все эти люди интересны не только сами по себе, но еше и в беседах, столкновениях с Иакинфом. При этом они не просто названы, но наделены живыми характерами, по крайней мере запоминающимися чертами, личными особенностями, изображенными художественно выразительно. Благодаря метким языковым характеристикам, точно подмеченным деталям, запоминаются не только основные персонажи, но и эпизодические фигуры.

Первостепенное значение имеет научная работа Иакинфа. Показывая драматически крутые повороты жизни и деятельности своего героя, автор не упускает из внимания главного — не прерываемую никакими превратностями судьбы внутреннюю жизнь ученого, поставившего своей целью познакомить Россию с настоящим, а не выдуманным католическими миссионерами Китаем и сопредельными ему народами. Читатель получает представление о трудах и ученых концепциях Иакинфа, видит,

как в необыкновенно трудных условиях Иакинф начинает воздвигать здание новой для России науки — китаеведения. Именно об этом говорит заголовок второй книги романа. Представляется важным подчеркнуть познавательный вес романа еще и потому, что в наше время читатель, не довольствуясь одним лишь занятным сюжетом, очень ценит информативность художественной литературы.

Все это вместе создает особый пафос романа — пафос научного подвига, культурного созидания, духовного строительства, которое совершается в личности сложной, противоречивой и вместе с тем на редкость цельной.

В результате роман, оставаясь глубоко историческим, делается не бытовым, но философским и оттого современным.

Иакинф, которого мы узнали и полюбили благодаря роману В. Н. Кривцова, этот Иакинф дорог нам, его судьба волнует читателя, нашего современника, отметившего в 1977 году двухсотлетие со дня рождения Иакинфа Бичурина.

Н. Федоренко,
член-корреспондент АН СССР